Исторические факты и литературные версии

ЧУДОВИЩЕ СУДЬБЫ:

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ Клеопатры

ЧУДОВИЩЕ СУДЬБЫ:
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ Клеопатры

Санкт-Петербург
ЛЕНИЗДАТ
1996

АЛЕКСАНДР
КРАВЧУК

Клеопатра и Цезарь

•

Антоний и Клеопатра

БОРИС
ДЕРЕВЕНСКИЙ

Ирод и Клеопатра

•

Фатале монструм

63.3(0)3
Ч-84

Составитель И. Ю. КУБЕРСКИЙ

Редактор Ю. В. АРТЕМЬЕВА

Чудовище судьбы: Жизнь и смерть Клеопатры/
Ч-84 Сост. И. Ю. Куберский.— СПб.: Лениздат, 1996.— 640 с., ил.— (Исторические факты и литературные версии).
ISBN 5-289-01783-6

Жизнь и смерть знаменитой египетской царицы уже два тысячелетия вдохновляют художников, поэтов и писателей, и известный исторический материал получает все новые и новые толкования. В отличие от текстов, уже известных русскому читателю и представляющих собой главы книги «Закат Птолемеев» популярного польского писателя-историка Александра Кравчука, последние две части представляют собой два новых романа, написанных молодым историком Борисом Деревенским. Его строго документированные сюжеты не имеют аналогов в обширной литературе о Клеопатре.

Ч $\frac{0503010000(4701000000)—011}{M171(03)—96}$ без объявл. 63.3(0)3

© Б. Деревенский, 1996
© И. Ю. Куберский, составление, 1996

ISBN 5-289-01783-6

Клеопатра
и
Цезарь

СВЯЩЕННЫЙ БЫК БУХИС

В марте 51 года, в самом начале совместного царствования с отцом, Клеопатра отправилась в далекое путешествие на юг, к верховьям Нила. Царица осматривала эту часть страны и принимала присягу от своих подданных. Она посетила, в частности, Фивы, город, который много веков назад, в эпоху политического расцвета фараоновского Египта, был прославленной столицей государства, огромной и великолепной. Величественные храмы бога Амона, построенные давними правителями страны, во времена Клеопатры еще не были разрушены. И по сей день их руины словно смеются над бегом тысячелетий. Но уже тогда они были всего лишь свидетелями былой славы города, надменно взирающими на жалкие постройки вокруг. В то время в Фивах не осталось ни дворцов, ни сколько-нибудь значительных строений. И только вокруг храмов все еще сновали толпы паломников и жрецов. Страбон, который побывал в этих краях приблизительно через тридцать лет после Клеопатры, утверждает, что нашел здесь только поселения деревенского типа. Что же послужило причиной упадка города?

На протяжении многовековой истории на Фивы обрушивалось много бедствий. Особенно сильные разрушения постигли город около 85 года — за одно поколение до Клеопатры,— когда было жестоко подавлено большое восстание, уже не первое в этих краях, потому что Верхний Египет неоднократно пытался освободиться от власти Птолемеев. Поездка на юг только что вступившей на престол царицы имела определенное политическое значение. Еще более важным было ее участие в религиозной церемонии в честь одного из богов Верхнего Египта.

Неподалеку от Фив, вверх по течению Нила, находился небольшой, но широко известный городок Гермонтис. Его богом-покровителем был Монт, изображавшийся в виде человека с головой сокола. Этот бог первоначально был символом воинственности и бесстрашия фараонов. Позднее его стали объединять с богом солнца Ра и с покровителем соседних Фив — Амоном, и тогда бог-сокол почти полностью утратил свое самостоятельное значение; образовалась троица: Монт — Амон — Ра. Одновременно все большее значение в Гермонтисе приобретало другое божество — все шире распространялся культ быка Бухиса, который жил в огромном храме именно в этом городе и постепенно сделался эквивалентом мемфисского Аписа для южных областей. Как Апис считался воплощением бога Птаха, так в Бухисе стали видеть и почитать живое олицетворение всех трех богов Верхнего Египта. После смерти очередного священного животного жрецы находили новое; Бухис считался бессмертным. Труп, разумеется, мумифицировали, но не так тщательно, как останки Аписа. Жители Гермонтиса были более экономны — они применяли дешевые способы приготовления мумий, когда внутренности не вынимались, а просто заливались смоляной массой.

До наших дней сохранилось кладбище Бухисов. Самые древние захоронения были сделаны незадолго до прихода в Египет Александра Великого, последние — в годы царствования римского императора Диоклетиана, то есть в конце III века н. э. Следовательно, культ быка в Гермонтисе засвидетельствован на протяжении более шести столетий. Возник же он, разумеется, значительно раньше, а наибольшего расцвета достиг при последних Птолемеях. Клеопатра, по-видимому, воздала священному животному особые почести.

Найдя нового Бухиса, жрецы прежде всего привозили его в Фивы. Вместе с быком туда же доставляли и его мать, которую с этого момента торжественно именовали «великой коровой, которая родила бога Ра». Из Фив обоих животных переправляли в Гермонтис на барке, сопровождаемой большим числом кораблей. После смерти быка составлялась надгробная надпись, в которой точно обозначались год и день церемонии «вступления» быка в постоянное святилище. Много таких надписей сохранилось до наших дней. Традиционная формула надписей сообщает, что в церемонии принял участие царствовавший в то время монарх. В большинстве случаев можно легко установить, что названная особа на-

ходилась в указанное время совсем в другом месте, часто весьма удаленном от Гермонтиса. Однако это не относится к Клеопатре. И надпись об этом составлена менее стереотипно. Кажется весьма правдоподобным, что церемония 22 марта 51 года прошла особенно торжественно, потому что речную флотилию, перевозившую священного быка из Фив в Гермонтис, возглавляла сама царица [1].

МЕДИЦИНА И МАГИЯ

Несмотря на разрушения, о которых говорилось выше, Фивы неизменно пользовались среди греков широкой известностью как великая сокровищница древнейшей египетской мудрости. Считалось, что фиванские жрецы владеют многими науками, в том числе и черной магией. Об этом очень интересно рассказывается во вступлении к одному медицинскому трактату. Его автор, некий Фессал, жил — если верить вводным словам — во времена императора Августа, следовательно, он мог помнить Клеопатру. Возможно, что это небольшое сочинение возникло несколько позднее. Впрочем, это не столь существенно. Важно другое — рассказ Фессала живо и непосредственно знакомит с тогдашними верованиями, проистекавшими из глубокого убеждения, что бог может открыть человеку нечто необычайное и даже дать ключ к чудотворству. Путь же к богу известен жрецам египетских храмов. Но предоставим слово Фессалу.

«В Азии я тщательно изучил грамматику; я овладел ею лучше тамошних учителей. Поэтому я решил использовать свои знания. Я поплыл в город, который очаровывает и привлекает всех,— в Александрию. Денег у меня было достаточно, и я посещал лекции знаменитых философов, и все они хвалили мою страсть к учению и способности в овладении науками.

С особым старанием я занимался диалектической медициной; мной овладела необыкновенная жажда проникнуть в тайны этой науки. Когда стало приближаться время возвращения на родину, я занялся поисками в библиотеках; медициной я уже овладел хорошо. Наконец мне попалась книжка, написанная фараоном Нехепсо; в ней говорилось о двадцати четырех способах лечения тела от всяких болезней при помощи камней и растений, но с учетом знаков зодиака. Величие этой мысли меня просто ошеломило. Но вскоре я обнаружил, что эту книгу следовало бы назвать обманом или плодом невежест-

ва. Сколько я ни испытывал рецепты, которые так расхваливал автор, каждый раз я терпел неудачу.

Это было для меня хуже смерти. Я был в отчаянии. Слепо поверив книге Нехепсо, я в письме к родителям похвалился знанием необыкновенных рецептов; я сообщил им также, что вернусь, когда испытаю их действие. И получилось так: в Александрии я не мог больше находиться из-за насмешек товарищей (естественно, что любое смелое начинание вызывает зависть); с другой стороны, я не спешил домой, ибо видел, что не смогу выполнить свои обещания.

В таком состоянии я отправился в путешествие по Египту, подгоняемый ранящим душу жалом. Я искал способа осуществить надежды, которые так легкомысленно стал питать в связи с трактатом фараона; в случае неудачи я готов был совершить самоубийство. Я слышал внутренний голос, который говорил мне, что я встречусь с богами. Поэтому я без устали воздевал руки к небу, смиренно прося бессмертных богов оказать мне милость — явиться во сне или наяву или послать озарение,— чтобы я мог гордиться, вернувшись в Александрию и на родину.

Наконец я прибыл в Фивы, древнейшую столицу Египта, в которой очень много храмов. Там я задержался надолго, главным образом из-за ученых жрецов, владеющих многими науками. Время шло, и моя дружба со жрецами крепла. Однажды я осмелился обратиться к ним с вопросом — известны ли им какие-либо приемы магии. Большинство возмутилось. Но один, возбуждавший особое доверие достоинством поведения и преклонным возрастом, не обманул моих ожиданий. Он сказал, что умеет вызывать богов при помощи миски с водой.

Однажды я попросил этого жреца отправиться со мной на прогулку по самой безлюдной части города. Мы дошли до рощицы, в которой царила глубокая тишина. Там я с горькими слезами кинулся на землю перед моим спутником и обхватил руками его ноги. Он с изумлением спросил, что́ у меня на сердце. И я ответил:

— Моя жизнь в твоих руках. Я должен говорить с богом! Если мое желание не исполнится, я убью себя!

Жрец поднял меня с земли и дружески успокоил. Он обещал выполнить мою просьбу и велел мне поститься три дня начиная с этого момента. Взволнованный до глубины души, я целовал ему руки и благодарил его; слезы струились из моих глаз. Таков закон природы — внезапная радость вызывает больше слез, чем горе.

Из-за нетерпения три дня поста показались мне тремя годами. Наконец настал срок. Я вышел из дома на рассвете и поспешил приветствовать жреца; он уже приготовил чистую комнату и все, что нужно для опыта. Я же предусмотрительно принес папирус и краски, чтобы записать то, что услышу; но сохранил это в тайне.

Жрец спросил, с кем бы я предпочел говорить: с тенью умершего человека или с богом.

— С богом Асклепием,— ответил я и добавил, что он увенчал бы свою доброту, если бы позволил мне остаться наедине с богом.

Жрец согласился, хотя был очень недоволен; это было видно по его лицу.

Затем он велел мне сесть лицом к возвышению, на котором должен был появиться бог. Силой таинственных заклинаний он вызвал Асклепия и вышел, закрыв двери на ключ. А я остался почти уничтоженный душой и телом — столь дивное я увидел зрелище. Никакими человеческими словами нельзя описать черты лица и сияние бога.

Асклепий поднял правую руку, приветствуя меня, и сказал:

— Счастливый Фессал! Сейчас бог оказывает тебе милость, а вскоре, узнав о твоей победе, люди будут чтить тебя как бога. Спрашивай, что тебе нужно. Я на все отвечу тебе от чистого сердца.

Я почти не мог говорить, ибо не владел собой, ослепленный красотой бога. Наконец я спросил:

— Почему меня постигла неудача, когда я применял рецепты царя Нехепсо?

Асклепий ответил:

— Нехепсо был мудрецом. Он владел всеми тайнами магии. Но он не слышал из уст бога ни одного из тех секретов, которые я тебе открою. Благодаря прирожденной проницательности Нехепсо постиг родство камней и растений со звездами, но он не мог определить ни времени, ни мест, в которых следует собирать травы. А ведь рост и движение всех плодов зависят от влияния звезд»[2].

КЛЕОПАТРА И СЫНОВЬЯ БИБУЛА

Осенью 50 года, на втором году царствования Клеопатры и ее брата-супруга, на страну обрушилось бедствие. Разлив Нила не достиг обычного уровня. Животвор-

ные воды Нила не покрыли всех возделываемых полей и не оставили плодородного ила. Народ увидел в этом проявление божьего гнева и предзнаменование несчастий. Было ясно, что неурожай вызовет голод и дороговизну. Наивысший подъем уровня воды в реке бывал ранней осенью, затем вода постепенно спадала. Первые плоды складывались в хранилища весной. Не было сомнения в том, что весна 49 года будет тяжелой как для населения, так и для молодой царской четы, ответственной за судьбу государства.

А между тем в том же 50 году в Александрии произошли события, которые в политическом смысле грозили последствиями еще более пагубными, чем слабый разлив Нила — для экономики страны.

Наместником провинции Сирии в это время был Марк Бибул, тот самый человек, который девять лет назад вместе с Цезарем отправлял обязанности консула и упорно, хоть и безуспешно, противился мероприятиям своего коллеги. В частности, он всячески старался помешать Цезарю, получившему шесть тысяч талантов, добиться признания Птолемея XII египетским царем. В настоящее время Бибула тревожили парфяне, угрожавшие Сирии с востока, из-за Евфрата, поэтому он решил укрепить свои легионы отрядами из Египта.

В Египте все еще находились солдаты, которых пять лет назад оставил для охраны восстановленного на троне Птолемея Габиний. Они прочно осели в стране на Ниле, обзавелись хозяйством и жили прекрасно, не имея недостатка в легких заработках. Многие женились и обзавелись семьями. Двор всячески добивался их расположения, потому что Габиниевы солдаты — так их называли по имени бывшего командира — были надежной опорой трона. Если учесть изменчивое настроение населения, это было крайне важно. Ряды наемников постоянно пополнялись за счет всевозможных авантюристов, а также бежавших из Рима рабов. Всем было известно, что, поступив в Египте на военную службу, можно получить право убежища и защиту от преследований закона. Египетские власти, как правило, не выдавали беглецов.

Вполне понятно, что Габиниевы солдаты с большим неудовольствием выслушали предложение возвратиться в римскую провинцию. Действительно, что их там ожидало? Железная дисциплина, лагерная служба, походы... С какой стати должны они отказаться от жизни в прекрасном городе, покинуть свои семьи, бросить имущест-

во? Чтобы воевать в знойных бескрайних сирийских пустынях? И с кем? Само слово «парфяне» наводило страх. Всего три года назад, в 53 году, парфяне нанесли сокрушительное поражение римской армии, которая перешла Евфрат. Римлянами командовал тогда один из триумвиров, Марк Красс, желавший сравняться военной славой со своими товарищами по власти — Цезарем и Помпеем. Прекрасный финансист, Красс не имел никакого военного опыта и в результате погубил себя и римские легионы. Парфяне заманили его в ловушку и убили. Тогда же погиб и сын Красса, Публий, на вдове которого, Корнелии, вскоре женился Помпей.

Но не только это повлияло на настроение Габиниевых солдат. Они были раздражены тем, что их вызывал именно Бибул, человек, враждебно относившийся к Авлету. А ведь это им — солдатам Габиния — Птолемей XII был обязан своим восстановлением на троне!

К несчастью, привести солдат Габиния из Египта Бибул поручил двум своим сыновьям. Когда молодые люди прибыли в военный лагерь, чтобы сообщить приказ, там начались волнения. Оба сына Бибула были убиты.

Нетрудно догадаться, что это происшествие ужаснуло Клеопатру. Даже если бы речь шла не о сыновьях наместника соседней провинции, убийство римских граждан знатного рода должно было бы повлечь за собой серьезные последствия. Царица всячески старалась показать, что она потрясена этим преступлением. Она приказала схватить двух непосредственных виновников убийства и отправила их в Сирию, в резиденцию наместника. Однако, ко всеобщему изумлению, Бибул принял известие о трагедии с невозмутимым спокойствием. Убийц он немедленно отослал обратно в Александрию, а царице написал коротко: «Вынесение приговора по этому делу относится к компетенции сената, а не моей».

НЕУРОЖАЙ

Вопрос об убийствах так и заглох. Зато Габиниевы солдаты, чуть не ставшие причиной межгосударственных осложнений, уже через несколько месяцев, весной 49 года, сослужили Клеопатре хорошую службу. Слабый разлив Нила минувшей осенью, как и ожидали, привел к недороду. Весенняя жатва была скудной. Сносный

урожай сняли только в Центральном Египте и в Фаюмском оазисе.

Особенно серьезную тревогу вызывало положение в столице. Снабжение такого большого города, как Александрия, всегда доставляло много хлопот. Александрийцы часто выступали против властей. Судьба растерзанного толпой Птолемея XI все еще служила грозным предостережением. Поэтому правительство сочло необходимым принять административные меры. Был издан подписанный Клеопатрой и ее братом-супругом указ о том, что закупленный в Центральном Египте хлеб может продаваться только в Александрии; нарушившие это предписание подлежали смертной казни.

В результате неурожая в некоторых областях начались волнения. Но чаще народ оказывал пассивное сопротивление. Крестьяне уходили со своей земли и отказывались платить государственные налоги. Для наведения порядка посылались карательные экспедиции. Вот тут-то и пригодились Габиниевы солдаты.

Подобные формы пассивного сопротивления были известны в Египте с давних времен. Порой случалось так, что население, измученное притеснениями и поборами, покидало целые области; и только жрецы, не желавшие прерывать богослужений, оставались в своих храмах. Крестьяне бросали землю и шли искать лучшей жизни в городах, главным образом в Александрии. Многие вступали в разбойничьи шайки и безнаказанно грабили людей — болота в дельте Нила и пустыни служили прекрасными убежищами. Таким образом, жители деревень и небольших городков оказывались под двойным гнетом.

Хозяйство, полученное царской четой в наследство от предков, находилось в плачевном состоянии. Упадок экономики наметился в Египте еще несколько поколений назад. Народ беднел. Селения становились безлюдными. А поскольку государственная казна нуждалась в средствах для подкупа римлян, требования сборщиков не уменьшались. Рабочих рук становилось все меньше, а поборы росли. Письменные документы и археологические раскопки показывают, что в ряде областей занятые строениями территории к тому времени значительно сократились по сравнению с тем, что было в начале правления династии Птолемеев.

Разумеется, слабый разлив Нила был явлением, не зависящим от воли людей. Подобные бедствия случались и при самых лучших правителях. Удивляет дру-

гое: на государственных складах не оказалось никаких запасов хлеба. Об этом свидетельствует продиктованный отчаянием указ Клеопатры и ее брата. Зернохранилища огромного города были совершенно пусты. Почему? Как это могло случиться? Ведь с незапамятных времен в Египте знали, что часть сборов в урожайные годы надо сохранять, чтобы пополнять недороды неурожайных лет.

Молодая царская чета не была повинна в отсутствии хлебных запасов в стране. Как раз весной 49 года по требованию союзника и друга — Рима им пришлось отправить из Александрии большой транспорт хлеба. Римляне настаивали также, чтобы по крайней мере часть Габиниевых солдат ушла из Египта.

Все это было связано с драматическими событиями в самом Римском государстве.

НИЛ И РУБИКОН

Царский двор с удовлетворением следил за событиями в Риме, в особенности за углубляющимся разладом между двумя ведущими политическими деятелями. После того как Красс в 53 году погиб в Парфии, триумвират фактически перестал существовать. Два оставшихся триумвира относились друг к другу с подозрительностью, которой они почти не скрывали, а позиция Помпея по отношению к Цезарю была попросту враждебной. Полководец, некогда пронесший орлы римских легионов[3] через многие страны Востока, от Кавказа до Иерусалима, не мог перенести того, что Цезарь своими победами в Галлии, за Рейном, в Британии затмевает блеск его славы. Поэтому Помпей сблизился с сенатом, который, как мы знаем, всегда относился к Цезарю весьма враждебно.

Результаты новой коалиции скоро дали о себе знать. Завоевателю Галлии не продлили срок управления провинцией и не разрешили повторно добиваться консульства. Это вело Цезаря к катастрофе. Утратив провинции и легионы и став частным лицом, он не смог бы противостоять грозным событиям. Многие прямо говорили, что он будет обвинен в том, что начал войну с Галлией без постановления сената. Судебный процесс, несомненно, закончился бы изгнанием Цезаря, то есть крушением дела всей его жизни и полным разорением. Цезарь хорошо понимал это и не раз предлагал Помпею

соглашение. Он искренне стремился достигнуть договоренности и готов был пойти на любой разумный компромисс. Однако Помпей, уверенный в поддержке сената, вел себя заносчиво. Он заранее отвергал всякие попытки уладить конфликт.

Все это было на руку Александрии. Поглощенный своими заботами Рим не мог вмешиваться в дела Египта и предоставил страну на Ниле ее собственной судьбе. А в тот момент обессиленному Египту только это и было нужно. Страна стремилась к спокойному существованию. Клеопатре и ее советникам было совершенно безразлично, кто победит — Помпей или Цезарь. Помпей, у которого хранилось завещание Авлета, считался исполнителем последней воли покойного монарха и опекуном его детей. Цезарь тоже относился к Птолемеям дружелюбно — особенно после того, как десять лет назад получил упомянутые шесть тысяч талантов.

Но в самом начале 49 года в Александрию стали поступать тревожные сообщения. В Италии вспыхнула гражданская война. Цезарь перешел реку Рубикон и быстро продвигается на юг полуострова. Помпей отступает, так как войска в Италии немногочисленны. Ему придется переправиться через Адриатическое море.

В результате римского вооруженного конфликта у александрийского двора возникли сложные проблемы. Было ясно, что каждая из сторон потребует помощи. Египет же, по вполне понятным причинам, стремился сохранить нейтралитет и благоразумно дожидаться результатов гражданской войны, втайне надеясь, что противники истекут кровью и уничтожат друг друга, а Римская держава будет поколеблена до основания и рухнет. Тогда Египет, как и другие зависимые государства, сможет подумать о завоевании самостоятельности и даже о возвращении территорий, которые недавно захватил Рим: Киренаики и Кипра.

Такие мысли и надежды рождались, по-видимому, у египетских сановников, а может быть, и у самой Клеопатры. Но высказывать их никто не решался. Между тем события принимали все более драматический оборот.

КЛЕОПАТРА И СЫН ПОМПЕЯ

В начале марта 49 года Помпей и большинство сенаторов оказались в Греции и Македонии. Однако полководец отнюдь не собирался прекращать борьбу. Напро-

тив, он повсюду набирал людей, корабли, добывал деньги. Несмотря на утрату столицы и Италии, он был бодр и верил в победу. Эта уверенность подкреплялась тем, что находившиеся под его властью восточные провинции были очень богаты и густо населены. Во все страны Востока из ставки Помпея понеслись требования о безотлагательной помощи. Они были обращены не только к наместникам римских провинций, но также и к дружественным государствам и народам, формально не зависимым от Рима. О Египте, конечно, вспомнили прежде всего. В Александрию прибыл старший сын главнокомандующего, носивший то же имя, что и отец,— Гней Помпей. Мы не знаем, чего он требовал в Египте, но знаем, что получил. Молодой сын полководца отплыл из Александрии во главе пятидесяти военных кораблей, на палубах которых находилось пятьсот всадников, отобранных из Габиниевых солдат (на этот раз они не посмели воспротивиться!). Кроме того, транспортные суда везли хлеб.

Скорее всего, молодой Помпей вначале требовал большего. Можно только удивляться, что такая богатая и обширная страна, как Египет, дала так мало солдат, да и то, в сущности, не своих, а бывших людей Габиния, которых Рим домогался и прежде. Коренные египтяне не были посланы вообще. Римляне, правда, были невысокого мнения о боеспособности египетских солдат, но они могли бы использовать их в качестве гребцов, охраны, в резерве. В тот острый момент люди Помпея повсюду забирали всех и все и только в Египте повели себя так сдержанно и скромно.

Если верить Плутарху, Клеопатра сохранила приятное воспоминание о Гнее Помпее, потому что ей якобы удалось очаровать молодого человека. Здесь, по-видимому, и кроется причина того, что участие Египта в войне против Цезаря было столь незначительным. Восхищенный царицей Помпей сочувственно выслушал ее объяснения и поверил, что вследствие неурожая Египту грозят голодные бунты и страна не может обойтись без защитников порядка.

Переговоры вели молодые люди, близкие по возрасту: ему было двадцать пять лет, ей — двадцать.

Традиция единогласно передает, что Клеопатра никогда не была классической красавицей. Сейчас об этом трудно судить, потому что мы не имеем ее достоверного изображения. Но та же традиция утверждает, что она обладала бездной обаяния, блестящим умом, обширны-

ми познаниями и мелодичным голосом. Она свободно изъяснялась на нескольких языках. Клеопатра была убеждена — и доказала это многократно,— что для достижения политических целей есть множество путей кроме дискуссий в залах для заседаний.

Многие античные авторы намекают на то, что египетская царица отличалась необычайно пылким темпераментом. Толки о безнравственности Клеопатры можно было бы назвать выдумками ее врагов, стремившихся опорочить правительницу Египта в глазах общественного мнения. Но не следует забывать и того, что Александрия всегда славилась разнузданностью, а царский дворец служил городу прекрасным примером. Впрочем, не имеет значения, сколько именно любовников побывало на ложе Клеопатры. Важно другое: когда дело касалось серьезных государственных вопросов, она никогда не была невольницей своих страстей.

Египетская флотилия, которую привел из Александрии молодой Помпей, оставалась под его командованием. Однако верховным командующим над всем флотом, находившимся в Адриатическом море и Ионическом заливе, был Марк Бибул, давний смертельный враг Цезаря. Собранный здесь из различных стран Востока флот насчитывал более пятисот кораблей. На море Цезарь ничего не мог противопоставить этой силе. И, однако, все это внушительное скопление судов оказалось совершенно бесполезным! Поздней осенью 49 года Цезарь переправился из Италии на восточное побережье Адриатического моря и высадился около города Диррахий в Эпире (на территории современной Албании).

Начался новый этап гражданской войны.

КЛЕОПАТРА В ИЗГНАНИИ

В разгар лета 48 года египетский флот вернулся из Адриатического моря в Александрийский порт. Это произошло потому, что находившиеся под командованием Бибула корабли, как только пришло известие о поражении Помпея в сухопутной битве в Северной Греции, под Фарсалом, тут же рассеялись.

Египетский флот вернулся без потерь. Египтяне не совершили подвигов, но и не пострадали. А это было важнее всего. Когда корабли вошли в порт, их команды, не успев даже сойти на берег, услышали чрезвычайную новость: в Египте тоже вспыхнула гражданская

война; ее начали царствующие супруги. Птолемей XIII прогнал свою сестру и жену. Клеопатра бежала в Палестину. Там она собрала войско, с которым в настоящее время направляется в Египет. Царь и его советники находятся на границе, около крепости Пелусий, преграждая путь Клеопатре.

Вряд ли такой поворот событий кому-нибудь в Александрии мог показаться неожиданным. Несмотря на практику внутрисемейных браков, династические распри, преступления и даже войны между членами семьи при Птолемеях были обычным явлением.

Разница в возрасте между Клеопатрой и ее братом-супругом была довольно значительной. Она была уже взрослой женщиной, а он — тринадцатилетним юнцом. После смерти их отца опеку над ними взял на себя дворцовый триумвират: евнух Потин, учитель риторики Теодот и предводитель войск Ахилла. Однако Клеопатра очень скоро пришла к выводу, что она уже достаточно взрослый человек, чтобы самостоятельно принимать решения. Это, разумеется, не понравилось трем сановникам, которые надеялись пробыть у власти долго, пока Птолемей не станет совершеннолетним.

Таким образом, конфликт между Клеопатрой и опекунами был неизбежен. Доискиваться, какая из сторон виновата больше, не имеет смысла. В ту пору существовало мнение, что гражданская война началась только по вине царицы, которая была слишком честолюбива и стремилась отстранить от власти или даже убить своего брата — об этом есть упоминания в античной литературе. Но как знать, не были ли эти слухи распущены враждебными Клеопатре группировками, стремившимися таким образом восстановить народ против царицы. Тридцать два года назад юный Птолемей XI убил свою жену царицу Беренику и заплатил за это жизнью. Сейчас, если верить молве, готовилось еще одно такое же преступление, жертвой которого должен был стать тринадцатилетний мальчик: старшая сестра замыслила его погубить. События последующих лет показали, что Клеопатра была способна без колебаний совершить такой поступок.

Даже современники, в том числе и жители Александрии, были не в состоянии разобраться в клубке дворцовых интриг. Поэтому подробности конфликта в царской семье никогда не будут выяснены до конца. Непонятно, например, почему Клеопатру изгнали, а не убили — как подсказывал трезвый расчет и как обычно поступали

в аналогичных ситуациях все Птолемеи. А может быть, Клеопатра, увидев, что ее влияние падает и жизнь находится в опасности, предусмотрительно бежала?

Известие об изгнании сестры и супруги царя подданные приняли довольно равнодушно. Очевидно, Клеопатра не пользовалась особой популярностью в стране. Впрочем, события последних лет никак не могли способствовать росту симпатии к ней египтян. Несколько месяцев назад царица на глазах у всего двора старалась обольстить молодого Помпея. Ее враги наверняка обвиняли ее в том, что она, несмотря на тяжелое положение в стране, послала римлянам пятьдесят кораблей и хлеб, что она совершенно не заботится о благе своего народа, а думает только о благосклонности могущественного союзника, то есть продолжает пагубную политику своего отца.

Без сомнения, против Клеопатры была самая сильная часть египетского войска — Габиниевы солдаты. Ведь это она после убийства сыновей Бибула отослала убийц к наместнику Сирии, она отправила в армию Помпея пятьсот всадников, бывших легионеров Габиния. Поэтому Габиниевы солдаты неизменно сохраняли верность молодому царю и с ненавистью относились к Клеопатре.

Куда же бежала царица? Где и у кого искала она помощи и как сумела ее получить? На эти вопросы источники почти не дают ответа. Известно, что царица пыталась вторгнуться в Египет со стороны Палестины. Видимо, там она и собирала войска, у набатеев или в пограничных с Сирией мелких княжествах, где всегда было достаточно авантюристов. Силы, с которыми царица двинулась на Египет, вероятно, были немалые, если советники царя сочли необходимым стянуть к границе почти целую армию.

Много дней враждующие стороны стояли друг против друга в бездействии на песчаном морском берегу. Но к ним уже катилась грозная волна, поднятая ураганом в далекой Греции, на полях под Фарсалом.

ПОРАЖЕНИЕ ПРИ ФАРСАЛЕ И БЕГСТВО ПОМПЕЯ

Цезарь разгромил большую, но плохо организованную армию Помпея в битве на Фарсальской равнине в Северной Греции. Это произошло летним днем 48 года.

Было уже далеко за полдень. Судьба сражения была решена, и люди Цезаря ворвались в лагерь противника. Верхом на коне, в сопровождении всего лишь четырех человек Помпей галопом мчался по равнине. Мрак опустился на землю, наступила ночь, а они все скакали в глубоком молчании. Никто не решался произнести ни слова, понимая, как горьки должны быть мысли их полководца. На протяжении тридцати четырех лет Помпей побеждал. Он громил врагов в Италии, в Африке, в Азии, в Иудее. Он освободил от пиратов Средиземное море — от западных границ до восточных. Перед ним трепетали народы Кавказа и Пиренейского полуострова. Но безжалостная и неумолимая судьба уготовила ему позор поражения на склоне дней. Всего несколько часов назад Помпей был предводителем огромной армии, одним из властителей Рима. А сейчас он спасался от преследователей, как беглый раб. В пути к Помпею присоединилось еще несколько воинов разгромленной армии республики. Собралось около тридцати человек. На рассвете они подошли к стенам Ларисы. Жители города кричали со стен, что предоставят им убежище. Но Помпей приказал мчаться дальше, без отдыха. Наверное, он боялся, что вероломные греки выдадут его победителю.

Продвигаясь вдоль реки Пеней, Помпей и его спутники спустились к ее излучине между отрогами Осы и Олимпа. Смертельно усталые, томимые жаждой, они не имели даже кубков, чтобы зачерпнуть воду из реки. Вся серебряная и золотая посуда, к радости победителей, была брошена в палатках под Фарсалом. Помпею пришлось спе́шиться, лечь на землю и пить прямо из реки, как беднейшему из пастухов.

Беглецы провели ночь в хижине рыбака, недалеко от устья реки Пеней. С первыми лучами солнца Помпей и несколько его спутников сели в небольшую лодку. Рабам, которые остались ему верны до последней минуты, Помпей приказал отправиться к Цезарю, убедив их, что там им не причинят вреда.

Лодка очень медленно плыла вдоль берега. Было ясно, что так они никуда не доедут. Увидев издали транспортный корабль, они стали звать на помощь, кричать и размахивать плащами. Капитаном корабля был некий римлянин, который хотя и не был знаком с Помпеем, но в лицо его знал. Минувшей ночью он видел сон, о котором как раз в это время рассказывал своим друзьям:

— Приснился мне Помпей, как живой. Но не в гордой позе, как я часто видел его. Нет. Он показался мне человеком сломленным и униженным.

Рассказывают, будто в ту же самую минуту один из моряков закричал:

— Недалеко от берега лодка! Люди подают сигналы, кричат что-то...

Помпея и его спутников радушно приняли на корабль. Полководцу прислуживал один из бывших преторов, который сам снял с него сандалии и омыл ноги.

Всю ночь корабль простоял на якоре у побережья Македонии около города Амфиполь. Помпей пригласил к себе тамошних сановников. Он потребовал у них денег и приказал всем молодым людям провинции явиться для принесения присяги. Вероятно, он надеялся собрать новую армию. Тем временем доложили о том, что легионы Цезаря близки. Нужно было немедленно плыть дальше.

КОРНЕЛИЯ

Через два дня корабль подошел к острову Лесбос. Здесь, в городе Митилене, Помпея ждала его жена Корнелия и младший сын — Секст.

Корнелия твердо верила, что не сегодня завтра придет радостная весть о победе над Цезарем. Недавно она получила сообщение об успехе Помпея при Диррахии. Прибывший наконец посланец Помпея был так измучен и удручен, что забыл даже произнести обычное приветствие. С трудом он выдавил из себя несколько слов:

— Помпей на чужом корабле. Поспеши увидеть его!

Корнелия лишилась чувств. Придя в себя, она побежала к пристани и, обняв Помпея, горько плакала и винила себя во всех несчастьях. Она говорила, что на ней лежит проклятие судьбы. Ее первый муж, Публий Красс, погиб в Парфии, а второй, недавно командовавший флотом в пятьсот кораблей, сейчас вынужден спасаться бегством на чужом судне.

— Я должна была умереть раньше Красса,— причитала она.— Лучше бы я покончила с собой сразу после его смерти, так, как хотела.

Вся семья погрузилась на корабль. Беглецы очень спешили, но неблагоприятные ветры два дня продержали их около острова. Тем временем к ним присоеди-

нилось еще несколько кораблей. Флотилия поплыла на юг вдоль азиатского побережья. Останавливались только для того, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды. Вскоре они встретили военную эскадру с группой сенаторов. Позднее, уже у берегов Киликии, состоялся большой военный совет.

До сих пор Помпей и его спутники бежали с одной мыслью: быстрее и дальше. Теперь необходимо было определить цель. Постепенно стало ясно, что положение не так уж безнадежно: костяк военного флота почти не пострадал, уцелели и отдельные отряды сухопутных войск. Но они были рассеяны в разных местах. Где их искать? Как собрать воедино? Помпей понял свою основную стратегическую ошибку.

— Надо было дать решительное сражение не на суше, а на море,— говорил он,— я же позволил увлечь себя в глубь Греции и принял бой там, где не мог использовать флот.

На вопрос, куда направиться сейчас, Помпей ответил — в Парфию! Это неожиданное решение было не лишено разумных оснований.

Действительно, Парфия всегда представляла угрозу для Рима. Пять лет назад в борьбе с парфянами погибли Марк Красс и его сын Публий. Но сейчас только парфяне могут дать войска для борьбы с Цезарем. Конечно, они не сделают этого даром. Наверняка они потребуют возвращения некоторых азиатских провинций, в особенности тех, которые Помпей недавно присоединил к Риму. Можно временно отдать им эти территории, чтобы потом, после победоносного окончания войны с Цезарем, снова их отнять.

Однако предложение полководца вызвало резкие возражения у окружавших его людей, которые попросту боялись парфян. Особенно решительно протестовал Феофан, грек, в течение ряда лет бывший чем-то вроде официального летописца великих деяний Помпея. Феофан рассуждал так.

Неразумно доверять свою жизнь вероломному парфянскому царю, если через три дня мы можем быть у берегов Египта. Юный царь Птолемей должен быть благодарен Помпею за помощь его отцу. Александрийский двор наверняка отнесется к нам дружелюбно. Египет — богатая страна, и мы без труда получим там продовольствие, корабли, деньги. И наконец — Корнелия. Как можно доверить ее судьбу парфянам, которые убили ее свекра и мужа!

Эти аргументы показались Помпею убедительными. Римские корабли поплыли сначала к острову Кипр, оттуда они должны были повернуть к Сирии и затем, плывя вдоль побережья к югу, достигнуть Египта. Однако во время стоянки в кипрском порту Пафос стало известно, что проживавшие в сирийской Антиохии римские граждане выступили против Помпея. Они вооружились и предупредили, что не впустят корабли Помпея в порт, а также не примут сторонников побежденного полководца, которые нашли пристанище в соседних странах. Все это было продиктовано не враждебностью к Помпею, а страхом перед Цезарем, который приближался с невероятной быстротой.

Пришлось плыть прямо в Александрию. А между тем — они узнали об этом только на Кипре — в Александрии шла война. Рассказывали, что царь Птолемей стоит под Пелусием, преграждая путь войскам своей сестры Клеопатры. Но выхода уже не было. Об отступлении не могло быть и речи — корабли Цезаря плыли прямо к Кипру! Помпей потребовал денег у римских купцов, ведущих свои дела на Кипре, вооружил и погрузил на корабли навербованных здесь солдат, почти две тысячи человек, и во главе небольшой флотилии направился к Пелусию.

СОВЕЩАНИЕ У ЕГИПЕТСКОГО ЦАРЯ

Несомненно, Помпей считал законным царем Египта Птолемея, а не его сестру Клеопатру, изгнанную из страны. Да и что за польза была ему обращаться к лишенной царства царице! Ему пришлось бы вместе с ней отвоевывать Александрию, тогда как он сам нуждался в немедленной помощи. Поэтому корабли Помпея бросили якоря неподалеку от Пелусия, поблизости от лагеря Птолемея XIII. Послы Помпея отправились к юному царю и сразу же получили аудиенцию. Их речи, обращенные к его величеству, тринадцатилетнему царю, были кратки.

— Судьба переменчива,— говорили они.— Ровно десять лет назад твой отец лишился трона и был вынужден скитаться на чужбине. В Риме, куда он пожаловал, его радушно принял Помпей, который протянул ему руку помощи и благодаря своему влиянию добился его восстановления на троне. Твой отец высоко ценил возникшую тогда дружбу. Он назначил исполнителем своей

последней воли римский народ и один экземпляр завещания передал на сохранение Помпею. Сейчас у тебя есть возможность заплатить долг благодарности. Помпей просит принять его в Александрии и поддержать продовольствием, кораблями, деньгами. Не забывай, что, несмотря на поражение, силы, которыми мы располагаем, огромны. К сожалению, они находятся далеко. Но как только мы соединимся с ними, все переменится. А ты завоюешь благодарность не только Помпея, но и всего римского народа!

Когда прием был окончен, посланцев Помпея попросили подождать решения царя. Римляне свободно прогуливались по лагерю, где их приезд произвел сенсацию. Они беседовали с солдатами, среди которых верховодили бывшие легионеры Габиния. Многие из них в прежние годы воевали под командованием Помпея, и сейчас они в недоумении спрашивали:

— Почему войско Помпея потерпело поражение? Каково положение сейчас? Что намерен предпринять полководец, до сих пор считавшийся непобедимым?

Посланцы Помпея не ограничивались рассказами о сражении и бегстве. Они старались представить поражение чуть ли не как заранее продуманный стратегический маневр. Более того, они прямо призывали бывших римских солдат, которые сейчас состояли на службе в египетской армии, сохранять верность своему бывшему командиру.

Все эти разговоры тут же стали известны царским советникам, обсуждавшим вопрос о Помпее, и произвели на них весьма неблагоприятное впечатление. Не исключено, что именно это повлияло на исход дебатов.

Советники царя высказывали различные мнения.

Одним из первых взял слово верховный жрец в Мемфисе — Акорей. Под этим именем, которое, очевидно, является искажением какого-то египетского титула, скорее всего выступал супруг Та-Имхотеп — Пшерени-Птах. Он призывал по справедливости оценить заслуги Помпея перед царской семьей. Другие ораторы предлагали не принимать Помпея и не оказывать ему помощи. Их доводы были разумны и справедливы. Они утверждали, что гражданская война римлян — это их внутреннее дело и что Египет должен сохранять строгий нейтралитет.

Затем выступил евнух Потин. Он резко обрушился на позицию верховного жреца. Его аргументация была циничной, но убедительной. Спустя сто лет римский

поэт Лукан, вероятно основываясь на достоверных источниках, воспроизвел речь Потина. Вот ее содержание.

Правитель должен всегда быть на стороне судьбы и богов, то есть он должен поддерживать тех, кому сопутствует удача, и пренебрегать людьми в несчастье. Ибо справедливость и корысть далеки друг от друга, как звезды и земля, и различны, как огонь и вода. Престиж властей падает, как только они начинают руководствоваться принципами справедливости. Причиной крушения многих зáмков была честность их хозяев. Всякая власть ненавистна народу, это бесспорно и всем известно. Что же служит ее защитой и оружием? Свобода совершения преступлений!

Далее Потин обращался непосредственно к своему царю:

— Царь! Помпей попросту пренебрегает тобой из-за твоего юного возраста. Он думает, что ты не решишься прогнать его от берегов своей страны. Для нас же ясно одно: мы должны спасти Египет от вторжения римлян. То, что не принадлежало Помпею во время войны, не станет добычей его победителя. Полководцу, от которого отрекся целый свет, некуда бежать. Он ищет страну, которая бы вместе с ним кинулась в пропасть. От кого бежит Помпей? Он бежит не только от Цезаря! Он страшится тех сенаторов, которые сейчас по его вине стали пищей коршунов на Фарсальской равнине. Он боится народов, которые он искупал в крови, и царей, которых он затянул в пучину своего поражения. Никто не хочет его принять, и он обращается к нашей стране — ибо ее он еще не погубил!

Следует правильно оценивать силу и возможности своего царства. Помпей в своем падении придавил целый Рим. Какой же опорой для него можешь стать ты, господин? Можешь ли ты воскресить солдат, павших под Фарсалом? Или ты хочешь, чтобы война ворвалась в нашу страну? До сих пор мы не участвовали в ней. Неужели мы примкнем к лагерю Помпея, когда целый свет его покинул? [4]

Впрочем, что бы ни говорили советники царя, весть о том, что посланцы Помпея агитируют солдат в пользу римского полководца, подействовала как удар грома. Аргументы сторонников радикальных мер стали казаться еще более убедительными. Выступавший вслед за Потином наставник царя, мастер риторики Теодот в своих предложениях пошел еще дальше Потина:

— Отпустить Помпея ни с чем для нас так же опас-

но, как принять его и окружить заботой. Ибо, оказав ему помощь, мы вызовем гнев Цезаря, а не приняв его, наживем двух врагов. Один возненавидит нас за то, что мы его отвергли, а другой — за то, что ему придется дольше преследовать своего врага. Правильнее всего мы поступим, если сами решим исход гражданской войны римлян. Мы должны склонить победу на сторону Цезаря. Для этого нужно просто убрать Помпея. Так мы завоюем благодарность Цезаря и навсегда избавимся от опасности со стороны Помпея.

С точки зрения интересов Египта эта позиция была наиболее правильной. Как мог воевавший против своей сестры Птолемей вступить в войну еще и с войском Цезаря, который шел буквально по пятам за Помпеем! Царь оказался бы в тисках: с одной стороны войска Клеопатры, с другой — римская армия. Легко было предвидеть, что в таком случае Цезарь немедленно договорится с Клеопатрой и признает ее правительницей Египта.

У египтян был еще один выход — схватить Помпея и выдать его Цезарю. В этом случае они поставили бы Цезаря в чрезвычайно затруднительное положение, зато сняли бы с себя ответственность за убийство. Но, как это часто бывает с политиками, стремящимися во что бы то ни стало угодить сильнейшему, египетские сановники проявили излишнее рвение.

СМЕРТЬ ПОМПЕЯ

Привести в исполнение решение царя и его советников поручили Ахилле, который взял себе в помощники Сальвия и командира Габиниевых солдат Септимия. Оба когда-то сражались под командованием Помпея, а сейчас должны были помочь заманить его в ловушку.

На палубе корабля сгрудились сопровождавшие полководца сановники. Все были встревожены и удивлены, увидев приближавшуюся со стороны берега небольшую лодку. В чем дело? Разве так надлежит принимать именитого гостя? Многие считали, что лучше не ждать подхода лодки, а уходить немедленно.

Между тем лодка была уже близко. Септимий поднялся и прокричал латинское приветствие:

— Salve, imperator!

Ахилла обратился к Помпею по-гречески. Он почтительно пригласил полководца сойти в лодку.

— Мы прислали бы за тобой триеру [5],— сказал он,— но здесь отмели, и она не могла бы подойти к берегу.

В это время Помпей и его спутники заметили, что некоторые египетские корабли заполняются людьми, а на берегу в боевом порядке выстроились вооруженные отряды. К чему они готовятся — к торжественной встрече или предательскому нападению? Но в любом случае о бегстве нечего было и думать. Одна лишь такая попытка стала бы поводом к резне.

Помпей решил сойти в лодку. Он поцеловал плачущую Корнелию и в сопровождении двух центурионов, отпущенника Филиппа и верного раба Скифа, стал спускаться в лодку. Ахилла уже протягивал ему руку, а полководец еще раз обернулся к своим и процитировал по-гречески слова поэта Софокла:

— Тот, кто входит в дом тирана, становится рабом, хотя бы и пришел свободным!

Они плыли уже довольно долго, но никто не сказал Помпею ни слова. Он первый прервал молчание.

— Мне кажется, мы были когда-то товарищами по оружию, — сказал он Септимию.

Но тот лишь кивнул головой. Полководец больше не пытался поддерживать разговор. Он занялся чтением речи на греческом языке, которую приготовил для аудиенции у царя.

Берег был уже близко. Корнелия, внимательно следившая за тем, что делается в лодке, вздохнула с облегчением. К сходням, где должна была пристать лодка, толпой спешили придворные. Казалось, римлян ждет подобающий прием. Опершись на руку Филиппа, полководец поднялся со скамьи, но в ту же минуту Септимий вонзил меч ему в спину. Сальвий и Ахилла тоже обнажили оружие. Помпей не произнес ни слова. Он закрыл голову тогой и с глухим стоном принимал удары.

На корабле Помпея раздался ужасающий крик. Люди не стали ждать приказаний. Немедленно был поднят якорь. Попутный ветер спас римлян от погони.

Помпей погиб накануне дня своего рождения, когда ему должно было исполниться 58 лет. Полководцу отрубили голову и отнесли ее царю, а труп долго еще лежал на песке, на морском берегу. Вокруг толпились любопытные. Отпущенник Филипп остался у останков своего господина. Когда народ разошелся, он обмыл тело морской водой и надел на него свою тунику. Нигде вокруг не было ни деревца. С большим трудом Филипп нашел на берегу обломки рыбачьего челна и сложил из

них скромный погребальный костер. Ему помогал неизвестный человек преклонного возраста, который когда-то служил в легионах Помпея.

РАССКАЗ ЦЕЗАРЯ

В соответствии с распространенной в древности манерой, чтобы придать изложению видимость беспристрастности, Цезарь в своих дневниках ведет рассказ от третьего лица. Этот стилистический прием имеет чисто внешний характер. Оба сочинения Цезаря, как первое — о войне с галлами, так и второе — о гражданской войне, чрезвычайно тенденциозны и необъективны. Вот что говорит Цезарь в конце третьей книги «Записок о гражданской войне».

«Цезарь пробыл в Азии лишь несколько дней. Услыхав, что Помпея видели на Кипре, он предположил, что Помпей направляется в Египет по причине близких связей с царствующим домом и разных удобств этой страны. Тогда и сам он прибыл в Александрию с одним легионом, которому приказал следовать за собой из Фессалии, и с другим, который он взял у легата Фуфия Калена и вызвал из Ахайи, с восемью сотнями всадников, с сотней родосских военных кораблей и несколькими азиатскими кораблями. В обоих легионах было около трех тысяч двухсот человек; остальные были больны от ран, полученных в сражении, и изнурены военными тяготами и долгим путем и потому не могли последовать за ним. Но Цезарь так полагался на славу о своих подвигах, что без колебания двинулся в эту экспедицию с недостаточными силами, в расчете, что везде будет в безопасности. В Александрии он узнал о смерти Помпея. Тут же, при выходе с корабля, он вдруг услыхал крики солдат, которых царь оставил для охраны города. Оказывается, они бежали толпой на него из-за того, что перед ним понесли фасцы[6]. Толпа заявляла, что этим умаляется царское величество. На этот раз шум затих, но все-таки в следующие за тем дни от стечения народной массы часто происходили беспорядки, и многих из его солдат убивали на улицах в разных частях города.

Тогда он вызвал еще два легиона из Азии, которые были образованы им из Помпеевых солдат. Сам же он вынужден был оставаться из-за сильных пассатных ветров, делавших отплытие из Александрии очень затруд-

нительным. Между тем он был убежден, что спор между царем и царевной принадлежит решению римского народа и его консула и тем более касается его должности, что именно в его предыдущее консульство по постановлению народа и сената был заключен с Птолемеем-отцом союз. Поэтому он заявил, что, по его мнению, царь Птолемей и его сестра Клеопатра должны распустить свои войска и решать свой спор лучше легальным путем перед его трибуналом, чем между собой оружием.

Царством управлял по малолетству царя его воспитатель евнух по имени Пофин[7]. Он, прежде всего, начал жаловаться среди своих приверженцев, что царя вызывают на суд для защиты своего дела. Затем, найдя себе нескольких помощников в задуманном деле среди царских друзей, он тайно вызвал войско из Пелусия в Александрию и командующим всеми силами назначил того же Ахиллу, о котором мы выше упоминали. Соблазнив его обещаниями от себя и от имени царя, он дал ему понять — письменно и через гонцов,— чего от него хочет. В завещании царя Птолемея были названы наследниками старший из двух сыновей и старшая из двух дочерей. Об исполнении этой воли Птолемей в том же завещании заклинал римский народ всеми богами и союзами, заключенными с Римом. Один экземпляр его завещания был через его послов доставлен в Рим для хранения в государственном казначействе (но хранился у Помпея, так как из-за политических смут его нельзя было передать в казначейство); другой с тождественным текстом был оставлен в Александрии и был предъявлен Цезарю запечатанным.

Когда это дело разбиралось перед Цезарем и он всячески старался в качестве общего друга и посредника уладить спор между царем и царевной, вдруг сообщили о прибытии в Александрию царского войска и всей конницы. Силы Цезаря отнюдь не были настолько значительными, чтобы на них можно было положиться в случае сражения вне города. Не оставалось ничего иного, как держаться в подходящих местах внутри города и узнать намерения Ахиллы. Во всяком случае, Цезарь приказал своим солдатам быть под оружием, а царя уговорил отправить наиболее влиятельных из своих приближенных послами к Ахилле и объявить ему свою волю.

Посланные им Диоскорид и Серапион, которые перед этим оба были послами в Риме и пользовались большим влиянием у его отца Птолемея, прибыли к Ахилле.

Как только они показались ему на глаза, он, не давая себе труда выслушать их и узнать о цели их прибытия, приказал схватить их и казнить. Один из них был тяжело ранен, но был вовремя подобран и унесен своими как убитый, а другой был убит на месте. После этого Цезарь овладел особой царя. Он полагал, что царское имя будет иметь большое значение у его подданных, и желал придать делу такой вид, что война начата не столько по воле царя, сколько по частному почину немногих отдельных людей, и притом разбойников.

Войска, бывшие под командой Ахиллы, ни по своей численности, ни по личному составу, ни по боевой опытности, по нашему мнению, отнюдь не были ничтожными. У него было под оружием двадцать тысяч человек. Это были прежде всего Габиниевы солдаты, которые уже освоились с александрийской вольной жизнью и отвыкли от римского имени и военной дисциплины; они успели здесь жениться и большей частью имели детей. К ним присоединялись люди, набранные из пиратов и разбойников в провинциях Сирии, Киликии и в окрестных местностях. Кроме того, сюда же сошлись осужденные за уголовные преступления и изгнанники»[8].

РАССКАЗ ИСТОРИКА

Так пишет Цезарь — просто, сжато, логично. Спокойная деловитость изложения сама по себе вызывает доверие. Ход событий кажется понятным и последовательным.

Сразу после смерти Помпея Цезарь с незначительными силами прибыл в Александрию. Точной даты в тексте нет, но из других источников известно, что это произошло в первые дни октября (по тогдашнему календарю). С самого начала полководец столкнулся с враждебным отношением населения. Поэтому он отдал приказ направить из Малой Азии в Александрию два легиона. Отплыть из города он не мог из-за неблагоприятных ветров. Цезарь попытался уладить спор между царствующими супругами, но его миротворческие усилия были сведены на нет опекуном молодого царя Потином. Потин увел из-под Пелусия и стянул к Александрии войска, которыми командовал Ахилла. Ахилла так отчаянно рвался в бой, что не хотел даже выслушать послов Цезаря. Тогда Цезарь установил строгое наблюдение за царем и начал готовиться к обороне той части

города, где находился царский дворец. Все эти события произошли в сравнительно короткий срок — с начала октября до первых дней ноября 48 года.

При чтении рассказа Цезаря, казалось бы беспристрастного и убедительного, по размышлении возникают сомнения и вопросы в связи с тем, что Цезарь обходит молчанием весьма существенные моменты. Он, например, ничего не пишет о том, что происходило в течение этого месяца с Клеопатрой, где она находилась — в столице или по-прежнему у египетской границы, под Пелусием, как отнеслась к его попыткам уладить конфликт.

Рассказ Цезаря полезно сопоставить с другими источниками. Наиболее обстоятельное изложение тех же событий содержится в «Римской истории» Диона Кассия, написанной по-гречески. Дион жил двумя столетиями позже, но его данные, основанные на изучении более ранних и весьма надежных документов, дневников и хроник, вполне заслуживают доверия и в большинстве случаев, где это можно проверить на основании других источников, представляются весьма достоверными. Вот что рассказывает Дион о прибытии Цезаря в Александрию и о первом периоде его пребывания там:

«Известие о том, что Помпей плывет в Египет, ужаснуло Цезаря. Он опасался, что побежденный полководец захватит эту страну и укрепит свои силы; поэтому он сразу пустился в погоню, однако настичь Помпея живым ему не удалось. Он смело поплыл к Александрии, хотя при нем было мало его людей, потому что он сильно опередил свои войска. Он прибыл в город раньше, чем царь Птолемей вернулся туда из-под Пелусия. В связи с недавними событиями народ в Александрии был сильно возбужден, и Цезарь не решился сойти на берег; его корабль стоял на якоре. Полководец выжидал, пока не увидел голову и перстень Помпея, присланные царем. Только тогда корабль пристал к берегу. Цезарь вышел, сопровождаемый ликторами, что было воспринято народом весьма враждебно; поэтому Цезарь был рад, когда наконец оказался в царском дворце. Напиравшая со всех сторон толпа отобрала у некоторых легионеров оружие; поэтому остальные вернулись на корабли. Они стояли на якоре до тех пор, пока не подошел остальной флот.

Глядя на голову Помпея, Цезарь плакал и горько сетовал. Он вспоминал, что покойный был его зятем; перечислял услуги, которые они когда-то друг другу оказали. А что касается убийц Помпея, то он не только

не выказал им благодарности, но даже резко их обвинял. Голову он приказал украсить, тщательно забальзамировать и сохранить. Все это заслуживало бы уважения, но его лицемерие кажется смешным. Ведь с самого начала Цезарь всеми силами стремился к единовластию, а Помпея ненавидел как противника и конкурента. Он действовал во вред Помпею всеми способами, развязал войну, чтобы его погубить, а самому выдвинуться на первое место. И в Египет он прибыл, чтобы окончательно его уничтожить, если бы Помпей был еще жив.

Уверенный, что после смерти Помпея никто больше не будет ему сопротивляться, полководец надолго задержался в Египте. Он собирал деньги и одновременно пытался уладить спор между Птолемеем и Клеопатрой. Народ был сильно возмущен притеснениями и вымогательствами. Особенное негодование вызывало то, что ограблению подвергались даже храмы, а надо помнить, что среди всех народов египтяне отличаются особой приверженностью своим богам; случается, что на этой почве они ведут войны даже между собой, потому что у них бывают разные верования.

Кроме того, египтяне опасались, как бы их правительницей не стала Клеопатра, которая оказывала на Цезаря большое влияние. Все это привело к взрыву возмущения».

О Клеопатре Дион Кассий рассказывает следующее:

«Сначала она хлопотала о себе перед Цезарем через посредников. Потом, узнав, как он падок на женские прелести, сама обратилась к нему с просьбой:

— Поскольку друзья не излагают мои дела верно, я думаю, что мы должны встретиться лично.

Она была прекрасна и сияла очарованием юности. У нее был прелестный голос, она умела быть обаятельной со всеми. Наслаждением было и смотреть на нее и слушать ее речи. Она могла легко покорить любого человека — даже мужчину уже немолодого и пресытившегося любовью.

Когда ей разрешили предстать перед диктатором, она приготовилась и нарядилась очень тщательно — так, чтобы, сохраняя достоинство своего сана, одновременно возбудить сочувствие к своему положению изгнанницы. В город и во дворец она проникла тайно, ночью, прячась от Птолемея и его сторонников. Цезарь был покорен сразу, как только увидел ее и услышал ее голос. Тотчас же, не дождавшись рассвета, он послал за Птолемеем. Цезарь старался примирить брата и сестру;

недавний судья Клеопатры превратился в ее защитника. Зато молодой человек пришел в бешенство. С криком, что его предали, он кинулся в толпу придворных, сорвал с головы диадему и бросил ее на пол.

Возникло замешательство. Люди Цезаря силой увели царя, а среди египтян продолжались волнения. Они атаковали дворец с суши и моря. И вероятно, захватили бы его — потому что у римлян не было достаточных сил для защиты,— если бы в последний момент Цезарь, испугавшись, не вышел навстречу атакующим. Он встал в безопасном месте и громко крикнул, что выполнит все их требования.

Позднее диктатор выступил перед народом Александрии. В присутствии Клеопатры и Птолемея он прочитал завещание их отца. В нем говорилось, что брат и сестра по египетскому обычаю должны вместе жить и совместно царствовать под опекой римского народа. Затем Цезарь сказал:

— В качестве диктатора я представляю римский народ. Выполнение воли их отца — мой долг.

Таким образом, он возвел на трон обоих. Младшим детям Птолемея XII, царевне Арсиное и царевичу Птолемею, он отдал остров Кипр. Ибо в тот момент он был в таком беспокойстве, что ничего не отнял из египетских владений, но еще прибавил за счет того, что принадлежало Риму. Тогда, наконец, пришло успокоение. Но немного позже снова вспыхнули волнения, а потом началась война. Это произошло так.

Царским имуществом управлял евнух Потин. Это он подстрекал египтян, ибо жил в постоянном страхе, что его привлекут к ответственности. Он пришел к тайному соглашению с Ахиллой, который все еще стоял под Пелусием. Постепенно заговор охватил всю армию. Солдаты считали унизительным подчиняться приказам женщины и подозревали, что Цезарь дал власть двоим только для того, чтобы успокоить народ, а со временем он сделает царицей одну Клеопатру. Они считали, что справятся с римским гарнизоном, и стремительно двинулись на Александрию.

Цезаря испугало их число и энергия. Он отправил послов к Ахилле, но не от своего имени, а якобы от Птолемея. Послы передали приказ полководцу немедленно прекратить всякие действия. Но Ахилла разгадал, от кого исходят эти приказы. Он не только не послушался, но еще стал насмехаться над Цезарем как над трусом. Он созвал солдатскую сходку, на которой расхва-

ливал Птолемея и яростно нападал на Цезаря и Клеопатру. Потом он стал подстрекать солдат против послов, хотя оба они были египтянами. Он делал это сознательно: он хотел связать своих людей общим преступлением и таким образом принудить их к дальнейшему ведению войны» [9].

РАССКАЗ ПЛУТАРХА

Плутарх родился спустя столетие после гражданской войны между Цезарем и Помпеем. Он жил долго, около восьмидесяти лет. С юности и до последних дней жизни он посвящал все свое время наукам, главным образом философии. Его многочисленные сочинения — это в основном эссе и трактаты на этические, религиозные и литературные темы. Интерес Плутарха к нравственным проблемам преобладает даже в трудах чисто исторических. Биографии выдающихся греков и римлян Плутарх писал не только руководствуясь желанием приблизить к своим современникам знаменитых исторических деятелей прошлого, но также и для того, чтобы показать, каким образом черты человеческой личности влияют на судьбы общества. Плутарх не стремился дать исчерпывающее описание тех событий, в которых участвовали его герои. Больше, чем великие исторические события, его порой занимали мелкие, казалось бы, незначительные бытовые подробности, которые могли быть использованы как любопытный портретный штрих или наглядный урок морали. В своих «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарх опирался на надежные источники, но использовал их достаточно свободно. В любой биографии можно найти много умолчаний, упрощений и даже просто ошибок, особенно хронологических. Все достоинства и недостатки подобного метода составления биографий видны, в частности, в разделе, посвященном Цезарю. Описание событий в Александрии может служить наглядным примером.

«Цезарь прибыл в Александрию, когда Помпей был уже мертв. Здесь Теодот поднес ему голову Помпея, но Цезарь отвернулся и, взяв в руки кольцо с его печатью, пролил слезы. Всех друзей и близких Помпея, которые, скитаясь по Египту, были взяты в плен царем, он привлек к себе и облагодетельствовал. Своим друзьям в Риме Цезарь писал, что в победе для него самое приятное и сладостное — возможность даровать спасение все новым из воевавших с ним граждан.

Что касается Александрийской войны, то одни писатели не считают ее необходимой и говорят, что единственной причиной этого опасного и бесславного для Цезаря похода была его страсть к Клеопатре; другие выставляют виновниками войны царских придворных, в особенности могущественного евнуха Потина, который незадолго до того убил Помпея, изгнал Клеопатру и тайно злоумышлял против Цезаря. По этой причине, чтобы обезопасить себя от покушений, Цезарь, как сообщают, и начал тогда проводить ночи в попойках. Но Потин и открыто проявлял враждебность — во многих словах и поступках, направленных к поношению Цезаря. Солдат Цезаря он велел кормить самым черствым хлебом, говоря, что они должны быть довольны и этим, раз едят чужое. К обеду он выдавал глиняную и деревянную посуду, ссылаясь на то, что всю золотую и серебряную Цезарь якобы отобрал за долги... Потин советовал ему покинуть Египет и заняться великими своими делами, обещая вернуть деньги с благодарностью. Цезарь ответил на это, что он меньше всего нуждается в египетских советниках, и тайно вызвал Клеопатру из изгнания.

Клеопатра, взяв с собой лишь одного из друзей, Аполлодора Сицилийского, села в маленькую лодку и при наступлении темноты пристала вблизи царского дворца. Так как иначе трудно было остаться незамеченной, то она забралась в мешок для постели и вытянулась в нем во всю длину. Аполлодор обвязал мешок ремнем и внес его через двор к Цезарю. Говорят, что уже эта хитрость Клеопатры показалась Цезарю смелой и пленила его. Окончательно покоренный обходительностью Клеопатры и ее красотой, он примирил ее с царем для того, чтобы они царствовали совместно. Во время всеобщего пира в честь примирения раб Цезаря, цирюльник, из трусости (в которой он всех превосходил) не пропускавший ничего мимо ушей, все подслушивавший и выведывавший, проведал о заговоре, подготовляемом против Цезаря военачальником Ахиллой и евнухом Потином. Узнав о заговоре, Цезарь велел окружить стражей пиршественную залу. Потин был убит, Ахилле же удалось бежать к войску, и он начал против Цезаря продолжительную и тяжелую войну, в которой Цезарю пришлось с незначительными силами защищаться против населения огромного города и большой египетской армии» [10].

ЧЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОРОЖИЛА КЛЕОПАТРА

Рассказ Плутарха о событиях гражданской войны в Александрии содержит серьезную хронологическую погрешность. Несомненно, это выглядело бы весьма эффектно — во время торжественного пира в честь примирения царской четы Цезарь чуть ли не в последний момент узнаёт об опасном заговоре. Легионеры мгновенно обнажают мечи и окружают праздничные столы. Предатель Потин, смертельно раненный, истекая кровью, падает на мраморный пол, и только Ахилла благодаря своей безграничной отваге вырывается из железного кольца стражи.

В действительности же — а здесь мы скорее должны верить рассказу Цезаря — Ахилла вообще не появлялся во дворце. С самого начала конфликта он находился с войском под Пелусием и сносился с Потином только через посланцев. Это верно, что, узнав о происках Потина, римский полководец приказал убить его; не исключено, что какую-то роль при этом сыграл цирюльник Цезаря и что царского опекуна убили во время пира, но все это случилось позднее, когда гражданская война была уже в разгаре.

Зато вполне заслуживает доверия рассказ Плутарха о встрече Цезаря с Клеопатрой, тем более что он совпадает с описанием этих событий у Диона Кассия. Правда, между обеими версиями есть небольшое расхождение: по Диону, инициатива исходила от Клеопатры, а Плутарх пишет, что диктатор сам вызвал царицу. Впрочем, это не столь существенно. Гораздо интереснее другой факт, который мы должны признать абсолютно бесспорным: Клеопатра проявила тогда поразительную смелость. Прекрасно понимая, что она рискует жизнью, царица не побоялась почти совсем одна приехать в город и проникнуть во дворец, где на каждом шагу ее подстерегали смертельные враги. Если бы ее схватили — в порту или во дворце,— она была бы тут же убита и никто никогда не догадался бы о том, что с ней произошло.

Царица решилась на такое безрассудство, очевидно, потому, что считала свое положение отчаянным. По-видимому, Цезарь все более определенно склонялся на сторону Птолемея и его сановников. И в этом нет ничего удивительного. Клеопатры он тогда еще не знал, и судьба ее была ему совершенно безразлична, а Птолемей и

его сторонники уже оказали ему немалые услуги. Какие бы официальные заявления ни делал Цезарь, факт оставался фактом — смерть Помпея была для него даром небес. Клеопатра все это понимала. Поэтому она видела единственный шанс на спасение в личной беседе с диктатором. Но, решившись на такой шаг, царица показала, что власть для нее дороже жизни.

Смелая поездка в Александрийский дворец дает ключ для понимания поступков Клеопатры и в дальнейшем, во многие переломные моменты ее жизни. Царицей всегда и прежде всего руководили честолюбие и жажда власти. Вот почему, проиграв в борьбе за власть, она лишила себя жизни.

СРАЖЕНИЕ ЗА ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ

Цезарь утверждает, будто он пренебрег опасностью и остался в Александрии из-за неблагоприятных ветров — этесий, которые помешали ему выйти из порта. Какую еще причину мог привести он — государственный муж, консул и диктатор, повелитель Рима? Не мог же он написать в своих записках прямо:

«Я остался в Александрии ради Клеопатры, потому что в случае моего отъезда она оказалась бы в смертельной опасности. Ради нее я сражался с войсками Ахиллы, хотя казалось, что они одним ударом уничтожат горстку моих солдат. Ради нее я пренебрег делами Рима, хотя мои враги накапливали силы и готовились к новым войнам в разных провинциях...»

Однако, несмотря на предусмотрительную сдержанность Цезаря, подлинная причина Александрийской войны с самого начала была известна всем. То, о чем деликатно умолчал полководец, дополнили очевидцы событий, свидетельства которых благодаря сочинениям Диона Кассия и Плутарха пережили века. До нас дошли и некоторые мелкие, но небезынтересные подробности о событиях тех лет. Например, то, что в глазах у Цезаря, когда он увидел отрубленную голову Помпея, стояли слезы. Как настоящий мужчина, Цезарь ни разу не упомянул о своем впечатлении от этого ужасного зрелища. Зато лаконизм, с каким он пишет об отправленных к Ахилле послах, вызван причинами менее похвальными. Говоря, будто Ахилла приказал убить послов, даже не выслушав их, Цезарь хочет одного — опорочить египтянина. Действительно, такой поступок египетского

военачальника был бы более чем странным. Это драматическое событие с большей достоверностью описано у Диона Кассия. По Диону, Ахилла, сразу разгадав намерения Цезаря, созвал солдатскую сходку, во время которой и были убиты послы. Он сделал это не сам, а подстрекнул своих людей, чтобы посредством преступления теснее связать их с собой.

Как же развивались события после того, как войска Ахиллы вступили в Александрию?

Здесь лучше всего снова предоставить слово Цезарю, потому что его записки все же являются наиболее интересным и непосредственным источником:

«Полагаясь на эти войска и презирая малочисленность отряда Цезаря, Ахилла занял всю Александрию, кроме той части города, которая была в руках Цезаря и его солдат, и уже с самого начала попытался одним натиском ворваться в его дом. Но Цезарь расставил по улицам когорты и выдержал его нападение. В это же время шло сражение и у гавани, и это делало борьбу крайне ожесточенной. Войска были разделены на от-

ряды; приходилось сражаться одновременно на нескольких улицах, и враги своей массой пытались захватить военные корабли. Пятьдесят из них было послано на помощь Помпею, и после сражения в Фессалии они снова вернулись сюда; все это были квадриремы и квинкверемы [11], отлично снаряженные и готовые для плавания. Кроме них двадцать судов — все палубные — стояли перед Александрией для охраны города. С их захватом враги надеялись отбить у Цезаря его флот, завладеть гаванью и всем морем и отрезать Цезаря от продовольствия и подкреплений. Поэтому и сражались с упорством, соответствовавшим значению этой борьбы: для одних от этого зависела скорая победа, для нас — наше спасение. Но Цезарь вышел победителем и сжег все эти корабли вместе с теми, которые находились в доках, так как не мог охранять такой большой район малыми силами. Затем он поспешно высадил своих солдат на Фаросе.

Фарос, чудо строительного искусства,— очень высокая башня на острове, от которого она и получила свое имя. Этот остров лежит против Александрии и образует ее гавань. Но прежние цари устроили на море каменную дамбу в девятьсот шагов длиной и таким образом соединили остров с городом узким, похожим на мост путем. На острове находятся дома александрийцев и поселок величиной с город. Те корабли, которые по неосторожности или от бурь меняли свой курс и попадали сюда, делались добычей жителей Фароса, которые грабили их, точно пираты. Но против воли тех, кто занимает Фарос, ни один корабль не может войти в гавань вследствие узости прохода. Именно этого и боялся Цезарь; поэтому, в то время как враги были заняты сражением, он высадил туда солдат, захватил Фарос и поставил там гарнизон. Таким образом, и провиант, и подкрепления могли безопасно подходить к нему морским путем. Он разослал гонцов по всем ближайшим провинциям и вывел оттуда вспомогательные войска. В остальных частях города сражения оканчивались вничью. Ни одна из сторон не бывала отогнана (этому мешала узость места), и лишь немногие с обеих сторон оставались на поле битвы. Цезарь занял наиболее необходимые места и за ночь укрепил их. В той стороне города была часть царского дворца, где вначале Цезарю отвели помещение. К ней примыкал театр, который образовывал своего рода крепость со свободным доступом к гавани и к царской верфи. Эти укрепления Цезарь в следующие дни

усилил так, чтобы они служили ему стеной и не приходилось бы принимать бой против воли. Между тем младшая дочь царя Птолемея, в надежде овладеть вакантным престолом, удалилась из дворца к Ахилле и вместе с ним стала руководить военными действиями. Но скоро между ними начались споры о первенстве, вследствие чего увеличились подарки солдатам, так как каждый привлекал их на свою сторону не иначе как ценой больших жертв. В то время как враги были заняты этим, Пофин (воспитатель молодого царя и правитель царства, находившийся в городской части, занятой Цезарем) посылал к Ахилле гонцов и ободрял его продолжать начатое дело и не падать духом. Но эти посредники были выданы и арестованы, и Цезарь приказал казнить Пофина» [12].

Этот рассказ Цезаря, как и предыдущий, требует дополнительных пояснений, касающихся трех моментов.

Прежде всего — об острове Фарос. При чтении приведенного отрывка может показаться, что Цезарь захватил весь остров. Но из всего дальнейшего ясно следует, что римляне первоначально овладели лишь небольшим восточным мысом Фароса. Правда, эта часть острова представляла собой наиболее выгодную стратегическую позицию, потому что именно там высился огромный маяк, прикрывавший вход в Восточный порт. Остальная же часть длинного и узкого острова, где находились жилые районы, оставалась в руках неприятеля. Благодаря этому египтяне господствовали над Западным портом.

Второй вопрос связан с упоминанием о пожаре. Цезарь говорит, что он приказал сжечь верфи и стоявшие в гавани корабли, потому что у него не хватало солдат, чтобы захватить их. Некоторые более поздние писатели древности сообщают, что огонь уничтожил часть знаменитой Александрийской библиотеки, крупнейшего книгохранилища античного мира, в котором благодаря щедрости Птолемеев были собраны почти все произведения греческой литературы. Однако утверждения о пожаре в библиотеке относятся к более позднему времени и содержат некоторые неясности. Хорошо известно, что на протяжении семи последующих веков, вплоть до нашествия арабов, Александрийская библиотека продолжала считаться исключительно богатой. Поэтому мы должны предположить, что в рассказах о пожаре содержится ошибка или преувеличение. Скорее всего, сгорели какие-то свитки папирусов, но не в самой библиотеке, а в при-

брежных складах. При чтении Цезаря возникает еще один, может быть самый интересный, вопрос.

Население Александрии относилось к римлянам чрезвычайно враждебно. При этом часть жителей оказалась внутри римских укреплений, в районе царского дворца и театра. Почему они были пассивны? Каким образом горстка солдат Цезаря — всего несколько тысяч человек — смогла удержать в повиновении огромную массу людей, десятки тысяч? Если бы александрийцы восстали и в этой части города, римляне были бы уничтожены в течение нескольких часов. Но они не восстали. Почему?

Ответ очень прост. Часть города, в которой укрепился Цезарь, была населена в основном иудеями, дружелюбно относившимися к римскому полководцу. Они считали Цезаря врагом Помпея, одержавшим над ним победу. Помпею не простили того, что несколько лет назад он захватил Иерусалим и осквернил иерусалимский храм. Цезарь же казался им справедливым мстителем и исполнителем божественного предначертания.

Можно сказать без преувеличения: в самые критические моменты войны Цезаря и Клеопатру спасло благожелательное отношение иудейского населения столицы. По прихоти судьбы опрометчивый шаг, сделанный Помпеем около пятнадцати лет назад, сейчас спас жизнь тому, кто был повинен в его гибели.

АРСИНОЯ И ГАНИМЕД

Дневники Цезаря заканчиваются кратким упоминанием о том, как был разоблачен и убит Потин. Несомненно, автор продолжил бы свой рассказ, но 15 марта 44 года кинжалы заговорщиков положили конец его жизни и трудам.

Что же касается Арсинои и Ганимеда, то о них сохранился довольно подробный рассказ Диона Кассия.

«Евнуху Ганимеду удалось вывести Арсиною из царского дворца и переправить в лагерь египтян. Сделать это было не трудно, так как римляне не слишком внимательно следили за царевной. Александрийцы сразу провозгласили Арсиною царицей и, получив предводительницу из рода Птолемеев, стали сражаться с еще большим воодушевлением. А Цезарь из опасения, что Потин выкрадет самого царя, приказал убить евнуха. Мальчика стали сторожить очень строго, отбросив всякие приличия. Это возмутило египтян. К тому же их

ряды непрерывно росли, тогда как римляне не получали никаких подкреплений. Крайне обеспокоенный всем этим, Цезарь предпринял кое-какие попытки повлиять на александрийцев и хоть немного их успокоить. Он велел привести молодого царя на возвышенное место, откуда его было хорошо видно и слышно, и приказал ему громко сказать народу, что никто не причиняет ему зла и что он всей душой стремится к окончанию войны и примет личное участие в мирных переговорах и заключении соглашения. Если бы Птолемей говорил все это по своей воле, он, наверное, убедил бы александрийцев прекратить войну. Но, понимая, что царь действует по распоряжению Цезаря, жители Александрии не сдались.

Вскоре в лагере сторонников Арсинои возник конфликт. Ганимеду удалось спровоцировать убийство Ахиллы, он объявил его предателем, из-за которого александрийцы якобы потерпели поражение в битве за Восточный порт, и взял на себя верховное командование египетским войском»[13].

Но наиболее полную картину боев в столице Египта мы находим не у Диона Кассия, а в небольшом латинском сочинении под названием «Александрийская война», которое является продолжением дневников Цезаря, но принадлежит, бесспорно, не ему. Совершенно ясно, что это произведение написано современником описываемых событий, возможно даже очевидцем или участником, то есть кем-нибудь из римских военачальников. Некоторые из ученых нового времени среди других имен называют Авла Гирция, который, как известно, закончил воспоминания Цезаря о войне с галлами. Однако и в этом вопросе еще не все ясно, и авторство Гирция остается сомнительным.

«Александрийская война» начинается описанием оборонительных мероприятий Цезаря в первые дни осады. Мы узнаём, в какие страны диктатор обратился за помощью и какие фортификационные работы проводил: некоторые участки города он приказал укрепить, в других были снесены все дома. Главная задача Цезаря заключалась в том, чтобы отрезать от города южный район, расположенный вблизи нильского канала. Здесь он имел бы пресную воду и пастбища для лошадей. Но этой цели полководец не достиг.

Автор трактата должным образом оценивает и энергию александрийцев. Вот как он об этом пишет:

«Но и александрийцы действовали без промедления

и задержек. Они послали уполномоченных и вербовщиков для набора во все стороны, куда только распространяется область и царство египетское, свезли в город большое количество оружия и метательных машин и сосредоточили в нем бесчисленное множество вооруженных людей. Равным образом в городе были заведены очень большие оружейные мастерские. Кроме того, были вооружены взрослые рабы; ежедневное пропитание и жалованье давали им их господа — те, которые были побогаче. Расставив повсюду эту массу, александрийцы охраняли, таким образом, укрепления даже в отдаленных частях города, а свободные от другой службы когорты из старых солдат они держали в людных кварталах, чтобы иметь возможность посылать на помощь против неприятеля свежие силы всюду, где шел бой. Все улицы и закоулки были перегорожены валом (он был сделан из квадратных камней и имел в высоту не менее сорока футов), а нижние части города были укреплены высокими башнями в десять этажей. Кроме того, были построены другие подвижные башни во столько же этажей. Их двигали на колесах канатами и лошадьми по прямым улицам всюду, где было нужно.

Очень богатый и обильно снабженный город обеспечивал все нужды населения. Сами его жители, люди изобретательные и остроумные, воспроизводили все, что видели у нас, с такой ловкостью, что, казалось, именно наши подражали их работе, да многое они и сами изобретали. Таким образом, они не только защищали свои укрепления, но и угрожали нашим. Их главари так говорили на совещаниях и сходках: римский народ малопомалу привыкает к мысли захватить это царство в свои руки. Несколько лет тому назад стоял в Египте со своими войсками А. Габиний; там же спасался бегством Помпей, теперь пришел с войсками Цезарь, и смерть Помпея нисколько не помешала Цезарю оставаться у них. Если они его не прогонят, то царство их будет обращено в римскую провинцию.

Тем временем, как выше было указано, возникли раздоры между начальником ветеранов Ахиллой и младшей дочерью царя Птолемея — Арсиноей, причем оба они строили козни друг против друга и каждый стремился присвоить себе верховную власть. С помощью своего воспитателя, евнуха Ганимеда, Арсиноя опередила Ахиллу и приказала убить его. После его смерти она одна, без товарищей и без опеки, держала в своих руках всю власть. Войско было передано Ганимеду. По-

следний, взяв на себя эту должность, увеличил подарки солдатам, но всем остальным руководил с такой же бдительностью, как Ахилла» [14].

БИТВА ЗА ВОДУ

«Почти вся Александрия,— продолжает свой рассказ автор «Александрийской войны»,— подрыта и имеет подземные каналы, которые идут к Нилу и проводят воду в частные дома, где она мало-помалу осаживается и очищается. Ее употребляют домохозяева и их челядь; ибо та вода, которая идет прямо из Нила, до того илиста и мутна, что вызывает много различных болезней. Но тамошний простой народ и вообще все население по необходимости довольствуется ею, так как во всем городе нет ни одного источника. Но эта река находилась в той части города, которая была в руках александрийцев. Это навело Ганимеда на мысль, что римлян можно отрезать от воды; будучи распределены для охраны укреплений по кварталам, они брали воду из каналов и водоемов частных домов.

Его план был одобрен, и он теперь приступил к этому трудному и важному делу. Прежде всего он приказал заложить подземные каналы и отгородить все части города, которые занимал сам. Затем по его распоряжению начали энергично выкачивать массу воды из моря вальками и машинами и беспрерывно пускать ее с верхних местностей в ту часть, где был Цезарь. Вследствие этого вода, которую там добывали из ближайших домов, стала солонее обыкновенного, и люди очень изумлялись, почему это случилось. Но они не доверяли самим себе, так как жившие ниже их говорили, что вода, ими употребляемая, сохранила прежнее качество и вкус; поэтому они вообще стали сравнивать ту и другую воду и определять их разницу на вкус. Но через короткое время ближайшая к неприятелю вода стала совсем негодной к употреблению, а вода в нижних местах оказывалась испорченной и более соленой.

Когда, таким образом, были устранены все сомнения, то солдатами овладел такой страх, что все стали считать себя стоящими на краю гибели, некоторые упрекали Цезаря за то, что он медлит с приказом садиться на корабли, другие боялись худшего, ввиду того что приготовлений к бегству нельзя было скрыть от александрийцев, которые так близко от них находились, да и

отступление на корабли оказалось совершенно невозможным, когда те стали бы наседать и преследовать их.

В части, занимаемой Цезарем, было много горожан, которых он не выселил из их домов, так как они наружно притворялись верными нам и казались изменившими своим. (Но, по моему мнению, если бы пришлось защищать александрийцев от обвинения в лживости и легкомыслии, то много слов было бы потрачено попусту, стоит только познакомиться с их национальными и природными свойствами, и тогда ни для кого не останется уже сомнения в чрезвычайно большой способности этого народа к предательству.)

Цезарь старался уменьшить страх своих людей утешениями и ободрениями: пресную воду можно добыть, если вырыть колодцы, так как все морские берега имеют от природы пресноводные жилы. Если же египетский берег по своим природным свойствам отличается от всех других, то ведь римляне беспрепятственно владеют морем, а у неприятеля нет флота; следовательно, им нельзя помешать добывать воду морским путем — или слева, из Паретония, или справа, с острова; так как оба эти рейса направляются в разные стороны, то противные ветры никоим образом не могут единовременно сделать их неосуществимыми. О бегстве нечего и думать не только людям, занимающим первые ранги, но даже и тем, которые помышляют исключительно о спасении своей жизни. Очень трудно выдерживать атаки неприятелей уже теперь, укрываясь за укреплениями; если же оставить эти укрепления, то нельзя будет сравняться с неприятелем ни по численности, ни по позициям. Посадка на корабли трудна и требует много времени, особенно с лодок; александрийцы же очень проворны и хорошо знают местность и дома. Победа только увеличит их гордость, и они ринутся вперед, захватят раньше нас высокие места и дома и, таким образом, помешают нашим бежать на корабли. Поэтому лучше забыть об этом плане и думать только о том, что надо во что бы то ни стало победить.

Снова подняв такой речью мужество у своих солдат, Цезарь поручил центурионам временно оставить все другие работы, обратить все внимание на рытье колодцев и не прекращать его даже ночью. Все взялись за дело, напрягши свои усилия, и в одну ночь открыли пресную воду в большом количестве. Таким образом, все хлопотливые ухищрения и сложные попытки александрийцев были парализованы кратковременным трудом» [15].

ПРИБЫТИЕ 37-го ЛЕГИОНА

После окончания бескровного сражения за воду произошло, как рассказывает автор «Александрийской войны», еще одно драматическое событие, которое могло привести римлян к поражению, однако закончилось их победой.

«Через два дня после этого пристал к берегам Африки, несколько выше Александрии, посаженный на корабли Домицием Кальвином 37-й легион из сдавшихся Помпеевых солдат, с хлебом, всякого рода оружием и метательными машинами. Эти корабли не могли подойти к гавани из-за восточного ветра, дувшего много дней подряд; но вообще вся местность там очень удобна для стоянки на якоре. Однако так как экипаж надолго задержался и начал страдать от недостатка воды, то он известил об этом Цезаря, послав к нему быстроходное судно.

Желая принять самостоятельное решение, Цезарь сел на корабль и велел всему флоту следовать за собой, но солдат с собой не взял, так как предполагал отплыть на довольно большое расстояние и не хотел оставлять укрепления беззащитными. Когда он достиг так называемого Херсонеса и высадил гребцов на сушу за водой, то некоторые из них в поисках добычи зашли слишком далеко от кораблей и были перехвачены неприятельскими всадниками. Те узнали от них, что Цезарь сам лично пришел с флотом, но солдат у него на борту нет. Это известие внушило им уверенность, что сама судьба дает им очень благоприятный случай отличиться. Поэтому александрийцы посадили на все готовые к плаванию корабли солдат и вышли со своей эскадрой навстречу возвращавшемуся Цезарю. Он не желал сражения в этот день по двум причинам: во-первых, у него совсем не было на борту солдат, во-вторых, дело было после десятого часа дня, а ночь, очевидно, прибавила бы самоуверенности людям, полагавшимся на свое знание местности; между тем для него оказалось бы недействительным даже крайнее средство — ободрение солдат, так как всякое ободрение, которое не может отличить ни храбрости, ни трусости, не вполне уместно. Поэтому он приказал все корабли, какие только можно было, вытащить на сушу там, куда, по его предположениям, не могли подойти неприятели.

На правом фланге у Цезаря был один родосский корабль, находившийся далеко от остальных. Заметив его,

враги не удержались и, в числе четырех палубных и нескольких открытых кораблей, стремительно атаковали его. Цезарь принужден был подать ему помощь, чтобы не подвергнуться на глазах неприятелей позорному оскорблению, хотя и признавал, что всякое несчастье, которое может с ним случиться, будет заслуженным. В начавшемся затем сражении родосцы проявили большой пыл: они вообще во всех боях отличались своей опытностью и храбростью, а теперь в особенности не отказывались принять на себя всю тяжесть боя, чтобы устранить разговоры о том, что урон понесен по их вине. Таким образом, сражение завершилось полным успехом. Одна неприятельская квадрирема была взята в плен, другая потоплена, две лишились всего своего экипажа; кроме того, и на остальных кораблях было перебито множество солдат. И если бы ночь не прервала сражения, то Цезарь овладел бы всем неприятельским флотом. Это поражение навело ужас на неприятелей, и Цезарь со своим победоносным флотом, при слабом противном ветре, отвел на буксире грузовые корабли в Александрию.

Александрийцы видели, что их победила не храбрость солдат, но опытность моряков. Поражение это так сокрушило их, что они готовы были отказаться от защиты даже своих домов, и загородились всем бывшим у них строевым лесом, опасаясь даже нападений нашего десанта на сушу. Но Ганимед на собрании поручился за то, что он не только заменит потерянные корабли новыми, но и вообще увеличит их число; и тогда те же александрийцы с большими надеждами и уверенностью стали поправлять старые корабли и отдались этому делу со всем старанием и увлечением. Хотя они потеряли в гавани и в арсенале более ста десяти кораблей, однако не отказались от мысли о восстановлении своего флота. Они понимали, что при наличии у них сильного флота для Цезаря будет невозможен подвоз подкреплений и провианта. Кроме того, как жители приморского города, они были прирожденными моряками и с детства имели дело с морем. Поэтому они стремились извлечь пользу из этого естественного и местного преимущества, так как видели, каких больших успехов они достигли даже со своими маленькими судами.

Итак, они употребили все свои силы на создание флота.

Во всех устьях Нила были расставлены сторожевые суда для взимания портовой пошлины; в секретном

царском арсенале имелись старые корабли, которые уже много лет не употреблялись для плавания; их они стали чинить, а сторожевые суда вернули в Александрию. Не хватало весел — снимали крышу с портиков, гимнасиев и общественных зданий, и планки заменяли весла; в одном им помогала природная ловкость, в другом городские запасы. Наконец, они готовились не к дальнему плаванию, но думали только о нуждах настоящего момента и видели, что предстоит бой в самой гавани. Поэтому в несколько дней они построили, вопреки всем ожиданиям, двадцать две квадриремы и пять квинкверем; к ним они прибавили несколько судов меньшего размера и беспалубных. Устроив в гавани пробную греблю для проверки годности каждого отдельного судна, они посадили на них надежных солдат и вполне приготовились к бою.

У Цезаря было девять родосских кораблей (послано было ему десять, но один затонул в пути у египетских берегов), понтийских — восемь, киликийских — пять, азиатских — двенадцать. Из них было десять квинкверем и квадрирем, остальные были меньшего размера и большей частью беспалубные. Однако, полагаясь на храбрость своих солдат и зная силы врагов, он стал готовиться к решительному бою»[16].

СРАЖЕНИЕ В ЗАПАДНОМ ПОРТУ

«Когда обе стороны прониклись уверенностью в своих силах, Цезарь объехал со своим флотом Фарос и выстроил свои суда против неприятеля: на правом фланге он поместил родосские корабли, на левом — понтийские. Между ними был оставлен промежуток в четыреста шагов, который казался достаточным для развертывания кораблей. Остальные корабли стояли за этой первой линией в качестве резерва, причем каждому резервному кораблю было указано, за каким кораблем первой линии должен он следовать и какому приходить на помощь. Александрийцы также без колебания вывели и выстроили свой флот. Во фронте у них было двадцать два корабля, остальные занимали в качестве резерва вторую линию. Кроме того, они взяли с собой большое количество судов меньшего размера и лодок с зажигательными стрелами и горючими материалами — в надежде на то, что уже одно множество их, а также огонь могут устрашить наших. Между двумя флотами

были отмели с узким проходом, прилегающие к Африке (александрийцы утверждают, что их город наполовину находится в Африке). Обе стороны долго выжидали, какой из флотов начнет проходить, так как очевидно было, что те, которые войдут, должны будут встретиться с большими затруднениями как при развертывании своего флота, так и при отступлении — в случае, если их постигнет несчастье.

Родосскими кораблями командовал Эвфранор, которого по мужеству и храбрости следует сравнить скорее с нашими соотечественниками, чем с греками. Родосцы выбрали его главным командиром своего флота именно за его всем известную опытность в морском деле и мужество. Как только он заметил, что Цезарь колеблется, он сказал ему: мне кажется, Цезарь, ты боишься, что если ты войдешь в эти отмели с первыми кораблями, то вынужден будешь принять сражение прежде, чем успеешь развернуть остальной флот. Предоставь это дело нам: мы выдержим сражение, и ты в нас не ошибешься, лишь бы только остальные немедленно последовали за нами. Но вот то, что враги так долго хвастаются у нас на глазах,— это для нас очень позорно и обидно. Цезарь, со своей стороны, воодушевил его и всячески похвалил, а затем дал сигнал к бою. Когда четыре родосских корабля прошли за отмель, то александрийцы окружили их и атаковали. Те выдержали эту атаку и стали развертываться с большим искусством и ловкостью. Специальная подготовка родосских моряков проявила себя самым блестящим образом: при неравном числе боевых сил все-таки ни один корабль не стал боком к неприятелю, ни у одного не были сбиты весла и при каждой неприятельской атаке они шли фронтом. Тем временем подошли прочие корабли. Тогда, вследствие узости прохода, уже по необходимости было оставлено искусство, и судьба боя определялась исключительно храбростью сражающихся. А в Александрии все без исключения — как наши, так и горожане — перестали думать о шанцевых работах и о боях друг с другом, но бросились на самые высокие крыши, выискивая везде, откуда открывался вид, удобные пункты, чтобы следить за боем; в молитвах и обетах они просили у бессмертных богов победы для своих соотечественников...

В этом сражении взята была в плен одна квинкверема и одна бирема [17] с солдатами и гребцами и потоплены три корабля, в то время как наши все остались невредимыми. Остальные суда спаслись бегством к го-

роду вследствие близости расстояния; там их защитили с плотины и с высоких зданий над ней, а нашим не дали подойти ближе»[18].

СРАЖЕНИЕ ЗА ОСТРОВ ФАРОС И ДАМБУ

«Чтобы подобные случайности больше не повторялись, Цезарь решил приложить все усилия к овладению островом и примыкающей к нему плотиной. Так как его укрепления в городе были в значительной степени готовы, то он был уверен в возможности единовременной попытки напасть и на остров, и на город. Согласно с этим планом он посадил на небольшие суда и лодки десять когорт вместе с отборными легковооруженными солдатами и наиболее надежными галатскими всадниками. А на другую часть острова он напал с палубным флотом, имея целью разъединить неприятельские силы; тем, кто первый возьмет остров, он обещал большие награды. Сначала фаросцы выдержали нашу атаку: они единовременно отбивались с крыш и с оружием в руках защищали берега, куда нашим нелегко было подойти вследствие крутизны; наконец, они охраняли узкий проход лодками и военными судами, действуя с быстротой и со знанием дела. Но как только наши, познакомившись с местностью и нащупав брод, твердо стали на берегу, а за ними немедленно последовали другие и энергично атаковали на ровном берегу врага, то все фаросцы обратились в бегство. Оставив охрану гавани, они причалили к берегам и к поселку и бросились с кораблей на сушу для защиты своих домов.

Но и за укреплениями они не могли долго продержаться. Правда, их дома, если сравнивать малое с большим, были по своей постройке довольно похожи на александрийские, и их высокие, соединенные друг с другом башни служили оборонительной стеной, тогда как наши не запаслись лестницами, фашинами и другими материалами для штурма. Но страх отнимает у людей ум и сообразительность и ослабляет физические силы, что тогда и случилось. Те самые люди, которые надеялись помериться с неприятелем на ровном и открытом месте, теперь были устрашены бегством своих и гибелью весьма немногих из них. Они не осмелились держаться в домах на высоте тридцати футов, бросились с плотины в море и проплыли до города расстояние в девятьсот

шагов. Но многие из них были взяты в плен и убиты. Вообще же пленных было шесть тысяч.

Цезарь разрешил солдатам воспользоваться добычей и приказал разграбить дома. Форт у моста поблизости от Фароса он укрепил и поставил там гарнизон. Бежавшие фаросцы оставили его; другой мост, более крепкий, по соседству с городом, охраняли александрийцы. Но Цезарь на другой день атаковал и его, так как видел, что занятие их обоих воспрепятствует выходу александрийских кораблей и внезапным разбойничьим набегам. Он уже успел выбить метательными орудиями и стрелами с кораблей тех, которые занимали этот пункт военной силой, и отогнал их назад в город, а также высадил на сушу около трех когорт — больше не могло поместиться вследствие узости места; остальные его силы несли караульную службу на кораблях. После этого он приказал построить на мосту вал против неприятеля, а то место под сводами мостовой арки, где был проход для кораблей, заложить камнями и застроить. Одна из этих работ была уже окончена, так что ни одна лодка не могла пройти, другая работа была начата. Тогда все александрийские силы бросились из города и стали против укреплений моста на более широком месте; в то же время они поставили у плотин те суда, которые обыкновенно высылались для поджога кораблей. Наши сражались с моста и с кораблей перед плотиной.

Пока Цезарь был занят этими делами и ободрением солдат, на плотину бросилось с наших военных кораблей большое количество гребцов и флотских солдат. Часть их была привлечена любопытством, другая также желанием сразиться. Сперва они начали бой, чтобы отогнать неприятельские корабли от плотины, и, сражаясь камнями и пращами, массой пускаемых снарядов, казалось, много содействовали нашему успеху. Но после того, как несколько дальше от этого места, на их незащищенном фланге, осмелилось высадиться с кораблей небольшое количество александрийцев, наши начали спасаться бегством на свои суда так же беспорядочно, как и проникли сюда,— без знамен и не держа строя. Ободренные их бегством, александрийцы стали уже в большем количестве высаживаться со своих судов и, пользуясь замешательством наших, начали еще энергичнее преследовать их. Вместе с тем и те, которые остались на военных кораблях, спешили хватать лестницы и отваливать, чтобы неприятели не овладели кораблями. Наши солдаты, принадлежавшие к тем трем когор-

там, которые стояли на мосту и в начале плотины, также были устрашены всем происходящим: сзади себя они слышали крики и видели бегство своих, а с фронта должны были выдерживать массу пускаемых в них снарядов; ввиду этого, боясь быть обойденными с тылу, а с уходом кораблей и вообще отрезанными от отступления, они бросили начатое на мосту укрепление и пустились бежать к кораблям. Часть из них добралась до ближайших кораблей, но те, от множества людей и тяжести, потонули вместе с ними; другая часть пыталась сопротивляться, но не знала, что предпринять, и была перебита александрийцами. Некоторым посчастливилось: они достигли кораблей, готовых к отплытию, и уцелели; немногие, подняв над собой щиты и напрягая все душевные силы, доплыли только до ближайших кораблей.

Цезарь, насколько мог, старался ободрениями удержать своих солдат у моста и укреплений, но и сам он находился в такой же опасности; когда же он заметил, что все до одного отступают, то спасся на свой корабль. Но следом за ним туда же ломилась масса народа, так что не было возможности ни управлять кораблем, ни оттолкнуться. Предполагая то, что и случилось, он бросился со своего корабля и доплыл до судов, стоявших дальше. Отсюда он посылал лодки своим изнемогавшим людям и таким образом спас некоторых. Но собственный его корабль, перегруженный множеством солдат, погиб вместе с людьми. В этом сражении Цезарь потерял около четырехсот легионеров и немного более того флотских солдат и гребцов. Александрийцы поставили на этом месте форт и укрепили его сильными шанцами и метательными машинами, а из моря снова удалили камни и таким образом очистили проход для своих судов»[19].

Так на основании рассказа автора «Александрийской войны» можно представить себе ход сражения за Фарос и дамбу. Другие античные источники лишь вскользь упоминают об этих событиях, зато сообщают некоторые живописные подробности о спасении Цезаря. Так, по Светонию, полководец проплыл около двухсот футов с поднятой над водой левой рукой, стараясь не замочить находящихся в ней важных документов, а полу своего пурпурного плаща держал в зубах, чтобы не оставить его врагу в качестве трофея. Дион Кассий описывает этот эпизод несколько иначе. И он говорит, что Цезарь все время держал в левой руке документы, но

плащ, по его словам, полководец скинул, потому что он мешал ему плыть и служил мишенью для неприятеля. Этот плащ александрийцы выловили из воды и повесили около памятника победы, который был установлен на месте сражения [20].

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЦАРЯ

Автор «Александрийской войны» особо подчеркивает, что поражение не только не обескуражило римских солдат, но даже увеличило их энергию в атаках на неприятельские позиции. Ободрения Цезаря не были нужны: напротив, скорее приходилось удерживать легионеров от наиболее опасных вылазок.

«Таким образом,— продолжает автор,— александрийцы видели, что удача придает римлянам силу, а неудачи — мужество. Какой-либо третьей военной комбинации, способной усилить их самих, сколько мы можем предполагать, у них не было. И вот,— то ли по совету царских друзей, находившихся у Цезаря под охраной, то ли согласно со своим прежним замыслом,— они отправили, с одобрения царя, с которым были в тайных сношениях, угодных ему лиц к Цезарю, просивших отпустить царя и позволить ему вернуться к своим и указавших, что все население, которому чрезвычайно надоело временное царствование девочки и жестокая тирания Ганимеда, готово повиноваться всем приказам царя и что если по его воле они должны будут перейти под покровительство Цезаря и заключить с ним дружественный союз, то населению нечего будет бояться, и тем будут устранены препятствия для сдачи.

Хотя Цезарь хорошо знал этот лживый народ, который думает одно, а для виду делает другое, однако счел целесообразным согласиться на их просьбу в уверенности, что если они действительно желают того, о чем просят, то отпущенный им царь останется ему верным, если же — что более соответствовало их характеру — они хотят иметь в лице царя вождя для ведения войны, то для него будет благовиднее и почетнее вести войну с царем, чем с шайкой пришлых авантюристов и беглых рабов. Поэтому он стал уговаривать царя подумать об отцовском царстве, пощадить свой славный родной город, обезображенный отвратительными пожарами и разрушениями, своих сограждан прежде всего образумить, а затем спасти, доказать свою верность римскому

народу и ему, так как сам он, со своей стороны, настолько доверяет царю, что отпускает его к вооруженным врагам римского народа. Тут он взял взрослого мальчика за правую руку и стал с ним прощаться. Но молодой царь, приученный к величайшему лукавству в полном соответствии с характером своего народа, стал, наоборот, со слезами молить Цезаря не отпускать его: самый трон не так ему мил, как вид Цезаря. Цезарь успокоил плакавшего мальчика, слезы которого, однако, подействовали на него самого, и отпустил его к своим с обещанием скорого свидания, если его чувства действительно искренни. Тот, словно его выпустили из клетки на открытую арену, так энергично повел войну против Цезаря, что слезы, которые он обронил при прощании, были, очевидно, слезами радости. Многие легаты, друзья, центурионы и солдаты Цезаря радовались случившемуся, именно тому, что над чрезмерной добротой Цезаря насмеялся лукавый мальчик, словно Цезарь в данном случае действовал только под влиянием доброты, а не из высших практических соображений.

Получив теперь вождя, александрийцы стали, однако, замечать, что ни сами они не сделались сильнее, ни римляне слабее; кроме того, к их великому огорчению, солдаты начали издеваться над юностью и слабостью царя. Убеждаясь в безуспешности всех своих действий и ввиду возникающих слухов, что к Цезарю идут сухим путем сильные подкрепления из Сирии и Киликии (о чем, однако, сам Цезарь еще не слыхал), они решили перехватить провиант, который шел морем к римлянам. Поэтому, расставив на карауле у Канопа в удобных местах готовые к плаванию суда, они подстерегали наших и их транспорт. Как только об этом дали знать Цезарю, он приказал изготовить и снарядить весь флот, а командование над ним поручил Тиберию Нерону. В этой эскадре были и родосские корабли под командой Эвфранора, без которого не обходилось ни одно морское сражение и ни одно не оканчивалось с малым успехом. Но судьба, которая обыкновенно приберегает для взысканных ее милостями более суровые удары, на этот раз сопутствовала Эвфранору совсем не так, как в прежние времена. А именно, когда корабли дошли до Канопа и оба флота, выстроившись, вступили в бой, Эвфранор, по своему обыкновению, первый завязал сражение, причем протаранил и пустил ко дну неприятельскую квадрирему. Но когда он погнался слишком далеко за другой, а остальные корабли недостаточно быстро за ним после-

довали, то его окружили александрийцы. Помощи ему не подал никто — может быть, потому, что ввиду его храбрости и счастья считали его самого достаточно сильным, а может быть, и потому, что боялись за себя. Таким образом, тот, кто один из всех в этом сражении отличился, тот один и погиб со своей победоносной квадриремой»[21].

Похвалой отважному Эвфранору заканчивается описание морского сражения под Канопом. Об исходе сражения автор не пишет. Если последнюю фразу приведенного отрывка понимать буквально, то можно подумать, что результат сражения был неблагоприятным для римлян. Между тем другие источники сообщают, что Цезарю удалось сохранить выход к морю и подвоз продовольствия не был прерван. Светоний утверждает, что римские корабли одержали победу благодаря своему командиру Тиберию Нерону. Рассказывая о битве под Канопом, автор «Александрийской войны», по-видимому, дал волю своим личным симпатиям и антипатиям; он, несомненно, был близким другом Эвфранора, поэтому он восхваляет и превозносит его даже в ущерб Тиберию. (Кстати, Тиберий был отцом того Тиберия Нерона, который через шестьдесят лет стал римским императором.)

ПОДКРЕПЛЕНИЯ

По тогдашнему календарю был февраль или март 47 года. Бои шли уже почти полгода, но не принесли ни одной из сторон решительного перевеса. Несмотря на прибытие 37-го легиона, осажденные по-прежнему нуждались в подкреплениях. В результате постоянных стычек на суше и на море войска Цезаря понесли большой урон.

К счастью, слухи, которые еще раньше доходили до жителей Александрии, оказались правдивыми. К защитникам дворца приближалась помощь. Вдоль палестинского побережья по суше шли подкрепления из Сирии и Киликии. И вот что удивительно — это не были римские легионы! В состав разноязычного войска входили сирийские, финикийские, арабские, греческие, иудейские отряды; собственно римлян там было немного. Жители стран и городов, расположенных между Евфратом и Синайским полуостровом, посылая помощь Цезарю, заботились главным образом о том, чтобы заслужить благодарность повелителя Рима. Правда, известную

роль могла сыграть и всеобщая в тех местах ненависть к египтянам.

Войско, шедшее на помощь Цезарю, организовал и возглавлял тоже неримлянин. Это был Митридат, родившийся в прославленном городе Малой Азии — Пергаме. В нем текла кровь иранская, греческая, а по матери даже кельтская. Митридат рос и воспитывался при дворе царя Понта, которого тоже звали Митридатом. Обе семьи, понтская и пергамская, были связаны родством. Царь Понта трижды воевал с Римом; в результате третьей войны он лишился своего царства и бежал в Крым, где, покинутый всеми, покончил с собой. Его юный воспитанник, Митридат из Пергама, примирился с господством римлян. Когда в Риме вспыхнула гражданская война, он, как все на Востоке, оказался в лагере Помпея. Поэтому позднее, после поражения Помпея, он усердно старался заслужить милость победителя. Митридат примкнул к Цезарю и, преследуя Помпея, осенью 48 года прибыл в Александрию. Очевидно, он сумел завоевать доверие Цезаря, потому что уже в самом начале военных действий в Египте полководец именно его послал за подкреплениями. Митридат оказался наиболее надежным из всех, в том числе и римских, друзей диктатора. Вот почему горячо преданный Цезарю автор «Александрийской войны» не жалеет самых лестных эпитетов при всяком упоминании о царевиче из Пергама. Но полным молчанием он обходит заслуги Антипатра из Иудеи. Между тем Антипатр во главе тысячи пятисот латников присоединился к корпусу Митридата и первым ворвался на стены крепости Пелусий. А позднее, когда войска шли по территории Египта, он склонял на сторону римлян иудейское население страны. Антипатр действовал так же, как восемь лет назад, когда помог Габинию восстановить на троне Авлета.

Из Пелусия Митридат не пошел прямо в Александрию, чтобы избежать бесчисленных каналов и болот. Он выбрал кружной, более длинный, зато и более легкий путь. Продвигаясь вдоль восточного берега Нила, он достиг места, где река разделяется на два рукава, то есть начала дельты. В окрестностях города Мемфиса войско Митридата переправилось на противоположный берег и вдоль западного рукава Нила направилось к Александрии. По пути Митридат одержал победу над сильными отрядами египетской армии. Известие об этом очень скоро дошло и до Птолемея, и до Цезаря. Понимая, что исход войны зависит от того, удастся ли осаж-

денным соединиться с подкреплениями, оба поспешно выступили из Александрии. Несмотря на то что царь воспользовался более коротким путем — он двинулся в верховья Нила на кораблях, а Цезарь шел по суше,— диктатору все же удалось опередить Птолемея и вовремя соединиться с войском Митридата.

ГИБЕЛЬ ЦАРЯ

«Царь стоял со своим войском на позиции, укрепленной от природы: она лежала высоко над всей окрестной долиной (которая повсюду шла под ней) и была различным образом прикрыта с трех сторон: один бок примыкал к реке Нилу, другой поднимался высоко вверх и образовывал часть лагеря, третий был окружен болотом.

Между лагерем и дорогой, которой шел Цезарь, была узкая река с очень высокими берегами, впадавшая в Нил и находившаяся от царского лагеря приблизительно в семи милях. Когда царь узнал, что Цезарь идет этим путем, он послал к этой реке всю конницу и отборных пехотинцев в боевой готовности, чтобы помешать Цезарю переправиться через реку и начать с ее берегов бой издали, невыгодный для неприятеля, так как храбрость не могла тогда иметь никакого успеха, а трусость не подвергалась никакой опасности. Наши солдаты и всадники были очень огорчены тем, что им слишком долго приходится вести с александрийцами борьбу, для обеих сторон безрезультатную. И вот часть германских всадников, рассеявшись на поиски брода на реке, переплыла ее там, где берега были ниже; одновременно с ними легионеры срубили большие деревья, длины которых хватало от берега до берега, спустили их в реку, поспешно засыпали и по ним перешли на другой берег. Неприятели до того испугались их атаки, что стали искать спасения в бегстве. Но это было напрасно: лишь немногие из бежавших к царю спаслись, а почти вся остальная масса была перебита.

После этого блестящего дела Цезарь решил нагнать страху на александрийцев самой внезапностью своего приближения и тотчас же после победы двинулся против лагеря царя. Но ввиду того, что лагерь был укреплен сильными верками и валом, а также самим местоположением, а вал был занят густыми массами вооруженных людей, Цезарь не захотел немедленно вести на штурм своих утомленных походом и боем солдат и раз-

бил свой лагерь на некотором расстоянии от неприятеля. На следующий день он двинулся со всеми силами в атаку и взял тот форт, который царь укрепил в ближайшем к своему лагерю селении, и с целью удержания этого селения соединил его боковыми шанцами с лагерными верками. Конечно, этого результата нетрудно было бы достигнуть и при меньшем числе солдат, но главной целью Цезаря было воспользоваться вслед за победой паникой александрийцев и немедленно двинуться на штурм царского лагеря. Таким образом, наши солдаты тем же беглым маршем, которым они преследовали бегущих александрийцев от форта до лагеря, подошли к лагерным укреплениям и начали ожесточенный бой издали. Приступить к штурму они могли с двух сторон: там, где, как я указал, был свободный подход к лагерю, и, во-вторых, там, где между лагерем и рекой Нилом был небольшой промежуток. Ту сторону, где подход был наиболее легким, защищали главные, и притом отборные, александрийские силы; равным образом и оборонявшиеся в районе реки Нила с полным успехом отбивались от наших и наносили им большие потери, так как обстреливали нас с двух противоположных сторон — по фронту с лагерного вала, а в тылу со стороны реки, на которой стояло много их кораблей с пращниками и стрелками, бившими в наших.

Цезарь видел, что его солдаты сражались как нельзя более храбро и все-таки дело мало подвигалось вперед вследствие топографических затруднений. Но вот он заметил, что самый высокий пункт лагеря оставлен александрийцами, ибо он представлялся им вполне защищенным от природы, и его защитники быстро сбежали вниз к месту сражения из желания принять участие в битве, а отчасти из любопытства. Тогда он приказал трем когортам под командой Карфулена, отличавшегося своей храбростью и знанием военного дела, обойти лагерь и атаковать тот высокий пункт. Когда наши солдаты появились там и вступили в ожесточенный бой с немногими защитниками укрепления, то александрийцы, устрашенные криком и атакой с двух противоположных сторон, стали суетливо бегать по лагерю во всех направлениях. Это замешательство неприятелей до такой степени возбудило боевой пыл у наших, что они со всех сторон пошли в атаку: между тем передовые отряды уже занимали самый высокий пункт лагеря и, сбегая оттуда, перебили множество врагов в лагере. Большая часть александрийцев, спасаясь от них, тол-

пами бросилась вниз с вала в ту часть лагеря, которая примыкала к реке. Передавив своей массой в самом рву укрепления первых из спасавшихся, остальные облегчили этим себе бегство. Известно, что царь также бежал из лагеря и спасся на одном из кораблей; но последний затонул вместе с царем от множества людей, старавшихся доплыть до ближайших судов»[22].

Короткое сообщение о гибели юного царя можно дополнить сведениями из других античных авторов. Правда, упоминания об этом скупы, а порой и противоречивы. По Плутарху, «царь пропал без вести». Другие авторы утверждают, что тело царя после битвы было найдено в речном иле и опознано благодаря золотым доспехам, которые Цезарь позднее показал александрийцам как доказательство своей окончательной победы[23].

РАСПОРЯЖЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

Цезарь возвращался в Александрию не тем обходным путем, каким шел на соединение с Митридатом. Сейчас он двигался к городу кратчайшей дорогой и вступил в те кварталы, которые находились в руках неприятеля. Он рассчитывал, что, узнав о поражении своих войск и смерти царя, испуганные жители Александрии не будут даже помышлять о сопротивлении. Полководец был настолько уверен в этом, что ехал во главе конницы впереди главного корпуса армии.

И он не обманулся в своих предположениях. Толпы горожан вышли ему навстречу. Они бросали оружие и покидали укрепления, которые так долго и с таким упорством обороняли. Александрийцы надели одежды, в которых молящие обыкновенно просят о милосердии; в большой процессии они несли все свои святыни и предметы культа — так египтяне обычно делали в моменты бедствий или торжеств.

Таким образом, прямо через неприятельские укрепления Цезарь вступил в город и вошел в ту его часть, где находился царский дворец и где он так долго выдерживал осаду. Соотечественники и сподвижники с энтузиазмом приветствовали его.

Это было 27 марта 47 года до н. э.

Вскоре диктатор сообщил свое решение о будущем Египта. Многие египтяне и римляне думали, что эта богатая и мятежная страна станет новой провинцией Рим-

ской державы. Ведь подобные планы обсуждались в Риме много лет и выдвигал их не кто иной, как Цезарь! А поскольку последние события показали, как египтяне ненавидят римлян, не было никаких оснований сохранять их политическую независимость. Но победитель проявил поразительное милосердие.

Прежде всего он подтвердил, что завещание Птолемея XII сохраняет свою силу для римского народа, а следовательно, и для него как представителя этого народа. Трагическая гибель молодого царя Птолемея XIII, естественно, заставляет внести в него некоторые изменения. Супругом и соправителем Клеопатры станет ее младший, десятилетний брат, а воевавшая против своей сестры царевна Арсиноя покинет Египет и отправится в Рим. Согласно обещанию, данному несколько месяцев назад, Кипр будет возвращен Птолемеям.

Что же явилось причиной столь милостивого отношения Цезаря к стране, в которой он едва не погиб?

КЛЕОПАТРА И ВОЙНА

Автор «Александрийской войны» упоминает о Клеопатре только в одном месте, когда говорит, что после своей победы Цезарь возвел на царский престол младшего сына Птолемея и его старшую дочь Клеопатру, «которая сохранила верность ему и всегда оставалась в его ставке» [24].

Таким образом, он, как и Цезарь, хранит деликатное молчание о поступках и роли царицы во время многомесячной осады.

Однако совершенно очевидно, что Клеопатра не могла оставаться пассивным наблюдателем разыгравшихся вокруг драматических событий. Ведь эта война велась ради нее и решала ее участь. В те дни, когда горстка римлян с огромным напряжением отражала атаки десятков тысяч жителей Александрии и солдат Ахиллы и Ганимеда, не только судьба трона, но и сама жизнь царицы была в опасности. С каким же трепетом должна была она следить за перипетиями кровавых стычек на улицах города и в порту! Вместе со всеми она ждала вестей о подкреплениях, тревожилась, когда Цезарь предпринимал особенно смелые вылазки: в Западный порт, где он едва не погиб; на полуостров Херсонес, где находился 37-й легион; в глубь страны, куда он направился на соединение с корпусом Митридата. Только та-

кими и могли быть чувства Клеопатры. Но каковы были ее поступки? Не включалась ли она сама в различного рода интриги и политическую борьбу? Ведь война двух лагерей в Александрии велась не только на городских укреплениях и кораблях! Эти и подобные вопросы остаются без ответа из-за отсутствия не только каких-либо данных, но даже и косвенных указаний в источниках. И все же поставить их следует.

Как отнеслась Клеопатра к бегству своей сестры Арсинои в лагерь неприятеля? Было ли это для нее полной неожиданностью? А может быть, она заранее знала обо всем, но молчала или даже тайно помогала сестре выбраться из дворца, скрыв свое участие как от римлян, так и от самой Арсинои? В этом не было бы ничего удивительного. Избавляясь от сестры, Клеопатра одновременно компрометировала ее в глазах Цезаря и устраняла возможную претендентку на престол. В честолюбии дочери Птолемея ничуть не уступали друг другу. Обе были способны на любое преступление в борьбе за власть. Арсиноя доказала это во время столкновения с Ахиллой, которого она убрала при помощи наемных убийц. Вот почему, отправив царевну после своей победы в Рим, где она должна была украсить его триумф, Цезарь подверг ее унижению, но вместе с тем спас Арсиное жизнь. Нетрудно догадаться, что́ было бы с Арсиноей, останься она в Египте на милость своей сестры.

А смерть Потина? Воспитатель юного Птолемея XIII с самого начала был врагом Клеопатры, непримиримым и коварным. Именно он — подлинный виновник ее изгнания. Царица, несомненно, приложила все усилия, чтобы разоблачить, а может быть, и опорочить Потина в глазах римлян. Цезарь пишет, что приказал убить Потина, потому что перехватил его тайных послов к Ахилле и понял, что тот строит козни. Нет оснований подвергать сомнению это сообщение Цезаря. Но каково было участие Клеопатры в разоблачении происков Потина?

Цезарь и его люди не ориентировались в дворцовых интригах, не знали города, не понимали его жителей и их обычаев. Без активной помощи друзей Клеопатры разобраться в поведении Потина было бы нелегко. Вполне возможно, что некоторые улики против него были попросту подделаны царицей.

Остается вопрос об освобождении молодого царя и переходе его в лагерь александрийцев. Трудно себе представить, чтобы в столь важном вопросе диктатор обошелся без совета Клеопатры. Все-таки речь шла о ее

брате, супруге и соправителе! Здесь вновь возникают подозрения, подобные тем, какие связаны с бегством Арсинои. Царица как будто предвидела, что, оказавшись на свободе, Птолемей предаст римлян. А может быть, именно этого она и хотела? Цезаря могли растрогать и ввести в заблуждение слезы мальчика. Но Клеопатра, женщина, родившаяся и выросшая в Александрии, воспитанная в атмосфере дворцовых интриг и преступлений, не могла думать об этой сцене иначе, как с иронической улыбкой. И все же она не пыталась рассеять заблуждение диктатора. Как знать, может быть, она даже хлопотала за Птолемея и старалась убедить Цезаря поверить ему. С точки зрения своих интересов она поступала правильно, стараясь раз и навсегда избавиться от мешавшего ей спутника жизни.

23 июня 47 года, через неполных три месяца после окончания Александрийской войны, Клеопатра родила сына. Как и следовало ожидать, мальчика назвали Птолемеем. Он должен был стать пятнадцатым представителем династии. Было у ребенка и второе имя — Цезарь, а позднее по распоряжению матери он приобрел два благородных титула: Филопатор и Филометор[25]. Александрийцы же называли его насмешливо и просто: Цезарион (Цезаренок).

Три года спустя, уже после смерти диктатора, его близкий друг, Марк Антоний, официально заявил в сенате, что Цезарь признал ребенка Клеопатры своим. Правда, по прошествии немногим более десяти лет в Риме появился документ, в котором решительно опровергалось отцовство Цезаря. Но это было уже в тот период, когда официальная пропаганда всячески старалась изобразить Клеопатру врагом Рима и по соображениям большой политики нужно было оспаривать то, что диктатор мог когда-либо поддаться чарам царицы Египта. Но если не Цезарь, то кто мог быть отцом Птолемея Цезаря? Ведь не брат и супруг Клеопатры — Птолемей XIII, против которого она воевала с весны 48 года! И тем более не другой ее брат, Птолемей XIV, супругой которого по воле Цезаря она стала весной 47 года, когда мальчику было не больше одиннадцати лет!

Даты и факты говорят о том, что ни грохот войны, ни дворцовые интриги не помешали любви Цезаря и Клеопатры. Это чувство возникло в тот момент, когда перед изумленным диктатором из мешка с постелью выскользнула юная девушка, и не угасло, когда в конце марта 47 года на улицах Александрии смолк звон оружия.

ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА ВЕСНОЙ 47 ГОДА

Цезарь, «покончив со всеми делами и устроив их указанным образом... отправился сам сухим путем в Сирию»[26].

Так заканчивается рассказ о войне в Александрии. Перед этим автор «Александрийской войны» сообщил о том, что Цезарь передал царскую власть Клеопатре и ее младшему брату. Таким образом, у читателя создается четкое представление о событиях. Цезарь победил, дал Египту правительство, гарантирующее лояльность по отношению к Риму, и после этого сразу покинул страну. Затем говорится о положении в других странах. Повсюду: в Малой Азии, Иллирии, Испании, Африке и в самой Италии — дела принимали неблагоприятный для Цезаря оборот. Особенно опасная ситуация создалась в Малой Азии. Сын Митридата Великого, Фарнак, задумал вернуть давние владения своего отца. Казалось бы, получив столь тревожные известия, диктатор должен был немедленно покинуть Египет, где он и так провел без крайней необходимости много драгоценных месяцев, и поспешить в Малую Азию. Как же поступил Цезарь? Уехал ли он из страны, где пережил необыкновенные дни, заполненные войной и любовью? Может быть, автор «Александрийской войны» из уважения к полководцу обошел молчанием какой-то эпизод его жизни?

Весной 47 года Цицерон находился в итальянском порту Брундизий. Как и все в Риме, он с нетерпением ждал вестей с Востока. Великий оратор уже отчасти примирился с Цезарем и даже считал, что при сложившихся обстоятельствах его возвращение в Италию весьма желательно. Но вéсти из Египта были скудны и приходили с большим опозданием. Последнее полученное в Италии письмо от Цезаря было датировано декабрем 48 года. В конце апреля или в начале мая 47 года в Риме стало известно, что бои в Александрии прекратились. А Цезарь все не возвращался. В письме к своему другу Аттику Цицерон язвительно заметил: «Ведь он, по-видимому, удерживает Александрию так, что ему даже совестно писать о том...»[27] Эта фраза звучала нарочито двусмысленно. И лишь 5 июля Цицерон пишет: «Есть слух, что он выехал из Александрии,— ненадежный, возникший на основании письма Сульпиция. Впоследствии его подтвердили все посланцы»[28].

Поскольку письма из Египта в Рим шли около месяца, можно предположить, что Цезарь выехал из Александрии в начале июня. Так в действительности и было. В одной хронике есть указание о том, что Цезарь прибыл в Антиохию 28 июня. Значит, между окончанием войны и отъездом диктатора из Египта прошло больше двух месяцев! Слишком много для того, чтобы отдать распоряжения! Что же делал Цезарь все эти дни, когда во многих странах с нетерпением ожидали его возвращения? И почему автор «Александрийской войны» даже не упомянул о таком большом отрезке времени?

Ответы на эти вопросы мы находим в других источниках, которые сообщают, что Цезарь и Клеопатра совершили двухмесячное путешествие на корабле в верховья Нила. Диктатора и царицу сопровождал флот, состоявший из четырехсот кораблей и лодок. Они доплыли до самых отдаленных южных областей. Их главной целью был осмотр великих памятников египетской старины. Цезарь и Клеопатра плыли на одном корабле.

Мы можем с большой точностью проследить по карте основные этапы этой прекрасной прогулки, любовной и познавательной в одно и то же время.

Немало памятников египетской архитектуры и скульптуры сохранилось до наших дней почти в том же виде, в каком они были при Цезаре и Клеопатре. Многое было разрушено на протяжении двадцати веков, но сохранившиеся следы и подробные описания позволяют восстановить утраченное.

Ни время, ни человеческие усилия не смогли нанести сколько-нибудь заметного ущерба гигантским пирамидам. Они стоят по сей день, такие же недосягаемые и величественные, как тогда, когда у их подножия стояли диктатор и царица. Но чтобы осмотреть пирамиды, нужно было остановиться в Мемфисе. Здесь высоких гостей непременно должен был приветствовать верховный жрец Пшерени-Птах, который около тридцати лет назад, еще мальчиком, короновал отца Клеопатры — Птолемея Авлета. Нынешний год был для него таким же счастливым и удачным, как и тот, тридцать лет назад. Во-первых, его город удостоили посещением египетская царица и римский диктатор. А во-вторых, верховному жрецу явился во сне сын божий, Имхотеп, пообещавший ему долгожданного сына, если в его храме будут выполнены художественные работы. Этому Пшерени-Птах радовался больше всего. Жена верховного жреца как раз ждала ребенка.

ИМХОТЕП, ЯВИВШИЙСЯ ВО СНЕ

У бога, оказавшего такую милость верховному жрецу, было необыкновенное прошлое. За двадцать семь веков до описываемых событий в Египте жил человек из плоти и крови по имени Имхотеп. Он был визирем фараона Джосера. Неподалеку от Мемфиса, в городе Саккара, этот знаменитый человек, который был не только мудрецом, но и великим зодчим, построил для своего господина гробницу, вызвавшую всеобщее изумление и восторг. Ступенчатая пирамида Джосера стоит по сей день. Ее форма — переходная от древнейших царских усыпальниц к собственно пирамидам. Она построена не из кирпича, как было принято в Египте до того, а из громадных глыб отесанного камня.

В последующие века слава Имхотепа непрерывно росла. В представлении потомков он сделался великим мудрецом, владеющим многими искусствами. Затем этого замечательного человека стали отождествлять с богом Птахом, изобретателем и покровителем разных ремесел, и в конце концов он был признан сыном бога Птаха, а следовательно, тоже богом. При этом египтяне никогда не забывали имен его смертных родителей.

К ремеслам в те времена причисляли и медицину (если вдуматься, не без оснований), а Имхотеп считался покровителем врачей и богом-исцелителем. В более позднее время ему поклонялись прежде всего как божеству врачевания. К храму Имхотепа, расположенному около Мемфиса, неподалеку от уже известного нам Серапейона, стекались толпы паломников и страждущих. Храмы этого бога возникали и в других областях Египта. Его приверженцев мы уже встречали, например, в Фивах. Завоевав Египет, греки сразу признали Имхотепа одним из воплощений своего бога-врачевателя Асклепия и стали почитать его так же ревностно, как автохтоны. Они только изменили его имя на Имутес.

Приверженцы Имхотепа — Асклепия часто проводили ночи в его храмах. Бог являлся им во сне, давал советы, возвещал свою волю и даже делал операции. Сохранилось слишком много свидетельств людей, которые видели бога и были чудесным образом исцелены, чтобы можно было все их отбросить как выдумки. Скорее следует предположить, что жрецы подвергали больных гипнозу или усыпляли их при помощи наркотиков и после этого осуществляли различные процедуры.

По-видимому, при Птолемеях появился трактат на

египетском языке, в котором прославлялись могущество и великие деяния бога Имхотепа. Несколько позже некий грек, живший, очевидно, в Мемфисе, решил перевести это небольшое произведение на свой родной язык, чтобы слава Имхотепа ширилась по всему свету. Однако, как признается автор в предисловии, частично сохранившемся на свитке папируса, он встретился с большими трудностями:

«Не раз собирался я начать работу над переводом. И когда работа бывала уже в самом разгаре, значительность задачи сдерживала мой пыл. Потому что только боги, а не смертные люди могут славить деяния богов».

Так он и откладывал исполнение своего благочестивого намерения. Длилось это три года. Между тем, читаем мы дальше, начали происходить необыкновенные вещи:

«В течение этих трех лет моя мать очень страдала от лихорадки, посланной богом. Хоть и поздно, но мы поняли наконец, что́ нужно делать, и предстали перед ним, моля о спасении. Он же, милостивый ко всем, явился к больной во сне и вылечил ее при помощи простых снадобий. Мы поблагодарили своего избавителя и принесли по обычаю жертву. Вскоре после этого у меня внезапно сделалась боль в правом боку. Я не откладывая поспешил к покровителю всех людей. Он же, милосердный, еще раз проявил свою особенную доброту.

Была ночь. Спало все живое, кроме страждущих существ. Меня мучила лихорадка. Я бился в конвульсиях, терзаемый удушьем и кашлем, причиной которых была боль в правом боку. Голова была тяжелая, смертельно измученный, я уже засыпал. Моя мать сидела рядом, не давая себе ни минуты отдыха. Она страдала вместе со своим ребенком; вообще у нее от природы было доброе сердце. И тогда она совершенно неожиданно увидела призрак. Это был не сон и не ночное видение, потому что глаза ее были все время открыты. Она не могла видеть все с полной ясностью, ибо появление бога наполнило ее ужасом. Она увидела самого бога или его слугу. Он был ростом намного выше человека, одет в наряд тонкий и сверкающий; в левой руке его была книга. Он только оглядел меня с головы до пят два или три раза, а потом исчез.

Когда мать пришла в себя, она стала меня будить, хотя сама все время дрожала. С изумлением она обнаружила, что лихорадка совершенно прошла и что я весь обливаюсь по́том. Она воздала почести явившемуся ей

богу. Потом вытерла меня, и я сразу почувствовал себя лучше.

Она начала рассказывать мне о чудесном случае, но я ее опередил и сам подробно рассказал обо всем, что она видела. Ибо то, что она видела как явь, для меня было сном, который мне как будто приснился»[29].

ПРОГУЛКА НА КОРАБЛЕ В ВЕРХОВЬЯ НИЛА

Во время своего пребывания в Мемфисе Клеопатра и Цезарь, несомненно, осмотрели все наиболее значительные храмы, расположенные как в самом городе, так и в его окрестностях. Они побывали в храмах Имхотепа, Птаха, быка Аписа. Следуя примеру Александра Великого, Цезарь воздал почести священному животному. Вскоре стало очевидно, что уже тогда у него было намерение и в остальном идти по стопам завоевателя мира.

Серапейон тоже, по-видимому, принимал высоких гостей. Надо сказать, что цари из династии Птолемеев бывали там часто, а некоторые даже по многу раз.

Следующим важным этапом путешествия был Фаюмский оазис. В глубокой древности, почти за двадцать веков до Клеопатры, фараоны XII династии строили здесь свои дворцы, храмы, пирамиды. Как мы помним, Фаюм был центром культа бога-крокодила Суха. Во времена Клеопатры древнейшие памятники архитектуры в Фаюме, вероятно, еще имели величественный вид. В отличие от других областей Египта, где строили преимущественно из камня, здесь наиболее распространенным материалом был необожженный кирпич — очевидно, поэтому сейчас от прекрасных сооружений остались лишь жалкие обломки.

Верхний Египет, узкая и длинная долина Нила, зажатая в тиски пустынями и скалами, был буквально усеян великолепными памятниками архитектуры и скульптуры. По обоим берегам Нила высились храмы различных богов, расширявшиеся и украшавшиеся многими поколениями правителей и почитателей. На то, чтобы побывать во всех достойных внимания местах, потребовались бы месяцы и годы. Но в таком городе, как Абидос, нельзя было не остановиться, потому что там хранилась одна из священнейших реликвий египет-

ского культа — голова бога Осириса, убитого и четвертованного Сетом и воскресшего благодаря своей жене и сестре Исиде. В Храме Осириса в Абидосе происходили особо торжественные религиозные церемонии, привлекавшие многочисленных паломников. Не только фараоны, но и простые смертные стремились построить здесь свой алтарь и даже еще одну, вторую гробницу, пусть даже пустующую. По египетским верованиям, благодаря особой милости бога это облегчало воскрешение в далекой стране на Западе, в царстве Осириса. Однако при последних Птолемеях процветание Абидоса ушло в прошлое. В городе больше не возводили новых строений и даже не старались сохранить старые. Тем не менее накопленные здесь веками произведения искусства попрежнему вызывали восхищение.

В отличие от Абидоса расположенная к югу от него Дендера наивысшего расцвета достигла именно при Птолемеях и благодаря царям этой династии. В Дендере находился большой храм богини любви, танцев и музыки Хатхор. Этот храм был восстановлен и расширен при Авлете десять лет назад, но мелкие работы, главным образом декоративные, велись здесь и позднее, в период Римской империи. Греки отождествляли Хатхор с Афродитой, несмотря на то что в ряде областей Хатхор изображалась с головой коровы или просто в виде коровы и считалась покровительницей кладбищ.

Однако ничто из виденного Клеопатрой и Цезарем по грандиозности и великолепию не могло идти ни в какое сравнение с храмами Амона в Фивах. Мы уже говорили об этих храмах, а также о том, что в первый год своего царствования Клеопатра побывала в Фивах и сопровождала священного быка Бухиса до Гермонтиса. Сейчас она приехала сюда вторично.

На западном берегу Нила, неподалеку от Фив, находился «город мертвых». У подножий отвесных скал, сразу за которыми начиналась пустыня, в честь фараонов были воздвигнуты храмы. Мумии царей в роскошных саркофагах покоились в усыпальницах, вырубленных глубоко в скале. Первые Птолемеи построили здесь один из прекраснейших храмов Египта — святилище богини Хатхор. Но особое внимание привлекали две гигантские статуи высотой почти двадцать метров, которые изображали сидящего на троне фараона Аменхотепа III. Греки утверждали, что это памятники легендарному царю эфиопов Мемнону, погибшему под Троей от руки Ахилла, и называли их колоссами Мемнона.

Трудно сказать с уверенностью, наблюдалось ли уже во времена Клеопатры то необычное явление, которое позднее, в первые века империи, привлекало к колоссам толпы путешественников. Первое сообщение о «чуде» мы находим у Страбона, который, как уже говорилось, путешествовал по Египту через двадцать пять лет после Клеопатры. Он пишет:

«Из двух стоящих здесь поблизости друг от друга колоссальных статуй из цельного камня одна сохранилась, верхние части другой, начиная от седалища, как говорят, вследствие землетрясения обрушились. Есть поверье, что из части статуи, оставшейся на троне и на пьедестале, один раз ежедневно раздается звук, как бы от слабого удара. Когда я находился в этих местах вместе с Элием Галлом в большой свите его спутников — друзей и воинов,— мне также пришлось слышать звук около первого часа[30], однако я не могу определенно утверждать, исходил ли этот звук от пьедестала или от самого колосса или же его намеренно производил один из людей, стоящих вокруг и вблизи пьедестала. Ведь из-за того, что причина этого явления не ясна, приходится предполагать скорее все что угодно, чем то, что звук исходит из камней, сложенных таким образом»[31].

Однако скептицизм Страбона кажется неоправданным. До наших дней сохранились десятки нацарапанных на статуях надписей, которые единогласно — по-гречески и по-латыни — утверждают: я слышал Мемнона! Причина «чуда» была, по-видимому, весьма проста: в результате землетрясений камни внутри статуй дали трещины, и по утрам, когда температура резко менялась, выходящий из щелей воздух производил необычный звук.

Плывя дальше на юг, Цезарь и Клеопатра, очевидно, побывали в Гермонтисе, в храме священного быка Бухиса. По-видимому, этот храм заслужил особое расположение царицы, потому что позднее по ее приказу здесь был построен алтарь в честь жены бога Монта. Рельефы на стенах алтаря реалистически изображали роды богини. Этот сюжет не будет казаться случайным, если вспомнить, что Клеопатра посетила Гермонтис в последние месяцы беременности. Возможно, что алтарь построен во исполнение обета, данного ради благополучного разрешения от бремени.

Повсюду, где останавливался их корабль, царицу и диктатора приветствовало великое множество людей. При этом соблюдался установленный ритуал.

Царица была не только главой государства, но и живым божеством, олицетворением Исиды. Ей воздавались такие же почести, как величайшим богам Египта, в ее честь совершались жертвоприношения и курился фимиам, к ней были обращены молитвы и песнопения жрецов. В полумраке огромных храмов, вознесенная высоко над толпами смертных, фигура царицы излучала сияние. В сердце римлянина, на глазах у которого впервые в его жизни воздавались такие почести человеку-богу, невольно зарождалась мысль: не придать ли и ему своей власти подобный ореол божественности?

РИМСКИЙ ГАРНИЗОН

Когда Цезарь уехал, Клеопатра осталась царствовать одна — ее десятилетнего брата никто не принимал всерьез. Наконец она добилась того, к чему упорно стремилась столько лет! Осуществились ее честолюбивые мечты о нераздельной власти! Но какой ценой! В результате многомесячной войны была разрушена столица и окончательно пришло в упадок хозяйство страны, которое и прежде было далеко не в цветущем состоянии. Александрийцы считали, что Клеопатра осталась царицей только по милости иностранной державы и сохраняет трон исключительно благодаря стоящим в стране чужеземным войскам. Возможно, что за пределами Александрии народ относился к царице иначе, но в целом египтяне проявляли полное равнодушие ко всяким переменам в столице, потому что жизнь населения не стала лучше оттого, что царствовал не Птолемей XIII, а Клеопатра и Птолемей XIV. Некоторой симпатией царица, по-видимому, пользовалась только среди части знатных египтян и жрецов. Этого она добилась, оказывая особое покровительство культу богини Исиды.

Цезарь оставил в Египте три легиона, которые являлись живым напоминанием о поражении и самим фактом своего присутствия разжигали ненависть населения к царице, не говоря уже о том, что они представляли обузу для государственной казны. Но у диктатора были достаточно веские причины, чтобы расквартировать эти войска на берегах Нила. Автор «Александрийской войны» пишет об этом без обиняков: Цезарь хотел, «чтобы новые цари укрепили этим свою власть, ибо они не могли обладать ни любовью своих подданных, как верные приверженцы Цезаря, ни упрочившимся авторитетом,

как возведенные на трон несколько дней тому назад. Вместе с тем он считал вполне согласным с достоинством римской власти и с государственной пользой — защищать нашей военной силой царей, сохраняющих верность нам, а в случае их неблагодарности той же военной силой карать их» [32].

Командиром легионов в Египте Цезарь назначил Руфиона, сына своего отпущенника, то есть человека, стоявшего на общественной лестнице лишь на одну ступеньку выше раба. Многие римляне считали это неслыханным вызовом со стороны диктатора. Испокон веков, с тех пор как существовала Римская республика, незыблемый обычай требовал, чтобы даже отдельными легионами командовали граждане из высших слоев общества. Такое назначение могло оскорбить и царицу.

Но диктатор знал, что делает. Руфион принадлежал к его дому, к «фамилии», он был так тесно связан со своим патроном, что не могло быть и речи о каком-либо предательстве. Низкое происхождение военачальника исключало опасность того, что он будет пытаться проводить свою собственную политику. Если же в такой богатой стране, как Египет, во главе целых трех легионов оказался бы человек знатного происхождения, с весом и влиянием в столице, нельзя было быть уверенным, что он не захочет самостоятельно решать многие вопросы, а при известных условиях даже начать войну против Цезаря. Диктатор сам показал пример того, как при помощи нескольких легионов можно добиться господства над всей державой. Скромный домочадец был наиболее безопасен и в отношении Клеопатры. Римский аристократ наверняка смело поглядывал бы на царицу, а может быть, привлек бы и ее внимание. Сын отпущенника в этом смысле не вызывал подозрений.

В конечном счете самовластное правление, которого так добивалась Клеопатра, оказалось фикцией. Какая же это независимость, если приходится считаться с предводителем чужеземной армии в собственной стране? Прежде ей мешал упиваться неограниченной властью Потин, человек, воспитанный при александрийском дворе и по-своему безусловно преданный государству и династии. А сейчас царице приходилось думать о том, как бы не обидеть Руфиона, римлянина, который заботился только об интересах своей страны и своего патрона.

ТРИУМФЫ ЦЕЗАРЯ

В Египте было много нерешенных проблем. Прежде всего нужно было залечить раны, нанесенные войной, оздоровить экономику, восстановить доверие населения к царице. Однако создается впечатление, что Клеопатра совсем не думала обо всем этом. Выше всех своих обязанностей и задач она ставила одну цель — сохранить любовь Цезаря! Ничем иным нельзя объяснить тот факт, что уже через год после расставания с диктатором Клеопатра покинула свое царство и поплыла в далекую Италию, в Рим, чтобы пробыть там почти два года.

Что касается Цезаря, то после отъезда из Александрии он добился больших военных успехов. В 47 году он разгромил армию Фарнака в Малой Азии. Царство Фарнака в Крыму досталось Митридату из Пергама, который, как мы помним, очень отличился, придя на помощь Цезарю во время Александрийской войны. Но Митридат недолго наслаждался властью, очень скоро он был убит врагами. После победы над Фарнаком диктатор ненадолго вернулся в Рим и затем снова отправился в поход, на этот раз в Африку, где находилась преданная сенату сильная армия. В результате продолжительной военной кампании Цезарь одержал победу и весной 46 года въезжал в Рим как триумфатор. В течение одного месяца Цезарь отпраздновал четыре триумфа!

Первый и самый блистательный триумф был посвящен завоеванию Галлии в 58—50 годах. В процессии во время триумфа Цезаря шел пленный вождь галлов Верцингеториг, которого затем, согласно обычаю, задушили в подземной тюрьме. Жителей Рима поразила необыкновенная иллюминация: вечером, когда Цезарь поднимался на Капитолий, путь ему освещало множество факелов, установленных на спинах слонов[33].

Следующий, египетский триумф вызвал смешанные чувства — ликование по поводу того, что прекраснейший город мира покорился горстке римских солдат, и сострадание к царевне Арсиное, которая, как рабыня, шла вместе с Ганимедом перед колесницей победителя. Шествие украшали портреты Ахиллы и Потина. Несмотря на унижение, царевна могла считать себя счастливой: она осталась жива, хотя ей грозила участь Верцингеторига. Ганимед, вероятно, позднее был задушен.

Во время триумфального шествия легионеры распевали шутливые стихи про Цезаря и Клеопатру. Согласно древней римской традиции в день триумфа солдаты

могли как угодно высмеивать своего полководца. В основе этого обычая лежало, по-видимому, старинное суеверие: насмешки над триумфатором отвращали от него зависть богов. Песенки о диктаторе и царице не дошли до нас, но, судя по содержанию и тону подобных сочинений, которые сохранились в отрывках, они были весьма фривольными. «Берегите своих жен, граждане,— мы везем лысого бабника». Или что-нибудь в этом роде.

Народу нравилось, что достигший вершин славы и могущества Цезарь с юмором относился к шуткам. Нет уверенности, что так же добродушно их воспринимала Клеопатра.

Третий триумф Цезаря — по поводу победы над Фарнаком — сохранился в памяти людей главным образом благодаря огромной таблице, на которой были начертаны три слова: «Veni — vidi — vici»[44]. Так Цезарь сообщил сенату о своей победе в Малой Азии.

Наконец, в четвертом, африканском, триумфе самой любопытной была деталь, о которой полководец старался не упоминать. Все знали, что в Африке Цезарь нанес поражение римским войскам. Однако официальным поводом для триумфа считалась победа над царем Нумидии — Юбой. Царь покончил с собой, а в шествии на Капитолий вели его маленького сына, тоже Юбу. Ребенку сохранили жизнь, он воспитывался в Италии, получил римское гражданство, а позднее, через двадцать лет, наследник Цезаря посадил его на мавретанский престол и дал в жены дочь Клеопатры.

Вполне возможно, что именно из-за этой войны Цезаря владычица Египта поспешила в Рим. Ее могли встревожить слухи о том, что во время кампании в Африке диктатор увлекся царевной Эвноей, дочерью мавретанского царя Богуда. Безусловно, Клеопатре необходимо было выяснить, следует ли ей принимать это увлечение всерьез. То обстоятельство, что Цезарь женат, ее не беспокоило. Жена диктатора, Кальпурния, несмотря на постоянные и откровенные измены мужа, любила его искренне и нежно. В этом отношении она резко отличалась от римских матрон, то и дело менявших мужей и еще чаще любовников.

КЛЕОПАТРА В РИМЕ

Официальной целью визита Клеопатры в Рим было заключение союзнического договора между двумя государствами. Поэтому царица прибыла в столицу вместе со своим братом, супругом и соправителем Птолемеем XIV, которому в ту пору было не больше двенадцати лет. Несмотря на то что в Египте стояли римские легионы, она не решилась оставить его там. Враги царицы могли выкрасть мальчика, объявить его единовластным правителем и снова довести дело до войны. С Клеопатрой был ее годовалый сын. Никто не сомневался, что это ребенок Цезаря, но официально об этом не говорилось.

Царская чета была принята с надлежащим почетом. Диктатор отдал в их распоряжение свою загородную виллу, расположенную в парке на правом берегу Тибра, на холме Яникул.

Египетская монаршая чета прибыла в Рим летом 46 года, после торжественных триумфов Цезаря. Их приезд был заранее продуман так, чтобы Клеопатре не пришлось присутствовать на празднествах, которыми ее гостеприимный хозяин и возлюбленный отмечал победу над Египтом. Она, конечно, только порадовалась бы, увидев свою сестру Арсиною в оковах. Но по политическим и светским соображениям ее избавили от этого зрелища.

Появление Клеопатры в столице Римского государства произвело сильное и очень неблагоприятное впечатление. Чего только не рассказывали об александрийском увлечении Цезаря! В памяти людей еще совсем свежи были солдатские шутки и песенки. Но празднество 26 сентября того же года вылилось в настоящий скандал.

В этот день Цезарь, занимавший высокую должность верховного понтифика, должен был открыть построенный на его средства храм Венеры Родоначальницы. Согласно старинной легенде, род Юлиев, к которому принадлежал и Цезарь, вел свое начало от богини любви. Обет о постройке этого храма Цезарь дал еще на полях под Фарсалом, накануне сражения с войсками Помпея. Вот что рассказывает об этом один из позднейших историков:

«Принося в полночь жертву Марсу, он взывал и к своей прародительнице Венере (весь род Юлиев, полагал он, происходит от Энея и его сына Ила, слегка из-

менив его наименование) и дал обет в случае успеха построить в Риме в благодарность храм Венере-победительнице. Когда на небе сверкнул свет со стороны лагеря Цезаря и погас в месте расположения лагеря Помпея, те, которые находились при последнем, говорили, что им предстоит совершить нечто блестящее над врагом. Цезарь же толковал это знамение так: напав на Помпея, он затмит дела Помпея»[35].

Казалось бы, исполнение обета — дело благочестивое и соответствующее традиции. Однако рядом со статуей Венеры в храме стояло прекрасное золотое изображение Клеопатры. Правительницу чужеземного государства, с которым совсем недавно велась война, Цезарь вознес до уровня богини!

Что побудило диктатора так открыто демонстрировать свои чувства? Ведь он прекрасно понимал, какое раздражение вызовет возвеличение женщины, о его любовной связи с которой было широко известно. Наиболее вероятным кажется следующее объяснение поступка Цезаря.

Поскольку Клеопатра была матерью его сына и в своей стране отождествлялась с Исидой, ей и в Риме полагались такие же почести, как богине Венере. Потому что и ее кровь текла в жилах божественного рода Юлиев!

Всего через два месяца после освящения храма Венеры Родоначальницы, поздней осенью 46 года, Цезарю пришлось уехать из Италии. Ему предстоял новый военный поход, на этот раз в Испанию.

На Пиренейском полуострове собрались враждебные Цезарю войска под предводительством двух сыновей Помпея — Секста и Гнея. С Гнеем Клеопатра познакомилась три года назад, когда он приезжал в Александрию просить о помощи для своего отца, воевавшего против Цезаря.

Как мы говорили, молодой человек был покорен обаянием египетской царицы. Это был первый выдающийся римлянин, который увлекся Клеопатрой. В результате Помпей уехал из Александрии, получив всего лишь пятьдесят кораблей и горстку солдат. Сейчас Помпей сражался, чтобы отомстить за смерть отца.

Несмотря на отъезд Цезаря, Клеопатра не вернулась в свою страну. Она осталась в Риме, надеясь, что война не будет продолжительной и вот-вот придет сообщение: «Veni — vidi — vici». Между тем военные действия в Испании затянулись на много месяцев. Решающее сра-

жение под Мундой произошло лишь весной 45 года. Потерпев поражение, сыновья Помпея бежали. Гней вскоре погиб, а младший, Секст, скрывался в Северной Испании и еще много лет боролся с Цезарем и цезарианцами. Но и после победы над своими противниками Цезарь не мог сразу вернуться в Рим. Нужно было сначала навести порядок в Испании, которая была тогда богатой и густонаселенной страной. Лишь в сентябре 45 года диктатор вступил на землю Италии, а триумфальный въезд в Рим состоялся в октябре. Разлука с Клеопатрой длилась более девяти месяцев.

Наконец-то вся Римская держава была в руках Цезаря! Он правил ею как пожизненный диктатор, единовластно и нераздельно. Теперь, победив внутренних врагов, Цезарь мог подумать о планах на будущее. В его смелых замыслах Клеопатра играла важную, может быть даже решающую, роль. Наверно, еще во время испанской войны Цезарь писал ей о своих головокружительных планах. Во всяком случае, сразу после возвращения диктатора его намерения стали ясны всем.

В ближайшем будущем Цезарь собирался предпринять большой поход на Восток. Прежде всего он хотел захватить Дакию, страну, расположенную к северу от Дуная (современную Румынию). Затем он двинулся бы за Евфрат против Парфии, уже много лет беспокоившей восточные границы Римского государства. После победоносного окончания этих походов возникло бы гигантское государство — от Атлантического океана до Индии. Подвластные Цезарю земли были бы обширнее монархии Александра Македонского, потому что Цезарь повелевал бы не только Востоком, но и Западом.

Государственное устройство мировой империи должно было решительно отличаться от римского республиканского правления. В такой огромной державе не могли существовать те законы и организационные формы, которые выросли из потребностей города-государства Рима.

Цезарь не скрывал, что считает государственный строй республики не только устаревшим, но и попросту мертвым. Он говорил прямо: «Республика — ничто, пустое имя без тела и облика»[36].

Только монархия восточного типа соответствовала планам честолюбивого диктатора. Признаки того, что Цезарь стремится стать монархом, становились все более явными. Но, умный и ловкий политик, Цезарь хотел создать видимость, будто народ сам обратился к нему

с просьбой надеть корону. Народ же, гораздо более дальновидный, чем это кажется правителям, проявлял странную медлительность, не желая идти навстречу советам и уговорам друзей Цезаря.

По мысли Цезаря, женой повелителя будущей державы должна была стать Клеопатра, законная царица, в жилах которой текла кровь древней династии. Разделив трон с Цезарем, владычица Египта представляла бы восточные и эллинистические страны мировой монархии. А их сын Птолемей Цезарь был бы истинным наследником традиций и могущества всех народов Востока и Запада.

Вместе с тем Цезарь не собирался разводиться с Кальпурнией. Один из его друзей рассказывал позднее, что у Цезаря был подготовлен проект закона, по которому ему — властелину мировой монархии — позволялось брать жен сколько угодно и каких угодно — для рождения наследников. Благодаря этому закону он смог бы усыновить ребенка Клеопатры.

Если учесть все эти обстоятельства, станут понятны и безразличие Клеопатры к повседневным делам Египта, и ее длительное пребывание вдали от своей страны, после всех потрясений чрезвычайно нуждавшейся в заботах и внимании. Поскольку ей предстояло сделаться царицей и владычицей мира, ради столь великой цели можно было временно пренебречь судьбой одной страны.

Впрочем, Египет, и особенно Александрия, очень выиграл бы в результате образования мировой монархии. Столица Египта стала бы столицей мировой державы, Александрия заняла бы место Рима, а Египет — Италии. А ведь совсем недавно та же Александрия была покорена римским полководцем! Для Клеопатры это было бы бескровной и полной победой, парадоксальной переменой ролей.

Сейчас, по прошествии двадцати столетий, когда мы знаем, как развивались дальнейшие события, эти планы кажутся фантастическими. Но в те необыкновенные дни вся Римская держава лежала у ног Цезаря и осуществление его замыслов представлялось реальным и близким.

Во всяком случае, Клеопатра относилась к ним очень серьезно. Уверенная в поддержке Цезаря, она уже начала вести себя как царица и повелительница даже по отношению к самым знатным римлянам. Это испытал на себе, в частности, Цицерон.

КЛЕОПАТРА И ЦИЦЕРОН

«Царицу я ненавижу; что я по праву так поступаю, знает Аммоний, поручитель за ее обещания, которые имели отношение к науке и соответствовали моему достоинству, так что я осмелился бы сказать о них даже на народной сходке. О Саре я узнал, помимо того, что он негодный человек, что он, сверх того, еще заносчив по отношению ко мне: всего один раз видел я его у себя в доме; на мой любезный вопрос, что́ ему нужно, он сказал, что ищет Аттика. О гордости же самой царицы, когда она находилась в садах за Тибром, не могу вспомнить без сильной скорби»[37].

Чтобы понять, насколько взбешен был Цицерон, достаточно вспомнить, что письмо, отрывок из которого здесь приведен, он написал через несколько месяцев после отъезда Клеопатры из Рима. Даже время не смягчило обиды! Столь расстроивший Цицерона эпизод заключался, по-видимому, в следующем.

В 45-м или в начале 44 года дальновидный и предусмотрительный Цицерон посетил царицу на ее вилле. Он хотел лично представиться женщине, пользовавшейся особым расположением Цезаря. Предлогом для визита послужила какая-то редкая книга, необходимая Цицерону для завершения работы над философским трактатом. Царица могла бы распорядиться, чтобы эту книгу доставили из Александрийской библиотеки, где хранилось почти все когда-либо написанное по-гречески. Во время аудиенции Клеопатра любезно выслушала просьбу сенатора и приказала одному из своих придворных, Аммонию, проследить за ее выполнением. Но тот, несмотря на все обещания, не сделал ничего! А другой вельможа из свиты царицы, Сара, придя в дом Цицерона, вообще спросил не хозяина, а его друга Аттика.

В тот период Цицерон много читал и писал. Политическая жизнь в Риме, которая до тех пор интересовала его больше всего, замерла. Теперь решения принимались не в сенате и народном собрании, а в покоях виллы диктатора. Его отпущенники пользовались бо́льшим влиянием, чем государственные сановники. Поэтому не удивительно, что, человек честолюбивый и образованный, Цицерон искал утешения в занятиях литературой и философией, в изучении трудов мыслителей прошлых веков. Вместе с тем он стремился и к тому, чтобы его труд принес пользу современникам. Об этом он писал

в своем новом сочинении, которое носит название «Тускуланские беседы»[38].

На вилле Цицерона, расположенной неподалеку от Рима, на склоне Альбанских гор, в Тускуле часто собирались его друзья — Марк Брут, Требаций, Курций, бывал там и муж его дочери Долабелла. Вымышленные беседы в Тускуле об основных проблемах практической философии Цицерон изложил в пяти книгах. Вполне возможно, что именно в ходе работы над этим сочинением он и обратился к царице с просьбой прислать ему из Александрии трактат кого-то из древних мыслителей. По существу «Беседы» представляют собой парафразы и популярное изложение взглядов греческих философов различных школ.

В первой беседе рассматривается проблема бессмертия души. Цицерон отстаивает точку зрения, согласно которой смерть тела не является концом существования всей личности человека. Его собеседник высказывает противоположный взгляд, разделявшийся в то время многими: смерть — это зло, так как она ведет к полному небытию.

В далеком Египте ту же печальную мысль вскоре повторит в своей надгробной надписи жена верховного жреца Пшерени-Птаха — Та-Имхотеп.

МАРТОВСКИЕ ИДЫ[39]

15 апреля 44 года Цицерон писал своему другу Аттику: «Бегство царицы не огорчает меня»[40].

Клеопатра с сыном действительно бежала в Египет, потому что на берегах Тибра, где они прожили почти два года, для них больше не было места. Дальнейшее пребывание в Риме могло оказаться весьма опасным. Дело в том, что царица лишилась своего могущественного защитника. Человек, который должен был стать повелителем мира, супругом и соправителем Клеопатры, 15 марта 44 года упал мертвым в зале заседаний сената. Заговорщики нанесли ему двадцать три раны мечами и кинжалами.

Убийцами, среди которых было много друзей диктатора, руководили Марк Брут и Гай Кассий. Они убили Цезаря, чтобы спасти республику и восстановить прежние порядки. Среди причин, побудивших заговорщиков к незамедлительным действиям, не последнее место занимала и Клеопатра. Их тревожила любовь к

ней диктатора, они опасались, что в недалеком будущем египетская царица сделается повелительницей империи, столицей которой будет Александрия. Таким образом, Клеопатра была косвенной виновницей мартовских ид, нанесших удар по ее кровным интересам.

Для царицы Египта смерть Цезаря означала полное крушение всех ее планов, которые только казались фантастическими, а на самом деле были весьма близки к осуществлению. Теперь ей надо было спасать то, что осталось, а может быть, даже и жизнь. Клеопатра знала, что в Риме у нее много врагов, особенно среди сенаторов. Скольких она оскорбила своим высокомерием! Цицерон был далеко не единственным. Да и в ее стране, особенно в Александрии, бóльшая часть населения относилась к ней враждебно. А стоявшие в Египте римские легионеры? Будут ли они ее защитниками, как при Цезаре, или исполнителями приказа, который в любую минуту может прийти из Рима: убрать царицу и включить Египет в состав Римской державы в качестве новой провинции? Ненавидевшим Клеопатру римлянам нетрудно было бы провести такой закон, взяв за основание проекты, обсуждавшиеся еще при жизни ее отца.

И только одно успокаивало царицу: в самом Риме положение было чрезвычайно сложным. Заговорщикам казалось, что достаточно убить диктатора (они называли его тираном), чтобы восстановилось прежнее положение, которое они считали полной свободой. Однако после смерти Цезаря очень скоро стало ясно, что существуют группировки, преданные убитому диктатору, и что растерявшиеся сенаторы не представляют себе, как быть дальше. 20 марта, во время похорон Цезаря, произошли серьезные волнения. Его убийцы оказались в опасности и вынуждены были покинуть Италию.

Находившийся в это время за пределами Рима Цицерон узнал о «бегстве» Клеопатры лишь в середине апреля. Следовательно, царица уехала из Италии не сразу после мартовских ид. Несмотря на грозившую ей опасность, она задержалась в Риме еще на некоторое время, чтобы проследить за развитием событий. Однако ее ждал неприятный сюрприз. Во время торжественных похорон Цезаря Антоний огласил на форуме завещание покойного.

Цезарь усыновлял внука своей сестры девятнадцатилетнего Гая Октавия и назначал его главным наследником, а своего родного сына, трехлетнего Птолемея, даже не упомянул!

С каждым днем становилось очевиднее, что в Риме вот-вот вспыхнет гражданская война из-за наследства Цезаря. Можно было уже определить главные силы, которые столкнутся в этой борьбе: прежде всего, убийцы Цезаря и сторонники сената; во-вторых, политики, на словах преданные прежнему государственному строю, а на деле стремившиеся занять место диктатора; и, наконец, приемный сын Цезаря, девятнадцатилетний Гай Октавий, которого с этих пор стали называть Октавианом. Вначале юношу не принимали всерьез, он же отнесся к завещанию Цезаря без тени легкомыслия.

Клеопатре нельзя было медлить. Нужно было срочно возвращаться в Египет и там переждать бурю.

Антоний
и
Клеопатра

СМЕРТЬ ПТОЛЕМЕЯ XIV

Последний известный нам египетский документ, содержащий формулу: «в царствование Клеопатры и Птолемея», был выставлен в городе Оксиринхе 26 июля 44 года. Очевидно, юный брат и супруг царицы Птолемей XIV в то время был жив, а может быть, о его смерти просто еще не было известно. По всей вероятности, юноша ушел из мира живых в печальную страну Запада летом 44 года, когда ему было не больше четырнадцати лет.

В древности говорили, что мальчика отравили по приказу Клеопатры. Вполне вероятно, что так оно и было, хотя проверить это и доказать невозможно. Во всяком случае, в сложившейся ситуации юный Птолемей был опасен царице. В любой момент какая-либо из группировок в Риме или в самой Александрии могла потребовать, чтобы царица отказалась от престола и передала власть своему супругу. Но даже если не считать Клеопатру виновной в смерти мальчика, одно можно сказать с уверенностью: Птолемей XIV умер именно тогда, когда это было на руку его сестре и супруге.

Сразу после траурной церемонии Клеопатра взяла себе нового соправителя, так как, согласно освященным традицией династическим обычаям, женщина в Египте не могла царствовать одна. Впрочем, если бы такого обычая и не существовало, Клеопатра все равно призвала бы второго правителя на египетский трон. И это понятно — ведь трон она разделила со своим сыном от Цезаря — Птолемеем Цезарем. При восшествии на престол новый царь стал именоваться Птолемей Цезарь Филопатор Филометор. Давая мальчику имя Филопатор,

Клеопатра хотела подчеркнуть, что именно Птолемей — сын Цезаря, а не Октавиан.

Птолемей XV был последним потомком древней династии. По женской линии ее представляли Клеопатра и Арсиноя. Царица пристально следила за сестрой, которая, разумеется, все еще находилась за пределами Египта — в Италии или в Малой Азии. Клеопатра опасалась, что Арсиноя снова станет орудием в руках ее врагов, как это уже было во время Александрийской войны.

Очевидно, вскоре после коронации Птолемея Цезаря на южной, наружной стене храма богини Хатхор в Дендере был сделан большой рельеф, сохранившийся до наших дней. На нем мы видим царицу и ее сына перед богами; в центре расположена фигура богини, которой посвящен храм. К сожалению, это обычные условные изображения в древнеегипетском стиле, не обладающие портретным сходством с оригиналами. То, что рельеф представляет именно Клеопатру и Птолемея, а не других царей из этой династии, можно определить только по иероглифическим надписям. Подобные рельефы и росписи украшали в то время и другие египетские храмы. Царица продолжала мудрую политику, начатую еще в первые годы царствования: она демонстрировала приверженность местным богам, чтобы стать ближе к своим подданным, представлявшим ту силу, на которую она могла бы опереться в случае политической катастрофы.

Между тем положение в Риме с каждым днем все более усложнялось. Началась гражданская война. Осенью 44-го и весной следующего года из всеобщего хаоса выделились две большие группировки.

В восточных провинциях сосредоточивали войска убийцы Цезаря — Гай Кассий и Марк Брут. Они объявили о своей верности сенату и за счет беззастенчивого ограбления населения провинций собирали средства для борьбы с противниками. Осенью 44 года произошел открытый разрыв между Антонием и сенаторской партией. Весной 43 года в решающей битве с войсками сената Антоний потерпел поражение и бежал за Альпы — в Галлию. Молодой Октавиан, который командовал армией сената и до тех пор был ему послушен, после победы над Антонием сбросил маску и стал проводить собственную политику. Летом 43 года двадцатилетний Октавиан потребовал, чтобы его избрали консулом. Когда наследник Цезаря двинул свои легионы на Рим, сенату пришлось уступить[41]. Стало ясно, что приемный сын Цезаря стремится взять в свои руки все его наследство — не

только имя и состояние, но также и роль в государстве.

Непомерное честолюбие и головокружительная карьера юноши, именовавшего себя сыном Цезаря, не могли радовать Клеопатру. Но настоящие успехи Октавиана были впереди. В 43 году никто еще не мог предвидеть, что он удержится на поверхности,— слишком много было у него врагов, тайных и явных: Антоний, сенат, убийцы Цезаря.

КЛЕОПАТРА И ДОЛАБЕЛЛА

Вполне естественно, что царицу Египта больше интересовали события в соседних с Египтом странах, чем в далекой Италии. На Востоке тоже шла борьба между несколькими группировками римлян. Не было никакой надежды, что богатой стране на Ниле удастся остаться в стороне.

Действительно, уже в начале 43 года к Клеопатре прибыли послы бывшего военачальника Цезаря и зятя Цицерона — Гнея Долабеллы. После смерти диктатора в течение короткого отрезка времени Долабелла несколько раз менял политическую ориентацию в зависимости от того, что́ сулило ему бо́льшую выгоду. Сначала он присоединился к убийцам Цезаря, потом стал поддерживать Антония и наконец заявил о своей верности сенату. По пути в Сирию, наместником которой он был назначен еще прежде, Долабелла снова объявил себя противником убийц диктатора. Одного из заговорщиков, Требония, он предательски убил. Отрубленной головой Требония солдаты Долабеллы играли, как мячом. Сенат объявил Долабеллу врагом отечества, а он вел себя все более разнузданно, грабил города и готовился к войне с Кассием, захватившим к этому времени Сирию.

Римские легионы, стоявшие в Египте, могли оказаться существенным подспорьем для честолюбивого политика. Долабелла попросил царицу прислать ему эти легионы, а также корабли. Клеопатра не отказала в помощи полководцу, стремившемуся отомстить за убийство столь близкого ей человека. Она согласилась на все, потребовав взамен только одного — чтобы Долабелла признал ее сына законным правителем Египта.

Обещания Клеопатры ободрили молодого полководца. Он решительно вторгся в Сирию, не думая о том, что у него всего два легиона, а у его противника, Кассия,—

восемь. Царица тоже не медлила. В марте египетские войска двинулись в Сирию. Своевременно предупрежденный Кассий встретил их в Палестине и окружил. Поскольку он располагал вдвое бо́льшими силами, египетские легионы даже не пытались сопротивляться и сразу перешли на его сторону. Таким образом, добрые намерения царицы обернулись против того, кому она хотела помочь. Для Долабеллы было бы лучше, если бы эти легионы оставались в Египте.

Во главе сильной армии Кассий двинулся к сирийскому городу Лаодикее, в котором укрепился Долабелла. Поскольку Лаодикея была портовым городом, а на море он был еще силен, Долабелла не терял надежды. К тому же он рассчитывал на обещанные Клеопатрой корабли. Но египетским кораблям, уже готовым отплыть из Александрии, помешали неблагоприятные ветры. А наместник Кипра, не спросив согласия Клеопатры, послал свои корабли Кассию.

Летом 43 года в Александрию пришло сообщение о том, что Лаодикея пала. Увидев, что положение безнадежно, Долабелле изменили его солдаты, а военачальники открыли ворота и впустили осаждающих в город. Покинутый всеми полководец попросил солдата из своей личной охраны, чтобы тот отрубил ему голову.

Так погиб третий выдающийся римлянин (после Цезаря и сына Помпея), вступивший в соглашение с Клеопатрой.

КЛЕОПАТРА И КАССИЙ

В то время, когда еще велась осада Лаодикеи, Кассий обратился к Клеопатре с просьбой о помощи. Это поставило царицу перед трудным выбором. Всем было известно, что она поддерживает Долабеллу. Правда, до сих пор ей удавалось делать вид, будто подкрепления к Долабелле посылаются без ее ведома и согласия, а приказы легионам отдает не она, а римские военачальники. Но сейчас, после обращения Кассия, нужно было ясно показать, на чьей она стороне. Отказать Кассию? Это было бы равносильно проявлению враждебности, которая в случае победы Кассия дорого обошлась бы Египту. Послать ему хоть немного солдат? Это вызвало бы гнев друзей Цезаря и всеобщее презрение как предательство памяти Цезаря. Царица нашла такой выход: она отказала Кассию в помощи, сославшись на голод и эпидемию в Египте, но, как мы видели, не осмелилась

выслать и обещанный флот осажденному в Лаодикее Долабелле, объяснив это неблагоприятными ветрами. Кассий тем не менее счел поведение Клеопатры враждебным и стал готовиться к походу на Египет, чтобы захватить страну и наказать царицу.

С точки зрения стратегической этот план был правильным. Египет мог явиться источником продовольствия и фуража для армий Кассия и Брута. Захватить же его было делом несложным, так как после ухода римских легионов Клеопатра не располагала большими силами. Правда, в Александрии оставалась дворцовая охрана и по стране были разбросаны воинские гарнизоны, но их боеспособность была невысока. Это обнаружилось еще пять лет назад, в ходе Александрийской войны, когда горстка легионеров Цезаря в течение нескольких месяцев отражала атаки тысяч египтян.

И все же Кассий не пошел на Египет. Этому помешал Брут, который чуть ли не накануне выступления войск Кассия попросил своего друга прибыть к нему в Малую Азию. Завоеватель Лаодикеи очень неохотно отказался от намерения захватить Египет, но подчинился требованию Брута и, вместо того чтобы идти на юг, направился на север. Продвигаясь вдоль южного побережья Малой Азии, Кассий жестоко расправился с городом Тарсом в Киликии. Он обложил город огромной данью — в тысячу пятьсот талантов — за то, что тарсийцы якобы содействовали Долабелле. Чтобы собрать эту сумму, жители города отдали все свое имущество. Но этого оказалось недостаточно, и власти стали продавать свободных людей: сначала юношей и девушек, а потом женщин и даже стариков. Многие тарсийцы покончили с собой. А когда у горожан уже нечего было взять, Кассий великодушно простил остаток штрафа.

Осенью 43 года Брут и Кассий встретились в Смирне. Зачем Брут так срочно вызвал Кассия? И почему Кассий согласился изменить свои намерения насчет Египта? Причиной всему этому были вести из Рима. Как мы уже говорили, весной 43 года Антоний потерпел поражение и бежал за Альпы к своему другу — наместнику Галлии Марку Лепиду. Немного позднее, во время осады Кассием Лаодикеи, Октавиан добился от сената и народного собрания консульской должности. Все это заставило Брута и Кассия пересмотреть свою тактику. Теперь их врагом стал не Антоний, а приемный сын Цезаря.

По всей вероятности, во время совещания в Смирне из Италии пришли еще более тревожные вести. Под давлением войск Октавиан заключил соглашение со своими бывшими врагами — Антонием и Лепидом. Это соглашение известно в истории под названием Второго триумвирата. Триумвиры получили чрезвычайные полномочия по устройству дел в республике. Они заявили, что их основная задача — месть за убийство Цезаря. Сенат и народное собрание стали послушным орудием в их руках. Убийц Цезаря провозгласили врагами отечества. В Риме были объявлены проскрипции. Начали приходить письма людей, поставленных вне закона. Надо было ожидать, что в следующем году армия триумвиров двинется на Восток.

На совещании в Смирне было принято предложение Кассия. Поскольку триумвиры еще не скоро переправятся через Адриатическое море, в ближайшие месяцы нужно укрепить тылы и покарать те страны, которые сочувствуют цезарианцам. В соответствии с этим решением Кассий отправился на Родос, захватил и ограбил главный город острова. Брут тем временем с такой же беспощадностью орудовал в Ликии.

ГОЛОД И ЭПИДЕМИЯ

Почему же Кассий все-таки не выступил против Клеопатры? Ведь не было и тени сомнения, что царица ненавидит убийц Цезаря. К тому же у нее был флот, который мог прийти на помощь триумвирам. Чем можно объяснить, что после конференции в Смирне Кассий не приступил к осуществлению своего прежнего намерения относительно Египта?

Во-первых, было уже слишком поздно. Поход против такой огромной страны, как Египет, даже самый непродолжительный, потребовал бы много времени, по меньшей мере нескольких месяцев. Далее, для того чтобы удержать в повиновении население Египта, пришлось бы оставить на берегах Нила три или четыре легиона. А Брут и Кассий располагали всего девятнадцатью легионами, да и те были укомплектованы не полностью. Новобранцев не хватало, потому что в восточных провинциях проживало мало римских граждан. Триумвиры же могли навербовать в Италии столько солдат, сколько были в состоянии вооружить и оплатить.

И еще одно обстоятельство удерживало Кассия от похода в Египет. В этой стране действительно, как официально сообщала царица, свирепствовали стихийные бедствия, голод и повальные болезни.

Три года подряд, в 44, 43 и 42 годах, разлив Нила не достиг уровня, необходимого для орошения и удобрения возделываемых полей. Это известно не только из заявлений Клеопатры, которые можно было бы счесть преувеличенными и продиктованными политическими соображениями. Сообщения о бедствиях в Египте в тот период содержатся и у ряда античных авторов. Наконец, о том же говорит надпись на гранитной плите на греческом и египетском языках. Эта надпись, сделанная в Фивах по приказу жрецов бога Амона-Ра и старейшин города, должна была увековечить заслуги царского чиновника по имени Каллимах, который вывел Фивы из бедственного положения. Во время голода и эпидемии, когда народ потерял всякую надежду на избавление, Каллимах, не жалея своего имущества, спас от гибели множество семей и заботился о том, чтобы не прерывались и не понесли ущерба богослужения [42].

Известно также, что в тот период Клеопатра бесплатно раздавала хлеб населению Александрии и при этом обошла иудеев, что, естественно, вызвало среди них глубокое возмущение. Ведь иудеи в последние годы оказали царской семье огромные услуги. Иудей Антипатр, убедив сдаться иудейский гарнизон Пелусия, помог Габинию вернуть в Александрию отца Клеопатры — царя-флейтиста. Позднее тот же Антипатр вместе с Митридатом пришел на помощь Цезарю: он первым ворвался на стены Пелусия, а во время продвижения войск по территории Египта вербовал сторонников среди иудейского населения. И в самой Александрии Цезарь и Клеопатра смогли удержаться только благодаря тому, что в кварталах вокруг царского дворца проживали дружелюбно расположенные к ним иудеи.

Однако Клеопатра поступала как правительница, для которой не существует ни прошлое, ни долг благодарности. Она считалась только с требованиями данной минуты. Хлеба в государственных зернохранилищах, возможно, и хватило бы на всех, но для этого нужно было делить его справедливо и выдавать понемногу. Вместо этого царица наделила хлебом лишь греков и египтян, в поддержке которых она была заинтересована больше всего. Таким образом, она разжигала вражду между иудеями и остальными своими подданными, что

в той ситуации облегчало для нее управление страной. Клеопатра старалась показать, что она подлинно египетская царица, которая заботится только о своем народе, пренебрегая интересами всех других. Раздуваемый Клеопатрой ветер ненависти привел впоследствии к жестоким бурям в Александрии. Но это было уже после ее смерти.

ФИЛИППЫ

Несмотря на то что голод и эпидемии истощили страну, Клеопатре удалось летом 42 года снарядить сильный военный флот. Она сама возглавила его и поплыла на помощь Антонию и Октавиану. Легионы триумвиров уже переправлялись через Адриатическое море и двигались к берегам Македонии. Из Малой Азии в том же направлении шли войска Брута и Кассия.

Безусловно, у Клеопатры было достаточно причин, чтобы решиться на такой большой военный расход. Несмотря на неприязнь к Октавиану, при создавшейся ситуации ей не оставалось ничего иного, как искренне желать победы триумвиров и всячески этому содействовать. Был ли у нее другой выход? Отказав в помощи Кассию, царица восстановила его против себя. Она прекрасно знала, что Кассий готовил поход на Египет и только срочный вызов Брута помешал этому намерению. До Александрии доходили слухи о том, как жестоко он расправился с теми городами и народами, которые оказались в лагере его противников или просто заняли выжидательную позицию. В случае победы убийц Цезаря на Египет обрушились бы еще более страшные кары.

Брут и Кассий были хорошо осведомлены о всех действиях царицы. Они понимали, что вступление в войну египетского флота грозит им большими осложнениями. Поэтому, отобрав шестьдесят кораблей, один из самых сильных легионов и отряд лучников, они с этими силами расположились около среднего из трех южных мысов Пелопоннеса, Тенара, и стали поджидать египетский флот, чтобы разгромить его прежде, чем он соединится с кораблями триумвиров. Вскоре были получены сообщения, что египетские корабли вышли из александрийского порта, но еще у берегов Африки их настигла страшная буря. Множество кораблей затонуло, а остальные вернулись обратно. Царица серьезно заболела. Дальнейшее пребывание войск Брута и Кас-

сия около Тенара стало бессмысленным, флот был переведен в другой район военных действий.

Так буря и болезнь помешали Клеопатре принять активное участие в войне триумвиров с убийцами Цезаря, длившейся несколько месяцев. Решающая битва произошла около города Филиппы, на македонском побережье Эгейского моря, в октябре 42 года. Ей предшествовали длительное выжидание и тактические маневры. По существу здесь было два сражения. Первое не принесло победы никому, однако во время боя Кассий, не разобравшись в обстановке и будучи убежден в своем поражении, покончил с собой. Второе сражение, 23 октября, окончилось разгромом легионов Брута. При отступлении полководец поразил себя мечом.

Таким образом, властителями Рима стали триумвиры. Но как поведут они себя по отношению к царице, которая не смогла, а может быть, не захотела оказать действенную помощь ни одной из сторон?

ВЕСНА 41 ГОДА

15 марта 41 года, то есть ровно через три года после трагических мартовских ид, Клеопатра приняла депутацию жителей столицы. К ней обратились представители александрийцев, владевших пахотными землями за пределами города, в различных областях страны. В жалобе, которую послы города подали ее величеству царице, говорилось, что старинные привилегии освобождают эллинов от всех повинностей, какими облагаются простые земледельцы, а начальники многих округов совершенно с этим не считаются, обременяя горожан всевозможными поборами деньгами и натурой.

Царица рассмотрела этот вопрос и через месяц, 13 апреля, издала указ. Плита с декретом из города Гераклеополя сохранилась до наших дней. Вот начало надписи [43]:

«Царица Клеопатра Филопатора и царь Птолемей, который именуется также Цезарем, Филопатор Филометор начальнику округа Гераклеополя шлют приветствие. Отдай распоряжение, чтобы прилагаемый указ, а также это царское письмо были выбиты на плите по-гречески и на местном языке. Плита должна быть выставлена для всеобщего обозрения в городе и во всех крупных селениях. Пусть все будет в соответствии с этим указом!»

Указ еще раз напоминает и подтверждает, что жители Александрии, обрабатывающие землю в разных областях, полностью и навсегда освобождаются от всяческих податей — за исключением основного налога в пользу государства.

Царица стремилась таким способом снискать расположение жителей Александрии, которые всего несколько лет назад с ожесточением осаждали ее и Цезаря в царском дворце. Очень характерно, что этот указ появился вскоре после битвы под Филиппами, когда Клеопатра и ее подданные оказались перед лицом полнейшей неизвестности.

Беспокойство Клеопатры нарастало, и не только потому, что она опасалась триумвиров. До Александрии стали доходить слухи о появлении претендентов на египетский трон. Царевна Арсиноя, украсившая в 46 году триумф Цезаря, находилась в храме Артемиды в Эфесе. Тамошние жрецы приняли ее очень радушно, так же как некогда ее отца — Птолемея Авлета. А ведь во время Александрийской войны Арсиноя бежала из дворца и стала во главе народа в качестве самозваной царицы! Что, если ей сейчас удастся проникнуть в Египет? Или если триумвиры признáют ее право на трон и диадему?

Но это еще не все. В финикийском городе Араде появился неизвестный молодой человек, утверждавший, что он царь Египта — Птолемей XIII, брат и супруг Клеопатры. Он будто бы не погиб (официально сообщалось, что Птолемей XIII весной 47 года утонул в Ниле, после того как его войска были разгромлены Цезарем), а спасся и долго скрывался, опасаясь, что его убьют по приказу Клеопатры и римлян. Сейчас, по его мнению, настало время вернуть свое настоящее имя, царский титул и наследство отцов!

Таковы были проблемы, тревожившие Клеопатру весной 41 года. К тому же главный вопрос: как поведут себя триумвиры? — по-прежнему оставался без ответа. В сущности, речь шла теперь только об Антонии. После сражения под Филиппами победители разделились. Октавиан вернулся на Апеннинский полуостров, чтобы заняться внутренними делами Италии, а Марку Антонию предстояло взяться за введение новых порядков на Востоке. Для Клеопатры такой поворот событий был благоприятным. Антония она хорошо знала. Впервые они встретились, вероятно, в 55 году, когда молодой начальник конницы в легионе Габиния — Марк Антоний вторгся в Египет, чтобы вернуть трон Птолемею Авлету.

Клеопатра тогда была четырнадцатилетней девочкой. В 46—44 годах в Риме она виделась с ним часто, потому что Антоний принадлежал к числу ближайших друзей диктатора. Привычки, склонности и слабые струнки триумвира были известны царице. Октавиана же она совсем не знала. Впрочем, этот тщедушный и замкнутый юноша был тайной не для нее одной.

Антоний шествовал через Малую Азию как новое воплощение бога Диониса. Повсюду его принимали с покорностью и раболепием, подобающими небожителям, а он пировал и развлекался, милостиво возвышал города и страны, сочувствовавшие триумвирам, карал тех, кто покорился Бруту и Кассию, и главное — старался выжать у населения как можно больше денег. Царьки и правители мелких государств, которых было много на Востоке, и посольства городов спешили воздать ему почести и принести дары. Не явился перед величием бога-триумвира только посол самого могущественного и богатого государства Востока — Египта. Клеопатра вела себя так, словно не произошло ничего необыкновенного и триумвир, решающий дела Римской державы, должен сам вступить в контакт с соседним дружественным государством. И действительно, той же весной 41 года, перед царицей предстал личный посол Антония.

ПОСОЛЬСТВО ДЕЛЛИЯ

Квинт Деллий был не только изысканным аристократом, но и столь искусным политиком, что многие считали его не в меру циничным. Послав к египетскому двору именно этого человека, Антоний проявил дипломатические способности и знание людей. Ибо миссия, которую он возложил на Деллия, не была ни легкой, ни приятной. Менее осторожный человек мог повести дело с излишней твердостью и прямотой, чего Антоний не хотел: ведь его посланец должен был ни более ни менее как предложить Клеопатре лично предстать перед триумвиром и объяснить причину своего бездействия во время последней войны. Царице, совсем недавно уверенной в том, что она вместе с Цезарем будет владычицей мира, теперь придется оправдываться перед его подчиненным! Разумеется, для Антония была важна не столько политическая сторона, сколько сам факт, что прекрасная царица, правительница могущественного государства, смиренно предстанет перед его трибуна-

лом и будет униженно просить о прощении — совсем как десятки мелких царьков из Малой Азии и Сирии.

Клеопатра, очевидно, сразу разгадала намерения Антония. Она могла найти благовидный предлог и отказаться от поездки, поставив Антония в затруднительное положение — ему пришлось бы либо самому отправиться в Александрию, либо предоставить Египет собственной судьбе. Ни то ни другое не устраивало триумвира. Но хитрый Деллий сумел убедить Клеопатру согласиться на эту встречу.

Местом свидания назначили Тарс, город в Киликии, который два года назад почти полностью был разорен Кассием. Деллий дал Клеопатре полезные советы относительно того, как лучше вести себя с его начальником. Он не все осмелился сказать прямо, но в ходе одной из бесед кстати процитировал Гомера:

> Лучшею сердцу богини сия показалася дума:
> Зевсу на Иде явиться, убранством себя изукрасив [44].

Это были стихи из XIV песни «Илиады», которая называется «Обольщение Зевса». Содержание ее таково.

Во время Троянской войны отец богов и людей Зевс покровительствовал осажденному городу, в то время как его жена Гера всеми способами помогала ахейцам. Поэтому, когда в одной из битв троянцы особенно энергично теснили своих врагов, Гера замыслила хитрость. Она решила отправиться на гору Иду и там возбудить в муже жажду наслаждений, а потом послать на него сладкий сон и тем временем прийти на выручку ахейцам. Сначала она искупалась и умастилась чудесно пахнущей амброзией, потом надела прекрасное платье, вдела в уши золотые серьги, набросила на волосы тонкую вуаль. И это еще не все. У Афродиты она попросила цветной, дивно расшитый пояс, в котором таились все чары богини: любовь, вожделение, сладость беседы, которая лишает рассудка даже самых благоразумных.

Так же должна была теперь поступить и Клеопатра. Но она, вместо того чтобы просить у богини ее волшебный пояс, сама решила стать Афродитой!

Как же выглядел бог, к которому она спешила?

УВЛЕЧЕНИЯ И БРАКИ АНТОНИЯ

«Он обладал красивою и представительной внешностью. Отличной формы борода, широкий лоб, нос с горбинкой сообщали Антонию мужественный вид и неко-

торое сходство с Гераклом, каким его изображают художники и ваятели. Существовало даже древнее предание, будто Антонии ведут свой род от сына Геракла — Антона. Это предание, которому, как уже сказано, придавало убедительность обличие Антония, он старался подкрепить и своею одеждой: всякий раз, как ему предстояло появиться перед большим скоплением народа, он опоясывал тунику у самых бедер, к поясу пристегивал длинный меч и закутывался в тяжелый военный плащ. Даже то, что остальным казалось пошлым и несносным,— хвастовство, бесконечные шутки, неприкрытая страсть к попойкам, привычка подсесть к обедающему или жадно проглотить кусок с солдатского стола, стоя,— все это солдатам внушало прямо-таки удивительную любовь и привязанность к Антонию. И в любовных его утехах не было ничего отталкивающего,— наоборот, они создавали Антонию новых друзей и приверженцев, ибо он охотно помогал другим в подобных делах и нисколько не сердился, когда посмеивались над его собственными похождениями. Щедрость Антония, широта, с какою он одаривал воинов и друзей, сперва открыла ему блестящий путь к власти, а затем, когда он уже возвысился, неизменно увеличивала его могущество, несмотря на бесчисленные промахи и заблуждения, которые подрывали это могущество и даже грозили опрокинуть»[45].

Так пишет о триумвире Плутарх.

Готовясь к встрече с Антонием, Клеопатра особенно интересовалась его любовными похождениями. Многое она, безусловно, знала и раньше — проделки Антония вызывали столько пересудов, что невозможно было о них не услышать. Говорили, например, о том, как Антоний со своей любовницей Цитерой разъезжал по Риму в колеснице, запряженной львами. Немало мог рассказать царице и Деллий, посвященный во все сплетни, и скандалы высшего общества. История одних лишь браков Антония давала обильный материал для бесед.

В первый раз Антоний женился на некоей Фадии, дочери вольноотпущенника, то есть на женщине низкого происхождения. Всем было ясно, что аристократ Антоний решился на этот брак только ради денег. Мы уже говорили, что отец Антония не оставил своим детям никакого состояния. Совместная жизнь с Фадией продолжалась недолго. Однако враги даже через много лет после развода все еще попрекали Антония этим мезальянсом.

Затем Антоний женился на своей двоюродной сестре Антонии. Этот брак окончился скандалом. Антоний публично, перед всем сенатом, в котором заседал и его тесть, заявил: «Жена изменила мне с Долабеллой».

Речь шла о том самом Долабелле, который позднее погиб в Лаодикее. Между обоими политиками с тех пор действительно не было согласия, но никто не знал точно, было ли причиной конфликта обольщение Антонии или, наоборот, Антоний сочинил все это, чтобы оправдать свою ненависть к Долабелле.

Развод со второй женой приходится на 46 или 45 год. Во всяком случае, в 45 году у Антония уже была третья жена, Фульвия, которая до него была дважды замужем. Оба мужа Фульвии умерли насильственной смертью. Первый муж, знаменитый народный трибун, непримиримый враг Цицерона — Клодий, был убит людьми другого народного трибуна, Милона, в стычке на Аппиевой дороге. После него осталось двое детей. Ее второй муж, Курион, друг и сподвижник Цезаря, погиб в борьбе с противниками диктатора в 49 году.

Фульвия была очень богата, и Антония, по-видимому, прежде всего интересовали ее деньги. Однако один забавный случай, происшедший в 45 году, в первые месяцы супружества, заставляет думать, что Антоний не был равнодушен к жене. История эта вполне достоверна. Она получила широкую огласку в Риме, а нам известна благодаря Цицерону, который гневно упрекал Антония за его проделку в речи перед сенатом.

Цезарь в это время находился в Испании, где он наводил порядок после победы над сыновьями Помпея. Антоний не участвовал в походе, а остался в Риме, чтобы домогаться консульства на следующий, 44 год. Он выехал из столицы по каким-то делам в Нарбонскую Галлию и вернулся оттуда раньше, чем предполагал.

«А каково было возвращение Антония из Нарбона...— с негодованием говорил Цицерон.— Приехав приблизительно в десятом часу в Красные Скалы [46], он укрылся в какой-то корчме и, прячась там, пропьянствовал до вечера. Быстро подъехав к Риму на тележке, он явился к себе домой, закутав себе голову. Привратник ему: «Ты кто?» — «Письмоносец от Марка». Его тут же привели к той, ради кого он приехал, и он передал ей письмо. Когда она, плача, читала письмо (ибо содержание этого любовного послания было таково: у него-де впредь ничего не будет с актрисой, он-де отказался от любви к той и перенес всю свою любовь на эту

женщину), когда она разрыдалась, этот сострадательный человек не выдержал, открыл лицо и бросился ей на шею»[47].

Эта забавная шутка чуть не привела к серьезным политическим осложнениям. Слуги, как водится, подглядывали и подслушивали. Они мгновенно разнесли весть, что Антоний вернулся украдкой и переодетый, что он привез очень важное письмо, а Фульвия горько плакала.

В Риме начался переполох. Возникло подозрение, что в письме содержались какие-то тайные известия и приказы Цезаря. Больше всего боялись, что, победив сыновей Помпея, диктатор пойдет по стопам Суллы и объявит проскрипции, то есть поставит вне закона всех своих врагов и конфискует их имущество. Минуты великого страха пережил тогда и Цицерон. Положение казалось настолько серьезным, что было созвано специальное народное собрание, на котором трибун задал Антонию вопрос: по какой причине он вернулся в город столь необычным образом?

— По личной причине,— ответил Антоний.

Эти слова вызвали бурю смеха и непристойных шуток.

Фульвия, бесспорно, была незаурядной личностью. Современники обвиняли ее в непомерном честолюбии, жажде власти, алчности, утверждали, будто она оказывает дурное влияние на мужа. Однако, если верить источникам, все эти черты проявились только после смерти Цезаря, когда Антоний выдвинулся на одно из первых мест в государстве, а его жена начала строить планы, столь же грандиозные, как недавние планы Клеопатры.

Фульвия не сопровождала мужа в путешествии на Восток. Она осталась в Риме с детьми — от Антония у нее их было уже двое. Кроме того, она должна была в отсутствие триумвира вести его политические и имущественные дела.

Могла ли она предположить, что в далеком Тарсе он встретит Афродиту!

ТАРС

Клеопатра прибыла в Тарс на корабле, нос которого сверкал золотом, а паруса отливали пурпуром. Посеребренные весла ритмично, в такт музыке флейт и кифар, ударялись о воду. Сама царица в уборе Афро-

диты покоилась под сенью расшитого золотом шатра, а стоявшие по обе стороны от нее мальчики с огромными пестрыми опахалами изображали эротов из свиты богини любви. На палубе танцевали прекрасные девушки, одетые нереидами, морскими нимфами и прислужницами Афродиты — харитами.

Когда по городу разнеслась весть, что от устья реки вверх по течению плывет необыкновенный корабль — Тарс находился неподалеку от впадения реки Кидн в море,— бесчисленные толпы людей поспешили к берегу. Мало-помалу опустела даже рыночная площадь, хотя там на возвышении восседал сам Антоний, приветствуемый и прославляемый, как бог.

Жителям Тарса было за что благодарить триумвира — он щедро наградил их за помощь в борьбе с Кассием: все тарсийцы, проданные в рабство в 43 году, были отпущены, город был признан полностью автономным и свободным от каких бы то ни было податей.

Идея Клеопатры была удачной не только потому, что столь великолепное зрелище должно было прийтись по вкусу Антонию, который сам недавно въезжал в Эфес подобно Новому Дионису. Важнее было то, что появление царицы перед триумвиром приобрело совершенно иной характер, чем предполагал Антоний. Вместо деловой встречи политиков получилась увлекательная игра в богов. Владычица могущественного государства на Востоке и завоеватель Востока возносились над толпами смертных, словно олимпийские боги.

Клеопатра приложила все усилия, чтобы торжество Афродиты, вышедшей из волн морских, поразило своим блеском Антония.

Историк-современник этих событий пишет: «Вся сделанная с величайшим искусством посуда была из золота и драгоценных камней. Стены зала были увешаны коврами, вытканными из пурпурных и золотых нитей. Царица велела приготовить двенадцать пиршественных лож и пригласила Антония с теми друзьями, которых он сам изберет. При виде этого великолепия триумвир остановился пораженный. Царица же, улыбнувшись, сказала:

— Дарю тебе все, что здесь находится!

Назавтра она снова пригласила его к себе с друзьями и военачальниками. Перед богатством сегодняшнего приема померкла вчерашняя роскошь. И снова царица все подарила гостю. Она попросила также, чтобы

каждый из военачальников унес с собой свое пиршественное ложе и лучшую посуду со своего стола. Когда знатные римляне покидали зал, возле каждого появился носильщик с носилками. Некоторые друзья Антония получили в подарок коней с серебряной упряжью. Каждого гостя сопровождал по дороге домой мальчик-эфиоп с факелом, освещавшим дорогу. На следующий день царица приказала принести роз на целый талант. Пол в пиршественных залах был покрыт лепестками на высоту локтя; над цветами была раскинута кисея»[48].

ЛЮБОВЬ И ПОЛИТИКА

Вся эта роскошь и обаяние красивой женщины вскружили голову Антонию, который был, в сущности, человеком довольно примитивным. Возможность запросто беседовать с царицей, возлюбленной великого Цезаря, безусловно, льстила ему. К тому же союз с Клеопатрой имел для него большое политическое значение: дружба и помощь владычицы богатой страны обеспечивали — без войны, забот и хлопот — материальные ресурсы и денежные средства, необходимые ему в огромном количестве, потому что многолетние гражданские войны довели казну и хозяйство Рима почти до полного упадка. Легионеры же требовали денег, снаряжения, земли.

Получив поддержку Клеопатры, Антоний мог смотреть на Октавиана чуть ли не с превосходством. Вернувшись после битвы при Филиппах в разоренную Италию, приемный сын Цезаря столкнулся там с неприязнью сената, враждебностью масс, разнузданностью солдат. Чтобы наделить освобожденных от службы легионеров землей, он должен был согнать с земли ее прежних владельцев, что могло привести к вооруженному восстанию. Все это отнюдь не беспокоило Антония. Затруднения и неудачи Октавиана были ему только выгодны. Сам он уже достаточно награбил на Востоке, а дружба с Клеопатрой сулила самые радужные надежды на будущее.

Нетрудно догадаться, что в создавшейся ситуации триумвир с полным сочувствием выслушал объяснения Клеопатры относительно ее позиции в последней войне:

— Всем известно, что я отправила из Египта к Долабелле, который сражался на вашей стороне, четыре

легиона. Не моя вина, что по пути их захватил Кассий. Я хотела послать в Лаодикею подкрепления; корабли с войсками и снаряжением уже стояли в портах. К сожалению, неблагоприятные ветры сделали невозможным их отплытие. А потом было уже поздно — Лаодикея пала. Известно также, что Кассий добивался от меня помощи. Однако я не дала ему ни солдат, ни кораблей. Он не получил из Египта ни одного пшеничного зерна! Позднее, когда ваши войска отправились на Восток для борьбы против Кассия и Брута, я готова была сама поспешить к вам во главе большого флота. Корабли уже вышли из гавани, но жестокая буря разбила их и развеяла по морю, а я тяжело захворала. Пришлось вернуться в Александрию.

Эти объяснения были приняты и доводы признаны убедительными. Антоний, в свою очередь желая дать царице доказательства своего дружелюбия, охотно выполнил ее «мелкие» просьбы. Он приказал убить сестру Клеопатры, царевну Арсиною, которая находилась в храме Артемиды в Эфесе. Этот древний и глубоко почитаемый храм с незапамятных времен пользовался правом убежища. Люди триумвира нарушили это право без всяких колебаний. Они даже схватили и привели к своему начальнику верховного жреца храма — за то, что он осмелился приютить Арсиною. Старца спасла находчивость жителей Эфеса, которые обратились с просьбой о заступничестве к Клеопатре. Та, разумеется, не замедлила проявить милосердие.

Жители Арада получили приказ выдать мнимого брата Клеопатры, самозванца Птолемея XIII. Из Тира был вызван бывший наместник Кипра, который осмелился без приказа царицы оказать помощь Кассию.

Вполне возможно, что, если бы победителем оказался Кассий, Клеопатра уверяла бы его в своем дружелюбии, ссылаясь как раз на тот факт, что кипрский флот по ее распоряжению поспешил ему на помощь.

Когда все политические вопросы были решены, наступила разлука. Клеопатра вернулась из Тарса в Александрию, а Марк Антоний отправился в поездку по городам Сирии.

Положение в Сирии было угрожающим. Население ориентировалось на своих соседей за Евфратом — парфян. После смерти Цезаря во многих сирийских городах упрочили свою власть царьки и тираны, пользующиеся поддержкой Парфии. Антоний изгнал из Сирии

всех, кто был связан с парфянами, и обложил сирийские города большой данью.

Поход римлян в оазис Пальмира не увенчался успехом, потому что жители Пальмиры заблаговременно бежали из страны.

АЛЕКСАНДРИЯ И ПЕРУЗИЯ

О том, как царица Египта принимала в Александрии Антония, много говорили и тогда и позднее — одни с негодованием, другие с восторгом и изумлением. Даже празднества в Тарсе померкли перед тем великолепием, которым Клеопатра окружила гостя в своей столице. Пиры, увеселения, охота следовали бесконечной чередой. В перерывах между развлечениями в залах гимнасия устраивались шуточные философские диспуты, спортивные состязания и фехтовальные поединки. А когда высокой чете наскучивала роскошь дворца с его золотыми ночными горшками и надоедало растворять в вине жемчуг, они, переодевшись слугами, выходили в город и участвовали в забавах простонародья. Антоний сбросил тяжелую, сковывавшую движения римскую тогу и появлялся всюду только в легкой греческой одежде.

Так в удовольствиях и веселье проходила зима и ранняя весна 40 года. Триумвир не обращал внимания на то, что многие осуждали его за длительное бездействие.

Между тем в Италии вновь вспыхнула гражданская война. Ее зачинщиками и руководителями были самые близкие Антонию люди — жена Фульвия и брат Луций. Они объединили вокруг себя и возглавили тех жителей Италии, которых коснулась проводимая Октавианом конфискация земельных участков. Однако это движение не приняло того широкого размаха, какого они ожидали. Октавиану удалось окружить своих противников в городе Перузии, где вскоре начался голод. Многие утверждали тогда, что весь этот хаос нарочно устроила Фульвия, испуганная увлечением своего мужа Клеопатрой. Она будто бы надеялась, что опасное положение на родине вырвет Антония из объятий египетской царицы. Однако есть основания думать, что Фульвией руководили более серьезные, политические соображения. Эта честолюбивая женщина всеми силами стремилась отстранить Октавиана, чтобы подарить власть над Ри-

мом мужу, а самой стать первой дамой в государстве. Когда Фульвия только начала проводить в жизнь свои планы и вербовать сторонников среди жителей Италии, никто не подозревал, как основательно запутался Антоний в александрийских сетях.

Во время осады Перузии в Египет один за другим прибывали послы обеих сторон. Гонцы от Фульвии и от Октавиана умоляли Антония немедленно вернуться в Италию. Но он оставался глух к их призывам. Некоторым оправданием Антонию может послужить то, что все это происходило в зимние месяцы, когда предпринимать морское путешествие было бы чистым безумием. Кроме того, ему были на руку затянувшиеся волнения и обострившаяся борьба в Италии. По всей вероятности, он рассчитывал появиться в критический момент и положить конец кровопролитию, продемонстрировав народам Италии и всей Римской державе, что только он один их спаситель и подлинный повелитель.

Но Антоний недооценил решительности и энергии своего молодого коллеги и противника. В феврале 40 года Октавиан принудил измученную голодом Перузию к капитуляции. Он жестоко расправился с жителями города, а Фульвию и ее детей отпустил на свободу. Жена Антония уехала в Грецию.

Обо всех этих событиях Антоний узнал из письма Фульвии, полученного уже не в Александрии, а в финикийском городе Тире, куда ему пришлось срочно отправиться, так как пришло сообщение, что огромное войско парфян перешло Евфрат и быстро продвигается в глубь восточных провинций Рима. Один корпус парфян шел в Малую Азию, другой занял Сирию, а третий направлялся в Финикию и Палестину.

Тир не сдался парфянам. Расположенный почти на острове, город мог защищаться в течение долгих месяцев. Но на других фронтах нечего было и думать о сопротивлении. Войск у Антония не хватало, а местное население, измученное грабительствами римлян, сочувствовало завоевателям, наивно полагая, что новые правители окажутся более сносными.

При сложившейся ситуации Антонию не оставалось ничего иного, как срочно отправиться в Италию, потому что только там он мог навербовать новых солдат. Кроме того, он хотел ликвидировать последствия Перузианской войны и прийти к соглашению с Октавианом. По пути в Рим Антоний заехал в Грецию и в Афинах встретился с женой. Фульвия была в полном отчаянии от все-

го случившегося. Но супруг отнесся к ней со свойственной ему жестокостью. Как она посмела развязать войну и — что хуже всего — проиграть ее!

Вскоре после этого Фульвия умерла в Сикионе.

Между тем Антоний был уже у берегов Италии. Он хотел стать на якоре в Брундизии, но входы в гавань были закрыты войсками Октавиана.

Начался длительный период дипломатической борьбы двух триумвиров.

ЧЕТЫРЕ ГОДА РАЗЛУКИ

Когда Антоний уезжал из Александрии, Клеопатра ждала ребенка. Через несколько месяцев после его отъезда, в том же 40 году, она родила близнецов, мальчика и девочку.

Что же касается отца детей, то он, поглощенный проблемами большой политики, казалось, совсем забыл о своем египетском увлечении. В сентябре 40 года в Брундизии было заключено соглашение, по которому соперники произвели новый раздел провинций. Все провинции к востоку от города Скодра в Иллирии (современный Шкодер в Албании) получил Антоний; Октавиану были отданы западные провинции; Африка сохранялась за Лепидом, роль которого становилась все менее значительной. Италия объявлялась их общим владением, так как там находилась столица государства; Антоний и Октавиан получили право вербовать в Италии легионеров. Такое решение вопроса до некоторой степени устраивало и Клеопатру. Безусловно, ей гораздо приятнее было бы услышать о полной победе своего возлюбленного над Октавианом, но то обстоятельство, что раздел провинций и в дальнейшем связывал Антония с Востоком, а следовательно, также и с Египтом, было для нее важнее всего.

Одновременно с этим сообщением в Александрию пришло и другое: в целях скрепления брундизийского договора было решено, что недавно овдовевший Антоний женится на сестре своего коллеги Октавиана — Октавии. Бракосочетание состоялось в Риме осенью 40 года. Эта весть должна была очень огорчить египетскую царицу, мать детей Антония.

Октавия была старше Клеопатры всего на один год. В то время ей было тридцать лет. Сохранились описания ее внешности и портреты, которые изображают Ок-

тавию женщиной очень красивой, с приятными и правильными чертами лица. Известно также, что она была скромна, тиха, предана дому и семье, ласкова и доброжелательна со всеми — словом, в ней воплощался римский идеал женщины, выраженный в традиционной формуле надгробных надписей: «Pia pudens pudica — Lanam fecit», то есть «Благочестива, скромна, целомудренна — пряла шерсть». Действительно, трудно найти более простую и выразительную похвалу хозяйке.

Первый муж Октавии незадолго до того умер, оставив двух детей. Хотя вопрос о ее замужестве решала не она сама, а ее брат, Октавия искренне любила своего второго мужа. И Антоний, по крайней мере в первое время, по-видимому, не был к ней равнодушен. Не потому ли, что Октавия во многих отношениях была полной противоположностью чувственной, любящей роскошь, изобретательной в увеселениях, соблазнительной и коварной Клеопатре?

Сначала царица еще могла тешить себя надеждой, что брак Антония с Октавией, заключенный ради политических целей и как бы по принуждению, превратится в фикцию, едва лишь Антоний снова окажется на Востоке. Она рассчитывала, что Октавия останется в Риме, а Антоний вернется к ней и ее детям. Но момент возвращения триумвира отдалялся. Весь 40 год и бóльшую часть 39-го он пробыл в Италии. Его вынуждало к этому как положение в столице, население которой отнюдь не проявляло энтузиазма по поводу мероприятий триумвиров, так и необходимость собрать силы для борьбы с парфянами; все это время с парфянами в Сирии сражался один из легатов Антония — Вентидий Басс.

Лишь осенью 39 года Антоний выехал из Рима — но не один, а с Октавией. Целью поездки были Афины. Об их пребывании в этом городе пишет один из древних историков:

«...Антоний провел зиму в Афинах с Октавией, как перед тем в Александрии с Клеопатрой, имея сведения из лагерей только на основании присылаемых сообщений. Он сменил жизнь вождя на скромную жизнь частного человека, носил четырехугольную греческую одежду и аттическую обувь, не имел привратников, ходил без несения перед ним знаков его достоинства, а лишь с двумя друзьями и двумя рабами, беседовал с учителями, слушал лекции. И обед у Антония был греческий; с греками же он занимался гимнастическими упражне-

ниями; празднества и развлечения он делил с Октавией. Сильна была в это время его страсть к Октавии, так как он вообще быстро увлекался любовью к женщинам. Но как только миновала зима, Антоний сделался как бы другим человеком, вновь изменилась его одежда, а вместе с тем и весь его образ жизни. Немедленно около дверей появилось множество ликторов, военачальников, телохранителей. Все внушало страх и изумление. Начались приемы посольств, которые до того времени задерживались, производился суд. Спущены были корабли, делались все другие приготовления»[49].

Весной 38 года Антоний наконец прибыл в Сирию. К тому времени его полководцу Вентидию удалось разбить парфян и оттеснить их за Евфрат. Триумвир захватил один город, а настоящего победителя отослал в Италию, присвоив себе при помощи этой хитрости чужую военную славу.

Зиму Антоний снова провел в Афинах, а затем вернулся в Италию. Между ним и Октавианом стал назревать очередной конфликт, устраненный благодаря вмешательству Октавии. Антоний передал своему шурину более ста кораблей; взамен ему были обещаны четыре легиона для похода против Парфии, которую Антоний намеревался завоевать. Триумвир задумал осуществить то, что не удалось Цезарю,— донести серебряные орлы римских легионов до Индии.

Осенью 37 года Антоний покинул Италию и никогда уже туда не возвратился. Октавия сопровождала мужа только до острова Керкира. Антоний отправил ее домой, чтобы не подвергать тяготам и опасностям дальнего похода, тем более что Октавия была беременна. Вскоре она родила дочь, вторую в этом браке.

Прошло четыре года с тех пор, как Антоний расстался с Клеопатрой. Все это время они, по всей вероятности, обменивались письмами, но даже древним историкам не были известны хотя бы отрывки из этой переписки. Около Антония всегда находился египетский астролог, приставленный к нему царицей. Он составлял гороскопы и давал советы. Легко догадаться, какие именно наставления получал от него Антоний:

— Тебя ждет прекрасная и великая судьба, однако на нее бросает тень судьба Октавиана. Держись подальше от этого молодого человека, ибо твой гений боится гения Октавиана. Когда твой дух-хранитель один, он радуется и крепнет, а рядом с Октавианом он печалится и слабеет.

СОЛНЦЕ И ЛУНА

После четырехлетней разлуки Антоний встретился с Клеопатрой не в Египте, а в Сирии. Триумвир хотел соблюсти внешние приличия. В случае надобности он мог бы оправдаться перед Римом и собственной женой:

— По политическим соображениям и в особенности в связи с предстоящим походом против парфян я должен был вступить в переговоры с правительницей самого сильного государства Востока. Встреча произошла на территории Римской державы, царица выступала только в качестве приглашенной для беседы союзницы.

Вполне вероятно, что, отправляя своего посла в Александрию, триумвир действительно хотел придать этому свиданию чисто деловой характер и что именно такие инструкции получил от него Фонтей Капитон, человек более серьезный, чем Квинт Деллий. Перед послом и другом Антония стояла нелегкая задача. Царица вполне могла отказаться выехать за пределы своей страны. Но Капитон, по-видимому, искусно повел дело. А может быть, Клеопатра решила повернуть все иначе, чем планировал Антоний, и попытаться повторить в Сирии то, что так прекрасно удалось четыре года назад в Тарсе,— снова пленить римлянина.

На этот раз Клеопатра не стала изображать Афродиту. Не было маскарада, роскоши, увеселений. Она просто взяла с собой трехлетних близнецов, детей Антония.

В трудах древних авторов есть описание встречи в Тарсе в 41 году, но не сохранилось ни одного рассказа о том, что произошло в Сирии, как встретились Клеопатра и Антоний, о чем говорили друг с другом, как объясняли свои поступки. Но мы знаем главное: Антоний взял на руки и поднял вверх детей Клеопатры. По римским понятиям и обычаям, это означало, что он официально признает их своими. Вероятно, именно тогда близнецы получили новые имена. Мальчика назвали Александром Гелиосом, то есть Солнцем, а девочку — Клеопатрой Селеной, Луной. В этом, разумеется, был определенный политический смысл. Подобно Александру Великому, триумвир готовился к походу на Восток. Имя мальчика — Александр — должно было напоминать о великом прошлом и предвещать еще более великое будущее: как три столетия назад. Персия вновь будет покорена. Кроме того, назвав своих детей Гелиосом и Селеной, Антоний и Клеопатра хотели показать, что они

рассчитывают завоевать господство над Парфией, царь которой в своей богатой титулатуре имел гордое наименование «брат Солнца и Луны». Наконец, надо помнить, какую роль играли в верованиях египтян и греков солнце и луна. Клеопатра — Исида и ее супруг Антоний — Дионис, будучи богами, могли произвести на свет только богов.

Признав детей, Антоний должен был сделать их мать своей законной супругой. Так он и поступил. Правда, мы не знаем, случилось ли это тогда же, осенью 37 года, в Сирии, или несколько позднее. Брак с Клеопатрой вовсе не означал, что Антоний был намерен разводиться с Октавией. С точки зрения римлян, его женой считалась только Октавия, потому что по закону римский гражданин мог вступить в брак с чужестранкой лишь в том случае, если ее страна была связана с Римом так называемым jus connubii, соглашением, дающим право гражданам двух государств заключать важные династические браки. С Египтом у Рима такого договора не было. Поэтому Октавиан и его сестра попросту игнорировали женитьбу Антония, а церемонию бракосочетания рассматривали как очередную выходку триумвира, наподобие тех, о которых мы говорили.

Что же касается подданных Клеопатры, то они, как и все восточные народы, вообще не придавали значения юридической стороне дела. Боги и цари выше законов, и, если им угодно, они совершают обряды и становятся супругами. Из этого, однако, не следует, что Антоний сделался царем и повелителем Египта. Он был в этой стране — если воспользоваться современной терминологией — на положении «царствующего супруга».

ДАРЫ

Осенью 37 года Клеопатра получила от отца своих детей необычайно щедрые подарки. Возможно, это были подношения жениха — если бракосочетание состоялось именно тогда. Царица получила сирийский город Халкис, правитель которого поплатился жизнью за сочувствие парфянам; несколько крупных частных поместий в Киликии и на Крите; ей были отданы в управление некоторые города на побережье Сирии и Финикии. Кроме того, Антоний подтвердил принадлежность Кипра Египту, провозглашенную одиннадцать лет назад Цеза-

рем. В целом эти пожалования были огромны. Но формально Антоний не посягал на римские владения на Востоке. Он передал Клеопатре те территории, которые по каким-либо причинам остались без владельцев после недавнего нашествия парфян. На основании соглашения с Октавианом Антоний имел право решать проблемы Востока так, как он найдет полезным для республики. Впрочем, не одна Клеопатра поживилась тогда за счет милостивых щедрот триумвира, который раздавал целые царства, главным образом в пограничных областях. Их новые правители, формально считаясь римскими союзниками, фактически были вассалами Рима, а их владения — его форпостами. Таким образом, Антоний защитил границы восточных провинций от внешних нападений кордоном из мелких зависимых государств. Это была разумная и целесообразная политика.

Но все эти подарки и пожалования не удовлетворили Клеопатру. Она не скрывала, что ждет большего. Особенно ей хотелось получить Иудею и Аравию, называвшуюся тогда Набатейской, то есть территорию Палестины с прилегавшими к ней с востока землями. Свои притязания она оправдывала тем, что при первых Птолемеях Палестина находилась под властью Египта, лишь потом ею завладели Селевкиды, которым пришлось уйти из страны под натиском восставших иудеев. Однако на этот раз Антоний не был так великодушен. И не без причин. В Иудее в это время царствовал Ирод, три года назад возведенный на престол Антонием и Октавианом. Ирод изгнал из Палестины парфян и разгромил враждебную ему политическую группировку внутри страны. Отобрать у него Иудею значило бы грубо нарушить существующее соглашение и подорвать авторитет нового режима на Востоке. К тому же Клеопатра все равно не справилась бы с иудеями. Все хорошо знали, что этот народ фанатически дорожит своей свободой и способен за нее постоять.

В конце концов Клеопатра получила небольшую часть Иудеи, правда наиболее плодородную: город Иерихон с окрестностями, где находились знаменитые плантации благовонных кустарников. А из территории набатеев Антоний отдал ей полосу земли к востоку от Мертвого моря. Все это он сделал, разумеется, не спрашивая разрешения ни у Ирода, ни у арабов. Впрочем, те были рады, что теряют сравнительно немного. Неясно одно — получила все это Клеопатра в 37 году или двумя годами позже.

Весной 36 года большая армия Антония двинулась на восток против парфян. Клеопатра сопровождала полководца до Евфрата.

КЛЕОПАТРА И ИРОД

У современных исследователей нет единого мнения о том, когда именно Клеопатра посетила Иерусалим: летом ли 36 года, по пути с Евфрата, или через два года, в 34 году. Сохранился рассказ об этой встрече иудейского писателя Иосифа Флавия, жившего в I веке н. э. и писавшего по-гречески. В своих сочинениях Флавий использовал труды историков — современников описываемых событий. Возможно, в его распоряжении были даже дневники царя Ирода, принимавшего Клеопатру в Иерусалиме.

Несмотря на то что Иосиф Флавий относился к числу противников политической линии Ирода, когда речь шла о Клеопатре, он, как и все иудеи, полностью разделял позицию и чувства своего царя. Вот что говорит Флавий о царице Египта:

«В это время в Сирии опять возникли волнения, потому что Клеопатра не переставала возбуждать Антония против всех. Она уговаривала его отнимать у всех престолы и предоставлять их ей, а так как она имела огромное влияние на страстно влюбленного в нее Антония и при своей врожденной любостяжательности отличалась неразборчивостью в средствах, то решилась отравить своего пятнадцатилетнего брата, к которому, как она знала, должен был перейти престол; при помощи Антония она также умертвила свою сестру Арсиною, несмотря на то что та искала убежища в храме эфесской Артемиды. Где только Клеопатра могла рассчитывать на деньги, там она не стеснялась грабить храмы и гробницы; не было столь священного места, чтобы она не лишила его украшений, не было алтаря, с которого она не сняла бы всего, лишь бы насытить свое незаконное корыстолюбие. Ничего не удовлетворяло этой падкой до роскоши и обуреваемой страстями женщины, если она не могла добиться чего-либо, к чему стремилась. Вследствие этого она постоянно побуждала Антония отнимать все у других и отдавать ей» [50].

По словам историка, Антоний сделался игрушкой в руках этой требовательной и капризной женщины; словно околдованный любовью, он уступал ей во всем, чего бы она ни пожелала.

О визите в Иерусалим Флавий пишет следующее: «...Проводив до Евфрата Антония, отправлявшегося в поход против Армении, Клеопатра вернулась назад и прибыла в Анамею и Дамаск. Затем она поехала также в Иудею, и здесь с нею встретился Ирод, который заарендовал у нее полученную ею в дар часть Аравии и окрестности Иерихона. Эта область дает наилучший бальзам, равно как имеет множество прекрасных финиковых пальм. При этих обстоятельствах, когда ей приходилось иметь довольно много дела с Иродом, Клеопатра, природою своею побуждаемая к чувственным удовольствиям, а может быть, и охваченная действительно чувством искренней любви к нему, пыталась интимнее сблизиться с царем; может быть, она тут преследовала цель, и это вероятнее, иметь новый повод овладеть им для исполнения своих коварных замыслов. Как бы то ни было, она делала вид, будто совершенно покоряется Ироду. Однако последний и раньше не был расположен к Клеопатре, зная, что она всем в тягость; он стал ее еще более ненавидеть за то, что она дошла до такого бесстыдства, и вместе с тем решил предупредить ее коварные замыслы и отомстить ей. Поэтому он отверг ее предложения и стал совещаться со своими приближенными, не лучше ли будет убить ее, раз она теперь в его руках. Таким образом он полагал освободить из затруднения всех тех, кто уже испытал на себе гнет Клеопатры, равно как будущие ее жертвы. Этим самым он думал оказать услугу самому Антонию, так как Клеопатра изменит ему, если только он очутится в каком-нибудь затруднении и обратится к ее помощи. От исполнения этого замысла Ирода, однако, удержали друзья его, поставляя ему, во-первых, на вид, что ему, который имеет совершить более важные предприятия, вовсе не подобает подвергать себя такой явной опасности, а затем умоляя его не предпринимать ничего слишком поспешно, ибо Антоний не снесет этого спокойно, даже если ему кто-нибудь наглядно сумеет представить всю пользу такого поступка. Его страсть к Клеопатре лишь еще более возгорится от сознания, что его лишили ее насильственным или коварным образом. При этом Ирод не будет в состоянии привести какое-либо достаточное основание того, что он рискнул поднять руку на женщину, обладавшую величайшим значением своей эпохи...» [51]

Совершенно очевидно, что в приведенном рассказе Иосиф Флавий точно следует какому-то источнику, ав-

тор которого явно сочувствует Ироду. Возможно, это были дневники самого царя.

Ненависть Ирода к Клеопатре имела еще одну причину. Царица участвовала в заговоре против него, который был составлен в иерусалимском дворце. Она действовала, разумеется, через посредников. Клеопатра тайно поддерживала мать жены Ирода Александру, люто ненавидевшую своего зятя. Как только заговор был раскрыт, Александра хотела бежать в Египет, но была схвачена в последний момент, когда ее, спрятанную в гробу, выносили из дворца. Позднее, когда Ирода обвиняли в убийстве юного шурина, сына Александры, верховного жреца Аристобула, Клеопатра выступала с особой запальчивостью. Ирод действительно был повинен в этой смерти, но для Клеопатры важен был не факт преступления, а возможность использовать его в качестве аргумента против Ирода.

Переплетение всех этих мрачных событий и интриг никому не удалось распутать до конца. Ясно одно: какое-то преступление было на совести не только Ирода, но и самой Клеопатры. Эти двое мало чем отличались друг от друга. Оба были одинаково честолюбивы и в борьбе за власть пользовались любыми средствами.

ПОРАЖЕНИЕ АНТОНИЯ

В самом конце 36 года Антоний вернулся в Сирию. Он остановился со своими приближенными в приморском городе Левке-Кома и нетерпеливо ожидал кораблей Клеопатры. Триумвир кутил и предавался мрачным мыслям. Его поход в Парфию после некоторых успехов в начале закончился полным разгромом. При отступлении Антоний потерял не менее четвертой части своего войска: двадцать тысяч пехотинцев и четыре тысячи всадников. Большинство из них погибло от голода и холода во время трудного перехода через заснеженные горы Армении.

Хотя поражение армии Антония было обусловлено многими причинами, основная вина за все происшедшее ложилась на полководца. Личной храбрости и удальства оказалось недостаточно для самостоятельного ведения серьезной военной кампании, требующей таланта стратега, осмотрительности и дальновидности. Но Антоний этого не понимал. Виновником всех бед, по его мнению, был вероломный царь Армении Артавазд, ко-

торому Антоний поклялся отомстить. Горечь поражения, может быть, была бы не столь сильной, если бы не известие о том, что в том же году Октавиан разгромил в Сицилии армию и флот Секста Помпея. Как мы говорили, младший сын Помпея Великого, Секст, в 45 году, после поражения в Испании, спасся, а позднее создал в Сицилии нечто вроде пиратского государства. Благодаря сильному флоту Секст Помпей долгие годы господствовал на всех морях, омывающих берега Италии, и терроризировал население набегами и грабежами.

Во время сицилийского похода Октавиану удалось переманить на свою сторону легионы Лепида. С этого момента судьбами Рима вершили два человека — Антоний и Октавиан.

Надо отдать справедливость Октавиану: он вел себя весьма лояльно по отношению к своему сотоварищу по власти, попавшему в очень трудное положение. Октавиан делал вид, будто верит официальным донесениям о победоносном окончании парфянского похода. Он даже добился того, что сенат дал разрешение на устройство по этому поводу благодарственного молебствия, которое, правда, смахивало на насмешку.

Клеопатра, разумеется, не оставила отца своих детей. Она приехала в Левке-Кома с деньгами и обмундированием для остатков разгромленной армии. Затем оба отправились морем в Египет.

На этот раз пребывание Антония в Александрии было очень кратковременным. Через два или три месяца с Востока пришли тревожные вести и ему пришлось вернуться в Сирию.

В это время между недавними союзниками, парфянским царем и царем мидян, возник конфликт, по-видимому при дележе награбленной у римлян добычи. К тому же царь Мидии опасался, что после этой победы парфянский царь станет слишком силен и лишит его власти. Поэтому он отправил к Антонию тайных послов с предложением помощи в борьбе с Парфией. Это пробудило в лагере полководца большие надежды, тем более что мидяне могли предоставить именно тот род войск, который был нужнее всего,— лучников и конницу.

Во время второго пребывания в Сирии, в первые месяцы 35 года, Антоний неожиданно получил известие о помощи еще с одной стороны. Но это лишь усложнило его положение.

КЛЕОПАТРА И ОКТАВИЯ

Октавия уговорила своего брата разрешить ей поехать на Восток к мужу. Некоторые утверждали тогда, что Октавиан заранее предвидел, что́ из этого получится, и дал согласие только из желания досадить Антонию. Но это скорее всего злобная клевета, измышленная позднее. В действительности же Октавиан поддержал эту идею и очень щедро помог сестре в приготовлениях к поездке. Он дал ей обмундирование для солдат Антония, в чем была большая нехватка, вьючных животных, довольно значительную сумму денег и подарки для высших военачальников. Кроме того, он выделил две тысячи прекрасно вооруженных легионеров для личной охраны повелителя Востока. Все это считалось даром Октавии, хотя каждый понимал, что без согласия ее брата ни один человек и ни один корабль не мог бы покинуть Италию. Не говоря уже о том, что такая экспедиция была не по средствам частному лицу.

Флотилия Октавии остановилась в Пирее, порту Афин. Оттуда был отправлен посол с письмами к Антонию. Октавия спрашивала у мужа, куда ей направиться с людьми и снаряжением. Посланец Октавии застал Антония в Сирии.

Известие о поездке Октавии и ее дарах испугало Клеопатру. Она предполагала, и, конечно, не без оснований, что римская жена хочет таким способом вернуть мужа. Царица понимала, что при сложившихся обстоятельствах многое может склонить Антония к примирению с Октавией: ее постоянство, терпение, доброта, готовность простить обиды и унижения и главное — могущество ее брата. Единственное, что Клеопатра могла сделать,— это как можно сильнее привязать к себе Антония.

По Плутарху, который, возможно, пользовался дневниками придворного врача Клеопатры, царица, «чувствуя, что Октавия вступает с нею в борьбу... испугалась, как бы эта женщина, с достойною скромностью собственного права и могуществом Цезаря соединившая теперь твердое намерение во всем угождать мужу, не сделалась совершенно неодолимою и окончательно не подчинила Антония своей воле. Поэтому она прикидывается без памяти в него влюбленной и, чтобы истощить себя, почти ничего не ест. Когда Антоний входит, глаза ее загораются, он выходит — и взор царицы темнеет, затуманивается. Она прилагает все усилия

к тому, чтобы он почаще видел ее плачущей, но тут же утирает, прячет свои слезы, словно бы желая скрыть их от Антония... Окружавшие его льстецы горячо сочувствовали египтянке и бранили Антония, твердя ему, что он жестокий и бесчувственный, что он губит женщину, которая лишь им одним и живет. Октавия, говорили они, сочеталась с ним браком из государственных надобностей, подчиняясь воле брата,— и наслаждается своим званием законной супруги. Клеопатра, владычица огромного царства, зовется любовницей Антония и не стыдится, не отвергает этого имени — лишь бы только видеть Антония и быть с ним рядом, но если отнять у нее и это, последнее, она умрет» [52].

Октавии пришлось вернуться в Рим. Ее супруг не соизволил даже встретиться с ней. Оскорбленный этим публичным унижением, Октавиан приказал сестре покинуть дом Антония. Но она отказалась сделать это, а продолжала вести дела своего мужа и воспитывать детей, не только своих, но и детей Антония от Фульвии. Октавия не сознавала, что своей верностью невольно вредит Антонию в глазах общественного мнения. Все сокрушались над участью отвергнутой жены и обвиняли в глупости и неблагодарности человека, который ставит выше подлинного чувства разнузданность Клеопатры и ее двора.

ТРИУМФ КЛЕОПАТРЫ

Очень скоро обнаружилось, что услуги, которые предлагал через своих посланцев царь мидян,— это одни фантазии. В 35 году не могло быть и речи о новом походе против Парфии. Антоний вернулся из Сирии в Александрию. Лишь в начале следующего, 34 года он покинул столицу Египта и во главе своей армии направился к горам Армении. Ему удалось хитростью взять в плен армянского царя Артавазда, которого два года назад он обвинял в коварстве и измене. Двух его сыновей Антоний тоже заключил под стражу. На короткое время Армения стала римской провинцией.

Осенью 34 года Антоний возвратился в Александрию. С его согласия здесь был подготовлен пышный триумф, точно копировавший подобные церемонии в Риме. Современники восприняли это как нечто неслыханное. Согласно древним обычаям, полководец имел право устраивать триумф только в столице государст-

ва — Риме и лишь с разрешения сената. Уж не хочет ли Антоний, как некогда Цезарь, перенести столицу Римской державы в Александрию?

Вторым нарушением извечных обычаев было то, что триумфальное шествие приветствовала царица чужеземного государства, восседавшая на отделанном серебром троне, среди яркой толпы придворных. Мимо бесчисленных зрителей, выстроившихся вдоль дороги, шагали легионеры и в колеснице ехал полководец. Члены армянской царской семьи в золотых цепях шли перед колесницей победителя. Ни один из них, как их ни принуждали, не пал ниц перед египетской царицей. Царь Армении обратился к владычице Египта как равный к равной. Пленники заплатили за это многими муками, а сам Артавазд через несколько лет — жизнью.

В том же 34 году в огромном зале гимнасия состоялась пышная и торжественная церемония. На возвышении сидели Антоний и Клеопатра; царица была в священном одеянии Исиды. На более низких тронах расположились дети: тринадцатилетний Цезарион, шестилетние Александр Гелиос и Клеопатра Селена, а также самый младший потомок Антония и царицы — Птолемей Филадельф.

Перед собравшимися в зале представителями граждан всей страны выступил с речью Антоний. Он объявил, что с этого времени Клеопатре присваивается титул Царицы Царей и что она будет править Египтом и Кипром совместно со своим первородным сыном. Антоний официально подтвердил, что Птолемей Цезарь — сын Божественного Юлия. Этим празднеством и своей речью Антоний хотел почтить память великого Цезаря.

Александр Гелиос, сидевший во время церемонии в полном мидийском уборе и в окружении телохранителей-армян, получил Армению, Мидию и Парфию. Младший сын Антония и Клеопатры, Птолемей Филадельф, был одет в македонскую одежду. Ему предстояло управлять египетскими владениями в Сирии и Киликии и осуществлять контроль над мелкими царствами, расположенными к западу от реки Евфрат. Клеопатре Селене отдали Киренаику и Ливию.

Вот до каких вершин величия подняла свою семью Клеопатра, отец которой двадцать лет безуспешно добивался признания и жил в постоянной тревоге, боясь, что сенат подтвердит призрачное завещание его предшественника и он лишится всего.

СПОРЫ О ПОЛИТИКЕ И НРАВСТВЕННОСТИ

Сообщения о дарах, полученных Клеопатрой и ее детьми, дошли до Рима, по всей вероятности, весной 33 года. Они взбудоражили общественное мнение. Что же касается Октавиана, то он мог только радоваться — своими действиями Антоний давал ему оружие против самого себя.

Положение в Италии в тот период складывалось следующим образом.

Всю вину за проведенную недавно конфискацию земельных участков возлагали на Октавиана, совершенно безосновательно утверждая, что Антоний не поступил бы так бесцеремонно. У Антония с давних пор было множество друзей в Риме. Те же римляне, которые его не знали, судили о нем по рассказам и сплетням, в которых Антоний выступал как человек гораздо более доступный и общительный, чем неразговорчивый, скрытный и замкнутый повелитель Запада. Пока на стороне Октавиана была армия, он мог и не считаться с настроением населения. Но положение осложнялось тем, что в конце 33 года истекало второе пятилетие триумвирата. Это означало, что Октавиан лишается законного права на власть. Что же касается Антония, то не могло быть и речи о продлении для него полномочий на последующий период. Повелитель Востока прямо говорил, что настало время вернуть республике ее давние свободы. Он мог позволить себе подобные высказывания.

Заручившись поддержкой Клеопатры и располагая богатствами и ресурсами ее страны, Антоний спокойно смотрел в будущее, уверенный, что всегда сможет оказывать решающее влияние на политику государства. Консульство на следующий, 32 год, согласно предварительной договоренности, получали два близких друга Антония — Гай Соций и Гней Домиций.

У Октавиана с самого начала его политической карьеры были разногласия с Антонием. Враждебность между ними со временем все более нарастала. Первый конфликт был устранен созданием в 43 году триумвирата. В последующие годы они вместе действовали против общего врага — убийц Цезаря. Затем один из них воевал с Секстом Помпеем, а другой — с парфянами и армянами. Какое-то время их примиряла Октавия. Но сейчас, когда каждый закончил свои войны, а

место Октавии заняла Клеопатра, соперники оказались один на один в борьбе за владычество над миром.

Естественно, Октавиан ухватился за повод, который, сам того не желая, дал ему Антоний. Наконец-то представился случай со всей очевидностью показать, что республике грозит смертельная опасность с Востока и что Антоний, который дарит римские земли чужеземной правительнице,— просто прислужник египетской царицы. Таким образом, у Октавиана появилось достаточное основание, чтобы потребовать особых полномочий для ведения государственных дел.

Однако и Антоний не сидел сложа руки. И он старался изобразить своего противника человеком, который ведет себя беззастенчиво и своевольно, попирая всяческие договоры. В частных письмах и в публичных речах он выдвигал против Октавиана серьезные обвинения. Три года назад Октавиан незаконно лишил власти и наместничества Лепида, он даже занял ту область в Африке, которой управлял Лепид, и включил его легионы в состав своей армии. После победы над Секстом Помпеем Октавиан завладел Сицилией. А между тем все эти земли должны рассматриваться как общее владение триумвиров. Октавиан обязан уступить ему, Антонию, половину всего, что он завоевал. Кроме того, он должен вернуть суда, которые занял у Антония для войны с пиратами Помпея. А главное, он должен предоставить Антонию возможность вербовать солдат в Италии, а также расселять ветеранов на завоеванных землях.

Октавиан не только защищался, но и нападал. Антоний стал фактическим правителем Египта, хотя это государство не было выделено ему при разделе провинций. Он обманул царя Армении, взял его в плен и заковал в цепи, вызвав этим всеобщее негодование против римского народа. Если Антоний требует половину добычи Октавиана, то и он сам должен отдать половину того, что отнял у армян и парфян. Ведь он утверждает, что победил их,— таковы, по крайней мере, его официальные донесения.

Однако больше всего Октавиан бранил Антония за связь с Клеопатрой и за подарки, которыми тот осыпáл представительницу чужеземной династии. Наследника диктатора весьма уязвило то, что Цезарион был публично признан сыном Цезаря, потому что это ставило под сомнение право самого Октавиана быть преемником имени Цезаря и его политического наслед-

ства. Октавиан открыто писал об этом в письме к Антонию. Относительно Клеопатры Антоний ответил ему с поистине солдатской непосредственностью:

«С чего ты озлобился? Оттого, что я живу с царицей? Но она моя жена, и не со вчерашнего дня, а уже девять лет. А ты как будто живешь с одной Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или Сальвией Титизенией, или со всеми сразу,— да и не все ли равно, в конце концов, где и с кем ты путаешься?» [53]

За Октавианом тоже числилось немало грешков по части нравственности.

«Марк Антоний, попрекая его, поминает и о том, как не терпелось ему жениться на Ливии, и о том, как жену одного консуляра он на глазах у мужа увел с пира к себе в спальню, а потом привел обратно, растрепанную и красную до ушей, и о том, как он дал развод Скрибонии за то, что она позволяла себе ревновать к сопернице, и о том, как друзья подыскивали ему любовниц, раздевая и оглядывая взрослых девушек и матерей семейств, словно рабынь у работорговца Тория» [54].

На протяжении всего 33 года шел обмен взаимными обвинениями и бранными прозвищами.

Одновременно использовались и другие известные тогда методы обработки общественного мнения. Скорее всего именно в эти годы на Востоке появилась греческая поэма, которую выдавали за пророчество Сивиллы, возвещавшее о пришествии золотого века, когда миром будет править Госпожа: исчезнет зло, между людьми воцарятся дружба и доверие, ничто не нарушит всеобщей безмятежности и изобилия. В Риме это пророчество распространяли астрологи и предсказатели, связанные с Египтом, за что в 33 году они были высланы из города.

Неприязнь Октавиана к Антонию становилась все более явной. Между тем для Антония первостепенное значение приобретало овладение Италией, так как только там он мог набирать рекрутов. В 33 году триумвир еще вел войну в Армении. Но осенью того же года он приказал своему легату Канидию сконцентрировать семнадцать легионов на побережье Малой Азии, в Эфесе. Одновременно во все зависимые от Рима царства и города были разосланы приказы о присылке в Эфес кораблей, людей, продовольствия.

Итак, Антоний начал открыто и даже демонстративно готовиться к войне. Может быть, он надеялся, что Октавиан испугается и в последний момент они снова придут к соглашению, как это было уже дважды?

В Италии тоже начались военные приготовления. Но пока обе стороны сохраняли видимость дружелюбия. Сообщалось, будто идет подготовка к военному походу против чужеземных народов, но послы так и сновали между ставкой Антония и Римом.

ГДЕ ЗАКОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?

1 января 32 года консулами в Риме стали Гней Домиций и Гай Соций. Оба они, как уже говорилось, принадлежали к числу сторонников Антония. Домиций, человек опытный и осторожный, не обнаруживал слишком откровенно свои взгляды и намерения. Его более молодой и запальчивый коллега в первый же день своего консульства произнес в сенате большую программную речь. Он на все лады превозносил Антония и резко осуждал Октавиана. Настроение в сенате было таким, что любое предложение консулов, способствовавшее концу карьеры Октавиана, прошло бы без труда.

Сам Октавиан не присутствовал на этом заседании. Он предвидел, как поведут себя консулы, и не хотел вступать с ними в спор, чтобы не доводить дело до открытого столкновения при неблагоприятных для него обстоятельствах. Поэтому он под каким-то предлогом уехал из Рима. Но в сенате была группа преданных ему людей — в частности, народный трибун Ноний, который, использовав свое право наложить вето на любое сенатское постановление, сумел искусно парализовать слишком решительные намерения Соция.

Вскоре после этого Октавиан вернулся в столицу и созвал сенат. Это было незаконным действием, так как к тому времени он уже не занимал никакой официальной должности. Однако сенаторы послушно явились. Затем Октавиан совершил еще один незаконный поступок — он вошел в зал заседаний в окружении друзей и легионеров, у которых были спрятаны мечи и кинжалы, притом так небрежно, что их мог видеть каждый. И наконец,— это было уже третьим нарушением закона — Октавиан сел между двумя консулами. Он произнес большую речь, в которой опровергал обвинения, выдви-

нутые против него Антонием и Социем, оправдывал свои политические мероприятия, утверждая, что все они были направлены на благо республики, обвинял своих противников в самоуправстве. Никто из присутствовавших, даже консулы, не осмелился ему возразить. Тогда после долгого молчания Октавиан взял слово вторично. Он заявил, что в ближайшее время снова созовет сенаторов, чтобы представить скрытое консулами письмо Антония, которое самым очевидным образом покажет, сколь пагубны для отчизны планы его автора.

Действительно, у консулов было такое письмо, но они не хотели оглашать его публично, понимая, что оно может только повредить Антонию и оказать услугу Октавиану в его антиегипетской пропаганде. В этом письме Антоний требовал, чтобы сенат утвердил его пожалования Клеопатре и ее детям.

Выступление консулов против Октавиана по существу являлось попыткой государственного переворота. Эта попытка не увенчалась успехом главным образом из-за трусости сенаторов, а также благодаря энергичным действиям Октавиана. При создавшемся положении консулы не видели необходимости и даже возможности своего дальнейшего пребывания в Риме, где они не имели никакой поддержки со стороны армии. Они сочли наиболее целесообразным немедленно покинуть Италию и отправиться на Восток, к Антонию. Вместе с ними или вскоре после них из Рима выехало около четырехсот сенаторов, то есть почти половина состава сената. Таким образом, правительство страны оказалось на Востоке. Создалось такое же положение, как семнадцать лет назад, когда под напором войск Цезаря из Рима вынуждены были бежать Помпей и сенат.

Все это застало Октавиана врасплох и поставило в весьма затруднительное положение. Но, для того чтобы сохранить видимость благополучия, он заявил:

— Консулы покинули Рим с моего ведома и согласия. Каждый, кто желает, может последовать их примеру, не опасаясь за свою жизнь и имущество.

С этого момента в Римском государстве стало два правительства, одинаково законных или незаконных. Одна половина сената и консулы находились в Эфесе, а другая половина и многие высшие чиновники — в Риме.

ЭФЕС, САМОС, АФИНЫ

Между тем в Эфес стягивалась огромная армия Антония — корабли и сухопутные войска. Флот насчитывал восемьсот судов, военных и грузовых, из них двести выставила Клеопатра. Царица Египта дала Антонию на военные расходы двадцать тысяч талантов и обязалась во время войны снабжать продовольствием все войско. Зимой или ранней весной 32 года Клеопатра сама прибыла в Эфес. Она открыто говорила, что хочет лично участвовать в решающей схватке Востока с Западом. Но ее ждал неприятный сюрприз. Антоний велел ей возвращаться в Египет и там дожидаться исхода войны. В Эфесе собралось очень много римлян, и все они были того же мнения. Необходимость отъезда Клеопатры была очевидна для всех. Оставаясь рядом с Антонием, она оказывала неоценимую услугу Октавиану, который не переставал твердить, что Антоний раб египетской царицы, выполняющий все ее капризы и желания, и что он готов даже Рим отдать в ее руки. Присутствие Клеопатры резко меняло характер конфликта. Это было уже не соперничество двух римлян, а священная война Италии против непомерных притязаний владычицы Востока.

Но Клеопатра была прежде всего женщиной. Политические соображения, как бы ни были они очевидны, не могли ее убедить. Она опасалась, что на сцену снова выступит Октавия и, как было уже дважды, предотвратит конфликт. Нетрудно было догадаться, что жертвой такого соглашения стала бы она, Клеопатра.

Позднее говорили, что Клеопатра подкупила одного из наиболее влиятельных военачальников Антония, Канидия, который, желая убедить своего полководца, выдвинул следующие аргументы:

— Отсылать Клеопатру было бы неправильно. Мы должны помнить, что своей необычайной щедростью она помогла укрепить наши войска. На кораблях много египетских моряков. Если их царица уедет, они, безусловно, будут сражаться более вяло и безразлично. Следует также учесть, что по уму и энергии Клеопатра не уступит ни одному из царей, которые будут сражаться в нашей армии. Благодаря тебе она приобрела большой опыт в ведении даже самых сложных государственных дел. Впрочем, она и прежде успешно правила своим обширным царством.

Просьбы красивой женщины и доводы авторитетного

военачальника подействовали. Клеопатра осталась. Насколько губительными были последствия этого решения, обнаружилось очень скоро. Может быть, Антонию нужно было послушаться дружеского совета царя Иудеи Ирода: «Хочешь победить? Убей Клеопатру!»

Ранней весной 32 года командование армии переместилось из Эфеса на остров Самос. Антоний и Клеопатра проводили все время в пирах и развлечениях. На остров были привезены не только войска и снаряжение, но и актеры.

— Чуть ли не вся вселенная,— говорили тогда,— гудит от звона оружия, стонов и рыданий, а в это же время на Самосе звучат флейты и кифары, в переполненных театрах поют хоры!

Ансамбли актеров состязались между собой за первенство в искусстве, «а цари старались превзойти друг друга пышностью приемов и даров, так что в народе с недоумением говорили: каковы же будут у них победные празднества, если они с таким великолепием празднуют приготовления к войне?!» [55].

Несколько позже, по-видимому в мае 32 года, двор и командование покинули Самос. Поскольку предстоящие военные действия должны были развернуться на Западе, все отправились в Грецию. Антоний и Клеопатра остановились в Афинах, где продолжали вести тот же образ жизни: развлекались, смотрели театральные представления и спортивные игры. Афиняне оказывали Клеопатре такие же почести, как несколько лет назад Октавии. Они направили к ней послов, одним из которых был Антоний. В качестве почетного афинского гражданина, каким он считался уже несколько лет, Антоний произнес перед царицей Египта речь. Клеопатра со своей стороны тоже была милостива к жителям этого знаменитого города.

Тогда же Антоний решился на формальный развод с Октавией. Он послал в Рим своих людей, которые выгнали Октавию из его дома. Бедняжка ушла, взяв с собой всех детей Антония, кроме старшего сына от Фульвии, находившегося возле отца. Говорят, что она плакала, потому что считала себя одной из причин грядущей войны.

ЗАВЕЩАНИЕ

Октавиан ни от кого не получал денежной помощи. Ему приходилось самому заботиться о сборе средств, необходимых для ведения войны. Поэтому он издал суровые распоряжения: свободнорожденные граждане должны были отдавать четвертую часть своих доходов, а отпущенники — восьмую часть всего своего имущества. Разумеется, это вызвало всеобщее недовольство. Позднее Антония укоряли за то, что он совершил серьезнейшую ошибку, не воспользовавшись возбуждением жителей Италии, чтобы нанести удар тогда же, летом 32 года. Такие упреки нельзя считать справедливыми, потому что в тот момент Антоний не был к этому готов. Вооружение и передвижения его огромного войска еще не закончились.

Между тем на сторону Октавиана перешли два близких Антонию сенатора — Титий и Мунаций Планк. Еще в Эфесе они настоятельно советовали отправить Клеопатру в Египет. В результате они навлекли на себя смертельную ненависть царицы и вынуждены были покинуть лагерь Антония. К Октавиану они пришли не с пустыми руками. Им были известны все планы Антония, они знали, где хранится его завещание, при составлении которого они были свидетелями. Титий и Мунаций обратили внимание Октавиана на то, что в завещании Антония содержатся важные политические постановления. Хранительницы этого документа, весталки, сначала отказывались его выдать, но, когда за ним пришел сам Октавиан, отдали его. Октавиан поступил совершенно незаконно, точно так же позднее он не имел права оглашать этот частный документ на заседании сената. Большинство сенаторов были возмущены, они говорили, что никого не следует упрекать при жизни за те постановления, которые сделаны на случай смерти.

Однако надо признать, что многие пункты завещания должны были показаться римлянам прямо-таки кощунственными. Антоний просил, например, чтобы его тело, если он умрет в Риме, перевезли в Александрию и похоронили там рядом с гробницей Клеопатры; он еще раз повторял, что Цезарион — сын Цезаря, и завещал огромное наследство своим детям от Клеопатры.

Октавиан использовал вызванное этими распоряжениями негодование и повел дальнейшую агитацию против Антония. Распространялись всевозможные слухи и

сплетни, изображавшие Антония человеком, всецело подчинившимся Клеопатре и недостойным даже звания римлянина. Ему вменялось в вину то, что он подарил египетской царице пергамскую библиотеку с двумястами тысячами свитков, что на одном из пиров, в присутствии множества гостей, он поднялся с места и растирал ей ноги, что он не возражал, когда в Эфесе Клеопатру величали госпожой и владычицей, что неоднократно во время приема правителей и послов он получал ониксовые и хрустальные таблички с ее любовными посланиями. А однажды, когда он председательствовал на суде в Александрии, во время речи защитника около здания показался кортеж царицы, которую несли на носилках. Едва завидев ее, Антоний вскочил и, не дослушав дела, отправился пешком провожать царицу.

Несмотря на все эти обвинения, у Антония оставалось много друзей в Риме, стремившихся ему помочь. Они старались влиять на общественное мнение, опровергая сплетни и слухи, задевавшие его честь. Один из его друзей, Геминий, поехал на Восток специально для того, чтобы убедить Антония отослать Клеопатру.

Царица сразу разгадала намерения римского гостя. Она даже заподозрила его в том, что он собирается защищать Октавию. Геминий стал объектом бесконечных издевок и насмешек. Ему отводили оскорбительно низкие места в пиршественной зале. Он, однако, все сносил, терпеливо ожидая возможности свободно поговорить с Антонием. Наконец на одном из пиров царица прямо спросила его, зачем он приехал.

— В любом другом случае я предпочел бы вести беседу на трезвую голову,— ответил он,— но одно я знаю наверное, пьяный не хуже, чем трезвый: все пойдет на лад, если ты вернешься в свое царство.

Антоний нахмурился, а Клеопатра ответила с очаровательной улыбкой:

— Это прекрасно, что ты сказал правду без пытки!

Несколькими днями позже Геминию удалось бежать. Антония покинуло еще много соратников, которые не смогли перенести издевательских шуток египтян. А те, уверенные в поддержке и могуществе своей госпожи, насмехались даже над сенаторами. И сама царица пользовалась любым поводом, чтобы очернить кого-нибудь из римлян в глазах мужа. Квинт Деллий, тот самый, который несколько лет назад убедил ее поехать

в Тарс, чуть не поплатился жизнью за одну свою шутку. Он сказал как-то за столом:

— Нас здесь поят уксусом, а Сармент в Риме купается в фалернском [56]!

Сармент еще мальчиком был у Цезаря одним из любимчиков, то есть в какой-то степени соперником Клеопатры, которая хорошо помнила это имя. Лекарь царицы Главк предупредил Деллия о грозящей ему опасности, и тот позднее, уже во время начавшихся военных действий, сумел бежать.

УСЫПАЛЬНИЦА ВОЗЛЕ ХРАМА ИСИДЫ

Усиленная агитация Октавиана привела к тому, что поздней осенью 32 года он был избран верховным главнокомандующим и все население Италии принесло ему торжественную присягу. Примеру Италии последовали и западные провинции [57]. Теперь у сына Цезаря было моральное основание для того, чтобы лишить Антония всех должностей и званий. Консульство на следующий, 31 год получили Октавиан и его друг Мессала. После этого торжественно, с соблюдением старинного религиозного церемониала была объявлена война. Но, воспользовавшись тем обстоятельством, что Клеопатра находилась в главной квартире восточной армии, Октавиан объявил войну не Антонию, а ей.

После длительных маневров и передвижения войск 2 сентября 31 года произошла решающая морская битва у мыса Акция, в Эпире. Флот Антония потерпел поражение. Часть кораблей вырвалась, увозя Антония и Клеопатру, которые через некоторое время вернулись в Александрию. Победитель продвигался медленно, и беглецы могли еще что-то предпринять для своего спасения. Но они почти все свое время проводили в пирах и забавах. Именно тогда, как бы в предчувствии неминуемой гибели, при египетском дворе возник «Союз Живущих Бесподобно».

Клеопатра и Антоний пытались, правда, то вместе, то порознь вступать в переговоры с Октавианом. Но безрезультатно: Октавиан выдвигал жесткие условия, так как он больше не нуждался в компромиссах.

Несмотря на поражение, в Египте царило спокойствие. В одном документе говорится, что народ готов был стать на защиту царицы. Это кажется вполне вероятным. Хотя Клеопатра не пользовалась особой популяр-

ностью в своей стране, угроза римского владычества всех повергала в ужас. Однако царица, по свидетельству того же источника, пренебрегла преданностью своих подданных. Безусловно, она поступила правильно. Клеопатра видела подавляющее превосходство римлян и понимала, что война принесет стране разорение и лишит не только ее, но и ее потомков последней надежды удержаться на троне. Главной же ее заботой сейчас было сохранить трон для своих детей. Поэтому она послала Октавиану скипетр и диадему, прося его назначить царем Египта одного из ее сыновей. Победитель через своих послов втайне заверил царицу, что не причинит ей зла. Однако, надо полагать, ему важно было одно — завладеть сокровищами, которые царица в случае бегства увезла бы с собой или утопила в море.

Полная тяжелых предчувствий, Клеопатра готовила корабли, на которых она с семьей в крайнем случае переправилась бы через Красное море и уплыла в Индию [58], собирала деньги и драгоценности. Одновременно она испытывала на заключенных действие различных ядов, в особенности змеиных.

1 августа 30 года Октавиан подошел к стенам Александрии. Антоний подготовил к бою остатки своих войск и приказал кораблям выйти из гавани. Однако ему изменил сначала флот, а потом и сухопутные отряды.

Когда оставшийся без армии полководец возвращался во дворец, навстречу ему выбежали слуги Клеопатры, крича, что царица заперлась в огромной усыпальнице, построенной для нее около храма Исиды, и там покончила с собой.

Антоний вошел в свои покои и снял латы. Потом он произнес с печальной улыбкой, обращаясь к слугам и нескольким друзьям:

— Какой же из меня полководец, если даже женщина превзошла меня решимостью!

Он попросил верного раба Эроса вонзить меч ему в сердце — таков был их давний уговор. Эрос взял меч, примерился и нанес удар себе. Когда раб упал мертвым у ног своего господина, Антоний взглянул на него с восхищением и сказал:

— Ты хорошо показал, как это делается!

Но сам он поразил себя мечом не так ловко — удар пришелся в живот и оказался слишком слабым. Антоний упал на постель, обливаясь кровью, однако не потерял сознания, а стонал и молил окружающих добить его; но все разбежались, оставив его бившимся в кон-

вульсиях, кричавшим от боли и ужаса. В этом положении его нашел секретарь Клеопатры — Диомед.

— Царица еще не совершила самоубийства. Она жива и жаждет тебя видеть,— сказал он.

Диомед созвал рабов, которые на руках отнесли Антония к усыпальнице. Но подъемная дверь в виде тяжелой плиты была уже опущена. Клеопатра с двумя рабынями, укрывшимися вместе с ней, выбросила через верхнее окно веревки. Ими обмотали раненого, и женщины с трудом втянули наверх истекавшего кровью и почти лишившегося чувств Антония.

Когда Антоний наконец оказался внутри, царица уложила его на своем ложе и накрыла одеждами. Она горько плакала, называя его своим мужем и господином. Антоний попросил вина, выпил немного и произнес еще несколько слов. Он уговаривал Клеопатру не отчаиваться и заняться своими делами. А свою жизнь он считает счастливой: в ней было много прекрасных минут, он был одним из самых прославленных людей, обладал величайшим могуществом и теперь умирает достойно, как подобает римлянину, побежденному римлянином.

Не успел Антоний испустить последний вздох, как перед входом в усыпальницу появился посланец Октавиана — Гай Прокулей. Гай Прокулей пользовался репутацией человека безупречного, и Антоний советовал Клеопатре из всего окружения Октавиана доверять только ему.

Тем не менее царица не впустила Прокулея внутрь: они разговаривали, разделяемые плитой. Клеопатра требовала, чтобы Октавиан пообещал сохранить ее детям трон; Прокулей же призывал ее положиться на милосердие сына Цезаря.

Едва ушел Прокулей, как прибежал другой сподвижник Октавиана, Галл. Он тоже вступил в долгие переговоры с царицей. А Прокулей между тем приставил лестницу к тому самому окошку, через которое подняли Антония, и спрыгнул внутрь. Одна из рабынь, увидев его, крикнула своей госпоже:

— Тебя схватят живой!

Клеопатра обернулась и выхватила кинжал, намереваясь заколоть себя. Но римлянин быстро подбежал к ней и, схватив ее обеими руками, вскричал:

— Ты несправедлива к себе и Цезарю! Позволь ему проявить человеколюбие! Это милосерднейший правитель, а ты хочешь, чтобы в нем видели злодея!

Прокулей отнял у царицы кинжал и осмотрел ее платье — он опасался, что она спрятала в одежде яд.

Октавиан поручил своему вольноотпущеннику Эпафродиту внимательно следить за тем, чтобы Клеопатра не лишила себя жизни. Вместе с тем ему было приказано вести себя учтиво и заботиться о царице.

СМЕРТЬ КЛЕОПАТРЫ

Через несколько дней состоялись пышные похороны Антония. Октавиан не препятствовал исполнению обряда и даже приказал доставить все, что царица сочтет нужным, для придания блеска траурной церемонии.

Еще прежде, рыдая в усыпальнице над умирающим Антонием, Клеопатра расцарапала себе грудь и лицо. На месте царапин образовались язвы, поднялся жар. Она была рада этому, потому что задумала под предлогом болезни отказаться от пищи и таким образом расстаться с жизнью. Об этом рассказывал позднее ее личный врач. Но Октавиан пригрозил убить ее детей, если она не прекратит голодовку. Угроза подействовала немедленно.

Вскоре Октавиан сам посетил царицу. Об этой встрече рассказывают два автора — Плутарх и Дион Кассий[59]. Их версии, несмотря на кажущееся различие, не противоречат одна другой. Используя оба повествования, мы можем следующим образом воспроизвести ход этого свидания.

Когда Октавиан вошел в покои, царица, непричесанная, в легкой тунике, отдыхала на низком ложе. Она тут же вскочила и припала к его ногам. Октавиан просил ее лечь и сам сел подле. Последний раз он видел Клеопатру шестнадцать лет назад в Риме. Тогда царица даже не обратила внимания на мальчика, от которого сейчас зависела ее судьба.

Клеопатра начала с попыток оправдаться. Она старалась обвинить во всем Антония, говорила об его упрямстве и злой воле. Но когда Октавиан напомнил некоторые факты, она тотчас же переменила тему разговора.

В помещении, где они беседовали, находились портреты и скульптурные изображения Цезаря. Здесь же Клеопатра хранила его письма. Она стала читать отрывки из них, то и дело, словно мимоходом, но много-

значительно добавляя, что это письма его, Октавиана, отца. Отрывки, которые она читала, были полны самых пылких заверений в любви. Время от времени с уст Клеопатры срывались как бы безотчетные вздохи:

— К чему мне теперь твои письма!.. О, почему мне не дано было умереть раньше тебя!.. Но если он рядом, то и ты со мной!

Октавиан слушал ее невозмутимо. Наконец он проговорил, не поднимая глаз:

— Не падай духом. Я не причиню тебе зла.

Затем Клеопатра вручила Октавиану список своих драгоценностей. Но в этот момент присутствовавший при беседе управляющий царицы упрекнул ее, что список неполон. Тогда царица вскочила с ложа, схватила управляющего за волосы и начала бить его по лицу. Октавиан, рассмеявшись, остановил этот приступ ярости.

— Разве это не ужасно? — воскликнула с жаром Клеопатра, обращаясь к Октавиану.— Ты изволил прийти ко мне для беседы, а мои слуги имеют дерзость обвинять меня в том, что я утаила немного женских безделушек. Я сделала это, но не для себя. Я хочу подарить эти украшения Ливии[60] и Октавии, чтобы они заступились за меня перед тобой!

Октавиан ответил, что в этих вопросах предоставляет ей полную свободу, и добавил, что она может рассчитывать на бóльшую снисходительность, чем предполагает. На этом беседа закончилась.

Вскоре некий римлянин, тайный поклонник Клеопатры, уведомил ее, что близок отъезд из Египта: через три дня ее с детьми отправят в Рим. Царская семья должна будет украсить триумф победителя. Тогда Клеопатра приняла окончательное решение.

Рано утром, с разрешения Октавиана, царица отправилась на могилу Антония. Она возложила цветы, долго плакала и жаловалась на свою судьбу; из всех бедствий, какие выпали на ее долю, самым тяжким было то, что ей пришлось прожить несколько дней без Антония. И вот теперь он, римлянин, покоится в египетской земле, а она, царица Египта, будет погребена в далекой Италии!

Вернувшись во дворец, Клеопатра велела приготовить себе купание и съела изысканный обед. В то же время в ворота дворца вошел какой-то крестьянин с корзиной. Караульные спросили его, что он несет. Крестьянин открыл корзину и показал прекрасные смоквы. Солдаты подивились их величине, а он, смеясь, разре-

шил им взять по нескольку штук и прошел в покои царицы.

После обеда Клеопатра села писать письмо. Окончив, она запечатала его и велела отдать Октавиану. Затем она отослала всех слуг и осталась только с двумя рабынями, теми самыми, которые прятались с ней в усыпальнице.

Взглянув на письмо, Октавиан вскочил и хотел немедленно бежать к царице. В письме содержалась просьба Клеопатры о том, чтобы ее останки были погребены рядом с могилой Антония...

Когда посланные Октавианом люди прибежали к покоям Клеопатры, они нашли двери запертыми. Их пришлось взломать. И тогда увидели Клеопатру, неподвижно лежащую на позолоченном ложе. На ней были роскошные царские одежды. Одна из рабынь, Ирада, лежала на полу у ног своей госпожи, а другая, Хармион, еще державшаяся на ногах, поправляла диадему на голове царицы.

Кто-то крикнул:

— Хорошо ли это, Хармион?

А она ответила, уже погружаясь во мрак смерти и думая, наверно, только о диадеме:

— Да, так лучше всего, ведь она была наследницей стольких царей!

И рухнула замертво на пол.

Тайну своей смерти три женщины унесли в могилу.

На левом плече Клеопатры были обнаружены две ранки, похожие на следы змеиных укусов, но змеи в комнате не нашли. Может быть, она уползла через дверь, выходившую на берег моря?

Если Клеопатра, как утверждали тогда, умерла от укуса змеи, в этом можно усмотреть глубокий символический смысл. Испокон веков корону фараонов украшало изображение змеи-аспида. Змея была эмблемой царской власти. Вспомним, как верховный жрец в Мемфисе Пшерени-Птах гордился тем, что возложил на голову отца Клеопатры, Птолемея XII, «украшение в виде змеиной короны». В египетских культах змею связывали также с богом солнца Ра. Считалось, что ее укус дает бессмертие и приобщает человека к богам.

Похороны царицы были достойны последней представительницы великой династии, которая правила Египтом в течение трех столетий. Останки Клеопатры погребли рядом с могилой Антония, а неподалеку похоронили ее верных рабынь.

Птолемея Цезаря, которому в ту пору исполнилось семнадцать лет, победитель приказал убить. Юноша был уже на пути в Индию, но вернулся из-за предательства или трусости своего опекуна. Младших детей Клеопатры и Антония отправили в Рим. Заботу о них взяла на себя Октавия. Позднее Клеопатру Селену выдали замуж за царя Мавретании Юбу, того самого, который в 46 году, мальчиком, шел в триумфе Цезаря. Александр Гелиос и младший сын Клеопатры, Птолемей, тоже жили при мавретанском дворе; их дальнейшая судьба неизвестна. Сын Юбы и Селены, внук Клеопатры, Птолемей, унаследовал после отца трон и вместе с матерью ревностно насаждал культ богини Исиды. Он погиб в 40 году н. э. по воле императора Калигулы, включившего Мавретанию в состав империи.

Пышный триумф в честь победы над Египтом состоялся 15 августа 29 года до н. э. В шествии через Рим на Капитолий несли портрет Клеопатры на смертном ложе и вели троих ее детей.

Однако действительно бессмертным памятником победы стала ода Горация, которую поэт сложил сразу после падения Александрии и смерти царицы — сообщения об этих двух событиях дошли до Рима почти одновременно. Красноречивее, чем все документы, и убедительнее, чем выводы историков, свидетельствует она, сколь сильны были в римском обществе антиегипетские настроения и страх перед Клеопатрой. Но, воспевая торжество победы, ода вместе с тем воздает должное величию побежденной.

Теперь — пируем! Вольной ногой теперь
Ударим оземь! Время пришло, друзья,
Салийским угощеньем щедро
Ложа кумиров почтить во храме!

В подвалах древних не подобало нам
Цедить вино, доколь Капитолию
И всей империи крушеньем
Смела в безумье грозить царица

С блудливой сворой хворых любимчиков,
Уже не зная меры мечтам с тех пор,
Как ей вскружил успех любовный
Голову. Но поутихло буйство,

Когда один лишь спасся от пламени
Корабль, и душу, разгоряченную
Вином Египта, в страх и трепет
Цезарь поверг, на упругих веслах

Гоня беглянку прочь от Италии,
Как гонит ястреб робкого голубя
Иль в снежном поле фессалийском
Зайца охотник. Готовил цепи

Он роковому диву. Но доблестней
Себе искала женщина гибели:
Не закололась малодушно,
К дальним краям не помчалась морем.

Взглянуть смогла на пепел палат своих
Спокойным взором и, разъяренных змей
Руками взяв бесстрашно, черным
Тело свое напоила ядом,

Вдвойне отважна. Так, умереть решив,
Не допустила, чтобы суда врагов
Венца лишенную царицу
Мчали рабой на триумф их гордый [61].

Почти одновременно с Клеопатрой, в 31 или 30 году, умер и Петубаст, сын верховного жреца Пшерени-Птаха и Та-Имхотеп, вымоленный ими у благого бога Имхотепа, который сжалился над их слезами и явился во сне.

Так сошли со сцены две династии — царей Египта и верховных жрецов в Мемфисе.

Примечания

[1] Вопрос о совместном правлении Птолемея XII и Клеопатры, а также о ее пребывании в Гермонтисе является дискуссионным. (См.: H. de Meulenaere. Chronique d'Egypte, XLII, 84, 1967, С. 300—305).

[2] Парафраза текста, приведенного в Catalogus Codicum Astrologorum graecorum, VIII, 3, 115.

[3] ...*Орлы римских легионов*... — Серебряное изображение орла на древке было знаменем легиона.

[4] Дается парафраза по кн.: М. А. Лукан. Фарсалия, или Поэма о гражданской войне. VIII, 474—535. М.—Л., 1951, С. 185—187.

[5] *Триера* — основной тип древнегреческого боевого корабля. Имела водоизмещение до 230 т, длину 40—45 м, ширину до 6 м. Основным движителем триеры были весла (150—170 весел), располагавшиеся в три ряда с каждого борта (отсюда и название корабля). Трирема — римский военный корабль, строившийся по образцу триер.

[6] *Фасцы* — в Древнем Риме перевязанный ремнем пучок прутьев, служивший при республике атрибутом власти высших должностных лиц.

[7] *Пофин* — другая огласовка имени Потин.

[8] Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. М.— Л., 1948, С. 350—353.

[9] Dion Cassii. Historia Romana. XLII, 7—8, 34—37.

[10] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. II. М., 1963. С. 479—480.

[11] *Квадрирема, квинкверема* — суда с четырьмя и пятью рядами весел.

[12] Записки Юлия Цезаря... С. 353—355.

[13] Dion Cassii. Historia Romana, XLII, 39.

[14] Александрийская война, 2—4. — В кн.: Записки Юлия Цезаря... С. 360—361.

[15] Там же, 5—9. С. 361—363.

[16] Там же, 9—13. С. 363—365.

[17] *Бирема* — судно с двумя рядами весел.

[18] Александрийская война, 14—16.— В кн.: Записки Юлия Цезаря... С. 365—368.

[19] Там же, 17—21. С. 368—371.

[20] Светоний. Божественный Юлий.— В кн.: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1966. С. 25; Dion Cassii. Historia Romana, XLII, 40.

[21] Александрийская война, 23—25.— В кн.: Записки Юлия Цезаря... С. 371—373.

[22] Там же, 28—31. С. 374—377.

[23] См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. II. С. 480; Dion Cassii. Historia Romana. XLII, 43; Тит Ливий. Римская история от основания города. Т. I—VI. М., 1892—1899, гл. 112.

[24] Александрийская война, 33.— В кн: Записки Юлия Цезаря... С. 377.

[25] *Филопатор* — досл. «любящий отца»; *Филометор* — досл. «любящий мать».

[26] Александрийская война, 33.— В кн.: Записки Юлия Цезаря... С. 378.

[27] Марк Туллий Цицерон. Письма. Т. II. М.—Л., 1950. С. 351.

[28] Там же. С. 359. (Att., XI, 25,2).

[29] The Oxyrhynchus Papyri pt XI. London, 1915, nr. 1381.

[30] *Около первого часа* — считая от рассвета.

[31] Страбон. География (XVII, I, 46). С. 752.

[32] Александрийская война, 33.— В кн.: Записки Юлия Цезаря... С. 377—378.

[33] Об этом пишет Светоний: «...на Капитолий он вступил при огнях, сорок слонов с факелами шли справа и слева» (Жизнь двенадцати цезарей. С. 17).

[34] *«Veni — vidi — vici»* (*лат.*).— «Пришел — увидел — победил».

[35] Аппиан. Гражданские войны. Л., 1935. С. 116.

[36] Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. С. 29.

[37] Марк Туллий Цицерон. Письма. Т. III. М.— Л., 1951. С. 281.

[38] См.: Марк Туллий Цицерон. Тускуланские беседы. Киев, 1888. С. 21.

[39] *Иды*— по римскому календарю середина месяца. 15-й день марта, мая, июля и октября, 13-й день остальных месяцев.

[40] Марк Туллий Цицерон. Письма. Т. III. С. 235.

[41] Светоний пишет об этом так: «Консульство он захватил на двадцатом году, подступив к Риму с легионами, как неприятель, и через послов потребовав этого сана от имени войска; а когда сенат заколебался, центурион Корнелий, глава посольства, откинув

плащ и показав на рукоять меча, сказал в глаза сенаторам: «Вот кто сделает его консулом, если не сделаете вы!» (Жизнь двенадцати цезарей. С. 44).

[42] Orientis Graeci Inscriptiones Selectae, ed W. Dittenberger. Lipsiae, 1903, I, 194.

[43] Mé Langes Holleaux. Paris, 1913. С. 103.

[44] См.: Гомер. Илиада; Одиссея. М., 1967. С. 239.

[45] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. III. М., 1964. С. 228—229.

[46] *Красные Скалы* — город в Этрурии.

[47] Марк Туллий Цицерон. Речи. Т. II. М., 1962. С. 307.

[48] Socrates Rhodius. Fragmenta Historicorum Graecorum, III Parisiis, 1849. 326.

[49] Аппиан. Гражданские войны. С. 314.

[50] Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 2. СПб., 1900. С. 141—142.

[51] Там же. С. 142—143.

[52] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. III. С. 257.

[53] Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. С. 61—62.

[54] Там же. С. 61.

[55] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. III. С. 259—260.

[56] *Фалернское* — одно из лучших италийских вин.

[57] Присяга 32 г., принесенная Италией и западными провинциями, санкционировала власть Октавиана по истечении срока триумвирата.

[58] «В том месте, где перешеек, отделяющий Красное море от Египетского и считающийся границею между Азией и Африкой, всего сильнее стиснут обоими морями и уже всего — не более трехсот стадиев,— в этом самом месте царица задумала перетащить суда волоком, нагрузить их сокровищами и войсками и выйти в Аравийский залив, чтобы, спасшись от рабства и войны, искать нового отечества в дальних краях. Но первые же суда сожгли на суше, во время перевозки, петрейские арабы» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. III. С. 267).

[59] Там же. С. 274; Дион Кассий. Римская история. Конец Антония и Клеопатры (LI, 5—15).— В кн.: Памятники поздней античной научно-художественной литературы II—V веков. М., 1964. С. 126—133.

[60] *Ливия* — жена Октавиана.

[61] Квинт Гораций Флакк. Оды, эподы, сатиры, послания. М., 1970. С. 90—91.

Ирод
и
Клеопатра

Его имя предано проклятию, ритуально возглашаемому с амвона всех церквей. Оно служит синонимом изверга и злодея, в деспотическом самовластии не остановившегося перед истреблением невинных младенцев.

Она же воплощает собой откровенный разврат, который, впрочем, благодаря царственной утонченности, не сделался позорным, но снискал славу во всемирной истории и превратил египетскую царицу в объект тайного поклонения мужской половины человечества.

Таковы трафаретные образы этих исторических личностей, столь же красочные, сколь далекие от истины.

ПРОЛОГ

Как уже многие до меня начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам это бывшие с самого начала их свидетелями и очевидцами, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, любезный брат мой, чтобы ты отделил зерна от плевел и рассеял тьму и наветы, какие с давних пор окутывают эту удивительную историю.

Во дни Ирода, царя иудейского, во второй год его правления в Иерусалиме, была вскрыта и самым варварским образом осквернена гробница славного царя Давида.

Душной июльской ночью близ Навозных ворот при свете факелов шестеро мóлодцев-каменотесов орудовали ломами и лопатами у замурованного входа, а за их спинами прохаживался закутанный в темный плащ человек, охваченный нервным пугающим нетерпением:

— Скорее, порази вас гром, скорее, сыны праха! Клянусь небом, мое терпение иссякает!

Лунный свет предательски просачивался сквозь щели в переднее помещение гробницы, куда уже вломились каменотесы, но здесь ничего не было, кроме остывших каменных плит и черных летучих мышей, отчаянно носившихся под сводами.

Путь вовнутрь преграждала огромная гранитная глыба, обтесанная с двух сторон, по форме такая же, какие обычно прикрывают иудейские могилы, только гораздо бóльших размеров. Она не придавливала лаз своей тяжестью, но была искусно вогнана, точно пробка,

в жерло входа, настолько плотно, что взломщики никак не могли ее сковырнуть.

— Долго ли вы будете копошиться, земляные кроты? Третий час не можете совладать с пустяковым камнем. По два гина вина каждому, и будьте вы прокляты!

Наконец дружными усилиями каменотесы поддели край глыбины, после чего, ко всеобщей неожиданности, гигантская пробка не рухнула наземь, но повернулась по оси как настоящая дверь, обнажив черную зияющую дыру, которая, казалось, вела в саму преисподнюю.

Изнутри, из глубины могильного мрака дохнуло чем-то сырым и спертым, точно из тайников Аида, и какой-то звук, не то эхо, не то протяжный зёв, донесся до слуха стоявших в прихожей.

У взломщиков дрогнули сердца.

— Что это было?

— Как будто человеческий голос..,

— Да разве человеческий?

— Или голос духа...

— Помилуй нас, Саваоф! Это знак Бога!

— Он предупреждает того, кто войдет туда.

Человек в темном плаще, видимо нимало не обеспокоенный услышанным, остановился и вытянул недовольное лицо:

— Эй! Вы что, устроили теперь совещание? Спрячьте языки или, еще лучше, заткните уши; мне нужны только ваши руки и больше ничего. — Он тут же смягчился: — Там, несомненно, лежат большие ценности. Я прочел в архиве, что Гиркан вынес оттуда три тысячи талантов серебра. Осталось, верно, не меньше; нам хватит на целое войско, да еще и на постройки останется.

Каменотесы поклонились ему:

— Мы сделали свое дело, господин, открыли путь в пещеру. Окажи милость, избавь нас от дальнейшего.

— Что?! — презрительно сощурился предводитель.— Что вы там лепечете?

— Неурочный час для раскопок, господин. Вдруг нагрянут сторожа? Или прибегут хозяева?..

— Какие хозяева?

— Смотрители гробницы.

— Остолопы! — вспылил предводитель.— В своем ли вы уме? Очнитесь: вот он стоит перед вами! — Он стукнул себя кулаком по груди.— Я! Я есть тот хозяин и смотритель! Я — владелец всего вокруг! Какого еще хозяина вам нужно?

— Не гневись, царь; воистину, ты владеешь всем, что

на земле и под землей, и волен распечатывать любые двери. Мы же — простые смертные, и Бог не простит нам того, что позволительно государям. Это усыпальница великого царя и пророка, и если мы потревожим его дух, нам несдобровать.

У человека в темном плаще (а это был Ирод) окончательно лопнуло терпение:

— Довольно болтать, жалкие крысы. Немедленно полезайте в сокровищницу!

— Клянемся небом, мы не сделаем дальше ни шагу, господин.

На лицах каменщиков отобразился такой испуг, что Ирод едва не упал духом.

— Значит, не полезете?

— Нет, не полезем.

— А если я прикажу вас бичевать?

— Даже под страхом смерти.

— Я буду пытать вас каленым железом...

— Лучше четвертуй на плахе, государь.

— Трусы! — сплюнул Ирод, отходя к своему спутнику, стоявшему поодаль.— Ничего не выйдет у нас, Иосиф, пока мертвые довлеют над живыми и люди боятся покойных правителей больше, нежели здравствующих. Я сам спущусь в гробницу.

— Мой царь,— заверил мрачный спутник,— я не могу пустить тебя туда без охраны.

— Как?! — удивился Ирод.— И ты, Иосиф, храбрейший из храбрейших, испугался, что там кто-то прячется? Посмотри: эта дверь не отпиралась лет десять. Кто там может быть, кроме червей и мокриц? Дай мне свой факел.

— Я не пущу тебя, царь, ради тебя же самого,— настаивал спутник.— Вспомни участь Антиоха Эпифана[1]!

Ирод мелко и колюче рассмеялся:

— Неужели, Иосиф, ты полагаешь, я остановлюсь перед отпертой дверью, когда, может быть, сокровища лежат рядом, достаточно лишь протянуть руку?

— Погоди, я схожу за копьеносцами.

— К Харону твоих копьеносцев! Я не буду дожидаться утра, чтобы проснувшийся город глазел на наши раскопки.

---

[1] Антиох IV Эпифан — селевкидский царь (175—164 гг. до н. э.), попытался овладеть сокровищами храма Артемиды Элимейской, но погиб при таинственных обстоятельствах. Ходил слух, что его поразила месть богини.

— Но тебе нужна охрана...

— Ты, Иосиф, будешь моей охраной! Бери оружие и ступай за мной.

Мрачный спутник задержал царя за рукав и поставил его позади себя:

— Хорошо же. Раз мы начали, доведем дело до конца. Только я войду первым, а ты будешь держаться в восьми шагах позади.

Ирод пожал плечами и согласился.

Второе помещение усыпальницы представляло из себя небольшую продолговатую камеру, сильно пропахшую плесенью. Свод спускался так низко, что голова почти упиралась в него. Ноги постоянно запинались за куски полуистлевшего дерева, бронзовые чаны и кувшины, заиндевелые в холодной влажности. Разрисованные по стенам львы и херувимы провожали путников немигающими глазами. Никаких драгоценностей пока не виделось.

— Порази меня гром, здесь долго стояла вода,— послышался голос Иосифа, идущего впереди.— Если так окажется и в сокровищнице, боюсь, многое из того, что там хранится, отсырело и испортилось.

— Кроме золота! — крикнул ему Ирод.— Золото не ржавеет!

Сразу же за второй камерой ход круто повернул вбок, справа и слева стали чередоваться небольшие ниши с ложными дверями, никуда не ведущими и устроенными неизвестно для чего.

Ирод никогда еще не спускался в старинные катакомбы и теперь с любопытством озирался по сторонам, задерживаясь по ходу, так что отстал от Иосифа не на восемь, а на двадцать шагов. Факел спутника почти растворился во тьме; лишь слабое мерцание и дрожащие блики на стенах подсказывали, что Иосиф продолжает движение. Царь собрался было окликнуть проводника, как вдруг свет стал расти и разгораться, и в узком коридоре послышался топот ног.

Иосиф подбежал к Ироду с бледным лицом и выпученными от страха глазами. От его былой невозмутимости не осталось и следа.

— Что случилось, мой друг? Отчего ты вернулся?

— О царь, там стоит человек.

— Кто?

— Человек! Весь в белом, будто в погребальном саване. Он притаился за поворотом, и я чуть было не столкнулся с ним лоб в лоб.

— Какая чепуха! — отмахнулся Ирод.— Тебе, верно, померещилось. Кто может там стоять?

— Не знаю, кто именно, но это не обычное существо. По-видимому, каменотесы были правы, и нам не следовало нарушать покой гробницы.

Ирод снисходительно покачал головой:

— И ты туда же, Иосиф... Отдай мне факел, дальше я двинусь один.

Спутник отчаянно замахал руками:

— Не ходи туда, Ирод. Это сам Давид! Он восстал из мертвых, чтобы преградить путь к своим сокровищам.

— Кто восстал?

— Давид, сын Иессеев.

Царь потрогал чело несчастного:

— И этого человека я назначил своим жезлоносцем, отдал ему в жены родную сестру! Тебе бы не жезл носить, а ночной горшок.

— А что ты сделаешь, если сейчас увидишь его?

— Что сделаю? Окажу ему соответствующую почесть и попрошу убраться подобру-поздорову.

— А если он не уйдет?

— Плюну ему в глаза.

— Но ведь это Давид!

— Даже если сам Аваддон[1]! У меня с призраками разговор короткий.

Пока Иосиф соображал, что сказать в ответ, Ирод выхватил у него факел и твердым шагом направился по коридору. Он скрылся за поворотом, а опасливый зять почел за лучшее спрятаться в одной из каменных ниш, ожидая, что последует дальше.

Прошло две или три минуты, прежде чем из-за поворота раздался бодрый голос царя:

— Иди сюда, Иосиф! Погляди на своего Давида. Ты совсем напрасно шарахнулся от него. Довольно безобидный старик. Я как раз держу его за нижнюю челюсть.

То, что царский жезлоносец в темноте принял за призрак, оказалось человеческим скелетом, пригвожденным к стене острым копьем. Греческий хитон лохмотьями свисал с иссохших костей и зловеще развевался от малейшего дуновения. Ирод выдернул наконечник из ключицы мертвеца и свободной рукой придерживал скелет на весу пониже подбородка.

— Один из наших предшественников, не так ли? — усмехнулся царь, отпуская руку, отчего мертвец рухнул

---

[1] Аваддон — олицетворение ямы, могилы, преисподней.

и рассыпался у его ног.— Кто-то очень невежливо проткнул его насквозь, и, по-видимому, это случилось не так давно, поскольку он еще смердит. Как бы мне не подцепить заразу...

Иосиф хотел спросить, кто же мог убить взломщика в замурованном подземелье, где властвуют лишь заупокойные духи, но удержался и только печально покачал головой.

— А теперь взгляни-ка сюда, мой друг,— выпрямился Ирод.— Видишь эту дубовую дверь? По-моему, мы у цели, и если еще надеемся перекинуться парою слов с Давидом, то он наверняка прячется за этой дверью.

— Отсохни твой язык...— глухо пробормотал жезлоносец, от страха забыв о придворной учтивости.

— Ну-ка, Иосиф, наляжем на запор и сломаем его!

— Осторожнее, царь. Ты действуешь как-то уж особенно вызывающе.

— В назидание, мой друг, в назидание.

— В назидание кому?

— Вам. Или, может быть, им... Не все ли равно?

— Ты действительно ничего не боишься или только делаешь вид?

— Разве ты не знаешь, дражайший зять? Войска третий месяц без жалованья. Чего я должен бояться больше: ворчанья богатых покойников или гнева голодных солдат? Чтобы удержаться у власти, нужны деньги, деньги и бесстрашие ради денег. Станешь царем, узнаешь. Если меня сейчас слышит Давид, он, без сомнения, кивает головой. Итак, ударим вместе!

Двустворчатая дверь сдалась с первого же толчка. Желтый огонь выхватил из темноты высокую погребальную камеру, замусоренную больше, чем тупиковый переулок Тиропеонской низины. Куски штукатурки вперемежку с обрывками тканей толстым слоем покрывали ржавые воинские доспехи, разбросанные по всему полу, медные сосуды для омовения и прочую древнюю утварь.

Базальтовый саркофаг, возвышавшийся у задней стены, являл на себе следы всяческого насилия: на стенках виднелись пятна копоти и отпечатки рук, крышка была сдвинута набок, а золотые украшения содраны. Сомнительно, чтобы при всем этом внутри саркофага оставались нетронутыми царские мощи.

Вошедшие разглядывали погребальный зал с чувством глубокого разочарования.

— Господи, что здесь было?! — развел руками Иосиф.

Ирод мрачно пожевал губу:

— Верно, я ошибся. Тот истлевший труп, что висел перед дверью,— вовсе не вор, проникший в подземелье, но последний его защитник. Его пригвоздили к стене те, кто ворвался сюда с обнаженными мечами. Узнаю парфянскую руку.

— А где же сокровища, царь?..

— По-видимому, там же, где и остальное, награбленное Пакором,— в Селевкийском дворце[1]. Эта гробница столь же пуста, как и Афины после нашествия Ксеркса.

Ирод наклонился над сдвинутой крышкой саркофага и проговорил в самую щель:

— Царь Ирод приветствует царя Давида. Ты был великим царем, Давид, основавшим могучее царство. Ты ушел, унеся большие сокровища. Наверное, многие попользовались ими, нарушая твой сон. Но почему, почему ты ничего не оставил для меня?

Иосиф отвернулся, не в силах перенести эту сцену, но не зная, куда деться. Оставалось лишь, чтобы мертвец вытянул руку и цапнул царя за нос.

— Пойдем отсюда, Ирод. Огонь затухает...

Царь оставил свои переговоры и сошел с саркофага явно в испорченном настроении.

— По-моему, у Геродота говорится про вавилонскую царицу, вдову Навуходоносора, которая сделала на своей гробнице надпись: «Если кто-нибудь из следующих за мною царей будет нуждаться в деньгах, пусть откроет гробницу и возьмет денег сколько хочет. Но если он не будет нуждаться, то пусть лучше не пробует открыть: пользы не будет никакой». Гробница оставалась нетронутой, пока в Вавилон не пришел Дарий. Этот последний раскрыл гроб, но золота не обнаружил, а нашел одну лишь глиняную табличку, гласящую: «Когда бы ты не был так алчен и ненасытен к чужим деньгам, то не тревожил бы мертвецов». Не поискать ли нам, Иосиф, и здесь похожей таблички?

Жезлоносец сокрушенно всплеснул руками:

— Силы небесные! Уйдем ли мы наконец отсюда или нет?!

— Послушай,— продолжал Ирод, выбираясь из погребальной камеры.— А ведь будут говорить, что это я обчистил гробницу и отнял принадлежавшее Давиду. На меня повесят все грехи, какие только порождала человеческая наглость, начиная от первопреступника

---

[1] Селевкия на Тигре — одна из столиц Парфянского царства.

Каинана и кончая узурпатором Антигоном. Надо будет восстановить вход и стереть все следы. Пусть станет как было. Подарок следующему правителю.

Каменотесы еще стояли у входа, прислушиваясь к звукам пещеры, и немало удивились, увидев царя живым и невредимым.

Ирод немного помолчал, рассматривая вопросительные лица окружающих, затем сложил руки на груди, словно собирался принести присягу, и торжественно объявил:

— Люди, вы не поверите мне: я говорил с Давидом...

Каменотесы попятились от него, округлив глаза.

— Вот мой свидетель! Подтверди, Иосиф.

Царский жезлоносец проглотил комок в горле и слабо кивнул.

— Да вы сами, верно, слышали наши голоса. Я скажу все, как было. Ослепительный свет, ярче полуденного солнца, вспыхнул передо мной, едва я переступил порог погребальной залы, и вещий голос прорек: «Ирод, царь иудеев и самарян, знаю, с чем ты явился ко мне и чего просишь. Ступай в свой дом и ни о чем не беспокойся: будет у тебя все, в чем ты нуждаешься». Так сказал Давид, затем свет потух, и мы вернулись к вам.

У каменщиков совсем отнялся язык; они так и остались стоять на месте будто вкопанные.

— Потомки очернят твое правление, Ирод,— сказал Иосиф, когда они садились на коней.

— О, это их любимое занятие,— согласился царь,— презирать все, что было до них. Хорошие дела забываются, дурные живут вечно. Ты, например, слышал что-либо хорошее о царях Аристобуле и Яннае? Так же, видно, поступят и со мной. Посему, не доверяясь перу эпигонов, я, по примеру Александра и Цезаря, веду собственные эфемериды [1]. Я хочу, чтобы моя история была написана сейчас, а не потом.

— Потомков это не остановит.

— Ты думаешь? Хм... В самом деле... Впрочем, от окончательного проклятия меня, как и Соломона, может спасти только одно.

— Что, царь?

— Строительство нового храма. Или, на худой случай, любовное приключение со смертельным исходом.

— Надеюсь, не с твоим?

— Все равно. Ведь мы говорим о вечности.

---

[1] Эфемериды (*греч.*) — букв. «ежедневники».

* * *

Быть может, я начал не с того, любезный брат мой, и такое начало тебе не по вкусу? Ты ожидал психологическую коллизию, а встретил заурядный триллер; прости меня, я тотчас же исправлюсь и буду говорить, как ты пожелаешь и как тебе будет угодно.

Но, поверь, я никак не мог миновать этого происшествия по двум причинам. Во-первых, это была правда, как, впрочем, и то, что ты еще услышишь, а ко всему действительному, неприукрашенному я отношусь с крайним пиететом. Да и рассказал я именно затем, чтобы ты впоследствии случайно не упрекнул меня в приукрашивании и чтобы у тебя не зародилось даже такой мысли.

Во-вторых, согласись, гробница Давида-царя сама по себе многозначительное место. Когда речь заходит об Иудее, миновать ее совершенно невозможно. К тому же и в своей жизни я имел отношение к исследователям могил и отдал этому занятию немало времени. Дилетантам оно кажется таинственно-романтичным, а мне не забыть палящего талгарского зноя, духоты и головокружения на дне кладбищенского раскопа, как не забыть дьявольской улыбки того почерневшего черепа, бывшего когда-то головой знатного сака; нижняя челюсть упала на грудь, и в пустых глазницах странный налет извести, будто бы мерцание истлевших белков.

И чему он так смеялся?

Ты не прав, брат, советуя оставить мертвецов в покое и вернуться к живым. А кто такие, спрошу я, Ирод-гробокопатель и восхитительно-невозможная Клеопатра? Ведь, смешно сказать, мой веселый талгарский незнакомец мог приходиться им правнуком! А уж их-то останков и подавно не отрыть. На развалинах храма Господнего сверкает ныне золотой купол мечети Омара, а руины беломраморного дворца Клеопатры давно скрыты морем на глубине восьми метров.

Впрочем, нет, не поиски останков великих любовников привели меня сюда и усадили пред тобою и не скорбь по исчезнувшей плоти разомкнула уста. Не плоть. Но дух. Который вечен.

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это уже было в веках, бывших прежде нас»[1].

---

[1] Еккл. 1, 9—10.

ПАРОД[1]

И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством... И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и чинность служащих ему и одежду их, и виночерпиев его и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень,— и была вне себя.

3-я Цар. 10, 5; 2-я Пар. 9, 3—4

ИРОД ВЕЛИКИЙ, 37 лет. Второй из четырех сыновей идумейского князя Антипатра, назначенного Юлием Цезарем прокуратором Иудеи. Родился в Аскалоне; в 26 лет, став стратегом Галилеи, принял иудаизм. В 46 году за лихоимство привлечен к суду синедриона, но избежал наказания. Вместе с отцом служил Цезарю, поддерживал Долабеллу, затем его противника Кассия, снабжая их деньгами и продовольствием; наконец, в 41 году принял сторону Марка Антония и вошел в число его друзей. В 40 году, после захвата власти в стране парфянским ставленником Антигоном, бежал в Рим, где был провозглашен сенатом царем Иудеи и Самарии. По возвращении при поддержке римлян повел напряженную войну с Антигоном, завершившуюся в июне 37 года взятием Иерусалима, казнью Антигона и свержением династии Хасмонеев.

Иосиф Флавий: «Ирод [не по происхождению, а] по счастливой случайности стал царем иудейским...»

ДНЕВНИК ЦАРЯ ИРОДА

(Выдержки)

Месяц фаммуз 2-го года (середина июня 36 г. до н. э.— *Авт.*). Из последних новостей вот какие. Пущен слух, что Антоний отправился в поход без египтянки. Не знаю, верить или нет. Говорят, она тяжела от него, и в этом вся причина. Не вижу ее основательной. Некогда ее наградил тем же Цезарь, но это не помешало ей, будучи на сносях, бросаться в самое пекло. Уж не случилась ли какая размолвка с Антонием? Боюсь поверить. Неужели наши молитвы услышаны на небесах?!

---

[1] Парод, эписодий, стасим, коммос, эксод — структурные части классической трагедии.

[Ок. 15 июня] Так и есть: Клеопатра осталась в Сирии. И, увы, с согласия Антония. Она уже родила, не ясно только кого: по одним слухам — сына, по другим — дочь. Впрочем, одно другого не лучше. На зиму она будто бы собирается в Александрию, а пока теребит окрестные царства, догуливает там, где не успела догулять, и обирает тех, кого не успела обобрать.

[Ок. 20 июня] Египтянка объявилась в Апамее; сегодня мне донесли об этом сирийские купцы. Чем она там занимается, одному Богу известно, но полагаю, тем же, чем в Киррестике: вымогает дары у правителей и переплавляет в слитки храмовую утварь. Там же с ней Ямвлих, Алхавдоний и прочая бродяжная нечисть. Если вся эта свора, опустошив Келесирию, решит полакомиться Иудеей, то, клянусь без шутки, нам грозит полное разорение. Надеюсь, впрочем, до нас дело не дойдет.

Во всяком случае, я послал Эзопа в Дамаск сторожить границу, по возможности собрать о египтянке нужные сведения, какими мы сможем порадовать Антония, дабы тот узнал, чем промышляет его новоявленная женушка в то время, как благоверный супруг вымеряет бескрайние степи Парфии.

[Ок. 23 июня] ...Клеопатра по-прежнему в Апамее...

[Ок. 25 июня] ...Поговаривают, египтянка покинула Апамею и движется на юг, в нашу сторону. Господь[1] мой, охрани народ иудейский! Не дай его в руки той, от ига которой стонут двенадцать царств!

[Ок. 27 июня] Сегодня прискакал нарочный от Самараллы[2]. Первый вопрос: видел ли он на дороге Клеопатру? Отвечает, что не видел. Вздохнул с облегчением.

[Ок. 30 июня] На празднике седмиц Ананил, читая псалмы и дойдя до слов: «Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам»[3], внезапно выронил свиток из рук, что сочли за дурное предзнаменование. Спустя немного после этого близ Соленого озера от скалы, называемой Мара[4], отломилась огромная глыба, по внешнему виду напоминающая женщину с венцом на голове. Когда пастухи сбросили эту глыбину в воду, она всплыла и держалась

---

[1] Имеется в виду Адонай (*евр.*) — написано греч. буквами.

[2] Самаралла — богатейший и влиятельный сириец, друг Ирода.

[3] Пс. 136, 8.

[4] Мара (*евр.*) — «горькая».

на поверхности, пока кто-то не догадался выудить ее и зарыть в земляной яме.

В Иерусалиме знамения следовали одно за другим. Священное дерево Иуды Маккавея, посаженное у Силоамского пруда, облепила стая ворон и стала безжалостно терзать листья и побеги, так что отогнать наглых птиц стоило огромного труда. Какой-то горшечник в Нижнем городе случайно окатил кипящей водой черную кошку [1], а когда та взвыла, пнул ее ногой. На другой день у него слег сын, бывший до того вполне здоровым, а следом и жена, удрученная болезнью сына.

Мой архиперет Соем отравился, наевшись египетских фиников. Казначей Птолемей, составляя перечень податей, ошибся и вместо «форос» написал «фарос» [2]. Зайдя поутру в конюшню, я увидел, как одна из кобылиц, рассвирепев, рвет удила и грызет стойло. На вопрос, как ее зовут, мне ответили: «Клеопа»...

(Последнее предзнаменование, скорее всего, позднейшая вставка в рукопись, дописанная задним числом.— *Авт.*)

[Нач. июля] Ответ пафосского оракула [3] на мой вопрос:

Не страшись того, что далече, взоры поближе бросай;
Отселе зрю неразумность мужей и мстительность женщин.
Когда же отринут проксену [4] и узы, бывшие прочными,
Ни Кармил, ни Табор, ни Гаризим, крепкая Лидда опора тебе.

Несомненно, речь идет о египтянке и ее неразумном покровителе [5]. Но при чем тут эти высокие горы и крепость Лидда?

[Нач. июля] Царица прибыла в Дамаск. Оттуда прислала мне письмо, полное всяческих похвал и приторного велеречия. Впрочем, от каждой строки отдает нескрываемым высокомерием и чисто египетским притворством. Обращается ко мне, как к давнишнему закадычному другу (чуть было не сказал — любовнику). На ее месте я постеснялся б писать так человеку, которого ни разу не видел. Хотя, возможно, это в ее природе.

---

[1] Кошка считалась в Египте священным животным.

[2] Форос (*греч.*) — налог; Фарос — остров вблизи Александрии Египетской, резиденция Птолемеев.

[3] Оракул храма Афродиты Пафосской на Кипре, пользовавшийся авторитетом в эллинистическом мире.

[4] Проксена (*греч.*) — обычай взаимного гостеприимства.

[5] Т. е. об Антонии.

Похоже, худшие мои опасения сбываются. Она намерена осмотреть Иерихонскую область и пишет, что по пути заглянет в Иерусалим. Увы, причина более чем веская! Я уже упоминал о прошлогодних постельных дарениях Антония. В перерывах между лобзаниями и игрой в кости египтянке удалось выклянчить у него Иерихон со всей областью, производящей бальзам, а также Перею и Келесирию, отнятую у набатейца Малха. Такова плата триумвира за египетские удовольствия, и таковы необъятные аппетиты этой венценосной гетеры.

Я ответил в таком же доверительном духе, но, по возможности, более сдержанно, что буду рад принять ее в своих чертогах так, словно бы это ее дом. И тут же написал крепкое слово об Алхавдонии, о всех его подлостях и пресмыкательстве перед парфянами. Если уж суждено мне ее принимать, так хоть бы без него.

Ответное письмо повез Николай; я особенно доверяюсь его образованности и умению держаться с людьми. Ему и Эзопу поручено также неотступно следовать за египтянкой, куда бы она ни отправилась.

[13 июля] Дождались: царица в Сепфорисе Галилейском. Наберись терпения, земля Давидова! Мужья, берегите свое имущество; жены, берегите мужей! Что же до меня, то, кажется, еще немного, я выведу войско и буду сражаться.

[15 июля] Египтянка по-прежнему в Сепфорисе. Николай и Эзоп доносят, что ее окружает прорва разного рода шутов и акробатов, она едет с сонмищем знахарей, магов и прорицателей довольно низкого сорта, зато прожорливых, как стая саранчи. При царице только ливийцы-телохранители, а ее войско под командой Хелидона движется следом, но не очень спешит, так что уже далеко отстало от госпожи. Между ними растянулся обоз с награбленными в Сирии сокровищами.

Царица не совсем оправилась после недавних родов и жалуется окружающим на малокровие. Детеныша ее уже отправили на корабль в Тир, и она будто бы хочет ехать следом либо присоединиться к своему флоту в Птолемаиде. Если это так, то я возложу на всесожжение сотню тельцов в Храме Господа и закажу праздничную тризну для всех паломников.

[Между 15 и 20 июля] ...Противоречивейшие вести из ставки Мунация Планка[1]. Туманные, не вполне прове-

[1] Мунаций Планк — римский наместник Сирии.

ренные сведения о появлении парфянской конницы у Нисибина. Это встревожило всех, поскольку парфяне сами терпят вторжение и должны обороняться от Антония совсем в другом месте. По-видимому, кампания проходит отнюдь не так гладко, как мы думали до сих пор...

Хвала Господу, египетская напасть, кажется, обходит стороной. Передовой отряд Клеопатры видели в долине Киссона, и, говорят, сама царица подтягивается туда со всей придворной челядью. Если это так, то она действительно решила погрузиться на корабли либо в Птолемаиде, либо в Доре. Счастливый путь, царица! Спасена, спасена земля иудейская!

[20 июля] Клеопатра прислала мне второе письмо из Скифополя. До Иерусалима три дня пути. Пишет, что давно желает свидеться со мной, поскольку наслышана о моих доблестях и почитает меня за лучшего друга Антония. Рассказывает, что мечтала сопровождать триумвира в его великом походе, но он сам едва ли не на коленях уговорил ее поберечь здоровье и ожидать его возвращения в Египте. Она все же набралась сил и проводила его до Евфрата, где прямо в палатке разрешилась от бремени. Младенца нарекли Птолемеем Филадельфом («любящий сестру»). Непонятно, о какой любви идет речь, но на примере матери уже видно, какая его ожидает сестра [1].

[22 июля] Сегодня авангард Клеопатры вступил в Иерихон. Завтра она будет здесь. Основное войско ее еще не вышло из Сепфориса.

Жара стоит невероятная, но никто не дремлет. Город полон слухов о приближении почетной гостьи. Цены на хлеб упали в два раза; полагают, что возрастут поставки египетского; то же самое с финиками и бумагой. Саддукеи, мне донесли, даже готовят царице какой-то гимн, желая, наверное, замазать в глазах Антония свою прошлую дружбу с Антигоном. Почуяв пламя, тельцы сбиваются в стадо. Я совершенно спокоен. Впрочем, Эпикур, помнится, по этому поводу говорил: «У большинства людей спокойствие есть оцепенение, а движение — безумие».

Иосиф шутит, и очень неумно, сравнивая египтянку с царицей Савской, а меня — с Соломоном, к которому она приезжала испытать его загадками. Боюсь, так оно и окажется.

---

[1] Ирод намекает на убийство Клеопатрой последовательно двоих своих братьев-соправителей.

Приспело письмо от Малха: набатеец обеспокоен, не затевается ли что-либо против него. Две трети [письма] — рассуждения о кончине Лисания[1]; Малха это устрашило! «Халкидянин понадеялся на благоразумие Антония, но Антоний не Цезарь, а Клеопатра не Кальпурния». Чего уж откровенней! Хотя набатеец прав: от египтянки можно ожидать чего угодно.

Месяц аб, 3-й день [23 июля]. Более суматошного дня я еще не видывал в жизни. Поутру выехал навстречу царице в Иерихон. Народ взобрался на Гору олив и три часа кряду пекся под солнцем, высматривая, не покажется ли на дороге египетский штандарт. И вот на другом склоне горы, где дорога проходит в ущелье, за поворотом, я лоб в лоб столкнулся с конными ливийцами весьма помпезного вида, каждый из которых мнил себя по меньшей мере Гефестионом. За их спинами пестрела толпа лиц обоего пола, среди которых, как фригийский колпак, возвышался царский паланкин. Уже за сто шагов в нос мне ударил запах тертого шафрана и мирровой мази.

Я подъехал к царице и приветствовал ее по нашему обычаю. Она высунулась из-за занавесок, улыбаясь до ушей, и полчаса держала мою руку, растекаясь в благих пожеланиях, болтая обо всем на свете, только не о деле. Не помню, кто из придворных описывал мне ее как невиданную красавицу. Подозреваю только, что это был низкий льстец и египетский шпион. В отдельные минуты, правда, ее лицо бывает не лишено привлекательности, но крутой нос и чрезмерно выпяченный подбородок грозят свести всю прелесть на нет. В целом она произвела на меня не лучшее впечатление, нежели те ее статуи, которые я видел в Риме. Единственное, чего мрамор не смог передать,— это необычно подвижные огромные глаза, в которых зияла пропасть тщеславия.

По-видимому, египтянка совершенно оправилась от родов: что-то не очень заметно ее хваленое малокровие. Во всяком случае, в деланной жеманности, с которой она закатывала очи, ощущалось больше притворства, нежели недомогания.

В город мы въехали вместе. Народ вопил так, что у меня зазвенело в ушах. Лисимах и Сепфорей устроили настоящее представление; им недоставало лишь Аристо-

---

[1] Правитель сирийской Халкиды Лисаний весной 36 г. был казнен Антонием по наветам Клеопатры, желавшей овладеть Халкидой.

була[1]. Книжники и законники в парадном облачении выстроились от Конских ворот до самого Ксиста будто бы в ритуальной процессии. Я ловил взгляд египтянки: подобное шутовство доставляло ей огромное удовольствие; раза два она даже останавливалась и пыталась о чем-то заговорить с мудрецами, те еще сильнее трясли бородами и выкатывали глаза, чем приводили царицу в неописуемый восторг. Я знал, что эта женщина весьма падка на лесть и преклонение, но не подозревал, что эти чувства ее настолько примитивны. Кажется, она готова принимать хвалу даже от ослов, если бы те умели разговаривать.

Во дворце она сразу же пожелала осмотреть все помещения, точно боялась засады; с семейством встретилась в самую последнюю очередь, свысока назвала Мариам милочкой, а Саломею[2] даже не заметила. Словом, я убедился, что имею дело с довольно спесивой и недалекой личностью, вконец избалованной незаслуженным вниманием. Редко какой двор сможет вытерпеть ее свыше трех дней.

По складу характера и по воспитанию я почитаю себя воином до мозга костей, которому глубоко чужды всякие бесплодные пересуды и долгие приготовления, который привык вести дела по-военному решительно и прямо. Поэтому уже за обедом в саду я завел речь об Иерихонской области. Разомлевшая от вина царица поначалу никак не могла взять в толк, чего я добиваюсь, и после обильной трапезы соображала особенно туго. Стало заметно, что египтянка бросает на меня чересчур томные взоры, в которых порок опережает любопытство; моя учтивость на время усыпила ее коварство; не ожидая, впрочем, впредь ничего хорошего, я почел за лучшее воспользоваться случаем и предложил продолжить беседу без лишних ушей.

Мы перешли в Семиколонный зал, где я напрямик изложил свое дело[3]. Тут обнаружилось, что муза застолий и нимфа пустых забав оказывается совершенно беспомощной, когда речь заходит о вещах, далеких от ее понимания. Египтянка не отказывалась, впрочем, совсем, глупо пожимая плечами. Ясно, что всякие разумные доводы бесполезны в общении с ней и требуются переговоры совершенно иного сорта; мне даже, видимо, придется разделить с ней ложе,— только таким способом

[1] Аристобул — первосвященник, шурин Ирода.
[2] Мариам — жена Ирода, Саломея — его сестра.
[3] Т. е. аренда Иерихонской области.

можно выжать что-либо из этой потомственной блудницы [1].

Сейчас, диктуя эти строки, я почти смирился с неизбежным и хладнокровен так же, как и перед Сихемом, когда впереди меня бушевала орда Антигона, а с тыла приступали арабские шайки.

ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ

И сказала царю: верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей; но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот, мне и в половину не сказано.

2-я Пар. 9,6

Клеопатра Филопатора, 33 года. Третья из четырех дочерей царя Птолемея Авлета. С 51 года, после смерти отца, царица Египта; правила совместно с братом Птолемеем Новым Дионисом. В 48 году изгонялась из страны, но была восстановлена Юлием Цезарем. С 44 года, после устранения второго брата-соправителя, единоличная правительница. Союзница римлян на Востоке, любовница сначала Цезаря, затем Антония, с осени 37 года жена последнего. Имела сына от Цезаря и троих детей от Антония. В Египте была обожествлена под именем Новой Исиды.

«Клеопатра не знала пределов ни в любовной страсти, ни в стяжательстве, была честолюбива и властолюбива, и к тому же надменна и дерзка. Царской власти в Египте она добилась любовными чарами и надеялась таким же путем достигнуть господства над римлянами».

Из «Истории» Диона Кассия, III в.

«Эта Клеопатра, дочь Птолемея Дионисия, внука Птолемаиды Клеопатры, [была] весьма любима Иродом».

Из «Истории» Моисея Хоренского, V в.

— Богоподобная царица! — возгласил Ирод, когда гости разомлели после долгой и обильной трапезы,

[1] В оригинале это звучит довольно грубо: «...надо много влить ей в зад, чтобы что-нибудь вылилось изо рта».

вдоволь насмотрелись на пляски изящных танцовщиц, искусство фокусников и укротителей диких зверей.— Не угодно ли, преславная царица, пройти в Семиколонный зал и взглянуть на диковинки и украшения, собранные там к твоему приезду?

— Царь предлагает нам уединиться? — игриво передернула плечами Клеопатра, оглядываясь на свою полусонную свиту.— Неужели пора?

Ирод сконфуженно поправился:

— Я приглашаю всех гостей последовать за нами.

— Какое разочарование! — воскликнула египтянка, поднимаясь на ноги с помощью услужливых рабынь.— Я уже было вообразила, что затевается нечто секретное. Я обожаю секреты.

Египетская свита сопроводила слова госпожи преданным урчанием. Ирод также поднялся с ложа и отвесил учтивый поклон:

— Всему найдется место, блистательная: место увеселениям и место секретам.

— Это уже кое-что,— молвила она с наигранной веселостью.— Ты так завлекаешь, царь, что трудно отказаться. Просто невозможно. Веди меня к своим диковинкам, и пусть мои спутники лопнут от зависти, что не последовали за нами.

Хотя в голосе египтянки слышалось плохо скрытое пренебрежение искушенной всем на свете владычицы, Ирод нисколько не изменил радушного выражения лица и сделал вид, что ничего не заметил.

От беседки, где пировали египтяне, до самых парадных покоев, на лестницах и переходах проворные слуги постелили дорогие ковры и полотна, как полагается только в дни великих торжеств, и когда Ирод с Клеопатрой ступили на эту роскошную дорожку, тотчас по обеим сторонам ее встали дворцовые мальчики и девочки, прекрасные ликом, с пальмовыми и оливковыми ветвями, с корзинами, полными цветов, и стали посыпать лепестки роз под ноги шествующим царям, и кланяться им, и петь хвалебные гимны.

По пути Ирод не уставал расписывать достоинства царской обители, дворца Хасмонеев, показывал роскошные залы и сводчатые анфилады, прохладные места для отдыха и площадки для развлечений. Всего год назад эти покои занимали его злейшие враги, с которыми он сражался за власть над Иудеей, и они достались ему со всем убранством в качестве победного трофея. Впрочем, об этом он предпочитал не распространяться.

Следом за царственной четой, почти дыша им в спину, следовал молчаливый эфиоп, существо исполинского телосложения и свирепой наружности, над которой не очень трудилась природа. Ирод пару раз оглянулся, кося на него око, не в силах привыкнуть к подобному чудищу, но тот не отставал, имея, очевидно, на этот счет твердое указание хозяйки.

Клеопатра прочла в лице Ирода немой вопрос и успокаивающе помахала рукой:

— Тебя смущает мой сторож? Право, я к нему так привыкла, что перестала замечать. Видишь ли, царь, сей чернокожий гигант нигде ни на шаг не отходит от меня, точно привязанный. Но пусть он тебя не беспокоит. У него вырван язык, и, кроме того, он ни слова не понимает по-гречески.

— Он твой телохранитель, не так ли?

— Да. И мой личный палач. С ним никто не общается, кроме меня. Относись к нему как к сторожевому псу или, лучше, как к безмолвной тени.

«Хороша же тень, — подумал Ирод.— Встреться он мне ночью, я бы принял его за древнего рафаима» [1].

Между тем царь ввел гостью в Семиколонный зал, снизу доверху заставленный всевозможными украшениями, нарядами и драгоценностями. Среди нагромождения дорогих вещей проглядывали редкостные картины из каких-то святилищ, большие и маленькие статуэтки божеств; хранение подобного нарушало заповеди иудейства, но у царя-эллинофила, почитающего себя просвещенным человеком, сие выглядело позволительной слабостью.

Блеск драгоценностей воспламенил расширенные глаза египтянки, и она радостно, но больше манерно всплеснула руками:

— Что за изумительный кладезь! Это поистине Дельфы или даже сокровищница Креза!

Выждав внушительную паузу, Ирод обвел рукою зал:

— Царица, все, что ты видишь здесь, твое. Это мой дар. Если угодно, слуги сейчас же отнесут подарки туда, куда ты укажешь.

— Хвала тебе, царь иудейский! — воскликнула египтянка, но как-то бесстрастно, словно это были не дары, а дань.— Вижу теперь твою приязнь ко мне и великую дружбу.

[1] Рафаимы — великаны, древнейшие обитатели Ханаана, затем, по народному поверью, служители ада.

— Но это еще не всё,— сказал Ирод.

Он открыл двери в другое помещение, где стояла мраморная статуя, накрытая легким газовым покрывалом, и остановился перед ней с видом тельмесского фокусника.

Казалось, Клеопатру пробрало-таки любопытство; она потянулась к изваянию, ожидая чего-то необычного, чего не видела ни в Дамаске, ни в Апамее, ни в Тарсе.

— Тебе, наверное, известно, владычица сердец, как верующие иудеи относятся к воплощению живой плоти, тем более к изваяниям божеств. Если ты держишь в доме какую-либо статуэтку, значит, ты прячешь у себя идола и тайно поклоняешься ему, будь то Малих или Баал. Немало наших царей поплатились за это престолом. Одно твое слово синедриону, и меня осудят за вероотступничество.

— Я буду нема, как мой эфиоп! — пообещала вконец заинтригованная царица.

— Смотри же, не выдай меня,— прибавил Ирод, переходя на шепот,— и если узнаешь объект моего почитания, сохрани тайну даже от близких друзей.

С этими словами он сдернул газовое покрывало, и глазам египтянки предстал ее собственный горделивый лик — изваяние в полный рост, выполненное из белоснежного паросского мрамора. Но это была не просто статуя: шею мраморной царицы украшало ожерелье из чистого золота настолько тонкой и искусной работы, что египтянка на мгновение остолбенела.

— Вот мой царский дар! — объявил Ирод, имея в виду и статую и ожерелье.

Клеопатра поспешила к изваянию, не переставая восхищенно цокать языком, и на этот раз, по-видимому, вполне искренно:

— Благие боги, какая прекрасная вещь! Что за тончайшая резьба! Какая оправа! Как сверкают каменья! И где только вы, иудеи, добываете столь превосходные вещицы? Уже, кажется, богаче меня нет во всей Азии, а вы всё добываете... Видно, само небо привело меня в Иерусалим. Пожалуй, я погощу у вас тут с недельку.

— Я рад, что угодил тебе, царица,— улыбнулся Ирод.

— Да уж, угодил, угодил... Бесподобное ожерелье!

— Я хотел бы, чтобы оно как можно скорее оказалось на оригинале.

— В чем же задержка?

Клеопатра ловким движением обездолила статую и

примерила украшение на себя. Ирод галантно предложил свою помощь, застегнул ожерелье на шее нетерпеливой гостьи и подвел ее к высокому медному зеркалу, заблаговременно поставленному в комнате. Взгляд египтянки совсем растопился; на кичливом, вечно надменном лице ее явилось неподдельное умиление; она даже порозовела от удовольствия.

Царь счел момент благоприятным и показал на удобные креслица, стоящие друг против друга.

— Не угодно ли присесть и потолковать немного о наших делах?

— Торопишься? — улыбнулась она, прищурив хитрый глаз.— Я же сказала, что погощу у тебя неделю.

Ирод понял, что поступил неосторожно и рванул удила раньше срока. Не надо было выдавать своего нетерпения. Эту горгону так просто не ухватишь; она всегда настороже. Он рассмеялся, стараясь загладить ошибку, но внутренне досадуя на себя.

Клеопатра опустилась в кресло, затем подвинула его так, чтобы видеть себя в зеркале, и вытянула шею, давая ожерелью солнечный свет. Бессловесный эфиоп, которого не могло растопить никакое сияние, занял место у нее за спиной.

— Как странно, что мы не встретились раньше,— начала гостья, не дождавшись обещанной речи царя.— Я хорошо помню твоего отца, доблестного Антипатра. Ведь это он принял меня когда-то, оскорбленную и изгнанную из Александрии собственными родственниками, успокоил и утешил, помог набрать войско для наказания мятежников. Разве можно забыть его бесценную помощь?

— Я был послан тогда в Халкиду против царевича Александра,— сказал Ирод, перебегая взглядом с царицы на черного гиганта.

Он вдруг уступил инициативу собеседнице, хотя только что был настроен весьма решительно. Его план дал промашку, и теперь осмотрительный идумеянин перегруппировывал силы.

— Да-да, тебя не было тогда в Аскалоне,— продолжала египтянка, любуясь собою в зеркале.— Иначе ты сопровождал бы отца в Александрию, куда он приспел в самый ужасный момент, когда восставшие обложили нас во дворце, сыпали стрелами и посылали огонь и Цезарь просил у меня яду, ожидая самого худшего... Если б не войско Митридата и не отряд твоего отца, мы

бы кормили собою рыб в бухте Филадельфа. Жаль, что тебя не было...

— Увы, царица,— согласился Ирод.— Судьба как-то странно разводила нас, хотя пути наши лежали бок о бок.

— А почему ты не посетил меня, когда направлялся в Рим? Ведь ты был тогда проездом в Александрии, признайся!

— Всего лишь сутки, блистательная. Обстоятельства погоняли меня.

— Какая досада! — вздохнула Клеопатра.— Ведь мы могли бы дружить уже много лет.

— Твоя дружба с моим отцом — залог нашей дружбы, царица. Ведь я верный сын и продолжатель дела Антипатра.

— Истинные слова, о царь! Что и говорить, славный воитель был твой отец, мир праху его. Враги и завистники не могли стерпеть его величия. Не найдя у себя ни силы, ни храбрости, они прибегли к кубку с ядом. Я слышала, царь, за спиной одного Малха прятался другой? Заговорщики действовали по наущению набатейского тирана?

Ирод пожал плечами:

— Не знаю. Я дружу с набатейцами.

— Вот как?! — вскинула Клеопатра брови и не нашлась что сказать.

Загадочный ответ идумеянина несколько озадачил царицу, и она потеряла свою инициативу. В комнате воцарилось неловкое молчание, в продолжение которого высокие стороны обменивались осторожными взглядами, делая вид, что погружены в воспоминания.

Клеопатра искоса, взыскательно, даже придирчиво изучала внешность царя иудеев. Ирод был недурен собой: крепко сбитый, плотный, такой, о которых римляне говорят statura quadrata, он действительно весьма походил на своего родителя, как если бы старик Антипатр вернул молодость. Та же идумейская хмурость малоподвижного лица, курчавая окладистая бородка красивого пепельного цвета (единственное, пожалуй, отличие от бритых эллинских басилеев), и та же толстенная серьга в правом ухе — знак родового достоинства у степняков. Только отец источал одну лишь грубую мужественность и первобытную дикость, зыркал серыми глазищами как пустынный хищник, жаждал всего сразу и целиком, а сын спокоен, образован, рассудителен, по-философски выдержан и аристократически небрежен.

Этот был уже не нахрапистый лев, но осторожный, размеренный, крадущийся гепард, который часами готов лежать в засаде, прежде чем прыгнуть на свою жертву. В темных очах его, всегда слегка прищуренных, стесненных набухшими веками (что, впрочем, не портило его лица), мерцала не голая пустыня, не дикая безрассудная удаль и кочевые шатры, но городской дворец, слуги, пажи, советники и власть. Тот был воин, а этот — военачальник; тот был захватчик, а этот — держатель; тот был вождь, а этот — царь.

— Я благодарю небо, что мы наконец встретились, о царица, сверкающая золотом, и теперь можем обсудить семейные заботы.

— Семейные заботы? — проворчала она, пожимая плечами. — Что ты под этим подразумеваешь? Разве у нас есть общие семейные заботы?

— У царей, если они пекутся о благе страны и крепости своего рода, всегда найдутся общие заботы. Ведь они в своем роде семья,— заметил Ирод.

— Ты куда-то клонишь, мой друг, но как-то очень странно. Я думаю, ты намерен взять выкуп за свои подарки, но говоришь так из предосторожности. Право, ты можешь быть со мною откровенным. Какое у тебя ко мне дело?

Египтянка еще раз окинула взглядом собеседника с головы до ног: интересно, каков этот семьянин в постели? Судя по бычьей шее — довольно горяч и необуздан, как всякий южанин. Отец его до конца оставался необрезанным, а этот, знать, обратился в иудаизм и потщился блюсти иудейские заповеди. Но что такое заповеди для властителя страны? И если у них есть заповеди насчет иноверных женщин, то как там насчет иноверных богинь?

— Да не покажется моя речь неучтивой, божественная...

— Нет, ничего. Это даже хорошо. Говори.

— Или слишком дерзкой...

— Я обожаю дерзости. Откройся, как есть.

— Мой старший сын Антипатр,— заговорил Ирод,— тринадцати лет от роду, прелестный отрок, щедро награжденный природой, находится сейчас при мне. Я снарядил его было в Рим с учителями и воспитателями, но случайная болезнь задержала его. В то же время, о царица, у тебя, известно всем, подрастает великолепная дочь, красавица Селена, рожденная от величайшего ге-

роя нашей эпохи[1]. Не думаешь ли ты, благословенная из матерей, что брак между нашими детьми как нельзя лучше украсит союз и дружбу столь близких по духу народов?

Клеопатра вытянула лицо и несколько секунд не могла произнести ни слова. Только чрезвычайным усилием воли она удержала себя в равновесии:

— Это дело великое, и к нему следует подготовиться...

— Я о том и говорю, божественная. У нас нет ничего дороже наших питомцев, не так ли?

Подобная речь явилась для египтянки полной неожиданностью. Она готовилась к чему угодно, только не к свадебным запевам. Если бы Ирод стал признаваться ей в любви, она приняла бы это как само собой разумеющееся. Если бы он предложил себя в наложники, она бы отвергла его, но отнеслась бы к этому предложению с полным пониманием. Она бы нисколько не удивилась, даже если б идумеянин вдруг упал перед ней на колени или попытался овладеть ею в этой же зале. Но его внезапное и неуклюжее сватовство застало ее врасплох, и она никак не могла собраться с мыслями.

— О царь, должна заметить, что Клеопатра Селена недавно помолвлена с сыном Артавазда Армянского. Таково было желание ее отца, преславного Антония, и я не сочла нужным противиться будущему браку.

— Очень жаль,— огорчился Ирод.— Прости, царица, я не знал об этом. С которым из сыновей Артавазда помолвлена Селена?

Клеопатра наморщила лоб:

— С которым, спрашиваешь ты? С которым именно? С Артаксерксом, старшим из царевичей.

— С Артаксерксом? — удивился идумеянин.— Но ведь он уже взрослый мужчина! К тому же, помнится, у Артаксеркса уже имеется невеста из племени адиабенов, не так ли? Насколько я знаю, обручены также и остальные армянские царевичи.

Царица натужно рассмеялась:

— Ты ведь знаешь, мой друг, прошлой зимой случилось много перемен. Антоний с Артаваздом перерешили все по-своему, и пусть боги судят их за нетерпение.

— Очень жаль,— повторил Ирод, не теряя, однако,

---

[1] Т. е. Антония. Клеопатре Селене в том году исполнилось всего четыре года.

надежды.— Антипатр — мой прямой наследник и восприемник верховной власти над иудеями. Все, чем я владею, в будущем перейдет в его руки. А за прекрасноликой Селеной мы могли бы в качестве приданого закрепить Иерихонскую область.

Египтянка рассеянно пожала плечами, что можно было истолковать и как обещание поразмыслить, и как неготовность продолжать подобный разговор. Видно было только, что она не очень вдохновлена идеей породниться с иудейским двором.

Ирод взирал на нее не без внутреннего раздражения. Верно, она вообразила, будто он спит и мечтает приблизиться к ней, набивается ей в кумовья и жаждет вкусить от ее славы. Будто ему нужно это родство. Вряд ли догадывается эта напыщенная и тщеславная Омфала, далекая от государственной стратегии, какую цель преследует он на самом деле и для чего затеял нелепое сватовство. Ему нужен был Иерихон, и только Иерихон, получить который он хотел столь искусным и дешевым способом.

«Похоже, она ничего не поняла,— подумал царь.— Ее мысль быстра и проворна лишь на пирушках, но когда начинается правление, она глупеет на глазах. И то верно: разве за какие-то заслуги, а не по прихоти судьбы она вознеслась на такую высоту? Что для нее царство? Я три года вел войну за обладание венцом, а она достигла того же за одну ночь, широко раздвигая бедра под Цезарем».

Он, конечно, догадывался, что причина отказа Клеопатры совсем в другом, отнюдь не в отсутствии государственной мудрости, но не хотел, не смел себе в этом признаться. Честолюбивый ничуть не меньше египетской гостьи, он гнал от себя мысль, что его уравняли с каким-нибудь Лисанием или Ямвлихом, как если бы те покусились на то же, что и он, равный ей по титулу и заслугам. Но мысль о том, что им пренебрегают, подспудно донимала его, и именно от этого он приходил в раздражение.

Даже цари имеют свои ранги, и то, что позволено стихоплету Артавазду, видите ли, не позволено воителю Ироду. А все потому, что разгульный армянин — сын царя из древней династии, голубая кровь, а стойкий идумеянин был стратегом и этнархом и пробивался из низов. Но их время уходит, время спесивых династий, они деградируют и вырождаются; так не лучше ли ответить на презрение презрением?

— Мы, царица, живем на периферии, куда все новости приходят с запозданием,— протянул Ирод, прикидываясь глухим провинциалом.— За прошлую зиму действительно много переменилось. Твоя звезда воссияла настолько ярко, что ею озарился весь мир. Пожалования Антония — признание твоего совершенства — поистине великолепны! Некоторые из них даже приводят в изумление. Я говорю об Иерихонской области, которая лежит поблизости отсюда и всегда считалась частью Иудеи.

Ирод подобострастно наклонился вперед и заглянул египтянке в глаза:

— Никто, конечно, не оспаривает решение великого правителя, которому боги даровали власть над Востоком. Но посуди, царица, что получилось. И там и здесь обитают иудеи, связанные узами тесного родства, часто — отцы и дети, братья и сестры, свояченицы и кумовья. Возможно ли провести границу по текущей воде, пропахать межу по двору одного дома, разделить единый кров на части? Как ты думаешь, царица, не будет ли справедливо, чтобы иудеи Иерусалима и дальше жили в единстве с иудеями Иерихона?

Клеопатра, до этого сидевшая с пустым, отрешенным ликом, вдруг сверкнула очами и встрепенулась в кресле:

— Насколько я понимаю, царь, ты хочешь арендовать у меня эту землю? Что ж, если мы сойдемся в цене, я, пожалуй, сделаю такую услугу.

«Тысяча молний! — опешил Ирод.— Какова хватка у этой Харибды! Невольно поверишь слухам о том, как она самолично взвешивала подряд все гиеропольские сосуды».

— Каковы же твои условия, царица?

— Девятьсот талантов вперед и третья часть каждого урожая. Причем при сборе плодов будут присутствовать мои экономы.

— Третья часть урожая?! — поразился идумеянин, думая, не ослышался ли он.— Мыслимо ли это, царица?! Даже римляне в Азии берут десятину, и многим она кажется обременительной. Кто будет работать при таком налоге? Никто не покроет расходов!

Клеопатра равнодушно пожала плечами:

— Это смотря какие работники. Среди моих подданных тунеядцев нет.

— Да еще девятьсот талантов вперед! — продолжал отдуваться Ирод, не в силах совладать с изумлением, за которым уже вскипало негодование.— Помилуй, царица!

Так платят только контрибуцию поверженные на войне!

— Почему? Ты же добыл некогда для Кассия тысячу талантов серебра.

— Не тысячу, а восемьсот.

— Какая разница?

— Позволь напомнить все же, царица, что Иерихон — неотъемлемая часть Иудеи и вотчина иудейских царей. К тому же земельные переделы Антония еще не утверждены сенатом. А Рим имеет обыкновение выслушивать все стороны, не так ли?

— О чем ты говоришь, этнарх? — презрительно выдохнула египтянка, в мгновение ока лишив собеседника царского титула.— Вся Иудея когда-то принадлежала моим предкам. Если уж говорить о земельных переделах, то надобно вспомнить доблестный меч Александра Великого и наследство Птолемея Сотера!

Ирод потупил взор и вполголоса проворчал:

— Зато народ иудейский помнит Иуду и Ионафана Маккавеев, в жестокой борьбе добывших свободу отчизне [1].

— Довольно же пустопорожних разговоров! — воскликнула Клеопатра; лицо ее внезапно исказила болезненная гримаса.— Благие боги, какое невыносимое пекло... Что это со мной? Нечем дышать... Я задыхаюсь...

— Тебе плохо, царица? — обеспокоился идумеянин, видя, как египтянка сморщилась от боли.

— Да-да, мне что-то колет в шею. Клянусь небом, это твое ожерелье! Посмотри сюда. Что там?

Ощущение было такое, словно бы ничего не подозревающей гостье подсунули нательное украшение, щедро пропитанное ядом. Такие штуки любили проделывать со своими жертвами персидские цари, а от них это переняли Птолемеи, коварство которых давно вошло в поговорку. Неискушенный иудейский двор в сравнении с ними казался младенцем.

Ирод наклонился к Клеопатре, внимательно изучая тонкую царскую шею, но ничего особенного не увидел. Зато после, едва подняв взгляд, он столкнулся с огромными воспламененными очами египтянки; она не отрываясь глядела на его уста, будто бы щупала или пробовала их на вкус; по лицу ее блуждала таинственная усмешка.

---

[1] После завоевания Александром персидских владений Иудея находилась в составе державы Птолемеев, затем отошла к Селевкидам. Лишь после длительной войны братья Маккавеи добились ее независимости и основали династию Хасмонеев.

— Ничего нет, царица. Тебе показалось.

— В самом деле? Какая досада... А тебя ничего не укололо?

Ирод проглотил комок в горле, не в силах ни разогнуться, ни отвести глаз, будто заговоренный:

— Не понимаю тебя, царица...

Клеопатра откинулась на спинку креслица и звонко рассмеялась. Вероятно, эту сцену она разыгрывала уже не в первый раз, и всегда с неизменным успехом. Ей говорили, что ее взгляд обладает магическими свойствами, и она не упускала случая испытать его в деле.

Подопытный идумеянин же оказался попросту запутан и не знал, что теперь делать. Смех царицы немного успокоил его, но огорчение, что он так легко поддался розыгрышу, не проходило. Он даже заподозрил, что все поведение египтянки представляет непрерывное чередование жеманства и притворства. Истинной он не увидел ее ни на секунду.

— Твоя скаредность меня окончательно утомила,— вздохнула Клеопатра, растирая шею.— Если б ты знал, как я измучилась в дороге, то не стал бы с порога терзать меня своими премудростями. С тех пор как я разрешилась Филадельфом, силы еще не вернулись ко мне... Днем я хожу полусонной, а ночью страдаю бессонницей. Мои врачи, безмозглые недоучки, твердят, что это царское недомогание. В моем роду все страдали бессонницей. Вот тот случай, когда я предпочла бы родиться от простого тавернщика.

«Ты сделала не намного лучше, родившись от флейтиста[1]»,— сказал Ирод про себя, тяготясь бесплодностью беседы; вслух же он произнес:

— Прости, царица, если я чем-то досадил тебе. Конечно, все дела следует отложить, пока не вернется твоя бодрость и здоровье. Гостевые покои уже готовы.

Он встал, чтобы проводить собеседницу, но та не двигалась, ожидая, что идумеянин поможет ей подняться с кресла. Ирод не сразу сообразил, что от него требуется; наконец, подставил египтянке свой локоть, но она предпочла опереться на его плечо.

— Позвать лекарей? — предложил он.

— Я же сказала, все они безмозглые тупицы. У меня был один хороший врач — Диоскорид, да и тот оказался заговорщиком.

---

[1] Отец Клеопатры царь Птолемей XII получил прозвище Авлет-«флейтист», за то что увлекался театром и игрою на флейте,

Даже очутившись на ногах, она не убирала руку с его плеча; Ирод испытывал неловкость и, выходя из комнаты, споткнулся на ровном месте.

— Как ты неуклюж, мой друг,— проворчала она снисходительно-добродушно.

— Это случайность, царица,— уверил он, пытаясь оправдаться.— Ты скоро убедишься, насколько я ловок.

— Да?! — просветлела она, с интересом оглядывая профиль идумеянина, будто заново изучала его.— Что ж, может быть, тебе представится случай доказать это.

От былого утомления царицы не осталось и следа; она уверенно шествовала по комнатам, ускоряя шаг. Ирод едва поспевал за ней, вынужденный приспосабливаться к стремительным переменам в этой женщине, которая бог весть какими путями стяжала огромную власть и простерла свою длань на многие царства, так что даже могущественные правители юлили и заискивали перед ней.

— Вот еще что,— сказала Клеопатра напоследок.— Все время хотела спросить, но забывала. Нападение на египетскую триеру в Иоппии в прошлом году и убийство наварха — чьих рук дело?

Ирод выпучил глаза:

— В первый раз слышу, царица! Почему ты меня спрашиваешь?

Она погрозила ему пальцем:

— Смотри же: у меня в Александрии живут триста тысяч иудеев. И мои подданные не очень-то жалуют их.

Дион Кассий был, в общем-то, прав. Немногого требовалось от Клеопатры, чтобы воцариться в Египте. За нее все сделали предки: четырнадцать в ее роду были царями, и она седьмая из царственных женщин, которые носили имя Клеопатра. Обе ее старшие сестры, Клеопатра Трифена и Береника, последовательно вступали на трон еще при жизни отца. Само собой, наступил и ее черед. Правда, не обошлось без острой придворной схватки, но это уже второстепенные вещи.

Другое дело — Ирод. Своим возвышением он был обязан наполовину отцу, наполовину — самому себе. Правда, отец добился главного — власти над Иудеей; сын упрочил достигнутое, отстоял отцовское наследство в жестокой борьбе и в итоге возложил на голову диадему. В своем роду он первый сделался царем.

Придворные летописцы, конечно, поторопились облагородить его род; Николай Дамасский писал даже, будто предки Ирода находились среди тех, кто вывел иудеев из вавилонского плена. Но все это были сказки; дед Ирода, Фаллион, пас лошадей на идумейских холмах и нередко занимался разбоем на караванных тропах. Отец начал с того, что служил в коннице то у Хасмонеев, то у набатейских царей. Женой его была не придворная дама, но самая обыкновенная арабка-кочевница.

Междоусобная распря в Иудее выдвинула отца в крупные военачальники. Антипатр посредничал между иудеями и набатейцами, уговаривал Помпея поставить Гиркана этнархом, затем убеждал Гиркана перейти на сторону Цезаря и в конце концов прибрал к рукам всю власть.

Еще при жизни Антипатр привлек сыновей к управлению. Своим главным наследником он видел Фасаэля; Ирод долго оставался на вторых ролях, вынужденный подчиняться брату, которого не любил и питал к нему зависть. Длительная зависимость от сильных мира сего и породила в душе Ирода болезненную ревность к царскому трону, который он заполучил ценой многих унижений и неимоверных усилий.

Никто из иерусалимлян, знавших Ирода в молодости, не мог вообразить, что этот сумрачный, немногословный юноша, с трудом отличавший тогда букву «айн» от буквы «алеф», владевший разве что добрым арабским скакуном, когда-нибудь возьмет громкий титул басилея и сядет на престол великого Давида. Но он стал царем вопреки всему, что говорили о нем, и не кого-нибудь, а именно его Господь поставил вождем Израиля и дал пасти народ его.

Выскочка на троне презираем до тех пор, пока он не создал династию; после этого его почитают за великого патриарха. Таков уж, видно, закон всех царств, и ничего с ним не поделать: желаешь добиться уважения к себе, обеспечь преемство. Величие трона определяется не столько силою оружия и протяженностью царства, сколько прочностью престолонаследия. Сумел устроить так, что власть твоя будет передаваться в роду без ущерба для нее,— честь тебе и хвала, и уже восприемники твои — цари по рождению — станут непререкаемы, и пустят корни, и династия назовется твоим именем, потому что ты был первым и дал семя.

Ирод знал этот вечный закон, и он лгал себе, гово-

ря, что брак старшего сына с египетской царевной нужен ему только ради Иерихона. Этот брак мог бы стать краеугольным камнем в устройстве его династии: Ирод обеспечивал царскую кровь внуку и всем последующим коленам и тем самым, хотя бы в устах будущего, становился вровень с Птолемеем Лагом, Селевком Никатором, Иудой Маккавеем, которые тоже были выскочками, а после потомки учредили им культы.

СТАСИМ ПЕРВЫЙ

Я нашел женщину, которая ими правит, и даровано ей все, и у нее великий трон. Я нашел, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Аллаха, и сатана разукрасил им их деяния и отвратил их с пути.

Коран. 27 : 23—24

Когда всполошенный дворец наконец угомонился и шумные гости удалились на отдых, Ирод позвал евнуха Эзопа, которого держал при себе еще со времен Галилеи. Как и большинство служителей его круга, пронырливый евнух занимался делами, весьма далекими от своих прямых обязанностей. На женской половине он являлся от случая к случаю, большей частью выполняя особые поручения царя. Его-то и посылал Ирод навстречу царице в Дамаск.

— Тебе известно все про всех,— сказал ему Ирод.— Ответь, кто из приближенных египтянки имеет на нее наибольшее влияние?

— Хелидон,— молвил евнух, не моргнув глазом.

— Разгульный юнец, что командует ее войском? — сморщился царь.— Да нет, я говорю не о сменных любовниках, а о тех, кто решает дела.

— Тогда секретарь Аммоний.

— Аммоний? Это который? Лысеющий эпистолограф, что сидел от нее по левую руку?

— Да, господин. Вообще-то он астролог и, говорят, завоевал доверие царицы удачными предсказаниями. Он предрек, что на седьмом году она останется единственной хозяйкой Египта. После того как сие сбылось, он сделался в большой чести.

— Пожалуй, не столько предсказанием, сколько участием в отравлении Птолемея,— усмехнулся Ирод.— Она поручила ему свои счета? Тогда это то, что нужно.

Пойди и поговори с ним, только чтоб никто не видел,— предложи ему от меня сто талантов за небольшую услугу. Я не знаю таких звездочетов, которые бы не любили пересчитывать земные деньги.

— Смотря какая услуга,— ответил евнух задумчиво.

— Пусть убедит царицу сдать мне в аренду Иерихонскую область. На льготных условиях. Египтянка важничает и набивает цену. Скажи ему: пусть берут десятину или даже шестую часть урожая, но отдадут мне Иерихон сейчас же. Пусть звездочет вразумит госпожу; половину суммы он получит вперед, половину после договора.

Ирод перестал рубить рукою воздух и сжал пальцы в кулак:

— Я должен владеть Иерихоном. Обязан. Этого от меня ждут все иудеи. От этого зависит мое имя в народе. Не так ли, Эзоп?

— Прикажешь поговорить с секретарем сегодня?

— Немедленно. Я не могу долго терпеть у себя эту свору, но без Иерихона не выпущу ее отсюда.

Идумеянин в запальчивости не объяснил, каким именно образом он намерен удерживать египетскую владычицу в Иерусалиме, но слова его произвели должный эффект. Евнух встрепенулся и, подстегнутый решимостью господина, бросился выполнять поручение.

Только после этого Ирод предался своим любимым запискам. Но едва он вошел во вкус, диктуя двум проворным писцам события последних дней, и уже дошел до описания встречи с Клеопатрой, как внезапно ему доложили, что у дверей стоит эфиопская рабыня, посланная к нему самой египтянкой.

От неожиданности царь растерялся и уже заподозрил что-то неладное, связанное с Эзопом и Аммонием, но то, что пришла какая-то рабыня, а не служащий египетской канцелярии, немного успокоило его. «Здесь нечто другое,— подумал он,— эфиопская рабыня... Что бы это значило?»

Он отпустил писцов, предварительно забрав у них свитки, спрятал написанное в надежные тайники и, поправив царский подир, вышел в соседнюю комнату, где его ожидала чернокожая посланница.

— Ты, кажется, доверенное лицо царицы?

— Да, это так, господин,— отвечала эфиопка.

— Как тебя зовут?

— Хармион.

«Имя эллинское,— определил идумеянин, внимательно оглядывая юную рабыню.— Да она еще и приятна с виду, не в пример обычным особям ее племени. Маленькая черная пантера. Где только египтянка раздобыла столь редкий перл?»

— Царица оставила что-нибудь или забыла о чем-то сказать?

Эфиопка поклонилась ему в пояс, украдкой косясь по сторонам:

— Госпожа наказала передать царю с глазу на глаз...

— Мы здесь одни, Хармион. Говори смело.

Рабыня, кажется, раздумывала несколько секунд, но затем вскинула на царя дерзкий, почти вызывающий взгляд:

— Моя госпожа приносит свою признательность за блестящий прием, устроенный в ее честь, и просит сказать, что находит его бесподобным. Она готова по достоинству вознаградить царя за радушие и учтивость, и, если царь того желает, он может получить награду сегодняшней ночью.

Ирод долго глядел в глаза эфиопке, подозревая какой-то подвох, потом нерешительно почесал за ухом:

— Она именно так и велела сказать?

— Слово в слово.

— Где?

— У нее в опочивальне.

Идумеянин отвернулся, пряча слащавую ухмылку откупщика, которому показали роскошный трофей, запросив сперва баснословную сумму, а потом вдруг в спешке отдали почти задаром.

— Она, наверно, ждет ответа?

— Немедленного, царь.

Первоначальная слащавость сменилась внезапной злостью: «Это какая-то зараза: все хотят всего немедленно. Вот и пойми этих фарасских басилисс! Она не пожелала пустить меня в свой дом, но не прочь разделить со мною ложе. Или она считает нас более подходящими для этого, нежели наших детей?»

— В котором часу? — спросил Ирод, стараясь не встречаться с эфиопкой взглядами.

— Госпожа будет ждать царя после полуночи,— и, помедлив, рабыня добавила: — Но при одном условии.

— Условии? Каком условии?

— Царь придет один, без охраны и провожатых.

— Странное условие...

— Это нужно для сохранения тайны, но никак не должно ущемить господина. Что касается нас, то мы знаем своих телохранителей и заверяем, что они будут немы как камень.

Пока рабыня изъяснялась, в соседних покоях возник какой-то шум, оттуда донеслись голоса и стуканье скамеек. Ирод покосился в ту сторону и хмуро переспросил:

— Ты говоришь так от себя, эфиопка, или передаешь слова госпожи?

— Мои уста — ее уста,— поклонилась Хармион.

— Что же ей мешает отослать и свою стражу, чтобы мы прониклись обоюдным доверием?

— Моя госпожа поступает так, как считает нужным,— заметила эфиопка с важностью.— Твое дело — принимать ее условия или нет.

Ирод недовольно нахмурил брови:

— Не кажется ли тебе, невольница, что ты позволяешь себе слишком многое, разговаривая с царем?

— Прости, господин,— смутилась Хармион, отступая на три шага.— Что передать моей госпоже?

После продолжительного молчания, во время которого шум за стеной все усиливался, отвлекая идумеянина и мешая ему сосредоточиться, он, наконец, тускло процедил:

— Передай царице, что я считаю для себя... Что мое положение... Хм. Впрочем, я принимаю ее условия. Можешь идти.

«Коли так пойдет и дальше,— подумал Ирод, провожая эфиопку тяжелым взором,— не сегодня завтра даже носильщики сандалий египтянки начнут давать мне указания».

Стоило только ему подумать о носильщиках, как они были тут как тут. Вместе с чернокожей рабыней Клеопатра прислала десяток слуг, которые теперь выносили из Семиколонного зала дорогие вещи и украшения, подаренные иудейским правителем. Когда Ирод заглянул посмотреть, что там делается, глазам его предстало зрелище, напоминающее нашествие парфян. Египтяне деловито грузили подарки в объемистые ларцы и цепочкой переправляли их за пределы царской обители. Впустивший носильщиков Иосиф виновато развел перед царем руками. Ирод безнадежно отмахнулся.

«Плата за ночь вперед»,— мелькнуло в голове идумеянина. По завидному проворству египтян он понял, что многое из содержимого кладовой не достигнет места назначения.

Кашель за спиной заставил царя обернуться. Перед ним стоял евнух Эзоп.

— Ты уже вернулся? Так скоро? Ну и что ответил секретарь?

Эзоп довольно кивнул головой. Ирод приложил палец к губам и увел евнуха подальше от любопытных ушей.

— Значит, Аммоний согласился?

— Да, господин. Только он просит сто пятьдесят талантов, и треть — золотом.

— Ого! Это мне нравится,— просиял идумеянин.— А на вид и не скажешь, что сей ученый муж — прожженный взяточник. Мы будем иметь с ним дело. Отсчитай-ка, Эзоп, из казны семьдесят талантов серебром и снеси этому звездочету в задаток. Надеюсь, блеск монет заставит его побыстрее покончить с Иерихонской областью.

— В деньгах на всю сумму не хватит,— возразил евнух.

— Добавь серебряными сосудами, кубками по весу. Возьми из моей столовой. Сейчас мелочиться нельзя: Иерихон не ждет. Ты в точности передал мои условия александрийцу?

— В точности, господин.

— Прекрасно. Египтянка думает, что на ее плечах примостилась богиня удачи. Но мы тоже не сидим сложа руки. И мы готовы на все.— Ирод поднял кулак и потряс им в воздухе.— Плохо, денег нет, не то бы мы присовокупили и Перею... На одни подарки фарасской скитале[1] ухлопали годовой запас! Ох, Давид, Давид, где твое наследство?..

Царь отпустил евнуха, но тот не уходил, потупив очи и переминаясь с ноги на ногу.

— Что еще? — насторожился Ирод.— Что-то с этим александрийцем?

— О нет, господин...

— Что же? Ты был на женской половине?

— О да, господин.

— Ясно,— кивнул царь, сжимая зубы.— Опять что-нибудь с Мариам?

Евнух прокашлялся, но не решился сказать.

— Господь мой, что там стряслось в очередной раз? Выкладывай все; меня уже ничем не удивить. Царица перебрала сидонского? Впала в беспамятство? Вскрыла себе вены?

[1] Скитала — род змей.

— О государь,— молвил евнух сокрушенно,— твое предчувствие не обманывает тебя. Царице очень дурно. Она нервничала и не находила себе места весь день, потом набросилась на слуг и многим причинила боль. Затем, погнавшись за кем-то, нечаянно упала и ударилась головой о дверной косяк. Сейчас она в постели, и врач делает ей кровопускание.

— Одна напасть за другой,— досадливо сморщился идумеянин, словно ему напомнили об обременительных обязанностях.— Какой демон вошел в нее на сей раз?

— Это мне неведомо, господин. Знаю только, в одиннадцатом часу царицу посетила ее мать, госпожа Александра, и о чем-то беседовала с ней наедине. Слуги оставались за дверями, а после ухода госпожи застали царицу в сильном душевном расстройстве.

— Опять эта ведьма! — вспылил Ирод, темнея от злости.— Довольно, ничего больше не нужно объяснять! Всюду, куда ни гляну, ее подлые укусы и следы ядовитого жала. Почему эту вредную старуху пускают к моей жене? Конечно, она наболтала ей что-нибудь про меня и египтянку!

Евнух пожал плечами.

— Клянусь заветами отцов,— добавил Ирод,— я запрещу им встречаться! Александра не увидит дочери, пока не прекратит науськивать ее против меня и строить козни. Боже, я начинаю жалеть, что вызволил старую анаку[1] из Масады, где ее обложил Антигон и обещал повесить на первом суку. Какую я тогда совершил глупость!

Ирод откинулся на атласное изголовье суфы и с силой потер свои виски.

— Нет пут хуже родственных. Вот, Эзоп, какой семейкой наградил меня Господь за мои труды. Сущее наказание: жена — неизлечимая истеричка, теща — воплощенная ехидна, шурин — желчный завистник; один стоит другого. А их полоумный родитель, сидящий в Гибее, как камень на ногах...

В потухших очах идумеянина затеплился слабый огонек:

— Все чаще вспоминаю тихую ласковую Дориду,— где-то она сейчас? Вспоминаю и наполняюсь тысячью вздохами. Поистине говорю тебе, Эзоп, такой жены, как Дорида, у меня больше никогда не будет... Сокровище начинаешь ценить только тогда, когда оно утеряно, не

---

[1] Анака — ядовитая ящерица.

так ли? Помнится, ты говорил, она устроилась в Хевроне?.. О Господь мой Предвечный, зачем Ты отнял у меня разум, так что я отринул верную любящую супругу и променял ее на пустую мишуру хасмонеевскую?! Знать, небрёг я истинным перлом, не холил, не лелеял его, за что был лишен его и получил взамен песок обжигающий...

3-я ПАРАЛИПОМЕНОН

(Апокриф)

1.Сыновья Ирода, родившиеся у него в Галилее, когда он был стратегом и правителем области: первенец Антипатр; второй — Архелай, умерший во младенчестве.

2. Сии родились от Дориды, дочери Феодиона, идумеянина. Двое родившихся у него в Галилее; правил же он там восемь лет и шесть месяцев, а тридцать три года царствовал в Иерусалиме.

3. А сии родились у него в Иерусалиме: сыновья Аристобул и Александр, дочери Салампсо и Киприда; эти четверо от Мариам, дочери Александра-царевича, сына Аристобула из рода Хасмонеев.

4. Ирод женился на Мариам, когда осаждал Иерусалим и добивался верховной власти; перед этим он послал развод прежней жене своей Дориде, из незнатного рода.

— Ох, Эзоп,— горестно протянул Ирод, качая головой.— Еще месяц или два такого супружества, и я выведу своего Антипатра, поедем мы вместе, найдем Дориду, где бы она ни была, и упадем ей в ноги...

— Не стоит отчаиваться, господин,— улыбнулся евнух.— Чего не бывает промеж супругов? Бог милостив: все наладится и образуется.

— Нет уж, Эзоп, скажи: тщета. Если на каждом шагу жена принимает не сторону мужа, а своих родственников и ставит былые узы выше нынешних, она не жена ему, но ставленник родни и ее соглядатай. Это все равно, как если б охотник приобрел сокола, а тот при охоте на пернатых хищников вместе с ними бросился клевать хозяина.

И, досадуя в душе на столь бледное сравнение (ему никогда не удавались аллегории), идумеянин повернул-

ся на суфе на другой бок, потеряв вконец всякое настроение. Евнух обошел вокруг него и стал у изголовья, гадая, будут ли еще распоряжения. Так он стоял минут десять или пятнадцать, хотел уже бесшумно удалиться, как услышал вялый бесцветный голос царя:

— Сколько там на клепсидре? Пятый час[1]? Право, не знаю, как теперь быть... Положение мое глупейшее. Что ты посоветуешь, Эзоп?

— Насчет чего? — не понял служитель.

— Пойду, пожалуй, к царице,— сказал Ирод.— Все-таки следует уважать царскую кровь. Что бы ни было, будем надеяться на лучшее.

— Вот и славно, государь! — обрадовался евнух.— Конечно, лучшее наступит, если двигаться ему навстречу. Побегу предупрежу госпожу, что ты идешь к ней. Она ведь так расстроена и удручена, что только твоя рука способна утешить ее.

Эзоп стрелой вылетел из зала, оставив Ирода одного. Царь скорчился от беззвучного смеха, судорожно дергая плечами; на голос уже не хватало сил. Он думал подняться с суфы, но руки не шевелились, хотел покинуть полутемный зал, но ноги не шли. Он так и остался в прежней позе, не то сидя, не то лежа, тупо уставясь на затухающий светильник, подвешенный к высокому потолку, который, догорая, нещадно коптил, обволакивая зал серой едкой дымкой.

В принципе он был человек мрачный и тоскливый. Старший брат Фасаэль частенько называл его за глаза «махпельским филином»[2]. Настоящих друзей у него никогда не водилось, веселиться он не мог и не умел, и когда кончались государственные дела, просто не знал, чем занять себя от скуки. Обычно в такие часы он диктовал свой дневник, а когда нечего было писать, бесцельно слонялся по комнатам, делая слугам мелкие и нудные замечания.

Он не любил вечернее время, оно угнетало его пустотой и бесцельностью. В юности он почти не снимал доспехов и не покидал седла,— отец растил его воином,— досуг заполнялся стрельбой из лука и метанием копья; теперь, на вершине власти, подобные упражнения казались лишними и никчемными. Возмужав, он завел учителей риторики и грамматики, лепя из себя просвещенного правителя; потом он понял, что власть и

[1] Пятый час ночи — 11-й час вечера по современному циферблату.

[2] Махпела — пещера близ Хеврона, могила праотца Авраама.

просвещение несовместимы, как уксус и молоко, а народ обожает лишь бесцеремонных и жестоких владык. Еще год назад, вступая в священный Иерусалим, он был на седьмом небе от счастья, пока не уяснил, что это вовсе не венец победы, но начало новой, куда более яростной борьбы. Сколько будет дано, столько и отнимется, сказал какой-то древний мудрец, и он, конечно, угодил в точку.

Пламя светильника, вздрогнув в последний раз, погасло. Ирод поежился в темноте, вздохнул и тяжело поднялся на ноги. В глубине ниши, под златотканым полотном таилась маленькая дверца, за которой открывался секретный ход, ведущий вдоль царских покоев в гостевую часть дворца,— на другом конце его находилась опочивальня, где разместилась египетская царица. Ирод преднамеренно поселил Клеопатру в том месте; она, естественно, ничего не должна была знать о существовании скрытого хода. Царь мог в любой момент объявиться в гостевой опочивальне, невзирая на стражу, стерегущую царицу за парадными дверьми.

Сей ход — устройство хитроумного халдейского механика Сумурагума — имел одну особенность: обе двери его могли открываться и закрываться лишь с одной стороны; тем самым попадающие в ход из царских покоев получали преимущество. Пройти по ходу из гостевой опочивальни возможно было только при условии, что обе двери заранее открыты.

Завладев дворцом, Ирод быстро оценил все выгоды подобного устройства и в близком кругу называл две связанные между собою комнаты на афинский манер Зеей и Мунихией[1].

Идумеянин двигался в темноте на ощупь, держась рукою за стену. Ему вдруг вспомнился душный лаз в гробнице Давида, такой же мрачный и длинный, в котором его подстерегал истлевший скелет, пригвожденный к стене, где пахло сыростью и хлюпала вода, а в итоге он нашел опустошенную сокровищницу. Какой чудовищный фарс!

Через сто пятьдесят шагов ход завершился каменной дверью. Ирод нащупал на уровне плеча медный крюк, нажал на него, после чего дверь плавно и бесшумно растворилась, и царь оказался в заветной Мунихии. Толстая завесь еще скрывала его от красновато-лилового света, заливавшего ложе царицы. Ироду не раз

[1] Зея и Мунихия — две гавани в бухте Пирея.

случалось пользоваться этим ходом,— дворцовая жизнь быстро приучает к подглядыванию,— но он не помнил, чтобы когда-либо раньше оказывался в роли пылкого любовника из «Милетских рассказов». Обстоятельства были столь новы и необычны, что он невольно смутился и почувствовал неудобство: каким образом он появится ей на глаза и что скажет?

Глянув за завесь, он разглядел в глубине опочивальни египетскую царицу, возлежащую на пуховиках в более чем откровенной позе, и чернокожую рабыню, прильнувшую к ней. Ему хватило осторожности не сделать вперед ни шагу и никак не обнаружить своего присутствия. Он даже подумал, не повернуть ли обратно, но какая-то сила удержала его, и по некотором размышлении он притаился за толстой завесью и решил украдкой подсмотреть.

Голоса едва различались, ковры и циновки почти полностью скрадывали звук; царю пришлось напрячь весь слух, чтобы уловить любовный шепот.

— О Хармион! — стонала царица в блаженной истоме.— Ты моя прелесть... Моя услада... Ах, какая ты неугомонная... Просто дикая черная кошка. Ну давай еще, еще, Хармион...

Эфиопка, стоя на коленях, длинными крепкими пальцами неистово мяла оголенные царские бедра. Клеопатра, закинув руки за голову, судорожно извивалась на пуховиках, словно пыталась оторваться от впившихся в ее лоно губ и языка эфиопской рабыни, но та напирала еще сильнее, чем заставляла госпожу сладострастно вздрагивать и трястись будто от лихорадки.

Дрожащие пальцы царицы скользнули по груди, распахивая легкую газовую накидку; на свету блеснули два белых яблока, налитые сладчайшим соком, и эфиопка тут же вцепилась в них, точно хотела сорвать спелые плоды. Египтянка вскрикнула и рывком потянула рабыню на себя, выгибаясь под ее лоснящимся упругим телом, и эфиопка овила госпожу, как черный морской кальмар овивает затонувшую алебастровую амфору.

«Она забавляется со своей девчонкой,— стиснул зубы затаившийся Ирод,— и, по-видимому, не очень-то нуждается в мужчине. Понятно теперь, каким путем слуги входят у нее в честь. Животным ублажением по ночам». Его поразило само смешение белого с черным, как ему казалось, драгоценного с ничтожным, возвышенного с низменным. Как всякий завзятый провинци-

ал, он дивился и не мог понять, в чем тут прельщение. Если ему случалось судить женщин за измену мужьям, особенно он бывал суров к тем, которые грешили с рабами, и уж совсем беспощаден, если с черными.

Сладострастные стоны в Мунихии сменились глухим утробным урчанием. Обе лесбиянки упали на пол и, сцепившись, катались по тирским циновкам, подобно змеиному клубку. Можно было подумать, две разъяренные амазонки борются, силясь задушить друг друга.

Ирод понял, что ему незачем дожидаться конца этого постыдного зрелища. Он уже повернулся лицом к потайному лазу, как вдруг до него снова долетел голос царицы:

— О боги, как я обессилела, Хармион!.. Сегодня ты вытянула из меня все жилы... Ты одна стоишь десятка мужчин.

— Много больше, Клео,— отозвалась польщенная эфиопка, обращаясь к госпоже, будто к подруге.— Клянусь небом, я только-только разгорелась...

— Довольно, довольно, умоляю тебя! Иначе завтра я свалюсь с ног перед Иродом.

— Не волнуйся о нем, Клео. Он пугливый сурок, не достойный твоей пяты.

— Неправда, Хармион, ты говоришь так из ревности. Он, верно, не совсем отесан, но в нем есть что-то привлекательное. Он бывает довольно забавен.

— Жалкий трус,— настаивала эфиопка.— Иудеи вообще все невероятные трусы.

— Но он идумеянин. К тому же если он и трусит, то пока еще недостаточно,— засмеялась Клеопатра.— Вот если б он пришел сюда сегодняшней ночью, как ты передавала ему, я бы убедилась, что он действительно перепуган и готов ползать передо мною на животе. Но его нет, как видишь, и я не знаю, что подумать...

Хармион злорадно усмехнулась:

— Я бы сказала тебе, Клео, но, пожалуй, удержусь от этого.

— Что такое?

— Не спрашивай меня, госпожа.

— То есть как — не спрашивай? Ты что-то скрываешь от меня? Выкладывай немедленно. Я хочу все знать.

Ирод вновь прильнул к щели между завесями и рассмотрел страстно-нетерпеливое лицо египтянки; когда ей говорят «не спрашивай», она готова едва ли не растерзать собеседника, чтобы докопаться до истины.

— Так и быть, я скажу тебе, Клео, пусть это и навлечет на меня твой гнев. Когда я передала твои слова Ироду, он согласился прийти к тебе после полуночи.

— Согласился?

— Да-да, и даже засиял от радости. Но тут я высветила его трусливое нутро. Я поставила условием, чтобы он пришел один, без охраны. Будто бы так повелела ты...

— Постой, Хармион! — схватила ее за руку Клеопатра.— Так-то ты передаешь мои слова? Что все это значит?

— Ха-ха! — разошлась эфиопка.— Каким постным сделалось выражение его лица! А когда он заикнулся о твоей охране, я сказала, что ты ни за что не уберешь стражников. Видела бы ты, Клео, как он окаменел от страха. Будто ему показали голову Горгоны.

Царица всплеснула руками:

— Ах ты плутовка! Не ты ли говорила мне, что ваш разговор прервали и он ничем не кончился?

— Я слукавила, Клео.

— Ты нарочно отпугнула его! Зачем ты это сделала?

— Но ведь, по твоим словам, госпожа, я стою десятка таких, как он...

— Это вовсе не значит, что ты взяла мое ложе на откуп. При Антонии ты себе такого не позволяла.

— Антоний — другое. Он — твой покровитель. А Ирод — твой слуга. И пусть знает свое место.

Клеопатра не переставала дивиться:

— Ох и змея ты, Хармион! Всего семнадцать лет, а уже отъявленная интриганка. Я и не подозревала...

— Не гневись на меня, госпожа,— жалостливо пробормотала рабыня, покрывая поцелуями царские руки.— Я так люблю тебя... Не хочу покидать тебя ни на секунду! Я безумно ревную тебя ко всем вокруг: к Антонию, к Аммонию, к Алексу, к Хелидону... Разве я не достаточно предана и приятна тебе? Разве сегодняшняя ночь была хуже той, какую мог бы предложить тебе этот обрезанный полуиудей? К тому же я соблюдала твое достоинство и самолюбие перед Иродом.

— Ну и плутовка! — воскликнула Клеопатра, шлепая рабыню пониже спины.— Льстивая плутовка! И ведь знает, что сказать... Тебя бы следовало выдрать, негодница, но сегодня, так и быть, я прощаю тебя. Впредь, впрочем, не позволяй себе никакого самовольства. Иначе рассержусь.

Эфиопка сложила ладони лодочкой у подбородка, будто на молитве, и торжественно произнесла:

— Клянусь тебе, госпожа, ты не найдешь рабыни более послушной и покорной, чем я! Я продам свою душу, заложу тело, вырву из груди сердце, лишь бы угодить тебе!

В ответ Клеопатра ласково потрепала ее по щеке и примирительно поцеловала в пухлые губки:

— Хорошо, хорошо, Хармион. Поправь постель и подай мне гранатового сока.

Ирод еще не уходил; после осушенного кубка царица расслабилась, сладко потянулась на пуховиках и закрыла глаза. Рабыня проворно вскочила к ней на ложе, и они прижались друг к другу, будто родные сестры, но в этом сплетении белой и черной лозы было что-то от содомии.

— Значит,— зевнула египтянка,— ты говоришь, он страшно перепугался, когда ты сказала о стражниках?

— Не сомневайся, Клео. Онемел как рыба.

— Но ведь он все же что-то сказал при этом?

— Сказал, что мечтает припасть к твоим ногам, но так, чтобы этому было как можно меньше свидетелей. Как видишь, на этом его резвость и ограничилась.

Клеопатра улыбнулась в полузабытьи:

— Чтобы завоевать мое ложе, надо быть не Одиссеем, а Ахиллом. Неужели иудеи вырождаются? Все меньше и меньше настоящих мужей. Помню, его отец, старик Антипатр, в первый же вечер полез мне под гиматий. Впрочем, тогда я была почти что девчонка, к тому же жалкая беглянка, с которой и облезлый пес чувствовал себя храбрым львом.

— Ты знала его отца, Клео?

— Ну да! А кто снабдил меня войском против Птолемея и Потина? Я еле спаслась из Александрии, когда меч уже сверкал над моей головой, и Аполлодор и сестра Арсиноя со мной,— на маленьком суденышке в грязных рваных одеждах мы приплыли в Аскалон, и я не знаю, что бы сделалось с нами, не окажись там Антипатра. Идумеянин пустил нас в город, поселил в хорошем доме, кормил и поил как дорогих гостей. Конечно, он преследовал собственную выгоду и даже желал, чтобы в Египте продолжалась междоусобица.

— Он овладел тобою, госпожа?

— Почти сразу же. А что мне оставалось делать? Чем нищей изгнаннице расплачиваться за войско и помощь? Старик давал по пятьсот пехотинцев за одно совокупление и сто всадников за излияние в рот. Через не-

делю у меня было три тысячи бойцов. А у сестры Арсинои — тысяча. Бывали ночи, когда мы вдвоем услаждали степняка.

Царица властно повела рукой:

— Но все это, хвала Исиде, в прошлом. Теперь я явилась в Иудею как госпожа, во всем блеске славы, и могу сама одаривать хоть целыми легионами.

— То-то я заметила в Дамаске,— молвила рабыня,— будто ты колеблешься, ехать ли в Иерусалим. Ты боялась, что сын степняка станет тяжелым напоминанием? Но ты хотела отыграться за прошлое на сыне...

— Слишком хитро для твоих годов, малышка.

— Ты заслужила свое величие, госпожа, потому что многое перенесла в жизни. Сколько тогда тебе было лет?

— Немногим старше тебя, моя милая Хармион.

— А что же Аполлодор? — спросила рабыня.

— Аполлодор? Что Аполлодор? Изысканный собеседник, утонченный любовник, но никудышный воин. Конечно, в Аскалоне он ходил рядом и сокрушался. Что ему оставалось делать? Когда звенят мечи, музы умолкают.

— Ты любила его, Клео?

— Не знаю. Наверное... Его приставили ко мне в тринадцать лет учить риторике. Ученицы всегда влюбляются в своих учителей. А когда вырастают, начинают их ненавидеть. Потому что ненавидят себя прежнюю.

— И тогда ты убила его?

— Кто сказал тебе так, малышка?! Что ты можешь знать о кончине Аполлодора? — Клеопатра оперлась на локоть и уставилась на толстую завесь (Ироду показалось, она глядит прямо на него).— В последнее время он опустился, запил, стал устраивать глупые сцены ревности,— я была тогда с Цезарем,— просился назад, на Сицилию; я отпустила его. За день до отплытия его нашли мертвым в какой-то таверне... Но довольно разговоров, Хармион. Не хочу ни о чем вспоминать. Ты меня расстроила... Клянусь небом, теперь я не смогу заснуть...

Эфиопка снова припала к царице, осыпая поцелуями ее плечи и грудь, бормоча страстно и соблазнительно:

— Это от недополученного, Клео. Видно, и вправду я никудышная наложница и не могу тебя насытить, как если б была мужчиной. Тебе требуется пять — десять

соитий за ночь, чтобы ты напиталась сполна. Хочешь, я приведу Ахенота?

— Это вроде как вместо Ирода? — слабо попыталась отбиться египтянка.

— Привести? — повторила рабыня настойчивей, ласкаясь к царице всем телом.— Вдвоем мы неодолимы и вмиг избавим тебя от бессонницы.

— А к нему ты меня не возревнуешь?

— Разве можно ревновать тебя к коню, на котором ты скачешь, к одежде, в которую ты одеваешься, к кубку, из которого ты пьешь? Разве ревнуют к вещам?

— Ну, раз так, тогда что же... Приведи. Надеюсь, хоть после этого у меня не останется сил с тобою спорить.

«Кто такой этот Ахенот?» — недоумевал Ирод за завесью; любопытство настолько побороло его, что он решился раздвинуть материю пошире, но лишь бросил взгляд в опочивальню, тотчас отшатнулся, будто от летящего ядра.

Хармион держала за руку того самого телохранителя-эфиопа, которого Клеопатра представляла царю как своего палача. Золотое кольцо, вдетое в ноздри великана, содрогалось при каждом выдохе, глаза вращались как огненные колеса, при виде обнаженной госпожи из груди вырывалось звериное рычание, а набедренная повязка устрашающе топорщилась.

Верткая рабыня-сводница еще что-то верещала гиганту на непонятном языке, но Ирод уже задернул завесь и поспешно, почти что бегом, метнулся назад, в потайную дверь, нажал на крюк и помчался по ходу в кромешной тьме, желая лишь одного: оказаться подальше от ужасной опочивальни.

Вслед ему, пробивая завеси и стены, пронесся сдавленный предсмертный вопль египетской царицы, словно бы насквозь пронзенной отточенным копьем.

И, уже выбежав из лаза в свою Зею, Ирод захлопнул дверь, отдышался и смахнул со лба пот:

— «Сказал Господь Моисею, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им: По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте»[1].

Ирод узнал о сожительстве своего отца с египтянкой сразу же, как только вернулся в Аскалон осенью то-

[1] Лев. 18 : 1—3.

го же года. Отец со старшими сыновьями уже отправился в Египет, навстречу Цезарю, и Ирода встретила печальная, рано поседевшая мать:

— Ох, сынок, почему ты задержался? Отчего не приехал раньше? Ты вообразить не можешь, что здесь творилось...

— Что-то с отцом?

— Со всеми нами, сынок, со всеми нами...

— Я слышал, мама. Отец помогал беглой египтянке.

— Ох, если б только... Совсем ополоумел старик, на восьмой седмице лишился разума. В городе смех стоит: окрасился как индийская кукла, бороду сбрил,— сколько позора! — и все ради этой вертлявой блудницы. Мне: «Изыди», а от нее ни на шаг, точно привязанный. Верно толкуют, что колдунья; не иначе зельем каким охмурила... Едва убралась она, так он сам вслед за ней рванулся в Египет, в самое что ни на есть пекло. Пропали мы, сынок, вконец пропали...

— Ну, а что Фасаэль?

— Фасаэль, сынок, туда же,— второй отец вылитый. Тот очертя голову за старшей ведьмой, а этот за младшей сестрой погнался,— такая же, знать, Мнесарета[1]*. Иосифа, отраду мою, и того за собой уволокли... Один ты у меня, Ирод, остался, надежда и опора; Саломея и Ферор малы, не разумеют; к кому мне, старой, прибегнуть, кроме тебя?*

— Не горюй и не терзай себя, мама. Я убью эту гиену! Да нет, Цезарь раньше меня это сделает. Цезарь не простит ей дружбы с Помпеем. Плаха египтянке обеспечена. Ведь ты слышала: Цезарь уже в Александрии...

(Ирод и его мать Кипра; Аскалон, за двенадцать лет до описываемых событий.)

ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ

Он сказал: «Измените для нее трон; посмотрим, найдет ли она прямой путь или будет из тех, кто не идет прямым путем».

Коран. 27 : 41

В следующий день пополудни Ирод с Клеопатрой сидели в первом ряду ликующих зрителей, ожидая на-

[1] Мнесарета, по прозвищу Фрина — «жаба», знаменитая в прошлом афинская гетера.

чала состязания бойцов, устраиваемого в честь египетской гостьи. Пурпурный балдахин развевался над ними, заслоняя от солнца, нещадно поливавшего южный склон горы Скопус. Вокруг в полном вооружении застыла идумейская и египетская стража.

— Воздух у вас все-таки невыносимый,— вздыхала Клеопатра, капризно поджав губы.— Я это еще вчера ощутила. Душно, как в Ливийской пустыне.

— Мы окружены горами, моя царица,— разводил руками Ирод.— Это у вас в Александрии свежее дыхание моря, а здесь вокруг горы и нет простора ветрам.

— Вот-вот. И жара несносная. Раскаленные камни жгут мне ноги даже сквозь сандалии.

Ирод дал знак опахальщикам работать проворнее.

— Много мух,— продолжала царица, подумав.— И все какие-то крупные, назойливые, я таких нигде не видела. Скоро ли начнутся бои?

— Еще немного,— отозвался царь, являя собой саму любезность.— Бойцы уже готовы и сейчас завершают молебен. Ты не пожалеешь, царица; на их искусство стоит посмотреть.

Клеопатра устало откинулась на спинку кресла и закрыла глаза:

— Они даже ночью не дают мне покоя и вконец извели меня, эти мухи. В опочивальне нет даже сеток на окнах. Одни боги знают, как я перенесла эту ночь...

Ирод смерил ее косым взглядом и только кашлянул в кулак, дабы что-либо не сказать ненароком.

Египтянку вознесли на гору в паланкине. Ирод хотел было ехать в сопровождении жены и сестры, но в пути между женщинами разразилась очередная перебранка из-за старшинства,— кому быть с левой, а кому с правой стороны от царя,— идумеянин отправил их обеих назад, после чего нагнал Клеопатру верхом на коне.

В Иерусалиме имелся когда-то гимнасий, построенный первосвященником Ясоном в подражание грекам, но победившие Маккавеи разрушили его и прокляли место, где он стоял. Ирод снова ввел в обычай состязание атлетов, но за неимением палестры устраивал их в круглой ложбине у подножия Скопуса, а на склоне горы устанавливались скамьи и лавки для зрителей. Ревнители исконно иудейской веры ненавидели подобные забавы, презрительно именуя их эллинским прельщением, но простой люд не был так набожен и охотно ходил на зрелища.

Из пестрой толпы зрителей, заполнивших склон, можно было выделить стайку голосистых детей, оживленно спорящих о чем-то с длиннобородым степенным наставником. Это был ритор Поллион со своими учениками, отпрысками богатых иерусалимских семей. Отроки беспрестанно теребили учителя за край плаща, и он не спеша разъяснял:

— Сейчас самый могущественный из царей кто? Фраат Парфянский.

— А римлянин Антоний? — удивлялись ученики.

— Не перебивайте. Разве Антоний царь? Я же говорю вам о царях. Так вот, Фраат носит титул «царь царей», и, кроме него, ни у кого нет такого звания. Второй по мощи и славе считается царица Египта.

— Клеопатра? Вот эта?

— Не тыкайте пальцем, невежи! Да, сейчас она вторая из всех царей, после Фраата. Но она мечтает стать первой. Вот римляне завоюют Парфию, и тогда титул «царица царей» перейдет к Клеопатре. Так же, как когда-то он на некоторое время переходил к Тиграну Армянскому.

— Учитель, а почему в Египте правит женщина? — любопытствовали чада.— Разве у них нет царей?

— Вспомните историю, дети мои: было время, и в Иерусалиме правила царица Саломея. У нее умер супруг-царь, и она держала бразды правления, пока не подросли ее сыновья. То же и с Клеопатрой. Ее старший сын, ваш сверстник, еще очень юн, чтобы управлять такой большой страной, как Египет.

— А на каком месте стоит наш царь? — не унимались дотошные ученики.

Учитель хмыкнул и уклончиво процедил:

— На том месте, которое назначил ему Господь Саваоф.

— Он может стать «царем царей»?

— Перестаньте кривляться и прекратите глупые разговоры. Если будете задавать лишние вопросы, вместо состязаний отправитесь штудировать речи Исократа.

Мальчики мигом затихли.

— Сколько можно молиться? — обронила Клеопатра, расслабленно потягиваясь в кресле.— Ты бы поторопил их, мой друг. Или они справляют там мистерии Осириса и Исиды?

— Не беспокойся, царица,— кивнул Ирод.— Бои начнутся ровно в полдень, так, как это у нас заведено.

— Побыстрей бы уж. Иначе, клянусь небом, первой отсюда вынесут меня.

— В любом случае, царица, первенство за тобой.

Египтянка повернулась к царю всем телом и спросила безо всякого перехода:

— И чем только ты красишь свои волосы? Шафраном или суриком?

— Ничем не крашу. Это природный цвет.

— Да?! Ни за что бы не подумала. Цвет нечеловеческий, и запах такой, будто из хранилища Трофония. Тебе следует основательно заняться своей внешностью. В таком виде ходили дикие ахейцы во времена Гомера. Хочешь, я пришлю тебе искусных цирюльников?

— Благодарю, царица, мне довольно своих.

— Я бы высекла их всех розгами и заковала в цепи, поскольку они ни крупицы не смыслят в своем ремесле. Можно подумать, они только и делают, что вредят твоей внешности. Обещай, однако, повесить своего главного цирюльника и принять того, кого я тебе пришлю.

— Не стоит беспокойства,— отвечал невозмутимый идумеянин.— Мой цирюльник с прошлой недели сидит в темнице. Правда, по другому случаю.

— Ну так удави его поскорее,— проворчала Клеопатра, окончательно потеряв надежду вывести царя из себя.

В пятом ряду скамеек, прямо над головами царственной четы примостились Эфибелий и Ионаф, молодые члены синедриона, из тех, что вошли в него при царе Антигоне. Один из них был весел и словоохотлив, другой зол и мрачен, как моавитский идол.

— Видишь, Ионаф, какие настали времена: раньше наши предки спасались от египетских царей, а ныне они сами приезжают к нам в гости.

— Раньше, друг мой, наши славные цари брали египтянок в наложницы и ... их в три отверстия, а нынешние горе-басилеи сами спешат облизать им промежность.

— Тише ты, Ионаф! Не забывай, что вокруг нас уши. И зря ты горячишься. Посмотри на царицу: она довольно молода и свежа лицом, изысканна и умеет держаться на людях. Я много слышал о прелестях Клеопатры, и, признаюсь, она не обманула моих ожиданий.

— Уличная шлюха, почем ей платили в Риме?! — прошипел собеседник, злобно озирая спины царей.— О чем они там шепчутся?

— Надо думать, обсуждают государственные дела.

— Да-да, сговариваются, какой еще обчистить храм и какого еще идола навязать на наши души. Вот увидишь, она добьется, чтоб Ирод втащил в Дом Господень статую рогатой Исиды. Или какую иную египетскую мерзость. И будешь ты молиться либо быку, либо шакалу, либо крокодилу.

— А по-моему, они просто веселятся и ни о чем таком не помышляют. Смотри, как улыбаются друг другу. Как брат и сестра.

— Как разбойники, поделившие добычу.

— Во всем ты видишь черное, Ионаф.

— А ты, Эфибелий, слишком легок на память. Или забыл, как идумеянин расправлялся с нашими братьями по вере? Сколько достойных сынов иудейских погибло от его рук? Они оба, дочь флейтиста и сын коновала, продались с потрохами римлянам и за это получили взамен по венцу. Отчего же теперь им не веселиться? Ведь это явная удача!

— Прошу тебя, друг, тише! — испугался Эфибелий, закрывая приятелю рот.— Иначе нас здесь же забьют в колодки, а мне завтра надобно ехать в Антиохию, и я уже нанял носильщиков, заплатив им по пятьдесят драхм.

Тем временем на арену, если можно назвать так ложбину у подножия горы, выступила первая пара бойцов: тяжеловооруженный сириец, имитирующий римского секутора[1], и кочевник-араб, оснащенный по обычаю его племени копьем и запасным коротким кинжалом. Зрители встретили соперников дружными рукоплесканиями, но на египтянку, бывшую свидетельницей массовых побоищ, устраиваемых некогда Цезарем, иерусалимское подражание произвело весьма малое впечатление.

Пока противники сходились и наносили друг другу первые удары, она не переставала допытываться у царя:

— Приметила я, в семье твоей большие нелады. Красавица жена и ревнивая сестрица не могут поделить твою любовь? Что случилось сегодня между ними, пока мы поднимались в гору?

Ирод пожевал губу и нехотя проворчал:

— Они почувствовали себя дурно...

— Обе сразу?

---

[1] Секутор (*греч.*) — «преследователь» — гладиатор в тяжелом вооружении.

— ...и решили вернуться во дворец.

— Может быть, я тут в чем-то виновата?

— О нет, царица, ты совершенно ни при чем.

— А жаль. Сей давнишней, недужной и, видимо, достаточно надоевшей им обеим склоке явно не хватает свежей струи. Новое лицо могло бы переменить все роли, и те, кто до сей поры яростно сражался друг с другом, оказались бы в одной упряжке.

— Твое призвание, царица,— молвил Ирод с ехидцей,— мирить противников и сопрягать неприятелей.

— В то время как призвание других,— тут же ввернула Клеопатра,— сеять вокруг себя ссоры и разводить лучших друзей.

Ирод молча принял очередной укол. Он уже приготовил свой ответный удар, рассчитанный до мельчайших деталей, но предпочел до поры до времени отсидеться в укрытии, чтобы выпад оказался столь же внезапен, сколь неотразим.

Громкие крики на горе заглушили царский разговор. Араб оставил свое копье вонзенным в плетеный сирийский щит; противник отбросил ненужную защиту и выхватил обоюдоострый меч. Схватка подступала к решающей черте. Холодное возбуждение бойцов передавалось зрителям.

Только тут Клеопатра заметно оживилась: лицо ее порозовело, азартные искорки заиграли в глазах; царица ловила каждый прием соперников, отпуская замечания с полным знанием дела:

— Несомненно, он поразит его в правое плечо! Сирийцы хороши в ближнем бою. Кочевнику ничего не остается как удирать и попытаться вернуть копье. Сейчас ты увидишь, как он замечется...

Но араб проявил недюжинную ловкость и сам приступил к атаке, наседая на тяжелого, малоподвижного противника.

— Вот он и попался! — воскликнула египтянка.— Давай, сириец, хвати его мечом! Нападай! Ну же! У него открыто плечо!

Зрители на горе разделились на две части: одни криками поддерживали сына лесистых холмов, другие — кочевника. Ирод мысленно принял сторону араба (его мать была из этого племени), но благоразумно воздерживался от замечаний и возгласов.

Зато египетская гостья разошлась от души; казалось, она сама участвует в схватке. И когда, наконец, сири-

ец повалил противника наземь, она даже подскочила в кресле:

— Добей его без пощады! Режь! Коли! Чего же ты медлишь, осел? Прикончи его! Разорви на части!

Вопреки ее воплям и завываниям победитель удовольствовался падением неприятеля и, ликующе подняв оружие, вышел с арены под рукоплескание зрителей. За ним, ковыляя, поспешил побитый араб.

— Почему он не добил его? — обескураженно повернулась Клеопатра к Ироду.

— Это состязание бойцов, а не гладиаторские бои,— объяснил царь.— У нас не доводят дело до смертоубийства. Победитель тот, кто поверг врага либо обезоружил его.

Объяснение такое крайне расстроило египтянку. Она разочарованно откинулась в кресле и презрительно махнула рукой:

— Хлюпики твои бойцы, желторотые сосунки, клянусь Гором! На что им оружие? Один мой Ахенот заткнет за пояс десяток таких гимнастов. Гони их прочь с моих глаз!

И второй и третий поединки Клеопатра наблюдала с отчуждением, не выказывая недовольства только из приличия: бои все-таки устраивались в ее честь. Ирод тем временем деловито раздавал награды победителям, поощрял храбрецов, отличившихся в схватках, и, казалось, вовсе не замечал расстройства высокой гостьи.

После третьего боя наступил короткий перерыв, который, как это повелось и в Риме, и в Александрии, заполняли пантомимы, веселя и развлекая зрителей. На арену выбежали двое артистов греческого происхождения; оба в театральных масках, изображавших, по всей видимости, персонажей какой-то аттической драмы. Клеопатре показалось вначале, что это пародия на «Данаю» Софокла, где повествуется о прибытии аргосской царицы к царю Полидекту. В самом деле, один пантомим был задрапирован под басилея, а другой, меньше ростом, разоделся в пестрый химатион и натянул длинную юбку до пят, будто бы женщина.

Иудейская публика на горе истолковала сей сюжет по-своему.

— Соломон и царица Савская,— зашушукались в верхних рядах, украдкой кивая на сидящих в первом ряду царей.

— Ну, это уже слишком! — насупился Ирод.— Комедианты добрались до священного предания. Не для того

их допустили сюда, чтобы передразнивать древних царей. Позволь, царица, я прерву возмутительное зрелище.

— Отчего же, мой друг? — снисходительно молвила египтянка.— Искусство мимов — тоже искусство. Очень любопытно посмотреть, как шуты изображают вашего Соломона и его царственную гостью. Очевидно, это как-то связано с моим приездом.

— Лучше все-таки остановить их, царица...

— Нет-нет, пусть порезвятся и потешат нас.

В Клеопатре вновь пробудился интерес к происходящему на арене. Ирод покосился на соседку, пожал плечами и приумолк.

Стародавняя легенда о гостье Соломона не сходила с уст иерусалимлян со дня приезда Клеопатры, и только самый отсталый селянин не уловил бы в пародии мимистов откровенной параллели с нынешними событиями. Комедианты знали, что они делают, и необыкновенная дерзость их приводила зрителей в восхищение. Все ряды затаили дыхание, ни на секунду не отрываясь от арены.

«Савская царица» с павлиньей важностью вышагивала навстречу «сыну Давида», покачиваясь, словно флагманская триера, в то время как последний пританцовывал возле медного треножника, символизирующего, надо думать, царский престол, и аккомпанировал самому себе на кифаре. «Гостья» жестами объясняла, какие дары она привезла из своей далекой страны, а «хозяин» так же бесплотно принимал их в свое мнимое хранилище. Фривольность телодвижений пантомимов сообщала сценке немалую комичность.

— Похоже, она осыпает его подарками,— развеселилась Клеопатра.— У нас было несколько иначе...

— Но ведь то Соломон,— вздохнул украдкой идумеянин.

В какой-то момент мимист, изображающий царя, заметался по кругу, делая руками волнистые движения; публика тотчас отгадала:

— Это вода! Наполненный водою бассейн. Сейчас она ступит и поднимет платье...

Сценка, похоже, приближалась к кульминации. Мимы вдохновлялись преданием о вечно закутанных ногах царицы Савской, которые при помощи хитрости довелось увидеть лишь Соломону. «Гостья» вновь двинулась навстречу «царю», но на сей раз путь преградил воображаемый бассейн. Играющий царицу пантомим всплес-

нул руками, будто бы очутился в воде, и от испуга высоко, до пояса, задрал свою юбку. Вместо ожидаемых женских прелестей в глаза зрителям ударил непроглядный мрак: ноги «царицы» и все ниже пояса покрывала густая черная краска, блиставшая тем чернее, чем гуще было набелено лицо. Сей разительный контраст поверг публику в недоумение. Казалось, сам мим, опомнившись, устыдился подобного двуцветия, поспешно опустил юбку, но слишком поздно, чтобы продолжать как ни в чем не бывало разыгрывать из себя величавую басилиссу. Мало того, дабы ни у кого не оставалось сомнений в увиденном, из-под царской юбки, уж бог весть каким фокусом, выскочили два карлика в неимоверно огромных грубых масках: одна изображала мужчину-эфиопа, другая — женщину.

Склон горы взорвался раскатистым смехом. Можно подумать, хохотал весь Иерусалим, от сверкающих дворцов до самых грязных закоулков. Смех заглушало брянанье железа: идумеяне с силой ударяли мечами о щиты, как это делается обычно для устрашения врага.

Надо было видеть лицо Клеопатры, чтобы по достоинству оценить шутовство мимов. Сначала оно потемнело и сжалось, точно в него плеснули уксусом, затем зловещая молния полыхнула в зеленых глазах; египтянка рывком соскочила с кресел, вне себя от ярости, бросила на Ирода испепеляющий взгляд и, не говоря ни слова, направилась — лучше сказать, помчалась — вон из зрительских рядов к своему паланкину.

На склоне горы еще никто толком ничего не разобрал, как египетские октафоры[1], а следом вся царская стража обиженным клубком скатились со Скопуса и исчезли в Рыбных воротах.

Ирод, пожалуй единственный, кто знал подоплеку поспешного бегства царицы, не шелохнулся на своем возвышении, продолжая следить за ходом состязаний, и только удовлетворенная ухмылка несколько минут не сходила с его уст.

МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН — ТИТУ ПОМПОНИЮ АТТИКУ (13 июня 44 года до н. э., за восемь лет до описываемых событий; отрывок из письма):

«Царицу я ненавижу; что я по праву так поступаю, знает Аммоний, поручитель за ее обещания, которые

[1] Октафоры — носильщики паланкина.

имели отношение к науке и соответствовали моему достоинству, так что я осмелился бы сказать о них даже на комициях. О Саре я узнал, помимо того что он негодный человек, что он, сверх того, еще заносчив по отношению ко мне: всего один раз видел я его у себя в доме; на мой любезный вопрос, что ему нужно, он сказал, что ищет Аттика. О гордости же самой царицы, когда она находилась в садах за Тибром, не могу вспомнить без сильной скорби. Итак, с ними — ничего; они полагают, что у меня нет не то что присутствия духа, но даже гнева...»

— Да как он смел, сын праха, порочить меня при всех?! Подлый, гадкий, мерзкий идумеянин! Антоний поднял его из грязи. Мы облекли его властью, отдали ему целую страну, и вот она — иудейская благодарность! На кого, на кого он поднял руку?! Над кем решил посмеяться?! Не говори, не говори мне, Аммоний, что он тут ни при чем, что это все на совести безымянных мимов. Кто этому поверит? Ты этому поверишь? Хармион этому поверит? Последний раб поверит? Все это подстроено! Слишком очевидно! Порази меня гром, если он не прятался где-то здесь, за завесью опочивальни, и не оттачивал слух... О боги! У меня такое чувство, будто его грязные лапы и сейчас шарят под моей одеждой! О, как омерзительно! О, как противно!

Клеопатра схватила со столика хрустальную чашу и с силой запустила ее в закрытую дверь, от чего чаша разлетелась вдребезги.

— Вот так я уничтожу его! Как жаль, что мы не в Сирии и поблизости нет большого войска! Я бы спалила его вместе со всем дворцом! Я бы разрушила весь Иерусалим! Где мой верный Хелидон? Где мой флот?

— Успокойся, царица, успокойся,— суетился вокруг госпожи смущенный секретарь, пытаясь унять истерическую вспышку.

— Никто,— ты слышишь, Аммоний? — никто не позволял себе такого со мной! Никогда, никогда я не терпела даже тени неуважения, даже признака насмешки. Гнусный дикарь, он еще не подозревает, с кем вступил в схватку, с кем дерзнул скрестить оружие! И не такие спесивцы валялись у меня в ногах. О, я напомню ему голову Антиоха Коммагенского! Я напомню плаху предателя Лисания! Я укажу рабу на его место!

Секретарь подал царице наполненный кубок, но она оттолкнула напиток и закатила глаза к небу:

— Подумать только, еще вчера я находила его привлекательным. Какой ужасный оборотень! Какая отвратительная физиономия! Не буду я царицей, не буду достойной славы моих предков, если не отомщу за оскорбление, не накажу наглеца, да так, что он будет стонать и ползать по горло в крови, сокрушаясь о своей судьбе!

Тут в комнату вошел один из египетских стражников:

— Посыльный от Ирода, госпожа.

— Что?! — перекосилась Клеопатра, сжимая кулаки.— Я разорву его на части!

— Посланца-то? — переспросил Аммоний, укоризненно качая головой.

Царица брезгливо фыркнула:

— Впускайте посыльного; Харон содрогнется от ужаса, узрев его в своей лодке!

Гонцом Ирода был бравый молодой идумеянин.

— Говори, храбрый воин, мы слушаем тебя,— обратилась к нему Клеопатра с чрезвычайной ласковостью в голосе, превзойти какую могла разве что сладкозвучная сирена.

— Мой царь прислал спросить, не нуждается ли царица во врачебной помощи? Он готов прислать лучших лекарей.

— Ответь своему господину,— расплылась в улыбке египтянка,— что я благодарна за заботу обо мне. Непременно поблагодари его, слышишь?! Я тронута его дружеским участием, достойным благородного и великодушного человека.

— Царь наказал спросить, остается ли в силе прежний уговор отобедать с ним в крепости Барис?

— Конечно в силе! Разве могут быть сомнения? Не стоит обращать внимание на случившееся. Это только минутная женская слабость. Я, наверно, не совсем оправилась после родов, но сейчас все прошло, и в назначенный срок я буду там, где ожидает твой государь. Передай ему мою искреннюю признательность.

— Чтоб он сдох, пес гирканский,— добавила Клеопатра, едва посыльный вышел за дверь.— Клянусь всеми богами, я покажу ему, как шпионить у моего ложа! Никому ни слова, Аммоний! С этого часа пошел отсчет последних дней его царствования.

Она повела по сторонам свинцовым взглядом и мрачно заключила:

— И может быть, жизни...

Вторую половину дня Ирод пребывал в приподнятом настроении, много шутил, охотно развлекался и не скрывал благодушия. Когда ему доложили, что египтянка прибудет на обед в условленное время, он потускнел челом, сник, насупился и до самой ночи оставался ворчлив и раздражителен.

КОММОС

Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.

Матф. 12,42; Лук. 11, 31

ИМПЕРАТОРУ МАРКУ АНТОНИЮ в Мидию от Клеопатры из Иерусалима (отрывок из письма):

«И еще, душа моя. Вот что я нашла в Иерусалиме, городе, столь же надменном, сколь и вероломном, давно и упорно противостоящем римскому содружеству и праведной власти. Жестокий урок, преподанный ему Помпеем Великим, не пошел впрок: парфянская зараза здесь по-прежнему крепка, ядовитые семена прорастают, а главный сеятель — тот, кто имеет дерзость именоваться нашим другом и союзником. Надо быть слепцом, чтобы тотчас же не увидеть этого. Я имею на его счет, то есть Ирода-этнарха, веские подозрения о его тайной связи с Монесом, известным между нами перебежчиком и зачинщиком всяких смут, а через него, вне сомнений, с самим Фраатом.

Мы уже видели, как Ирод всячески уклонялся от парфянского похода, ссылаясь на ничтожные причины,— всякие там празднования седмиц и сомнительные эдикты Долабеллы,— в то время когда все цари честно присоединились к тебе, а из всего продовольствия, поставленного им, половина протухла и испортилась еще в Киррестике. Простая ли это случайность? Небрежение? Теперь я убеждаюсь: нет, несомненно, здесь простерлась рука Монеса, всучившая золото Фраата.

Предательство в крови иудеев; уста их беспрестанно изливают елей, а в сердце — вражда. Ирод опередил в этом даже Лисания Халкидского. Однако Лисания судили судом и отсекли голову, а заносчивому идумеянину все сходит с рук. Долго ли мы будем сносить его

козни, душа моя? Ты благородный человек, Марк, великодушен и слишком доверчив к хитрым льстецам. Они же плетут для тебя сети. Где твоя могучая длань, сокрушившая стольких врагов в Риме? Где твой суровый справедливый суд? Отсюда взываю к тебе, печась о твоем благе и желая видеть своего прекрасного Диониса подлинным господином Запада и Востока».

Это письмо не дошло до адресата. В Адиабене оно было перехвачено парфянами, хранилось у царя Фраата и спустя много лет передано Цезарю Августу в числе других римских трофеев.

ЗАПИСКА, ПЕРЕДАННАЯ ХЕЛИДОНУ

«Настоящим приказываем, нисколько не медля, двигаться со всем войском к Аскалону. Ливийскую конницу отправить по дороге через Сихем, а две когорты, которые дал Ямвлих, задержать в Скифополе вплоть до особых на то распоряжений. В ближайшие дни мы намерены выступить отсюда в Аскалон, а затем в Пелусий, нигде не задерживаясь и не делая стоянок. Записал Диомед. В год шестнадцатый Клеопатры Филопаторы Новой Исиды. Двадцать первый день месяца эпаф».

Далее рукой Клеопатры:

«Хелидон, мальчик мой, умоляю, будь трижды осторожен с иудеями, не заводи себе среди них друзей и, ради неба, не допускай до себя никого, кто бы прибыл к тебе от Ирода, будь то сам первосвященник. Ирод злоумышляет против нас. Я в величайшей опасности, и такая же угроза нависла над всеми, кто приехал со мною в Иерусалим. Только твое войско внушает ужас тирану, и он не решается напасть на нас. Заклинаю тебя всеми богами, обереги верных нам воинов, исполни все, что я тебе написала, и тогда, по милости небес, мы сможем обняться в Аскалоне, возблагодарив судьбу за счастливое спасение от варваров. Еще раз умоляю, исполни все так, как я написала. Будь здоров».

ХЕЛИДОН, 29 лет, великан-атлет, родом из Вифинии. Служил в войске Фарнака Понтийского, был взят римлянами в плен в битве при Зеле (47 г.), обращен в рабство и продан в школу гладиаторов в Риме. На арене отличился необыкновенной храбростью и выносливостью, за что был выкуплен Клеопатрой в начале 44 года и включен в число ее телохранителей. С лета 44 года начальник дворцовой стражи; за усмирение волнений

в Александрии, вызванных смертью брата-соправителя Клеопатры, Птолемея XIV, назначен хилиархом конницы и верховным жрецом культа Новой Исиды, т. е. Клеопатры. В 41 году, во время первого романа Клеопатры с Антонием, брошен в тюрьму по обвинению в покушении на жизнь царицы. Вскоре выпущен на свободу и восстановлен на всех постах. В 36 году — главнокомандующий египетским войском.

ХЕЛИДОН — АФЕНИОНУ (в дороге между Сихемом и Антипатридой):

«Хелидон приветствует Афениона. Напиши скорее, куда запропастились фуражиры Селевка и где плутают люди Хериэта? Наша Мирина[1] потребовала присутствия этих когорт, и я не знаю, что ответить. Если Селевк еще в Сепфорисе, я отрежу ему голову. Сейчас же выступать в Сихем, так и передай! Пусть бросит своих ослов и всю поклажу; все равно у него отнимут. Он думает, если мы выросли в одном доме, ему позволено все.

Клео прислала записку, повергшую меня в смятение. Пишет, что угодила в лапы Ироду и проливает многие слезы. Я хотел было немедленно атаковать Иерусалим (хоть ты и знаешь, сколько у меня мечей), если бы не приписка друга Аммония, несколько успокоившая меня. Узнав от гонца подробнее, что происходит с царицей, я снялся с лагеря и ныне марширую к морю. Таково было ее предписание.

Еще раз прошу, найди Селевка и всыпь ему палок. Если его не прикончат сами селяне, он угодит у меня на кол. Сделай что-нибудь. Будь здоров.

Надеюсь, ты сохранишь между нами все, что касается Ирода и иерусалимлян.

Записал Унаммон».

ХЕЛИДОН — АПОЛЛОДОРУ, начальнику египетского флота, в Птолемаиду:

«Хелидон приветствует Аполлодора, [а также] Антигона, Филиппа, Птолемея, Феона, Гипперея, Гефестиона, Мелхия, Меланиппа, Месорея, Панехота, Александра Киринейского, Кефалиона, Абота, Соту, Серапиона, Аполлония, Аристона, Пахомия, Гегесия, Гелена, Селев-

---

[1] Мирина — мифическая предводительница амазонок; в данном случае имеется в виду Клеопатра.

ка, Андромена, Диона, Александра Кипрейского, Патрона, Эпикрата, Хераммона, наварха и начальников кораблей.

Препровождаю вам приказ нашей повелительницы, царицы Клеопатры Филопаторы, полученный из Иерусалима. Снимайтесь с якорей и плывите в гавань Аскалона. Если аскалонцы воспротивятся вам, атакуйте их. Я иду в Аскалон из Сихема, царица — из Иерусалима. Да хранит вас небо и божественного младенца, который с вами.

Записал Унаммон. В год шестнадцатый [Клеопатры]. Месяц эпаф».

КЛЕОПАТРА — ЦАРИЦЕ АБЕ, в Киликию Трахеотиду (послано из Иерусалима или из Аскалона):

«Царица Клеопатра шлет привет своей сестре, царице Абе, дочери Зенофана. Ты, конечно, простишь меня за задержку с ответом; виной тому исключительные обстоятельства, в которых я очутилась. Поверь, сестра, ныне мне небезопасно выражаться откровенно даже в письмах. «О Пенелопа, еще не конец испытаниям нашим» [1].

Я уже писала тебе из Апамеи, что направляюсь к Ироду Иудейскому. Ты не поверишь, как теперь я раскаиваюсь в своем решении! Дело даже не в чесночном языке [2] и войлочном духе, как ты любишь говорить, имея в виду варварский быт. Я вполне с этим свыклась, общаясь с мужланами, подобными Ямвлиху и Алхавдонию, от которых за десять стадий разит шкурами и коноплей.

Непрерывное умаление достоинства, насмешки вместо почестей, ехидство вместо дружбы — вот с чем я столкнулась, переступив порог спесивого идумеянина. Тщету подрезанного фаллоса он с успехом заменяет твердокаменностью лба и извержением пошлых выходок. При случае я расскажу тебе, что он себе позволяет. О, знала бы ты, какими сладчайшими письмами он завлекал меня в дороге; теперь сполна обнаружил себя! Но, хвала Осирису, у меня есть верные средства, и мне кажется, я найду, чем осадить зарвавшегося наглеца.

Ты спрашиваешь о новорожденном Птолемее. Мальчик — сущий Антоний, даже по весу. Он столь трудно

[1] *Гомер.* Одиссея. 23, 248.

[2] Греки и римляне испытывали отвращение к чесноку, который широко употреблялся в пищу на Востоке.

мне дался, что, кажется, сделался самым драгоценным; право, даже с двойней — Селеной и Гелиосом — было много легче. Я отправила его морем, и он окружен заботами сидонян и тирян. Если у тебя появится дочь, чего я теперь особенно желаю, ты имей в виду, я не соблазнюсь ничем иным, кроме как вашим жреческим потомством [1].

Передавай мой привет Тевкру, твоим близким, нашей очаровательной Клеобуле, крошке Лаодике, ученейшему Мнесагору и всем-всем. Моей частью [Киликии] управляй как и прежде, но иудейских торговцев, прошу, не допускай даже к себе. Подумай, не выпустить ли какой-нибудь указ. Тут можно поучиться и у Селевкидов.

Посылаю тебе с гонцом немного иерихонской грязи,— поистине незаменимое [лечебное] средство. Начиная с Антиохии меня мучила [послеродовая] течь, и, поверишь, после двух-трех натираний и погружения в каллиройские ключи кровотечения как не бывало! Знатоки уверяют, грязь эта спасает почти ото всех недугов.

Итак, будь здорова, милочка; ты знаешь, как я люблю тебя».

В 36 году старой эры войска Чэнь Тана, одного из помощников наместника Западного края великой империи Хань, выступили из лагеря под Куча в далекий поход против гуннов, усиление которых в Средней Азии подрывало могущество Поднебесной. Чэнь Тан поднял войска самовольно, не спросясь у властей и подделав императорский указ о мобилизации. Сын Неба был извещен о походе, когда армия Чэнь Тана уже находилась в пути.

В середине лета сорокатысячное войско, перевалив через снежные вершины Тянь-Шаня, спустилось в долину реки Таласс и двинулось по узкому саю, поросшему джингилем и багульником, пока не достигло скопища серых войлочных шатров, обнесенных частоколом. То была ставка гуннского шаньюя [2] Чжичжи. Произошло решительное сражение, в котором степняки были наголову разбиты. Блестящая победа спасла Чэнь Тана от

---

[1] Аба была дочерью тирана Зенофана, подчинившего Трахеотиду и выдавшего дочь замуж за Тевкра, верховного жреца храма Зевса в Ольбе, считавшегося номинальным правителем страны. После смерти отца Аба сосредоточила власть в своих руках. По настоянию Клеопатры Антоний провозгласил ее царицей.

[2] Шаньюй — вождь племени.

гнева императора; однако по настоянию двора он вынужден был оставить теплую долину и увести своих наемников обратно.

В это время западнее, через четыре большие реки, в гористой Атропатене[1], легионы Марка Антония, терпя невиданный урон, второй месяц кряду безуспешно осаждали Фрааспу, где заперся непокорный царь Артавазд. Уже спешил ему на выручку Фраат Парфянский с бесчисленной пехотой и закованными в броню всадниками-катафрактариями; уже пало десять тысяч римлян, застигнутых врасплох, и попал в плен царь Полемон. Уже ясно видел римский триумвир бесплодность и губительность войны, но еще не снимал осады Фраасны, упорно, отчаянно и даже обреченно бросая все новых солдат на городские стены, заваливая крепостной ров грудами тел своих и союзных воинов. «Мы уйдем отсюда не раньше, чем покончим хотя бы с одним из этих ублюдков»,— упрямо твердил Антоний, сам не веря в свои угрозы, сознавая свое бессилие в этом сумрачном азиатском краю и догадываясь, что уходить придется скоро, поспешно и бесславно.

Не лучше обстояли римские дела и на Сицилии. В те же самые дни флот молодого Цезаря причалил к острову близ Тавромения; одновременно легионы Агриппы высадились на северном побережье. Победа над мятежным Секстом Помпеем казалась скорой и неизбежной. Но обложенный охотниками гепард показал вдруг острые клыки. Совершенно неожиданно конница помпеянцев атаковала лагерь Цезаря и произвела в нем великое смятение. Вдобавок пиратский флот Секста напал на римские суда, стоявшие в бухте Тавромения, и сжег большинство из них. Молодой правитель Рима скрыл от сената свою неудачу; в столице не знали, что война с Секстом Помпеем затягивается на неопределенный срок.

Жаркое, душное лето 36 года старой эры. Каникулы...[2]

Мавретанский царь Бокх печально прогуливался по пустынным залам своего дворца в Сиге, хотя мог быть на вершине счастья. Недавно он получил власть над всей Мавретанией, но лишь после того, как подослал тайных убийц к своему брату Богуду, правившему половиной страны. Рим прикрыл на это глаза; сейчас ему было не до Мавретании.

[1] Атропатена — современный южный Азербайджан.

[2] Каникулы — самое жаркое время года.

Зато в беломраморном Пантикапее на берегах Понта Эвксинского гремела свадьба: внучка великого Митридата Динамия выходила замуж за боспорского архонта Асандра, убийцу своего отца, который изменой овладел престолом. Зависимые от Боспора города прислали посольства с богатыми дарами, вожди скифов пригнали табуны породистых скакунов, податливая боспорская знать, заполнившая дворец, величала Асандра не иначе как басилевсом, хотя царем его не признавало еще ни одно государство.

«Великий царь царей» Аза, сын Мауэса, потомок кочевников — саков, повелитель Гандхары, Арахосии и Таксилы, устраивал в своей столице пир для бактрийца Гермея по прозвищу Сотер — «Спаситель», своего давнего и многотрудного противника, с которым ныне заключил временное перемирие. Правители обменивались дарами, а их воинственные дружины у ворот дворца внимательно следили друг за другом, у кого первым блеснет оружие.

Последний царь Канвов[1], престарелый Сушарман, уронивший былую славу и могущество своего рода, покорно собирал дань для молодого правителя Андхары[2], грозившего ему войной и свержением. Вождь гетов Котизон ожидал римское посольство; хорезмиец Евкратид въезжал в подчиненную Мараканду; правитель индийской Патталы Пандион встречал знаменитого мудреца Зармара.

Между тем в священнейшем Иерусалиме Ирод принимал Клеопатру.

СТАСИМ ВТОРОЙ

Но среди иудеев были тогда люди, которые гордились тем, что они строго соблюдают законы отцов, и думали, что Бог особенно их любит. К ним в особенности были привержены женщины. Они имели большую силу и могли скорее всего сопротивляться царю... и выжидали удобного случая, чтобы устроить возмущение.

Иосиф Флавий. «Иудейские древности»

АЛЕКСАНДРА (иуд. имя — Мариам), 44 года. Дочь царя Гиркана II, внучка царицы Саломеи. В 18-летнем

[1] Канвы — царская династия в государстве Леагадха (Северная Индия).

[2] Андхара — государство в Центральной Индии.

возрасте выдана замуж за двоюродного брата, царевича Александра; родила дочь Мариам и сына Аристобула. После того как ее муж поднял восстание против ее отца и римлян, некоторое время служила между ними посредницей, затем с детьми перебежала к отцу. В 49 году, когда Александр вернулся из римского плена, вновь примкнула к мужу и сопровождала его в Антиохию, где последний был схвачен и казнен по приказу Помпея. Александра укрылась у правителя Халкиды Птолемея, вступив с ним в любовную связь; в 43 году вернулась к отцу. После захвата Иерусалима двоюродным братом Антигоном и пленения отца парфянами бежала с детьми в крепость Масаду, откуда была освобождена войском Ирода. В феврале 37 года выдала дочь замуж за Ирода, а после вступления того в Иерусалим ее сын получил сан первосвященника.

— Привет тебе, о дочь Хасмонеев!

Клеопатра встретила царскую тещу, возлежа на небольшой кушетке. Она словно бы хотела встать на ноги, но слабая попытка не увенчалась успехом; Клеопатра лишь слегка приподнялась, опираясь на изголовье.

— Мир тебе, царица,— сухо ответствовала царская теща, долго и грузно усаживаясь в плетеном кресле напротив сияющей египтянки.

Александра вошла в беседку со стороны дворцового сада; ее сопровождали три служанки, несущие опахала и хлопушки для отгона мух. Она не знала, о чем пойдет речь, но, благодаря острому чутью, догадалась, что все это неспроста, и посему предприняла все меры предосторожности.

— Мне передали, царица, ты искала встречи со мной?

— О да, почтенная! — кивнула Клеопатра, скрывая недовольство не совсем любезным поведением собеседницы.— Разве я могла поступить иначе, находясь в Иерусалиме и гостя в вашем доме? Ведь мы обе — женщины, принадлежащие одному кругу, к тому же много претерпевшие и повидавшие в жизни. Нам есть о чем поговорить и чем поделиться меж собою.

Иудеянка нисколько не соблазнилась заигрывающим тоном египетской владычицы; лицо ее оставалось попрежнему тусклым и бесцветным.

— Право, царица, не знаю, чем бы я могла тебе пригодиться... Ты вершишь большие дела и думаешь о ве-

ликом, а я давно уже отошла от царских забот и ищу лишь покоя.

«Эту старую граю так просто не прошибешь,— сказала себе Клеопатра.— Ну, да ничего, с помощью богов мы брали и не такие твердыни».

— То, о чем я хочу посоветоваться с тобой, почтенная, относится к вашему семейству. Не взыщи, если я затрону эту деликатную тему, но поверь, что единственно забота о вашем благополучии разомкнула мои уста.

Александра на секунду подняла глаза, в которых сверкнул красный огонек, но тут же сникла и молча пожала плечами.

— Да-да, желание видеть ваш род цветущим и преуспевающим. Если мы, наследники древних династий, не будем печься об их крепости, что же тогда получится? Страшно даже помыслить. Не велишь ли, почтенная, своим спутникам оставить нас наедине?

Иудеянка помедлила и дала служанкам знак удалиться из беседки.

Высокая гостья тут же заняла вертикальное положение и напустила на себя вящую серьезность:

— Тебе должно быть известно, почтенная, как я высоко ценю и уважаю твоего сына, в жилах которого течет кровь великих царей. И вот, до меня дошли известия о возмутительном происшествии на празднике Седмиц, о разнузданном поведении священника Ананила, который, как я слышала, только что приволокся из Селевкии, где пресмыкался перед парфянскими сатрапами и молился разве что персидскому Ормузду. Как возможно, почтенная, чтобы какой-то безродный проходимец, набравшийся наглости, оттеснял и оскорблял законного первосвященника, потомка славных Маккавеев и восприемника их власти?! Где, в какой стране честные люди могут сносить подобный позор? Случись это в Александрии или Мемфисе, вся страна ополчилась бы против наглеца и я бы первая восстала на него.

Александра вздохнула и угрюмо пожала плечами:

— Но ведь безродный вавилонянин поступал так, как ему указал его гостеприимец и покровитель.

— Вот это-то и прискорбно, почтенная! Когда тот, кому доверено верховное правление, вместо того, чтобы свято блюсти законы, подавая пример остальным, первым начинает попирать их, кто не возмутится до глубины души? Конечно, Ананил не посмел бы оскорбить первосвященника, если бы не наущение и покровительство Ирода.

Как только прозвучало имя царя, обе собеседницы опасливо оглянулись по сторонам и крепче вцепились в пуховики сидений. Впрочем, они рисковали далеко не в равной степени. Если бы царская теща вздумала передать сей разговор зятю, египтянке грозила бы, в худшем случае, высылка из страны. У нее даже не отобрали бы подарков. Напротив, если бы почтенная иудеянка оказалась жертвой провокации, то своим поспешным согласием она неминуемо обрекла бы себя на тюремный застенок.

— Мой сын, царица,— повела рукой Александра,— давно терпит обиды и притеснения. Это началось не вчера и не на Седмицах.

— О, я знаю это, почтенная! Открою тебе кое-что, чтобы ты убедилась в моей приверженности вашему семейству. Когда в прошлом году зашел спор о правах на первосвященство и дело дошло до Антония,— мы вместе читали твои письма,— я со всей решительностью высказалась за Аристобула. Супруг мой еще колебался,— ведь Ирод всячески расхваливал Ананила,— и только мои доводы заставили Антония встать на сторону царской крови и не допустить к священнодействам парфянского лазутчика.

Только теперь, кажется, царская теща переменилась во взгляде. Она даже потянулась к египтянке, сообщая своему лицу доверительное выражение:

— Я не знала этого, царица...

— Скажу больше! — просветлела довольная египтянка.— Еще раньше, когда Иудея осталась без своего законного правителя, а идумеянин поспешил в Рим за царским венцом и благословением, я искренно полагала, что у твоего сына, внука Гиркана и правнука великого Янная, неизмеримо больше прав на престол.

— Ты не поверишь, царица: ведь Ирод, отправляясь в Рим, клятвенно уверял меня, что будет хлопотать за Аристобула.

— Что я слышу?! — всплеснула руками Клеопатра.— Неужели было именно так?!

Александра кивнула головой:

— Можешь теперь представить себе наше изумление, когда мы услышали, что Ирод выхлопотал царство для себя.

— Какой лицемер! Бесподобная наглость! Почему же ты, почтенная, ничего не написала Антонию или не

сообщила мне? Мы бы еще тогда разоблачили подлого обманщика!

— Но ведь ты знаешь, царица,— поморщилась иудеянка,— как Антоний всегда заступался за Ирода.

— Мой супруг находился в неведении; он не рассмотрел подлинной личины идумеянина. Но теперь, клянусь небом, он узнает все! Никакое из преступлений Ирода не должно остаться безнаказанным.

— Замечу, однако,— молвила осторожная иудеянка,— справиться с узурпатором будет непросто. Хотя его ненавидит весь народ, у него много друзей в Риме среди сенаторов и влиятельных людей.

Клеопатра хлопнула рукой по изголовью кушетки:

— Неужели, почтенная, мы допустим, чтобы он и дальше попирал законы, губил лучших мужей, вредительствовал соседним царям? Неужели же мы, в роду которых столько знатных и доблестных героев, позволим глумиться над нами сыну коновала?

— Десять лет назад,— сказала Александра,— еще в правление моего отца, Ирода судил синедрион за тяжкие преступления и уже вынес ему смертный приговор, но идумеянин бежал от заслуженной кары и нашел защиту у Секста Цезаря, правившего тогда Сирией. Как бы не повторилось то же и теперь.

— Теперь, почтенная, хвала небесам, времена изменились, и окрестные царства, где Ирод мог бы искать защиту, и самые римляне божьей милостью вот в этих руках.

С этими словами египтянка раскрыла перед иудеянкой свои ладони. Собеседница с сомнением покачала головой:

— Молю Господа, преславная царица, чтобы сила твоя оказалась столь же крепка, как твои слова.

Клеопатра откинулась на пуховики и самодовольно рассмеялась:

— Надеюсь, излишне напоминать, что перед тобою сидит женщина, власть которой простирается от Нила до Евфрата; помимо того, став супругой Антония, она ведает половиной Римской державы.

— Кто же, скажи мне, царица, сможет отстранить Ирода? — спросила Александра почти что шепотом.

— Я думаю, о прозорливейшая из женщин, в Иудее найдутся настоящие мужи, водительствуемые тем, кому само небо вручило ключи первосвященства. А если этого окажется мало, иудеи могут надеяться на

помощь соседних владык, которым дорога свобода древнего народа.

— В Иудее никогда не переводились настоящие мужи,— кивнула царская теща.— И они сумеют по достоинству оценить помощь единомышленников.

— Тогда мы быстро договоримся, почтенная.

— Надеюсь всем сердцем. Какие пожелания у высокой гостьи?

Клеопатра вновь возлегла, опираясь на локоть, и не спеша расправила по плечам свои пышные волосы.

— Вполне умеренные. Иерихон с пальмовым лесом и окружность Геннисаретского озера. Причем,— заметь, почтенная,— первое уже является собственностью Египта по эдикту Антония, а второе наполовину в моей власти. Согласись, запрос едва ли не символический.

Иудеянка колебалась несколько секунд, и египтянка поспешила дожать до конца:

— Правда, мне весьма расхваливали ваше морское побережье,— нигде в другом месте не найти столь прекрасных гиацинтов, роз, анемонов, кроме как в Саронской долине,— тирские дельцы даже обещали построить три вместительных порта, чтобы принимать корабли со всего света.

— Хорошо, хорошо, мы согласны с Геннисаретом,— сдалась царская теща.— Непонятно только, для чего великой царице, владеющей обширными землями, какое-то мелкое неприметное озеро?

— Я намерена воздвигнуть на его берегу храм благословенной Исиды, чтобы свет моей веры озарил и иудеев,— молвила египтянка нараспев, определенно язвя религиозные чувства собеседницы.

— Возможно ль такое?! — едва не поперхнулась Александра.— Позволь, царица, как же тогда быть с указами Цезаря, даровавшего иудеям свободу вероисповедания и оградившего их от иноземных культов? Великий Цезарь уважал старинные обычаи...

— Ничего подобного! Именно Цезарь в свое время выставил мою статую в Капитолии, и, клянусь небом, ей поклонялась половина Рима.

— Но что скажет его восприемник Антоний?

— Марк Антоний,— улыбнулась Клеопатра,— станет первосвященником моего культа.

Египтянка нарочно произнесла по-иудейски «наси» вместо греческого «архиерей», чтобы у собеседницы не осталось никаких сомнений, что она ни в чем не намерена уступать иудейскому Богу.

— Но ведь Антоний является верховным жрецом Божественного Юлия...

— Конечно Юлия! А разве культ великого Цезаря не сопряжен с культом его верной супруги? Разве можно отделить Нового Осириса от Новой Исиды?

Александра поняла, что дальнейшим препирательством она только увеличит и без того неизмеримое самомнение бывшей любовницы Цезаря, и предпочла уладить дело миром:

— Преславная царица получит все, что ей угодно. Но при одном непременном условии: всю власть в Иудее должен унаследовать подлинный наследник Хасмонеев...

— Твой сын, почтенная, вне всякого выбора.

— ...А тот, кто узурпировал престол столь бесчестно, пролив реки людской крови, должен сполна расплатиться за содеянное.

— И здесь не может быть двух мнений.

— Он заслуживает самого сурового наказания! — добавила иудеянка с неожиданной злостью в голосе.— Суровее того, что вынес ему синедрион десять лет назад, ровно настолько, насколько возросла тяжесть его преступлений.

«Благие боги! — воскликнула Новая Исида про себя.— Да тут пробудился вулкан! Я и не ожидала, что подношу огонек к горючей смеси, готовой вспыхнуть в любое мгновение. Они убьют его, это точно. Какая испепеляющая ненависть! Старуха готова растерзать зятя собственными руками».

— Это ваше право,— произнесла египтянка вслух,— и дело самих иудеев.

— Скажи, царица, разве за все, учиненное Иродом на земле Давидовой, может ожидать его мягкий приговор? Спроси любого иудея: заслуживает ли малейшей пощады тот, кто погубил лучших сынов отчизны, надругался над верой, над святынями народа? Справься в нашем Писании: разве не карал Господь лютой смертью изменников Его, растлителей душ, проводников иноземной заразы, прислужников эллинских лиходеев?

Александру била мелкая дрожь. В запальчивости она забыла, что перед ней сидит не кто иная, как эллинская царица, проводник той самой иноземной заразы, о которой она отзывалась с таким негодованием. Шея иудеянки вздулась и покрылась красными пятнами; лицо сделалось поистине ужасным; на него нельзя было взирать без содрогания.

«Клянусь престолом отцов,— размышляла меж тем Клеопатра с проницательностью, достойной настоящей Исиды,— нет ли здесь чего-нибудь поинтереснее Священного писания? Не кроются ли тут чисто женские счеты? Порази меня гром, если эта косматая ведьма не притязала на царское ложе и, будучи обделенной, не воспылала жаждой расправы! Отчего бы ей так кипятиться? Верно, зятек отверг любовные домогания тещи, и теперь в отместку она наточила тысячу мечей. Кто бы подумал, что в Иерусалиме имеется собственная Фульвия[1]?! Впрочем, может, оно и к лучшему... Отвергнутые старухи, как правило, беспощадны».

— Не будем же, о дочь Маккавеев, вести долгие приготовления и затягивать дело. Сейчас для нас наиболее благоприятное время: римляне увязли в тяжелых сражениях на Востоке и на Западе, и внимание всего мира приковано к событиям войны. Набатейский же царь, думается мне, больше боится за себя, нежели за Ирода.

— Чаша людского терпения переполнена,— заверила Александра.— Не сегодня завтра синедрион открыто осудит преступника, и тогда его часы...

— Нет-нет, не так скоро! — отмахнулась Клеопатра, не на шутку обеспокоенная ретивостью царской тещи.— Полагаю, священное дело иудеев не терпит присутствия посторонних лиц. По крайней мере, в Иерусалиме. Прежде мне следует удалиться из города, но не далеко, чтобы, в случае необходимости, не оставить вас без воинской поддержки.

— Да будет так,— кивнула иудеянка.

Обе заговорщицы разом поднялись со своих мест, собираясь расстаться. Затянувшаяся беседа в саду грозила привлечь внимание дворцовых соглядатаев, готовых объявиться в любую минуту.

— Будем сноситься через доверенных слуг,— молвила Клеопатра на прощание, сияя лукавой улыбкой.— Не нужно посвящать в наши планы случайных людей. Всякий удар хорош, когда он неожиданен.

— Хочу предупредить тебя, славная царица,— заметила, в свою очередь, Александра.— Не ночуй в той опочивальне, какую предоставил тебе Ирод. Это нехорошее место.

---

[1] Фульвия — бывшая супруга Антония, в отсутствие мужа безуспешно пытавшаяся совратить его коллегу по триумвирату Октавиана, против которого затем подняла мятеж. Октавиан был помолвлен с ее дочерью.

— Благодарю, почтенная; я уже догадалась.

Клеопатра первой направилась к выходу из беседки, но на пороге задержалась и обернулась на бодро удаляющуюся иудеянку, с удовольствием наблюдая прилив сил в грузном, несколько рыхловатом теле порядком износившейся дворцовой дамы, вдовы царевича, которая так и не стала царицей.

ДНЕВНИК ЦАРЯ ИРОДА

(Выдержки)

(Без даты; между 23 и 31 июля 36 г. — *Авт.*) ...Моя картина будет неполной, если не добавить несколько слов о людях ее свиты, о той толпе, что окружает ее денно и нощно, лицезрение которой, смею уверить, вызывает столько же стыда, сколько тошноты — ее описание.

Самый развязный из окружения египтянки — александрийский поэт Феодор. При царице он, по-видимому, выполняет обязанности шута: то декламирует при всех стихи непристойного содержания, то пристает к подвыпившим сотрапезникам, то затевает драку со слугами. Египтянка поддразнивает и подзадоривает его на каждом шагу; чем возмутительнее выходки этого недоумка, тем ей веселее.

Под стать ему кифаред Анаксенор, кумир разнузданной черни, безудержный пьяница и мот. В Смирне он прославился свирепыми грабежами, когда по поручению Антония собирал недоимки. После того как на него пожаловалось сразу несколько городов, Антонию пришлось убрать своего любимца, и теперь Анаксенор снова играет на кифаре, но чаще служит при царице простым опахальщиком, и, похоже, последнее у него получается лучше всего. На вопрос Клеопатры, что в человеке остается неизменного, он похлопал себя по заду, чем заслужил ее рукоплескание.

Все же главный льстец, увивающийся подле царицы,— ритор Алекс, родом из Лаодикеи. Я встречал его в Риме в числе собутыльников Антония, и уже тогда он поразил меня невероятной наглостью и распутством. На каком-то пиру он скакал по залу в одной козлиной шкуре, изображая Вакха, и на виду у всех мочился у каждой колонны. За эти и другие подобные заслуги Антоний даровал ему римское гражданство, что тут же ко всем прочим порокам лаодикейца прибавило самый невыносимый — спесь.

На этот раз мне показалось, Алекс несколько обижен на Антония за то, что тот не пожаловал ему какого-нибудь царства, в то время как его земляк Полемон удостоился Киликии и Понта. Теперь завистливый лаодикеец в расчете на то же подвизается у египтянки.

Однако в царской свите попадаются достойные смышленые люди. Во-первых, это академик Филострат, который дружил еще с Катоном, и тот, говорят, на прогулках уступал ему почетное место. Зачем сей почтенный муж пристал к египетской царице и что делает в ее компании — для меня совершенная загадка. Во всяком случае, я вижу, как он чурается всей этой разгульной своры и редко когда садится с нею за стол. За ним следует врач царицы Олимп, человек молодой, но выдержанный и рассудительный. Я уже не говорю об Аммонии. Секретарь себе на уме, держится особняком, не слишком высовывается вперед и не лебезит откровенно перед царицей. Он немногословен, а если что изрекает, то весьма глубокомысленное. По-видимому, он весьма скрытен и гораздо хитрее, чем кажется на первый взгляд.

Из числа рабынь выделяется эфиопка по имени Хармион. Царица не может ступить без нее и шагу, как избалованная девчонка без любимой игрушки; в самом деле, эфиопка для нее все равно что кукла или предмет туалета. Я думаю, даже в отхожее место она ходит в ее сопровождении. Царица питает явную слабость к чернотелым; свидетельством тому, помимо рабыни, эфиоп-телохранитель. Полагаю все же, здесь чисто театральный расчет: на черном фоне тотчас бросается в глаза белизна царского тела.

Несмотря на свой юный возраст, эфиопская рабыня весьма неглупа. Двор явно недооценивает ее. В паре случаев, которые я наблюдал, она подавала госпоже дельные советы. В будущем, если сможет, она пойдет далеко.

В целом же, если приглядеться, все царицыно сборище можно условно поделить на две партии, борющиеся за влияние на госпожу. Первую составляют александрийцы, соотечественники царицы, сопровождающие ее из Египта; вторую заполнили ловкачи, прилепившиеся к ней в Риме и по пути из Италии. Первую партию возглавляет Аммоний; второй, по-видимому, верховодит ритор Алекс; туда же, надо думать, входит и Хелидон. Партия александрийцев холодна и сумрачна, партия италиков дерзка, заносчива и разгульна. Италики, насколько позволяет им распущенность, беспрестанно воспламеня-

ют египтянку, александрийцы ее терпеливо тушат. Впрочем, обе партии стоят друг друга.

...Я уже говорил о партиях, сложившихся в окружении Клеопатры, называя их условно александрийцами и италиками. Я не подозревал тогда, насколько точны мои определения. Дальнейшие наблюдения укрепили меня во мнении, что между партиями существует острое соперничество. Александрийцы — в основном выходцы из старых жреческих семей — презирают италиков, считая их иноземцами и выскочками. Последние выдвинулись благодаря Антонию, так или иначе связаны с ним; при дворе египтянки они в своем роде ставленники триумвира и соглядатаи римлян. Оттого-то презрение александрийцев к ним сильнее во сто крат.

Если, допустим, мне потребуется сделать что-либо, противоречащее устремлениям Антония, я могу смело обращаться к александрийцам. Если же меня отчего-то забеспокоит египетская знать, тут помогут италики.

Заметно еще: чем ближе к Египту, тем сильнее чувствуют себя соотечественники царицы; стоит ей только повернуть к Антонию, тут же поднимают голову всякие кифареды и проходимцы. Хвала небесам, что с делом об Иерихоне я подступился не к какому-нибудь Анаксенору или Алексу, а именно к александрийцу Аммонию. Иначе все дело рухнуло бы тотчас...

...Пройдоха Досифей оказался старым приятелем Алекса. Они подружились в Эфесе, куда Досифей приезжал послом от Гиркана, на застольях и попойках быстро нашли общий язык и обязались оказывать друг другу гостеприимство.

И вот, прослышав, что его сотрапезник находится в Иерусалиме, Досифей стал зазывать ритора в гости; Алекс, в свою очередь, пригласил царицу, а та обратилась ко мне. Я, конечно, тотчас же смекнул, что хитроумная египтянка на самом деле собирается посетить Гиркана [1],— ведь последний живет в усадьбе Досифея,— остальное только предлог. Но тщетно царица отыскивала на моем лице следы какого-либо беспокойства; я ответил согласием, и на другой день мы все выехали в Гибею.

---

[1] Гиркан II — бывший царь Иудеи из династии Хасмонеев, правил до переворота Антигона и был уведен парфянами в плен, но в 37 г. стараниями Ирода вернулся в Иудею. Новый правитель желал иметь прежнего царя в зоне своего контроля, лишив его при этом всякого значения.

Меня сопровождала сотня гетайров [1], египтянку — вся придворная челядь, за исключением разве что Филострата, который остался, сославшись на недомогание. Еще до полудня мы взобрались на Скопус и к обеду достигли усадьбы Досифея. Вышедшие встречать нас гибейские старцы совершенно потерялись в толпе любопытных. Сам хозяин усадьбы, разодетый как перейский фазан, являл величайшее радушие, счастливый оттого, что под сенью его крова сошлись сразу три царя: один — бывший, два — нынешних и еще один — ожидающий царства [2].

Царице вывели того, ради которого она приехала, и тут уже наступила моя очередь любоваться ее кислой миной. Египтянка ожидала увидеть опального борца, томящегося в заключении; вместо этого перед ней предстал ветхий, немощный старец с обрезанными ушами [3], едва вращающий языком и не помышляющий ни о чем другом, кроме смертного одра. Впрочем, сказать по правде, прежде, сидя на престоле страны, несчастный Гиркан представлял собой куда более жалкое зрелище. Хотя царица еще обнималась с ним, расспрашивая об ужасах парфянского плена, по ней было видно, что она окончательно махнула на старика рукой.

Зато Досифей, отдать ему должное, постарался на славу. Изящные прислужники, мягкие ложа, яства и угощения — всего было в избытке. Клеопатре предложили почетное место во главе пиршества, но она с деланной скромностью отказалась от него и уселась на краю зала между какими-то торговцами. Таким поступком она, видимо, хотела снискать славу вполне доступной женщины, но ничего, кроме каприза и самолюбования, я тут не увидел.

Застолье началось с того, что по предложению царицы Алекс и Досифей затеяли спор о Зеноновой черепахе [4]. Оба ритора держали напыщенные речи, уснащая

[1] Гетайры *(греч.)* — «спутники» — так Ирод называл свою личную стражу, состоящую из идумеян.

[2] Имеется в виду Алекс.

[3] Гиркан был обезображен в плену.

[4] Известный в античности парадокс Зенона Элейского (V в. до н. э.), утверждавшего, что быстроногий Ахилл никогда не сможет догнать самое медленное животное — черепаху; при условии одновременного начала движения в тот момент, когда Ахилл достигнет места черепахи, черепаха уже уползет на 1/10 этого расстояния, и когда Ахилл пройдет эту 1/10, черепаха уползет вперед еще на 1/100, и так без конца; т. е. Ахилл никогда не достигнет черепаху. Парадокс этот широко дебатировался античными логиками, окончательного решения так и не было найдено.

их ссылками на именитых философов, бегали по залу и горячились, немало забавляя египтянку. Лаодикеец доказывал, что материя, вопреки Зенону, не может делиться до бесконечности, и когда наступит предел деления, в тот момент Ахилл настигнет черепаху. Досифей возражал, что дело вовсе не в делении расстояния, а в величинах соревнующихся тел: Зенон не учел, что вместе с уменьшением расстояния между Ахиллом и черепахой тела их остаются в прежнем объеме, а значит, расстояние между ними должно уменьшиться настолько, что величина его ничего не будет значить по сравнению с величиной объектов.

Когда обратились ко мне [я сказал]: «По моему мнению, не прав ни тот, ни другой. Зенон навязывает нам деление пути Ахилла и черепахи на отрезки и этим самым запутывает нас. Движение же нельзя объяснить, рассматривая отдельные отрезки пути».

«Как бы не так,— отозвалась из своего угла Клеопатра, обращаясь к Алексу и Досифею.— Я передвигалась по Сирии и Иудее именно отрезками, делая остановки, как, например, сегодняшнюю. Если бы за мной гнался Ахилл, ему пришлось бы признать правоту Зенона. В противном случае его не спасла бы даже величина тела».

Сотрапезники пришли в восторг от этой бахвальной шутки, загудели, будто зрители на скачках, и рукоплескали египтянке так, как рукоплещут резвым лошадям.

Ученая беседа скоро обратилась в шумную попойку. Гибейские старцы поначалу испытывали неловкость, восседая за одним столом с иноверкой,— да еще во дни поста! [1] — но, встретив ее приветливое обхождение (право, она умеет блеснуть развязными манерами), скоро отошли и потеплели. А когда, вдобавок ко всему, она заговорила по-иудейски и принялась обсуждать, что означают урим и туммим, упоминаемые в Писании, зал был поражен и зачарован ею до крайности [2]. Даже безухий Гиркан встряхнулся ото сна, с видимым удовольствием тряс бородой и цокал языком.

Госпожа притворства была в ударе; беспрестанно сыпала остротами и заливалась смехом, изо всех сил располагая к себе общество. Подвыпившие сотрапезники смелели на глазах; одноглазый Саббион даже хлопнул

[1] Шел трехнедельный иудейский пост: 17 фаммуза — 9 аба.

[2] Среди учителей Клеопатры были иудеи, жившие в Александрии. Она знала не только иудейский (арамейский), но и арабский, эфиопский языки, а также латынь.

ее по плечу как свою старую подругу. Дочери Авлета, кажется, это пришлось по вкусу; она и желала, чтобы все забыли, что перед ними владычица Востока. Когда кто-то обратился к ней: «Царица», она едва не обиделась: «Разве здесь дворец и вы на приеме? Неужто Птолемеева кровь — единственное мое достоинство и вы ничего не увидели более?» В ответ сотрапезники осыпали ее грудой похвал, именуя египтянку и горой, и прекрасной Еленой, и харитой, и менадой, разве что не гетерой, чему она была бы, наверное, особенно рада.

Временами я ловил ее лукавый взгляд; она тут же отводила глаза и хохотала пуще прежнего. Понятно, все это представление разыгрывалось для меня. Взглянув на безмолвного Аммония, я заметил, что секретарь также недоволен ужимками госпожи; пожалуй, из всех присутствующих лишь он и я, единственные, никак не поддерживали всеобщего куража и искали повод прервать бурную оргию.

Наконец, когда явились музыканты и заиграли что-то фригийское[1] и кое-кто из пьянчуг уже задвигал бедрами, желая плясать, я вдруг сильно испугался, что царица выскочит впереди всех и пустится в бесстыдный танец, как это, говорят, она делала перед Цезарем. Тогда, предотвращая худшее, я схватил первое, что попалось под руку,— им оказался хрустальный кубок — и с силой запустил его в лицо виночерпию Малхею, а потом прокричал что-то злобное и угрожающее. Музыка тотчас стихла, веселье прекратилось.

Назад, в город, мы возвращались раздельно: я с гетайрами впереди, она — со сбродом хмельных льстецов, провожавших ее едва ли не до дверей опочивальни. Начиная с полудня, мы не перемолвились ни единым словом и вообще делали вид, что не замечаем друг друга.

(Далее в тексте несколько строк испорчено.— *Авт.*).

...Она требует, чтобы все поминутно ею восхищались. Кто ею не восхищается, тех она ненавидит и сживает со свету. Она уверена, что представляет собой живое чудо. Быстро пресыщаясь окружающей лестью, она требует все большего восхищения, прежнее кажется ей уже недостаточным, и кому удалось восхититься так, как никому до него, того она и ставит у себя по правую руку. Вместе с тем она безмерно завистлива и ревнива. Не вздумайте в ее присутствии отозваться о ком-нибудь с

[1] Фригийские песни считались неприличными.

похвалой, особенно о женщине; вы навлечете на себя страшный гнев. Всякая иная красота меркнет в лучах ее совершенства...

...Все эти дни меня не покидает [болезненное] напряжение. Не могу понять, отчего. [Врач говорит], у меня началась... [лихорадка?] и необходимо кровопускание. Я покорился, но попросил отсрочки до того дня, когда, наконец, удалится египетская гостья. Он согласился и обещал, что тотчас же после этого мне пустят кровь (или: он произведет кровопускание; чтение из-за порчи текста предположительное.— *Авт.*).

САЛОМЕЯ, 28 лет, дочь Антипатра, сестра Ирода. Замужем сначала за Птолемеем, стратегом Самарии, затем за Иосифом, сыном Меннея. От первого мужа имела дочь Беренику; во втором браке бездетна. Во время войны Ирода с Антигоном деятельно помогала брату, собирала деньги, вербовала наемников. Когда Ирод справлял свадьбу с Мариам, она удалилась в Иерихон, но весной 36 года вернулась ко двору.

— О брат мой, у меня к тебе важное известие!

Саломея полагала застать царя, как обычно, в обществе писцов, диктующим свои записки, но вместо этого нашла совершенно утомленного, изнемогающего человека, которого только что покинули врачи.

Правитель иудеев полулежал на суфе под широким опахалом, которым овевала его любимая рабыня-финикиянка. Он уже было задремал, уронив голову на грудь, и, услышав над ухом голос сестры, не сразу пришел в себя.

Идумеянка остановилась посреди комнаты и укоризненно покачала головой:

— Что, изнурила тебя египетская лихорадка?

— Саломея,— мучительно протянул Ирод, приоткрывая один глаз.— Прошу, оставь меня...

— Конечно, клянусь небом! Где тут уделить минутку родным, когда одна оргия сменяет другую, а вокруг столько римских собутыльников и напомаженных египтянок! Правду говорят, будто ты вчера взбесился в усадьбе Досифея, разбил посуду и поломал столы?

— Право, сестра, мне нездоровится... Отложим разговоры на завтра...

Гибейское вино еще не окончательно выветрилось из его головы, отчего царь чувствовал упадок сил и

глубокое уныние (вскормленные на кобыльем молоке степняки-идумеяне вообще не предрасположены к пьянству).

— Что там у тебя?

— Говорю: важное дело,— молвила Саломея, косясь на финикийскую рабыню.— Разве я когда-нибудь беспокоила тебя по пустякам?

Правом входить к царю без доклада в любое время суток пользовались лишь три человека: постельник Гимей, евнух Эзоп и лучший друг царя Иосиф. Наверное, по праву жены последнего Саломея миновала караулы и очутилась подле правителя.

— Да, брат, дело необычное... Прикажи оставить нас наедине.

Послушная невольница приготовилась уже соскочить с суфы, но идумеянин успел поймать ее за руку:

— Ни шагу, финикиянка! Я еще ничего не велел. Что ты такое затеваешь, Саломея?

— То, о чем пойдет речь, царь, касается только нашей семьи, преисполненной великих несчастий.

— Каких несчастий? — махнул Ирод рукой, откидываясь на колено невольницы.— Не трудись, Саломея, сейчас я все равно ничего не разумею...

— Речь идет о нашем брате...

— Опять о Фероре? Это уже становится скучно. Оставь юношу в покое; он уже достаточно зрел и командует целым округом! Ты до старости будешь пенять ему как мальчишке?

— Нет, Ферор тут ни при чем,— молвила царская сестра, не сводя с Ирода внимательных глаз.— Речь о Фасаэле.

— О ком?! Что за дурные шутки, Саломея? Нашла время морочить мне голову.

— Верно, царь: если то, что я узнала, шутка, то более скверной трудно вообразить. Мне донесли, что Фасаэль жив и сидит в плену у парфян.

— Ты спятила! — рявкнул Ирод, вскидывая голову.— Кто тебе об этом сказал?!

— Я слышала сегодня от Соема, а тому передал по секрету человек из египетской свиты. Барзафарн будто бы увез Фасаэля в Селевкию; там его держали в оковах, готовясь казнить, но отсрочивали. Потом пал Пакор, следом за ним испустил дух Ород, и новый владыка — ты знаешь коварство Фраата — распорядился освободить Фасаэля и даже осыпал его подарками. Не знаю, верить этому или нет...

По морщинам, прорезавшим чело царя, можно было догадаться о вскипавшем в нем негодовании; он перебил сестру с крайним раздражением:

— Что ты мелешь, безумная?! Мало тебе Мариам, которой ты не даешь прохода, мало Иосифа и Ферора; теперь ты добралась до покойников! Иди проспись и выпей черемицы.

Саломея потупила очи и твердо продолжала:

— Говорят, сведения эти поступили через Монеса, приближенного Фраата, но весьма благорасположенного к Антонию. Фасаэль пребывает сейчас в лагере парфянского царя.

— Наглая ложь! — стукнул Ирод кулаком по взбитой подушке.— Ты врешь, сумасшедшая женщина, глумясь над памятью брата! Господь не простит тебе насмешек над мертвыми! Ты оплакивала Фасаэля дольше всех, вознося молитвы и не снимая траура сорок дней, и после не переставала сокрушаться о его кончине. Какой бес вложил тебе сегодня в уста столь гнусную речь?! Кто распускает эти слухи?

Рабыне был дан знак удалиться; казалось, вместо степенного правителя на суфе восседает сам Вельзевул, настолько посуровел и почернел лик иудейского царя.

— Чем мне грозить?! Я уже царь, утвержденный и признанный всеми. Я вел войну... Пусть кто-нибудь, как я, отправится в Рим и добьется того, чего добился я, выстаивая перед сенатом... Пусть он воздвигнет на Капитолии мраморный столп и даст обед консулам! О Боже! Разве я отказал кому-нибудь в убежище? Даже прежний царь сидит у меня на довольствии. Где, в какой стране ты найдешь что-либо подобное?! — Ирод вдруг сник и растекся по суфе, болезненно стиснув руками затылок.— О, как раскалывается голова! Ужасный день... Кто порождает эту немыслимую ложь? Несчастный Фасаэль...

Саломея присела на край суфы и дотронулась ладонью до царского чела:

— Успокойся, брат. Я бы не потревожила тебя, если бы была уверена, что завтра об этом не заговорит весь двор. Слухи стремительнее ветра. Тебе нужно быть наготове... Говоря по правде, никто из нас не видел Фасаэля мертвым. Ведь если только...

— А старик Гиркан? Он вернулся из Селевкии и не проронил о Фасаэле ни слова!

— Корноухий давно уже выжил из ума. К тому же он говорит только о том, что было с ним. Парфяне могли держать пленников раздельно.

— Хорошо, Саломея. Сейчас мы найдем тех, кто был в тот год в Сепфорисе...

— И ни один из них не станет надежным свидетелем.

— Пусть так. Но сама-то ты что думаешь?

— Я встревожена и испугана не меньше тебя, мой дорогой.

Ирод отмахнулся, словно отгоняя от себя наваждение. Неизвестно отчего вдруг заныла левая ступня, та самая, которую он ушиб на горных кручах Масады в тот проклятый год вступления Антигона в Иерусалим...

Брата еще можно было выкупить; парфяне требовали пятьсот талантов и сто женщин. Ирод бросился к набатейцу Малху вернуть отцовские деньги, но дорога оказалась неудачной: два дня свирепствовала пыльная буря, а на третий Ирод случайно упал с коня и вывихнул ногу. Пять дней его лечили кореньями; тем временем антигониане перекрыли путь к Малху. Триста талантов обещал Костобар в Хевроне, Ирод отправил двоих посыльных, но те заблудились в пустыне. С трудом идумеянин пробился к Пелусию, где грузились египетские корабли; навархи требовали под деньги залог, Ирод предложил своих коней и утварь, те запросили больше, и, пока шел торг, приспело известие о казни Фасаэля. По одним рассказам, его четвертовал Антигон; по другим, Фасаэль сам наложил на себя руки. Последние его слова были: «Я умираю спокойно, ибо мстителя моих врагов оставляю в живых».

Ирод болезненно скрючился на суфе и прикрыл ладонью глаза:

— О, если бы Фасаэль был жив, неужели за четыре года он не нашел бы, как известить меня?.. Зачем ему от меня таиться? Ведь я ему брат... Зачем ему таиться от тебя, Саломея, от Ферора, от нашей семьи? Неужели мы бы не пожертвовали последним, чтобы вызволить его из темницы? Неужели мы бы ели и спали, зная, что единокровный брат наш, плоть от плоти отцовой, взывает о помощи?! Кто усомнится в этом? Но Господь Предвечный рассудил по-своему... Четыре года — большой срок. Слишком большой...

— Бывали разные случаи,— заметила вяло Саломея.— К тому же, отыщись теперь Фасаэль, парфяне не

преминули бы переманить его на свою сторону, обещая царство в Иудее.

— Замолчи, негодная сестра! — вспылил Ирод, вскакивая с суфы.— Как повернулся твой язык произнести такое о Фасаэле?! Ослабну я, ты также найдешь мне замену?

При этих словах царь едва не вцепился сестре в горло; та не на шутку струхнула и даже отскочила от него на несколько шагов.

— Прости, брат, я только пекусь о твоем благополучии и предупреждаю козни врагов.

— И то верно, что с тебя взять, скудоумная? — остыл Ирод, вновь усаживаясь на суфу.— Твое занятие — прясть шерсть и вязать платки, а не соваться в дела правления. Плохо Иосиф запрягает тебя; вот я научу его, как обращаться с женой. С твоей сварливостью тебе впору канопская харчевня. Тем более что ты и повторяешь египетские россказни. Говори ясно, кто наболтал тебе о Фасаэле?

— Так говорит Соем со слов письмоносцев царицы. Они правят почту и вскрывают некоторые бумаги.

— А почему Соем сошелся с ними?

— Ты сам поручил ему переписку с римлянами. Он передает через них письма Антонию.

— Значит, и египтянка осведомлена об этих грязных слухах?

— Так они и предназначены для нее!

Ирод втянул голову в плечи, и в темных очах его вспыхнул недобрый огонек:

— Конечно, все это ее козни. Яснее ясного! Она сама выдумала и распустила это, чтобы вконец извести меня. И ведь нашла нужных передатчиков! Если дойдет до меня через родную сестру: что может быть разительнее! Она хочет, чтобы я трепетал за свою жизнь. Она думает, у меня слабые жилы и жидкая кровь. Нет же, клянусь небом, не я, но она, губительница своей семьи, убийца братьев и сестры, проклятие рода Лагидов, востерзается и востребещет пуще Фараона в пучинах вод! Думавший обличить других да разверзнется сам! «И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос — плешь, и вместо широкой епанчи — узкое вретище, вместо красоты — клеймо» [1]!

---

[1] Ис. 3 : 15—23.

ПОСЛАНИЕ ИРОДА в Рим консулам Ноннию и Марцию, императору Цезарю. Иерусалим, не раньше сентября 36 г. до н. э. *(Отрывок)*.

«В то время, когда ваши доблестные полководцы сражаются на обоих континентах с мятежниками и врагами народа, когда многие провинции, да и сама Италия, вследствие чрезвычайного напряжения сил испытывает острую нужду и нехватку самого необходимого, в это самое время некоторые из ваших мнимых союзников, которых вы величаете друзьями и учреждаете им статуи, не только не способствуют вам, но даже, напротив, заняты поисками того, как бы повредить и ослабить вас.

Мне стало известно от перебежчиков из числа тирских моряков, находившихся на службе у Секста Помпея (и это подтверждают другие вполне надежные люди), о существовании тайной переписки между египетской царицей и самым ненавистным из ваших неприятелей — сицилийским пиратом, наводящим ужас на все внутренние моря.

Я посылаю вам свидетеля, который изложит дело в подробностях. Лучше, если он будет допрошен не в сенате. Он обладает слишком многим, чтобы не опасаться мести со стороны сицилийцев.

Царица, скрыв свое подлинное лицо равно как от римского народа, так и от своего поручителя — Антония, первейшего воителя, но простодушного и доверчивого человека, за его спиной ведет переговоры с Секстом Помпеем, младшим братом своего бывшего любовника, убитого великим Цезарем, выражает ему свою приязнь, обещает помощь в войне с вами, за которую требует признать за ней Келесирию и Киренаику, а также остров Крит. Бессовестнейший торг римскими владениями венчает этот преступный союз. Перехватите египетских послов, скрытно проникающих на Сицилию, и вам откроется много больше.

Движимый давней дружбой и озабоченный подобными обстоятельствами, я почел нужным известить вас. Я намерен написать также высоким триумвирам Марку Антонию и Эмилию Лепиду. Предвидя, что прямота и откровенность часто не выдерживают столкновения с лестью и притворством, опасаясь быть незаслуженно обвиненным и оклеветанным перед могучими людьми, я прошу у вас заступничества и защиты. Знаю, что сходного с моим мнения о египетской царице придерживается большинство честных граждан Рима».

ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ

И если сделаете из мужчины и женщины единое, чтобы мужчина более не был мужчиной, а женщина женщиной; тогда войдете в царство (небесное).

Евангелие от Фомы, 27

Так ты понял, брат мой, что это драма, или еще нет? Или ты еще думаешь, что это комедия? Мы уже играем третий эпизодий, а ты все сомневаешься? Тебя все еще смущает непонятный жанр? Чего тут непонятного? Пролог, парод, первый эпизодий, второй. Оглянись-ка, и ты увидишь за собой круглый театрон, до отказа заполненный зрителями. Погляди вперед получше: неужели ты не различаешь неувядаемый проскений с высоким логогейоном? Прислушайся: разве только что не гремела орхестра? И предводитель хора разве не пел свой эпод? Как ты можешь сомневаться?

Хорошо же! Вот тебе укромная комната рядом с потаенной Мунихией. Ты идешь в вечерних сумерках навстречу слабому огоньку, мерцающему в конце длинного коридора. Мягкая обувь скрадывает звуки шагов. Ты все ближе и ближе. Из комнаты — ни звука, но ты знаешь, кто там есть. Ты даже знаешь, кто именно. Ты только надеешься, чтоб рядом не оказалось никого постороннего. Ведь тебе нужна встреча с глазу на глаз. Ты еще никогда не желал такой встречи с нею — с глазу на глаз.

Твоя цель — ошеломить и обескуражить. Переломить занесенное копье и вернуть вспенившийся поток в прежнее русло. Ведь он уже подмывает тебя, растопляет почву под ногами; еще немного — и ты рухнешь. Ты веришь в свои силы, не можешь не верить; медлить — значит тонуть, успокоиться — значит погибнуть.

Ты уже готов ворваться к ней степным вихрем, но внезапно замираешь на пороге. Она сидит спиной к тебе и пока не замечает твоего присутствия. Она думает о чем-то своем. Ее блаженное умиротворение сбивает тебя с толку. Она так покойна, что кажется совершенно неготовой к схватке. Может, в самом деле, не стоит ворошить угли и раздувать пожар?

Твои мысли путаются, и решимость, капля за каплей, оставляет тебя.

Тут она оборачивается:

— Что такое? Кто это?!

Ты хочешь крикнуть, выхватить боевой меч, взвыть подраненным волком, но вместо этого неуверенно лепечешь:

— Ты бодрствуешь в столь поздний час, моя Исида?

— Ах, это ты,— спокойно кивает она.— Что случилось?

— Ничего особенного.

— Выкладывай, с чем пришел.

— Говорю, ни с чем. Зашел узнать, не нужно ли чего.

— На ночь глядя?

Поздно, ты уже упустил время. Ты понимаешь, что она уже взяла себя в руки. Она уже внутри неприступной крепости, и все твои баллисты и катапульты рассыпаются как песочная башня. Твое оружие бессильно против нее, как бы ты им ни разил. Тебе не остается ничего, кроме как сдаться ей. Ты уже знаешь, что так оно и будет, и эта обреченность особенно угнетает тебя.

Ты уже сдался, когда на мгновение остановился на пороге. Мгновение решило все. И ничего уже не вернуть...

Скажи теперь, брат, что это не драма! Или что это, по-твоему? Молчишь? Ну, тогда слушай.

В пятницу вечером, когда уплывающий Ра-Атум покинул мрачную долину Хинном и уже коснулся седых верхушек гряды Гареб, во дворце воцарилась непонятная тишина. Клеопатра сидела в резном креслице у раскрытого окна, не отрывая взора от священной горы Мориа, где горделивыми уступами возвышались террасы иерусалимского Храма, залитые в этот час пожарным красно-лиловым светом.

Тяжелые украшения, ожерелья и бусы, давили царице грудь и сжимали горло, серьги гирляндами спадали на плечи,— удивительно, как только она ухитрялась держать голову прямо.

Никого не было с нею в комнате, ниоткуда не пробивалось ни единого звука, как будто время прекратило свой бег и мир впал в оцепенение. Царица не меняла торжественно-напряженной позы, той самой, какой долго и усердно училась у александрийских придворных, когда семнадцати лет от роду взошла на египетский престол. Сейчас она тяготилась этой позой, странным образом вошедшей в привычку. Всякая другая осанка и даже возлежание на трапезном ложе стали

для нее деланными в силу необходимости, и только эта поза оставалась единственной присущей ее природе. В этом было что-то ненормальное, как и в чрезмерных украшениях и пудовых серьгах,— в этом было даже что-то извращенное,— она знала об этом, но ничего не могла с собою поделать.

«Я начинаю тебя бояться,— сказала ей однажды покойная сестра Арсиноя.— Мне приснилось, что мы, как обычно, легли на ночь вместе, и ты вдруг превратилась во льва и больно оцарапала меня когтями».— «Что ты, что ты, милая моя сестрица; верно, это был кто-то другой».— «Нет, Клео, это была ты».

...Солнце давно уже закатилось за горизонт. Странно, что царица оказалась в одиночестве, даже без преданной Хармион, не покидающей ее ни на секунду. Пожалуй, на всем пути из Антиохии это был первый такой случай, чтобы царица осталась без присмотра. Она послала рабынь за теплой водой, дабы омыться перед сном, но те почему-то замешкались.

А ведь это самое удобное время, чтобы совершить на нее покушение. Поздний час, никого вокруг,— какой удобный случай для злоумышленников! О, если бы Ирод не дремал в этот вечер... Кажется, именно так удушили ее тетю Беренику, дочь Сотера. Она вышла в царский сад, села в беседке на берегу бухты, а всех слуг отослала во дворец. Она смотрела на море и на фаросскую бухту, где швартовались корабли. Тут и нашли ее убийцы, посланные коварным пасынком Александром. Мертвое тело царицы обнаружили поутру плавающим в бухте; говорили, что она решила искупаться и утонула.

Звуки крадущихся шагов заставили Клеопатру вздрогнуть. Рабыни так не входят, а Хармион непременно бы окликнула ее. Если же это эфиоп-телохранитель, то как он смеет появляться без спроса?!

— Что такое? Кто это?!

— Ты бодрствуешь в столь поздний час, моя Исида? — раздался из темноты низкий грудной бас.

Она перевела дух:

— Ах, это ты, Аммоний... Благие боги, как ты меня напугал! Подкрадываешься точно призрак. Что случилось?

— Ничего особенного.

Секретарь наконец вынырнул на свет, подбирая в руки полы своего длиннющего хитона, и склонился у правого плеча госпожи.

— Ничего особенного? У тебя такое лицо, Аммоний, будто бы ты вместо жареной куропатки съел запрещенную цаплю. Посмотри, как тебя перекосило.

— В самом деле? Я не смотрелся в зеркало.

Эпистолограф растерянно потрогал свои бритые щеки:

— Неужели так плохо выгляжу?

— Ты выглядишь как несчастный Приам после падения Трои. Выкладывай, с чем пришел.

— Говорю, ни с чем. Зашел узнать, не нужно ли чего.

— На ночь глядя?

Аммоний глупо улыбнулся и пожал плечами.

— Ладно,— молвила царица,— помоги мне распустить волосы. Мои девчонки куда-то запропастились; по-моему, они решили блюсти субботу и увиливать от любого дела. Ведь у иудеев суббота начинается с вечера.

— Я не изучал иудейские обычаи,— сказал звездочет.

— Вот и прекрасно, Аммоний! У тебя есть полное право заменить мне неповоротливых рабынь. Скорее принимайся за дело. Ты так тихо подошел, точно выполз из какой-то дыры. У меня такое чувство, что дворец этот просто нашпигован всякими скрытыми ходами и щелками для подглядывания.

— Ты права,— ответил секретарь.— Прежде чем войти в комнату, я долго смотрел на тебя, как ты сидишь в кресле.

— Ну и как?

— Бесподобно.

— Хитрый льстец...

Александриец вынул из волос царицы дюжину шпилек, от неловкости раза два уколол ее в голову, но она не закричала и стоически вынесла всю процедуру.

— Еще немного усердия, мой ученый друг, и, клянусь Исидой, тебе открыта должность главного завивальщика волос. Что ты на это скажешь?

Аммоний закрыл один глаз и изобразил на лице таинственность:

— В этом легком набатейском платье, без сурьмы и румян, и особенно сейчас, когда у тебя распущены волосы, Клео, ты похожа на настоящую арабку, царицу Савскую. Только та была смугла, а ты и сквозь материю блистаешь ослепительно белой кожей.

Клеопатра бросила на него косой взгляд и снисходительно усмехнулась:

— Ты хочешь подольститься ко мне, но выходит это у тебя как-то вымученно. Пожалей себя, не развивай эту тему.

— Отчего же? — спросил секретарь тем же таинственным шепотом.— Некогда ты заслушивалась, когда я превозносил твои красоты, да еще в элегиях. Скажи, ведь я был даровитым поэтом! Поэтому ты и привязалась ко мне. Увы, текучка дел погубила искусство. А помнишь, там в Кумах:

Мне, истомленному в пустыне,
Даруй, Киприда, сок спелых губ твоих...

— Ты что, перебрал сидонского? — прищурилась царица.— Странно, нет никакого запаха. И глаза холодны как лед. Скажешь, наконец, что с тобою?

Секретарь наклонился к ее уху:

— Да, я опьянел, но не от того, о чем ты думаешь. Я вообще не выношу вина. Но вот сейчас, когда я стоял у двери, не спуская с тебя глаз, ловя волнующий запах твоего тела, голова моя закружилась, будто от хмеля, и ноги подкосились, как у окуренного дельфийца. Былое стало возвращаться ко мне и дало о себе знать. Ах, если б я мог еще бы хоть раз впитать полной грудью...

— Запах? — перебила Клеопатра.

Он проглотил комок:

— И его тоже.

Она прыснула смехом:

— Мне, конечно, очень приятно будить в тебе уснувшего поэта и волновать твое обоняние, Аммоний, но, сказать по чести, ты мне больше подходишь в качестве секретаря, нежели наложника. Это не твоя стезя.

— О, как ты жестока, моя царица!

Клеопатра сочувственно потрогала его лоб:

— Знать, сильно тебя припекло сегодня, мой друг, если ты воспылал такой не свойственной тебе страстью. Ты хочешь что-нибудь выпросить у меня?

— Только твою милость, Клео. Как и тогда, на Лукринском озере...

Губы секретаря коснулись царского плеча, которое тут же отдернулось.

— Да перестань ты, Аммоний! Что за комедия? Садись напротив и говори толком, что произошло.

— Хорошо, Клео, я сяду, только буду держать руку на твоем колене.

— Бог с тобой, держи, если это поможет тебе яснее выражаться. Говори только скорее.

Он устроился на коврике у ее ног, зажав ладонью золоченое шитье калазириса[1], и уставился понурым взглядом на застежку царской сандалии:

— Неблагоприятное движение светил, моя царица. Вчера в полночь я произвел наблюдения,— благо инструменты всегда со мной,— и обнаружил нечто весьма тревожное. В твоем доме Фаэтон, начав попятное движение, стал напротив Файнона, движущегося из падающего созвездия Рыб, а Фосфорос, планета твоей власти, составил с ними равнобедренный треугольник. Но это еще не все. Оказавшись в созвездии Девы, Фосфорос достиг своей низины и в этом положении подчинен влиянию обеих высоких планет.

— Что это значит, Аммоний?

— То, что тебя подстерегает большая опасность. Такого положения Фосфороса не случалось с тех пор, как нас постигла засуха и нагрянул голод. Теперь снова опущенный треугольник, а вверху очень сильные планеты. Поэтому, Клео, я весь день не нахожу себе места. Меня гнетут дурные предчувствия. И чем дольше мы здесь находимся, тем они неотвязней. Не лучше ли нам поскорее покинуть Иерусалим, пока не вышло чего-либо худого?

Клеопатра потупила очи, минуту хранила молчание, но потом решительно вскинула подбородок:

— Лучше бы ты почаще заглядывал в наши счета, Аммоний, нежели беспрестанно вымерял звезды. Дамасский реестр, уверена, до сих пор не закончен, а к финикийцам ты даже не приступал. Объясни внятно, что тебя беспокоит?

— Ты встречалась с тещей царя Александрой.

— Ах вот оно что! — просияла царица.— Вот с чем ты явился? Ну что же: хорошо, что ты проведал об этом. Да, я разговаривала с ней. Она мне нужна. И тебе известно, зачем.

— Но ведь тебе должно быть ведомо, Клео, что это за люди? Кто за ними стоит и кого они ведут за собой? Самые что ни на есть темные, смутные, враждебные силы, какие только найдутся в этой стране, да и во всей Азии! Это целые сонмы фанатичных смутьянов, которым ненавистно все не иудейское, не ихнее, которые прячутся по подвалам и подземельям, но только ждут слу-

[1] Калазирис (*егип.*) — легкая женская одежда.

чая, чтобы выбраться на белый свет и установить свои пещерные порядки. И ты, великая царица, надежда Востока и Запада, сносишься с ними накоротке...

— Я скажу так, Аммоний. Это моя игра. Я использую их против Ирода. Для этого я и обратилась к Александре. Сами по себе они нужны мне не больше, чем ливийский песок.

— Как ты не поймешь, Клео?! — досадовал секретарь, стискивая пальцами ее колено.— Это дракон, разбудив которого мы накличем беду не только на Ирода, но и на наши собственные головы! Он изрыгнет огонь, от которого вспыхнет не только Иерусалим, но и Александрия! Остерегись, Клео, твои чувства возобладали над разумом. Ирод гораздо надежнее для нас и для Антония, чем все эти злобные храмовники и сектанты...

Клеопатра возмущенно встрепенулась:

— Убери руку с моего колена, Аммоний! Вот уж не думала, что встречу в тебе защитника наглого идумеянина. Ты ведешь себя, как его наймит.

Александриец вздрогнул и отдернул ладонь; свою растерянность он попытался выдать за обиду.

— Хорошо, хорошо, не обижайся, мой друг,— улыбнулась царица, заметив, как потемнело чело секретаря.— Я пошутила. Знаю, что ты печешься о моем благе, как о своем, и судишь весьма взвешенно. О, если бы ты так же основательно заботился и о моей царской чести, то не позволил бы каждому встречному унижать свою госпожу и выставлять ее на смех.

— Пора уже забыть тот глупый случай на горе,— проворчал Аммоний, отворачиваясь в сторону.— Разве можно серьезно относиться к проделкам шутов? Если хочешь отомстить ему, унизь его достоинство, посмейся над ним, как ты умеешь. Но надо ли добиваться его смерти?

— Ну вот, ты уже и надулся... Я тебя сильно обидела? Дай мне свою руку. Вот так. О, мой старый верный друг, служивший еще моему отцу; не много найдется людей, которые были бы мне столь же дороги, как ты. А что я иногда обижаю тебя, так ведь это от большой привязанности. Улыбнись же, Аммоний! Все идет прекрасно; поверь, я сумею обуздать этих узколобых храмовников. Они будут только орудием в моих руках. Ты хочешь поскорее уехать? Потерпи до понедельника. Мы уже написали Хелидону, что идем в Аскалон.

Эпистолограф попытался освободить свою ладонь, но царица не отпускала ее.

— Ты все еще дуешься, мой друг? Хочешь, я поцелую тебя?

Секретарь в задумчивости пожал плечами. Клеопатра взяла его голову в руки и запечатлела на его губах короткий, но выразительный поцелуй.

— С чего это ты вдруг вспомнил о Лукринском озере? Через столько-то лет... Ну, да ладно. Итак, мир?

— Мир,— кивнул он нерешительно.— Одно только мне неясно: как быть со сдачей в аренду Иерихона?

— Никак.

— Но что будет с Иерихонской областью?

— Ничего не будет. Ровным счетом ничего, пока на троне сидит наглый идумеянин.— Клеопатра хитро подмигнула и прищелкнула пальцами.— Подожди, мой друг, Аристобул с матерью заплатят нам за Иерихон в три раза дороже, да еще и кланяться будут.

— Значит, все-таки ему уготована смерть? — спросил звездочет с беспокойством в голосе.

— Пожалуй. Хотя мне достаточно, если Ирода выкинут из дворца на ту помойку, из которой он выполз. Но Александра — неукротимая женщина, нисколько не похожая на своего вялого отца,— одержима желанием прямо-таки уничтожить его. На меньшее она не согласна. Я даже не ожидала от нее такой прыти. Словом, дело теперь поставлено так, что идумеянина ожидает скоро путешествие на Ахеронт[1]. Куда ему, впрочем, и дорога.

Аммоний тягостно вздохнул и сделал последнее усилие, чтобы переубедить царицу:

— Опасную игру ты затеяла, Клео. Знаки небесных светил...

— Ты опять? Хватит! — Клеопатра стукнула рукой по подлокотнику.— Довольно! Мне надоели твои бабьи причитания. Я решила наказать Ирода, и никакие светила, со всеми созвездиями в придачу, меня не остановят! Ясно тебе, звездочет?

Секретарь молча поклонился.

— На этом разговор закончен. Отправляйся к своим бумагам, Аммоний.

— Повинуюсь, госпожа,— кивнул он, поднимаясь с коврика.— Прости, если я был дерзок и неучтив с тобой.

— Вот так-то лучше! И поторопи там моих рабынь.

[1] Ахеронт — озеро в царстве мертвых.

АММОНИЙ, 43 года; по профессии астролог, по должности эпистолограф. Из александрийской семьи жрецов Сераписа. Обучался риторике у Тимагена, астрологии — у Сосигена. В молодости служил смотрителем библиотеки Мусейона, затем был приближен ко двору.

В 58 году сопровождал царя Птолемея XII Авлета, бежавшего в Рим от восставших александрийцев, участвовал в переговорах с Помпеем, Клодием, Лентулом Спинтером, выполнял ответственные поручения царя. Как знаток александрийской литературы часто бывал в доме Цицерона. С возвращением Авлета в Египет (55 г.) сделался царским астрологом.

В годы правления малолетнего Птолемея XIII (51—47 гг.) был оттеснен от дел антиримской придворной кликой Потина — Ахиллы, отчего поддержал воцарение Клеопатры и вошел в доверие к Цезарю. Вместе с Сосигеном разработал новый календарь, принятый затем в Риме (Юлианский календарь).

Особо выдвинулся в 46—44 годах, сопровождая Клеопатру по Италии. Участвовал в устранении ее соправителя Птолемея XIV, а в 43 году, после ссылки царского секретаря Серапиона, низложенного с его помощью, занял эту должность. Однако со стремительным возвышением Хелидона, молодого фаворита царицы, прежнее положение его при дворе пошатнулось.

Выйдя от царицы, Аммоний тут же направился в свою комнату, расположенную в южной части дворца, вызвал двух писцов и около получаса диктовал им дамасские счета. Голос его, вначале решительный и звонкий, с каждой минутой становился все глуше и глуше, будто бы он был механической игрушкой и у него кончался завод. Наконец, оборвав речь на полуслове, он отшвырнул пергамент и сокрушенно махнул рукой:

—. К Харону! Ничего не выйдет, клянусь Фебом! Все бесполезно. Они сцепились друг с другом как быки, а я разменная монета между ними. Никого не остановить...

Писцы удивленно вскинули глаза, впервые видя своего начальника в подобном расстройстве, но Аммоний тут же отпустил их, говоря, что хочет остаться один.

Он налил себе полную чашу неразбавленного хиосского и осушил ее порывистыми, судорожными глотками. Терпкая влага забрызгала золоченое шитье его хитона, но он этого не заметил. После второй чаши взгляд

его прищуренных глаз приобрел какой-то красноватый металлический отсвет, точь-в-точь как на погребальных египетских фресках.

Высокомерно-холодный царский поцелуй еще блистал на его устах, напоминая о былой близости и потерянном могуществе; он решительно стер его, как будто избавлялся от какой-то заразы.

Беря от Ирода взятку, александриец почитал свою услугу одной из легчайших. Клеопатра еще в Дамаске обговаривала с ним условия сдачи в аренду бальзамовой области, и слово мудрого секретаря имело решающий вес. Кто бы подумал, что одна капризная вспышка взбалмошной женщины, смехотворная обида на представление мимов собьет и разрушит столь отлаженный механизм?!

Теперь царица уперлась и не отступит ни на шаг; Аммоний хорошо знал ее норов. Раз она не погнушалась сговором с враждебной партией ради отмщения строптивому другу — дело действительно зашло далеко. Ирод при любом исходе не получит Иерихона и тогда непременно изобличит неудачливого секретаря как лжеца и вымогателя. Разве он пощадит того, кто обманул его в стольких ожиданиях? Конечно не пощадит! Идумеянин успеет протрубить в рог даже раньше, чем с ним что-либо случится. Разве не успеет? Конечно успеет!

Вот куда очертя голову ввязался ученый астролог, и вот чем грозит ему ближайшее будущее!

Никогда еще он не чувствовал себя в такой опасности, как теперь. Ни тогда, когда брал от мисийца Клеона двести тысяч драхм за то, чтобы тот попал на обед к Клеопатре; ни когда отмывал его разбойничьи деньги у эфесских банкиров; ни когда утаивал от царицы шестую часть всех подношений; ни когда перепродавал несчастных аманских пленников на невольничьи рынки Коса и Родоса. Его имя всегда оставалось в тени, и даже собственные писцы не могли помыслить, чтобы их степенный рассудительный патрон мог проворачивать какие-то темные сделки и был замешан в стольких махинациях.

Надо было что-то срочно предпринимать, но на ум ничего не приходило. Надо было занять чью-то сторону, но он не решался двинуться с места, будто заговоренный. Надо было бороться, но его одолевало оцепенение.

Лишь после третьей чаши секретарь почувствовал прилив сил и ему захотелось посмотреть на полученный задаток. Драгоценности Ирода хранились в не-

большом ларце: частью монетами, частью золотой и серебряной посудой. Аммоний вынул ларец из ниши, распахнул крышку и тупо ткнул пальцами в сокровища. Его поразила их необычайная холодность, еще холоднее, чем губы царицы. Его пробрала дрожь, почти что озноб...

Нет, он никогда не спускал деньги впустую. В Милете его ждет роскошный особняк близ булевтерия[1], в Афинах — двухэтажный дом на Керамике, а в Ионии — довольно приличный островок с усадьбой, пристанью и двумя кораблями. Там же в наглухо запертом подвале хранятся две тысячи свитков с собственноручными текстами Каллимаха, Аполлония, Эратосфена и прочих мудрецов, унесенные из александрийского Мусейна во времена пожаров и беспорядков. Он спас их из бушующего пламени! А ведь каждый из них потянул бы сейчас в Риме на тысячу денариев!

Бежать! Звездочет склонился над ларцом, тревожно озираясь по сторонам. Прихватить полученный задаток и бесследно исчезнуть из Иерусалима, пока не поздно, нанять какой-нибудь тирский корабль и скрыться от всех глаз на тихом безоблачном островке. Пусть другие отныне прислуживают этой фаросской гарпии, с него довольно.

Хотя можно и не прятаться. Отчего бы ему скрываться? Ведь у него столько друзей в Риме! Тот же Помпоний Аттик, обещавший ему усадьбу близ Касина, тот же сиятельный Гай Оппий, тот же Арий Дидим, убежавший из Александрии в прошлом году. Они ненавидят египтянку и примут его с распростертыми объятиями. Они не выдадут его, даже если вмешается Антоний!

А вдруг еще обойдется?! Что, собственно говоря, ему угрожает? Он делает свое дело, а что до царских склок, то пусть коновал и флейтистка разбираются меж собою. Пусть призывают на помощь родню, пусть братаются с сектантами, пусть даже с парфянами; ему-то что?

Подкатившая к горлу тошнота мешала Аммонию сосредоточиться. Он открыл решетчатое окно, затем дверь, ведущую во двор, но и этого показалось мало. Он спустился по ступенькам в ночной садик, залитый серебристым лунным светом.

Какая-то сгорбленная тень, не то человека, не то животного, мелькала между черными стволами платанов и кипарисов.

---

[1] Булевтерий — здание, где заседал городской совет.

— Эй, кто там?! — закричал Аммоний, сам удивляясь своей смелости.— А ну-ка ступай сюда! Не смей прятаться!

Тень на минуту замешкалась, затем неторопливо, с опаской выступила из кустов.

— Ты человек или дух?! Приблизься ко мне. Еще ближе. Кто ты? — спросил секретарь, разглядев маленькую горбатую женщину с длинной метелкой в руках.

Женщина покорно поклонилась:

— Я здешняя служанка, жена садовника. Не беспокойся, господин, я сейчас уйду.

— Ничего не понимаю, иудеянка. Говори по-гречески.

Служанка как могла растолковала суровому александрийцу свое появление.

— Ты знаешь по-нашему? Это хорошо,— мрачно усмехнулся эпистолограф.— Однако какая ты уродина, иудеянка! Говоришь, жена садовника? Что же муж твой, взрастив такой прекрасный сад, запустил свою дражайшую половину? Если бы ты привиделась мне во сне, я бы проснулся от ужаса.

Она виновато поклонилась и хотела было юркнуть обратно в темноту, но александриец остановил ее властным окриком:

— Постой, подметальщица! Что ж... Может, оно и к лучшему. Я ждал именно этого.

— Не понимаю, господин...

— Я не господин, иудеянка. Мои чистые наряды обманчивы. Я столь же грязен и жалок, как и ты. Я так же горбат и запущен. Клянусь Фебом, мы ровня с тобой!

Служанка недоуменно пожала плечами.

— Хорошо, что я встретил тебя, подметальщица. В моей комнате скопилась куча мусора. Вынеси его.

Тон Аммония не терпел возражений. Он распахнул двери и показал плохо освещенный покой. Прямо у порога действительно валялся ворох скомканных бумаг. Служанка поднялась в комнату и не заметила сразу, как эпистолограф перегородил собою выход.

При свете лампы женщина выглядела еще более безобразно и отталкивающе, нежели в темноте. Горб старил ее лет на двадцать, иссохшие руки с длинными костлявыми пальцами ничем не отличались от ее дворовой метлы, сморщенное лицо хранило печать жуткого Тифона. Аммонию подумалось, что более невыносимо-

го существа он не встретил бы и среди ракотийских бродяг.

Он тряхнул головой и оперся на дверной косяк, еще не вполне справившись с тошнотой.

— А теперь вот что. Сколько тебе нужно денег, иудеянка?

Она неловко помялась и с опаской оглянулась вокруг.

— Я дам тебе тысячу драхм, подметальщица. Понимаешь? Тысячу драхм. Бери!

— Тысячу драхм? За что, господин?

— За что?..— Аммоний откинул голову, шумно, с наслаждением втянул в себя воздух.— Клянусь небом, только не за то, что ты подумала! Я не собираюсь даже приближаться к тебе. У меня сегодня бессонница. Меня мучает изжога. Я одарю первого встречного, кто развеселит меня. Если сумеешь это, получишь свою тысячу! Ты спляшешь какой-нибудь танец, а я посмотрю. Надеюсь, хотя бы плясать в субботу вам дозволяется?

— Господин изволит смеяться?

— О, я дам тебе вдвое больше, если ты при этом разденешься донага!

Служанка испуганно округлила глаза и отшатнулась от Аммония:

— Ты сильно пьян, господин. Ради Господа, не говори такие слова. Лучше я уйду отсюда...

Но секретарь не думал освобождать ей дорогу:

— Постой, старуха! Я вовсе не шучу. И я не помешанный. Я сейчас же выдам тебе в золоте или серебре любую сумму, какую ты назовешь. Никто не узнает, как ты ее заработаешь, клянусь небом! От тебя требуется только раздеться и сплясать для меня.

Аммоний дрожал от возбуждения. Он уже представил себе позорное и постыдное зрелище трясущегося человеческого тела, полного жутких изъянов. Внезапное желание увидеть это захватило его целиком. Если бы перед ним была стройная красавица, он бы с отвращением отвернулся. Ему хотелось именно безобразия, немыслимого фарса, чудовищной, дьявольской пантомимы.

Бедная женщина метнулась к раскрытому окну, но секретарь поймал ее за руку:

— Десять тысяч драхм! Пятьдесят тысяч! Сто!..

— Заклинаю тебя твоим счастьем, отпусти меня, чужеземец! — жалобно взвыла несчастная.— Я не иудеянка... Зачем издеваешься надо мной, зачем оскорбляешь?

Разве нет у тебя для утехи тех, кто помоложе и покрасивее?!

— Нет! — воскликнул Аммоний.— Ты! Именно ты, старая грая! Раздевайся и пляши! Я хочу созерцать горбатость твоего тела, упиваться его страшным безобразием. Ты — образ моей души. Я заплачу любую сумму. Двести тысяч драхм!

Служанка продолжала вырываться от него, пыталась звать на помощь, но дыхание ее перехватило.

— Триста тысяч драхм! Четыреста! Пятьсот! Или ты не веришь, что я дам тебе столько? Смотри!

Аммоний поволок ее к нише, где хранился заветный ларец, и распахнул перед ней крышку.

— Несчастная, ты хоть понимаешь, сколько это?! В силах вообразить, какое это богатство?! Какая удача сегодня привалила тебе?! На эти деньги ты купишь настоящий дворец! Да еще и сотню мальчиков в придачу вместо одного дряхлого муженька! Любой вельможа в Иерусалиме потеряет голову, если ему покажут половину того, что даю тебе я. С такими деньгами ты станешь вровень с царями! Или ты сомневаешься, что это будут твои деньги? Или ты не сумеешь сплясать? Может, ты хочешь убедить меня, что не продаешься ни за какую сумму? Рассказывай это своему супругу-остолопу. Все в этом мире покупается. Все!

Служанка растерянно застыла перед ларцом, словно бы ослепленная его небесным сиянием.

Александриец довольно потер руки:

— Вижу, наконец-то ты взялась за ум. Итак, моя жуткая Горгона, моя Скилла, моя Харибда, распрямись, скинь с себя рваные лохмотья! Что, нет музыки? К Харону! Обойдемся без нее. Я никак не буду тебя принуждать; ты все сделаешь сама. Сначала ты откроешь мне свой горб,— клянусь Фебом, невероятное уродство! Затем повернешься грудью,— что за отвратительные отвисшие перси со сморщенными сосцами, будто у изношенных бурдюков камышовые затычки! Затем сбросишь с себя остальное, и тогда костлявые чресла и синюшные ягодицы предстанут во всей ужасающей наготе. Скорее же, неповоротливая иудеянка! Золото торопит тебя!

Служанка отчаянным усилием отпихнула от себя Аммония, да так, что он поскользнулся на полу и грохнулся на спину, сильно ушибив позвоночник. Болезненная гримаса перекосила его лицо. Он с трудом перевернулся на живот и, не поднимая глаз, прохрипел:

— Так, прекрасно. Я скажу больше...

Жестокое падение, казалось, потрясло александрийца и отбило у него всякую охоту к пляскам. Он отполз к низкой суфе и обнял ее обеими руками, как будто боялся упасть еще ниже.

Потом он отрешенно мотнул головой и увядшим голосом процедил:

— Слушай меня, иудеянка. Ты подумала, я какой-то господин. Но я — продажный скот. И я — грязный торговец благами своих господ. Я продаюсь от одного господина другому, потом наоборот, кто сколько положит. Там, в ларце, плата за последнюю сделку.

Он засмеялся, преодолевая хрипоту и сип, и плечи его нервно задергались:

— Я уже сам не знаю, кто я: эллин, римлянин, египтянин или иудей. Знаю только, что я скот, бредущий и мычащий. Посмотри на меня: разве это не скотство? Ты возьмешь все, что в ларце, если ударишь меня бичом. Да-да, именно бичом, как бьют заплутавшую скотину! Исхлещешь, как зарвавшегося зверя! Каждый удар — один талант золотом!

Он лихорадочно скинул с себя измятый хитон и обнажил худощавую спину, как это делает вор на публичной порке:

— Ну? Бей!

Женщина не двигалась с места.

— Что ты вытаращила глаза? Скорее хватай бич и хлещи что есть мочи. Я ведь оскорбил твою честь! Я ведь насмехался над тобой! Разве ты не хочешь отомстить? Бей!

И, уже сладко зажмурив глаза, кусая губы, прошептал:

— Не жалей меня, моя царица. Ведь я тебя никогда не жалел. И звезды тебя не жалели,— я скрывал от тебя. И вот я, негодный раб, уличенный тобой. Бей...

Пока он так изъяснялся, служанка неслышно прокралась к двери и стрелой вылетела во двор. По комнате загулял ночной ветерок, несущий сухие листья, пламя лампы потухло, но лежащий ничком александриец ничего этого уже не видел. Он свернулся в клубок, подперев подбородок коленями, и, издав последний стон, отдался наплывающему сну.

Ему приснился трехпалубный флагман «Цезарея», на котором он отплывает от берега, напоминающего Эфесскую гавань. Корабль отплывал почему-то вечером, при свете факелов; матросы суетились на корме, ругаясь и толкая друг друга, от тороплизости роняя поклажу за

борт, и какие-то неведомые морские существа тотчас поглощали упавшее, подпрыгивая над водой и поднимая фонтаны брызг.

Он долго пробирался между людьми и товарами, пока не нашел царскую каюту, в которой на пурпуровом ложе сидела Клеопатра.

Она встретила его округленными очами:

— Ты с ума сошел! Сейчас сюда придет Цезарь!

Он удивился:

— А разве Цезарь на этом корабле?

— Посмотри.— Клеопатра показала ему развернутый свиток.— Видишь, что здесь написано? Читай, если не веришь.

Аммоний попытался что-то прочесть, но, кроме имени Цезаря, ничего не разобрал. Причем все слова были написаны черными чернилами, а имя Цезаря выделено красной краской; оно тотчас бросалось в глаза.

— Этого не может быть... — пробормотал Аммоний, всматриваясь в тревожное лицо египтянки.— Этого не может быть... А кого тогда зарезали Брут и Кассий?

— Тебе мало того, что написано? Что ж, оставайся здесь. Сейчас ты сам его увидишь. Вот, я уже слышу его шаги.

— Может, мне укрыться под ложем?

— Конечно! — воскликнула царица.— Полезай скорее, иначе ты будешь застигнут врасплох и не успеешь спрятать деньги Клеона.

Аммоний стал на четвереньки, с трудом пролез между низкими толстыми ножками и едва уместился под ложем.

— Он еще не вошел?

— Нет, еще нет. Его шаги на верхней палубе.

— Тут можно задохнуться... А может, это вовсе не Цезарь? Ты точно знаешь, Клео, что это он?

— Сколько раз повторять тебе, несчастный? Он это, он! Неужели ты не узнаешь его голос? Ну? Ты еще сомневаешься?

— А Птолемей тоже плывет с нами?

— Да-да, здесь все мои дети: и Птолемей, и Александр, и Селена.

«Ну и попал я в переделку! — досадливо подумал Аммоний. Потом он изумился: — Постой! Как же так? Ведь она родила Александра и Селену от Антония. Как же Цезарь может это переносить, да еще и ходить к ней как ни в чем не бывало?! Здесь что-то не так. От меня что-то скрывают».

— Ну? Скоро он войдет?

Никто ему не ответил.

— Клео, я спрашиваю, не вошел ли он?

Опять тишина.

— Клео, где ты?

Аммоний чего-то сильно испугался. Он испугался так, что сдавило в висках и почти онемели конечности. Он хотел выбраться из своего укрытия, но не мог даже пошевелиться. Он беспомощно распластался на полу под царским ложем, раскинув руки и ноги, будто на распятии. Какое нелепое сравнение!

Кто-то большой и грузный опустился сверху на пуховики, так что ложе заскрипело и прижало бедного астролога, готовое раздавить его в лепешку. Он хотел крикнуть, позвать на помощь, но едва раскрыл рот, как раскатистый смех, подобный удару грома, опередил его.

Аммоний узнал голос Хелидона.

Утром, против обыкновения, секретарь не поднялся к положенному часу. Он не просыпался до тех пор, пока его в том же скрюченном положении на полу не застали писцы Потин и Диомед.

Багровое пустынное солнце, с трудом выползшее из-за Елеонской горы, угрюмо взирало на него через открытые окна спальни. Аммоний досадливо отмахнулся от него и повернулся на другой бок. Какой дурацкий сон! Глупее, кажется, ему еще ничего не снилось.

— Оставьте меня,— буркнул астролог писцам, когда они переносили его на кушетку.— Идите в приемную; я скоро приду. Позовите мне пока Сира.

Это был его раб-гиперет[1].

Ларец с иудейским золотом все еще красовался у всех на виду, соблазняя и без того смущенные души. Аммоний поспешно задвинул его обратно в нишу и только после этого отправился к умывальнику ополоснуть мятое, опухшее от вечерних возлияний лицо.

Он увидел в воде свое отражение и укоризненно покачал головой: не надо доводить себя до этого. Царице донесут, что он спивается, а она, хоть и сама большая любительница застолий, в серьезных делах пьяницам не доверяет.

Когда Аммоний вернулся в комнату, раб-гиперет был уже там и ожидал его распоряжений.

— Слушай,— сказал астролог низким, приглушен-

[1] Гиперет — посыльный.

ным голосом.— То, что я поручу тебе, нужно сделать быстро и без лишних свидетелей.

— Слушаю, господин.

— Найдешь здешнего евнуха Эзопа — он служит при царе — и передашь ему мою просьбу...

Аммоний задумался, покачиваясь взад и вперед, чувствуя, как голова падает на грудь, и сильно потер виски, пытаясь удержать ее в равновесии.

— Что передать-то? — спросил гиперет, не спуская с хозяина пристального взора.

— Передай ему... Передай, что я...

В царском саду что-то звякнуло, похожее на скрежет железа, и тут же чей-то хриплый голос гикнул на чистом греческом: «Все! На сей раз ты отыгрался, негодник! Это была твоя последняя выходка». Жалобный детский голосок отвечал: «Я не хотел... Я случайно...» — «Нет, мерзавец, теперь тебе пришел конец. Сейчас мы с тобой рассчитаемся!»

— Что передать-то, мой господин?

Аммоний отвел взгляд от окна, передернулся, будто его терзала проказа, и глухо процедил:

— Передай, что я прошу личной встречи с царем. Скажи: возникли новые обстоятельства. Нам нужно переговорить с глазу на глаз.

— Слушаюсь, господин,— кивнул сообразительный раб.

СТАСИМ ТРЕТИЙ

Они соблюдают в своей среде самую строгую честность и всегда готовы оказать друг другу помощь, в то время как они питают злостную вражду ко всем остальным. Они отделяются от других при еде, воздерживаются от сожительства с женщинами другой веры, но в своей среде они считают все дозволенным.

Тацит. «Анналы»

Тем же вечером, когда Аммоний уходил от Клеопатры, на горе Мориа, в одной из пристроек Храма Господнего, закончилось заседание синедриона. Каменные стены, сложенные из огромных глыб, почти что без окон, не пропускали солнечного света, отчего досточтимое собрание, несмотря на свою многолюдность, выглядело мрачным и пустынным.

Отблески чадящих факелов судорожно метались по тюрбанам и шапкам храмовиков; из-под тяжелых тефеллинов[1] и налобных повязок с текстами из Закона угрюмо выпячивались огромные носы и причудливо завитые бороды. Здесь все казались на одно лицо, и стар и млад: и те, кто заседал с незапамятных времен, и те, кого совсем недавно возвел в синедрион победивший Ирод.

Некогда громогласный и могучий, вершивший все дела государства, синедрион теперь сник, потускнел и растворился в мелочных пересудах. Ирод отнял у него необъятную власть, оставив лишь религиозные функции. Обсуждать что-либо, кроме культовых дел, теперь уже не имело никакого смысла. Большинство членов синедриона потеряло к собранию всякий интерес и ходило на заседания только из тщеславия либо по привычке, исполняя предписанный ритуал.

Зал оживлялся лишь в те дни, когда разбирались дела еретиков или творился суд над сектантами, непримиримыми фанатиками, много и часто досаждавшими иудейским властям. Но главные смутьяны были уже умерщвлены, а их выловленные сообщники выглядели настолько жалко и беззубо, что суд заканчивался, едва начавшись.

В этот день заседание выдалось одним из скучнейших. Лично председательствовавший на нем первосвященник Аристобул, казалось, сам едва дождался закрытия. Монотонным голосом он прочел благословение наступающей субботе и дал знак расходиться. Толпа с готовностью рассосалась в две двери по бокам зала, оставив душный запах отработанных паров.

Однако сам Аристобул не торопился покидать своего кресла. По уговору, с ним не расходились также два десятка хмурых вельмож, сидевших к нему всех ближе. Худое и бледное лицо юноши — первосвященнику было всего восемнадцать лет — казалось почти миниатюрным на фоне обросших физиономий окружающей знати. Укутанный в белый льняной ефод, в неимоверно огромном золоченом кидаре, он походил на какую-то языческую куклу.

— Все ушли, о наси[2],—доложил молодой гаццан[3],

---

[1] Тефеллин — металлическая пластинка или лента пергамента с текстами из Торы, надеваемая на лоб или на правую руку.

[2] Наси — глава, руководитель.

[3] Гаццан — хранитель священных текстов в синагоге.

проверявший двери.— Я выставил стражу у обоих входов.

— Надеюсь,— молвил Аристобул, водя вокруг себя мутным усталым взором,— здесь остались только самые честные и праведные мужи? Здесь нет таких, которые забрели по случайности, по недоразумению? Нет, вы остались вполне обдуманно, и с вами мы будем держать совет.

Он приумолк на минуту, перебирая слегка дрожащими пальцами застежки ефода, как если б готовился принести клятву или дать обет. Взоры всех присутствующих устремились на эти его пальцы.

— Дела наши плохи, други мои,— начал первосвященник не вполне решительно,— что тут рассказывать? Вы знаете не хуже нас или даже лучше. Все это вы испытали на себе... Что тут рассказывать?

Миниатюрный водитель иудейского жречества заметно волновался и повторял по многу раз одни и те же слова. Из его речи нельзя было разобрать, чего он хочет. Ясно было лишь, что юноша ужасно удручен и ищет понимания.

— Мы просили вас остаться здесь, чтобы совместно решить, что делать дальше... Мы уверены, вы не останетесь в стороне, когда бесчинство попирает Закон и зло торжествует победу. Что тут рассказывать?

— Зло, конечно, следует обуздать,— подал голос гибейский судья Досифей, высказав абсолютно бесспорную мысль.— Зло нуждается в наказании.

— Да, в наказании,— очнулся ободренный поддержкой Аристобул; он оглянулся за спину, пытаясь кого-то разглядеть, но там никого не было.— И в очень примерном наказании.

— И это наказание должно быть неотвратимым,— подсказал Досифей.

— Да, неотвратимым. Мы надеемся, с этим согласны все...

Из-за этого многозначительного «мы» непосвященные терялись в догадках, кого юноша, кроме себя, имеет в виду. Уж не Господа ли Бога?!

— Многие бы желали, чтобы зло торжествовало и дальше. А кое-кто хотел бы, чтобы мы вовсе не замечали его. И даже не собирались, чтобы уличить в нем. Чтобы наше собрание навсегда утратило зрение и слух...

— Чтобы стало немым и податливым,— вновь подсказал Досифей.

— Да, податливым. Разве мы можем это допустить?

— Нет, наси, этого допустить нельзя.

— Да, нельзя. И Господь не допустит этого. И мы, утроив, учетверив молитвы, будем взывать к Нему, чтобы Он явил справедливость. Да, справедливость...

Аристобул сбился и снова замолчал. Пальцы его, пробежав по застежкам в последний раз, безжизненно упали на колени. Даже те, которые так ничего и не поняли, прониклись бесконечным сочувствием.

В эту минуту в зале возникло движение, и по головам пробежал возбужденный вздох. Из-за кресла первосвященника быстрым шагом вошла закутанная в черный плащ госпожа Александра; казалось, в затхлую гробницу ворвался свежий ветер. Храмовники шумно приветствовали ее появление. Присутствие в синедрионе столь замечательной женщины обещало нечто из ряда вон выходящее.

— Я ждал тебя, мать! — встрепенулся поникший было Аристобул, заговорив наконец от своего лица.

Александра сделала круг по залу и уселась рядом с сыном, в пустующее кресло аб-бет-дина[1]. Собрание тотчас забыло об архиерее и напряженно ловило каждое слово царской тещи. Многие склонны были видеть в ней вторую Саломею, да и сама Александра всеми манерами старалась подражать своей великой бабке.

Она приступила к делу безо всяких околичностей:

— Доколе, славные мужи иудейские, доколе, спрашиваю вас, мы будем сносить безумства и алчность римского сторожевого пса, этого нового Эпифана, нового Помпея, нового Лициния Красса? Год назад он вытрясал подношения Храму Господа, как хищник, набрасывался на имущество осужденных, а теперь он разорил гробницу Давида. Что же завтра? Вы ждете, когда он придет грабить вас?

Александра выбросила руку вперед и потрясла ею перед лицами собравшихся:

— Доколе, спрашиваю, мы будем сносить унижение веры, надругательство над святынями народа, насилие и грубость безродного идумеянина и его эллинской своры? Вы, свет и разум земли иудейской! Отвечайте: доколе?

Резкий, почти кричащий голос ее поверг собрание в замешательство, а некоторые даже пригнулись в страхе оттого, что присутствуют при явном заговоре. Похо-

[1] Аб-бет-дин — букв. «отец суда». Второе лицо в синедрионе, после наси. Овладев Иерусалимом, Ирод на время упразднил эту должность.

же, и сам Аристобул испытывал растерянность; он както сжался на своем возвышении, не выдержав подобного напора.

— Чего молчите? — наседала меж тем Александра.— Мало ли он глумился над вами? Мало ли притеснял? Мало ли крови на его руках? Нужно ли мне перечислять по именам? Пойдите и послушайте стоны народа, коли ваш разум спит. Целый год — всего лишь год! — царит он над иудеями, но уже нанес такой урон, какого не нанесли все Селевкиды, вместе взятые! За один год по вредоносности он затмил два века господства иноземцев. Он не превзошел разве что Навуходоносора, губителя земли иудейской, но скоро, клянусь скрижалями Моисея, переплюнет и того!

— Что тут рассказывать? — вступился Аристобул, подражая тону матери.— У порога Дома Господнего теснятся иноземные чудища; великий Храм, и вера отцов, и священничество, и законы — в опасности. Всякий иудей, где бы он ни жил, на Святой земле, в Александрии или в Риме, в сей грозный час должен встать на защиту святыни.

— Даже мертвые вопиют! — воскликнула царская теща, раскаляясь пуще прежнего.— Но вы, мужи иерусалимские, семя Левия и Садока, к кому взывает униженный и поруганный народ, к кому обращается Господь, требующий наказания злодея, посмотрите-ка на себя: всякий эллин, римлянин или идумеянин в вашей отчизне могущественнее любого из вас. Они пируют в роскошных дворцах, похищают ваших жен, распродают ваше имущество, а вы прячетесь от людских глаз в этом затхлом притворе. О, братья Маккавеи, восстаньте из гроба, придите и посмотрите, как ваша паства обманута, и предана, и вновь обращена в рабство; а сильные мира сего не смеют пикнуть против шайки кровожадных захватчиков!

Пламенные обличения Александры все же пробрали тайное собрание. Мужчинам стало стыдно, что женщина оказалась смелее их. Из разных углов залы стали доноситься сначала робкие, затем все более смелые голоса:

— Ты права, о дочь Маккавеев; довольно сносить нам засилье язычников!

— Мы думали, Ирод станет за веру Господа, а он предал ее.

— Он нарушает Закон. Оскверняет субботу. Еще не кончились дни поста, а он вовсю пирует с иноземцами.

— Мы ничего не забыли ему. Кровь Паппы и Антигона, кровь несчастных Самеи и Вава вопиет к нам!

— Не будет покоя, пока он правит страной. Все мы под страхом лишений и смерти...

Александра кивнула головой, сочтя обвинительные речи законченными:

— Крепитесь: я принесла вам благую весть. Дни Ирода подходят к концу. На нашей стороне не только ждущий избавления от тирана народ, не только сила и слава пророков и не только благословение прежнего властителя и первосвященника, моего отца. Всевышний склонил на нашу сторону сердца великих правителей. На нас надеются цари сопредельных стран, которые не в силах долее переносить высокомерие наглого выскочки. Они ждут от нас действия и обещают свою помощь.

Храмовники многозначительно переглянулись между собой. Кто-то усомнился:

— Но за него Рим, почтенная...

— Ха-ха,— злобно рассмеялась Александра.— Можете успокоиться на этот счет. То, что случилось десять лет назад, больше не повторится. Есть могущественные люди, союзные нам, которые остановят римлян, если те вздумают его поддержать.

— Даже Антония?

— Его в первую очередь!

В этот миг, будто бы нарочно, погасли сразу два факела, и высокое собрание погрузилось в еще бóльшую тьму (зажигать огонь в благословенную субботу запрещалось). Уже нельзя было различить покроя и цвета одежды, не разобрать выражения лиц, слившихся в одно серое угловатое лицо, многократно повторенное в невидимых зеркалах. Только глаза блестели ярче обычного.

— Повторяю вам, друзья: Ирод обречен. Никто не вступится за него. Об этом я позаботилась, прежде чем прийти в этот зал. Он еще правит и распоряжается, но он уже обречен.

— Нечего раздумывать! — поднялся во весь рост Сепфорей, смотритель храмовой завесы.— Господь призывает нас спасти народ иудейский от новоявленного халдея. Мы должны поклясться, что сделаем все, чтобы в стране восторжествовал закон праведной веры, а отступники и изменники были повержены.

— Хвала тебе, сын Батира! — с благодарностью отозвалась Александра.— Это речь настоящего мужа и истинного верующего!

Она положила руку на плечо своего сына (в темноте это мало кто заметил) и в упоении произнесла:

— Поклянемся же, что вернем отчизну пред лицо Господа нашего и очистимся от скверны эллинской, проклятия душ! Уничтожим четвертое царство, сотрем само имя басилеев и вернем власть тому, кому положено владеть ею по праву отцов и кто поведет иудеев дорогой праведности.

Все присутствующие обратились на Аристобула. Восемнадцатилетний архиерей закашлялся и сконфуженно потупил взор. Но тут вновь встрял своемысленный Сепфорей:

— Вне сомнения, царская власть, ненавистная народу, должна быть упразднена. Никто не может быть царем и господином, кроме Всевышнего, властителя мира. Пусть, как встарь, Его волю доносит людям досточтимый синедрион во главе со своим предстоятелем. Но справедливость требует, чтобы после стольких лет беззакония, безверия и господства иноземцев высшей властью было облечено лицо, пришедшее по воле народа. Посему, я полагаю, с падением царской власти синедрион должен отменить все ее распоряжения и заново избрать блюстителя веры.

В темноте особенно была заметна злобная искра, сверкнувшая в очах Александры. Она убрала руку с плеча Аристобула и прижалась к сиденью, словно изготовившаяся к прыжку волчица:

— Что же ты, Сепфорей, думаешь о сане первосвященника? Не по праву ли крови передается он от царства Давидова к роду Садока? И не его ли потомок и восприемник сидит сейчас перед тобой?

— Я полагаю,— молвил в ответ смотритель храмовой завесы,— то же самое могут сказать о себе многие присутствующие. Добрая половина нас ведет свой род от корня Левиева. Решить же о праве наследования способен лишь свободный синедрион, судящий о душевных качествах человека и о его славе в народе. Пусть властью будет облечен тот, кто более всех подвизался на службе Господу, кто пользуется всеобщим доверием и не запятнал себя родством с тиранами.

— Уж не ты ли, Сепфорей, прислужник Пакора и подстилка Барзафарна, метишь в первосвященники?! — не выдержала царская теща.— Не ты ли набивался в тести Антигону, усердно подкладывая ему свою дочь? А после совал ее в постель подряд всем охранникам и сам был рад стать на четвереньки! Теперь ты, еще не

отмывшись от парфянской спермы, рассуждаешь о родстве с тиранами?..

— Клянусь Иахином и Воазом! — развел руками Сепфорей.— Я вовсе не собирался порочить кого-либо из присутствующих, но говорил только о законности. Всем известна моя всегдашняя преданность дому Гиркана. Ведь мой дед доводился братом великой Саломее!

— Вот и отлично! — воскликнул Досифей, возвращая собрание к делу.— В столь великий час единения бойцов за веру оставим в стороне мелкие недоразумения. Давайте закрепим то, в чем наши мнения совпадают. Есть ли здесь кто-нибудь, кто скажет в защиту Ирода?

Гибейский распорядитель повторил вопрос несколько раз, но ему никто не отозвался. Тогда он вынул из рукава свернутый пергамент и, получив одобрительный кивок Александры, вышел на середину зала:

— Сейчас я буду зачитывать имена, и, кого назову, пусть подает свой голос. Обвинения налицо, и вам определять судьбу изменника. Отвечайте одно из двух: «оправдан» или «низложен». Гаццан, проследи, чтобы двери были закрыты и чтоб никто не помешал голосованию!

Пик собрания пришелся почти на полночь. Никого из верующих уже не было в пределах Храма Господнего. Давно опустели Двор священников, и Двор народа, и проходы для язычников, остатки сладких курений медленно оседали на остывшие угли жертвенника перед Святая Святых, скрытой за пестрой вавилонской завесой, окрашенной гиацинтом, виссоном, шарлахом и пурпуром в виде бескрайнего звездного неба. Царская стража перекрыла ворота Шаллекет, ведущие в город, на вершине Бариса вспыхнул дозорный огонь, и степенный идумейский сотник, обойдя посты, роздал ночные пароли.

— Стратон, сын Феодота.
— Низложен.
— Александр, сын Иасона.
— Низложен.
— Сепфорей, сын Батира.
— Низложен.
— Матфей, сын Маргала.
— Низложен.
— Лисимах, сын Павсания.
— Друзья, надобно заметить, нынешнее собрание

составляет лишь треть полного синедриона, и хотя здесь присутствуют самые именитые и уважаемые мужи...

— Прения окончены, Лисимах. Отвечай только: «оправдан» или «низложен».

— Я хотел лишь заметить...

— «Оправдан» или «низложен»?!

— Низложен.

— Гадия, сын Симона.

— Низложен.

— Аристобул, сын Аминта.

— Низложен.

— Филипп, сын Фавита.

— ...

— Филипп, сын Фавита! — Досифей вытянул шею и вперил взгляд в темноту.— Он сидел во втором ряду. Отзовись, Филипп! Ты уснул?

— Да здесь он, здесь,— заголосили соседи.— Глотает порошки. Не тяни время, Филипп, писцы ведут учет голосов.

— Что говорить-то? — донесся слабый простуженный голос.

— Осел! — вспылил гибейский распорядитель.— Ты оставил мозги в прихожей? Сколько раз повторять? Отвечай как положено!

— Да я и отвечаю. Конечно, Ирод виноват во многом...

— Говори: «оправдан» или «низложен»?!

— Виновен. В смысле — «низложен».

— Наконец-то! С такими тугодумами, как наш милейший Филипп, не протиснешься даже в распахнутые ворота. Продолжаю по списку. Фалек, сын Иакима...

Таким образом, из двадцати семи участников секретного собрания ни один не высказался за оправдание правящего государя. Предпоследним Досифей назвал себя, и в заключение присовокупил Аристобула. И когда сие свершилось, в наступившей тишине вновь прозвучал властный голос дочери Гиркана:

— Хвала вам, храбрые мужи! Сегодня вы отстояли заветы отцов и соблюли справедливость. Господь осенит вас Своей благодатью, и народ иудейский восславит ваше геройство. Пока же, до времени, наложите на уста свои печать и соблюдайте тайну.

— О да, почтенная, мы все, как один!

«Еще бы! — недобро усмехнулась про себя Александра.— Если завтра — не приведи Господь! — мне са-

мой придется предстать перед вашим судом, вы осудите меня с не меньшим единодушием».

Аммоний жег бумаги. Он начал с писем и договоров, которые бросали на него тень, как на человека, связанного с сомнительными и бесчестными людьми, затем, разгорячившись, стал палить все подряд. Бегущее войско сжигает мосты и уничтожает посевы. Пойманный контрабандист кидает товар за борт. Брошенная жена безжалостно топчет мужнины подарки.

С особым наслаждением Аммоний предавал огню записки и распоряжения царицы. Он словно бы ломал пальцы на ее руке, один за другим, с пыточным хрустом и, казалось, с отчетливым воплем истязаемой жертвы. Он специально раскопал шестой год и буквально растерзал шкатулку, которую всегда берег как зеницу ока; там хранились куски папируса, где она отвечала на его пылкие вирши и сравнивала его с Филодемом. Это было то время, когда они путешествовали по Кампании, переезжая из усадьбы в усадьбу; Цезарь воевал далеко в Испании, а гордая римская знать и начальники городов вынуждены были расступаться перед ними и кланяться как ближайшим друзьям диктатора.

Среди прочих посланий Аммоний натолкнулся на коротенькое письмецо Цицерона. Он даже удивился, как эта записка могла сохраниться в ворохе ненужных бумаг и он совсем забыл о ней, когда почитатели знаменитого оратора гоняются за каждой его строкой. Александриец не удержался, чтобы не прочесть уже изрядно пожелтевший пергамент.

Цицерон писал по-гречески:

«Марк Туллий приветствует друга Аммония. Я весьма воодушевился, выслушав твоего посыльного, который принес мне долгожданную весть. Очень рад, что книги, о которых мы говорили, нашлись и благороднейшая царица, щедрость которой достойна ее величия, согласна передать их в мою библиотеку. Жажду их увидеть. Я также уверен, что это плоды твоих неутомимых стараний, мой ученый друг. Поверь, ты оказал мне бесценную услугу.

Мы говорили, я собираюсь плыть в Ахайю во исполнение обета; но, признаюсь, уже давно, очень давно мечтаю посетить Александрию и остальную часть Египта, чтобы, по примеру Платона, вкусить древней муд-

рости. Ты уж, друг, поговори об этом с царицей и ответь мне подобным [образом]. Собирается ли она в обратный путь и когда? Словом, на все.

Здешние [дела] нисколько не сдерживают меня. Я уже с весны не показываюсь в Риме и рад бы уехать даже из Италии. Причина тебе, думаю, известна. Но подробнее при встрече. Будь здоров».

Рябое жухлое лицо секретаря Серапиона страшно сморщилось от разбиравшего его смеха:

«Какие ему книги?! Старый осел вообразил себя Платоном; пусть себе тешится втихомолку. Его вытолкали из Рима, где он всем наскучил, так он теперь в Александрию захотел! Хорошо еще, не к Сексту».

«Как же быть с его просьбой, Сара? Ведь я поручился за царицу».

«Да никак. Выплюнуть и забыть. Ты ученый человек, Аммоний, не знаешь, как вести себя с докучливыми стариками. Таких, как он, нужно ставить на место. Вот я: захожу по делам в его дом,— ты знаешь про счета Аттика,— а этот вышел важный, как павлин, и тут же с допросом: кто? откуда? чего надобно? Я и говорю: позови-ка нам, любезный, Помпония Аттика, мы его ищем; нам сказали, он в этом доме. Ха-ха, видел бы ты, Аммоний, как перекосилась его физиономия. Как же, самого Цицерона спутать с привратником! Верно, его до утра откачивали водой...»

«А если про это узнает царица?»

«Она уже знает, я ей рассказал».

«И что?»

«Хохотала до упаду».

Аммоний тягостно вздохнул и уронил голову на грудь:

— Прости нас, великий муж, если можешь... Только теперь, по прошествии лет, стало понятно, что все мы были ничтожествами, хоть и кичились перед тобой, и только ты сиял высокой недосягаемой звездой...

Говорят, он сам подставил голову под меч. В сизой дымке формийской рощи, в начале декабря, в густом сплетении черных, даже слишком черных, ветвей, среди каркающего воронья, за версту чуявшего поживу, он еще ухитрялся, возлежа в беззащитной лектике, читать на ходу свиток со стихами Каллимаха.

Когда Попиллий перекрыл выходы их рощи, а центурион Геренний с карателями прочесывал дорожки, затравленный, изможденный старик велел своим поставить носилки на землю, свернул бумагу и не отрываясь

смотрел в глаза убийцам, пока они приближались к нему. «Вот враг триумвиров! — вскричал Геренний, размахивая мечом.— Скорее убейте его!» Цицерон наклонил голову и похлопал по своей шее: «Сюда руби, ветеран, если ты это хорошо умеешь».

— Сюда оглянись, почтенный, если ты еще не спишь!

Аммоний вздрогнул и обернулся:

— Кто ты?

— Или ты не узнал меня, египтянин? Я тот, кому мой царь доверил вести переговоры с тобой.

— Евнух Эзоп,— выдохнул секретарь, силясь сбросить с глаз пелену.— Чем обязан столь поздним визитом?

Евнух неловко топтался в дверях, но по его тяжелому дыханию видно было, что он очень спешил и примчался чуть ли не вприпрыжку.

— Мы здесь одни, почтенный?

— Одни. Что тебе нужно?

— Твой посыльный передал мне, ты желаешь свидеться с моим господином по делу, не терпящему отлагательств.

— Правда, евнух, так оно и есть,— кивнул Аммоний.— Ты принес мне ответ от него?

— Не только ответ, но и поручение проводить тебя в то место, где мой царь мог бы переговорить с тобою с глазу на глаз.

— Долго же мне пришлось ждать приглашения. Посыльный был у вас еще утром. Когда требуется, вы находите меня без промедления.

Эзоп развел руками:

— Разве ты не знаешь, почтенный, что был седьмой день, суббота, когда, по здешним обычаям, всяческие дела воспрещены? Таков Закон, который Бог иудеев даровал им в пустыне.

Аммоний бросил письмо Цицерона на затухающий огонь и угрюмо процедил себе под нос:

— У нас бога пустыни именуют Сетом, несущим погибель. Когда назначена встреча?

— Прямо сейчас. Царь уже ожидает тебя.

— Прямо сейчас? Среди ночи?

— Самое время для укромных бесед, почтенный. Для лучшей пользы нам следует сторониться лишних свидетелей.

— Пожалуй,— усмехнулся секретарь, поднимаясь с колен.— Ночь в нашем деле союзник. Мы попали в

скверную историю, евнух. Не знаю, кому меньше завидовать: мне или твоему царю. Полагаю все же, нам лучше объединиться в опасности.

Евнух поклонился и указал на выход:

— Тогда поспешим, почтенный. Дорога каждая минута.

Ночной дозорный на вершине дворцовых ворот сделал уже двадцатый круг вдоль каменной зубчатки, когда у него под ногами через нижний дворик мелькнули две человеческие тени, закутанные в темные плащи. Ночь была глухой и безлунной, как мрак преисподней. Даже летучие мыши не решались в подобную темень покидать свои гнезда. Самые зловещие дела вершатся в такую ночь. Она в полной мере была египетской, хоть и царила на иудейской земле.

Мертвенная тьма окутывала Иерусалим, спускаясь черными щупальцами в долины Хинном и Кедрон, обволакивая узкие проходы горных теснин, расползаясь по всей стране, от Ливанских гор на севере до набатейских песков на юге. Она расстилалась далеко на запад и на восток, смешав в непроглядной мгле финикийские и арабские границы, зависая над внутренними морями, усыпанными бесчисленными островками, над реками, пересекающими широкие равнины, над соломенными хижинами и белокаменными городами от пределов знойного Индостана до холодных вод великого океана за Столпами Геракла.

Колесо небосвода с натужным скрипом вращало созвездия, сменяющие друг друга в неизменной череде, будто в ритуальной процессии. Хвостатые кометы проносились в бесконечном пространстве, оставляя огненный след, космические вихри овевали скопления звезд, затмевая их мерцание; и как-то странно появлялся и исчезал во мраке синевато-лиловый таинственный Тишстри-Сириус — звезда Таннит.

— Ничего не видно, хоть глаз выколи,— ворчал Аммоний, спотыкаясь на ходу.— Когда на небе пропадают звезды, я становлюсь беспомощен. И как только, евнух, ты отыскиваешь путь? Давно изучил все здешние закоулки?

— Живем мы тут без малого год,— отозвался Эзоп.— Да у меня глаз наметан. С детства отличался тем, что видел в полной темноте. Вот, к примеру, начертание на этой стене...

— А там есть надпись?

— Как же! Она гласит: «Именем Господа Бога Иоанн, сын Симона, заложил».

— Хитришь ты, евнух,— усомнился звездочет.— Надпись эту, если она там имеется, ты мог выучить и заранее. Скажи лучше, куда девалась ваша стража. Мы уже столько идем, а я не встретил ни одного охранника.

— Стража стоит снаружи дворца,— ответил Эзоп.— Во внутренних покоях она тоже должна быть, но в такие безлунные ночи идумеяне обычно прячутся.

— Зачем это?

— Боятся.

— Боятся? Чего?

— Не чего, а кого. В такие ночи, говорят, во дворце появляются призраки прежних царей и правителей. Сам я ничего подобного не видел, но люди болтают разное. Рассказывают, по комнатам бродит тень царевича Антигона, которого убил его брат Аристобул, первый муж Саломеи. А еще приходит некая женщина-уродка, с виду будто бы нищенка, и проникает сквозь стены к спящим...

Аммоний задержался на ходу:

— Горбатая, в рваном платье?

— Да, но это не человек, а животное.

— То есть как это животное?

— Зверь, принявший человеческий облик. Одни говорят — леопард, другие — пантера. У того же узурпатора Аристобула, толкуют, была пустынная хищница, которую он напустил на свою мать-самарянку. Животное пожрало женщину, и с тех пор убиенная появляется как бы в двойном обличье.

— Что ты плетешь мне, безумец?! — возмутился звездочет.— У вас обходятся так со всеми гостями? Ты думаешь, евнух, если я поддамся суеверному страху, то буду сговорчивее с твоим царем? И потом: хоть у меня и нет твоей зоркости, по-моему, мы уже миновали царские двери. Ты забылся и по своей привычке ведешь мужчину на женскую половину дома.

— Ты угадал, почтенный,— молвил Эзоп.— Царь ожидает тебя в гинекее.

— Хм. Странно.

— Чего же здесь странного? Где хозяину дома быть ночью, как не на женской половине? Или тебя что-то смущает?

— Нет, ничего. Это даже забавно. Надеюсь, разговаривать мы будем не на супружеском ложе.

Через маленькую дверцу евнух ввел александрийца в низкую прихожую, едва освещенную ночными фитилями. От прихожей начинался ряд комнат, предназначенных для прислуги; комнаты следовали одна за другой и были совершенно безлюдны, хотя повсюду в них виднелись следы дневной жизни: разбросанные плащи и покрывала, недопитые кубки и свежесрезанные стебли мяты и тмина.

Безлюдие в самом деле смутило Аммония, но он не стал выяснять его причины (пусть эти иудеи делают что хотят, лишь бы не мешали), а тут еще непонятная дрожь внезапно тронула колени и колко пробежала по спине до самого затылка, так что секретарь поежился от дурного предчувствия.

— Подожди здесь,— прошептал провожатый.— Я узнаю, свободен ли путь.

Не успел Аммоний опомниться, как евнух бесследно исчез, оставив гостя в неприятном одиночестве. Ведь застигни его здесь непосвященные, разразился бы громкий скандал, и как бы он тогда оправдывался перед царицей, что́ занесло его в столь рискованный час на женскую половину дворца?

Мрачная тишина обступила секретаря со всех сторон, просвечивая его дрожащими огоньками светильников: казалось, его видят все, он не видит никого. Евнух все не возвращался. Тяжелое дыхание, прерываемое приглушенным рыком, словно бы из какой-то колдовской пещеры, где гнездятся демоны и бесы, разрастаясь и усиливаясь, подчинило себе слух.

О небо, что это такое?!

Секретарь попробовал выбежать во двор, но дверь в прихожей оказалась заперта. Он налег на нее всем телом, стараясь еще не шуметь, давил и скребся, не желая верить, что угодил в хитро устроенную ловушку.

Из дальней комнаты блеснули два нечеловеческих ока, и что-то огромное, мохнатое, рыкающее мягкими прыжками устремилось на несчастного звездочета. Только когда зверь на миг попал в полосу света, Аммоний разглядел повелительницу джунглей — индийскую пантеру.

Не может быть! Откуда она здесь?!

Секретарь метнулся в единственный ход, который оставался свободен,— по левую руку анфилады,— срывая покрывала и занавески, вырвался в длинный пустой коридор и хрипло взвыл:

— Эй, кто-нибудь! Помогите! Здесь хищник!

Никто не отозвался ему, кроме черного рыкающего зверя, легко и быстро настигающего свою жертву. Аммоний помчался со всех ног, боясь оглянуться назад; он только молил, чтобы дверь в конце коридора оказалась отпертой,— она и в самом деле подалась вперед; звездочет выскочил во внутренний дворик, посреди которого зияла черная бездна — не то высушенный бассейн, не то складской погреб,— Аммоний непременно свалился бы в яму с разбега, если бы, на счастье, через нее не был заблаговременно перекинут деревянный брус, достаточно прочный, чтобы выдержать человека, но слишком узкий, чтобы на нем можно было свободно держаться. Секретарь очутился на брусе, балансируя над ямой руками и ногами, похожий в эту минуту на бродячего акробата, выведенного нуждой на подмостки, только отсутствовала праздничная публика.

Пантера, похоже, отстала или тщетно силилась проникнуть в захлопнутую дверь; Аммоний уже не слышал ее ужасного рыка и в душе похвалил себя за резвость и находчивость, проявленные в столь необычной ситуации. Он уже посчитал себя спасенным от самарянского призрака, как вдруг впереди ямы, за медной оградкой зашуршали чьи-то шаги, раздались голоса, сверкнул факел, и взору изумленного звездочета предстала царица Клеопатра и рабыня Хармион.

— Куда так торопишься, Аммоний? — насмешливо вопросила царица; блеск ее глаз странным образом напоминал ужасный взор только что гнавшейся за секретарем пантеры.— С подобной резвостью спешат только на любовное свидание. Кто же она, твоя счастливая избранница? Кто затмил твою старую царицу? Жена Ирода? Его сестра? А может, он сам?

Секретарь разглядел необычное одеяние госпожи: поверх платья царицу облегала шкура гепарда, в одной руке она держала палку, а в другой — нож: именно так египетские живописцы изображают беспощадную Мафдет, богиню отмщения.

— Зачем ты остановился, Аммоний? Смелее вперед, как ты шел до сих пор! Что же ты изменился в лице? Почему ты дрожишь? Где твоя хваленая воля? Где твой небесный расчет?

Бедный эпистолограф все еще держался на брусе, балансируя над провалом, не решаясь ни двинуться вперед, ни вернуться назад. Со спины его также осветил факел, который вынес телохранитель Ахенот, по-

явившийся вместо ожидаемой пантеры. Теперь оба пути были отрезаны.

— Царица... Царица, я...

— Не слышу, Аммоний! Что ты бормочешь? Говори прямо. Поведай, поведай нам о своих успехах. Много ли наторговал в Иерусалиме? Почем продаешь мои грамоты иудеям?

Секретарь вздрогнул и едва не оступился; деревянный брус сдвинулся под ним, раздался скрежет, и на дне ямы что-то невидимое вздохнуло, зашевелилось и заскребло когтями.

— О царица, нам нужно поговорить... Выслушай меня.

— Что же я, по-твоему, делаю? Мы и так разглагольствуем слишком долго. Ирод уже уснул, дожидаясь тебя.

— Пусть скажет, как продал свою царицу,— добавила Хармион.— Сколько отсыпал ему идумеянин за вредительство тебе?

Клеопатра сжала в руке нож и презрительно выдохнула:

— Надеюсь, между вами я была оценена по достоинству? Никак не меньше ста талантов?

— Сто пятьдесят,— подсказала рабыня.

— Благие боги, ведь это целое состояние! Нет, это даже богатство! Я весьма польщена. Сто пятьдесят талантов,— поистине, щедрость Ирода неизмерима! Вне сомнений, за свою собственную голову он отсыплет тебе втрое больше. Стоит только намекнуть ему обо мне и Александре. Не за этим ли ты бежишь, Аммоний?

— Царица, я... Клянусь Фебом, мы...

— Но мне жалко тебя, звездочет,— усмехнулась Клеопатра, указывая под ноги секретарю.— Посмотри, мой друг, по какой узкой дорожке ты пошел. Взгляни, как она шатка и ненадежна. Как изменчива! Какие опасности подстерегают на ней! Посвети-ка сюда, Хармион. Клянусь Гором, на это стоит взглянуть.

Дрожащий факел высветил на дне дворового углубления лохматые загривки львов, оскаленные клыки и голодные пасти. Целых восемь пустынных хищников, приведенных по нижнему ходу из царского зверинца, с нетерпением взирали на свою жертву. Секретарь взглянул вниз и побледнел, как тирское полотно. Львы не могли допрыгнуть до него, но, сбившись в кучу, ожидали, когда добыча сама упадет к ним в лапы.

Клеопатра громко рассмеялась и поставила ногу на

конец деревянного бруса, под который предусмотрительно вложили узкий овальный камешек, готовый выскользнуть от малейшего толчка.

— Итак, Аммоний, ты великий акробат, если ступил на сей рискованный путь. Хочешь знать, куда он приведет? Где кончается твоя узкая дорожка? Так вот: ты уже пришел, ты стоишь у конца. Сделай же свой последний шаг!

Секретарь затрясся пуще прежнего и, выпучив глаза, замахал руками, будто защищался от надвигающегося призрака.

— Хорошо, я помогу тебе! — воскликнула египтянка и ловким ударом вышибла камень из-под бруса.

Доска подскочила от удара по брустверу, Аммоний не удержался на ней и, не успев вскрикнуть, мешком рухнул вниз, прямо на головы разъяренных чудовищ.

Отчаянный хрип разодранного горла заглушило лязганье звериных зубов. Клеопатра и Хармион подождали, пока не затихнут судороги казненного, и, когда дело было сделано, удалились тем же путем, каким и пришли.

Пройдя крытый навес, они выбрались на заднее крыльцо женской половины дворца, где их ожидала госпожа Александра с евнухом Эзопом.

— Почтенная,— обратилась к ней Клеопатра траурным голосом.— Только что произошло большое несчастье. Мой эпистолограф заблудился в ночных покоях и случайно угодил в зверинец. Пошли кого-нибудь отнять у львов его тело.

— Скорблю вместе с тобой,— кивнула иудеянка понимающе.— Как поступить с телом?

— Дорога в Египет длинна и раскалена солнцем,— печально протянула египтянка.— Везти совершенно невозможно. Погребите его где-нибудь здесь.

Мертвенная тьма еще густилась над Иерусалимом, когда участники кровавого жертвоприношения разошлись по своим покоям. Смотритель царского зверинца, подкупленный Александрой, без лишнего шума уволок львов обратно в клетки, спрятал деревянный брус, слегка подмел внутренний дворик и только после этого вызвал идумейскую стражу.

Клеопатра услышала отдаленный шум, будучи в гостевой части дворца.

— Не хотела бы я оказаться сейчас на месте Ирода,— молвила она ледяным голосом.— Положение его незавидное.

— К Харону! — бросила Хармион, наклоняясь к уху госпожи.— А теперь, Клео, скорее уедем из этого города. Нас ждет флот в Аскалоне.

Царица встряхнулась и вскинула на рабыню глаза:

— Не терпится увидеть своего Хелидона?

— Своего? — удивилась эфиопка.— Почему ты так говоришь?

— Милочка моя, прошу тебя, не притворяйся. Знаю я, как ты засматривалась на него в Антиохии. Порази меня гром, если ты не успела пару раз побывать в его солдатских объятиях.

Кажется, даже темная кожа не скрыла румянец на щеках Хармион.

— Ты ведь сама, Клео, повелела отвлекать его от тебя и уводить от Антония.

— Вот-вот, и ты трудилась что было сил. Все вы, малолетки, падки до круглых мышц и широких торсов. Скажи, однако, на что ты рассчитывала?

— Как можно, госпожа?! Он вдвое старше меня. Помимо того, его высокое положение при дворе...

— Высокое положение? — развеселилась Клеопатра.— Да он такой же раб, как и ты, хоть и надел белый плащ. Он останется гладиатором, каким был, даже в чине дийокета. Я вообще не держу при своем дворе господ; госпожа одна я, остальные рабы. Запомни это, малышка.

— Запомню, моя повелительница,— пролепетала Хармион, напуганная угрожающим тоном царицы.

Рим, 13 марта 44 г.

ДОМ МАРКА ЛЕПИДА.

Марк Лепид, Гай Цезарь, Децим Брут, Корнелий Бальб, Гай Оппий, Гай Маций, Публий Долабелла, Авл Гирций, Фаберий, Диохар, Диоскорид, Аммоний.

Бальб. При жизни человека судят по тому, как он живет; после смерти — по тому, как он умер. Для славы Помпея было бы лучше, если б он остался лежать под Фарсалом, а не побежал малодушно в Египет, чтобы принять там позорную казнь. Помпей уронил себя своею смертью. Насколько отлична кончина Лентула Круса и Фавста Суллы! Не правда ли, Цезарь?

Цезарь. Корнелий, ты ворошишь угли, в которых еще тлеет огонь.

Децим Брут. По-твоему, Бальб, смерть на поле боя хороша, как никакая иная? Отчего же тогда сказал Архилох: «Доля павших, хуже доли не найти»?

Бальб. Это слова человека, лишенного мужества. Я бы не советовал в этом случае сверяться с мнением изнеженных эллинов.

Децим Брут. Архилох имел в виду, что всякая смерть — несчастье, кого бы она ни постигла.

Долабелла. Ты говоришь так, Брут, потому что ты атомист и боишься смерти. Она для тебя — мучение в любом случае. Что касается меня, то я предпочитаю следовать учению Эпикура, который утверждал, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Ведь все хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение всякого ощущения. Мы страдаем, когда чувствуем боль, радуемся, когда испытываем удовольствие. Но смерть нельзя почувствовать, пока ты жив. Умершие же вовсе лишены чувств. То есть пока мы существуем, смерти еще нет, а когда смерть наступила, мы уже не существуем. Потому-то, учил Эпикур, смерть не имеет к нам никакого отношения, и глуп тот, кто ее боится.

Лепид. Что-то этого не было заметно по тебе, Долабелла, когда ты укрывался от копейщиков Антония в какой-то субурской харчевне. Почему же ты тогда не учил Эпикура?

Долабелла. Я страшусь не смерти, как таковой, но бессмысленного конца.

Бальб. Раз уж мы заговорили о разных видах смерти, позвольте, друзья, предложить вам вопрос. Какая, по-вашему, смерть наилучшая?

Лепид. Безболезненная.

Децим Брут. Мгновенная.

Цезарь. Неожиданная!

Бальб. То есть как — «неожиданная»?

Цезарь. Это когда человек не успевает приготовиться к смерти и она наступает столь внезапно, что он не замечает, как становится мертвым. Для меня совершенно не важен род смерти, будь то секира, копье, аконит или старческий одр. Главное — неожиданность. Эпикур прав, но не совсем. Все было бы так, как он сказал, если бы смерть совершалась в мгновение ока. Однако в жизни чаще происходит иначе, и ожидание смерти становится самым ужасным мучением. Я много раз видел, что творилось с солдатами, идущими в бой, с приговоренными к казни и с теми, кого по пятам на-

стигали убийцы; поэтому отвечаю на вопрос Бальба с полным сознанием дела: наилучшая смерть та, что приходит неожиданно.

Маций. Такая, которая постигла Цинну или, скажем, Клодия?

Цезарь. Пожалуй. В этом смысле Цинне повезло несравненно больше, нежели Помпею или даже Сулле, умиравшему много ночей подряд и смрадными выделениями отравившему всю усадьбу. А Цинна, завтракая поутру в полном здравии, не подозревал, что к обеду его уже не станет. Я завидую Цинне.

Бальб. Но ведь на Цинну набросились мятежники. Ты завидуешь убийству, Цезарь?

Цезарь. Никоим образом. Но, поскольку всем нам суждено умереть в свой черед и от смерти никуда не деться, я предпочел бы разящий меч врага душистому бассейну Суллы.

Лепид. Превосходная речь накануне парфянского похода, Цезарь. Давайте спросим мнение наших ученых гостей и узнаем, что гласит египетская мудрость.

Диоскорид. Врачам частенько приходится сталкиваться со смертью, но спросите меня, что это такое, и я вам не отвечу.

Гирций. Но ведь вы — единственный народ на свете, кто приравнивает всех покойников к богам и поет умершим молитвы, будто бы Юпитеру или Серапису. Уж египтяне никак не скажут: доля умерших хуже всех.

Аммоний. Обычай почитать умерших существует у многих народов, не только у египтян. Разве всеславный Цезарь не почтил в свое время прилюдно изображения Мария и Цинны? Но ты прав, Гирций, к смерти в Египте относятся по-особенному. Мертвые продолжают существовать как бы по соседству с живыми; даже тела их бальзамируются, а рядом с живущими городами строятся не менее обширные города мертвых. Египтяне уверены, рано или поздно мумии оживут, души вернутся в тела и люди выйдут из могильных склепов.

Бальб. Когда же это наступит?

Аммоний. Каждый год Нил мелеет и чахнет, но затем разливается вновь. Все в этом мире движется по кругу. Ведь и Платон учил: дух человека не умирает, но переходит на время в другой мир, и эту мудрость он почерпнул в Египте. О сроке же воскресения из мертвых знают лишь бессмертные боги, учреждающие жизненные циклы.

Бальб. Как жаль, что меня после смерти не забальзамируют. По нашим обычаям, покойников предают огню.

Цезарь. Пусть тебя утешает то, что пепел твой сохранится в урне, а внуки будут играть твоей посмертной маской.

Бальб. Тебе хорошо говорить так, Цезарь; твоя статуя уже сейчас садится обедать за один стол с богами; ты уже при жизни устремился на небеса. А где-то еще окажемся мы?

Лепид. Бальб умеет издеваться так, что кажется, будто он читает панегирик. Впрочем, я должен сказать вам, друзья, подобные разговоры перед открытием войны являются дурной приметой.

Децим Брут. Верно, клянусь твоим гением! Переменим тему...

ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ

С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.

Апокалипсис, 17,2

Как бы то ни было, она делала вид, что совершенно покоряется Ироду.

Иосиф Флавий.
«Иудейские древности»

— Откуда у тебя этот шрам? — спросила Клеопатра, щупая ключицу иудейского царя, пониже которой на грудь наползал красный рубец.

— Осада Иерусалима,— ответил Ирод неопределенно, поспешно укрываясь покрывалом.

Они возлежали на роскошном ложе в незабвенной Мунихии; Ирод обнимал египтянку за талию, а она склонилась над ним, разметав волосы по широкой идумейской груди.

— Скажи,— молвил Ирод после некоторого молчания,— теперь, без нарядов, со шрамами и рубцами, я меньше похож на царя?

— Вовсе нет. Шрамы тут ни при чем. В тебе действительно есть что-то от Соломона, как о нем рассказывает ваше Писание. Этот твердый взгляд и пепельная борода, которую ты упорно не хочешь брить, и твой

неуступчивый нрав — все напоминает древнего правителя. Признайся, мой господин, тебя уже многие сравнивали с Соломоном? А кто-нибудь признавал тебя за Мессию?

— Как ты меня назвала? «Мой господин»?

— Да, мой царь. Ведь ты овладел мною, и я покорилась тебе. О Ирод, позволь хотя бы в постели величать тебя моим господином. Ведь мне так недостает крепкой мужской руки... Без крепкой руки женщины теряют рассудок и превращаются в злобных гарпий. Так что я буду называть тебя моим господином все оставшееся время, которое проведу в Иерусалиме.

Они были одни в опочивальне, если не считать чернокожей рабыни Хармион, которая пряталась за завесью в том месте, где кончался потайной ход. Если бы Ирод пришел прежним скрытым путем, он непременно бы столкнулся с эфиопкой. Но он пришел открыто, по уговору, не взяв никакой охраны.

— Хм...— задумался идумеянин, всматриваясь в темные, непроглядные очи египетской царицы.— А я полагал, ты проклянешь меня, как самого злейшего врага...

— Отчего же, мой господин? — любезно осведомилась Клеопатра.

— За тот случай на состязаниях. Ты, конечно, помнишь дерзкую, отвратительную выходку мимов. Должен сознаться: это я подучил их.

Египтянка вздрогнула; Ирод почувствовал, как напряглась ее спина под его рукой.

— То есть как «подучил»?

Царь повел пальцем в сторону спрятанной эфиопки:

— Здесь есть секретная дверь. Первой ночью я пришел сюда, но, увидев тебя с рабыней, остановился за завесью и слышал весь ваш разговор... Обо мне, об отце... Потом я видел еще кое-что, потрясшее меня. Не знаю, какой бес овладел мной... Мне захотелось чем-нибудь пристыдить, унизить тебя. Господи, теперь я вижу, как я был мелок и смешон!

— Ты хотел поссориться со мной? — спросила Клеопатра.

— Нет! Не знаю... Я думал, ты немедленно уедешь из города. Я почти не сомневался, что ты так и сделаешь. Сознаюсь, я совершенно не знал тебя...

— А теперь знаешь?

Ирод взял руку египтянки и покрыл ее поцелуями:

— Господь мой! Ты необыкновенная женщина! Так ты нисколько не злишься на меня?

Спина царицы расслабилась, и она вновь прильнула к груди идумеянина:

— Разве ты не удостоверился в этом, мой господин?

— О царица, я повержен твоим великодушием! Ты превзошла саму себя! Кто, кто распускает нелепые слухи о твоем злопамятстве, о твоем коварстве и мстительности?! Господи, они просто песчинки под твоими стопами! Клянусь небом, я не знал женщины более возвышенной и благородной! И более прекрасной...

Долгий поцелуй прервал их доверительную речь, а эфиопка за завесью зажала рот рукой, чтобы не выдать себя смехом.

— Признайся все-таки, моя богиня,— заговорил Ирод, едва они разомкнули уста,— в первую минуту ты хотела растерзать меня, будто Осириса, на сорок частей. Я видел это по твоему лицу. Неужели тебе не захотелось жестоко отплатить мне за осмеяние?

— Мне много чего захотелось от тебя,— заметила, лукаво улыбаясь, Клеопатра.— Я и люблю таких дерзких мужчин.

Ирод помолчал, разглаживая пальцами бороду и осторожно трогая серьгу в правом ухе.

— Ты странная женщина. Очень странная. Я совершенно сбит с толку.

— Бедный, бедный мой Ирод,— сочувственно потрепала она его по щеке.— Не желание ли разгадать меня привело тебя сюда этой ночью?

— Да-да, именно так!

— Ну что ж...— Царица приподнялась так, чтобы он увидел ее, обнаженную, почти целиком.— Вот я перед тобой и в твоей власти, мой господин; вокруг нас ночь, и до утра еще далеко, и я обещаю тебе не кричать и не звать на помощь, что бы ты ни сделал со мной.

Идумеянин с сомнением прищурил глаз:

— Ты лукавишь, царица. Ты играешь со мной. Но, клянусь Фебом, мне это приятно.

В ту же ночь пятеро молодых иудеев, накрытых с головой грубыми плащами, были впущены в царский дворец через садовые ворота и, не снимая одежды, торопясь и озираясь, взбежали по узкой лестнице и исчезли в покоях женской половины. Дворцовую стражу, как это часто бывает в таких случаях, подвели разом и зрение, и слух: она ничего не заметила.

Между тем ночные гости достигли личных покоев

царской тещи — госпожи Александры, которая сама и вызвала их, предварительно разыскав в городе через особо доверенных слуг. Хотя царственная заговорщица и апеллировала к синедриону, этому жалкому, по ее выражению, сборищу стариков и педерастов, она отлично понимала, что, когда переходят от слов к действию, требуется отнюдь не мычащее стадо, а всего пять-шесть, но горячих жеребцов.

— Приветствую вас, храбрые воины!

— Привет и тебе, госпожа Мариам!

Скакуны в самом деле сошлись на подбор: сыны убитых Иродом фарисеев Ханан и Самея; красавец Рагав, любимец двора, служивший виночерпием у царя Антигона, затем целый год скрывавшийся в пещерах Мертвого моря и успевший до неузнаваемости изменить свою внешность; его старший брат Матфан, про которого ходил слух, будто он на охоте голыми руками задушил льва; наконец, знакомый уже нам Ионаф, бывший член синедриона, выдворенный с воцарением Ирода, несколько лет до того считавшийся любовником Александры. Сами себя эти неукротимые ревнители веры именовали «хаберим» — товарищами, но, по сути, принадлежали к самым разным группировкам, объединенным в этот час лишь ненавистью к Ироду.

Едва перескочив порог, жеребцы тотчас вздыбились и выказали природный норов:

— Почему здесь этот ублюдок Иродов? Зачем ты привела его, госпожа?

Александра оглянулась на евнуха Эзопа и успокоительно помахала рукой:

— Не смущайтесь. Он с нами.

— Давно ли? — скосился недоверчивый Ионаф.

— С этого часа вы будете слушаться его, словно бы военачальника,— строго заметила Александра, набросив на жеребцов крепкую узду.

Те немного присмирели и прониклись уважением к властному тону царской тещи.

— Как вы уже догадались, я позвала вас не случайно...

Молодцы переглянулись и ударили себя кулаками в грудь:

— Мы сделаем все, что потребуется, во славу Господа и отеческой веры!

— Я собрала именно вас,— продолжала меж тем Александра, довольная решимостью фанатиков.— Вы более других пострадали от тирании кровавого идуме-

янина. Вы, либо ваши отцы, либо братья были изгнаны, отвержены и истреблены им. Кому, как не вам, небо вручит мечи мщения?

— Будь уверена, госпожа, мы все вооружены и руки наши не дрогнут. Мы поклялись не стричься, не пить вина и не приближаться к женщинам, доколе самозванец занимает престол Давида.

При упоминании женщин глаза Александры скользнули по вдохновенному лицу Ионафа; она не ожидала подобного самоотречения; но в целом обет фарисеев пришелся ей по душе.

— Дни Ирода сочтены. Досточтимый синедрион вынес смертный приговор преступнику и предателю веры. Пусть злодей отправится к своему полоумному отцу, да постигнет его позорная участь Антипатра! Пришедшие сюда, вы исполните волю небес. Вас спрячут в моих покоях, и вы будете сидеть, не шелохнувшись, пока не услышите моего сигнала. Заветный час близок. Помните: от вашей храбрости, от вашего мужества зависит судьба народа. Да падет ненавистная тирания и восторжествует вера и Закон Моисеев!

— Да будет так, госпожа! — отозвались заговорщики.

— Мой сын,— добавила Александра приглушенно,— готовит отряд верных нам людей, которые в назначенный срок будут ждать за воротами. После смерти тирана никто не окажет сопротивления. Его голова станет залогом победы. Вы разоружите идумейскую стражу и распахнете ворота для наших людей. Надеюсь, вы хорошо помните расположение дворцовых покоев?

Ионаф вновь затоптался и загарцевал на месте, точно ему не хватало плети, чтобы пуститься в галоп:

— Не лучше ли вместе с Иродом покончить и с египетской царицей? Благо, она здесь, под рукою. Разом избавимся от двух чудовищ.

Александра кашлянула в кулак и подозвала Ионафа поближе:

— Ты уж больно резв, мой друг. Чем тебе не угодила египтянка?

— Завтра покончим с Иродом,— выдохнул тот,— а послезавтра она придавит Иудею своей пятой. Они следуют друг за другом.

— Нет, египтянку трогать не будем. Нам недостает только войны с Антонием.

— А по-моему,— настаивал отчаянный молодец,— ее все-таки следует проткнуть копьем. Другого случая

не представится. Пусть народ увидит обе головы. А Антонию скажем, что они прелюбодействовали.

Лицо царской тещи вспыхнуло и покрылось багровыми пятнами; она едва совладала с собою:

— Умерься, Ионаф, тебе говорю. Не обилие крови избавит народ иудейский от рабства, но справедливое возмездие.

Возбужденные голоса могли привлечь слух идумейской стражи. Осмотрительный евнух Эзоп, хранивший до того гробовое молчание, тут встряхнулся и сделал выразительный жест:

— Разговоры следует отложить на потом. Не забывайте, что мы окружены идумеянами, которые пока исправно служат своему предводителю. Малейшая ошибка сейчас, лишние споры и разногласия,— и все пропало.

Ионаф бросил на евнуха презрительный взгляд и поклонился Александре:

— Госпожа, мы исполним возложенное на нас с величайшей охотой и усердием, но, заклинаю тебя именем Господа нашего, владыки страны, избавь свободнорожденных иудеев от водительства заморских рабов. Недостойно это для потомков Давида.

— Никогда не мешает иметь друзей и союзников,— ответствовала царская теща, успокаивая Эзопа кивком головы.— Ты давно не был во дворце, Ионаф. Поверь, с тех пор здесь кое-что переменилось. Скоро ты в этом убедишься.

Бывшему члену синедриона ничего не оставалось, как промолчать, а многоумный евнух сделал вид, что вовсе не обижен. Слуга Ирода уширил доверительную улыбку и даже вызвался проводить молодцов в надежное укрытие, где они могли бы в безопасности ожидать своего часа.

Чем он-то был недоволен? Бог его знает. Слуги — самый темный народ. Может быть, он был втайне обозлен, обделен; может быть, новая госпожа посулила ему много больше? Может, он хотел сделаться при Александре чем-то наподобие Мардиона при Клеопатре? Во всяком случае, он оказался единственным эллином среди заговорщиков.

— Я назову твоим именем город,— сказал Ирод Клеопатре, когда их ночь приближалась к концу.

Идумеянин уже окончательно почувствовал себя Соломоном; ему не терпелось проявить широту натуры и блеснуть щедростью, достойной славного правителя.

— Что город?! — воскликнула новоявленная «царица Савская», поднимаясь на колени и раскидывая руки.— Целые материки названы именами женщин, но это не принесло им ни счастья, ни удачи. Помнишь то место у Геродота, где он рассуждает о происхождении названий Ливии и Азии? Я обожаю это место и всегда держу при себе свиток второй книги «Истории». Часто, в плохую погоду или после какой-либо неприятности, когда на сердце тяжесть, я читаю описание Ливии,— хотя знаю его наизусть,— и, веришь ли, душе приходит умиротворение, мечтания захватывают меня и воображение уносит в страну сладких грез.

Новый Соломон глядел на свою гостью сверху вниз, и ему показалось, что царица светится в темноте, будто бы фосфорическая статуя, и, увлеченный этим необычным светом, он перешел на молитвенный шепот:

— О чем же ты мечтаешь?

— Геродот описал, как во времена царя Нехо финикияне на кораблях обогнули всю Ливию и доказали, что она окружена морем,— объяснила Клеопатра.— Можно представить, какова величина Ливии, если плавание их, как пишется, продолжалось целых три года! Многие после финикиян пытались проделать то же самое, но их постигала неудача. Отважные мореходы пускались в опасное плавание на юг, но всякий раз, не выдержав бесконечности морской пустыни, поворачивали назад. Разве это не восхитительно?

— Я помню это место! — согласился Ирод, почему-то представив темные переходы гробницы Давида.

— Так вот и я с детства, как только впервые прочла Геродота, строю планы, как обогнуть морем Ливию. Ведь я тоже, как и Нехо, царица Египта. О, если бы не тысячи мелких дел, совершенно поглотивших меня, я, может быть, давно бы снарядила флотилию и отправилась к далеким берегам, в знойные страны, населенные неведомыми народами, обильные золотом и ароматами. Но...— вздохнула царица, опуская руки,— это только розовая мечта, которой не суждено сбыться.

— Разве у такой женщины, как ты, есть что-нибудь, чего не может сбыться? — возразил наследник Давида.— По правде сказать, я не подозревал, что встречу в тебе страсть к опасным путешествиям.

— Увы,— вздохнула Клеопатра, закутываясь в шелковое парфянское покрывало.— Пока мои пути ограни-

чиваются Евфратом и Александрией, а заботы — сбором фуража и денег для голодных легионов.

Ирод осторожно дотронулся до ее плеча:

— Ты все-таки уезжаешь?

— Да, царь. Мне нужно нынче быть в Александрии, чтобы кое-что успеть до наступления зимы.

— Ты ждешь его возвращения?

— Жду.

— Ты любишь его?

— Он мой супруг и отец моих детей.

— Но ведь ты не любишь его?! Признайся! Ты не можешь его любить!

— Почему?

— Он не господин тебе. Он не может быть ни супругом, ни настоящим мужчиной.

— Ну, уж об этом позволь судить мне.

— Я наблюдал за ним в Коммагене, когда мы штурмовали Самосату. Он разыгрывает из себя Геракла, но по существу шут.

Клеопатра залилась веселым смехом:

— Бедный Антоний. Представляю, как он чихает сейчас и содрогается в Парфии.

— Он спит с мальчиками...

— Разве это роняет достоинство супруга?

— Это противно природе. Это противно Богу.

— Иудейскому?

— Всем богам!

— Успокойся, Ирод,— ласково склонилась к нему египтянка.— Ты слишком возбужден. Ты просто ревнуешь меня к нему.

Идумеянин поймал царскую руку и крепко стиснул ее повыше локтя:

— Ты уедешь и забудешь меня. Я для тебя всего лишь случайный наложник.

— Царь, ты говоришь, как капризный ребенок,— улыбнулась Клеопатра.— А что бы ты хотел?

— Не знаю... Я не хочу тебя отпускать. Я хочу завладеть твоим сердцем, царица.

— О, чтобы покорить сердце Клеопатры, нужно быть по меньшей мере Сетом. Неукротимым и жестоким. Ты уже подслушивал, как я об этом говорила.

Ирод вытянулся во всю длину, будто спеленутая мумия:

— Ты еще не знаешь меня, царица. Я и есть Сет. Неукротимый и жестокий.

— Что ты говоришь, мой друг?!

— Да-да,— кивнул он.— Я — воплощение коварства. Ты думала, я Соломон? Только продажные поэты равняют меня с ним. Я — Сет, Асмодей, Молох, Саммаэль!

Клеопатра прищурилась:

— Допустим. Но я тоже мало похожа на царицу Савскую.

— Конечно! Царица Савская пробыла в Иерусалиме целый месяц, а ты покидаешь его через неделю.

— Что делать, мой неукротимый бог? — развела она руками.— Впрочем, я знаю, как умилостивить тебя. Я оставлю за себя выкуп. Говори, что ты желаешь взамен?

— Что может искупить тебя?!

— Положим, Иерихон и вся область, производящая бальзам. Скажи, что это недостаточный выкуп! Не его ли ты так жаждал получить?

Ирод перестал изображать древнюю мумию; в нем затеплилась жизнь:

— Царица, ты искушаешь меня...

— Клянусь небом, я страшная искусительница!

Идумеянин еще больше оживился:

— Я начинаю колебаться, не принять ли твое предложение. Оно вполне надежно?

— Насколько возможно в наше полное превратностей время.

— Но какие будут условия? Если прежние, то...

— Говорю тебе: это мой дар.

— Дар?!

— Конечно. Я дарю тебе Иерихон без всяких условий. Пусть это будет мой царский подарок.

Если даже эфиопская рабыня и уснула за завесью, тут она, несомненно, пробудилась от радостного идумейского возгласа:

— И здесь ты превзошла меня, египтянка! Какой я был остолоп, что затеял глупые торги в зале царских переговоров и не увидел истинного пути к соглашению!

— Значит, ты отпускаешь меня?

— Из Иерусалима — да. Но не из сердца.

Клеопатра откинулась на пуховики и забилась в судорожном смехе. Разбуженная Хармион, протирая глаза, никак не могла понять, отчего в опочивальне такое веселье.

— Ты знаешь,—молвил царь, рассматривая волнующуюся грудь египтянки.— Я хочу попросить тебя еще об одном даре...

— Еще об одном? Ай, хо-хо! Никогда нельзя свя-

зываться с иудеями. Даешь им обол, они ждут драхмы, даешь статер, они уже просят талант...

— Нет, царица, это совсем маленький подарок.

— Совсем маленький? Что же ты просишь, мой господин?

— Подари мне своего телохранителя-эфиопа.

Она недоуменно пожала плечами:

— Эфиопа? Зачем он тебе?

— В качестве образца для кулачных бойцов,— нашелся лукавый идумеянин.

— И только-то?

— Я внял твоим советам, царица, которые ты столь мудро подавала мне на состязаниях. Моим бойцам в самом деле требуется примерный учитель.

— Неужели? — расплылась в улыбке египтянка.— Если так, то что же! Бери. Я напишу дарственную и оставлю эфиопа у тебя. Только ты ведь убьешь его, как только простынет мой след.

Ирод расширил глаза и попытался выразить удивление.

— Ну да пребудут с ним боги,— продолжала, зевнув, царица.— Я дарю его, и дело с концом. Видно, стоит того Иерусалим, чтобы я пожертвовала ему самых верных слуг — секретаря и телохранителя.

Не нужно было обладать особым чутьем, чтобы уловить в словах египтянки лицемерный оттенок, но иудейский царь искренно опечалился:

— Ты говоришь об Аммонии? Жаль беднягу... Один из немногих людей твоей свиты, к кому я питал уважение. Не понимаю, как он оказался в зверинце? И почему никого не было рядом? Я распорядился, и сейчас Иосиф тщательно расследует несчастный случай.

— Расследуй-расследуй,— кивнула царица, пряча злорадную усмешку.— Случай-то ведь неслыханный: иудейские львы сожрали египетского астролога! Боюсь, александрийские ученые будут оскорблены до крайности и предъявят тебе огромный счет.

— Непостижимое несчастье! — вздохнул Ирод, сокрушенно качая головой.— Что могло среди ночи завести его в столь ужасное место?

Клеопатра подсказала:

— Быть может, Аммоний хотел тайно свидеться с кем-то во дворце. Оттого-то и спешил на встречу один, без охраны. Уж не к тебе ли, государь?

— Тайно свидеться со мною?! — учетверил глаза Ирод.— Ты шутишь, царица.

— Как знать, мой царь...

— Во всяком случае, мне об этом ничего не известно. Не понимаю, о чем бы нам с ним говорить? К тому же,— добавил он озадаченно,— зверинец, куда он угодил, расположен совсем в другой части дворца, рядом с женскими покоями.

— Значит, он шел на свидание с твоей женой,— просияла Клеопатра.— Ты допроси ее хорошенько.

Идумеянин досадливо махнул рукой:

— Моя супруга горазда лишь злословить да закатывать истерики. Я осыпал бы золотом того мужчину, который бы ею соблазнился.

— Вот так фокус! — воскликнула царица.— Ты первый, кто представлен к награде. Или ты женился на ней из-за богатства?

— Из-за престижа,— поправил Ирод.— Она из рода царей и первосвященников иерусалимских. Благодаря этому синедрион мирится с моей властью.

— И поэтому ты ее терпишь? И тещу вдобавок?

Египтянка сознательно тронула самое болезненное место иудейского правителя. Она с наслаждением следила, как на скулах идумеянина заиграли желваки и весь он посерел от досады.

— Не будем, моя богиня, омрачать наше прекрасное ложе разговором об этих злостных эриниях.

— Хорошо, хорошо, мой царь! Прости, если я спросила о том, что тебе неприятно.— Клеопатра порывисто обняла наложника и прошелестела ему в самое ухо: — Советую тебе все-таки учинить им обеим подробный допрос. А заодно и сестрице. Я не знаю твоих милейших женщин, зато изучила своего астролога. А вдруг он тот самый, кто рвался быть в ряду награжденных?

Насчет [бегства] царицы — радуюсь, что ты не беспокоишься и что свидетель находит одобрение даже у тебя.

Цицерон — Аттику

ДНЕВНИК ЦАРЯ ИРОДА

(Выдержки)

Месяц аб, 11-е число [31 июля]. День прощания. Счастливый миг, которого я столько ждал, уже не казался мне таким счастливым.

Мы снарядили процессию через старый Давидов город, но она отказалась выходить из города в том месте, потому что там надо миновать ворота, называемые Навозными, а сие якобы не подобает ее царскому достоинству. Из-за этого пришлось делать длинный крюк — от Эфраимовых ворот мимо Змеиного пруда — в объезд всего города, после чего мы вновь очутились на Хевронской дороге, потеряв при этом половину дня, изнурив носильщиков и досыта наглотавшись дорожной пыли.

Я со вздохом вспоминал тот вечер, когда мы, разгоряченные вином, возвращались из Гибеи по крутым горным тропинкам, не думая ни о каких церемониях; она ничуть не заботилась о своем царственном величии и была поистине прекрасна в тот день.

На сей раз царицу несли восемь рабов, следом валила толпа нищих бродяг, испрашивающих милостыню. Она велела подать ларец с деньгами и принялась швырять монеты на дорогу; при этом столь увлеклась разбрасыванием, что мне показалось, еще немного, и она выпадет из паланкина.

Непонятно только, откуда у меня взялось столько нищих? Можно подумать, они собрались со всей Азии. Попробуй я в Риме разбрасывать деньги городской бедноте или даже сделай это у нее в Александрии,— какое недовольство я бы навлек на себя! Какие обвинения услышал бы в свой адрес! В Иерусалиме же позволено все.

Мы уже поднялись в горы, а народ все еще тянулся за нами, неустанно славословя египтянку, надеясь, что ларец еще не опустел до дна. Дольше всех не отставали увечные и калеки, причем безногие опережали ходячих, а один слепой ухитрялся ловить драхмы прямо на лету.

Царица заметила, что меня коробит подобное зрелище, и нарочно поддразнивала толпу новыми подачками. Простилась же она со мной следующей речью: «Лето — не мое время. Мой месяц — паоф, по-вашему, значит, тиштри[1]. В паофе я встретилась с Цезарем. Также в паофе я сошлась с Антонием в Тарсе. В паофе прошлого года мы отпраздновали свадьбу. Паоф — моя весна. В паофе я преображаюсь. Приезжай ко мне через месяц, и ты меня не узнаешь». Я ответил, что тиштри также и мой месяц, поскольку тогда я был признан в Риме царем. «Да,— сказала она,— я люблю паоф. Месоре[2]

---

[1] Паоф, тиштри (*иуд.*) — конец сентября — начало октября.

[2] Месоре (*егип.*) — конец июля — начало августа.

не люблю. Месоре — месяц смерти». Интересно, чью смерть она имела в виду?

Клеопатра уехала по узкой дорожке и вскоре скрылась в зарослях Мамврийской дубравы. Я поехал было назад, но затем свернул в сторону и взобрался на близлежащий холм, откуда открывался живописный вид на долину. Мне подали раскладной стульчик; подчиняясь приказу, гетайры оставили меня одного, и я долго смотрел вслед исчезнувшей египтянке, не отрываясь и не оборачиваясь назад. Я сидел так до самого вечера,— что-то не давало мне сойти с холма,— царица, верно, отъехала уже далеко, даже догнать ее было трудно,— а я все еще не покидал своего стульчика, будто бы мог что-то разглядеть в сплетениях дубовых ветвей и густом кустарнике. Странное чувство наполовину тоски, наполовину облегчения овладело мной. Лишь когда солнце закатилось за горизонт, кроны деревьев потемнели и слились между собой и поздний ветер дунул в мое лицо, я спустился к своим идумеянам, совсем уже истомленным ожиданием. Тут в моей голове пронеслось: «Напрасно все-таки я отпустил ее. Ведь она была в моих руках, и я отпустил ее совершенно неразумно. Ничего хорошего из этого не выйдет».

Николай Дамасский (вновь открытый фрагмент): «И она покинула Иерусалим, ласково простившись с царем, и остановилась в Аскалоне, ожидая головы Иродовой».

Прижизненных изображений Ирода не сохранилось. Вероятно, их попросту не существовало. Иудаизм, как и его восприемник ислам, не выносит человеческих портретов, усматривая в ремесле художников покушение на прерогативы Бога. Даже на монетах Ирода вместо профиля царя чеканились предметы иудейского богослужения: священные сосуды, кадильницы, семисвечники. Похоже, за все годы правления Ирод вообще не видывал ни одной своей статуи, когда его современники, соседние цари, охотно обставлялись собственными изображениями.

Потомкам осталось лишь догадываться о внешности прославленного злодея. Одно время его сближали с римлянами, другое время — с персидскими монархами. Происходило это оттого, что история не могла разрешить вопроса, кем же он больше был: иудаистом или элли-

нофилом, деспотом или строителем, правителем или палачом?

Если суммировать все современные изображения Ирода, фигурирующие в библейских изданиях, мы получим следующий портрет: хищное лицо с мефистофелевской бородкой, сросшиеся брови, крючковатый нос, тяжелый взор тирана, погрязшего во лжи и крови. Таков взгляд современников, основанный почти что целиком на евангелисте Матфее.

Зато изображений Клеопатры в избытке. Мы имеем статуи, бюсты, гермы, храмовые рельефы, хорошо сохранившиеся монеты с перечислением ее громких титулов. Правда, не о всех скульптурах можно с уверенностью сказать, что они представляют знаменитую египтянку. Обычно их идентифицируют на основе сходства с достоверными монетными профилями. Основные характерные черты: крупное, несколько мужиковатое лицо, глубоко посаженные глаза, крутой нос, выпяченный подбородок. Такова известняковая голова женщины, хранящаяся в Британском музее, и многим схожая с ней мраморная статуя царицы в Ватикане.

Сколько бы я ни показывал эти портреты друзьям и знакомым, имеющим о Клеопатре расхожее представление, всегда слышал нелестные отзывы, сопровождающиеся замечаниями: «страшная», «темная», «грубая», «жутковатая», а не то и вовсе «мужчина». Когда они узнавали, что это и есть прославленная царица, их постигало безмерное разочарование. В обществе почему-то принято отождествлять Клеопатру с красавицей Нефертити. Виной тому неувядающий имидж самой искушенной соблазнительницы и неуемной эротоманки, усиленно поддерживаемый художественной литературой, живописью и всеми видами искусств на протяжении двух тысячелетий. Чего только стоит выразительное замечание Аврелия Виктора: «Она была настолько развратна, что часто проституировала, и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи». Как после этого удержать буйную фантазию? На примере Пушкина с его «Египетскими ночами» прекрасно видно, какую пищу получили от Аврелия Виктора художники и поэты!

Но если поэзия основное внимание уделяла любовным утехам египтянки, живопись взяла на откуп ее таинственную смерть. Полотен, представляющих последние минуты Клеопатры и ее «прекрасное», по вы-

ражению рабыни Хармион, самоубийство, не перечесть. Начало этой галерее, пожалуй, положила картина, выполненная по заказу еще самого Октавиана, которую пронесли в его триумфе как бы вместо самой царицы, не доставшейся ему живой. Уже тогда фигурировали ядовитые змеи, впившиеся в судорожное тело отчаянной египтянки.

Все последующие творения, собственно, тиражировали этот образ. Правда, согласно фантазии и вкусам данного автора. Клеопатра Гвидо Рени — весьма полная дородная матрона, естественно, нагая, очень напоминающая Тицианову «Кающуюся Магдалину», лениво откидывается в кресле и закатывает глазки, словно бы не отходит на тот свет, а развлекается с миниатюрным, почти игрушечным аспидом. Пышная такая, жизнерадостная венецианка... Что бы сказал Рени, если б ему показали подлинные изображения Клеопатры?

Но почему никто из живописцев не удосужился свести на полотне Клеопатру и Ирода, столь известные колоритные фигуры, совершенно непонятно. Или эти два персонажа так трудно связать друг с другом? Когда звучит имя Ирода, перед глазами встают чеканные новозаветные тексты, пляшут зарезанные мальчики Вифлеема, а жестокий злодей пирует во дворце в окружении продажных льстецов. Клеопатру же легко представить в обществе Цезаря, Антония, спесивой римской знати, в окружении поэтов и философов или даже на боевом корабле в гуще морского сражения, но почти невозможно вообразить в священном Иерусалиме рядом с Гефсиманией и Голгофой, Вифездой и Кедроном, на фоне ритуальной «Стены плача». Это сюжет из другой пьесы. Ирод принадлежит евангелиям, Клеопатра — любовным романам, и эти вещи не совместить.

Между тем они прекрасно совмещались, только история предпочла этого не заметить. Даже ближайшие потомки мало что знали о посещении Иерусалима достославной царицей Египта. Об этом событии молчат самые авторитетные хроники. За исключением разве что немногих иудейских авторов, взявших труд упомянуть мимолетный роман великого царя и падшей женщины (это вовсе не насмешка: Ирод в конце концов удостоился обозначения Великий, а за Клеопатрой закрепилось прозвище «царственная блудница»).

Иосиф Флавий, хотя и держал в руках царские дневники, излагает встречу Ирода с Клеопатрой весьма туманно. Скудость фактов возмещена обилием эмоций.

Из текста ясно только, что Ирод был крайне обозлен на египтянку и даже совещался с приближенными, не прикончить ли ее в Иерусалиме. Объяснением тому Иосиф ставит попытку Клеопатры, «побуждаемой к чувственным удовольствиям, интимнее сблизиться с царем», который, якобы возмущенный таким бесстыдством, «решил предупредить ее коварные замыслы и отомстить ей» (?!). На фоне этих путаных рассуждений фраза о том, что убийством царицы Ирод хотел оказать услугу Антонию, звучит вообще фантастично. Словом, ревностный иудаист Иосиф или что-то скрыл, или сам не разобрался в существе дела. Возможно даже, сокрытие исходило не от него, а от источников, которыми он пользовался. Во всяком случае, излагается довольно натянутая версия, выгодная Ироду и его стороне.

Больше света на эту историю мог бы пролить Николай Дамасский, современник и свидетель описываемых событий. Но от его труда остались лишь обрывистые фрагменты, нисколько не проясняющие ситуацию. Впрочем, то, что Иосиф Флавий часто ссылается на него в своих сочинениях, рушит наши последние надежды. Ведь если бы Николай рассказал что-нибудь дельное, то Иосиф об этом бы знал.

Проанализировав скудость источников, современный биограф Клеопатры поляк Александр Кравчук сделал пессимистический вывод: «Переплетение всех этих мрачных событий и интриг никому не удалось распутать до конца». И все-таки именно А. Кравчук нащупал в жидком месиве твердую почву: «По-видимому, египетская царица приняла участие в заговоре, сложившемся при иерусалимском дворе».

Когда речь заходит о заговорах и дворцовых интригах, мы видим Клеопатру в родной стихии. С раннего детства жизнь египтянки сопровождали непрерывные козни и перевороты. Ее старшая сестра Береника, в отсутствии отца овладевшая троном, уничтожила одного за другим двоих своих мужей-соправителей; наконец, сама погибла на плахе, казненная по приказу отца. Клеопатре было у кого учиться и перенимать опыт. Оба ее брата пали, угодив в расставленные ею сети. Родную сестру Арсиною, спутницу во всех поездках, она сначала спровоцировала выступить против Цезаря, а затем, попавшую в плен и поселенную в Милете, отравила, подослав ей своего агента.

Начав с устранения родственников, в неукротимом

властолюбии египтянка перекинулась на азиатских царей. По ее настоянию Антоний казнил Антиоха Коммагенского; правитель Халкиды Лисаний после того, как отказался выплачивать Клеопатре дань, был обвинен ею в измене, в тайных связях с парфянами, вызван Антонием в Антиохию и там на виду у всех обезглавлен. Владения Лисания отошли к Клеопатре.

Иудея давно привлекала к себе взоры алчной владычицы Египта. Уступив Иерусалим когда-то Селевкидам, Птолемеи перестали считаться хозяевами Востока, и теперь Клеопатра мечтала взять реванш. Она хорошо помнила, как александрийцы желчно укоряли ее отца за то, что он вернулся на трон с помощью иудеев, и вчерашние рабы восторжествовали над господами. Наследница Авлета жаждала доказать всем, и своим подданным, и иудеям, кто теперь настоящий хозяин Востока. В этом-то и кроется разгадка того, что произошло между нею и Иродом в Иерусалиме.

Конечно, египтянка всеми средствами добивалась ослабления Ирода и с готовностью, часто даже без разбора, поддерживала любых его противников. Личная обида на спесивого идумеянина добавляла пыла. Не имея достаточной военной силы, Новая Исида пустила в ход свое излюбленное проверенное оружие: тайные сговоры и соглашения. Так она овладела властью в Египте, так же думала господствовать и в Азии. Другое дело, смог бы ослабленный, разлагающийся Египет переварить такой лакомый кусок, как Иудея, но Клеопатру меньше всего интересовали отдаленные последствия. Импульсивная египтянка жила лишь данным моментом.

СТАСИМ ЧЕТВЕРТЫЙ

На Востоке распространено было давнее и твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром.

Светоний. «Жизнь двенадцати цезарей»

Этот народ проник уже во все города, и нелегко найти какое-либо место на земле, которое было бы свободно от них и не находилось бы под их господством.

Страбон. «География»

Алеф. Ламед. Реш. Я хорошо помню тот август, когда случилась эта история. Ты, брат, конечно, тоже вспо-

мнишь его, ибо это было время почти невидимых, но ежедневных перемен, время тоскливого ожидания и какой-то невероятно затхлой спячки. Ты уехал тогда на военные сборы, а я перебрался на Лесную, где мне на месяц уступила жилье одна из твоих подружек, чтобы я мог там стучать на машинке хоть всю ночь напролет, никому не играя на нервах. Твой сосед-старик, на Петроградской, заскорузлый горький пьяница, одержимый неврозом, не вынес за стеной и двух часов; он соскочил со своей ветхой кровати, чудом преодолев глухоту и паралич, внезапно возник на пороге, мохнатый, бледный и всклокоченный, как домовой, долго и выразительно размахивал трясущимися руками, требуя прекратить пытку.

Потом, если помнишь, в час ночи, прихватив ненавистный всем ящик, мы мотались через весь город на Литейный, в Дом офицеров, где сторожем сидел твой сокурсник; я запирался в какой-то жуткой комнатушке, где ничего не было, кроме стула и низкого дореволюционного подоконника, и где стук пишущей машинки усиливался в тысячу крат, превращаясь в адский шум и грохот, от которого содрогались стены музея и тени древних полководцев, наверное, пугливо переглядывались меж собой на гравюрах.

Потом был целый август на Лесной. Поначалу, после ночных скитаний с тяжелой, обременительной ношей, он представлялся мне роскошным. Хозяйка уехала в отпуск, и я остался один не только в квартире, но и во всем городе, если не считать хозяйского кота Филиппа, весьма хитрого и самодовольного существа, который, нагулявшись за вечер, залезал через кухонную форточку и чинно шлепал по комнатам, оставляя на паркете грязные следы.

В середине месяца зарядили непрерывные дожди, какие-то тоскливые, холодные, злые; казалось, размякло все на свете, начиная от верхушек железных кровель и кончая последним булыжником на мостовой; мутные потоки, смешанные с сорванными листьями, струились у самого подъезда, никому не давая ни зайти, ни выйти.

Тем летом повсюду исчез из магазинов чай, и это казалось особенно невыносимым. Я разламывал какие-то черные неломающиеся плитки, похожие на куски асфальта (единственное, что продавалось на углу Лесного и Матросова), бросал их в алюминиевую кружку и ждал, когда кипяток станет тягучим и приторно-сладковатым, как перепрелый компот. У меня снова разбо-

лелся зуб, правая щека опухла, и природная худоба на лице сменилась неестественной, пугающей полнотой. В такое время я спасался только крепким чаем, но что мог дать асфальтовый суррогат?

За полночь, когда гас выдохшийся телевизор, и уже не слушались пальцы, нажимая не на те клавиши, и печатанье уже нельзя было назвать не чем иным, как порчей бумаги, я расслабленно откидывался на диване и слышал только густой, монотонный ливень за окном.

Напротив меня вздымалась дубовая резная этажерка, увешанная декоративными распятиями и образками. Книг у уехавшей хозяйки было немного, но почти все религиозного содержания (она отличалась набожностью, несмотря на свои двадцать восемь). За иконами и образками хранились Новый завет царского издания, истертый пожелтевший псалтырь, еще более древний Молитвенник и Святцы.

И я, тогда еще нарочитый исламист, поклонник ан-Наззама и аль-Джахиза, но уже сильно склонявшийся к манихейству по части поисков сверхбожества и сверхразума, почти машинально, даже как-то предвзято, следуя не столько необходимости, сколько традиции, раскрывал ветхие страницы антикварных изданий, ощущая то же, что и в бытность на раскопках Талгарского городища.

«Верую во единого Бога-Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшего на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою — судити живым и мертвым. Его же царствию не будет конца».

«Воплотившийся Сын Божий назван Иисусом Христом. Слово Иисус значит по-русски Спаситель, потому что Сын Божий пришел на землю спасти людей от греха и смерти...»

Перевод не совсем точный, ибо Иисус — по-древнееврейски Йошуа, Йегошуа — переводится как «Яхве спасет», или, если угодно, «Яхве есть спасение». Имя Гос-

пода иудеям запрещалось произносить под страхом смерти, но в составе личного имени людей оно вполне употреблялось, и священники не находили в том ничего дурного.

«Слово Христос значит Помазанник или Посланник Божий...»

Спаситель-Посланник... Посланник Яхве спасет, как это разумели иудеи.

Во втором часу ночи за окном наступала короткая передышка. Дождь затихал, облегченные тучи уносились куда-то в сторону Ладоги; пахло сыростью, мятой листвой и еще чем-то специфическим, чем пахнут только дворы на Выборгской стороне. Разомлевший под настольной лампой Филька лениво приподнимал одно веко и тускло наблюдал, как я надеваю непромокаемый плащ, не в силах взять в толк, куда это мог собраться его жилец в такую мерзлую слякоть.

Без пятнадцати три сводился на короткое время Гренадерский мост; я спешил на трамвай, идущий по Сампсониевскому; брызги дождя еще стекали по дрожащим стеклам пустого салона, за окном мелькали ночные фонари, затем в лицо пахнуло чем-то сырым, водянистым, внизу заиграла рябь Большой Невки, пограничной реки, похожей в этот час на древний Иордан в месте, где переправа у Вифавары.

Трамвай сворачивал в парк, я сходил с него на пустынном перекрестке у высокой каменной фабричной стены, напоминающей укрепления Ирода Агриппы и, примерно через час ночной ходьбы, наконец оказывался в Нижнем городе близ Силоамского пруда, где жил равви Гиллель, славившийся, помимо всего прочего, отменным врачеванием, особенно по части опухолей.

Он давал мне толченый купорос с уксусом и, не спеша с расспросами, терпеливо ждал, когда полегчает позднему посетителю.

— Издалека ли ты, друг мой?

— Из Переи.

— Неблизкий путь. Кто указал тебе мой дом?

— Кто не знает твоего дома, Гиллель?! Я не думал лечиться ни у кого другого, кроме как у столь знаменитого учителя фарисеев.

— Вот оно что, путник... Ужели ты явился среди ночи вкусить мудрости фарисейской?

— Я слышал, Гиллель, ты никому не отказываешь в проповеди.

— Верно, друг мой. Счастливы алчущие правды, ибо насытятся.

— И счастливы изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное.

— Истинно, переянин. Ты, вижу я, знающий человек. У кого ты учился?

— Моими учителями были по большей части тоскливые начетники или проповедники ложных богов. А вся учеба моя — от жизни, да еще от соучеников, которые были со мной.

Гиллель разглаживал клинышек своей мягкой шелковистой бородки и вкрадчиво замечал:

— Человек не приходит сам по себе ни к чему, кроме заблуждения. Тщетно искать Господа самому по себе; для этого нужны наставники и водители.

— О равви, это славно, клянусь небом!

— Не клянись ничем, переянин. Вот наша первая заповедь. Ни небом, ибо оно Престол Господень; ни землею, ибо она прах у Его ног; ни храмом Господним, ибо он обиталище Его; ни головою своею, ибо лишь Он единственный властен над нею. Говори «да» или «нет», а клятвы все от бесов.

— Где-то я уже слышал эти слова... Ты говоришь как Мессия, Гиллель.

— Откуда ты знаешь, переянин, что скажет Мессия? Может, ты уже видел Его пришествие? Может, Мессия уже объявлялся в Перее?

— Нет, еще не являлся.

— Тогда почему ты глаголишь о том, чего не ведаешь? Впрочем, Мессия не скажет ничего против того, что сказали уже пророки. Ибо не отменить Закон явится Он, но исполнить.

— Ты веришь в Мессию, Гиллель?

— Я верю в то, что предвещали наши отцы от веку; в то, что пророчествовали Исайя, Даниель и Михей о пришествии Царя Израилева во спасение народа.

— А как быть с царем правящим?

— С каким царем? С Иродом? Сказано: «Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему»[1].

— Почему бы тебе, Гиллель, не стать этим Мессией? Ты мог бы им стать.

---

[1] Дан. 7 : 27.

— Мне?! — изумлялся равви, подозревая у собеседника повреждение в рассудке.— Ты полагаешь, переянин, что Мессия будет из человеков? Нет, Он спустится с облаков, окруженный небесным сиянием, и предшествовать Ему будут великие знамения.

— Какие знамения?

— А вот какие. Послушай, что говорят мудрецы. Освободитель Израиля, потомок Давидов, явится в тот год, в который укажет Господь. Перед этим землю постигнут ужасный мор, войны, голод, наводнение; словом, тысяча напастей, от которых содрогнется мир. И вот, когда огонь охватит всю твердь и люди будут искать спасения подобно праотцу Ноаху, тогда явится Мессия и спасет свой народ, как обещали пророки. Но прежде, чем явится сын Давидов, придет воскресший Илия Пророк и предупредит верующих о скором появлении Грядущего за ним. Как сказано в Писании: «Вот я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Господнего дня, великого и страшного»[1]. Вот тогда будьте начеку. Ибо немногим после этого на небе воссияет новая звезда, самая яркая из всех звезд, которую увидят на Западе и на Востоке. Это вам знак: идет сын Давидов с неисчислимым воинством. Горе тогда лживым и нечестивым, ибо Он возьмет в свое царство только праведных людей, которые чтили Закон Моисеев; все же прочие будут истреблены.

— Когда же, по-твоему, это случится?

— Это случится не сегодня и не завтра, но скорее, чем ты думаешь.

— Есть еще какие-нибудь приметы Его?

— Мудрецы полагают также, Он родится и откроется миру в Риме, подобно тому, как Моисей родился и открылся в Египте.

— В Риме? Отчего же в Риме? Почему, скажем, не в Галилее?

— Потому что во времена Моисея иудеев притеснял Египет, а теперь Рим. Моисей избавил нас от египетского ярма, а Мессия избавит от римского.

— Все же это как-то странно. Ты задал для Мессии трудную задачу, Гиллель. Не лучше ли разрешить ее самому?

— Ты еще не перестал кощунствовать, переянин? Впрочем, это твое дело — задавать мне вопросы, а мое

---

[1] Малах. 4 : 56.

дело — отвечать. Я готов говорить обо всем, о чем ты пожелаешь.

— Ученость и рассудительность не позволяют тебе, Гиллель, назваться Мессией. Ты мудрейший из раввинов, но набожный и кроткий. Такие не становятся пророками. Пророк — это гнев и страсть, это всегда — доля безверия, доля хитрости, доля наглости и доля безумства. Ну, к примеру, как у твоего друга, равви Шемайи. У него и возраст подходящий — тридцать два года.

— Что ж, переянин, вот пойди и предложи ему то, что предложил мне.

— Может, и пойду. Только не лежит у меня к нему сердце, ибо он именно такой, как сказано. У меня к тебе лежит сердце, Гиллель.

И в большом зале, и в прихожей, на шершавой, грубо побеленной стене висели куски холста с начертанными на них причудливыми письменами, и когда я проходил мимо, они дрожали и трепыхались, будто от ветра; но ни одной буквы нельзя было разобрать в темноте. Вместе с ними, казалось, колебалась сама стена и шевелились предметы — словом, всё в этом доме, кроме заснувшей у дверей привратницы, единственной служанки равви, которая не повела ухом и не услышала, как я открыл дверь и вышел на улицу.

Полная луна светила мне в лоб истощенным призрачным светом, словно бы догорающий фонарь, давно готовый погаснуть. Ей еще хватало жизни разгонять сизую ночную дымку, но уже не было сил бороться с наступающим рассветом. Жалкие блики ее тонули в черной стоячей воде, сгустившейся на дне полувысохшего пруда в сорока шагах от дома Гиллеля. Камешки из-под моих ног катились по отлогому склону и плюхались в воду, нарушая ночное безмолвие.

В предутреннем сумраке Силоамская купель тонула в невероятной глуши, совсем как на заброшенном острове, именовавшемся когда-то Новой Голландией и превратившемся ныне в непролазную чащу. По какому-то мутному стоячему каналу мы подплывали к старой верфи и сквозь непроглядные дебри с трудом различали останки петровских башен, готовых вот-вот рухнуть и окончательно засыпать и без того занесенную тиной внутреннюю пристань. Ты рассказывал что-то о Собчаке, об аренде острова и готовящихся аттракционах, а я смотрел на отражение стены — мутная вода служила отличным зеркалом — и в перевернутых колоннах и ар-

ках начинал замечать знакомую кирпичную кладку где-то между Сионскими воротами и Вратами Сильван, напротив полусрытого холма Офель, на котором в древнейшее время гнездилось укрепление иевуситов, завоеванное Давидом.

Всякий пророк только тогда имеет успех, когда его миссия опирается на практические дела. Люди никогда не согласятся слушать необыкновенные вещи из уст обыкновенного человека. Проповедь сама по себе ничего не стоит. Проповеднику необходимо совершить ряд чудес, чтобы воочию доказать свое божественное предначертание, заиметь право на безусловную истину. Так было в древней Иудее, так же и сейчас. Лучше всего на толпу воздействуют чудеса исцеления, особенно без помощи лекарств. Любой экстрасенс — потенциальный пророк. Сначала людей нужно изумить, а уж затем учить. Начиная с Моисея с его волшебным жезлом пророки хорошо усвоили сей феномен. Даже скромный Гиллель инстинктивно чувствовал это, занимаясь врачеванием. Странное исключение из правила составляет лишь Мухаммед — пророк чистой воды, а затем политик-администратор. Никто из библейских пророков не был администратором. С другой стороны, мы что-то не слышали, чтобы Мухаммед воскрешал мертвых и шествовал пешком по волнам. Тем более странно (если не вполне естественно), что он, пожалуй, единственный из пророков, кто добился полного признания при жизни.

...От Силоамского пруда до Тиропеонской улицы — несколько тесных убогих переулков, где по ночам частенько орудуют воры и разбойники. Впрочем, предутренний сон уморил и лихоимцев, и их жертвы, и свидетелей, за исключением нескольких хмельных гуляк, спускавшихся откуда-то с Ксиста. Заметив среди них человека в воинских доспехах, я немедленно вынырнул из-за угла:

— Что слышно во дворце? Все тихо?

Стая разразилась дружным смехом:

— Какое тебе дело, бродяга? На что тебе дворец? Иди сюда, мы устроим тебе царский прием. Запомнишь надолго.

— Значит, вы ничего не слышали? Ни шума, ни криков?

— Сейчас тебе будут и шумы, и крики. Дайте-ка, братцы, мне что-нибудь потяжелее.

— Симон, слушай, а может, он чей-то лазутчик? Че-

го он тут крадется среди ночи и выспрашивает о дворце?

— Эй, бродяга, ты кто? Эллин?

Я огибаю пьянчуг и спешу вверх по Тиропеонской улице.

— Стой, эллин, ты куда?!

— Да брось его, Симон,— слышны за спиной стихающие голоса,— бедняга явно не в себе: лишился рассудка. Что с таким связываться?

Улица брала все выше и круче, взбегая на дворцовую площадь — Ксист, сужаясь и утесняясь лавками мелких торговцев. Нижний город понемногу пустел и разорялся; кто был побогаче, покидал старые лачуги и перебирался в северное предместье, захватывая новые участки среди высоких и дорогих особняков, выстроенных в эллинском стиле. Тиропеонская улица ниже будущих Силоамских ворот становилась загородной дорогой, да и верхняя часть ее не блистала особенной красотой.

С двух сторон тянулся почти сплошной каменный дувал; жилые дворы можно было считать лишь по выступающим из стены аркам ворот, подобных тем, на которые опьяненные победой и кровью рыцари Готфрида Бульонского вешали свои круглые щиты с огромными красными крестами в знак собственной добычи. Они думали, что останутся здесь на вечные времена, но уже их сыновья и внуки, осыпаемые градом камней и стрел воспрявших сарацин, в страхе посылали барона Балиана к могущественному султану Саладину спросить об условиях сдачи Гроба Господня. Мусульмане вошли в город боевым строем, но в противоположность крестоносцам не стали устраивать свирепой резни и выпустили христиан вон, взяв выкуп за голову: по 10 динаров за мужчину, по 5 — за женщину, по одному — за ребенка.

Сказано: неосознанное ощущение власти давнего над настоящим.

Путепровод, то есть парадный мост, переброшенный через Ксист, связывал священный Храм с обителью Хасмонеев; в дни праздников по нему шествовали члены царской фамилии, а внизу, на площади, их приветствовал восторженный народ. Сейчас на мосту не виднелось ни души, не было даже стражников; конечно, услышав сигнал тревоги, они тут же оставили посты и устремились во дворец.

Я смотрю на свои часы: без пяти пять. Одиннадца-

тый час ночи по местному времени. Наверняка все уже кончено; кто не смог убежать оттуда, тот уже не убежит. Ворота захлопнуты наглухо; в такие часы обычно перекрывают все лазейки,— и мышь не прошмыгнет. Луки натянуты до отказа, стрелы напитаны смертельным ядом; всякая оплошность стоит головы.

Четверг — день царя. Добрый ангел Захариель бьется в беспощадной схватке с темноликим косматым Ахамом, и могучий легион Сашиеля теснит полчища тьмы под отеческие гимны и молитвы подвижников:

«Заклинаю вас, святые ангелы, именами: Кадос, Кадос, Кадос, Эсшери, Эсшери, Эсшери, Хатим, Хатим, Иа — властителем веков, Кантин, Жаим, Жаник, Ание, Кальбар, Саббак, Бетирай, Альнаим.

Заклинаю вас Адонаем, сотворившим в пятый день рыб, и гадов, и птиц на поверхности земли.

Ангелами, служащими в шестом легионе.

Именем звезды Юпитера и ее печатью Адонаи, высшим создателем всего.

Именами всех звезд, их силами и могуществом, заклинаю тебя, о великий Сашиель, ты, который председательствуешь в день Юпитера! Приди ко мне на помощь и исполни мою волю».

Это были времена, когда Господь Бог занимался почти исключительно Израилем, своим возлюбленным и ненавистным детищем; сюда приковывалось Его внимание; здесь Он являл свои знамения; к нему обращались слова великой благодати и смертельных угроз.

Остальным народам была предоставлена неоценимая возможность мирно догнивать и разлагаться в своем безверии. Правда, невежество их было настолько сильно, что некоторые из них, подмяв под себя полмира, принялись подчинять и самый Израиль, как бы соревнуясь с Господом в приложении сил к этой маленькой неприметной стране. Погрязший в пороках Рим еще только примеривал имперскую пасть, но уже юлила хвостом, окручивала и охмуряла великая блудница Египет.

Что оставалось на долю потомков Авраама? Некоторые в ожидании Мессии скрывались в иудейской пустыне либо искали себе приют в пещерах на берегу Соленого — Мертвого моря, вкушая акриды и мед.

Другие всецело ударялись в Завет, упражняясь в спасительных правилах: зажмуривали глаза, дабы не видеть греховного мира, горбились колотушками и влачили ноги по земле.

Большинство же, дорожившее имуществом и привязанное к семьям, не делало ни того ни другого и, зажатое между Торой и Свитком Войны, надеялось лишь на собственные головы да на хорошую власть.

Было у них 70 лет до явления Мессии, и был у них царь, которому было положено править.

ЭКСОД

После его безбожного посягательства на гробницу Давида домашние дела Ирода стали ухудшаться... и, наконец, привели к неописуемым бедствиям.

Иосиф Флавий. «Иудейские древности»

В среду, на третий день после отъезда Клеопатры, Ирод счел нужным примириться с женой, с которой был в разладе почти целый месяц. Для этой цели он устроил семейную трапезу, на которую пригласил Александру с сыном Аристобулом. Царь полагал, что в присутствии матери и брата супруга не будет капризничать и окажется более сговорчивой, но уже через минуту понял, что ошибся. Как раз напротив, пока отсутствовала родня, Мариам согласно кивала ему и уже готова была сдаться, но стоило только появиться Александре и Аристобулу, тут же набросила на себя покрывало прежнего отчуждения.

Ирод понял, что вечер испорчен. Трапеза протекала скучно и вяло; почти никто не глядел в глаза друг другу, а тринадцатилетний царевич Антипатр, всегда забавлявший отца за столом, быстро потускнел и расстроился. Даже музыканты и танцовщицы не могли развеять тоску.

— Раз мы собрались сегодня вместе,— молвил Ирод, искоса оглядывая сотрапезников,— мне хочется спросить вас: как вы нашли нашу гостью, царицу Клеопатру? За ту неделю, что она провела здесь, какой она вам показалась?

Поскольку вопрос не был обращен ни к кому конкретно, присутствующие промолчали. Даже услужливый евнух Эзоп ничего не ответил царю, поставив его в нелепое положение человека, оказавшегося в компании глухих.

— Что скажешь, Аристобул? — повторил Ирод настойчивей.

Юноша угрюмо пожал плечами.

— Неужели у тебя не сложилось о ней никакого мнения? Или ты предпочитаешь хранить его в тайне?

— Просто не знаю, что сказать, царь... Мне не пришлось так тесно общаться с ней, как тебе...

Ирод побагровел:

— Что значит «тесно»? На что ты намекаешь?

— Ах, оставь, прошу тебя! — встрепенулась Мариам, морщась, будто от уксуса.— Во всем ты ищешь козни и скрытые намеки. Хоть сегодняшний вечер проведи без мелочных придирок.

После этого замечания мать наградила дочь одобрительной улыбкой, а также не забыла поддержать сына легким кивком головы. От Ирода не укрылись немые знаки Александры, и он еще более посуровел:

— А я, со своей стороны, попрошу тебя, дорогая женушка, не вмешиваться, когда разговаривают государственные мужи. Можешь ли ты хоть сейчас попридержать свой не в меру развязанный язычок?

Мариам обиженно надула губы и отвернулась.

— Ты уже слышал, мой друг,— сказал Ирод, обращаясь к Аристобулу,— о том несчастном случае, который постиг здесь царского секретаря?

— Да, мать рассказывала мне...— кивнул первосвященник, оглядываясь на Александру.— Впрочем, то, что известно.

— Очень темное дело, мой друг. Полное загадок и неясностей. Я распорядился нарядить строжайшее следствие, но едва ли до конца рассеял мглу.

Говоря это, Ирод не сводил взора с Александры; та, как ни в чем не бывало, допивала чашу холодного мульса, делая вид, что целиком поглощена трапезой.

— Во-первых,— продолжал идумеянин,— непонятно, как Аммоний мог оказаться в нижнем дворике, соединенном с клетками для зверей. Положим, он упал туда в темноте. Но что привело его туда среди ночи? Ведь это так далеко от того места, где жили египетские гости! Во-вторых, как случилось, что именно в этот час львы вышли из клеток? Кто разъярил их так, что они набросились на человека? Я допросил смотрителя зверинца, но не получил толкового объяснения. Говорит, был пьян и ничего не помнит, но, по-моему, он просто скрывает истину. Очень скверная история, Аристобул. Тем сквернее, что омрачила визит высокой гостьи. Погибший был правой рукой египтянки.

Сидевший справа от отца царевич Антипатр, до это-

го, казалось, засыпавший за столом, тут вдруг очнулся и заученно процедил:

— И отчего, отец, ты так переживаешь за этого эллина? Попал в пасть пустыннику — так ему и надо.

Ирод повернулся к сыну всем телом, с тревогой и некоторым удивлением прищурил сердитый глаз:

— Это не твои слова, Антипа. Кто научил тебя так говорить?

Царевич испугался отцовского взора и нечаянно опрокинул кубок на пол.

— Никто меня не учил... Я сам.

— Разве ты не любишь эллинов? Своих воспитателей? Свою няню? За что ты не любишь их?

— Довольно, Ирод, перестань мучить ребенка! — снова вмешалась Мариам.— Допроси лучше своих львов. Я давно говорила, что этот ужасный зверинец не угомонится, пока не сожрет всех нас!

Ирод откинулся на подушки, скрестив руки на груди, и стал очень похож на Цезаря, когда тот в сенате уселся в курульное кресло рядом с язвительной статуей Помпея[1].

— Сегодня вы все словно бы сговорились против меня... Я подозреваю, о смерти Аммония на женской половине дома известно больше, чем на мужской. Тем более что покои нашей почтенной матери расположены рядом с местом происшествия, не так ли?

Александра окончила трапезу, медленно обтерла платочком губы и впервые за вечер подняла на идумеянина вызывающий своим спокойствием взор:

— Именно так, мой сын.

Он засмеялся, но натужно, словно преодолевая какую-то невероятную тяжесть:

— Мне нравится твоя смелость, Александра. Ты хорошо ответила. Очень хорошо... Я с самого начала полагал, что в этом деле остался недопрошенным еще один важный свидетель.

— Не утруждайся, Ирод,— так же невозмутимо продолжала она.— Я и так скажу: египетского секретаря постигла не случайная смерть. Его сбросила голодным львам сама Клеопатра. За то, что он продался тебе за сотню талантов и, когда ему грозило разоблачение, искал тайной встречи с тобой.

---

[1] Известно, что после этого на диктатора набросились заговорщики. Статуя Помпея, врага Цезаря, при этом казалась улыбающейся.

Царь засмеялся еще громче, трясясь всем телом, и небрежно наклонился к жене:

— Вот видишь, Мариам, напрасно ты напустилась на голодных животных. Люди, пусть сытые, много раз злее и кровожаднее.

Зал молча наблюдал за неестественным смехом царя, ощущая, как сгущаются тучи, а евнух Эзоп незаметно дал музыкантам знак удалиться и выпроводил из трапезной всех посторонних.

— Надеюсь,— молвил Ирод, обращаясь к Александре,— после всего этого ты последуешь по стопам Клеопатры и покинешь мой дом?

— Вне сомнений, нам не ужиться под одной крышей,— ответила та.— Полагаю, даже в одной стране.

— Не беспокойся за страну, Александра. С помощью Вседержителя она переживет потерю столь досточтимой особы.

— Иудее не занимать стойкости,— парировала теща.— Она переживет потерю и куда большую.

Мариам спешно ухватилась за рукав царского подира, но Ирод решительно высвободил руку и, из последних сил сохраняя на лице веселость, воскликнул:

— Suum cuique — «Каждому свое»! Так гласит философия. Счастливый путь, почтенная, да устелит Господь твою дорогу пухом! Мы слишком долго скрещивали копья, чтобы сегодня одно из них, наконец, не обломилось.

Жалобно перебегая глазами с одного конца трапезной на другой, евнух Эзоп несколько раз пытался прервать словесную перепалку; с трудом это ему удалось:

— Философия, вне сомнений, великолепная пища, но только тогда, когда наполнен желудок. Позволь, царь, подавать сладости и фрукты.

— Как будет угодно гостям,— соблаговолил Ирод.— Кстати, куда подевались танцовщицы?

— Меняют платья, господин.

— Надеюсь, на более легкие?

— Более чем, государь.

— Прекрасно, Эзоп! Но лучше бы они оставили их совсем. Право, сегодня такой вечер, когда многое обнажается и выходит на свет. Даже то, что мы держали в тайниках души и, может быть, век не извлекли бы наружу. Не так ли, Аристобул?

— Ты имеешь в виду гибель секретаря? — переспросил первосвященник.

— Да примет Господь его заблудшую душу! Я имею

в виду нас. Твоя мать подала прекрасный пример откровенности и ясно дала понять, что будет бороться со мной до последнего вздоха. Нет ли чего тебе добавить к ее словам?

Юноша неприятно передернулся, побуждаемый немедленно выбрать чью-то сторону, несколько минут сосредоточенно вертел в руках свой осушенный кубок и куда-то на дно его процедил:

— Мне нечего сказать, кроме как выразить прискорбие в связи со всем произошедшим.

— Прискорбие?

— Да, царь. Что тут рассказывать? Мне жаль, что в нашей семье нет любви и согласия. Страна в опасности, если правители ее враждуют и борются между собой.

Сатанинская ухмылка скользнула по устам Ирода; он поднялся с ложа и сделал несколько шагов по мозаичному полу:

— Клянусь небом, ты заблуждаешься, шурин. Во-первых, здесь нет никаких других правителей, кроме одного. То, что ты называешь семейной усобицей,— на деле есть неповиновение и бунт. Мне только хочется знать, как далеко простирается враждебность верховной власти.

— Ах, оставь, Ирод, умоляю тебя! — простонала Мариам, напуганная быстротою развязки.

— Во-вторых,— продолжал царь,— откуда взяться среди нас любви и согласию, если даже моя жена обращена в соглядатая и доносителя на меня? Если даже моему наследнику, несмышленому отроку, внушается подозрение и ненависть к отцу? Очевидно, кто-то метит в правители вместо меня; он-то и затевает преступный бунт и грозит стране междоусобицей. Недоволен властью только тот, кто сам жаждет завладеть ею.

При этих словах Александра метнула в спину Ирода отточенный взгляд, но тут же меланхолически опустила глаза; она уже не участвовала в разговоре.

— Четыреста лет...— вспыхнул вдруг Аристобул с юношеской горячностью, но обнаружив при этом немалое красноречие.— Четыреста лет, со времен вавилонского пленения, иудеи жили единственной мечтой возрождения веры отцов и обретения свободы на своей земле. Жестокие тираны, иноземные цари и захватчики угнетали сынов Авраамовых и глумились над их жилищами. И сколькими мучениями, скажи, о царь, каковою доблестью и кровью мы завоевали свободу при Маккаве-

ях? Мы возродили царство Давидово, которое теперь вновь поставлено на край пропасти. Прежние тираны — иноземцы простирают длани, чтобы отнять у нас наше достояние, вновь сковать иудеев цепями рабства...

— Оказывается, ты речистый проповедник, мой юный друг,— прервал его Ирод.— У вас в Храме быстро научаются вращать языком. Но здесь не синедрион, и мне недосуг выслушивать пустые заклинания. Изволь говорить по сути.

— Обитель Господа, священный Иерусалим, заполнен язычниками, домогающимися власти, и ты благоволишь им, царь. Ты окружаешь себя неверными эллинами, вручаешь им области и стратегии, презрев своих единоверцев. Ты уже сам назвался басилеем, как какой-нибудь эллинский завоеватель. Ты угождаешь римлянам, принял от них жезл и тогу[1], привечаешь заезжих царей, извечных врагов Иудеи, и уступаешь им пядь за пядью землю Давидову. Недалек уже тот день, когда нас снова уведут в плен египетский или римский.

— И как же ты, первосвященник, полагаешь спастись?

— Так же, как Иуда и Ионафан Маккавеи: очистив землю Давидову от инородцев, истребив и изгнав за ее пределы неверных, не чтущих Закон Моисея.

— Всех эллинов? — прищурился Ирод, сверкая прежней усмешкой.— И римлян? И египтян? И арабов?

— Тех, кто не принял веру Господа нашего и оскверняет народ Его гнусными делами.

— И самарян? И азотиев? И идумеев? — Царь выбросил вперед левую ладонь.— Лучше всего уж устроить новый потоп, чтобы погиб весь мир, а на ковчеге спаслись лишь одни потомственные иудеи, не так ли? Слепцы, не видящие ничего вокруг, безумцы, вызывающие гнев тех, кто сильнее вас, вот уж, воистину, вы погубите себя и народ иудейский и то, что еще осталось от Маккавеев, сожжете на алтаре слепой ненависти! Именующие себя спасителями от рабства, в него-то и ввергнетесь вы!

— А разве мы уже не рабы чужеземцев? — возразил Аристобул.

Ирод вернулся на свое место во главе трапезы и не спеша подобрал полы златотканого подира.

— Нет, не рабы. О чем ты говоришь? Да, я был на-

[1] Жезл из слоновой кости и расшитая тога, по обычаю, вручались сенатом правителю в знак признания его союзником римского народа.

зван царем, будучи в Риме. Вы в этом меня упрекаете? Это вменяется в вину? Но скажи-ка на милость, как я там оказался? Разве у меня там дом или поместье? Разве не проще было венчаться в Сионе, городе Давида? Скажи-ка, где тогда был царский венец? А где оказался твой достопочтенный дед? Не в лапах ли захватчиков-парфян, которые ворвались в Храм Господа, убили моего брата, завладели страной? А где был ты, о царственный шурин, со своей дражайшей матерью?! Почему вы не подхватили упавший с головы Гиркана венец? Нет, вы дрожали от страха, запертые в Масаде, жевали горький колоквинт и слали мне гонцов с просьбой о помощи. Зато теперь какая смелость и красноречие! Теперь вы упрекаете меня — о Боже, в чем?! — в союзе с римлянами!..

Царь сбавил голос, и желваки на его скулах напряглись.

— Да, римляне помогли нам изгнать неприятеля; за это мы дружественны Риму и обязаны с ним считаться. Но разве это возврат ко временам господства Селевкидов? Где, в каком городе иудейском сидит римский начальник? Где, какой иудей платит римлянам дань? Назовите мне того иудея, которому запрещено приносить жертвы Господу, как это было при Эпифане. Нет ничего этого. И, с благословения Всевышнего, не будет. Если не помешают мне мнимые радетели веры относиться к Риму так, как положено, к наилучшей пользе для Отчизны. А не помешают, не сорвут, не испортят — погодите, вы увидите Иудею воспрявшей и цветущей, да еще в границах царства Давидова!

— О государь! — не удержался от восклицания Эзоп.— Благословенны твои уста, и поистине приятна твоя речь!

— Трапеза окончена,— сказал Ирод.— Все могут идти. Проводи гостей, Эзоп, и распорядись банщикам приготовить мне все для омовения.

Стряхнув напряжение, зал зашевелился. Александра и Аристобул направились к выходу, никак не попрощавшись с царем, да и он вовсе не заботился о них, а только окликнул своего сына-царевича:

— Погоди, Антипа! — и обернулся к бледно-желтой супруге: — Ты тоже можешь идти, Мариам. Возвращайся в свои покои.

И как только прочие удалились, он подозвал сына поближе и спросил, не сводя с него пристального взора:

— Ты все слышал, Антипатр, о чем я говорил?

— Слышал, отец.

— Ты все понял?

— Понял... — неуверенно помялся царевич.

— Я очень хочу, чтобы понял именно ты, сынок. На этих храмовников мне наплевать. Я говорил для тебя.

— Я понял, отец.

Ирод протянул ему руку для поцелуя, но тут же отдернул ее, услышав тихий вздох за спиной.

— Как, ты еще здесь?! Почему ты осталась?

На лице Мариам отобразилось отчаяние. Она бросилась к ложу царя и упала перед ним на колени:

— Молю тебя, Ирод, не трогай мою мать, оставь ее со мною. Ведь я не могу жить без нее... Заклинаю тебя светом Предвечного, не делай этого! Вспомни, как она почитала тебя, как превозносила перед иерусалимлянами, как защищала от нападок Сепфорея и остальных...

— Прекрати, Мариам, — отмахнулся царь.— Ты слышала, твоя мать сама выбрала себе путь. И если она отринула дружбу и избрала вражду, я не стану удерживать ее в своей стране.

— Но ты ведь не причинишь ей зла?!

Ирод оправил одежды и молча вышел из пиршественного зала.

— Запомни же,— пронеслось ему вослед,— если хотя бы один волосок упадет с ее головы, тогда все — слышишь? — все иудеи восстанут против тебя!

Водяные часы показывали пятый час ночного времени[1], когда Ирод в сопровождении Эзопа отправился во дворцовую купель. Путь их лежал через нижние покои, где в маленькой, тесной комнатке стояли погребальные носилки с завернутым в белую холщовую ткань человеческим телом.

— Что это такое? — остановился идумеянин у дверцы.— Запах — будто бы из сполиария[2]. Кто тут смердит?

— Здесь лежит египетский секретарь,— пояснил евнух.

— Разве он до сих пор не погребен?

— Не было распоряжения, господин. Все эти дни чинилось дознание, и тело продолжало оставаться здесь под присмотром слуг.

---

[1] 23.00 по современному циферблату.

[2] Сполиарий — морг для трупов в римских амфитеатрах.

— В такое-то пекло! — недовольно хмыкнул идумеянин, зажимая нос.— Кликни мне тех, кто его сторожит.

— Я запру вас в этой комнате,— обратился Ирод к слугам, когда те предстали перед ним.— Если вы решили отравить всех нас, то, клянусь небом, первые вкусите мертвечину.

Слуги недоуменно развели руками.

— Сейчас же унесите покойника из дворца и найдите ему могилу.

— На дворе ночь, господин...

— А вы что, намерены устроить ему погребальное шествие?

— По какому обычаю хоронить? — осведомились слуги.

— Все равно. Какая разница?

— Не лучше ли отдать тело египтянам из Верхнего города? — подсказал Эзоп.— Они сами сделают с ним что полагается.

— Отдайте кому хотите,— раздраженно обронил Ирод, продолжая путь.— Если уж сама госпожа бросила его тут на произвол судьбы, чего же требовать от нас?

Ночь четверга не многим бы отличалась от той непроглядной воскресной ночи, когда евнух вел свою первую жертву на растерзание львам, если бы не множество огней, расставленных на сей раз на всем пути, до самых дверей дворцовой купальни. Посему не нужно было слишком напрягать зрение, чтобы прочесть на стене посвятительную надпись целиком: «Во имя Господа Бога Иоанн, сын Симона, заложил сей дом во охранение царской власти и достоинства».

— Вот так же и я,— вздохнул Ирод,— буду лежать, разлагаясь, в какой-нибудь жалкой кладовке, и преемники мои, едва соблюдая приличие, будут спешить избавиться от трупа...

Евнух насторожился, оглядывая на ходу плотную спину и круглые выпуклости царских плеч, источающих здоровье и силу, и, немного успокоившись, промолвил:

— Ты еще полвека проживешь, государь. Не то что этот хлипкий астролог.

— Все в руках божьих,— изрек идумеянин.— Взять того же звездочета: другим будущее предсказывал, а своего конца не ведал. Верь теперь магам и прорицателям. А ведь неглупый был муж... Кто же все-таки выдал его Клеопатре?

— Тайна тайн, мой господин,— ответил евнух, ощущая легкую дрожь в коленях.

— Ты не знаешь, Эзоп? Ты, знающий все про всех?

— Клянусь, царь, только сегодня вместе с тобой я услышал из уст Александры, что его убила египтянка.

— Ты встречался с ним после того, как передал задаток?

— Только тогда, когда он вместе с царицей и с нами ездил к Досифею. Но ты ведь знаешь, мы не разговаривали на людях.

Ирод задумчиво почесал под бородой:

— Что-то здесь нечисто. Кто мог приволочь секретаря за пятьсот шагов в самый зверинец? Не иначе, его кто-то выманил среди ночи, а Клеопатра и Александра, сговорившись, поджидали в условленном месте.

— Все возможно, господин. С этими женщинами сам Вельзевул ногу сломит. Может, и деньги наши они поделили меж собой...

— Как бы не так,— усмехнулся Ирод.— Полагаю, египтянка прибрала задаток себе. Недаром она так расщедрилась на прощание; госпожа притворство просто издевалась надо мной... Но вот какое совпадение: когда Александра сегодня обмолвилась, будто Аммоний погиб, спеша ко мне за помощью, я тотчас вспомнил, как египтянка тоже намекала на это. Что бы это могло значить? Ведь я держал с астрологом связь только через тебя, Эзоп...

Минуя длинную экседру, путники вошли в плохо освещенную купель, в которой горел всего один-единственный светильник, подвешенный к потолку, так что в сравнении с обилием огней во дворе купальное помещение показалось совершенно темным.

— Эге! — удивился Ирод.— Да тут никого нет! Где же банщики, Эзоп? Ты же сказал, все готово...

— Так оно и есть, господин. Посмотри: вот тазы с холодной и подогретой водой, кувшины с благовониями и притираниями, вот мягкие покрывала, а вот массажная доска.

— Как, Эзоп, ты собираешься управляться в одиночку?

— Господин забыл, что я в каждом походе исправно служил ему и банщиком, и постельничим? Старый слуга не утратил прежней сноровки.

— Это мы сейчас проверим,— молвил царь, садясь на деревянную скамью посреди купальни.— Помню только, ты был неплохим массажистом.

Евнух отозвался польщенной улыбкой и согнул свою костлявую спину почти до пола:

— Мой господин останется доволен.

— Сегодня ты что-то чересчур услужлив. Ну, да Бог с тобой, делай свое дело, только быстрее.

Ирод почему-то вспомнил Клеопатру, которая рассказывала ему о дамасском бальнеуме, где ей довелось побывать. Ее вели через пять или шесть помещений, одно жарче другого, в каждом окатывали водой такой же температуры, что и воздух, пока, наконец, не завели в сущее пекло и там положили нагой на каленый песок. «Видит небо! — клялась египтянка.— Я едва не растеклась по песку будто растопленное масло. Это поистине Тартар, но безумно приятный». Сам правитель Дамаска счищал с нее песчинки гусиным пером, затем два арабских мальчика запрыгнули на нее и принялись массировать пятками ей спину и ягодицы — едва ли не плясали на ней,— она погрузилась в сон под их умелыми пассами и проснулась уже в прохладной зале омытой и помолодевшей лет на десять.

— Все же до дамасских банщиков тебе далеко,— молвил Ирод массирующему его евнуху.— Как думаешь, не выписать ли нам тамошних умельцев? Говорят, они творят чудеса. Царице едва не вернули девичество, а Меннея[1] запарили так, что он, бедняга, испустил дух.

Идумеянин неприятно передернулся на скамье и, слыша за спиной сосредоточенное сопение Эзопа, продолжал:

— Отец с сыном, конечно, были отменными подлецами, но то, что с ними сотворили, не менее подло. Но, видно, нельзя ходить по двум канатам, нельзя в одно и то же время дружить с римлянами и льстить парфянам, невозможно служить двум господам одновременно. Почему у тебя дрожат руки, Эзоп?

— Прости, господин,— пролепетал евнух, поспешно отступая к светильнику.— Сейчас я разотру их чем-нибудь.

— Ты думаешь, это тебе поможет?

Эзоп обронил что-то нечленораздельное; стараясь не шуметь, нагнулся к бутыли из толстого тирского стекла и схватил ее обеими руками.

---

[1] Птолемей, сын Меннея, правитель Халкиды Сирийской, внезапно скончался в Дамаске в 40 г. Его сын Лисаний был казнен, как уже говорилось, по наветам Клеопатры. Оба поддерживали в Иудее парфянского ставленника Антигона и считались врагами Ирода.

— Чего ты так испугался? — усмехнулся Ирод, не меняя расслабленной позы.— Участи несчастного Меннея или моих расспросов об Аммонии?

Евнух уже занес над ним бутыль, как царь, будто уколотый в спину, в самый последний миг обернулся на слугу и тут же, получив сильнейший удар по голове, захрипел и повалился на бок. Струйка крови прорезала его чело и скользнула между неподвижными, остекленелыми глазами.

Пламя светильника вздрогнуло и затрепетало; согнутая тень евнуха, похожая на огромного грифа, запрыгала и заплясала по стенам, будто бы пернатый хищник хлопал крыльями, кружась над своей добычей.

Надо было доводить дело до конца. Эзоп пугливо оглянулся по сторонам и, отдышавшись, стал снимать свой шелковый пояс. Руки его дрожали пуще прежнего; он долго не мог справиться с узлом и натужно сопел, избегая глядеть на распростертого господина.

Но только он накинул пояс на царскую шею, Ирод внезапно очнулся и схватил обидчика за грудки. Нервы евнуха сдали; он запищал как подстреленная птица, не помышляя более ни о чем, кроме как о бегстве и спасении. Царю хватило сил оседлать перепуганного слугу, сунуть его голову в наполненный водою котел и держать ее там до тех пор, пока мелкие пузыри не возвестили, что душа незадачливого покушенца отделилась от тела.

— Эй, стража! Сюда! — крикнул Ирод, поднимаясь во весь рост.

Голова его еще шумела от сильного удара, и кровь струилась по лбу. Он отошел, полуоглушенный, к нише, где были сложены мехи и скляницы с благовониями, и тяжело оперся о стену, едва держась на ногах.

В полутемную купель вбежало пять человек. Увидев утопленного Эзопа, они опешили и кучно столпились у двери. Занятый головною болью Ирод не уловил, как странно сверкнули их белесые, песочные глаза.

— Где вы бродите? — прохрипел царь.— Уберите отсюда эту падаль и позовите мне врача.

Пятеро молча переглянулись, но не сделали ни одного шага. Ирод уже хотел было присесть на какой-то бурдюк, как вдруг почувствовал неладное и вскинул на вошедших острый, пронизывающий взгляд:

— Как ты здесь оказался, Ионаф?

Стоявший впереди всех заговорщик вынул спрятанный под накидкой кинжал. Тотчас же в руках остальных блеснуло смертоносное оружие.

Ирод отметил про себя, что знает в лицо только двоих из них, другие ему неизвестны, но, судя по запыленным одеждам, все они выбрались из какой-то кладовой.

Он повернулся всем телом и обратился к ним каким-то глуховатым утробным голосом:

— Прежде чем вы убьете меня, я хотел бы знать: кто вас послал?

— Кто послал — тот рядом и займет твое место,— выкрикнул Ионаф,— а Кто благословил, Тот на небесах!

Ирод отер на лбу кровь и тупо уставился на свою запачканную ладонь:

— Дайте мне укрыться чем-нибудь. Царю не пристало умирать в таком виде.

— Ты не царь, а узурпатор и кровопийца! — отрезали заговорщики.

— Это мое последнее желание.

Один из вошедших взял со скамьи покрывало и швырнул его в лицо идумеянину:

— Вот твой саван, тиран!

Ирод медленно, будто бы нехотя, нагнулся, подбирая упавшую к его ногам материю, но затем внезапно распрямился и с силой метнул покрывало в горящий светильник. Купель охватил мрак.

— Эй, где он?! — завопили в один голос заговорщики.

— Сюда, сюда! Он здесь!

— Бей его! Коли!

— Ах, дьявол, он ударил меня по голове!

— Ханан, держи его! Отрежьте выход!

— Проклятье...

Путаясь в темноте и мешая друг другу, нападавшие упустили жертву, бывшую почти в их руках. Явив отчаянное проворство, идумеянин свалил кулаком одного из заговорщиков с ног, другому подставил подножку и, выхватив у него оружие, поразил третьего в шею. Сам он при этом был ранен в спину, и еще раза два отточенное лезвие полоснуло его по плечу. Ему все же удалось вырваться из ловушки; оставив убийц позади, он покинул купель и помчался по экседре, истекая кровью, но стиснув зубы, чтобы не закричать, пока не выбежал на освещенное место, где стояла дворцовая стража.

— Скорее сюда! На помощь! Измена!

Позади слышался топот преследователей.

— Порази гром, он жив! Скорее добить его!

— Поздно, он уже поднял тревогу.

— Будь он проклят, увертливый змей! Быстро скрываемся.

Царь упал на руки подбежавшим идумеянам, изумленным от обилия крови на его теле и начинающим вскипать от возмущения:

— Кто напал на тебя, государь? Кто посмел поднять на тебя оружие?!

— Носилки сюда! — прохрипел Ирод, обретая прежнюю властность.— Боевая тревога! Во дворце заговорщики. Поднять всех гетайров!

Боясь потерять сознание, он схватил себя левой рукой за бороду, а правой стал бить в грудь, будто бы произносил торжественную клятву или читал какую-то молитву.

Идумеяне посадили своего предводителя на овальный щит — фиреос и вынесли на середину двора, продолжая трубить тревогу и скликать единоплеменников. Быстрее других к царю примчался разбуженный жезлоносец Иосиф. Уже слабеющими пальцами Ирод судорожно уцепился за его рукав и торопливо, скороговоркой пробубнил:

— «Псы окружили меня, скопище злых...»[1] Ионаф, Рагав и еще трое... Евнух лежит в бане... Думаю, есть и другие. Нужно немедленно схватить главарей. В первую очередь злобную сивиллу...

— Кого? — склонился к нему жезлоносец.

— Ядовитую гадину... Скорее, Иосиф!

— Госпожу Александру?

— Именно! Наверняка она в сговоре с Клеопатрой и ждет подмоги от египетской конницы... Действуй без промедления, Иосиф, но не поднимай большого шума. Город ничего не должен знать.

— Ирод, ты весь в крови. Тебе плохо?

— Нет, мне хорошо... — передразнил его идумеянин.— Не мешкай, Иосиф, заклинаю тебя! Дорога каждая минута.

— Ты в опасности, царь! Я не отойду от тебя ни на шаг.

— Исполняй приказ! — простонал Ирод, морщась от боли и глотая свежую кровь, стекавшую со лба.

— Не волнуйся, царь, я разыщу всех негодяев, если даже придется перетряхнуть дворец вверх дном! — заверил жезлоносец и тут же отдал распоряжение стражникам: — Пусть десять человек остаются при царе, пока

---

[1] Псал. 21 : 1.

мы расчистим покои. Если на вас совершат нападение, отбивайтесь до последнего вздоха. В ваших руках судьба Иудеи!

Александра не думала укладываться ко сну; эта ночь была для нее решающей, и она ожидала великих событий. Служанки суетились вокруг, делая госпоже исконно иудейскую прическу,— стягивали волосы на затылке и перевязывали жгутом,— только так внучка Саломеи мыслила явиться перед войском с объявлением о свержении тирана и восстановлении порядка отцов. «Народ не любит рассуждений и объяснений,— часто говаривала она в близком кругу.— Народ любит ясные и точные указания». Ее лихорадочное возбуждение передавалось всем; люди начинали понемногу трястись и совершать тысячу оплошностей, сами подчас не понимая, за что берутся и что творят.

В общем-то женщина преклонного возраста (на Востоке пятый десяток — почти что старость), в эту ночь царская теща удивляла бьющей энергией и завидной поворотливостью. Казалось, она даже помолодела лет на двадцать и вполне годилась в ровесницы своей дочери Мариам. В этом преображении в самом деле таилось что-то магически-колдовское; недаром зять за глаза называл ее сивиллой.

— Что там слышно? — поминутно оглядывалась она на дверь.

— Пока все тихо, госпожа.

— Как долго они возятся с ним... Неужели нельзя прикончить побыстрее? Порази гром, они ждут, когда я прибегу и сама дожму его горло!

На свадьбе дочери с Иродом она восседала под пурпурным балдахином, сияя грудой драгоценностей, словно халдейский идол, и все пирующие оказывали ей наивысший почет. Она искоса наблюдала за молодым царем, сменившим ее отца и брата, будто заново изучала его: казалось, царский венец приятно украсил бывшего заскорузлого стратега и превратил сухую колючку в расцветший бутон; ведь она знала его и раньше, когда он служил в Иерусалиме, но никогда всерьез не обращала на него внимания.

Неожиданно для себя она открыла в зяте довольно привлекательного мужчину: грубоватые солдатские манеры сменились светским изяществом и остроумием, а в идумейской хмурости крепкого лба читалось уже не

столько степное упрямство, сколько скрытая натура, таившая в себе бог весть какие желания и страсти.

Она подробно допытывалась у дочери, какие речи ведет с нею Ирод наедине, каково его поведение в постели и как он отзывается о ней, своей теще и благодетельнице. Спустя немного насмерть перепуганная Мариам рассказала матери, что ее муж — тайный истязатель; ей он, правда, не причинил пока ничего худого, но она подглядела, как он в спальне мучил свою рабыню-финикиянку. Царь раздел ее донага, подвесил к потолку, защемив кандалами руки и ноги, наносил удары бичом и, придя так в возбуждение, жестоко изнасиловал ее совместно со своим подручным — жезлоносцем. Рассказы, подобные этому, до крайности разожгли любопытство Александры, и чем больше подробностей сообщала дочь об извращенной похоти зятя, тем больше теща укреплялась в своем желании.

Разница в возрасте вначале казалась ей помехой: она на восемь лет была старше Ирода. Впрочем, эта преграда скоро рухнула, тем более что она вовсе не считала себя списанной старухой. Еще недавно разборчивый Птолемей Менней именовал ее не иначе, как «волшебницей Медеей». Она искала только удобного случая доказать это учтивому зятю.

Во время жертвоприношения в Храме Господа Александра устроила так, что Ирод оказался перед толпой озлобленных фарисеев. «Узурпатор! Тиран! Убийца царя! — закричали они, вне себя от негодования.— Почем продался римлянам?» Ирод послал за стражей, надеясь унять ретивых фанатиков, но те, услышав об этом, разошлись пуще прежнего, щедро осыпая его проклятиями. Тогда царь схватил самого горластого за ворот и так швырнул его, что тот кубарем скатился по лестнице. Фарисеи взвыли и стали бросаться камнями.

Дождавшись этого, Александра взяла Ирода за руку и увела его в укромную келью, спасая от разъяренной толпы. Здесь они прятались три часа кряду; он благодарил ее за помощь и восхищался ее мужеством, а она ласково трепала его за плечо и обещала открыть тайники с сокровищами, чтобы он пополнил скудную казну. В порыве ликования он едва не заключил ее в объятия, и только степень родства удержала его от подобной вольности.

Через несколько дней они вместе допоздна разбирали старые счета и описи храмовых драгоценностей, а когда в комнате появилась Мариам, то была бесцеремонно

выставлена за дверь. От переутомления у Александры закружилась голова (или она сделала вид), и царь долго суетился над ней, приводя ее в чувство. «Не нужно никого будить,— простонала внучка Саломеи, приоткрыв очи.— Будь добр, проводи меня в мою опочивальню».

Он поднял ее на руки и отнес на ложе, уже разостланное и приготовленное к ночлегу. Холодные пальцы ее рук, овивших царскую шею, никак не расцеплялись, загадочная улыбка блуждала по расслабленным устам, влажным от кубка хмельного мульса. Она попросила помочь ей раздеться; он исполнил все до конца, укрыл ее теплым сидонским покрывалом и ушел восвояси, оставив тещу в крайнем недоумении.

Поутру, во время завтрака, на вопрос царя, как она себя чувствует и полегчало ли ей за ночь, Александра вспыхнула гневом и запустила в Ирода чашей, а потом уединилась с дочерью и строго наставляла ее, как вести себя с таким грубым и неотесанным супругом.

Серьезная стычка все же произошла позже, во время приема набатейских послов. Их направил дружественный Малх, и это были первые послы к Ироду после его воцарения в Иерусалиме. Понятно, что прием он устроил с особой пышностью. Глазам набатейцев предстал новоявленный царь, по левую руку которого выступала незаменимая теща. По простоте душевной послы приняли Александру за супругу Ирода и приветствовали ее как царицу. Ирод немедленно исправил ошибку, выведя вперед Мариам, а об Александре отозвался как об одной из дворцовых женщин. Не стерпев унижения, теща сорвала прием, хлопнула дверью и, несмотря на предостережения Ирода, увела за собой дочь.

Дальше — хуже. Александра отказалась помогать зятю в выколачивании храмовых сокровищ, а он в отместку завел следствие о злоупотреблениях жрецов и их порочных связях с парфянами, недвусмысленно нацеливаясь на строптивую тещу. В один прекрасный день следователи явились к ней и потребовали отчета о расходовании храмового имущества в бытность ее женой царевича Александра. И хотя возмущенная госпожа прогнала чиновников палками и те более не решались тревожить ее, царь тем не менее продолжал дознание, накапливая на тещу груду жалоб и доносов. В каком-то разговоре он даже пригрозил ей судом синедриона.

После этого дочь Маккавеев прониклась к неблагодарному зятю лютой ненавистью, а недовольные Иродом храмовники, фарисеи и сектанты получили в ее лице

страстного оратора и решительную предводительницу. Впрочем, поначалу Александра предпочитала держаться в тени, дирижируя из-за спины своего сына-первосвященника, так что большинство иерусалимлян продолжало считать царя и тещу неразлучными друзьями. Даже бесцеремонные поползновения царского протеже Ананила не заставили ее покинуть удобного укрытия. И только ничтожная обида на идумеянина проезжей царицы Египта (о, сколько великих баталий породили женские капризы!) подстрекнула новоявленную Фульвию открыть забрало и обнажить разящий меч.

— Что там?

— Кто-то идет сюда, госпожа... Клянемся небом, это твоя дочь!

Мариам почти влетела в опочивальню и бросилась на шею матери:

— Бессмертный Бог, как я испугалась за тебя, мама! У него были такие страшные глаза... Мне казалось, еще немного, он бросится и задушит тебя. Какое счастье, что этого не случилось!

— Его длинные когти опередит наш короткий кинжал,— презрительно возразила Александра.

— Но все же, мама, зачем ты ругалась с ним сегодня за столом? Ты ведь знаешь, какой он вспыльчивый и дикий... Ты подвергала себя смертельной опасности.

— Отнюдь нет, дочь моя. Не я, но он, твой мучитель, доживает последние минуты, и сейчас ты услышишь известие о его позорном конце.

— Как?! — побледнела Мариам.— Неужели сегодня? Так скоро?! Кто же сделает это?

— Верные люди, пекущиеся о свободе отчизны. Ни о чем, не беспокойся, дочь моя, ложись спать и, позволит Господь, наутро ты встанешь свободной. Или лучше оставайся здесь и никуда не выходи из этой комнаты.

Мариам, видимо, не слишком увлекала перспектива сделаться вдовой и бывшей царицей, отчего лицо ее посерело:

— А может, как-то обойтись без крови? Его обязательно надо убить?

— Что?! — нахмурилась Александра, готовая испепелить дочь взглядом.— Что я слышу, Мариам? Ты колеблешься? Ты усомнилась в правоте нашего дела и в невозможности иного выбора? Это он, гнусный лжец, снова запутал и заморочил тебе голову?

— Нет,— произнесла царица, потупив очи.— Он меня не запутал... Мы уже давно не разговариваем... Я не

знаю, чего хочу. Я только всего боюсь и предчувствую самое худшее...

— Глупая девчонка! Тебя вырывают из пасти чудовища, а ты упорствуешь и упираешься, как годовалый теленок. Впрочем, мне недосуг тебя увещевать; с минуты на минуту тиран будет уничтожен, и мне придется принять бразды правления страной.

Вместо того чтобы восхвалить судьбу матери и воодушевиться ее примером, Мариам глухо и горько разревелась.

Александра хлопнула себя по бедру:

— Что такое? Так-то ты встречаешь свое освобождение? Может, ты жалеешь идумеянина? Может, дорожишь им? Ну-ка, говори мне правду. Отчего ты молчишь? Может, ты хочешь, чтобы он жил и здравствовал? Давай, проси пощадить его! Вытребуй у меня ему жизнь. Смелее, дочь моя, смелее! Будь настойчивей, и, может быть, я отступлюсь от него. Может, отступлюсь...

Мать и дочь встретились глазами, в которых полыхало море огня, и одно чувство боролось с другим; царица-дочь первой отвела взгляд.

— Ну же! — прикрикнула Александра.— Хочешь ли ты, чтобы он жил, сохранил голову и тиранил тебя пуще прежнего? Хочешь? Отвечай!

— Нет... — еле слышно пролепетала Мариам.

Царская теща подняла руку и победным движением обвела опочивальню:

— Есть здесь кто-нибудь, кто вступится за него? Кому нужна его жизнь? Отзовитесь!

Служанки в испуге отшатнулись. Ей ответил неясный гул, похожий на шум морского прибоя, сначала далекий и еле слышный, но с каждой минутой набирающий силу. Уже бежали по лестницам и коридорам люди, яркие факелы рассекли тревожную ночь надвое, и громкий звон железа, подобный набату, прорезал ночную тишь.

— Поздно рассуждать,— сказала Александра ледяным голосом.— Слышите? Это шумит народ. Возмездие свершилось.

В этот самый миг двери опочивальни распахнулись, и на пороге возникли окровавленные, растерянные и обескураженные Ионаф, Рагав и еще трое подручных, перепуганных, как стадо гегесинских свиней. Самый вид их внушал отвращение.

— Что такое с вами приключилось? — скривилась Александра, темнея челом.— Поглядите, на кого вы похожи.

Ионаф сделал вперед несколько шагов и, выйдя на середину комнаты, упал на колени:

— Мы погибли, госпожа. Все пропало...

— Кто погиб? Что пропало? Говорите яснее и прекратите гнусить, иначе я метну в вас лампой!

— Мы сделали все, что могли,— процедил заговорщик, корчась не то от боли, не то от унижения.— Небо было не на нашей стороне. Ироду удалось ускользнуть от наших мечей, когда мы почти поразили его. И после того, как он вырвался и забил тревогу, мы в отчаянии бросились сюда сообщить тебе... Словом, за нами гонятся и нас ищут.

— Что такое?! — вспыхнула Александра.— Я ослышалась? Вы, верно, шутите и смеетесь над нами. Скорее отвечайте, что с Иродом и где его голова?

— Увы, госпожа, как мы сказали, так оно и есть, чтоб нам лопнуть! Он вырвался из бани и пробежал между нами. Теперь, наверное, он поднял на ноги весь дворец. Нам надо спасаться, и побыстрее...

— Кому спасаться? Куда?! — вскричала царская теща, опрокинув дубовое кресло; казалось, что обрушилась скала.— Господь мой, что происходит? Как вы могли упустить его, навозные черви, не достойные называться мужами? Как вы посмели не убить его, зажатого в капкане, когда вас было пятеро против одного и вам помогал Эзоп?!

Ионаф уронил голову на грудь:

— Эзоп задушен до нашего появления. Вместо условного сигнала, которого мы ждали, раздался рев Ирода. Евнух напал на него прежде нас и этим все испортил.

— О сыны погибели! — возопила Александра и ударила склоненного любимца коленкой в лоб.— Кому я доверила мечи возмездия?! Или вы вышли среди ночи порезвиться и поиграть с судьбой: получится — убьем, не получится — убежим?! Вы не знали, пустоголовые, что на весы брошены его и наши жизни? Так он цел?!

— Ранен. Но не смертельно.

— Горе вам, ротозеи, и презрение всей Иудеи! Убирайтесь прочь с моих глаз!

— О госпожа! — протянул Ионаф к ней ладони.— Нам всем нужно спасаться, пока есть время! Через минуту будет поздно...

Кусая губы, Александра отступила к дочери и увела ее в дальний угол опочивальни, не находя более нужным совещаться с презренными сообщниками.

— Делать нечего, дочь моя, нужно покинуть дворец. Аристобул должен был привести отряд и держать возле Ксиста. По уговору, его людям надлежало войти в крепость, чтобы разоружить идумеян, но теперь все эти собаки в сборе, вооружены и озлоблены. С ними их предводитель... Аристобулу ни в коем случае нельзя приближаться ко дворцу: теперь он — наша надежда и спасение. Мы сами выбежим к нему навстречу.

Мариам, всхлипывая, покачала головой:

— Не мешкай, мама, беги и спасайся. Я же пойду к Ироду и попробую обуздать его ярость. Ведь я все-таки его жена и царица; он не посмеет тронуть меня.

— Ты полагаешь,— усмехнулась Александра,— он пощадит тебя, если узнает, что твои родственники готовили ему погибель? Не глупи, дочь моя, и не верь этому ублюдку.

— Не уговаривай, мама! — с отчаянием простонала Мариам.— Разве в силах я бросить шестимесячного Аристобула?! Куда побегу я от несчастного ребенка?

— Прежде всего он его ребенок и он его родитель, а ты оставайся глупышкой, какой и была. Мы уходим.

Призрачная луна еще не выпуталась из связки ночных туч, и город еще не расслышал сквозь сон дворцовой сумятицы, когда семь подозрительных теней беззвучно спустились из женских покоев дворца во внутренний дворик. Первыми двигались Ионаф и Самея, затем госпожа Александра с одной из своих служанок, следом поспешали трое остальных участников покушения на царя.

Беглецы намеревались проникнуть в дворцовый сад, но на повороте едва не столкнулись с толпой стражников, бегущих навстречу, отпрянули назад и успели скрыться на другом конце гинекея. Отсюда Александра выслала Самею на разведку к Северным воротам, и по его возвращении стало ясно, что все выходы из дворца уже перекрыты.

— Он действует быстро, ничего не скажешь,— сквозь зубы выдавила из себя царская теща.— Вот что вы наделали, подлые трусы. Нас обложили, будто на охоте. Бедный Аристобул... Где он? Как подать ему знак?

Заговорщики подавленно молчали.

— Что приумолкли, «спасители отчизны»? — съязвила Александра.— Осталась ли в вас еще хоть капля отваги?

— Мы умрем, но не сдадимся,— последовал ответ.

— Что вам еще останется? Знаете ли вы, почему ад в шестьдесят раз больше рая? Господь расширил его, чтобы нашлось место для всех олухов, подобных вам. Сделаем вот как. Ищейки Ирода набросились сейчас на женскую половину и ищут нас в ней. А мы, напротив, скроемся в мужской. Думаю, там есть где спрятаться и переждать грозу. Мои предки устроили немало секретных тайников.

— Да благословит тебя Саваоф, госпожа! — просияли заговорщики.— Поистине, ты выводишь заблудших на верную дорогу.

Они попытались прошмыгнуть вдоль западной тыльной стены дворца, но и эту попытку ждала неудача: уже за сто шагов виднелись расставленные караулы. Семерке ничего не оставалось, как прижаться к какому-то выступу, причем и тут они не могли оставаться долго незамеченными.

— Теперь мы разойдемся,— заявила вдруг Александра.— Я со своей служанкой вернусь в гинекей, а вы... Хотите, прорывайтесь к Южным воротам, хотите, в другое место. Решайте сами.

— Ты бросаешь нас, госпожа?! — ужаснулся Ионаф.— Ты не можешь так поступить! Мы были вместе... Ирод никого не простит...

— Дурачье! — сплюнула дочь Маккавеев.— Я не собираюсь выдавать вас идумеянину, хотя это следовало бы сделать за ваше растяпство. Не ваши вшивые шкуры нужны ему, но моя голова! Даже сотня таких, как вы, не откупит ему меня. Поймите, что всем вместе нам не вырваться. Попробуем действовать врозь.

— Нет-нет,— замахали руками заговорщики,— мы никуда не отойдем от тебя! Куда ты, туда и мы...

— Довольно болтовни! Вы мне обуза. Колодки на ногах. Без вас я бы давно растворилась в ночи.

В этот момент Ханан, стоявший немного поодаль от остальных, заглянул за решетчатую оградку во внутренний дворик гинекея и тут же испустил свистящий шепот:

— Скорее сюда! Смотрите! Они схватили царицу. Ее ведут...

Семеро прильнули к медным прутьям. Зрелище столь же зловещее, сколь и горестное, предстало перед ними. Среди пылающих факелов, отточенных копий и сердитого гомона, стиснутая дворцовой стражей, брела понурая Мариам. Возглавляющий процессию Иосиф указывал

мечом на полуподвальные каморки, которые служили дворцовой темницей и содержали провинившихся слуг. Сомнений в том, что царица арестована, не оставалось никаких: с венценосными особами так не обращаются.

— Глупышка! — прошептала Александра, провожая взглядом потерянную дочь.— Безнадежная глупышка. Он рассчитается с ней за всех нас.

За царицей, плача, тянулся десяток служанок. Идумеяне дергали их за волосы, подталкивали в спину и кололи остриями копий. Похоже, Иосиф схватил всех, кого обнаружил в покоях царской тещи. Большая чистка началась.

Заговорщики пригнулись в страхе к земле и скороговоркой шептали молитвы.

— Они хватают всех без разбора... — молвила рассудительно госпожа.— О чем это свидетельствует? Они не знают еще толком, кто им противостоит и каково наше число. Они сами напуганы. Вмешайся сейчас сотня добрых бойцов — и неизвестно, на чью сторону склонится чаша весов. Где же люди Аристобула? Клянусь небом, у нас есть еще надежда!

Если бы сообразительная теща знала к тому же, в каком состоянии пребывает ее зять, эта надежда возросла бы во сто крат.

Заговорщикам недолго пришлось созерцать арестованную царицу. Вдоль стены зашуршали шаги: человек десять с факелами в руках прочесывали тыльную сторону дворца.

— Все! — упал духом Матфан.— Теперь мы попались...

— Не стенай! — рявкнула на него Александра.— Отойдем немного назад. Где-то здесь в стене должно быть окно, в которое можно пролезть.

В нескольких шагах от выступа над головами в самом деле зияла узкая бойница, вырезанная для осмотра; чтобы дотянуться до нее, одному человеку требовалось встать на плечи другому. Уж неизвестно, каким проворством — наверное, сродни тому, какое Ирод явил в купальне,— семеро беглецов успели забраться в бойницу до того, как стражники оказались на их месте. Не зря толкуют знатоки, что в минуту опасности у змей вырастают ноги, а у животных — крылья.

Упав на циновки в какой-то пустой кладовой, заговорщики перевели дух.

— Они прошли мимо, — сообщил довольный Ханан.

Александра, которую лазанье по стенам совершенно обратило в мужчину, мрачно добавила:

— Спускаться назад глупо. Надо искать другой путь. Когда-то из дворца существовал подземный ход, но еще моя бабка приказала завалить его камнями. Знали бы мои предки, что их наследнице, выпестованной в этих гордых стенах, придется когда-нибудь спасаться из родного дома, которым завладел наглый проходимец...

Когда в начале войны Цезаря с Помпеем ее покойный муж, отпущенный из Рима, внезапно объявился в Сирии и предъявил права на иудейский престол, Александра с детьми жила у своего отца Гиркана. Рассудив, что быть царицей гораздо приятнее, нежели царевной, расчетливая иудеянка тут же засобиралась к супругу, но, чтобы скрыть измену отцу, сделала вид, будто уезжает в свою галилейскую усадьбу. Отец Ирода, Антипатр, распоряжавшийся тогда от имени безвольного царя, поручил сыну сопровождать Александру и внимательно присматривать за ней.

Дорогой Ирод всячески угождал царевне и даже высылал вперед всадников, чтобы те сгоняли жителей селений приветствовать гордую дочь Гиркана и ее малолетних детей. Когда прибыли в усадьбу, Александра поблагодарила идумеянина за исправную службу и подарила ему золотой перстень, но Ирод, вопреки ожиданию, не отъехал назад. Однажды задремавшая царевна пробудилась от громких криков во дворе. Ее пятилетний сын играл в кости в компании стражников; Ирод с удовольствием учил его искусству бросков. Узрев это, Александра рассвирепела и за волосы утащила Аристобула в дом, пеняя ему, что благородному потомку Хасмана не пристало водить компанию с необрезанными степняками, насквозь пропахшими конским потом. На другой день обиженный Ирод снял охрану и отправился восвояси, нарушив приказание отца. Александре только этого и надо было; радуясь своей проделке, в следующую же ночь она покинула усадьбу и поспешила в мятежную Сирию.

Снова они встретились через семь лет в Берите, куда Ирод пригласил на пир царя Гиркана. Туда же из Сирии вернулась безутешной вдовой Александра. Отец сразу же простил дочь, но Ирод даже не поприветствовал ее и только слегка кивнул подросшему Аристобулу.

Затем все годы, вплоть до парфянского нашествия, сколько бы они ни сталкивались во дворце и в дни праздников, злопамятный идумеянин ни разу не загово-

рил со спесивой царевной. Даже на своей свадьбе с красавицей Мариам Ирод старался не встречаться с тещей взглядами. Казалось, их помирило назначение Аристобула первосвященником. Новоявленный царь Иудеи произнес публичную речь, в которой красочно расписал достоинства юного архиерея, а также отозвался с большой похвалой о его добродетельной матери. В ответ та заверила, что лучшего правителя Иудея не могла и желать. Однако дружба продолжалась недолго...

И как знать, склоняясь над распростертой на ложе тещей в ту доверительную ночь пересчета драгоценностей, не припомнил ли вдруг идумеянин давнишнее оскорбление в Галилее и, оставляя Александру в одиночестве, не утолял ли он этим самым свою позднюю месть?

...Уже брезжил над Елеонской горой лилово-пурпурный рассвет, но взбудораженный дворец не думал успокаиваться. То там то здесь хлопали двери, доносились женские крики и причитания, идумеяне ругались последними словами, переворачивая, как было обещано, царскую обитель вверх дном.

— Они уверены, что мы еще во дворце,— вздыхали затравленные заговорщики.— Почему они в этом уверены?..

— Потому что первым делом они захлопнули ворота, безмозглые тупицы! — отозвалась Александра.— И чем дольше я остаюсь с вами, тем вернее попаду им в руки.

— Что угодно, госпожа, только не бросай нас!..

Приближение чужих голосов заставило семерку покинуть кладовую и вновь пуститься на поиски лазейки из охотничьего капкана. Беглецы вынырнули на террасу, опоясывающую длинную экседру [1], и увидели, как от них шарахнулись две тощие фигуры, поспешно забежавшие за какую-то дверь.

— Это слуги! Они нас заметили... Что делать?

— Когда мы пройдем мимо, они могут закричать. Лучше всего прикончить их.

— Придержите свою прыть! — бросила госпожа.— Сначала я узнаю, кто это.

Она первой ворвалась в совершенно темную комнату, где спрятались неизвестные, и едва ли не с порога запнулась о что-то грузное, лежащее на полу, не удержала равновесия и упала на живот, охватив препятствие руками.

[1] Экседра — полукруглая, полуоткрытая ниша в зданиях, место собраний, бесед.

— Силы небесные, это мертвец!.. Подо мной погребальный саван. Скорее поднимите меня...

Вбежавший следом Ионаф пошарил руками и оттащил госпожу от невыносимо смердящего тела. Остальные заговорщики перекрыли выход из комнаты.

— Кто здесь? — грозно прикрикнула Александра.— Отзовитесь! Мы видели, вас двое.

— Это мы, госпожа,— донеслось из угла,— сторожа Захария и Симон.

— Чего вы тут сторожите?

— Погибшего египтянина, да будет пресветел твой лик! Царь велел нам совершить погребение; мы уже было подняли носилки, но, услышав повсюду великий шум, испугались и замешкались...

— Египетский секретарь!.. — выдохнула Александра, опираясь на плечо Ионафа.— Его до сих пор не похоронили? Боже, как он смердит!

— Господин очень разгневался, — пояснили сторожа.— Он был тут и приказал немедленно вынести тело из дворца.

— На ночь глядя?

— Мы тоже спросили его об этом, и он сказал: да, среди ночи.

Александра ущипнула плечо Ионафа:

— О Господи, это Твой знак! Он указует мне путь... Египтянин, на носилки которого Он заставил меня упасть... Разве это не подсказка?

— Мы должны убежать в Египет? — переспросил Ионаф.— Ты думаешь, Клеопатра укроет нас у себя и не выдаст Ироду?

— Ты снова ничего не понял, мой друг,— засмеялась Александра облегченно, словно бы сбрасывая с себя тяжесть. — Мастер ты все усложнять. Ты всегда влезал ко мне через окно, когда можно было войти в дверь...

В течение получаса царь казался умирающим. Голова его безжизненно свисала вниз, из груди прорывались слабеющие звуки, похожие не то на хрип, не то на урчание. Но едва идумеяне очутились в надежной комнате, Ирод тут же поднялся на ноги и принялся распоряжаться, приведя присутствующих в изумление.

Через посыльных он приказал утроить охрану всех дворцовых ворот и роздал новые пароли. Когда ему сообщили, что царица Мариам схвачена, но теще удалось скрыться, он в гневе притопнул ногой и велел вывести

из женской половины дворца всех, до единого человека, и держать во дворе до тех пор, пока стражники не прочешут гинекей пядь за пядью.

Некоторое время спустя Ирод распорядился также арестовать и посадить под стражу старшего сына Антипатра. Дюжина гетайров ворвалась в комнату спящего царевича и скрутила ему руки прежде, чем он смог опомниться.

— Вы обезумели?! — вскричал наследник престола.— Я сын царя! Кто имеет власть надо мной, кроме отца?

Иосиф зажал ему ладонью рот и коленкой подтолкнул пленника под зад. По пути в темницу мальчик сник, расхлюпался и жалобно обращался к каждому встречному:

— Мне больно... Куда меня ведут? Ведь я ничего не сделал... Отец вас накажет. Пойдемте к отцу и спросим у него...

— Что ты знаешь о заговоре Александры и Аристобула? — твердил над его ухом Иосиф.

— Ничего не знаю... Я в этом не участвую. Они мне не родня. Моя мать — Дорида.

— Стерегите его хорошенько,— наказал жезлоносец охране, когда за царевичем закрылась тюремная дверь.— Ни на какие просьбы не отвечайте, но и не спускайте глаз.

Пока Иосиф действовал подобным образом, царь, уже лежа в постели, поскольку от кровотечения не имел сил держаться на ногах, вызвал к себе архиперета Соема, итурейца по происхождению, и, поговорив с ним с глазу на глаз, приказал набрать с десяток верных слуг из его племени, вооружить их по образу гетайров и внимательно следить за Иосифом и всей идумейской стражей.

Поразмыслив еще немного, Ирод послал виночерпия Малхея к сотне римских солдат, оставленных в прошлом году в Иерусалиме Гаем Сосием, и велел передать, что их друг и союзник находится в величайшей опасности и просит прийти к нему на помощь, поскольку страшится всеобщей измены и не может более ни на кого положиться.

Только после этого царь допустил к себе врача, встретив его угасающей усмешкой:

— Ты опоздал; моя кровь, которую ты хотел пустить, уже пролилась...

У врача при этих словах дрогнули колени, особенно когда он увидел зажатый в руке царя кинжал; окровав-

ленный, в одной лишь набедренной повязке, идумеянин напоминал недобитого гладиатора, убежавшего с арены.

Первым делом врачеватель счистил запекшуюся кровь и внимательно осмотрел свежие раны; их оказалось четыре, но ни одна, по его мнению, не угрожала жизни настолько, чтобы предаваться отчаянию.

— Единственное, чего следует страшиться, это обморока от большой потери крови,— заключил лекарь.— На войне, бывает, это кончается плачевно. Но при надлежащем уходе люди выздоравливают.

— Было бы смешно умереть сейчас,— сказал Ирод,— когда я, похоже, выигрываю схватку. Это, конечно, более почетно, но не менее обидно.

— Постель, и только постель — вот твое спасение, государь.

Несмотря на указания врача, царь не дал ему закончить перевязку. Услышав шум в прихожей, он подскочил к дверям:

— Ну как, нашли эту ведьму?

— Ищут, царь, ищут.

— Чего же вы тут гогочете?

— Меняем стражу, государь.

— Вместо того чтоб толпиться здесь, стукаясь лбами, помогли бы Иосифу в розысках.

Ирод не мог считать себя победителем, пока не была схвачена главная заговорщица. Он нервно вымерял комнату из угла в угол, не слыша настойчивых уговоров врача, не обращая внимания на кровоточащие раны. Идумеянин жил самой схваткой.

Не страшись того, что далече; взоры поближе бросай;
Отселе зрю неразумность мужей и мстительность женщин...

Заговор женщин. Такое случалось только в комедиях Аристофана. Гинекей выступил против патрона, иудеянки объединились с египтянками,— чем не Лемнос, с его женским переворотом[1]? Неудивительно, что в их компанию угодил и кастрированный прислужник женской половины дворца. Все настоящие мужчины, наоборот, оказались на его, Ирода, стороне. Даже александрийский секретарь. Потому-то этих презренных лемниянок и постигло поражение!

— Они возомнили себя не иначе как Брутом и Кас-

[1] По греческому мифу, все мужское население острова Лемнос было истреблено в результате женского заговора. Єпасся лишь один царь Фоант, которого укрыла его дочь Гипсипила.

сием,— посмеивался идумеянин, надевая льняной хитон.— Мартовские иды в Иерусалиме, не так ли? Жалкие пинденисссцы! Я им не Цезарь. Их будут судить как изменников и убийц, их будет судить тот же самый синедрион, и пусть они услышат, какой приговор он им вынесет. С этого часа у меня больше нет ни тещи, ни шурина, ни жены, ни сына. У меня есть только Господь Бог и мой долг перед народом.

В комнату заглянул стражник.

— Что? Взяли наконец?

— Нет, государь. Прибежала твоя сестра.

— Саломея?!

— Да. Она плачет и рвется к тебе.

— Не пускать!

— Но она не слушает нас...

— Все равно не пускать!

Не успел идумеянин отдать распоряжение, как неукротимая сестрица, пробив заслон гетайров, уже была в комнате. Она примчалась так же, как вскочила с постели,— в длинном ночном платье, с распущенными волосами. В глазах ее сверкал неподдельный испуг.

— Брат мой, ты жив, хвала Предвечному! Я проснулась от ужасных криков во дворце и, когда услышала, что пролилась твоя кровь, едва не лишилась рассудка. Не говори ничего, я все знаю. Я давно предвидела, на что способны эти ядовитые змеи — мать и дочь,— и неоднократно предостерегала тебя, но ты не слушал родную сестру. Боже, как ты изранен!

Саломея обессиленно опустилась на ложе и простерла руки к небу:

— Они хотели отнять тебя у меня, но Господь внял моим молитвам и сохранил твою жизнь! Эти раны — рубцы на моем сердце,— и каждый удар, направленный в тебя, отдавался во мне раскатами грома!

Ирод поднял ладонь, но Саломея опередила его:

— Не нужно никаких врачей! Я сама окроплю твои раны, омою их слезами своими, выхожу и поставлю тебя на ноги. А если меч вновь занесется над тобой, я закрою тебя своим телом!

— Ничего страшного, сестра, говорю тебе,— молвил Ирод озабоченно.— Ты напрасно прервала свой сон. Возвращайся и ложись.

— Ни за что! Клянусь престолом Божьим, всеми пророками и святыми, я не выйду из этой комнаты, пока не увижу своего брата окрепшим и здоровым! Не думай, что я допущу кого-либо к тебе, будь то лекари,

духовники или маги. У тебя нет никого ближе меня! Как не стало нашей матери, я заменила ее. И кому, как не мне, возросшей с тобой из одного семени, прошедшей рядом шаг за шагом от самой колыбели, стать тебе подмогой и защитой в столь суровый час?!

Идумеянин неспешно возлег на пуховики и полунасмешливо обронил:

— То же самое ты говорила Фасаэлю, когда он был правителем.

Саломея осеклась на минуту, обескураженная холодным замечанием брата, затем резким движением руки выставила лекаря за дверь и, проверив, что в комнате никого нет, кроме Ирода, присела у него в изголовье:

— Да, это правда. Я души не чаяла в Фасаэле, я терзалась за несчастного Иосифа, как теперь за Ферора. Но так, как с тобой, я не была близка ни с кем из них. Ты мне больше чем брат, больше чем отец, больше чем муж! Ты — моя душа, моя отрада на этом свете, мой бог, которому в своем сердце я воздвигла храм прочнее Соломонова. Если не станет тебя, то и мне незачем жить. Разве ты не знаешь этого? Разве ты не чувствуешь это по моим глазам, по устам, по тому, как я приближаюсь к тебе!..

Идумеянин приподнялся с ложа, поймал сестру за плечи и придирчиво заглянул ей в глаза:

— Так ты любишь меня, Саломея? Господи, я, кажется, уже ничему не верю... Скажи, что ты любишь меня, сестра. Скажи, что будешь любить меня вечно!

Она прижала его голову к своей груди, и обильные слезы оросили курчавые царские волосы.

— Как ты мог усомниться во мне, брат? Что с тобою сделали эти злобные гарпии? Почему ты забыл обо мне?.. Ведь я живу только лишь тобой; даже когда ты сжимал в своих объятиях эту крашеную куклу, и называл ее единственной, и ложился с ней на брачное ложе,— я не переставала молиться за тебя и просить у Бога хоть чуточку твоего внимания, хоть каплю любви...

— Прости меня, Саломея,— прослезился Ирод, целуя сестру.— Я был несправедлив к тебе... Быть может, Господь решил открыть мне сегодня глаза и сквозь скрещенные кинжалы отличить мнимую любовь от настоящей.

Последние слова он произнес с трудом, не то растроганный неизбывной сестриной преданностью, не то ду-

шимый ее крепкими объятиями. Саломея рисковала возобновить кровотечение из его потревоженных ран.

— Никто не будет любить тебя так, как я. Слышишь, Ирод, никто! Никакая Мариам, никакая Дорида, никакая Клеопатра и еще тысячи иудеянок, римлянок и египтянок, сколь бы прекрасны, сколь величественны они бы ни были, как бы ни услаждали тебя своими телами... Моя любовь — это жертва небесам за тебя, моя душа — искупление всех грехов твоих, моя кровь — это питье твое на этом и на том свете.

Говоря так, страстная идумеянка увлекла брата на ложе, судорожно срывая с себя одеяния, прильнула к израненной царской груди, не давая утихнуть режущей и сладостной боли, стиснула его чресла крепкими ногами и глубоко впитала его набухшую крайнюю плоть в свое обезумевшее лоно.

— Теперь ты веришь мне, брат?

— Верю, моя Авигея[1]...

В таком-то виде и застал их Иосиф, проникший сквозь караулы с радостной для царя вестью. Наложники не сразу заметили его, безмолвно застывшего у двери и ставшего невольным свидетелем кровосмесительной египетской сцены. И только когда звякнули его поножи, Саломея торопливо покинула лежащего царя, и тот набросил на себя измятое покрывало.

— Ну?! — вытянулся Ирод, возвращаясь к действительности.— Где она?

— Взгляни, государь, кто стоит за дверью,— кивнул жезлоносец.

Перед царским убежищем, в плотном кольце идумейских копьеносцев, почти скрытые за их щитами и доспехами, теснились госпожа Александра со своей служанкой и пятеро понурых молодцев, в которых без труда можно было признать банных кинжальщиков. Когда их недавняя жертва появилась перед ними во плоти, заговорщики еще ниже пригнули головы, и лишь одержимая теща с достоинством, которого трудно было ожидать от дочери слабовольного Гиркана, подняла на царя черные очи, полные гордого бессилия.

— Вижу, все в сборе. Где их взяли, Иосиф?

— Ты не поверишь, государь! Кощунство изменников не знает предела. Только что эта особа едва не улизнула из дворца под видом... мертвого египетского секретаря. Она легла вместо него на погребальные но-

[1] Авигея — любимая сестра царя Давида.

силки, двое тащили ее на себе, а эти пятеро волочились следом в одежде плакальщиц. Носильщики назвали охране пароль, воины расступились, но тут один из них заподозрил у «плакальщиц» неженскую походку... Хвала Господу, наши люди оказались бдительней, чем они ожидали, и вовремя распознали подлог!

Стражники радостно взвыли и ударили мечами о щиты, подтверждая, что прозорливости им не занимать. Пленники, напротив, испуганно прижались к своей госпоже, словно годовалые щенки к старой умной волчице; уже никому не нужно было доказывать их связь между собой.

Ирод приказал идумеянам немного раздвинуться и обратился в образовавшийся проем:

— Скажи: Мариам знала о ваших приготовлениях?

Ответа не последовало.

— Когда ее схватили, она сказала, будто тяжела от меня. На втором месяце... Это правда?

Теща продолжала хранить безмолвие.

— Чтобы спастись от заслуженной веревки, они наплетут тебе что угодно,— вставила Саломея, вышедшая вслед за царем.— Не верь ни единому слову: это не люди, а оборотни. Но что с тобою, брат?!

Ирод сделал шаг вперед, покачнулся и упал на одно колено. Если бы сестра с зятем не успели подхватить его под мышки, царь рухнул бы в ноги своей противнице, к немалому ее удовольствию.

— Уведите их отсюда! — закричала Саломея стражникам.— Скорее уведите! Заприте и стерегите их.

Александра бросила на царя победоносный взгляд, презрительно усмехнулась и первой повернулась к выходу. Гремя оружием, идумеяне поспешно вытолкали всех пленников вон.

Когда Ирод очнулся от обморока, жезлоносец придерживал его голову, а испуганная сестра за неимением опахала овевала его полотнищем царского штандарта.

— Долго ли я валялся тут у ваших ног? Не совсем пристойная для царя поза, не так ли?

— Это я виновата! — сокрушалась Саломея.— Тебе не следовало вовсе покидать постель. Сейчас я вызову врача.

— Мне достаточно твоих слез,— улыбнулся идумеянин, напоминая о недавних клятвах.— Где Александра?

— Там же, где преступница Мариам, Антипатр и все остальные. Им недостает лишь Аристобула.

— Прикажи, царь,— добавил Иосиф,— мы тотчас пойдем и арестуем его.

Ирод оперся на плечо сестры и отрицательно покачал головой:

— Всему свое время, мой друг. С первосвященником разговор отдельный. Слушай внимательно. Вот мой приказ по войску: завтра мы выступаем из города...

— Выступаем?! Ты, верно, бредишь, государь. Куда?

— В Лидду. Еще на Пасху я приказал запасти там провианта на шесть месяцев. Первая ила[1] пусть трогается сейчас же. Завтра я с гетайрами...

— Мы поедем вместе,— перебила Саломея.— Без меня ты не сделаешь и шагу!

— Но что мы будем делать в Лидде? — недоумевал Иосиф.

— Разве не понимаешь? Во-первых, отрежем Хелидона и египетский флот от Иерусалима, на случай, если Клеопатра попробует атаковать. Во-вторых, отдалим себя от тех заговорщиков, которые еще остались в городе,— ведь и орлы взлетают на вершину горы, чтобы лучше видеть вокруг,— тогда мы сможем поражать их как стадо овец. Так предупреждал меня оракул... «Твердыня Лидды опора тебе». Но только сейчас я постиг смысл.

— «Свят Господь Саваоф! — охнула Саломея.— Вся земля полна славы Его!» Конечно, нужно уехать из города, покинуть гнездо воронья... Пусть Иосиф пошлет такой же приказ всем филархам и войску Ферора: направляться к Лидде. Мы соберем силы в кулак, и тогда никто не одолеет нас!

Свой звездный час царская сестра встречала в приподнятом возбуждении; растрепанные волосы ее грозно шевелились, брови упрямо сошлись на переносице; можно подумать, в ней взыграла кровь матери-кочевницы, не выносившей дворцовых палат и почитавшей степь лучшим домом.

Иосиф отчужденно покосился на супругу и с сомнением покачал головой:

— Но куда, государь, ты двинешься при своем ранении? Боюсь, ты даже из комнаты не сможешь выйти...

— Вот вы и понесете меня,— заметил спокойно идумеянин.

---

[1] Ила — конный эскадрон.

Уступая требованию сестры, Ирод прилег отдохнуть и уже было задремал, как внезапно проснулся от испуга, что смерть может застигнуть его во сне. Косматый Саммаэль, властитель преисподней, подлетел так близко, что, казалось, уже дотрагивался костлявыми пальцами до царской груди, в которой еще теплился живой дух.

Отчаянным усилием Ирод стряхнул с себя смертельные путы, поднялся и сел на краю ложа. Звенящая тишина обступала его со всех сторон, закладывая уши. Кровь сочилась из ран и проступала сквозь повязки темными коричневыми пятнами. Волосы слиплись на голове; в том месте, куда Эзоп нанес предательский удар, трещало и раскалывалось, словно кто-то нещадно разил булавой. Ирод подумал, что если он испустит дух, то именно от этого первого удара.

В комнате сгустился предутренний сумрак, за дверью не слышалось ни единого звука; всполошенный дворец наконец затих, беготня прекратилась, и сон вновь вступил в свои права. Кто-то спал рядом, прижавшись щекой к царской ладони. Густые черные кудри широко разметались по ложу. Ирод обернулся и едва не вскрикнул: Дорида!..

Впрочем, он тут же опомнился и взял себя в руки. Откуда ей быть здесь? Она уже давно, два года как не переступала его порога. С тех пор как он послал ей в Аскалон развод и велел покинуть его дом. С тех самых пор она обитает в Хевроне; он даже не доехал до Хеврона, когда провожал египтянку.

Ирод осторожно высвободил руку, так, чтобы не разбудить Саломею, затянул через плечо потуже повязку и со вздохом повернулся на другой бок. Конечно, она узнает об Антипатре и поспешит приехать к нему... Не может не приехать. Разве она не вступится за родное дитя? Конечно вступится! И будет кланяться и слезно молить, чтобы он пощадил сына. Надо только, чтобы она узнала побыстрее... Он, понятно, не выйдет навстречу ей и даже отдаст приказ гетайрам не допускать ее в свои покои. Пусть поселится где-нибудь у слуг. Сколько нужно дней? Два, три, четыре?.. Пусть даже пять,— он вытерпит. В день встречи он будет собран, холоден и высокомерен. Пусть первой выговорится она. Пусть первой раскроет душу... Быть может, он и устроил все это только ради нее...

И пусть только посмеет не приехать!

Ирод почти рывком соскочил с постели и сделал несколько шагов по комнате, пока не уперся руками в подоконник узкого окошка, откуда открывался вид на притихший в предутреннем сумраке город.

Теснимая рассветом, ночная мгла отступала и таяла в глухих подворотнях Нижнего города, пряталась в дальний конец Тиропеонской долины, и только сизая дымка клубилась на плоских кровлях домов, скученных подобно испуганному овечьему стаду. Старый город Давидов, оплот и твердыня Завета, глядел на своего царя настороженно и враждебно. Ничего доброго Ирод не увидел и не нашел в этом взгляде.

— Иерусалим, Иерусалим, город лжи и измены, где братья восстают на братьев, жены на мужей, дети на отцов, где не прекращается хищничество! Как долго, скажи мне, ты будешь умышлять злодеяния и напитывать стрелы свои смертельной отравой? Не образумят тебя ни хлопанье бича, ни сверкающий меч, ни копье блещущее, ни горы трупов; спотыкаешься ты о трупы. Нет врачевания от раны твоей, болезненна язва твоя! Но я еще царь твой, Иерусалим, хочется тебе того или нет. И вот я покину тебя, выну из сердца твоего святость, лишу главу твою власти, не будешь ты более пристанищем силы и могущества. Я построю свой город, новую столицу, славный Иродион, избавленный от лицемерия, очищенный от греха, и оттуда начну возрождение царства Давидова. Там обрету я новый престол, новый двор и новую семью. Слушай, Иерусалим: это я говорю тебе, Ирод, царь иудеев и самарян.

КОММОС

Фразы, выпавшие из текста

Ирод: «Если б я был тираном, они бы все ползали передо мной на животе и не уставали б возносить мне хвалу. Они бы именовали меня не иначе, как «Величайший, Справедливейший и Прекраснейший». Вот как бы ко мне относились, будь я тираном. С тем бы я покинул свет и был бы обожествлен по смерти».

Клеопатра: «Моей династии триста лет! Никто в Азии не правит дольше, чем мы, Птолемеи. Разве что Атропатены в Мидии».

Ирод про Алекса: «Он носится со своим гражданством как старьевщик с золотой бляхой и мнит себя неприкосновенной особой. Мой отец получил римское гражданство от Цезаря. В Риме у меня нашлись друзья, которые обещали за две тысячи сестерциев добыть все тамошние права. Но я предпочел царство в Иудее».

Клеопатра — Ироду: «Я читала сказания об истории вашего народа. Надо заметить, египтяне изображены там нехорошо. Но пусть это относится к древним царям».

Ионаф об Ироде: «Какой он царь иудейский? Попроси его написать что-нибудь по-иудейски, он и буквы-то не выведет».

Александра — дочери: «Я трудилась не покладая рук: днем, пока ты нежилась на парфянских пуховиках, и ночью, пока ты, едва сдерживая спазмы, отдавалась Ироду».

Ирод о Клеопатре: «...двигаясь из Самосаты в Антиохию, а оттуда в Апамею, по пути вбирая в себя римскую, эллинскую, сирийскую и даже эфиопскую сперму. Но вместилище срама безразмерно!»

ИРОД — КЛЕОПАТРЕ (Лидда, август 36 г.):

«Царь Ирод шлет привет царице Клеопатре. Если ты здорова, хорошо, мы в полном здравии. Приветствуют тебя [также] царевич Антипатр и царица Мариам, [к ним присоединяются] Аристобул, Саломея и Александра.

Твое благотворное пребывание в Иудее по-прежнему у всех на устах; повсюду продолжают превозносить твои славу, радушие, щедрость и милосердие. В Сепфорисе и Аскалоне за общественный счет установлены памятные обелиски, на Итаврийской горе — посвятительная надпись от твоего имени. Ты воочию сможешь в этом убедиться [если снова посетишь нас].

О Малхе не беспокойся. Мы вполне можем [выступить] поручителем за него; Перея и Геннисаретида примыкают к нашим землям, а за поведением Котилы сможет наблюдать брат наш Ферор, начальствующий в Галилее. Насчет Иерихонской области, надеемся, до-

говор остается в силе. Мы распорядились [тамошнему] филарху поддерживать спокойствие и порядок.

Наслышав, как царица собирает и ценит древности, посылаем тебе кораблем недавнюю находку — белый камень с загадочными письменами, прочесть которые никто не в силах. Полагают, однако, это магические знаки, оставленные древними великанами, которые, как рассказывают, жили в нашей стране до прихода иудеев. Надеемся, александрийские мудрецы проникнут в скрытое и одолеют загадку. Будь здорова».

КЛЕОПАТРА — ИРОДУ (Александрия, октябрь 36 г.):

«Царица Клеопатра приветствует царя Ирода, брата своего.

Прости, я задержалась с ответом. Долгая дорога утомила нас; по приезде же навалились многие дела, не давая передохнуть и дня.

За камень — моя благодарность; он составит пару подобному же, который мы привезли из Сирии. На нем действительно очень древняя надпись, но оставлена она не великанами, а мидянами. Наши люди довольно легко перевели [написанное]. Это эдикт царя Синнахарида о размерах подати с Иудеи.

О возвращении Антония, полагаем, ты достаточно осведомлен. [Он] зовет нас приехать к нему в Лаодикею, но нездоровье пока задерживает [выезд]. Выслали шестьдесят кораблей с провиантом, одеждой и деньгами для солдат; в будущем месяце, думаю, [поедем] сами. На зиму, в любом случае, в Александрию.

Весьма сожалеем о безвременной кончине Аристобула; [о случившемся] нас известил Зенодот из Скифополя. Несчастный юноша! И какая нелепая смерть! Утонуть, купаясь в реке, что может быть невообразимее? Ты устроил достойные похороны, приличествующие его имени и сану; присовокупи также наши соболезнования его родным: Александре и царице Мариам. Беспокоимся, как бы горе не повредило их здоровью. Впрочем, твои неустанные заботы — лучшее для них утешение.

Антоний о тебе по-прежнему самого высокого мнения; насколько возможно, мы укрепляем его в добрых чувствах. Ты уже, верно, получил от него письмо с приглашением. Приезжай обязательно; ведь мы тоже [собираемся]; есть многое, что нам нужно обсудить. Аренду

Иерихона, назначение Ананила и другое. Словом, приезжай.

Послов от иерихонцев и жителей Десятиградия не задерживай, но вели пускать к нам беспрепятственно. Окажи также услугу, когда поедут наши люди в Келесирию либо еще куда через твои земли, позаботься об их чине, спокойствии и достоинстве; письма, которые они повезут, вели не вскрывать и не распечатывать. Аристагор, наш посланец к Ямвлиху, жалуется, что его обыскивали в Иоппии и причинили ущерб. Так ты бы нашел обидчиков и примерно наказал. Тогда дружба между нашими народами и верный союз станут таковы, что будущие правители возьмут их за образец. Будь здоров.

Записал Диомед. Месяц паоф пятнадцатого года Клеопатры Филопаторы Новой Исиды».

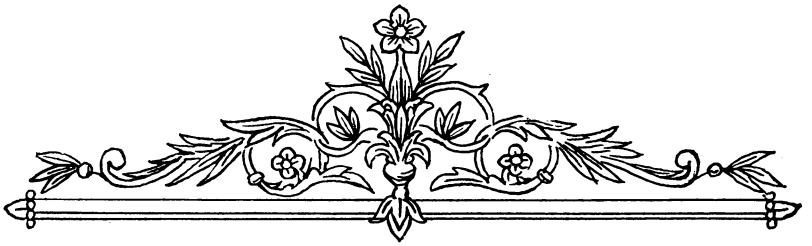
Иосиф Флавий: «Прибыв к Антонию, Ирод быстро склонил его на свою сторону теми дарами, которые привез с собой из Иерусалима, а дружественным разговором вскоре достиг того, что Антоний перестал сердиться на него и прежние наветы Клеопатры совершенно утратили всякую силу. При этом Антоний выразился в том смысле, что нехорошо привлекать царя к ответственности за то, что происходит у него в царстве (в таком случае он сам не желал бы быть царем), ибо те, кто предоставил царю его власть, должны предоставить ему и полное право пользоваться ею. Вместе с тем он сказал, что не позволит более Клеопатре вмешиваться в дела правителей».

Кентау — С.-Петербург, 1992—1993

Фатале
монструм

Правда, кто взялся за исторические изыскания, для которых требуется перечислить не только легкодоступные, отечественные, но и множество иноземных, рассеянных по чужим краям сочинений, тому действительно необходим прежде всего „град знаменитый и славный", просвещенный и многолюдный: только там, имея в изобилии всевозможные книги, он может издать свой труд с наименьшим числом погрешностей и пробелов. Что до меня, то я живу в небольшом городке и, чтобы не сделать его еще меньше, собираюсь в нем жить и дальше...

Плутарх.
„Сравнительные жизнеописания"



Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах диких и неистовых даже в мирную пору.

Тацит. «История»

После смерти Цезаря снова начались большие междоусобные распри. Они все возрастали и возрастали и достигли чрезвычайных размеров. Происходили убийства, изгнания, проскрипции, осуждавшие на смерть сенаторов и так называемых всадников, и совершалось это большей частью одновременно обеими партиями. Их руководители выдавали противников друг другу и при этом не давали пощады ни братьям, ни друзьям, до такой степени стремление одолеть противника одерживало верх над личными симпатиями. В конце концов дело дошло до того, что власть над Римом, как если бы она была частной собственностью, разделили между собою трое мужей: Антоний, Лепид и тот, кто раньше носил имя Октавий и приходился родственником Цезарю. По завещанию Цезаря Октавий был им усыновлен и вследствие этого был переименован в Цезаря. При дележе власти, как то и естественно, эти трое мужей вскоре же столкнулись между собой. Цезарь, превосходивший Антония и Лепида умом и опытностью, сначала отнял у последнего Африку, полученную им по жребию в управление, а затем после битвы при Акциуме лишил и Антония власти, простиравшейся на территорию от Сирии до Ионийского моря. Вслед за этими величайшими успехами, повергнувшими всех в смяте-

ние, Цезарь направился в Египет и захватил его; Египет от Александра и до этого времени оставался дольше всех могущественнейшим государством, и обладания им до того времени не хватало римлянам.

Аппиан. «Гражданские войны»

ΗΛΙΟΣ

КЛЕОПАТРА — ИМПЕРАТОРУ ЦЕЗАРЮ, СЫНУ БОЖЕСТВЕННОГО (Александрия, ноябрь 31 г. до н. э.):

«...Теперь, когда все народы и царства взывают о мире, стремясь как можно скорее закончить губительнейшую из войн, я сочла нужным направить к тебе письмо и посольство во главе с первыми людьми Александрии. Неужели мы, владетели исконно дружественных земель, принадлежащие родственному дому, будем по-прежнему уповать на Ареса, вместо того чтобы обратиться к Дике? Разве это завещал твой отец, Божественный Юлий, имя и славу которого ты наследовал, равно как и обязанности по отношению к друзьям и союзникам римского народа?..»

ИМПЕРАТОР ЦЕЗАРЬ — ЦАРИЦЕ КЛЕОПАТРЕ (о. Самос, декабрь 31 г.):

«...Скорейшее окончание войны — неизбывное желание всех римлян. Но можем ли мы толковать о мире, когда повсюду еще полыхают очаги войны, разожженные вами, когда кровь и смерть тысяч сограждан нисколько не остужают взбешенного тирана; когда в Испанию и Галлию посланы ваши люди с деньгами и воззваниями к тамошним провинциям, когда к мятежу и вероломству подбивается самая низкая чернь и даже рабы. Сложи оружие и отверзни врата, чтобы в них вошел Квирин, несущий закон и справедливость...»

КЛЕОПАТРА — ИМПЕРАТОРУ ЦЕЗАРЮ (Александрия, март 30 г.):

«...Твой ответ, более сухой и суровый, чем я могла заслужить в своем нынешнем положении, все же оставил мне надежду на примирение с тобой, которой я, вознося за тебя молитвы, не даю угаснуть. Ни о какой Испании или Галлии я не помышляю и всячески отговариваю от подобных намерений Антония. Я доказала бы свою преданность тебе более решительно, будь у меня твердые знаки твоего благоволения...»

ИМПЕРАТОР ЦЕЗАРЬ — КЛЕОПАТРЕ (в походе, май 30 г.):

«...Ты вполне можешь надеяться на великодушие моего войска и снисхождение римского народа, но при одном лишь непременном условии, выполнение которого целиком зависит от тебя. Оно касается Антония, самого ужасного из наших врагов и самого презренного изменника отечества. Пока он жив и властвует над твоей страной, над твоими подданными, сбирая все новые и новые полчища в безумном стремлении переборoть волю богов и отсрочить свой позорный конец, война будет продолжаться до полной победы...

КЛЕОПАТРА — ИМПЕРАТОРУ ЦЕЗАРЮ (Александрия, июнь 30 г.):

«...Я сама готова явиться в Рим и отвечать по всем обвинениям. Если сенат и народ решат, что я недостойна царского престола, я подчинюсь их решению и немедленно удалюсь в частную жизнь. Давно уже я не веду речи о себе, покорная воле небес. Хлопочу я лишь о своем Птолемее, невиннейшем из отроков и весьма расположенном к твоей особе. Одно лишь твое слово в подтверждение его прав на отеческий престол может разом закончить непрекращающееся кровопролитие...»

ИМПЕРАТОР ЦЕЗАРЬ — КЛЕОПАТРЕ (в походе, июнь 30 г.):

«...Условие мое простое и ясное, а выбирать тебе. Между нами Антоний и его ожесточенная ярость, погасят которую лишь крепкие цепи либо разящий меч...»

Дион Кассий: «Клеопатре же, как через первое, так и через второе, и третье посольство, он передавал и угрозы, и различные обещания. Однако он все же опасался, что они [Клеопатра и Антоний], потеряв надежду на примирение с ним, соберутся с духом и либо сами выступят против него... либо уничтожат свои сокровища, которые, по слухам, несметны. Поэтому Цезарь послал к Клеопатре своего вольноотпущенника Тирса, чтобы он наговорил ей кучу всяких любезностей и чтоде Цезарь в нее страстно влюблен: он надеялся, что она, всегда воображавшая, будто все мужчины жаждут ее любви, Антония уберет с дороги, а на себя и свои сокровища руки не подымет».

Так мчался Цезарь вслед за чудовищем,
Чтоб цепь накинуть. Но, хоть и женщина,
Меча она не убоялась,
Чужих краев не искала с флотом...

Гораций.
«Ода к друзьям». 30 г. до н. э.

Fatale monstrum — «чудовище судьбы», «роковой див», «роковой монстр».

* * *

Когда торжествующие римляне вступили в Александрию и стали сбрасывать с цоколей статуи Марка Антония, не много нашлось охотников вступиться за изваяния поверженного правителя Востока, нашедшего бесславную смерть на острие своего меча. Но как только дело дошло до изображений Клеопатры, александрийцы исполнились жалобами и причитаниями, упрашивая суровых победителей пощадить памятники последней владычице. Богач Архибий срочно вступил в переговоры с Октавианом и обещал ему выплатить триста талантов, сумму отнюдь не малую, если он сохранит изваяния царицы. Молодой преемник Цезаря, увлеченный зрелищем огромного города, лежащего у его ног, сулящего потоки богатств и провианта для его войска, быстро согласился на эту сделку.

Тем временем в полутемный зал храма Цезаря, стоящий на мысе Посейдона, вбежал, полный ужаса и отчаяния, шестнадцатилетний отрок в мятом запыленном хитоне под легким панцирем, на котором поблескивали золотые застежки, выдававшие принадлежность юноши к богатой и знатной семье. В другое время украшения эти снискали ему славу среди сверстников, теперь же они сделались метой проклятия. Ибо детям рядовых смертных, чтобы спастись, достаточно было запереться в глухой комнатушке, дети же великих мира сего, куда бы ни устремили бег, были обречены на растерзание.

Струящаяся через прорезь в кровле храма полоса света выхватывала из полумрака величественную статую божества, застывшую посреди зала в торжественно-напряженной позе. Юноша с разбегу припал к мраморному цоколю и, сбиваясь на плач, простонал:

— Охрани меня, Божественный, охрани!.. К тебе взываю в эту горестную минуту. Ты все видишь и знаешь... Мой отец наложил на себя руки, стража разбе-

жалась, больше никто не защитит меня... В городе враги, меня ищут, чтобы убить...

Мраморный Цезарь держал размеренный шаг, точь-в-точь как мемфисские боги на древних рельефах; огромная бутылкообразная корона Осириса с двумя страусиными перьями по бокам, приставная борода и треугольная набедренная повязка превратили его в совершеннейшего египтянина; ничего римского не осталось в былом завсегдатае Гостилиевой курии. Неподвижные глаза, подкрашенные тушью, не обращали на несчастного просителя никакого внимания; они устремлялись куда-то вдаль, поверх мирской суеты, и их холодное мерцание напоминало бескрайнюю гладь Ливийской пустыни.

Может быть, это был не Цезарь, а и впрямь кто-то из мемфисских небожителей, по ошибке названный Божественным Юлием?

Юноша проглотил слезы и прижался щекой к мраморной ступне, словно бы надеялся вдохнуть в камень жизнь:

— О Цезарь, ты ведь брал меня на руки в детстве, ты, говорят, возился и играл со мной, когда приходил в наш дом... Неужели ты не спасешь сына своего друга, с которым ты вместе достиг славы и успеха и покорил весь мир?! Неужели теперь ты отступишься и оставишь меня?..

— Конечно, мой милый, я тебя не оставлю,— прозвучал вдруг тягучий сипловатый голос; в полумраке чудилось, будто он исходит свыше.

Отрок пугливо обернулся и увидел над левым ухом выкрашенную красной хной бородку своего придворного воспитателя.

— Феодор, ты здесь?!

— Конечно здесь, мое сокровище, конечно здесь. Где же мне быть, как не здесь? Я прибежал следом за тобой. Разве я покину тебя? Конечно, в такие часы, когда все вокруг только и заняты поисками, как бы улизнуть и скрыться, прихватив то, что прилипло к рукам, может быть, мне и следовало бы подумать о себе, но мой долг повлек меня за тобой, будто привязанного. Ведь твой отец — да примут его благие боги! — доверил тебя моим заботам. И вот я рядом, мой милый Антилл.

Юноша оставил статую Цезаря и упал в объятия александрийца:

— Дядя, послушай, мы еще можем спастись! Надо

только выбраться в Ракотис, а оттуда — через канал — к Некрополю. Там стоит наш восьмой легион.

Воспитатель отрицательно покачал головой:

— Нет, мой мальчик, теперь это уже чужой легион. Немногим назад все оставшиеся войска, которые не участвовали в сражении у Ипподрома, перешли на сторону Цезаря.

— Неужели все?! — ужаснулся отрок.

— Все, Антилл, все.

— А корабли Марка Инстея?

— Еще раньше. Они присоединились к флоту Цезаря в полном составе, точно на параде. Вышли из бухты под голубыми знаменами, вернулись — под красными.

— Но ведь кто-то остался за нас?

— Думаю, лишь воробьи и вороны, доедающие остатки вчерашнего ужина. Все прочие давно за Цезаря. Так что и не думай, мой милый. Бежать некуда.

Антилл отстранился от александрийца и с беспокойством заглянул ему в глаза:

— Почему ты так говоришь, Феодор? Как странно ты говоришь... Ты словно радуешься чему-то...

— Какая тут радость? — вздохнул воспитатель.— Впрочем, горевать особенно не о чем. Каждый сам за себя — так вот вернее! Родон-то с Цезарионом хоть и трусы, но обхитрили всех нас: за неделю тихо-мирно уволоклись из города со всевозможной поклажей,— скачи теперь до них — не доскачешь...

Наставник досадливо крякнул, почесал под мышкой и оглянулся куда-то назад:

— Да что теперь толковать? Кто хитрее, а кто мудрее — разберет время. Как не стало твоего отца,— покой душе его! — война, считай, закончилась...

— Но ведь меня хотят убить! — воскликнул юноша в отчаянии.— С минуты на минуту сюда прибегут головорезы Октавия!

— Не кричи так, Антилл,— улыбнулся Феодор.— Солдаты Цезаря уже здесь. Они стоят у дверей храма.

Юноша округлил глаза:

— Как — у дверей?!. Что же ты сразу не сказал мне?! О небо, я погиб! Скорее спрячемся куда-нибудь. Быть может, они не посмеют бесчинствовать в храме самого Цезаря.

— Конечно не посмеют. Поэтому нам и не нужно никуда прятаться, мальчик мой. Я только что разговаривал с этими солдатами. Они, правда, испанцы — не-

чисть варварская, но начальником у них — чистокровный римлянин. Трибун Секстий; я помню его еще по Риму: весьма добропорядочный и благоразумный муж. Конечно он соблюдет порядок.

— Этому Секстию, верно, поручено меня обезглавить...

— Что ты, Антилл, что ты?! — замахал руками воспитатель.— Откуда у тебя такие мысли? Кто внушил тебе их? Или мы в кастулонском лесу, или в стане друидов, где режут младенцев? Секстий пришел, чтобы проводить тебя к Цезарю. А солдаты призваны оградить от неожиданностей. С этой минуты ты под покровительством императора. Вставай и пошли.

Затравленный отрок устало склонил голову на грудь, но, почувствовав на плече руку наставника, вскочил на ноги и отбежал на три шага:

— Нет-нет, я не верю им! Как ты мог им поверить, Феодор?! Ведь это убийцы! Только чертог Божественного Юлия еще сдерживает их...

Полоса света уже миновала статую и отползла на дальнюю стену святилища. Теперь за спиной дрожащего юнца возвышалась огромная бесформенная глыба, готовая упасть и придавить его своей тяжестью.

— Великодушие молодого Цезаря безгранично, мой милый Антилл, поверь мне. Разве он уже не доказал это делом? Скажи-ка мне, где пребывает твой младший брат, юный Антоний Юлл? Разве не живет он сейчас в Риме, наслаждаясь спокойствием и достатком, принятый в семью императора и воспитываемый его сестрой, твоей мачехой? Когда началась война, что мешало Цезарю расправиться с мальчиком? Однако он этого не сделал и поступил против всех ожиданий. Разве это не внушает тебе уверенность в нем? Не сомневайся, Антилл, когда Цезарь увидит тебя, он растрогается и тотчас же помилует. Поспешим же к нему...

Говоря так, александриец ласково обнял юношу за плечи и повел его к выходу из зала на храмовый двор, где уже толпились, гремя оружием, испанские наемники.

Очутившись посреди солдат и встретив их хмурые взоры, несчастный отрок еще теснее прижался к воспитателю, и только слащавая, натужная улыбка трибуна Секстия немного утишила его дрожь в коленях.

— Марк Антилл? Хм. Глядите-ка, как вырос! Почти что мужчина. Недаром отец надел на него тогу и го-

товил к должности начальника конницы. Он, верно, и в походе участвовал?

— Нет-нет, он оставался в Александрии,— сказал Феодор.

— Это сути не меняет. Год старше, год младше, какая разница? Ты, эллин, можешь отправляться по своим нуждам. Остальное мы сделаем сами.

— Что они сделают? — пробормотал отрок упавшим голосом.

— Проводят тебя к Цезарю, мой мальчик. Иди с ними и ничего не бойся.

— А разве ты не пойдешь со мной, Феодор?

— Ты слышал: они хотят тебя одного. Как-нибудь потом я разыщу тебя и присоединюсь...

— Хватит болтать! — рявкнул вдруг Секстий, и лицо его посуровело.— В городе неспокойно. Вокруг полно мерзавцев, не сложивших оружие. Того и гляди, совершат нападение.

Феодор поклонился и поспешно отступил в тень.

— Мандоний! — обратился трибун к рослому испанцу, на шлеме которого красовался пучок конских волос.— Помоги юноше поскорее собраться в дорогу. У нас мало времени.

Хмурый верзила отвел Антилла под руку к стоящим у ворот лошадям, словно бы собирался посадить в седло, затем вынул меч и глубоко всадил его юноше в шею, в незащищенное место. В звенящей тишине прозвучал лишь слабый предсмертный хрип жертвы, похожий на шуршание нильского тростника. Испанец для верности нанес еще два удара, положил бездыханное тело на каменные плиты храмового двора и склонился над убитым, не спеша отрезая ему голову.

— Ты и впрямь мясник, Мандоний,— проворчал Секстий, подойдя поближе и морщась от обилия крови на мостовой.— Насчет головы распоряжений не было. Нам велено лишь прикончить сынка. За лишнее усердие, друг мой, наказывают палками...

Испанец угрюмо пожал плечами, продолжая жуткую работу:

— Что же, нам волочь его на себе? Зачем Цезарю горы трупов? Он будет складывать их как дрова?

— Прикуси язык, дикарь! И не думай, что ты умнее императора. Эй, вы! — прикрикнул Секстий на остальных.— Чего мнетесь как фригийские мулы? Пошевеливайтесь! Голову в мешок. Тело заверните во что-нибудь и оставьте здесь. Только снимите прежде с него

панцирь: вещь, видимо, немалой цены, эфесская работа.

Как только наемники покинули храмовый двор, оставив в дар божеству зловещий сверток с человеческим телом, из тени колоннады вновь вынырнул на свет придворный воспитатель, простоявший все это время в стороне. Он осторожно подкрался к убитому, развернул окровавленную материю, охнул и сокрушенно покачал головой:

— О небо, мой мальчик... Что они сделали с тобой! Прости меня, прости... Тебе все равно бы не жить, а у меня ведь двое мальцов, еще меньше тебя. Пропадет отец, так и их разорвут на части. Кто о них позаботится? Цезарь? Клеопатра? Он сам не имеет сыновей, а она сейчас такова, что и своих-то чад оберечь не может...

Александриец перестал причитать, когда его взгляд упал на конец золотой цепочки, проглядывающей сквозь обрубленные шейные жилы и позвонки. Слезы мигом просохли на его щеках; он пугливо оглянулся по сторонам, прислушиваясь к храмовым звукам, и сунул руку под шелковую, уже ставшую багровой тунику юноши.

Есть!!! Хвала небесам, самого главного-то они и не приметили! Панцирь, видите ли, эфесская работа... Лесные дикари, да и только. Огромной величины карбункул в золотой оправе — подарок царицы Клеопатры по случаю совершеннолетия — давно вызывал восхищение у всех придворных. Его привезли в Александрию индийские послы, направленные царем Пандионом; полгода камень сиял на царской диадеме, но затем, когда Клеопатра была провозглашена царицей царей и захотела иметь новую корону, карбункул переделали в нагрудное украшение и повесили на цепочку. Рассказывали, что камень этот заговорен индийскими магами и кто его носит, сохраняет вечную молодость.

Дрожащими пальцами Феодор вытянул из-под туники убитого золотую цепочку и, затаив дыхание, потер драгоценный камень. На солнце карбункул потерял свой ярко-красный цвет, покрылся матовой пленкой и вдруг стал походить на горящий уголь, будто бы его только что вынули из пылающего костра. Александриец даже почувствовал ожог на пальцах и едва не выронил бесценную добычу.

Он засуетился, торопливо пряча камень в складки своего пояса, кинулся было к воротам, потом передумал

мал и выбрался из святилища боковым ходом, ведущим прямо к набережной, где стояли обелиски Цезаря и где можно было незаметно смешаться с пестрой толпой.

Обезглавленное тело наследника Антония, не намного пережившего отца, так и осталось лежать непокрытым на раскаленных камнях храмового двора. Его унесли лишь вечером пришедшие в святилище жрецы, которым победители позволили продолжать богослужение.

* * *

Хроника падения Александрии (30 г. до н. э.)

23 июля. Взятие Октавианом Пелусия и переход границы Египта.

25 июля. Цезарион в сопровождении Родона отправлен Клеопатрой в Эфиопию.

28 июля. Узнав о падении Пелусия, Антоний из Паретония возвращается в Александрию. Дознание у Клеопатры о причинах измены Селевка, начальника гарнизона Пелусия.

29 июля. Казнь семьи Селевка. Взятие Паретония Корнелием Галлом.

30 июля. Переправа Октавиана через Канопское устье Нила.

31 июля. Первое сражение у Ипподрома. Конница Антония опрокидывает конницу Октавиана. Вечером победный пир во дворце Антония и Клеопатры.

1 августа — Календы секстилия — 6 месоре.

02.00—04.30. Основные силы Октавиана сосредоточиваются у Ипподрома.

06.00. Завтрак в римском лагере.

06.30. Войско Антония выходит на бой. Начало второго сражения с Октавианом.

07.45. Клеопатра перебирается из дворца в гробницу с рабынями Ирадой и Хармион.

09.10. По тайному распоряжению Клеопатры египетские корабли переходят на сторону Октавиана.

09.30. Измена Антонию войска. Оказывающие сопротивление рассеиваются конницей Октавиана у ворот Гелиоса.

09.45. Антоний возвращается во дворец и не обнаруживает Клеопатры. Самоубийство Антония и его раба Эрота. Телохранитель Деркетей бежит докладывать Октавиану о смерти его противника.
10.00. Клеопатра посылает евнуха Мардиона к Октавиану с известием о капитуляции.
10.30. Римские войска входят в город.
11.00. Посланные Октавианом Прокулей и Эпафродит арестовывают Клеопатру.
11.15. Воспитатель Феодор выдает римлянам Антония Антилла, укрывшегося в храме Цезаря.
11.30. Глашатаи объявляют сходку горожан в Гимнасии, куда ожидается прибытие Октавиана.

* * *

В Гимнасии солдаты Марсового легиона застали невообразимую толпу. С самого утра здесь толкался разношерстный люд: горластые александрийцы вперемежку с какими-то девицами и меднолобыми африканами, вездесущие иудеи-торговцы, деревенские клерухи, бродячие артисты, корабельщики и прочая публика. Хмурые римляне-антонианцы, вчерашние хозяева города, молча жались на краю палестры, настороженно поглядывая на победителей.

После того как легионеры оцепили главные ворота, в Гимнасий быстрым шагом вошел, почти ворвался, грозный римлянин высоченного роста и богатырского телосложения, облаченный в тяжелые кованые доспехи. Орлиный взор его разом охватил всю толпу, приведя ее в почтительный трепет.

— Да здравствует Цезарь! — взревели в задних рядах; их поддержали передние, и постепенно весь Гимнасий огласился беспорядочными выкриками:

— Слава императору!

— Привет освободителю страны!

— Живи вечно, славный автократор!

Некоторые особо пугливые горожане поспешно упали на колени, другие согнулись в поклонах различной глубины, и только сенаторы-антонианцы, знающие Цезаря не понаслышке, переглянулись между собой, пряча пренебрежительную усмешку.

Римлянин прошелся вдоль эфебиона[1] и, заметив в толпе деревенского ополченца, устало опирающегося на

[1] Эфебион (*греч.*) — спортивная площадка.

самодельное копье, остановился и напустил на себя гневный вид:

— Эй ты! Почему тут с оружием? Немедленно сдать!

Грубый низкий голос римлянина произвел неприятное впечатление на александрийцев, привыкших к утонченному слогу своих бывших царей. К тому же они помнили и прежних римлян: Авл Габиний имел обыкновение изъясняться только по-гречески, Юлий Цезарь олицетворял саму любезность, а Марк Антоний забавлял толпу длиннющими речами в цветистом аттическом стиле.

Когда воинственный завоеватель поравнялся с кучкой сенаторов и хотел уже было пройти мимо, один из антонианцев осторожно тронул его за локоть:

— Статилий, скажи нам, где же Цезарь? Мы слышали, он уже въехал в город. Придет он сюда или нет?

Легат обернулся на соотечественника, буравя его придирчивым оком:

— Что-то я не помню тебя... Ты кто?

— Гай Луцилий.

— Это который? Оруженосец Антония?

— Увы, бывший,— вздохнул удрученный антонианец.

— Все вы тут бывшие,— презрительно хмыкнул императорский легат.— Ждите. Цезарь разберется со всеми.

Большинство александрийцев еще продолжало следить за солдатской походкой и грубоватыми манерами новоявленного гимнасиарха[1], отпуская в его адрес нелестные замечания, как легионеры у входа вновь расступились, и из тени ворот на свет вынырнула на первый взгляд неприметная фигура некоего молодого человека, сопровождаемая тремя спутниками. Тотчас же все антонианцы подались вперед, затаив дыхание и не сводя взора с идущего римлянина. В воздухе прошелестел возбужденный шепот:

— Цезарь...

— Который? — переспросили чуткие на слух иудеи.— Тот, что посредине? Вот этот мóлодец с непокрытой головой и задумчивым лицом? Это и есть Цезарь?

— Да-да, несчастные, это он! Никаких сомнений

---

[1] Гимнасиарх (*греч.*) — распорядитель на празднествах и соревнованиях.

— Эге, так вот он каков!.. А этот верзила, что вошел прежде? Он-то кто?

— Статилий Тавр. Легат.

После атлетически сложенного Статилия внешность императора показалась народу совершенно не героической. Среднего роста, худощавый, с непривычно короткой стрижкой рыжеватых волос, разительно отличающейся от пышных локонов приближенных Антония, со слабой тощей шеей, укутанной от ветра белым шарфом, он вовсе не подходил для громкого звания наследника Божественного Юлия и нового владыки Обеих Земель[1].

И такой-то невзрачный италик, дивились александрийцы, уничтожил великана Антония?!

Впрочем, лик молодого предводителя римлян отличался правильностью черт: высокий лоб свидетельствовал о недюжинном уме и сообразительности, тонкие плотно сжатые губы указывали на упорный, непреклонный характер, а светлые блестящие глаза поражали спокойствием и ясностью. В лучах необъятной славы лицо горделивого завоевателя Египта можно было назвать даже красивым. Ведь власть делает неприметного бросающимся в глаза, а обладающего недостатками — совершенным. «Телом был слаб, но был избран судьбой»,— говаривал в таких случаях старик Пиндар.

Зато александрийские женщины, весьма острые на язычок, тотчас же окрестили молодого Цезаря между собой «пятифунтовым Эротом», намекая на украшающую Гимнасий статую крылатого бога любви, сосредоточенным выражением лица схожую с обликом нового хозяина Египта. Но у женщин свой взгляд на вещи.

— Все спокойно, Цезарь,— доложился императору Статилий Тавр.— Народ ждет твоего слова.

Октавиан неспешно взобрался на каменный помост, плотно оцепленный стражей, и, протянув к толпе правую руку, произнес сначала на латыни, а затем по-гречески:

— Облеченный империем по воле сената и римского народа, я дарую пощаду и мир жителям славной Александрии.

Тихий голос его не все расслышали, но по благодушному тону догадались, что победитель приветствует горожан, и вчерашние подданные Птолемеев хором отозвались:

---

[1] Обе Земли — Верхний и Нижний Египет.

— Привет императору Цезарю! Слава римскому оружию!

— Да пребудет население Александрии в мире и безопасности! — повторил Октавиан.— Я освобождаю всех, без исключения, от всякой вины и делаю это по трем причинам. Во-первых, в память об основателе города, царе Александре, чьи изумительные подвиги высоко чтимы по всей Ойкумене. Во-вторых, потому, что восхищен красотою и величиной Александрии. И, в-третьих, ради моего друга, мудрейшего Ария Дидима,— император указал на стоявшего по правую руку философа,— который родился и возмужал в этом городе, снискал всеобщую известность и, после того как претерпел травлю и гонения со стороны злокозненной Клеопатры, сделался моим ближайшим соратником и наставником в делах.

Простая, бесхитростная речь императора не должна была обнаружить старательную заготовку годовой давности. Еще будучи на Родосе в самом разгаре войны, Октавиан решил, что въедет в поверженный город не иначе как в сопровождении мудрецов и философов, чтобы воочию показать, на кого намерена опираться новая власть.

Наследник Цезаря нарочно задержался у входа в Гимнасий и послал впереди себя Статилия Тавра разведать настроение горожан. Согласно плану, следом за приветствием надлежало огласить эдикт, по которому Египет лишался самостоятельности, обращался в римскую провинцию и поступал в его личное, Октавиана, распоряжение. Но теперь император раздумал разворачивать зажатый в руке свиток пергамента, не уверенный до конца, что александрийцы придут в восторг, услышав об уничтожении их древнего царства. Всякой заготовке свое время.

Молодой правитель Рима был весьма осмотрителен. Он много раз повторял в кругу друзей, что молит богов избавить его только от одного — от опрометчивости. С самым серьезным видом он толковал биографу Акторию Назону, что своими победами над могучими врагами и своим небывалым взлетом от безвестного в Риме юноши до первого гражданина, наделенного консульской властью и чрезвычайными полномочиями, он обязан единственно терпению и воздержанности. О нем говорили, что он не брался ни за какое дело, не рассчитав, что польза от него в случае успеха окажется больше, чем убыток в случае неудачи. Он даже заказал у

чеканщиков пиршественный кубок, на котором вырезал строку Феогнида: «Быстрого умный догонит».

Поэтому-то, войдя в Гимнасий, Октавиан отказался от преждевременных заявлений и ко всему сказанному добавил лишь коротенькое воззвание, адресованное сдавшимся антонианцам:

— К вам обращаюсь я, мои соотечественники: сенаторы и сограждане! Боги видели вас с оружием в руках, увлеченных посулами безумного узурпатора. Он принудил вас сражаться под его знаменами, и вы до дна испили горькую чашу войны. Теперь, клянусь Квирином, довольно! Смерть тирана — возмездие по делам его — означает мир и возвращение в Италию. Обратитесь к родительским очагам, где ждут вас семьи, ваше имущество и ваше потомство. Отчизна не держит на вас зла. Она объявляет прощение всем, кто признает законную власть. Славьте сенат и присягайте ему на верность!

Из-за ропота и шума речь Октавиана была почти не слышна; зычному Статилию Тавру приходилось повторять его обращение, для удобства — в более упрощенной и грубой форме. Вместо требования верности сенату он крикнул: «Присягайте императору Цезарю!»

Поднявшийся гул не дал антонианцам возможности ответить на призыв. Александрийцев меньше всего интересовало братание уставших от междоусобиц римлян. Освобожденных от родных царей горожан заботило совсем иное. Отовсюду посыпались вопросы об охране имущества и торговых причалов, о расквартировании легионов, а также о судьбе свергнутой царицы Клеопатры и ее венценосных отпрысков.

Октавиан мгновенно оценил обстановку и сделал выразительный знак Статилию Тавру. Последний, повысив голос, коротко объявил, что александрийцы избавлены от всяческих поборов и притеснений, а что касается царицы, то Цезарь проявил к побежденной египтянке исключительное милосердие, предоставил ей отличные помещения и слуг, дабы она в привычной обстановке могла ожидать мудрого решения.

Похоже, туманные заверения Статилия отнюдь не удовлетворили неугомонную толпу.

— Где наследник Цезарион? — грозно доносилось из задних рядов.— Что вы сделали с царскими детьми?

Статилий уже открыл рот, чтобы сообщить о поспешном бегстве и исчезновении питомца Клеопатры,

но вовремя поймал предупредительный взгляд императора и только сухо обронил:

— Судьба ненавистных тиранов заботит вас больше, чем своя собственная? Не бойтесь: мы пришли не карать, а водворить закон и справедливость.

Гвалт в Гимнасии, однако, не унимался. Толпа продолжала распаляться, зловеще напирая на помост, отчего легионерам-ветеранам невольно припомнилось не столь давнее прошлое, когда мятежные александрийцы атаковали старшего Цезаря во дворце, метали стрелы и бочки с зажигательной смесью, а затем едва не утопили диктатора в Большой гавани.

Не дожидаясь повторения прошлого, Статилий Тавр протрубил в боевой рожок, после чего в Гимнасии объявилось множество преторцев в полном вооружении, немедленно перекрывших все входы и выходы. Только тогда толпа приутихла и отдышалась.

— Я полагал, что встречу здесь людей воспитанных и образованных,— негромко заметил Октавиан, обращаясь к Арию Дидиму,— а это какое-то сборище варваров.

— Может быть,— молвил утонченный грамматик,— здесь собрался отнюдь не цвет александрийского общества. Но дай срок, Цезарь, и даже эти бродяги станут наилучшими из твоих подданных. Ты покоришь их своим великодушием.

Хотя выступление императора в Гимнасии окончилось вполне благополучно, на пути к мысу Лохий все же не обошлось без небольшой потасовки. С утра захваченный город бурлил всевозможными слухами, разносящимися с быстротою ветра. Кто-то пустил весть, будто царица Клеопатра и ее сын Птолемей Цезарион тайно задушены во дворце по приказу Октавиана. Этого оказалось достаточно, чтобы высечь из кремня искру. Дорогу перекрыла возбужденная толпа жителей Брухейона, раздалась брань, в римлян полетели камни и палки.

Легионеры тут же сомкнули щиты и выстроились в боевой порядок, будто на поле сражения. Александрийцы, завидев оружие, издали истошный вопль и бросились врассыпную. Дорога процессий мигом опустела. Статилий Тавр взобрался на цоколь какой-то статуи и еще раз повторил шедшим с Гимнасия людям, что Клеопатра с детьми пребывает в полной безопасности и что участь их решит римский сенат, судящий по справедливости.

Немного погодя Октавиан и Статилий вызвали испанских всадников и еще две когорты Марсового легиона, велев им занять все общественные здания. Испанцы прочесали Канопскую улицу вплоть до ворот Селены, рассеивая скопления людей, задержали двадцать подозрительных прохожих, заперли их на ночь на верфи, но, впрочем, утром отпустили.

* * *

Южный дворец на мысе Лохий, гордость и слава Птолемеев, встретил посланцев сумрачного Запада опустелыми залами и покоями, из которых разбежались перепуганные обитатели. Лишь десяток не особенно резвых слуг во главе с царским секретарем Диомедом вышли навстречу суровым победителям и вызвались служить им так же, как и прежним царям.

В тронном зале Октавиану показали широкий стол, на котором были аккуратно разложены огромной величины оружие и доспехи, снятые с поверженного противника. Император тут же признал золотой перстень, который он подарил Антонию по случаю бракосочетания триумвира с Октавией, а также граненый остроконечный шлем с искусно вправленной в него царской диадемой, усыпанной золотыми цветками и драгоценными камнями,— Антоний хвалился, что получил его в качестве выкупа от коммогенского царя.

— Если господин пожелает,— преданно улыбнулся Диомед, кивая на боковую дверь,— он может взглянуть на тело ненавистного врага. Мертвый узурпатор лежит в соседней комнате.

На чело Октавиана набежала тень; он устало потер висок и, разведя руки в стороны, обернулся к Арию Дидиму:

— Я писал ему со всей ясностью: Египет погубит его; никто из римлян, оставляя отчизну и удаляясь на службу варварам, не снискал ни славы, ни почета, но был отвергнут пенатами и навлек на свою голову месть небожителей. Но как он отвечал мне? Скажи, мой друг... Что я слышал в ответ, кроме потока брани, клеветы и угроз? Но нет, снося оскорбления, я писал ему снова и снова, пока не убедился, что передо мной уже не соотечественник, а настоящий египтянин. Впрочем, я уже рассказывал об этом... Пойдем отсюда, Арий, я не хочу на него глядеть.

Предупредительный спутник кивнул головой и дружески обнял правителя за плечо. Пока они переходили

из комнаты в комнату, умудренный грамматик почел нужным пуститься в уместные, как ему казалось, воспоминания:

— Поразительно, как повторяется история. Клянусь небом, Цезарь, все это уже было на моей памяти! Четверть века назад в такой же знойный день, по той же самой дороге, что и мы, сюда вступил Антоний, восстанавливая царя Авлета, а его противник Архелай лежал во дворце с рассеченной грудью. И царица Береника в кандалах покорно ждала своей участи. Ты только подумай, Цезарь, точь-в-точь как сейчас! Чтоб мне лопнуть, если Антоний не был тогда в таком же возрасте, как теперь ты! Гордый, счастливый победитель; кто бы сказал ему тогда, что минет двадцать пять лет, и в роли Архелая и Береники окажется он сам с Клеопатрой!

Вопреки ожиданиям грамматика, император остался невозмутим.

— В отличие от Антония,— сухо заметил он,— я никогда не воюю ради других. Не понимаю, Арий, что общего нашел ты между тогдашней Габиниевой авантюрой и нынешней всеотечественной войной?

Грамматик хитро усмехнулся:

— Роли, друг мой. Роли. Декорации меняются, а роли остаются.

— Ты думаешь?

— Увы, Цезарь. Мы, старики, любим оглядываться назад. Это вы, молодые, рветесь в будущее. А мы живем воспоминаниями. Которые иногда полезны.

— Ты настаиваешь на своем сравнении, Арий? Что ж, возможно, здесь есть над чем поразмыслить.— Октавиан помолчал, слушая, как преторцы обшаривают царский двор, и спросил как бы между прочим: — И что же тогда сделали с ее старшей сестрой?

— С **чьей** сестрой?

— С Береникой. Ты сказал, что она ждала своей участи в кандалах...

— Ах, с царицей Береникой? Разве ты не знаешь, Цезарь? Ее казнили.

— Вот как?!

— Да, по приказу родного отца, Птолемея Авлета. Это он в Риме пресмыкался у каждой двери, выпрашивая помощь, но со своими подданными обходился сурово. Беренику отвели в подземелье и там дали ей яд.

— Яд?

— Обычное дело у египетских монархов. Вроде как

семейный ритуал. В искусстве изготовления всевозможных отрав Птолемеи не имеют себе равных.

— А Клеопатру не тронули? Она ведь, кажется, оставалась все время с сестрой, в Александрии.

— Клеопатре было тогда лет тринадцать, не больше. Тихая безобидная девочка. Говорят, Антоний уже тогда увлекся ею. Никто же не знал, что вскорости она далеко обойдет сестру и по коварству оставит позади всех Птолемеев, вместе взятых.

— Ли́сы рождают только лис,— отрезал Октавиан.— И все-таки, Арий, твое сравнение с тогдашней войной неудачно. Как можно сравнивать заурядную семейную склоку за престол, в которой преуспел Антоний, с тем спасительным делом, которое, с помощью богов, завершили мы?

Императору доложили, что прибыл трибун Секстий Квиринал.

— Во всяком случае,— заметил грамматик, собираясь проститься,— в отличие от Антония и Авлета ты уже доказал, что не точишь мечи на провинившихся. Это поистине ново для александрийцев. Теперь позволь мне удалиться; вижу, у тебя военные дела.

— Извини, мой друг,— улыбнулся наконец Октавиан.— Сегодняшним днем еще верховодит Марс. Зато все последующие будут посвящены Аполлону и его прекрасным музам.

Выходя из зала, Арий приветливо раскланялся с тяжело дышащим от бега Секстием, не обратив внимания на зажатый у того под мышкой кожаный мешок.

* * *

Хроника падения Александрии (Продолжение)

1 августа — Календы секстилия — 6 месоре.

12.00. Октавиан произносит в Гимнасии речь перед александрийцами.

12.30. Преторские когорты и испанские наемники занимают мыс Лохий с царскими дворцами.

13.15. Октавиан останавливается в Южном дворце близ храма Селены.

14.20. Капитуляция последних антонианцев в Ракотисе и у Некрополя.

15.30. Победители приносят благодарственные жертвы Юпитеру, Юноне и Минерве.

2 августа. Конница Юбы вступает в Александрию со стороны Паретония. Депутация иудеев к Октавиану. Депутация знатнейших александрийцев. Кремирование тела Антония.

3 августа. Войска Корнелия Галла вступают в Александрию со стороны Паретония. Похороны Антония в царской усыпальнице в присутствии Клеопатры. Она просит о встрече с Октавианом. Известие о сдаче римлянам Мемфиса; Октавиан объявляет об окончании войны.

* * *

Из двух царских дворцов на мысе Лохий Октавиан выбрал Южный. Во-первых, он выглядел скромнее и строже. Во-вторых, был более прочный и укрепленный; ведь строился он еще тогда, когда Птолемеи думали больше об удобстве и надежности, нежели о роскоши и великолепии. В-третьих, император не собирался пребывать под одной крышей с пленной царицей, запертой в Северном дворце; подобное могли бы неправильно истолковать в войсках и в Риме.

В самой Александрии Октавиан разместил только три легиона, состоящие из италиков. Остальные разбили палатки за городскими стенами. Царские дворцы на Лохии заняли две преторские когорты и испанцы, охраняющие императора, а многочисленные друзья Октавиана и военные трибуны расположились в богатых особняках по набережной от Лохия до Эмпория и обелисков Цезаря.

Уже первый подсчет египетской добычи поражал воображение. Ничего подобного римляне не видели со времен разрушения Карфагена. Чтобы увезти только имущество Птолемеев, требовалось более пятидесяти судов. А сколько сулило обладание страной плодоносного Нила!

Расчетливый наследник Цезаря уже видел, как отчаливают на Запад бесчисленные корабли, груженные первоклассным египетским хлебом, способным надолго избавить Италию от голода и мора. Нужно только, чтобы каждый транспорт был освящен **его** именем, дабы всякий знал, за **чей** счет он кормится и **кого** ему следует благодарить.

Да, Египет доставит **ему** невиданное могущество! И **он** будет держаться за него мертвой хваткой.

Октавиан заранее предчувствовал, какая схватка

начнется в сенате из-за статуса новой провинции. Самые непокорные потребуют, конечно, передачи управления сенатским магистратам. Но Египет он им не отдаст. Он пойдет на все, изгонит из сената всех недовольных, но не поступится ни пядью наследства Птолемеев. Египет нужен ему самому,— краеугольный камень его власти и бездонный мешок, из которого он будет черпать подарки народу.

— ...Девятого числа месяца месоре в двадцать первый год царицы царей Клеопатры Филопаторы Новой Исиды, владыки диадем, да живет она вечно, и в четырнадцатый год царя Верхнего и Нижнего Египта, повелителя Обеих Земель, Птолемея Цезаря Телоса, Филопатора Филометора, сына Ра, владыки диадем, да живет он вечно, возлюбленный Птахом и Исидой...

Гулкое эхо жреческих песнопений долетало до покоев Октавиана.

— Что это? Кто это поет?

— Служба в храме Исиды,— доложили ему дворцовые служители.

— Почему они продолжают считать года по Клеопатре? Да еще и по ее сынку?.. Они не знают, что мы здесь уже третьи сутки? Пора бы догадаться блюстителям старины, что звезда негодной тиранки закатилась навсегда и **солнце** отныне светит Египту с другой стороны.

— Сейчас разберемся, повелитель! — засуетились александрийцы.

К вечеру во дворец от имени верховного жреца Исиды Хелидона доставили обильные дары. Сто прекрасных мальчиков и сто девушек самого нежного возраста несли драгоценную утварь и золоченые наряды. Когда голова процессии вступала в царские покои, хвост ее еще не вышел из ворот храма.

Октавиан велел своим финансистам тщательно переписать все подношения и внести их в особую статью добычи.

— Это дары лично тебе, автократор,— пояснили александрийцы.

— Я — полководец римского народа,— гордо ответил Октавиан,— выполняющий здесь волю сената. Равно как и все, кто пришел со мной. Если сенат и войско решат, что я заслуживаю особых даров, я приму их в Риме.

После долгих и настойчивых уговоров Октавиан все же согласился принять хоть какой-то подарок и выбрал себе чашу из белого плавикового шпата. Верные люди тотчас же позаботились, чтобы об этом стало известно в лагере.

Уже на следующий день все легионы говорили, что их император превзошел в скромности Лукулла, который, будучи проездом в Александрии, из всех подношений царя взял один золотой перстень со смарагдом.

ΣΕΛΗΝΗ

Александр Великий: «Никто не может сказать, что я видел жену Дария, желал ее увидеть или хотя бы прислушивался к тем, кто рассказывал мне о ее красоте».

Плутарх. «Александр». 22

В душной опочивальне Северного дворца у храма Исиды, пропитанной курениями, громоздилось широкое ложе. Толстые ножки из кедрового дерева в виде коленопреклоненных рабов поддерживали массивные пуховики и одеяла. Царица лежала на животе в позе сфинкса, чуть приподняв грудь и опираясь руками на серебряное изголовье. Простой белый хитон — обычное одеяние храмовых жриц — ничем бы не отличал ее от рабынь, застывших по углам опочивальни, если бы не сверкающий перстень на пальце. Когда пламя светильников разгоралось, на голубом камне можно было разглядеть гордые профили римского диктатора и египетской царицы, обращенные к восходящему солнцу. Над головами — парящая богиня Ника, позади — священный треножник, внизу — латинская надпись: «Consortium omnis vitae» — «Содружество на всю жизнь»[1].

Тяжелая леева темных волос густо разметалась по плечам пленницы, по изможденному челу и расцарапанным щекам (традиционное выражение траура по усопшему). Бледно-желтое лицо не выдавало никакой жизни,— оно и впрямь походило на пустынный лик вечного стража усопших,— только зеленые глаза из-под набухших век, мерцающие в полутьме, упрямо источали некую острую мысль.

Сгустившееся молчание нарушил вольноотпущенник

[1] Римская брачная формула.

Эпафродит, приставленный Октавианом следить за царицей. Всегда угрюмый и подозрительный, теперь он светился как фаросский маяк:

— Вставайте, вставайте ради всех богов! Только что во дворец вошел мой господин. Он направляется сюда.

— Цезарь! — ахнули рабыни Ирада и Хармион, неотлучно пребывавшие с царицей днем и ночью.

Клеопатра даже не пошевелилась; казалось, она ничего не расслышала и не обратила внимания на всполошенного соглядатая. Лишь тонкие сухие губы ее внезапно вздрогнули, и едва уловимая улыбка, подобная искре, скользнула по ним. Она знала, что он придет. Трое суток она тщательно готовилась к встрече с Октавианом, возлагая на нее последние надежды. Заранее в мелочах обставлялась опочивальня, раскладывались и шлифовались нужные роли. Красивая эфиопка Хармион должна была ухаживать за гостем (римляне любят чернокожих рабынь), а белолицей застенчивой Ираде вменялось поддерживать госпожу и время от времени подавать ей успокоительное. Правителю римлян надлежало окунуться в мрачный потусторонний мир и воспринять весь трагизм положения плененной царицы.

В первый день Октавиан не объявился, чем несколько озадачил самолюбивую египтянку: неужели победитель не спешит увидеться с той, из-за которой вел столь ожесточенную войну? Вторые сутки протекли в тревожном ожидании; царица могла еще объяснить долгую задержку императора обилием срочных дел в завоеванном городе (хотя он мог бы и отложить их ради нее). Но когда миновал третий день, раздражение египтянки достигло предела: несомненно, молодой спесивец нарочно оттягивает встречу, чтобы поиздеваться и помучить низложенную владычицу, к которой все мужчины прибегали по первому зову, полные восторга и страсти.

Все утро четвертого дня Клеопатра не поднималась с ложа, мучительно припоминая подробности мимолетной встречи, случившейся шестнадцать лет назад в Риме. Ее цепкая память последовательно извлекала из прошлого лица, суровые и льстивые, восторженные и завистливые, но среди пестрого смешения их никак не попадался тот юный отрок, почти мальчик, который подал ей руку и помог сойти с трибуны на празднике Венеры Прародительницы.

Благие боги, она почти совсем забыла его!..

...То было в консулат Цезаря и Лепида, когда римский диктатор, овеянный славой победоносных походов, только что возвратился из Африки и справил тройной триумф. Тогда же в Рим нагрянула его египетская союзница, привезшая обильные дары, а также плод их любовной связи — годовалого Птолемея Цезаря.

Клеопатра приехала не одна, но в паре со своим младшим братом и вторым супругом Птолемеем, которому надлежало самолично заверить диктатора в искренней дружбе и преданности.

Египтянка знала, что ее влюбчивый патрон совсем недавно оторвался от жарких объятий мавретанской царицы Эвнои, супруги Богуда, с которой у него был очередной походный роман.

О, широко мавретанское мягкое ложе! —

распевали легионеры в африканском триумфе,—

Многих вмещает оно; посреди молодая царица,
Справа — любезный супруг, слева — заморский любовник.

Вечером же в кабаках добавляли:

Два детородных члена, одно безразмерное лоно;
Но восхвалим богов! — обделенным никто не остался...

Римские сплетники уверяли, что единственно ревность и зависть к удачливой мавретанке поторопили царицу Египта с визитом в Вечный город. Честолюбивая соперница спешила доказать всем воочию, что у старого воителя могут быть побочные увлечения, но не может быть союза достойнее и нерушимее, чем с ней.

Действительность превзошла все ожидания. Цезарь принял Клеопатру с таким блеском и почетом, какого не удостаивался ни один из союзных царей. Ее пышный въезд в Рим едва ли не затмил тройной триумф диктатора. О мавретанке все тотчас же забыли; в городе только и было разговоров, что о приезде неотразимой нильской чаровницы. Не в силах вынести подобного позора, несчастная жена Цезаря Кальпурния поспешила скрыться на загородной вилле.

Празднества в честь египтянки не стихали целый месяц. Пуще того, при освящении храма Венеры Прародительницы обнаружилось, что рядом с изображением италийской богини Цезарь выставил позолоченную статую возлюбленной царицы. Клеопатра предстала изумленным римлянам в образе почитаемой на Востоке Матери Богов, в усыпанной каменьями диадеме и со

священным систром в руке — символом Исиды. Квириты[1] были поражены этим невероятно и не знали, на что списать сей беспрецедентный акт: на чудачества зарвавшегося диктатора либо на необъяснимую власть над ним египетской колдуньи.

Зато такое зрелище привело городское отребье в бурный восторг; овации возрастали по мере раздачи подарков и разбрасывания монет.

Затем все сгрудились вокруг наспех сооруженного трибунала. Сначала с краткой речью выступил Цезарь, как верховный понтифик[2], затем консул Лепид, после чего, наконец, трибуной овладела Клеопатра. При виде ее форум стал подобен зверинцу перед травлей: квириты пихали друг друга, выкрикивая здравицы в честь блистательной египтянки, надеясь выслужиться перед диктатором и зарекомендоваться верноподданнейшими гражданами. Сенаторы обернулись на Цезаря: тот хранил невозмутимое спокойствие, но по выражению его лица было видно, что он вполне одобряет происходящее.

Клеопатра сносно владела латинским языком и отличалась искусством речи, что не могло не произвести впечатления на потомков Ромула, обожавших грамотных ораторов. Царица начала с того, что задобрила римлян клятвами любви и дружбы, обещаниями всевозможных пожертвований и изумительных зрелищ. Затем она отбросила лишний этикет и обрушилась на собравшихся со всей страстностью троянской Кассандры, попеременно поучая и запугивая слушателей. В пику седовласым авгурам[3] она принялась восхвалять восточные верования, призывая народ внять спасительным учениям египетских теологов. Венеру она нарочито именовала Исидой, Юпитера — Осирисом, а о Цезаре отзывалась не иначе, как о бессмертном божестве. Под конец в качестве ответной дани она обязалась открыть в Александрии храм Цезаря, что вызвало новый взрыв рукоплесканий дешевого плебса.

После такой тирады у умных и проницательных граждан не осталось и тени сомнения, что в их тихие отеческие пенаты уже вползают заморские звероподобные боги — змеи и крокодилы, что на подступах к Италии теснятся сонмы нильских ведунов и магов, а их

---

[1] Квириты — т. е. сыны бога Квирина, римские граждане.
[2] Верховный понтифик (*лат.*) — главный жрец.
[3] Авгуры (*лат.*) — жрецы, гадатели по полету птиц.

самодовольная правительница спит и во сне видит, как она будет диктовать законы на Капитолии.

Не случайно, едва получив власть в свои руки, молодой Октавиан основательно вычистил Рим от египетских святилищ и кумирен, спровадил подальше всех иноземных богословов. Готовясь к войне с Антонием, он не уставал повторять, что почитает своим первейшим долгом заботиться о возрождении исконно римской веры и обычаев славных предков.

Цезарь легонько подтолкнул его в спину, прося помочь египтянке спуститься с высот олимпийского величия на грешную землю. И она торжественно сошла с трибуны, опираясь на руку неизвестного ей юноши из толпы.

Долабелла, добровольно принявший обязанности гида царицы, охотно представил ей белокурого отрока:

— Гай Октавий, сын Атии, племянницы нашего Юлия.

Клеопатра одарила юношу милостивой улыбкой:

— Внучатый племянник? Какой взрослый! А кто твой отец?

— Пропретор Македонии,— буркнул, краснея, юный Октавий.

— Его отец скончался десять лет назад,— пояснил Долабелла.— Теперь мальчик живет с отчимом, Марцием Филиппом.

На лице египтянки явилось сочувственно-умилительное выражение:

— Клянусь небом, все родственники Цезаря для меня как родные! Надеюсь, мой юный друг, ты посетишь мою тибрскую усадьбу? Ты найдешь там много удивительного и не останешься без подарков.

Марк Антоний, пожиравший царицу жадными глазами, отделился от свиты диктатора и запечатлел на царственной ручке не в меру жаркий поцелуй. Вслед за ним царицу приветствовали прочие магистраты, а Цезарь, как самый главный, поцеловал Клеопатру в лоб. Толпа оттерла курчавого мальчика, и он, казалось, смешался с ней навсегда...

В самом деле, почему она должна помнить какого-то желторотого юнца, случайно подвернувшегося под руку? Мало ли попадалось ей на глаза сенаторских сынков за два с лишним года проживания в Риме?! И все они канули в Лету.

Но прихоти судьбы непредсказуемы. Вряд ли кто из когорты горделивых цезарианцев мог предположить

тогда (пожалуй, и сам Цезарь еще смутно о том догадывался), что не кто иной, как этот скромный отрок сделается безраздельным наследником всего оставленного диктатором. И придет день и час, когда и царство, и сама жизнь венценосной подруги Божественного Юлия будут всецело зависеть от одного его слова!

Когда, где, как он возник?! Почему она прозевала? Почему не придала значения? Как вышло, что тщедушный юнец, которого никто не принимал всерьез, внезапно превратился в могущественного властителя Запада и Востока? Она всегда держала руку на плече выдающихся римлян, безошибочно предугадывая их карьеру. Как случилось, что она просмотрела зреющую опасность?

План-конспект беседы с Клеопатрой

I. Утешение, ободрение, увещевание. «Сердце себе не круши неумеренной скорбью» (Гомер). «Людям одно божество благое осталось — Надежда» (Феогнид). «Должны мириться мы, самим себе твердя, что жизнь нас к лучшему ведет» (Софокл).

II. О Цезарионе; после здоровья; исподволь. Мальчик может быть спокоен. Если угодно, сын Эроса [1]. И только. Главное: что знает она? По какой дороге? С поручением или без? Возможно ли послать письмо?

III. Повторное утешение. Избегать три [вещи]: обещаний, подробностей, будущего. Гомер, Каллимах, Еврипид.

IV. О деньгах. Вклады в Пафосский храм. В Гиерополе. В Команах. Для Великой Матери. Пятьсот талантов Домиция. Сирийские счета. Средства, переданные Иол... (неразборчиво.— *Авт.*).

V. О добыче. Собственность римского народа. Собственность союзников. Собственность свободных городов. Каталог Деллия. Имущество Антония отдельно от других. За вычетом доли Младшего [2]. Дары Октавии возвращаются к ней.

VI. О драгоценностях. Дары Юлия. Дары Антония. Дары Деллия. Дары Мунация Планка и других. Дары царей. Необходим точный список.

---

[1] Клеопатра, считаясь воплощенной богиней Исидой, для широкой публики объявила, что родила Цезариона от бога любви Эроса. Октавиан, как видно, готов был признать это, лишь бы не фигурировало родство мальчика с Юлием Цезарем.

[2] Имеется в виду младший сын Антония Юлл, живущий в Риме и имеющий право на часть отцовского наследства.

VII. О галатах[1].
VIII. О постройках Антония в Александрии.
IX. О храме Юлия (это перечеркнуто.— *Авт.*).

Октавиан пришел в Северный дворец в сопровождении одного раба-оруженосца. Он оставил его перед покоями пленницы, перемолвился парою слов с Эпафродитом, еще раз заглянул в свой конспект и только после этого переступил порог царской опочивальни.

Клеопатра тотчас столкнулась с ним взглядом. Римлянин сильно переменился с того давнего италийского лета, и почти ничего не осталось в нем от прежнего курчавого юноши. Походный загар блестел на высоком челе, выступающем под коротко остриженными волосами, лицо прорезали властные складки у рта, огрубелые руки перетягивали кожаные щитки, во всех движениях ощущалась поступь знающего себе цену правителя. Впрочем, он не был так высок, как Юлий Цезарь, и не так развит физически, как Антоний, и если тем подходило именоваться стройным Дионисом и могучим Гераклом, то этот весьма смахивал на осторожного и хитроумного Гермеса.

Гость еще не успел осмотреться в опочивальне, как Клеопатра сделала мучительное усилие, покинула ложе и рухнула императору в ноги, крепко охватив его колени и прижавшись к ним исцарапанной щекой.

— О Цезарь, заклинаю тебя, пощади свою несчастную рабу, яви к ней великодушие!

Октавиан несколько опешил, не ожидав подобного начала, и обратился вопросительными глазами к Ираде и Хармион. Те последовали примеру госпожи и простерлись перед ним ниц, осыпая поцелуями края пурпурного плаща. Встреча такая растопила сердце римлянина; он протянул им руки, тронутый проявлением нижайшей покорности недавно заклятого и непримиримого противника.

— Не падайте духом, никто не причинит вам зла. Вы видите, Цезарь не разбойник и не злодей,— он такой же человек, как и все, способный на сочувствие и сострадание.

Он помог рабыням поднять госпожу и уложить ее на прежнее место. Ирада принялась прибирать царицу, а Хармион принесла для гостя небольшое складное крес-

[1] Т. е. о личной страже Клеопатры, состоящей из наемников-галатов.

ло. Октавиан сел и движением руки велел всем устроиться, где им удобно.

— Мне передали, ты просила о встрече со мной,— молвил он, всматриваясь в усталое лицо египтянки.— Но я вижу, ты нездорова. Ты можешь оставаться в постели, я вполне смогу разговаривать с тобой отсюда. Если же ты чувствуешь хворь и беседа тебе в тягость, я приду в другой раз, когда тебе станет лучше.

— О нет, Цезарь! — встрепенулась Клеопатра, немало уязвленная тем, что он не называет ее царицей.— Я столь долго ждала нашей встречи, столь многое хотелось тебе рассказать... А что моя болезнь, так это кара великих богов, которую я принимаю за совершенное мною, и молю их только смягчить мою участь. Ведь не телесный недуг, совсем другое мучает меня и сковывает дух посильнее мамертинских цепей...

Это был тонкий намек на мамертинскую тюрьму в Риме, куда бросали разгромленных царей после того, как использовали их в победном триумфе. Там окончили свою жизнь македонец Персей и нумидиец Югурта.

Октавиан невольно отметил про себя, как, должно быть, прекрасно владеет собой эта женщина, если даже в отчаянную минуту сохраняет завидную быстроту ума и ухитряется задавать косвенные вопросы. Во всяком случае, он понял, что беседа предстоит интереснейшая.

— Боги милостивы к тем, кто к ним взывает,— сказал он.— А чтобы помочь тебе избавиться от недуга, я пришлю самых искусных врачей, какие найдутся в моем лагере.

Клеопатра раза два содрогнулась на ложе; стало видно, что она и впрямь страдает острыми схватками. Пока рабыни суетились вокруг нее, придавая ей удобную позу, император хранил молчание, почтя за лучшее не спешить и ни во что не ввязываться первым.

Прошло достаточно времени, прежде чем царица привела себя в порядок и завела свою речь:

— До сего дня мы держали связь через случайных посыльных, зная друг о друге лишь по письмам. Но много ли откроют скупые строчки, когда нас разделяли моря, пылающие огнем, когда вокруг меня сновали соглядатаи Антония и ни одного слова нельзя было передать, кроме как под тройным секретом. Хвала Исиде, настал миг, когда мы можем переговорить с глазу на глаз, без неумных посредников. Смерть Антония — да почтут его благие боги! — сняла с меня обеты и позволила разомк-

нуть уста, чтобы развеять завесу лжи и подозрений, разделявшую нас.

Египтянка оттачивала каждую фразу, будто воспроизводила давний текст или творила какие-то заклинания. Октавиан поначалу раздумывал, какой язык избрать для общения, римский или греческий, но Клеопатра опередила его, предложив нехитрую смесь чеканной латыни и эллинской изысканности.

— Представь себе, о Цезарь, что испытывает женщина моего положения, когда дом ее денно и нощно окружает воинственная толпа, потрясает оружием и требует немыслимых походов. Когда ее необузданный предводитель, упоенный вином и кровью, расточает то льстивые посулы, то страшные угрозы. Ведь Антоний творил что хотел, и остановить его не могли даже всесильные эринии[1]. Несчастный жребий! Что оставалось делать мне? Я подчиняюсь тем, кто властен, и покорна воле сильнейшего.

«„Антигона" Софокла, пролог, слова Исмены»,— вспомнил Октавиан, невозмутимо наблюдая за развитой мимикой способной актрисы. Он хотел дать пленнице выговориться и самой постигнуть, сколь жалок и безысходен ее финал. Но тут, видя, какой крен берет египтянка, жестко прервал ее излияния:

— Оставим пока Антония в стороне. Рим вел войну с Египтом, а Антоний был его полководцем, поднявшим войска и посягнувшим на свободу Италии. Мы бросили копье в ответ на ваш вызов.

— Пойми же! — протянула египтянка.— Когда ты начал войну с Антонием...

— Нет,— поправил Октавиан,— я воевал прежде всего с Клеопатрой. И так записано в фасцах[2].

Царица сокрушенно всплеснула руками, голос ее дрогнул:

— «Что за слово, о жестокий Кронид, ты ко мне обращаешь?»[3] Знай, Цезарь, та женщина, которую ты зришь перед собой, и десяток других венценосных правителей,— все мы были заложниками у своевольного воителя, пристегнутые к его грохочущей колеснице. Если бы я восстала против него, не думаешь ли ты, что меня тотчас же постигла бы участь Лисания Халкид-

---

[1] Эринии (*греч.*) — богини-мстительницы, то же, что фурии.

[2] Постановлением сената война была объявлена Клеопатре, т. е. иноземному государству. При другой формулировке Октавиан не мог бы рассчитывать на триумф.

[3] *Гомер.* Илиада, I, 552.

ского и Антиоха Коммагенского[1]? Страх за мою несчастную страну, за моих детей, рожденных от него, сделали меня его спутницей. Да и то, сколько раз, если б ты ведал, я пыталась остановить его, удержать уже занесенный меч...

— Особенно в Эфесе, когда от вас бежали Тиций и Мунаций Планк,— недобро вставил Октавиан.— Они едва спаслись от твоих людей, преследуемые только за то, что осмелились перечить тебе и взывать к разуму Антония. Или, может быть, мне привести свидетельства Домиция Агенобарба, предостерегавшего вас от нападения на Италию и потому обвиненного тобою в измене? Так ты боялась, что война не начнется.

Царица опустила голову, секунду боролась с растерянностью, но тут же вскинула брови:

— Темновласая Эрида[2] не отпускает тебя, Цезарь! Вспомни, как этой весной поднялись понтийские гладиаторы, вступили в Сирию и призвали Антония, чтобы он командовал походом. Слышал ли ты, как он рвался к войскам? Но что удержало его в Египте?

— Только не твои чары,— легко парировал Октавиан.— Всем известно, Антоний не объявился в Сирии только потому, что опасался за Кирену. Ему угрожал Корнелий Галл, и он бросился спасать Паретоний.

Увидев, что пленница снова открыла рот, римлянин упредил ее с быстротой немейского копьеметателя:

— Тебе осталось только рассказать о том, как по твоему наущению одноглазый Селевк сдал мне Пелусий. Но и этот бросок неудачен. Вопреки стараниям твоих лазутчиков Селевк остался цел и невредим. Мы можем привести его сюда и послушать, как он опровергнет тебя шаг за шагом.

Оставим же эту ненужную комедию,— добавил император.— Я не новичок на войне и не юнец в политике, чтобы внимать столь запоздалым выдумкам. И тебе пора понять, женщина, что пред тобой не тот римлянин, к каким ты, наверное, привыкла.

Сын Божественного добивал египтянку не без внутреннего удовольствия. Только сейчас он вполне осознал, насколько дальновидно поступал раньше, поддерживая переписку с Клеопатрой, но избегая давать какие бы то ни было обещания. Руки победителя остались свободны, и теперь он мог диктовать любые условия. Царица

---

[1] См. прим. к «Ироду и Клеопатре».

[2] Эрида — богиня раздора.

клюнула на его учтивый тон в посланиях и все это время провела в бесплодных мечтаниях. Октавиан готов был поклясться печатью Юлия, в глубине души она даже воображала, что он тайно прельщен ею и, подобно другим легковерам, готов пойти ей на уступки.

Какой ужас должна испытывать самодовольная интриганка, убеждаясь в такой непростительной промашке!

Римлянин пришел в хорошее настроение и закинул ногу на ногу, готовый, наперекор своим словам, болтать с царицей хоть до вечера. До самой встречи он думал, что ему придется отговаривать пленницу от самоубийства и выступать в глупой роли утешителя. Гай Прокулей рассказал ему, как при аресте Клеопатра пыталась заколоться кинжалом и продолжала твердить, что хочет лишить себя жизни. Теперь стало ясно, что Прокулей ни грана не понял в египетской душе. Она с вдохновением рассуждает о заупокойном мире, но едва дело доходит до смерти, с диким упорством цепляется за любой островок бытия.

Но если прозорливый победитель, отложив ненужный конспект, старался превратить беседу с пленницей в подобие судебного заседания, то необузданную египтянку никак не устраивала роль смиренной ответчицы. Она не желала заседать вовсе, пылая стремлением сохранить за собой хоть что-то либо потерять все до конца.

— В последний раз,— сказала царица,— Тирс привез от тебя ответ, что при условии моего добровольного отречения и ухода в частную жизнь дети мои встанут под твою опеку и им будет оказано высокое покровительство. Это остается в силе?

Октавиан сдержанно улыбнулся:

— Мне кажется, речь об отречении несколько запоздала. Тем не менее я готов покровительствовать твоему потомству там, где это не уронит величия римлян.

— Развей тогда мои сомнения, Цезарь! — подхватила Клеопатра.— Скажи: какая судьба ожидает моих детей и что ты им готовишь? На что из наследства родителей они могут рассчитывать?

Услышав о наследстве, император помрачнел и поднял правую руку:

— Тебе должно быть известно: все акты Антония, касаемые земельных пожалований, отвергнуты не мною. Они не приняты сенатом и римским народом. Это решение, которому обязаны следовать все. Что до самого

меня, то я оберегу твоих детей, насколько будет в моих силах.

— Но ведь ты не говоришь ничего, о Цезарь! — простонала египтянка.— Ты хочешь пытать меня, держа в неведении, чтобы материнское сердце изошло слезами. Неужели в тебе не найдется ни капли жалости к невинным отрокам? Пусть не я, пусть они обретут, наконец, надежду и успокоение.

— Я снова повторяю,— процедил римлянин.— Твое потомство, будучи покорным, может надеяться на мою снисходительность.

— И мой первенец, Птолемей Цезарь?

Октавиан ждал этого вопроса. На лице его тут же появилось добродушное выражение:

— Разве он нуждается в моем прощении, скрываясь от власти римлян и умышляя, наверное, продолжение войны? Пока его мысли далеки от покорства и мятежный дух носится среди наших недругов, пустое — гадать о его будущем.

Клеопатра вытянулась на ложе и вскинула вверх обе руки, уподобясь Ниобе[1], взывающей к Олимпу:

— О, горестное чадо, зачатое от величайшего из римлян, но обойденное его счастливой звездой! О, свет очей моих, моя надежда и услада, бесценный дар блистательного Цезаря! Он носит то же имя, в его жилах течет та же кровь, но как жестока и несправедлива его участь! — Царица смахнула слезу и сладко, с силой сожмурила веки.— Мы благословляли ту ночь, когда семя Божественного дало столь дивный росток, словно полноводный Нил оросил жаждущую пашню, словно бы могучий северный ветер напитал влагой южный зной... Этот союз предопределен на небесах. Так, Цезарь, говорил мне твой отец в ту пору, когда мы были счастливы с ним и, казалось, навек неразлучны. Мы смешали свою кровь, веря, что не найдется силы разделить ее и обратить одну часть против другой. Вот он, смотрит сейчас на нас, и как ты думаешь, что звучит на его устах?

Римлянин с трудом поспевал за искусной мыслью египтянки, слабо угадывая, куда мостит она извилистый путь. Он только почувствовал, что беседа сворачивает в какое-то новое, неудобное для него русло, и поспешил осадить разогнавшуюся царицу:

---

[1] Ниоба — мифическая греческая царица, имевшая шесть сыновей и шесть дочерей, которые все до одного были убиты Аполлоном и Артемидой за хвастовство и зазнайство матери.

— Воля моего отца достаточно ясно изложена в завещании, написанном им. Впрочем, зачем об этом? Ты говоришь о каком-то родстве с домом Юлиев. Не знаю, что ты подразумеваешь, своего сына или себя саму, но ни то ни другое не попадает ни под какие законы, а посему звучит смешно и нелепо.

— О Юлий, ты слышишь это?! — воскликнула царица, простирая руку куда-то в глубь опочивальни, где в полумраке массивных занавесей белели очертания некой человеческой фигуры.

Октавиан насторожился, не подозревая, что в помещении находится еще кто-то, кого он до сей поры не заметил.

Но стоило ему только напрячь зрение, как он вздрогнул и отшатнулся, будто от занесенной секиры.

Тысяча молний! В глубине опочивальни стоял... Юлий Цезарь.

Воскресший диктатор застыл, подбоченясь, у задней стены и с улыбкой взирал на своего молодого наследника. Октавиан не сразу поверил, что перед ним всего-навсего статуя старшего Цезаря, выполненная в натуральный рост и искусно раскрашенная естественными цветами.

Если бы покойный патрон предстал приемному сыну в обычном для Египта обличье, с немыслимыми для римлянина страусиными перьями и приставной бородой, последний бы только рассмеялся. Но от вида почти ожившего родителя молодому преемнику сделалось не по себе. Сходство статуи с оригиналом казалось просто невероятным.

«Безумная! Ведь так можно напугать до смерти...»

Между тем рабыни подвели госпожу к изваянию и бережно опустили на колени. Клеопатра старательно творила молитву, раза два прикоснулась к мраморной ступне дрожащими устами и скороговоркой, но так, чтобы слышал Октавиан, произнесла:

— Ты же видишь меня, мой Юлий, и знаешь, что случилось со мной. Это твой промысел прислал мне твоего сына, чтобы я в его лице нашла твою защиту. Ты ведь не оставишь меня в беде? Вспомни о своей верной рабе и нашем потомстве! Яви мне свой голос через его уста, ведь ныне он — твое воплощение.

С этими словами египтянка потянулась к мраморному кумиру, наступила внушительная пауза; казалось, еще немного, и статуя ответит на мольбу. Сколько бы Октавиан себя ни успокаивал, он не мог избавиться от

впечатления, будто на постаменте застыл живой человек.

Он понял, что вся эта сцена была приготовлена заранее и Клеопатра только выжидала подходящего момента, чтобы свести отца с сыном. Римлянин напрасно расслабился: ему следовало предвидеть, что египтянка не израсходовала все свои стрелы и приберегла кое-что про запас.

И только сивиллам известно, какую еще ловушку устроит ему эта неистощимая женщина!

Царица прервала молитву и погладила руками несколько шкатулок, поставленных одна на другую рядом со статуей. Октавиан вперил в них пристальный взор, готовясь ко всяким неожиданностям. Когда одна из шкатулок наконец была открыта, он услышал отчетливый, набравший силу голос египтянки:

— О Цезарь, ты еще не знаешь меня... Быть может, эти письма, которые я храню как реликвии, озарят твое сердце. Я не делала с них копий, и никто не читал их, кроме меня. Ты не прогневаешься, Юлий, если я доверю твои слова твоему наследнику? Ведь он услышит голос своего отца, который оставил его вместо себя.

С этими словами Клеопатра развернула пергамент, лежавший в шкатулке первым, и как будто бессвязно, случайно натыкаясь на отдельные фразы, начала читать:

— «Император Цезарь шлет привет царице Египта. Вчера мне доставили твое коротенькое письмецо, писанное в Формиях. Оно наполнило меня шумной радостью и показалось значительнее всей безмозглой корреспонденции римских магистратов. Почему же так коротко, душа моя? Наши лагеря в застое — мелкие ночные стычки — потому и тоска невероятная. Постоянно что-то пишу. Трое суток кряду диктовал «Антикатона»,— боюсь, скоро стану философом. Когда вернусь — не узнаешь».

Это он прислал мне из Испании,— пояснила царица, на мгновение оторвавшись от письма,— во время войны с сыновьями Помпея. Гы ведь тогда был с ним, в одном лагере?

«...Я часто вспоминаю нашу александрийскую зиму; право, она каждую ночь является мне во сне. Не было в моей жизни ничего ужаснее и восхитительнее ее! Посреди бушующей вражды островок земной страсти — нет, глоток амброзии в преисподней, сверкающий коралл в море мрака! Только теперь я по-настоя-

щему начинаю любить Александрию. И тебя, моя дикая зеленоглазая кошка! Я всегда не терпел стихов, но сейчас мне жалко, что я не Катулл или Тигеллий. Такие вещи положено воспевать в элегиях. Но многостопный гекзаметр мне не под силу, так что я смиренно повторяю вслед за Архилохом:

Старик влюбился бы в ту грудь,
В те миррой пахнущие волосы...

Кстати, ты пишешь, Тигеллий сопровождает тебя в Байи? Он в числе твоих новых воздыхателей? А Пифолай? Он тоже с тобой? Они пользуются долгим отсутствием Цезаря, а ты рассказываешь им всякие истории про забавного старика и подшучиваешь над его недостатками. Тебе кажется, что таким манером ты обезопасишь себя от козней соперниц.

Не отрекайся. Я сам сделал тебя такой, это мои уроки. Помнишь первую пирушку в осажденном дворце на мысе Лохий? Как странно мы тогда возлегли: ты со своим Аполлодором, Арсиноя с Ганимедом, Птолемей с Потином, а я сидел один и разбавлял понемногу хиосское.

Твоя сестра в самом деле отличалась редкостной красотой: в тот вечер, в прозрачном газовом химатионе, с вызовом обнажавшим ее формы, она была верхом соблазна. В ней было что-то от Апеллесовой Анадиомены, хотя больше от Фespиады Праксителя. И ты, клянусь всеми богами, ревновала меня к ней! Ты была настоящей Медеей, хотя не подавала виду. Когда я прочел что-то из Сапфо насчет луны, затмевающей звезды, то внезапно встретил твои глаза. Слова бедны, чтобы их описать. Только один раз, в плену у киликийских пиратов, я видел нечто подобное у тамошнего идола. Он стоял в пещере, вытесанный из гранита, а вместо очей сверкали два огромных смарагда. Пираты уверяли, что один взгляд их божества влечет сумасшествие.

Напрасные тревоги, моя царица! Ни тогда, ни после я не искал Арсинои ничуть, но все мои помыслы были поглощены той, кому адресованы эти строки. Ты одна владела моими желаниями. Я тотчас постиг, что ты стоишь десятка Арсиной, но притворялся увлеченным младшей сестрой, чтобы подразнить и подзадорить тебя. В отместку ты пустилась лобызаться с Аполлодором. Благие боги, как недавно это было, и какие мы были шуты...»

«...Моя дивная богиня, которой я поклоняюсь еже-

часно, моя счастливая звезда, озарившая мне путь, мой нахохлившийся зверек! Не кори своего слугу, что он медлит с возвращением. Поверь, сердце никуда не отлучалось от тебя; оно и сейчас бьется под твоей рукой либо печально вздыхает у твоих ног. Сожми его, и оно сладко затрепещет. Здесь, в Испании, только бренное тело да блуждающий мозг, который питают лишь грезы о самой пленительной из женщин и самой царственной из владык. Скоро, очень скоро все устроится, я покончу с этой безумной войной, и тогда волны будут отсчитывать день нашей встречи. Я войду к тебе один, без провожатых, чтобы никто не подглядел, как я припаду к твоим стопам и покрою их тысячей поцелуев. И ты сможешь наказать или пощадить ту грешную плоть, бывшую так долго вдали от тебя».

Клеопатра остановилась и бросила на Октавиана косой взгляд. Лицо ее, минуту назад потухшее и потерянное, внезапно переменилось. Брови изогнулись крутыми луками, в глазах вспыхнул тот самый неистовый огонь, так поразивший старого Цезаря, от морщин не осталось и следа: на римлянина наступала воспрявшая духом, помолодевшая женщина. Даже растрепанные волосы ее, казалось, вновь налились черной смолью.

Октавиан поежился от этой стремительной и дерзкой атаки. Он попробовал увернуться, но не мог избавиться от двух раскаленных дразнящих очей, преследовавших его неотступно.

«Как она уверена, что все мужчины вокруг обожают ее! Она не в состоянии допустить даже мысли, что кто-то остается к ней равнодушен. Есть что-то жуткое в этой навязчивой мании, не знающей отпора. И **они** все сдавались ей, побежденные этой уверенностью! **Они** поворачивали на зов сладкозвучной островной сирены, вынимали вату из ушей, отбрасывали осторожность и обреченно устремлялись навстречу крутым скалам, чтобы разбиться в щепки...»

И тут в сизой дымке окуренной опочивальни в памяти римлянина, неизвестно в какой связи, воскресла вдруг грозная картина годичной давности. Густой утренний туман над Амбракийской бухтой. Медленно выступающие из гавани паруса Антониева флота. Сверкающие тараны на носах кораблей. Мечущиеся по палубам пращники. Бородатые сидоняне, натягивающие ковши метательных орудий... И ее флагман под именем «Антониада». Он появился во второй линии во главе египетских судов.

«Похоже, нильская сирена намерена лично участвовать в сражении».

«Это не ее стиль, Аррунций».

«Да, Цезарь, но она держится как раз напротив твоего корабля».

«Уж не думаешь ли ты, что она дерзнет вызвать меня на поединок?»

«Кто знает? Раненый зверь самый опасный...»

— А вот письмо, которое он прислал мне из Кордубы, готовясь к возвращению в Рим,— продолжала между тем египтянка, разворачивая новый пергамент.— «Гай Цезарь своей Клеопатре: радуйся много, царица! Если мои эпистолярные упражнения еще не наскучили тебе и тебя забавляет бред влюбленного, устройся поудобнее на кушетке и обопрись на мягкое изголовье. Клянусь Фебом, я вижу тебя такой, в вечернем конклаве, в обычной твоей изнеженной позе, когда ты слушаешь пение кифареда в свою честь или читаешь пылкое письмецо тайного поклонника. Вглядись в эти строчки. Не видится ли что и тебе? Не зришь ли ты освещенную лампадой палатку? Не замечаешь ли в ней некоего полуночного писаря, склоненного над столиком, укутанного от ветра, осипшего от крика, который макает перо в восковую чернильницу и потирает извилистый лоб? Я говорю «извилистый», чтобы не сказать «морщинистый». Но ни слова о возрасте. «Шестидесятилетних в воду!»[1]

Ты спрашиваешь, не покинуть ли тебе Италию и подождать меня в другом месте. Ты всерьез страдаешь от сплетен наших завистливых матрон. Что же? Все, что испускают длинные языки, происходит на самом деле, и даже больше того. Уверяю тебя, никто, кроме нас двоих, не предполагает, как далеко мы пойдем.

Что до меня, то я обожаю, когда обо мне сплетничают. Чем больше измышлений, тем лучше я защищен. Возьми это себе также за правило. Общество давно пресытилось стоическими Сципионами и Катонами, оно поклоняется только героям дня. Пусть же матроны плетут свои сети, актеры сочиняют песенки, мимы пародируют каждый наш шаг,— да не оставит их Юнона без покровительства! Сплетни утешают и пьянят толпу. Сочинитель становится пленником своих домыслов, завистник теряется в противоречивых догадках. Гораздо опас-

[1] Римская поговорка, отражающая старинный обычай избавляться от беспомощных стариков.

нее холодное разумение. К счастью, его почти не осталось».

Клеопатра снова поцеловала подножие статуи, оставляя теплую влагу на холодном мраморе.

— О Цезарь, разве я страшилась чего-нибудь, когда ты был со мной? Я была защищена твоим именем, приводящим людей в трепет. Мы смеялись над завистниками, как Перикл и Аспасия. Ах, если бы твое имя не оставило меня, когда ты передал его своему наследнику! Ах, если бы он был ты...

Слеза египтянки упала на письмо, но высохшие от времени буквы не пострадали. Она поспешно отерла пергамент нетвердой рукой, положила его на прежнее место и взялась за новый свиток.

Октавиан заметил, что все бумаги царицы тщательно уложены и пронумерованы: тщеславная владычица с канцелярской дотошностью сберегала знаки внимания сильных мира сего. В других шкатулках, наверное, так же аккуратно хранились письма Антония, доверительные послания Секста Помпея, Сосия, Канидия и еще бог знает каких римлян. Если это не искусные подделки придворных каллиграфов, выполненные по заказу царицы, и в пожелтевших свитках подлинные мысли их авторов, то понятна ценность подобного архива.

— К чему мне теперь твои письма? — продолжала Клеопатра будто в забытьи.— Почему я не последовала за тобой в царство теней, но осталась на этой земле? Сколько лет прошло, как прервалась наша любовь! Но вот сегодня он вошел ко мне, и все стало предо мною вновь, будто не было долгой разлуки. Мне кажется, я снова вижу тебя, чувствую твое дыхание, слышу твой голос:

«Я твой вечный должник, ибо не в силах расплатиться за подарки, которыми ты меня щедро осыпаешь. Всякий раз твои гонцы привозят мне дорогую одежду и утварь, так что моя палатка понемногу превращается в сокровищницу. Я знаю, это движение сердца, но ради богов, прими во внимание мой закон о роскоши. Он распространяется и на диктатора[1]. Мои мальчики Октавий и Пинарий вскорости отправятся в Аполлонию и заглянут в будущем месяце в Рим. Я припас для тебя отличных испанских рабов из числа плененных в Кордубе. Постараюсь передать вместе с ними.

---

[1] Придя к власти, Цезарь выпустил ряд актов, ограничивающих чрезмерную расточительность римлян.

Картину я повесил над изголовьем, и теперь, оставаясь наедине с собой, подолгу любуюсь ею. Какие чувства при этом переполняют меня, трудно описать. Знай, что ты лишила своего почитателя многих часов сна; вместо того чтобы искать покоя, он не сводит взор с божественной искусительницы и уже взбудоражил врачей краснотою в глазах.

Художник, достойный распятия, слишком смел и откровенен. Не сомневаюсь, он начал писать нас, сидя на том же корабле. Он даже изобразил твою тогдашнюю беременность. Все это было бы чересчур, если бы люди не знали царицу Египта как воплощенную Исиду, матерь Гора, славящего небеса за долгожданного наследника.

Я нахожу в картине знамение того, о чем мы не раз говорили, ради чего окунались в таинства египетских культов и устраивали диспуты у Гая Оппия. Без сомнения, мы становимся на общий путь. Это взаимное, хотя пока еще робкое движение кажется мне удачным прологом тех многотрудных поисков, коими заняты умы тысяч верующих. И хочется надеяться, что вновь объединенное государство римлян и земли их союзников, претерпев тяготы войн, найдут опору себе в слиянии отцовской религии с культами сопредельных народов. И конечно, того, который по праву считается одним из самых древнейших».

В продолжение всего времени, пока Клеопатра перечитывала отрывки из писем, настраивая голос на разные лады, Октавиан не проронил ни единого слова. Он не двигался с места, запасшись геройским терпением, и только украдкой косился на изваяние покойного диктатора, точно пытался что-то рассмотреть на каменном лице. Иногда могло показаться, на губах статуи мелькает слабая усмешка. Но это была лишь игра теней, плод разгоряченного воображения. Статуя оставалась статуей. Дух Цезаря, призванный на небо, витал далеко от египетского дворца и никак не откликался на зов своей страстной заклинательницы.

К тому же Октавиан подозревал, что история великой любви римского правителя и нильской владычицы, усиленно рекламируемая Клеопатрой, в действительности отнюдь не безоблачна. Разумеется, египтянка выбирала только те письма и те отрывки, которые служили ее замыслу, и старательно избегала в переписке всего, что могло нарушить безмятежную идиллию. Но Октавиан слышал кое-что из других уст. Тот же Оппий рас-

сказывал ему, как по возвращении Цезаря с испанской войны у него случилась размолвка с египетской царицей. Яблоком раздора оказался царь Птолемей. К тому времени Клеопатре захотелось избавиться от второго брата-соправителя, чтобы остаться единоличной басилей, но Цезарь категорически запретил трогать мальчика. Жаркий спор разгорелся также по поводу владения островом Крит. Никто не хотел уступать другому, после чего приязнь недавних любовников сильно пошатнулась. Неопределенность в отношениях продолжалась до самой смерти диктатора, причем царица несколько раз пыталась подластиться к патрону, но встречала лишь холодную вежливость.

«Подделка,— подумал Октавиан, успокаиваясь.— Отец никогда не попрекал Сципиона. И потом, где это он успел принять египетские таинства? Несомненная подделка! Она думает, если архив Цезаря достался не мне, а Антонию, теперь можно плести небылицы и морочить мне голову... А я сам слышал, как отец пару раз называл ее фаросской фурией. Вот как было на самом деле».

...В опочивальне было так тихо, что слышалось, как колышется пламя светильников. Клеопатра полулежала, прислонившись к цоколю статуи, ежась то ли от горечи, то ли от блаженной истомы. Неподвижные зрачки еле проглядывали сквозь смеженные веки. В белоснежном хитоне, без единой кровинки в лице, она сама казалась мраморной, будто скульптор так и вытесал их вдвоем: вечно гордого воителя и его сокрушенную спутницу.

Октавиан понял, что запал неистовой Федры[1] иссяк и их свидание близится к концу. Он ни минуты не сомневался, что встреча эта станет достоянием подробных исторических хроник. Пусть же все знают, как разгромленная на полях сражений царица наконец потерпела поражение и как женщина. Все ее ухищрения оказались тщетны против благоразумного мужа, ведомого богиней Победы. Волны наговоров и чар разбились о несокрушимый гранит его воли.

Победитель ждал бурной развязки, когда, испробовав все средства, египтянка впадет в бешенство. Он очень хотел вывести Клеопатру из себя, хотя постоянно сдерживался, опасаясь последствий. Его роль была

---

[1] Федра — героиня греческого мифа; пыталась соблазнить своего пасынка Ипполита.

не менее трудна и искусна. Он хорошо отрепетировал ее: сурово пресечь любые поползновения египтянки и притязания на какие-либо права, но одновременно сохранить в пленнице туманную надежду. Она нужна была ему живой.

Он почему-то вспомнил последний разговор с Октавией незадолго перед отъездом на Восток. Сестра молчала весь вечер, а когда он уже выходил из триклиния [1], бросилась за ним и уцепилась за руку. «Я знаю, Антоний должен умереть.— Голос ее дрожал, кровь прилила к лицу.— Но если ты встретишь его в живых, скажи ему, что я не держу никакой обиды и прощаю все, что он сделал со мной. Я хранила ему верность и берегла наших детей, даже когда он отрекся от меня и предался этой злой и порочной женщине. Она обрекла его на гибель. Мне же остались лишь скорбь и сожаление». Он ответил: «Сестра, я привезу эту женщину и брошу к твоим ногам». Октавия медленно покачала головой: «Ради всех небожителей, брат, не делай меня причиной ненависти к ней. Я не хочу обременять этим ни тебя, ни кого бы то ни было. Если у тебя есть свои причины преследовать ее, поступай, как сочтешь нужным. Но не вменяй ей в вину мою судьбу; это — на суд богов».

В течение трех дней после взятия Александрии победитель не столько выдерживал паузу, испытывая терпение египтянки, сколько колебался, приходить ли к ней вообще.

Вначале Октавиан вовсе не собирался встречаться с поверженной царицей. Он знал, что это вызовет большое недоумение публики, которое вскоре перерастет в восхищение его твердостью и целомудрием: прославленная искусительница мужей для молодого Цезаря ровно ничего не значит, даже когда она сама умоляет его о встрече. В самом деле, почему он должен признавать ее величиной, заслуживающей особое внимание? Ведь и Марий до самого триумфа не желал взглянуть на схваченного Тевтобада, а Помпей — на нумидийца Ярбу и иудея Аристобула. Пусть же эта блистательная Омфала встанет в один ряд с Тевтобадом, Ярбу, Аристобулом и прочими разбойниками, наказанными Римом,— тем унизительнее для нее.

Потом император подумал о временах более отдаленных. Потомки будут крайне разочарованы, узнав о несостоявшейся встрече их обожаемого кумира с той

[1] Триклиний (*лат.*) — столовая.

женщиной, которая потрясла мир. Его будут сравнивать с Цезарем и Антонием, взвесят все деяния, найдут его превосходящим тех обоих, но в этом месте, применительно к Клеопатре, сравнений не окажется. Это несправедливо по отношению к потомкам. Нужно дать им возможность сравнивать до конца. Встреча с египтянкой необходима, сказал себе Октавиан.

Впрочем, очень скоро счастливый властитель вынужден был прервать грезы о светлом будущем. Обстоятельства вернули его в сегодняшний день. Беглый Птолемей Цезарион по-прежнему не обнаружен, и чем дольше длятся поиски, тем дальше от Александрии его придется ловить. И пока он жив и на свободе, у побежденных есть царь, а у победителей — сын Цезаря. Следует встретиться с Клеопатрой хотя бы из-за Цезариона, окончательно решил император и взялся набрасывать свой незаменимый конспект предстоящего разговора с египтянкой.

...Громкий кашель стражников под окнами дворца вернул царицу в чувство. Клеопатра снова порылась в шкатулках и извлекла еще один тисненый пергамент. Бумага выглядела совсем свежей.

— С твоего согласия я передам тебе это письмо,— учтиво молвила дочь Птолемеев.— Я написала его твоей супруге, благочестивой Ливии. Всем известно, что она отличается глубоким разумом и состраданием к людям. Мы обе — женщины, перенесшие многое в жизни; тем легче нам понять друг друга. Позволь, чтобы это скромное послание попало по назначению.

Октавиан принял бумагу через Ираду.

— Хорошо, я пошлю письмо, как ты просишь.

Хармион помогла госпоже занять подобающее место на ложе.

— Надеюсь, Ливия в полном здравии? Как поживают ее мальчики Тиберий и Друз?[1]

— Благодарю; с ними все хорошо.

— Подумай только, они ведь ровесники моим младшим Александру Гелиосу и Птолемею Филадельфу! — просияла умиленная египтянка.— Как и твоя драгоценная Юлия[2] — моей скромной Селене. О, как я желала бы, чтобы они все подружились! Как бы это было замечательно...

— Время покажет,— молвил сдержанный римлянин.

[1] Пасынки Октавиана, сыновья Ливии от первого брака.

[2] Дочь Октавиана, единственный его ребенок, рожденный первой женой Скрибонией.

Клеопатра мечтательно покачала головой и, обернувшись к рабыням, щелкнула пальцами. Те тут же поднесли императору новый свиток, оттертый красной пемзой. С виду он походил на царский рескрипт, какие в Египте готовят в особо торжественных случаях.

— Взгляни, о Сын Божественного,— с важностью сказала Клеопатра, указывая на свиток.— Это подтверждение того, что я полностью вверяюсь твоей власти. Здесь составлен полный список моих личных драгоценностей. Их перенесли сначала в усыпальницу, а теперь они хранятся в этих покоях. Помимо них отмечены ценные вещи, спрятанные в разных тайниках.

Октавиан развернул свиток и попал в довольно затруднительное положение: там было столько всего понаписано, что у него зарябило в глазах.

— Если желаешь провести сверку и удостовериться в полноте перечисленного,— опередила его египтянка с поклоном,— то лучше всего это сделать сейчас же. Прикажи вызвать сюда моего эконома Селевка. Он должен находиться в этом дворце.

— Нет нужды,— пожал плечами римлянин.— Если потребуется, мы произведем сверку в казначействе.

Царица многозначительно подняла палец:

— В казначействе не знают и десятой доли того, что здесь указано. Эти драгоценности нигде не записаны, о них ведает лишь узкий круг доверенных лиц.

Этот довод показался убедительным. Пленница вполне могла располагать сбережениями, совершенно недоступными ни римским, ни египетским учетчикам. Октавиан поднялся, кликнул Эпафродита и велел привести названного эконома.

Пока соглядатай разыскивал Селевка, прошло около получаса. Сын Божественного, не отрываясь, просматривал длиннющий список, а дочь Авлета медленно попивала поданную рабынями настойку, искоса высвечивая оком его непрошибаемый лоб. Время от времени она отрывалась от кубка и давала необходимые пояснения, что́ следует понимать под той или иной записью.

По всему списку проступала, сочилась, звенела и переливалась прежняя песнь египтянки. Среди перечня драгоценностей особо выделялись подарки Юлия Цезаря; они напрочь затмевали дары Антония, подношения Ирода и прочих азиатских царей. Каждая такая вещица, связанная с именем диктатора, снабжалась подробным указанием, когда и при каких обстоятельствах она

была получена. Напротив, другие сокровища, даже самые ценные, упоминались бегло и как бы между прочим.

Октавиан подумал, что никогда ничего не поймет, если будет довольствоваться сказками хитроумной Калипсо[1]. Поэтому он облегченно вздохнул, когда Эпафродит, наконец, привел сведущего Селевка.

Царский эконом, оказавшись не у дел, глушил тоску неразбавленным вином в окружении дворцовых служанок и уже изрядно охмелел, когда получил срочный вызов к императору. Слуги отшатнулись от него как от прокаженного, так что перепуганный египтянин тут же оказался один на один со своей участью.

Бывший хоревт[2] в Антиохии Сирийской, баловень судьбы, попавшийся когда-то на глаза Клеопатре и приближенный ею за красоту и статность, он совершил стремительную карьеру. Угождая необузданным страстям сластолюбивой владычицы, ловкий сириец сначала добыл должность антиграфея[3], а затем стал личным экономом царицы. Он перенес драгоценности в усыпальницу Клеопатры близ храма Исиды, перевел туда ее и даже просился остаться с любимой госпожой, но скоро поддался уговорам и вернулся во дворец. Он был уверен, что о нем никто не вспомнит и что его звезда закатилась навсегда.

Теперь, очутившись меж двух господ, недавний фаворит пугливо встряхивал головой и напряженно гадал, зачем он потребовался.

— Селевк,— обратилась к нему Клеопатра по-гречески.— Нет другого, кроме тебя, кто бы так хорошо ведал в моих делах. Твои знания неоспоримы. Помоги нашему высокому гостю, посмотри список драгоценностей и подтверди его подлинность.

Эконом вопросительно повернулся к императору, и тот, немного поколебавшись, отдал ему свиток. Сириец сильно щурился, изучая составленную царицей бумагу; можно было подумать, последние несчастья едва не лишили его зрения.

Однако глаза тут были вовсе ни при чем. Природный нюх, отточенный в беспрерывных дворцовых интригах, тотчас подсказал искушенному льстецу, что здесь происходит. Он даже прикусил губу, боясь выдать свою

---

[1] Калипсо — нимфа, волшебством удерживавшая у себя Одиссея.

[2] Хоревт (*греч.*) — певчий театрального хора.

[3] Антиграфей (*греч.*) — налоговый чиновник.

тайную радость. Жилы нервно вздрагивали на его висках; было заметно, что его раздирают противоречивые чувства.

— Что же ты молчишь? — протянула царица, которую стала беспокоить долгая пауза.— Скажи, все ли там на месте или чего-то недостает?

— Можно говорить? — посмотрел Селевк на Октавиана.

И, получив дозволение нового властелина, вежливо осведомился:

— Если я правильно понял, здесь указано имущество пленницы, собранное в пределах Александрии?

— Там указано то, чем я владею на частных правах,— поспешно вставила Клеопатра.— А что ты хочешь этим сказать?

Селевк низко поклонился:

— Мне кажется, список неполон. В нем отсутствуют драгоценности, спрятанные в загородных усадьбах. Кроме того, бывшая царица, очевидно, забыла упомянуть драгоценную утварь и картины, приобретенные в храмах Сирии. Часть из них вместе с наследственными сокровищами была отправлена с царевичем Птолемеем по мемфисской дороге...

— Что он говорит?! — презрительно выдохнула царица, пытаясь выразить удивление.— Как посмел повернуться его язык? О Зевс, почему ты медлишь и не испепелишь его молнией?!

Эконом, спотыкаясь, продолжал:

— Здесь написано: четыре пары седел, серебряные чепраки и конская сбруя — дары Ямвлиха, царя Эмесского. Но там были еще ожерелье из латуни, парчовые наряды и покрывала с золотым шитьем. После казни Ямвлиха она,— Селевк кивнул в сторону госпожи,— приобрела также диадему его супруги, золотые подсвечники и еще браслет с алмазом стоимостью триста тысяч драхм...

Клеопатра ощерилась, словно загнанная в угол пантера. Не успел Селевк закончить, как она с воем метнулась на него, вцепилась в волосы и повалила эконома наземь. Тот пробовал защищаться и уже было освободился от острых ногтей египтянки, но на подмогу госпоже приспели рабыни, и тогда все четверо сплелись в катающийся по полу клубок. Женщины тянулись к горлу изменника; эконом извивался как змея, отбиваясь короткими ударами.

Октавиан поначалу озадаченно следил за вскипевшей у его ног дракой, потом громко и от души рассмеялся. Это была та самая бурная развязка, которую он ждал.

Свалка кончилась тем, что покусанный и оцарапанный эконом вырвался из женских объятий, оставив противнику оторванные рукава рубахи. Царица поднялась без помощи рабынь и, едва отдышавшись, коротко прохрипела:

— Убирайся к Харону, ублюдок!

Селевк отбежал от нее и стал за спиной императора. Тот отпустил его кивком головы.

Глаза Клеопатры сыпали искры вслед уходящему сирийцу. Она еще долго разводила руками, глотая ртом воздух, не в силах оправиться от случившегося.

— Ты видел что-либо подобное, Цезарь? Вероломный раб, неблагодарная тварь, подлый Эфиальт[1], которого я подняла из грязи, предал меня на твоих глазах! Вот когда его мерзкая натура обнаружила себя! Что он здесь наболтал? Что я утаила какие-то подсвечники и женские украшения? Да, я сделала это... Но разве для себя? На что мне теперь украшения, наряды и покрывала? Я хотела послать их Ливии и Октавии, дорогим твоему сердцу женщинам, растопить их души, чтобы они склонились ко мне. Если ты прочтешь письмо, которое я передала тебе прежде, ты найдешь подтверждение моим намерениям. Точно такое же письмо я напишу Октавии, где буду молить ее заступиться за меня перед тобой...

Говоря так, царица снова залилась слезами. Император поднялся с креслица и положил свиток на ложе:

— Ты вольна распоряжаться своим достоянием как угодно. И тебе вовсе незачем впадать в такое отчаяние. Я прошу тебя успокоиться и подумать о скорейшем исцелении от недуга.

Клеопатра поймала его руку, стиснула ее своими тонкими дрожащими пальцами и с жаром произнесла:

— О, мою болезнь исцелит лишь твое благоволение!

Октавиан улыбнулся, осторожно высвободил руку и оправил края смявшейся под панцирем туники; император педантично соблюдал опрятность.

Через пять минут, покидая опочивальню, он доверительно изрек:

---

[1] Эфиальт — предатель-грек, в 480 г. до н. э. при Фермопилах проведший персидское войско в тыл грекам. Нарицательное имя изменника.

— Уверяю, переживания твои совершенно напрасны. Я думаю, все сложится гораздо лучше, чем ты предполагаешь.

Обе рабыни провожали римлянина докуда могли, пока путь не преградила стража, стоящая за дверьми прихожей. Октавиан кивнул на прощание Эпафродиту и вышел во двор, вполне довольный собой.

«Ну что же? По-моему, эту партию я сыграл неплохо. Была, правда, пара огрехов: с этой статуей несуразно, со старшим сынком недотянуто... Зато эпилог просто изумителен».

...Сейчас это ветхая старина. Известно, что будет через год и через тысячу лет. Сменяющие друг друга поколения с завидным упорством погребали под вековыми пластами свои свершения и страсти, разъедавшие их. Давно переплавлены в деньги их горделивые статуи, разобраны на кирпичи патриаршие храмы, и пущены атрибуты культов на размолот новейших кумиров. В грохоте будней недосуг оглядываться назад. Тем более так далеко. И к чему ворошить истлевшие пергаменты потерянных эпох, перебирать осколки давно окаменевшего времени? Сказано-пересказано, писано-переписано, новое слово — пережевывание предыдущего, новое предположение — смешное «открытие Америки».

Но ведь ничто не бывает прочитано до конца, даже собственная ладонь. Вглядись в ее линии — и узнаешь о себе такое, о чем никогда не подозревал. И пусть умудренный читатель не сочтет сей жидкий реферат компиляцией имеющегося, дерзким покушением на классику или попыткой проникнуть в нехоженое. Это всего лишь набор неясных ощущений и пересказ путаных мыслей по известному случаю.

Или, может быть, это только схолии на полях...

Иногда кажется, что упущено что-то важное, сказано как-то мимоходом, не так. И тогда кто-то взывает из тьмы, манит в гущу отшумевших времен, и ты начинаешь лихорадочно исследовать стершиеся письмена, узнавать по голосу вошедших и пристально вглядываться в спины уходящих...

Плутарх: «И он покинул ее в полной уверенности, что обманул египтянку, но в действительности обманутый ею».

ΠΥΡΟΕΙΣ

Когда мне говорят: «Александрия»,
я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем,
мохнатые мигающие звезды
и светлые серые глаза под густыми бровями,
которые я вижу и тогда,
когда не говорят мне: «Александрия».

Мих. Кузмин, 1908

АЛЕКСАНДРИЯ — ГОРОД ВСЕМ ГОРОДАМ!

Ты — Врата Нила!

Ты — ключ Египта, светоч Востока!

Ты — рукотворный столп человеческой гордыни, лучшее из всего, что оставлено нам Великим Македонцем, чтобы мы славили в веках его бессмертное имя.

Всегда, когда подплываю я к тебе по ласковым зеленоватым волнам, необычайная мягкость которых так поражает всех мореходов, истомленных холодными северными водами, и вижу твои горделивые дворцы, сияющие горой света, величественные храмы на вершинах холмов, беломраморные обелиски, испещренные магическими письменами, и таинственные сфинксы, безмолвные стражи вечности, возлегшие у самого моря, сердце мое наполняется сладостным восторгом, и на ум приходят сказочные строки из рукописи Ибн Абд аль-Хакама:

«Александрия была белой, сверкала ночью и днем... Семьдесят лет она оставалась такой, что никто не входил в нее иначе, как с черной повязкой на глазах из-за белизны ее мрамора и плит мостовых, и семьдесят лет в ней не зажигали света».

Какой паломник, ступив раз на блестящий мрамор твоих широких проспектов, вдохнув живительный воздух верховьев Нила и чудесного озера Мареотис, не останется твоим вечным обожателем и не понесет славу о тебе по всем путям необъятной Ойкумены?!

Почему, почему Арсений Суханов нашел тебя ветхой, усыхающей старушкой, «пречудной знанием» (это тебя-то, неувядающую красавицу Востока!), и как он посмел, сняв с глаз повязку, не ослепнуть тотчас, но долгие часы бродить по руинам и кладбищам, клевеща на тебя в свою записную книжку: «Некогда град был украшен, а ныне пуст, не многие люди живут по воротам вокруг града, а середка града вся порожняя, палаты все обвалились...»

С невыразимой тоской и унынием разглядывал я рисунок Григоровича-Барского 1730 года, поместившего в пустынные гавани твои всего четыре парусника и семнадцать жалких лодчонок, а в черте городской стены среди глиняных дувалов — каких-то одиноких бродяг с котомками за плечами, словно бы собирающих полевые очистки; ему еще хватило почтения отобразить сиротливые осколки былого величия — белую Колонну Помпея и Иглу Клеопатры,— будто сверкающие перлы в разворошенной золе...

Хвала небесам, что не увидел я теперь всего этого!

Правда, по правую руку от корабля напоминанием о суровом средневековье еще возвышаются круглые зубчатые башни Форта Кайт-бея, печати мамлюкского владычества, горделиво парят над плоскими кровлями домов остроконечные минареты времен господства Османов, и давно уже перекрыт для торговых судов некогда славнейший Восточный порт.

Но я все равно подплываю к тебе ослепительным солнечным днем, издалека, еще с мола вдыхая полной грудью твой густой пряный запах — запах задора и силы, не измененный двумя тысячелетиями.

Самое приятное время года в Александрии — август и сентябрь. Спадает нестерпимый зной, муссоны приносят долгожданную прохладу, вода прибывает в Ниле, заполняя многочисленные каналы и озерную лагуну, и весь воздух наполнен дыханием моря. Волны отражаются в каменных плитах и в строе набережных фонарей, поигрывают в окнах домов, в витринах бойких магазинчиков, в лицах и глазах говорливых александрийцев.

Через минуту после высадки в порту меня уже поглощает береговая толчея, я оказываюсь в гуще торопливо снующих людей, повозок, тележек и велосипедов.

— Посторонись! Осторожнее! Береги спину!

Приезжих туристов атакуют стайки назойливых мальчишек — носильщиков и провожатых. Тот, кому удалось пробиться сквозь них, оказывается перед плотной шеренгой торговых лавок, забитых всевозможным антиквариатом. Я задерживаюсь возле бородатого дородного египтянина, увешанного звенящими побрякушками, начиная с деревенских амулетов и кончая статуэтками фараоновских божеств.

— Эй, дорогой! — цепляется он за мой рукав.— Бери бронзовую палетку с иероглифами. Настоящие древние письмена, клянусь жизнью! Из пирамиды Хеопса. Про-

дам почти задаром. Бери скорее, в другом месте не найдешь. Ты еще раздумываешь? О Аллах, он еще раздумывает...

— Благодарю, не нужно.

— Постой, дорогой! — не отпускает меня торговец, отчаянно жестикулируя свободной рукой.— Не хочешь палетку — не бери. Есть кое-что получше. Смотри скорее сюда: каково? Скажи, что это не сокровище.

Перед моими глазами возникает красная фигурка богини с львиной головой. Все соседние лавки буквально усыпаны подобными статуэтками.

— Сам выточил?

— Да поразит тебя гром, франк! Зачем так говоришь? Статуэтка из гробницы Тутмоса. Слышал о таком? Плати скорее доллар и забирай с собой, иначе, клянусь, передумаю...

Понимая, что от приставалы так просто не отделаться, я устало вздыхаю и опускаю взгляд:

— Из гробницы Клеопатры есть что-нибудь?

— Конечно, дорогой! — светлеет египтянин.— Ты еще спрашиваешь... Разве у Нуамана чего-нибудь нет? У него брат — археолог! Скажи, какого тебе царя нужно, мигом доставлю. Ты любишь Клеопатру? Смотри сюда: царский амулет. Не гляди, что поржавел малость,— настоящая древность! Три доллара.

Я небрежно верчу в руках графитовую печатку:

— Ну, и что у него, по-твоему, общего с Клеопатрой?

— Ты же просил, дорогой, из гробницы. А я откуда даю? Видишь, вырезан жук-скарабей: какие у тебя сомнения?

Торговец проворно прячет деньги за пазуху, подмигивает соседним зазывалам и провожает меня грудой благопожеланий, посмеиваясь в душе над неискушенным приезжим простаком.

Согласно средневековым хроникам, гробницу Клеопатры навсегда поглотило море, как раз в тот год, когда от сильнейшего землетрясения заколебался и рухнул знаменитый Фаросский маяк.

И снова куфическая вязь Ибн Абд аль-Хакама: «Посланник Аллаха — да благословит его Аллах, да приветствует! — сказал: Вы пришли ко мне спросить о Зу-ль-Карнайне[1]. Я расскажу вам, что у вас написано про

---

[1] Зу-ль-Карнайн («Двурогий»), Искандер — Александр Великий.

него. Он построил город, который назвал аль-Искандарией[1]. Когда он окончил строительство, к нему подошел ангел и поднял его ввысь. Он вознес его высоко и сказал: «Посмотри, что перед тобой!» Тот ответил: «Я вижу мой город и другие города вместе с ним». Затем ангел вознес его еще выше и сказал: «Смотри!» Тот ответил: «Мой город смешался с другими, я не узнаю его!» Затем ангел прибавил еще [высоты] и сказал: «Смотри!» Он ответил: „Я вижу один только мой город и не вижу других"».

Александрия — вечная песня срединного моря, нескончаемая сказка африканской пустыни. Сколько бы ни возникало городов и столиц после тебя, самых обширных и великолепных, они не в силах сравняться с тобой, потому что на дереве много ветвей, а ствол один; в стене много камней, но краеугольный — единственный; на небе много светил, но солнце одно. И как бы они ни кичились пред тобой, стараясь превзойти тебя дворцами и храмами, возносясь над твоей славой, выше Фаросского маяка, выше Александрийского столпа, выше башен Серапейона и горы Пана,— тщетны их усилия; они никогда не превзойдут тебя, но останутся жалкими подражателями.

Ты — недосягаемый перл Ойкумены, ты — неугасимая звезда на путях вселенной и кибла[2] для всех паломников, ты — свет в ночи и ослепительная молния, проливной дождь в бескрайней степи и неисчерпаемый колодезь в безводных песках, ты — волшебное вино и сок вечной молодости.

Или Динократ[3] был послан небом; не мог ведь выходец из гористого тесного Родоса мыслить о бегущих магистралях, соединяющих море с морем; или кто-то свыше явился ему во сне и вложил в сознание столь дерзкий возмутительный замысел, опрокидывающий всякое воображение?! Как смог увидеть он на месте затхлой рыбацкой деревушки Ракотис будущий шедевр мирового градостроительства? И почему Александр поверил ему?

Старый привратник Али встречает меня в вестибюле настороженным, недоверчивым оком, долго отсутствует, справляясь у хозяина, пускать ли далекого гостя,

---

[1] Т. е. Александрией.

[2] Кибла — направление молитвы.

[3] Динократ Родосский (IV в. до н. э.) — градостроитель, спланировавший Александрию.

наконец, принимает мою поклажу и расплывается в широкой улыбке:

— Вас ждут, сахиб.

Луис Антеф восседает на полукруглой суфе, скрестив ноги и набросив на плечи длинный атласный халат,— нельзя понять, принял ли он такую моду или нарочно дурачится передо мной,— коротко стриженная бородка лоснится от какой-то дорогостоящей мази.

После традиционно долгих, даже слишком долгих, объятий он усаживает меня напротив, возвращается на свое место и принимает прежнюю напыщенную позу.

— Ты, конечно, остановишься у меня. Где тебе остановиться, как не у своего однокашника? Помнишь ПАП[1] на первом курсе? А раскопки в Сауране? Тебя не смущает мой вид? Ха-ха, скажу по секрету: я вступил тут в одно презабавное общество. Ты даже не можешь себе представить... Хотя что это мы сразу обо мне? Я жду твоего рассказа, мой друг. Как добрался? Почему не предупредил заранее? Я бы встретил тебя в аэропорту. Или ты на поезде? Рассказывай все по порядку.

Впрочем, Луис недолго утомляет себя слушанием и при первом удобном случае вклинивается в мою речь:

— Как тебе город? Скажи: ты не ожидал его встретить таким? На две трети европейским. Ты искал здесь старину, а нашел вторую Одессу.

— Почему? Александрия есть Александрия.

— Никакая это не Александрия. То, что ты видишь,— совсем другой город. Это аль-Искандария.— Луис наклоняется вперед и загадочно бормочет: — Настоящая Александрия — внизу. Мы «плаваем» на ней.

— То есть как — «плаваем»?

— Мой друг, ты приехал в такое место, может, единственное на свете, где под одним городом существует другой, под современными домами и проспектами таятся целые кварталы древней, подлинной Александрии. И это не культурный утрамбованный слой, как ты, может быть, подумаешь, а именно город: там сохранились даже улицы и дворцы. Да-да, не удивляйся. Пойди спроси любого, и он припомнит тебе пять-шесть случаев, когда люди проваливались сквозь асфальт и бесследно исчезали в каких-то древних каналах и катакомбах. Об этом много писали в газетах. Мой сторож Али однажды упал в какую-то огромную залу, отделанную мозаикой и росписями. Представь, в двух шагах отсюда, на дю

[1] ПАП — производственно-археологическая практика.

Каналь. Правда, власти тут же засыпали провал гравием.

Я оборачиваюсь на открытый балкон, за которым белеют высотные громадины отелей и банков, и с сомнением качаю головой:

— Ты врешь, Луис, как все александрийцы.

— Посмотрим, что ты скажешь, когда сам очутишься там,— смеется он, стряхивая пепел с дымящейся сигареты.— Разве плохо придумано? Все еще впереди. Прими душ и отдохни хорошенько с дороги. Вечером, клянусь Аллахом, нас ожидает кое-что занимательное. Ты не пожалеешь...

Через четыре часа мы уже покачиваемся на рейде посреди Восточной бухты, свешиваясь с левого борта небольшого прогулочного катера, и напряженно вглядываемся в играющие волны.

— Сейчас ты увидишь то, зачем приехал. Признайся, ты ведь приехал увидеть **ее**. Я тебе написал, что близок к цели, и специально откладывал до твоего приезда. Я знал, что ты поспешишь увидеть **ее** воочию. Смотри же, как мы извлечем **ее** из пучины.

Перед моими глазами еще маячит бойкий торговец в порту и его крашеные побрякушки.

— Ты уверен, что это **она**? Что может отыскаться здесь, посреди бухты? Так далеко от берега...

Луис презрительно усмехается:

— Позволь просветить тебя, о неверующий, что тот берег, на который ты постоянно оглядываешься и тычешь в него пальцем, был вымощен лишь при англичанах в конце прошлого века. А древняя набережная и царский мыс находятся именно здесь, под нами. Если бы дворец Птолемеев продолжал стоять как и прежде,— Луис ткнул пальцем правее носа катера,— карниз его кровли как раз выступал бы из воды.

— Большая глубина?

— Метров восемь с небольшим. Но много последующих наслоений. Мои Зеки и Халиль, которым позавидует сам Кусто, хорошо обследовали дно: сплошное кладбище судов и строений, покрытых мидиями. Вот тут они натолкнулись на осколки дорических колонн. Начали подводные раскопки, и что ты думаешь? Через два метра — **она!** И в отличной сохранности.

— А лицензия у тебя есть?

Луис отмахивается и бежит по борту к вынырнувшим из глубины аквалангистам:

— Как там у вас? Зацепили?

Затем бодро командует своей нехитрой команде:

— Всем приготовиться к подъему! Сбросьте второй якорь. Закрепить тали на лебедках. Работайте равномерно, без рывков. Поехали!

В течение следующего получаса над водой раздается лишь металлический скрежет и скрип уключин: четверо матросов налегают на одну лебедку, четверо на другую, а все остальные в напряженном молчании толпятся на высокой корме.

— Торопишься, Фарух! Левая отстает! Держите ровнее. Почему плывем? Немедленно проверить якоря! А вы налегайте изо всех сил. Еще немного... Чтоб я пропал: вот **она.**

В мутной пузырящейся воде различается что-то огромное, темное, мерно приближающееся к поверхности. Кажется, со дна поднимается некое морское животное, подобное знаменитому чудищу Лох-Несса. Сначала на поверхность является гранитный нос, затем точеный подбородок и, наконец, корона в виде солнечного диска, овитого коровьими рогами, стекающая вода поднимает фонтаны брызг.

В багровом свете заката статуя представляется не каменной, а блестяще-медной; натянутые тали придерживают на весу пятиметровую гранитную женщину, восседающую на египетском троне со сложенными на груди руками: в левой, по обычаю, закругленный жезл, в правой — царская плеть. Что-то щемит под сердцем: меня поражают суровые мужские черты изваяния, царское величие совершенно вытеснило женственность. Команда катера также безмолвствует, дивясь больше необыкновенным размерам добычи.

Первым приходит в себя Луис Антеф:

— Чего глазеете, остолопы?! Это вам не музей. Стропы в воду! Закрепить груз! Чтоб я лопнул: тонн шесть, не меньше...

На поверхности статуя тяжелеет в несколько раз, катер едва не ложится на левый борт, и матросы суетятся с баграми и петлями, пытаясь уловить царицу. В этот момент ее глаза встречаются с моими; они сверкают почти по-человечески, но я успокаиваю себя тем, что это только игра водяных брызг.

— Кто так цепляет, Зеки?! — горячится капитан.— Где вы протянули тали? Скорее подавайте стропы! Еще немного, и она перевернет нас...

Глухой треск прерывает работу. Накренившись, статуя внезапно разрывает путы и с грохотом падает об-

ратно в морскую пучину. Луис еще отчаянно мечется по палубе, ругая матросов за нерасторопность, хотя уже ясно, что добыча коварно ускользнула.

— Ты видел?! — кричит он мне, вращая воспаленными глазами.— Ты видел **ее?! Она** была почти нашей, мы могли дотронуться до нее руками! Проклятье...

* * *

Войны на суше и на море, гражданские и с внешними врагами, по всему земному кругу часто я вел, и, будучи победителем, всем гражданам, молившим о милости, я даровал пощаду. Чужеземные народы, которых безопасно можно было простить, я предпочитал сохранять, а не уничтожать...

Деяния Божественного Августа; надпись на стенах храма Ромы и Августа в Анкаре

— Легионы ждут тебя, император!

— Какие легионы? Не надо никаких легионов...

— Как не надо, когда я уже велел построиться Марсовому и первому Галльскому?

— Бедные солдаты. Под таким пеклом?

— Никакого пекла, Цезарь. Сегодня отличная погода! Как раз для победных торжеств.

— Благие боги, что ты еще выдумал, Галл?! Это только небольшая прогулка по городу...

— Прогулки пусть совершают замызганные пилигримы. А нам к лицу лавры триумфаторов!

— Вот с лаврами как раз потерпим, Корнелий. И вообще, поменьше бряцанья железом. Уразумей: мы не завоеватели, но освободители. Мы здесь старые друзья.

Минуло четыре дня после захвата Александрии, когда, справившись, наконец, с подсчетом трофеев и расставив кругом караулы, Октавиан пожелал осмотреть замиренный город и познакомиться с его достопримечательностями.

Блестящая кавалькада покинула Южный дворец до полудня, когда солнце еще не поднялось над городом и не разогрело плиты мостовых. Путь пролегал по набережной к красивому месту, называемому александрийцами Посейдиумом. Стоящие в гавани суда, завидев молодого императора, приветствовали его, троекратно поднимая весла. Октавиан отвечал легкими кивками головы.

Свежий ветерок с моря мягко трепал короткие волосы победителя Египта. Впервые с начала похода он снял воинские доспехи, оставил свой знаменитый шлем с кометой Цезаря и облачился в простую белую тунику, слегка прикрытую пурпурным плащом. Его немногочисленную свиту, состоящую из друзей и спутников, охранял лишь десяток конных телохранителей. Город был в полной власти римлян.

Всю дорогу до Посейдиума провожатый Диомед, бывший секретарь царицы, делающий теперь несомненные успехи на службе императору, не переставал забавлять путников рассказом о последних месяцах правления Антония и Клеопатры.

После Актийского разгрома царственная чета долгое время пребывала в состоянии прострации. Царица заперлась во дворце, не показываясь народу, а развенчанный триумвир бесцельно переезжал с усадьбы на усадьбу, то советуясь с магами и прорицателями, то сочиняя воззвания к отложившимся от него союзникам.

Потом он взялся за строительство, приказав доделать заложенный посреди Большой бухты островной дворец и соединить его с берегом узкой насыпью. В этом-то дворце, мрачно окрещенном им Тимонейумом[1], Антоний предавался скорби и вел жизнь отшельника. Наконец, когда почти все провинции отпали и в его руках остался один Египет, Антоний отбросил затворничество и вновь сошелся с Клеопатрой, дабы провести отпущенный им срок в роскоши и удовольствиях.

Супруги тут же учредили «Союз смертников», куда записали всех друзей, готовых покончить жизнь самоубийством, богатых вельмож и сановников, в числе которых оказался и Диомед. Девизом вновь избранного союза стали стихи Еврипида:

И никому не ведомо из нас,
Жив будет ли наутро. Нам судьба
Путей не открывает: ни наукой,
Ни хитростью ее не купишь тайн.
Сообрази же и веселись. За кубком
Хоть день, да твой...

Антоний даже велел выбить монету с изображением Вакха, наливающего ему вино, и надписью: «Император Марк Антоний, Новый Дионис, вакхант». На обратной стороне красовался профиль царственной египтянки в обрамлении виноградных лоз, а также громкая

[1] По имени Тимона, известного в прошлом мизантропа.

легенда: «Клеопатра, царица царей, Новая Афродита, сотрапезница».

От пиров и разгулов сотрясалась вся Александрия. «Смертники» старались за страх и за славу, предчувствуя близкий конец. Хмельные оргии чередовались с играми и ристалищами, с утра до вечера не смолкали шутовские концерты, не знали устали оголенные танцовщицы, собранные со всех концов Азии. Золоченые кубки раскалывались в руках, не в силах перекачать нескончаемые потоки вина, сцепившиеся тела катались по коврам, хрипя от сладострастия. По ночам пьяная ватага лиц обоего пола вываливала из дворца на улицы спящего города, изображая тритонов и нереид, устраивала факельные шествия, проказничала у домов благочестивых александрийцев, бесцеремонно обдирала встречных либо раздаривала первым попавшимся все свое снаряжение.

Безумная расточительность царственной четы преступила все мыслимые границы. За три месяца было растрачено столько денег, что их хватило бы, наверное, на сооружение новой великой пирамиды.

В довершение Антоний и Клеопатра затеяли следующее представление. В Малой гавани были сведены четыре корабля, на которые положили настил и возвели из камня и дерева уменьшенную копию Гостилиевой курии в Риме, где заседал раньше сенат. На этом настиле соумирающие пировали три дня и три ночи, а под конец запалили корабли и вплавь устремились к берегу. Огромное пламя озарило бухту, сооружение дрогнуло и рассыпалось в прах. Говорят, половина Александрии сбежалась к набережной, чтобы взглянуть на столь редкое зрелище.

Вспоминая об этом, Диомед испытывал подлинное вдохновение. Он выкатывал желтые, как песок, глаза и делал выразительные жесты, чтобы ни у кого не осталось сомнений в правдивости его слов. Сопровождающие императора по-разному восприняли его сочный рассказ.

— Что ни говори, они пóжили красиво,— весело отозвался Корнелий Галл, в душе безмерно завидующий славе поверженных супругов.— Антоний был мастер на подобные штуки. Я помню, какие проделки он учинял в Риме...

— Да не услышит Юпитер твоих слов! — набросились на него другие легаты.— Изменник отечества, продавший свой народ и богов-пенатов за постель похот-

ливой гетеры, вызывает в тебе восхищение?! Почему ты молчишь, о Цезарь?

Все ждали, что Октавиан, истовый поборник отеческих заветов и противник всяческой роскоши, осудит недостойную вылазку Корнелия Галла и воздаст должное мотовству бывшего зятя. Но император ничего не ответил, храня задумчивое молчание. Когда же к нему обратились снова, он коротко обронил:

— О мертвых либо хорошо, либо ничего[1].

Римляне почтительно умолкли, оценив великодушие главнокомандующего. Те, кто давно знал Октавиана и не раз сталкивался с его страшной мстительностью и злопамятством, невольно переглянулись: хотелось верить, что великие победы облагораживают наследника старшего Цезаря и в нем открываются такие качества, о которых раньше можно было только мечтать.

На Эмпории[2] шел бойкий торг; впервые после оккупации города римлянами купцы разложили свои товары, а к берегу причалили богатые корабли. Однако приближение императорского эскорта вызвало внезапный переполох. Торговцы бросились закрывать лавки и магазины, носильщики побежали обратно на корабли, погонщики отчаянно стегнули ослов, и вся площадь разразилась грохотом повозок, напоминая афинскую ночь перед вступлением орды Ксеркса.

Октавиан встретил лишь жалкую кучку женщин, замешкавшихся с покупками. Несчастные взирали на вооруженных конников с таким же, вероятно, ужасом, с каким два века назад сами римляне смотрели со стен своего города на гарцующих в поле косматых всадников Ганнибала.

Бегство неблагодарных александрийцев покоробило освободителя Египта. Он сошел с коня и протянул руку какой-то упавшей с перепугу старухе. Но, вместо того чтобы воспользоваться милостью правителя полумира, она с криком отшатнулась от него и проворно отползла подальше в тень.

— Почему они нас боятся? — пожал плечами Октавиан, изобразив на лице искреннее недоумение.— Разве они не видели римлян или мы многим страшнее закованных манипул Цезаря и пьяной ватаги Антония?

— Дикий народ,— проворчал Корнелий Галл.

---

[1] Римская поговорка.

[2] Эмпорий — торговая пристань.

— Ты несправедлив к ним, мой друг,— молвил император в расчете на то, что его слышит вся свита.— Египтяне — самый древний народ на земле, положивший начало всем правилам и искусствам. Помнишь, у Гомера:

Каждый в народе том врач, превышающий знаньем глубоким
Прочих людей, поелику все из Пеанова рода...[1]

Мне думается, египтяне очень горды своими обычаями, своим великим прошлым и с понятным недоверием встречают пришельцев. Требуется время, прежде чем они вкусят блага под римским водительством и оценят достоинства новой власти.

— Сегодня ты что-то чересчур раздобрился,— вполголоса буркнул Корнелий Галл, оглядываясь на свиту.— Как вернулся от пленницы, тебя и не узнать.

Гробница Александра Великого, которую вскоре достиг императорский эскорт, располагалась на Канопской улице за высокой мраморной стеной. Ее много раз перестраивали, прежде чем она приняла окончательный вид; каждый из Птолемеев старался возвысить и украсить гробницу. Когда в прошлом веке злоумышленники похитили золотой гроб, весь Египет пребывал в трауре, покуда останки славного царя не были возвращены на место. После этого усыпальница основателя города сделалась объектом ежегодного паломничества и торжественных молебствий.

Жрецы-охранники встретили Октавиана во дворе и угодливо вынесли ему бесценный саркофаг. Император велел откупорить крышку и внимательно осмотрел завернутую в пелены мумию. На удивление всем, тело великого македонца оказалось маленьким, высохшим и сморщенным, никак не напоминающим былого потрясателя Азии. Кроме того, оно источало нехороший запах, так что римлянам пришлось даже закрыть носы. Однако, невзирая ни на что, Октавиан отнесся к реликтовым мощам с величайшим благоговением. По его приказу саркофаг усыпали цветами, жрецы прочли гимн, а воины ударили мечами о щиты, приветствуя Избранника Ра, Любимца Амона[2].

По окончании процедуры Диомед не преминул предложить императору посетить также родовую гробницу

---

[1] Одиссея. IV, 231—2.

[2] Буквальный перевод египетского тронного имени Александра — Сотепен-Ра-Миамон.

Птолемеев, расположенную неподалеку. В ответ Октавиан бросил фразу, ставшую тут же знаменитой:

— Я хотел видеть царя, а не мертвецов.

Преданные Октавиану историки и поэты охотно сравнивали его с Александром, находя между ними много общего. Оба лишились отцов, сраженных заговорщиками, и получили власть в юном возрасте. В двадцать два года македонец отправился в поход на персов, римлянин же в двадцать один вышел победителем при Филиппах. Четыре года Александр воевал с Дарием, и столько же Октавиан сражался с Секстом Помпеем. И тот и другой сокрушили великое царство. Оба женились два раза, причем долгое время не имели наследников. И обе жены у каждого происходили из враждебных семейств и партий.

Правда, дальше судьбы героев разошлись: македонец скончался в тридцать три года от тропической малярии, а посетившему его в таком же возрасте римлянину предстояло безудержно стариться, почивая на лаврах одержанных побед, и неизвестно, чья судьба была счастливее.

Если поехать по Канопской улице на запад, в сторону Ракотиса, через несколько перекрестков глазам представало обширное беломраморное сооружение — знаменитый Мусейон, средоточие наук и искусств Востока. Именно сюда направил свои стопы последователь Александра, желавший непременно посетить столь прославленную обитель. Еще издали завиделся массивный портик храма Семи Муз, а также открытая галерея, опоясывающая библиотеку, где хранились бесчисленные свитки с научными трактатами, каталогами и описаниями. По всей галерее высились статуи прославленных ученых, работавших когда-либо в стенах Мусейона: Каллимаха, Герофила, Эратосфена, Аристофана, Аристарха. Суровым римлянам имена эти мало о чем говорили, но душу всякого грека переполняли счастьем и гордостью за свой просвещенный народ.

В отличие от мраморных бородачей на внешней галерее, жидкий симпосий их здравствующих собратьев, встретивший римлян во внутренних покоях, показался каким-то серым и совершенно придавленным.

— Приветствую вас, мудрые мужи! — бодро отчеканил молодой правитель.

Мусейонцы опустили глаза, отвечали вразнобой, нечленораздельно, будто из них клещами вытягивали каждое слово:

— Привет и тебе, автократор.

Единственным, кто запросто общался с гостями, был давний друг Октавиана, платоник Арий Дидим, прибывший вместе с ним в Египет. Здесь он изгнал прежнего начальника Мусейона, занял его место и теперь представлял императору своих ученых коллег.

Октавиан прошелся меж оробевших философов, стараясь держаться как можно проще и доступнее, уселся в приготовленное кресло и завел обыденный разговор. Он интересовался самыми что ни на есть житейскими вещами: жалованьем обитателей Мусейона, их одеждой и пропитанием. Победителю льстила роль Мецената, и он изо всех сил изображал из себя доброго пастыря.

Впрочем, александрийцы не очень поддались его обаянию. Напряжение в разговоре не рассеивалось, мусейонцы по-прежнему жевали каждое слово, пятились к двери и пугливо косились на вооруженную охрану императора. Творцы науки явно пасовали перед блеском меча, лишний раз подтверждая постыдную зависимость учености от произвола властей.

Когда Октавиан окончательно убедился, что от беседы не будет толка, он громко зевнул и досадливо махнул рукой. Философы тут же испарились. В зале остались лишь Арий Дидим с друзьями да сухопарый софист Филострат, в прошлом друг Катона. Последний задержался, набираясь смелости подать личную жалобу. Арий хотел выпроводить его вслед за остальными, дабы не докучать императору мелкими просьбами, но Октавиан первым обратился к Филострату, любезно спрашивая, какое у него дело. Казалось, освободитель Египта обрадовался первой возможности продемонстрировать свои лучшие свойства.

— Родом я из Илиона,— поведал жалобщик.— Да будет тебе ведомо, автократор, недалеко от нашего города находится холм — место погребения могучего Аякса Теламонида, воспетого Гомером. На могиле выстроен храм, посвященный герою. Вся Троада чтит статую Аякса, вылитую в бронзе, которой уже триста лет. Ничто так не дорого сердцам людей, как память о древнем воителе, и нет занятия приятнее, чем лицезреть его образ.

— «Аякс» Лисиппа? — оживился Октавиан.

— Нет, статуя работы Аристодема Лесбосского. Увы, Цезарь, мои земляки погружены в великую скорбь. Они лишились прекрасной статуи, которая находится сейчас

в Александрии, снятая и увезенная по приказу Антония. Все сородичи, с кем я встречаюсь, не устают молить богов о возвращении бесценной реликвии.

— Мы найдем эту статую и отправим ее на прежнее место,— быстро нашелся император.

Чело Филострата просветлело:

— О Цезарь, это только маленькая толика того, чего лишились несчастные эллины. Точно в таком же унынии пребывают храмы Коса, Родоса, Эфеса и Пергама. Священные предметы культа, картины и рукописи, насильно вывезенные оттуда, скрыты теперь в темных запасниках Клеопатры. Эллины прославят тебя, автократор, если ты прикажешь восстановить справедливость и возвратить принадлежащее богам.

Октавиан задумался, склонив голову набок, на манер Александра Великого, оглядел поочередно всех присутствующих и внушительно заключил:

— Все достояние египетских царей принадлежит отныне римскому народу. Но он не посягает на имущество пресветлых богов. Возьми несколько человек, подобных тебе, и составь подробный список похищенного Антонием и Клеопатрой. Мы учредим коллегию, вычтем это из добычи и возвратим по назначению.

Филострат совсем расхрабрился:

— Достойный властитель! Разреши прибавить еще кое-что. Не только эллины,— многое из того, чем обладают александрийцы, подвергается сейчас великой опасности. Недалеко отсюда, в садах Евергета, разбили палатки геты и киликийцы. О Цезарь! Ценнейшие породы деревьев, эфиопский эбен, стиракс и сикимора...

— Какая еще сикимора? — нахмурился Октавиан.— Ты о чем?

— Геты и киликийцы — невежественные горцы, а их вожак Клеон — известный погромщик. Костры и заготовки дров погубят сады. Прикажи, Цезарь, перебраться им в другое место.

Император обернулся на Корнелия Галла. Тот сморщил лицо:

— При чем здесь сады? Солдаты поставлены там охранять дамбу, ведущую на остров Фарос. Или нам оставить ее без прикрытия?

— Это меняет дело,— сказал Октавиан.— Я бы рад помочь тебе, мудрый муж, но это сфера военных. В данном случае нужно больше опасаться вылазок фароссцев, нежели фуражиров Клеона. Да и вам, горожанам, тоже. Иди, добрый человек, да хранят тебя бессмертные боги!

Арий подтолкнул жалобщика в спину, давая понять, что его нахальство и так достаточно вознаграждено. А чтобы император не подумал, будто александрийцы недостаточно благодарны за одно только освобождение от деспотичной четы, он тут же простер длань к своему сыну:

— Настал твой час, Никанор! Выйди и прочти славную оду избавителю Александрии! Послушаем его, Цезарь; мальчик, право, пышет избытком чувств; я никогда не видел его столь возбужденным; и лишь застенчивость виной тому, что он не дерзнул до сих пор прилюдно восславить твою полную победу над мучителями эллинов и египтян.

Никанор выступил в середину зала, краснея до ушей. Три года назад он сочинил панегирик Антонию, но внезапная опала отца (впрочем, как теперь оказалось, чрезвычайное везение и удача) помешала ему огласить написанное и спасла его неопытную душу. Теперь о том скверном сочинении он даже не вспоминал.

— Что ж,— кивнул Октавиан,— я обратился в слух.

Никанор прикрыл ладонью ухо, как учил его отец, чтобы слышать себя как бы со стороны, и торжественно начал:

Где вы, Каллимах, Аполлоний, речистый Бион,
Славу царей подъявшие выше колосса Мемнона?

Где ваши ямбы, кто сложит достойную оду
Славным деяниям Цезаря, затмившего стольких владык?!

Кто расскажет потомкам о грозном трудном походе,
О стрелах каленых, о волнах, кипящих от тонущих тел?

Кто передаст ликованье счастливой победы,
Освобожденья от Тьмы ему благодарных народов?

Меч надежный приняв от воинственных предков,
Он по стопам поклялся пойти Александра

В чрево семиустого Нила, где тот был принят богами,
В город его, упокоивший славное тело.

Так сбылось предсказанье, данное Зевсом-Амоном:
Когда сын его [1] припадал к алтарю в Ливийской пустыне,—

Триста лет ждать, пока гордый потомок Энея [2]
Сему [3] его посетит, увенчанный лаврами Ники!

---

[1] Александр Великий, провозглашенный в Египте Сыном Амона.

[2] Октавиан. Его приемный отец, Юлий Цезарь, возводил свою родословную к легендарному троянцу Энею.

[3] Сема — могила, надгробие.

Никанор еще долго расточался в подобном духе, охваченный откровенным низкопоклонством, так претившим свободным римлянам. Арий довольно помахивал рукой в такт его виршам, как будто он сам сочинил панегирик либо в образе Каллиопы витал над сыном, вдохновляя его на подвиг.

— Прекрасно! — воскликнул Корнелий Галл, едва Никанор выдохнул последнюю строфу.— Ты показал себя достойным Каллимаха. Говорю тебе как знаток поэзии,— ведь я сам сочинил четыре поэмы,— сегодня мы вкусили подлинное искусство.

Октавиан посмотрел на кислые мины своих легатов и заметил расплывшемуся в удовольствии Арию Дидиму:

— Что сказать? В целом довольно прилично. Хотя несколько сыровато. Местами натянуто. И по-моему, нет концовки.

— Да! — спохватился Корнелий Галл.— Я тоже это почувствовал. Панегирик не завершен. Тебе следует еще поработать, Никанор.

Остаток времени, посвященного Мусейону, император провел на экседре, разделив с Арием обильную трапезу.

— Конечно, самое бесподобное из всего, что пишется в наше время,— творения Вергилия,— размышлял главный грамматик, несколько раздосадованный за сына.— Но Вергилий совершенствует латынь, а сын мой, если ты заметил, Цезарь, упражняется в истинно александрийском стиле.

— Слепо следовать древним — удел людей ограниченных и косных,— заметил Октавиан.— Но и впадать в другую крайность, предаваться сомнительным новшествам — не меньшая глупость. Надо сохранять дух предков, вот что главное.

— Золотые слова, Цезарь,— поклонился Арий.— Ты глаголишь как истинный правитель. Недаром Платон говорил: «Никогда нам не избавиться от зол, пока философы не станут правителями или правители не обратятся в философов».

Истошный вопль на улице прервал мудрую речь грамматика. Несколько человек сумасшедшего вида бежали по мостовой, размахивая руками и крича что-то не непонятном языке.

— Что там происходит? — поморщился Октавиан, поворачиваясь к Корнелию Галлу.— Пойди, друг мой, разберись, в чем дело. Продолжай, Арий, я слушаю тебя.

— Идеальное государство, вопреки превратному мнению многих, вполне достижимо. Нужно лишь, учит Платон, достичь гармонии и справедливости в душе человека. Ведь государство сродни человеческой душе, и то, что мы видим в обществе, исходит из природы человека. Теперь, в наше время, небо наконец дает нам редкую возможность... Но, Цезарь, я вижу, тебе недосуг и ты отвлечен на другое.

Шум на улице не прекращался, но, напротив, набирал силу. «Идеальный правитель» настороженно ерзал на ложе.

— Смотрите, смотрите! — закричал кто-то из свиты, показывая в окно.— В городе пожар!

Клубы черного дыма взвивались над черепичными кровлями домов, заволакивая ясное небо. Издалека доносился людской шум и лязг оружия.

— Где это? — привстал Октавиан.

— В Дельте,— ответили ему.

— Рядом с Лохиадой? Уж не нападение ли? Диомед, что это может быть?

Секретарь беспомощно развел руками.

— Возвращаемся,— скомандовал император.

Уже на пути в Южный дворец встретилось несколько запыхавшихся контуберналов во главе с военным трибуном Секстием.

— Что случилось? Почему беспорядки?

— Большие волнения, Цезарь. Повсюду разнеслась молва, что вблизи города будто бы объявился царь Птолемей Цезарион; его сопровождает аравийская конница, он приносит жертвы в храме Арсинои Зефериды и намеревается идти вызволять из плена свою мать Клеопатру.

Дело принимало нешуточный оборот. Октавиан поднял по тревоге лучшие части. Две центурии из Марсового легиона взяли под стражу ворота Гелиоса, а на разведку к Ипподрому была послана нумидийская конница Юбы. И только тут выяснилось, что те, кого горожане приняли за воинство Птолемея Цезариона, в действительности — иудейский отряд, идущий вслед за римлянами из Иерусалима. Царь Ирод задержался на переправе через Канопское устье Нила и не смог вовремя предупредить о своем прибытии.

Освободитель Египта самолично встретил Ирода перед городскими стенами. Иудейский царь дольше других оставался на стороне Антония и даже после сражения при Акции не сразу решился изменить бывшему

патрону. За Ирода шла настоящая борьба: союз с ним обеспечивал поддержку многочисленного иудейского населения Александрии. И когда, наконец, весной иерусалимский вождь прибыл с повинной к Октавиану на Родос, молодой римлянин был на седьмом небе от счастья; перебежчик не только остался в царском звании, но даже получил две области, отобранные у Клеопатры.

— Послушай,— сказал Октавиан царю, когда они обменялись приветствиями.— Я едва не начал иудейскую войну. Твой скромный отряд отчего-то приняли за вражеское войско, и похоже, в городе до сих пор строят баррикады.

— Во всяком случае,— улыбнулся идумеянин,— эта война не продлилась бы и пяти минут. Первая же твоя когорта, Цезарь, которая бы приблизилась ко мне, была бы осыпана... лаврами.

Римлянин прищурил один глаз:

— Боюсь, никакая зелень не остановила бы моих головорезов. Вот если б звонкая монета...

— О Цезарь, этого добра у меня предостаточно!

— В самом деле? — засмеялся император.— В таком случае ты смог бы победно прошествовать до самого Лохия, и я не уверен, что устояла б даже моя личная стража.

Октавиан вдруг перестал смеяться и сделал серьезное лицо:

— Но я шучу, мой друг. Это только шутка. Как ты одолел путь?

— Разлив реки задержал меня, Цезарь, и я вижу, что опоздал к развязке. Мне сообщили, Антоний мертв, а египетская злодейка в плену.

— Да, сегодня утром я разговаривал с ней,— молвил римлянин как бы между прочим.

Ирод помолчал, держа коня поближе к императору, затем повернулся в седле:

— Я много раз остерегал Антония, и не гневись, Цезарь, если осмелюсь повториться. Не верь ни одному ее слову; я уже имел случай вкусить ее коварство. Она — Митридат в женском обличье.

За воротами Гелиоса конников встретили нестихающий людской гул и прежние языки пламени над крышами.

— Ну, это уже слишком,— посуровел Октавиан, встретив Корнелия Галла.— Вы что, и впрямь затеяли войну?

Префект отчаянно развел руками:

— Александрийцы дерутся с иудеями, Цезарь.

— Кто с кем?

— Говорят, стычки между ними здесь — обычная история.

— Но почему именно сегодня? Чего они не поделили?

— Кто их разберет... Старая вражда. Этот город что плавильная печь: тут затухнет, там разгорится. Дивлюсь, как Клеопатре удавалось управляться с таким сонмищем бандитов.

— Большая драка?

— Подожгли несколько домов.— Галл злорадно усмехнулся.— Говорил же я: дикари, варварское племя. А ты: Гомер, Гомер... Плéти по ним плачут. Прикажи поднять пару легионов!

Все время бывший рядом иудейский царь вступил в разговор:

— Зачем же тревожить лагерь? Если дело коснулось моих соплеменников, то мы как нельзя кстати. Позволь, Цезарь, я поеду вперед и разведу неприятелей. Иудеи не посмеют ослушаться меня.

— Попробуй, мой друг,— согласился Октавиан.— Я бы не хотел вмешивать сюда римлян.

* * *

Иосиф Флавий: «А когда Александрия в последний раз была завоевана Цезарем, эта женщина дошла до того, что сочла единственно возможным средством к своему спасению, если она собственноручно поможет ему в избиении иудеев. Так жестока и вероломна она была ко всем».

Достоверные сведения об этом намерении Клеопатры отсутствуют; сообщение Иосифа не подтверждается другими источниками.

Иудеи любили Юлия Цезаря. Он пресек гонения на них в Риме, освободил иерусалимлян от повинностей и позволил им свободно отправлять культ. Александрийские иудеи помогали Цезарю в уличных боях с восставшими горожанами и поставляли ему продовольствие. Когда пришли вести о гибели диктатора в Риме, весь народ Давидов наполнился скорбью. Понятны поэтому особые симпатии, питаемые иудеями к молодому Цезарю, само имя которого, казалось, внушало благую надежду.

Александрийская община, более многочисленная, чем иерусалимская, отличалась к тому же нетерпимостью. Победу Октавиана над Антонием александрийские иудеи восприняли как свою собственную. На беспрестанных сходках раздавались призывы немедленно возродить алтари и синагоги, закрытые Клеопатрой, и уничтожить в них эллинские изображения.

Громче других ораторствовал Симон, сын Воета, этнарх[1] александрийской общины. После приема, которого он удостоился у римского императора, окрыленный Симон решился продолжить славное дело низвержения вражеских статуй, теперь уже не только царей, но и богов. По призыву этнарха иудеи овладели бывшей синагогой в Дельте и изгнали из нее александрийских жрецов. Последние бросили клич о помощи. Огромная толпа горожан, вооруженная палками и дубинками, окружила синагогу, требуя удаления иноземцев, грозя в противном случае поджечь здание, что и было сделано. Завязавшаяся драка перекинулась на соседние кварталы; слухи о таинственном войске у Ипподрома добавили жара: александрийцы призывали Птолемея Цезаря, иудеи кричали славу Ироду.

Римляне не спешили вмешиваться в междоусобицу, не понимая поначалу, кто против кого воюет, а трибун Секстий даже снял караулы на улице Процессий. Только когда побоище подкатило к мысу Лохий, где стояли царские дворцы, прозвучал сигнал тревоги и преторцы стали метать копья в дерущихся без разбора.

Ирод прибыл к месту в самый разгар схватки. Александрийцы упали духом, слабеющие иудеи было воодушевились, но царь огорошил всех. «Во имя Господа немедленно прекратить безобразия!» — закричал он по-гречески и по-иудейски. Симону было велено вывести защитников синагоги и отступить в иудейский квартал. Когда этнарх пробовал отказаться, Ирод жестко пригрозил: «Мы защитим всех богобоязненных, но, клянусь небом, если вы не смирите гордыню, я прикажу своим воинам перебить вас всех, до единого!» — «Совместно с александрийцами?» — ехидно переспросил Симон. «Сам по себе»,— последовал ответ.

Незадачливому этнарху ничего не оставалось, как трубить отбой. Александрийцы, впрочем, не оценили поступка иудейского царя и шумно преследовали отсту-

---

[1] Этнарх — «глава народа», в данном случае руководитель общины.

пающего противника. Тогда Ирод сам попытался вступить в переговоры с горожанами, остудить их пыл, но едва приблизился к воспламененной толпе, как летящий камень угодил ему в лоб и повалил наземь.

Идумеянина вынес из драки его сын, царевич Антипатр. Когда носилки с раненым царем поравнялись с Симоном, этнарх склонился над ними, пряча язвительную усмешку: «О, как мало на свете людей богобоязненных! Но ты прав, царь, смирим гордыню».

В доме Симона Ироду, по обычаю гостеприимства, омыли ноги; хозяин распорядился слугам приготовить смену белья, а своей дочери велел сделать царю перевязку.

Тут-то Ирод и увидел прекрасную Мариам.

Она бесшумно выпорхнула из внутренних покоев, как некая дивная птица явилась, как полная луна из-за темных туч, осеняя гостя мягким свечением миндалевидных очей.

Девушка на миг замешкалась перед восседающим на суфе в кованых доспехах грузным сорокалетним мужчиной, со лба которого капала кровь, а хмурый лик не обещал ничего хорошего.

— Отрада старости моей, прощение на этом и на том свете,— расплылся в удовольствии Симон.— Чего же ты встала, Мариам? Видишь, царь ранен и нуждается в уходе. Она у меня такая скромница...

Лицо красавицы залилось пурпурной краской, тонкие, почти детские пальчики дрожали все время, пока она накладывала повязку на голову венценосного гостя. Идумеянин почувствовал запах дорогих египетских благовоний, исходящий от причудливо завитых волос этнарховой дочери: так в Иерусалиме никто не душился. Ниспадающие складки шелкового пеплоса очерчивали гибкие, едва развившиеся формы юной иудеянки.

— Сколько ей лет? — спросил идумеянин гостеприимца, когда девушка покинула комнату.

— Шестнадцать, мой царь.

— Клянусь Господом нашим и престолом Его, она такова, что достойна быть царицей.

У Симона перехватило дух. Он ожидал многого, но подобная удача ему даже не снилась. Такая легкая и стремительная победа!

— Она помолвлена с кем-нибудь?

— Сохрани Боже! Она совсем дитя, государь, и нет еще у нее жениха,— соврал этнарх не моргнув глазом; полгода назад он помолвил дочь с сыном первосвящен-

ника гелиопольского храма, но что такое сын жреца в сравнении с царем иудейским?!

— Был бы я помоложе,— вздохнул Ирод,— когда еще седина не тронула моей бороды и сердце не затвердело во дворцовых склепах...

— Помилуй, государь! Сорок четыре года для мужчины — разве это возраст? Ведь ты в самом соку! К тому же моя Мариам способна творить чудеса. Посмотрел бы ты на себя со стороны: твою тяжелую рану как рукой сняло.

Поздним вечером пострадавшего Ирода навестил Октавиан. Император прибыл в сопровождении многочисленной конницы, повергшей домочадцев этнарха в жуткое оцепенение. Еще ни один великий римлянин не переступал порога иудейских переселенцев в Александрии.

— Вот видишь, Цезарь,— произнес Ирод вместо приветствия.— Второй раз мне пришлось пролить кровь из-за подлой египтянки. Шесть лет назад, в Иерусалиме, она устроила так, что мои родные совершили покушение на меня, теперь же за дело взялись ее собственные подданные.

— Ты так ненавидишь ее? — удивился римлянин.

— И право, есть за что. Не откроешь ли, Сын Божественного, как ты намерен поступить с ней?

— Ты ждешь ее смерти?

— Неужели, Цезарь, ты собираешься сохранить ей жизнь?! После всего, что претерпели от нее наши народы и пострадало столько честных мужей?

— Прежней Клеопатры уже нет, она уничтожена,— ответил Октавиан.— Осталось лишь бренное тело; как поступить с ним — вопрос второстепенный. Говоря откровенно, меня сейчас больше беспокоит бегство ее тщедушного сынка. Я объявил окончание войны, но пока царский выкормыш на свободе, не могу править триумф.

Очнувшийся от неожиданного появления римлян хозяин-этнарх поспешил прислать слуг омыть Октавиану ноги, но последний заявил, что уже уходит.

— Так скоро, Божественный?! Не лишай нас радости лицезреть тебя. Ведь это, поистине, небесное знамение!

— В другой раз,— отмахнулся император, направляясь к выходу.

В дверях он столкнулся с Мариам, несущей на подносе полотенце, и, приняв ее за служанку, обронил на ходу:

— Где мой плащ?

— Моя единственная дочь Мариам,— шепнул Симон, при случае не отказавшийся бы сделаться и тестем римского императора.

— Дочь? — повторил Октавиан озабоченно.— Хм... Может быть. Пусть подадут плащ; я тороплюсь.

— Беглый мальчишка волнует его больше, чем затаившаяся мать,— развел руками Ирод, кивая вослед ушедшему римлянину.— Похоже, он еще не понимает, с кем имеет дело. Что она наговорила ему при встрече? Ты не знаешь, Симон?

Хозяин пожал плечами.

— Его отцу, Божественному Юлию, подобное всепрощенчество стоило жизни. Или он забыл прошлое?

— Не думаю,— молвил александрийский этнарх.— Кто-кто, а этот сумрачный молодец ничего не забывает. И карающий меч его разит без промаха.

— Как ты сказал, Симон?

Сведущий иудей вновь перешел на шепот:

— Не знаю, как там насчет Клеопатры, но насчет Антилла, сынка Антония, могу сказать точно: его зарезали в первый же день вступления в город. И случилось это не где-нибудь, а в храме старшего Цезаря.

— Откуда у тебя такие сведения?

Симон многозначительно подмигнул и вынул из-за пазухи золотую цепочку с драгоценным камнем.

— Взгляни сюда, царь. Этот карбункул висел на шее мальчика, пока он был жив.

Ирод передернулся, словно бы на него повеяло холодом, и вперил потемневший взор в индийское сокровище.

— Откуда он у тебя?

— Камень принес мне воспитатель юнца, Феодор, который и выдал своего питомца римлянам. Дядька снял драгоценность с уже обезглавленного тела, но, так как не знал, что с ним делать,— карбункул слишком известен,— предложил его мне, запросив две тысячи драхм.

— И ты купил у него камень, Симон? Где же теперь этот воспитатель?

— Полагаю, ночует где-то на верфи. Он собирался отчалить в Афины.

Царь протянул руку, и иудей с улыбкой дал ему рассмотреть драгоценную реликвию.

— Известно ли тебе, мудрый этнарх, что все имущество Антония и его семьи отныне является собственностью Рима?

— Хм,— усмехнулся Симон.— А мне-то что?

— А вот что, мой друг,— сказал Ирод, закрывая ладонь.— Я дам тебе людей, и ты немедля отправишься на поиски Феодора. Доставь его ко мне во что бы то ни стало. Если будет упираться, надень на него оковы.

— Что ты задумал, царь?

— Хочу преподнести небольшой подарок императору. Сдается мне, этот Феодор — мой старый знакомый. Шесть лет назад он приезжал ко мне в Иерусалим вместе с египтянкой, но тогда считался еще заправским стихоплетом. Я давно говорил, что все поэты — врожденные воры.

— А камень, государь?

— Ну какой же злоумышленник без вещественного доказательства? Ты же, Симон, не обеднеешь, но впредь будешь умнее в подобных делах.

Этнарх обиженно надулся:

— Помилуй, Ирод! Ты делаешь меня сыскным гаццаном. Кроме того, после всего, что случилось сегодня, мне небезопасно появляться среди александрийцев.

— Ничего, мой друг. Ночь укроет тебя. К тому же я пошлю с тобой моего гиганта Ахенота; он один заменит сотню телохранителей.

Отправив гостеприимца, идумеянин потер в удовольствии руки и подумал, что было бы неплохо продолжить свои записки, которые он прервал в прошлом году на войне с набатейцами. Царь оглянулся по сторонам в поисках папируса и заметил два внимательных глаза, украдкой наблюдающих за ним из-за задней двери.

— Кто там? О, да это ты, красавица?!

— Можно пройти? — смутилась Мариам, закрывая лицо покрывалом.

— Не бойся меня! — окликнул Ирод пробегающую мимо девушку.— Разве ты никогда не встречала царей и они для тебя в диковинку? Неужели суровый отец держит тебя домашней затворницей? Или я настолько ужасен?

Мариам остановилась у противоположных дверей и по-отцовски пожала плечами.

— А я и не подозревал, что александрийский этнарх взрастил в своем саду столь редкостный цветок... Прости, если я слишком резок с тобой. Право, у меня никогда не складывались отношения с женщинами...— Ирод печально покачал головой.— Хотя у меня было две жены. С одной я развелся ради другой, а эта по-

следняя изменила мне. Я хотел любить ее, она меня ненавидела. Кстати, у нее одно имя с тобой — Мариам.

— Та, которая заперта в Александреуме? — сорвалось с уст дочери этнарха; она тут же с испугом прикрыла рот.

Ирод вскинул на красавицу быстрый взгляд:

— О, я вижу, ты неплохо осведомлена! В Александрии обсуждают мою семейную жизнь? И что говорят?

— Прости, господин, я должна идти...

— Представляю, каким злодеем меня тут расписали. Совсем не просто величаться царем и слыть при этом порядочным человеком.— Ирод осторожно потрогал повязку на лбу.— Но ты задела меня за живое, красавица. И я постараюсь опровергнуть превратное мнение обо мне. Хотя бы в твоих глазах.

Дочь этнарха согнулась в почтительном поклоне.

В полутьме за дверью она не успела сделать несколько шагов, как чьи-то крепкие пальцы ухватили ее за запястье. Это был царевич Антипатр; глаза его дико вращались и метали искры.

— Что он сказал тебе? О чем говорил?!

Девушка хотела бежать, но царевич не пускал ее, загородив дорогу, трясясь в лихорадочном возбуждении:

— Не надейся, александрийская шлюха, что тебе удастся вползти в наш дом. Я не дам тебе охмурить отца! Не думай, коли его жена-царица удалена от двора, то расчищен путь для всяких проходимцев. Только моя мать будет рядом с ним, подлинная жена, Дорида!

— Оставь меня, безумный! — простонала насмерть перепуганная девушка.— Я буду кричать... Я пожалуюсь отцу... Зачем вы пришли к нам, зачем?!

Царевич оглянулся по сторонам, отпустил ее руку и поспешно отступил в тень.

ΣΤΙΛΒΟΝ

До сих пор речь шла о правителе, далее придется говорить о чудовище.

Светоний. «Жизнь двенадцати цезарей»

За всеми хлопотами римляне как-то утеряли из вида потомство плененной царицы. Между тем события развивались здесь не менее бурно. Октавиан поселил детей Клеопатры у себя под боком, в Южном дворце,

создав им более выгодные, по сравнению с матерью, условия. При царевичах сохранили прежнюю челядь, им дозволялось разгуливать по дворцу и даже выходить в сад, хотя бы под надежным присмотром.

С царственными отпрысками никто всерьез не считался, даже ближайшее окружение не предвидело никаких осложнений. Лишь на пятый день слуги почувствовали что-то неладное. Царевичи отказались от прогулок, не стали выходить из комнаты, выказывая врожденный птолемеевский норов, отягченный к тому же кровью их буйного отца, Антония. Когда же воспитатели прибегли к угрозам, наследники Клеопатры объявили голодовку, обещая ничего не брать в рот, доколе их не отведут к матери.

Посовещавшись, слуги решили доложить обо всем новым хозяевам. Император в этот день принимал мемфисских жрецов, так что дворцовые служители отправились к Гаю Прокулею, признанному посреднику в делах подобного рода. Последний рассматривал с нумидийским царем Юбой чертежи и планы египетских владений. Выслушав бессвязные речи слуг, Прокулей пожевал губами и хотел было отмахнуться, но молодой царь уговорил его все же пойти к пленникам и выяснить, в чем там дело.

Римлянин явился в комнату царевичей в сопровождении Юбы. Первое, что предстало их глазам,— гора набросанных пуховиков и подушек, в которых, зарывшись, спрятались строптивые отроки. Старший, Александр Гелиос, озирал вошедших озлобленным взглядом, а шестилетний Птолемей Филадельф с заплаканным, опухшим лицом боязливо жался за спиной брата.

Прокулей отпустил провожатых, тяжело опустился на скамью напротив мальчиков и, опершись руками о колени, по-отечески ласково осведомился:

— Что стряслось с вами, дети мои, чем затуманился ваш лик и кто нанес вам обиду? Расскажите мне все, не таясь.

Царевичи насупленно молчали, а Гелиос даже отвернулся от римлянина.

Прокулей потер оплывшую потную шею (он уже давно страдал бронхиальной астмой) и назидательно продолжил:

— Вы отказались от пищи? Это нехорошо. Разве вы не хотите есть? Кто научил вас таким поступкам?

— Отведите нас к нашей матери! — взвизгнул вдруг Александр Гелиос.— Или мы умрем здесь от голода!

При этом младший брат откинулся на спину и забился в истерическом плаче. Одна из занавесей распахнулась, и оттуда вынырнула скрывавшаяся доселе сестра обоих царевичей. Шлепками и толчками она быстро успокоила голосистых братьев. Мальчики притихли, повинуясь ее ровному, вкрадчивому голосу.

Вошедшие с интересом наблюдали за внезапно возникшей царевной. Десятилетняя Клеопатра Селена, близнец Александра, не по летам развитая девочка, во многом напоминала свою знаменитую мать. Тот же резкий поворот головы, и тот же взгляд, нацеленный и острый. Совершенно ясно, что она верховодит братьями; они поют под ее дудку и без нее ни за что бы не додумались до голодовки.

Прокулей про себя отметил отличительную особенность в роду Птолемеев: сильные и властные женщины у них всегда командовали слабоумными мужами и, пока те нежились в банях и купальнях, подминали под себя все государство.

— О господин! — обратилась Селена к сидящему римлянину.— Не думай, что мы капризничаем или замыслили что-либо худое. Мы хотим только соединиться с нашей матерью, быть подле нее. Она больна, и говорят, ей становится все хуже и хуже. А тут мы придем к ней, поцелуем ей руки, она увидит нас здоровыми, и ей станет легче...

Прокулей перестал растирать шею и удивленно поднял брови:

— Кто сказал вам, что с вашей матерью приключилось дурное? Ей, правда, нездоровилось несколько дней, но теперь недуг проходит, и врачи обещают скорое исцеление. Не печальтесь ни о чем и не слушайте злых сплетников.

— Почему вы тогда не хотите пустить нас к ней? — вопросила Селена.

Царевна не поверила ни одному слову римлянина. Императорский советник, сам того не желая, попал в глупое положение запретителя, отказывающего несчастным детям в самом естественном желании. Это было тем более неприятно, что Прокулей ревностно поддерживал свою репутацию предстателя побежденных и ходатая за них перед патроном.

Он прекрасно знал, что Октавиан ни за что не согласится свести пленников вместе, по крайней мере в Александрии. Будучи заложниками, царские чада отлично помогали усмирять египтянку. В первый день

Клеопатра пыталась покончить с собой, и только угроза расправы с детьми образумила ее.

Прокулею было жаль этих несмышленых подростков, отпрысков двух обуянных властолюбием людей, которые в неукротимом безумии погубили себя, свой дом и потомство. Но он хорошо представлял, в каких делах нужно проявлять мягкость, а где держаться неколебимой твердости.

— Своей торопливостью, дети мои, вы только навредите своей матери. Скоро царица с помощью богов поправится, и тогда сама сможет навестить вас.

— Все вы лжете! — исступленно выкрикнул Александр Гелиос.— Она уже умерла, ее убили... Зачем вы обманываете нас?!

Царевичи были близки к новой истерике. Прокулей обернулся к Юбе, призывая его в свидетели, и показал на него детям:

— Вот, со мной пришел нумидийский царь. Он подтвердит мои слова.

Юба, стоявший неподвижно у дверей, встрепенулся и сделал вперед несколько неуверенных шагов. Он приблизился к Селене, осторожно тронув ладонью ее густые, черные как смоль волосы:

— Не надо убиваться и истязать себя мором. Поверьте, мы сумеем позаботиться о вас. И если вы будете послушны и станете хорошо питаться, я поговорю с Цезарем и ускорю вашу встречу с матерью. Уверен, она также стремится к вам, как и вы к ней.

Добрый голос нумидийца произвел на пленников большое впечатление. Девочка невольно потянулась к теплой руке молодого царя, на миг прижалась к ней смуглой исхудалой щекой, может быть, хотела поцеловать ее, но тут же опомнилась, отскочила в сторону и вновь скрылась за непроницаемой завесой. Юба неловко остался стоять посреди комнаты, смущенный не меньше, чем пленная царевна.

— Поговори с ними еще,— посоветовал Прокулей.— По-моему, они слушаются тебя.

— Боюсь, они никого не послушают,— грустно ответил тот.— Ведь мы для них чужаки и захватчики. Царские дети слишком рано постигают науку недоверия. Кому многое обещано с пеленок, привыкает ненавидеть обещания...

На обратном пути римлянин и нумидиец долго молчали, пока Прокулей наконец пытливо не осведомился:

— Ты всерьез решил просить Цезаря свести царевичей с Клеопатрой?

— Я не шутил,— ответствовал Юба.

Советник остановился и всплеснул руками:

— Неужели слезы этой вздорной девчонки растрогали тебя настолько, что ты забыл об осторожности и потерял разум? Или вокруг нас не бродят лазутчики и соглядатаи, которые только и ищут, как отбить у нас царскую семью? Цезарь будет держать всех раздельно, пока мы не погрузимся на корабли. Слепое сострадание — дурной советчик, особенно в Египте.

— Странно, что об этом говоришь ты, Прокулей,— молвил Юба.— Ты советник Цезаря по делам прошений. Выходит, ты просишь Цезаря только тогда, когда заранее знаешь, что он не откажет? Чего тогда стоит твое милосердие, если оно избирательно?

Римлянин потемнел лицом, уязвленный в самое сердце:

— Я слишком зрел, о юноша, чтобы так легко путать милосердие с малодушием. Римский народ и отцы-сенаторы послали меня на жестокую войну не для того, чтобы я завывал с жалобщиками и слюнявил Цезарю веки, но чтобы поддерживал достоинство римлян и пекся о благе государства, терпящего невиданные испытания.

— Война окончена, Прокулей,— сказал Юба.— И слава победителей — в их благородстве. Разве снисходительность к беззащитным отрокам роняет достоинство римлян?

— Беззащитные отроки?! — Уста советника скривились в недоброй усмешке.— Ты, верно, забыл, легковерный нумидиец, что те трое, которых ты только что видел, вовсе не потерянные дети, наподобие арицийских мальчишек[1], но потомственные престолонаследники, объявленные правителями стран. Каждый из них четыре года назад был венчан на царство: Гелиос — Армении и Мидии, Птолемей — Киликии и Сирии, а Селена — Ливии и Киренаики. Они живые фетиши, и каждый из них, попади он в руки людей зломысленных, может стать знаменем новой войны.

Во дворе собеседники разделились: Прокулей вернулся в царские покои, а Юба отправился в лагерь к своим нумидийцам. Всю дорогу до Ракотиса он кутался от ветра в длинный теплый шарф и печально

[1] На Арицийском холме в Риме ютились нищие и бродяги.

поглядывал на оранжевый диск уходящего солнца. Точно такое же светило тает всякий день в песках его родной Нумидии. А сколько было ему тогда, когда он сам, таким же сиротливым ребенком, как и эти трое, плененный римлянами, отправился в цепях в Вечный город? Четыре года, пять лет?..

Сын разгромленного Юлием Цезарем нумидийского царя, он украсил тройной триумф диктатора. Мальчика везли в колеснице, запряженной ослами, и повешенная на шею табличка указывала всем на его царское происхождение. Маленький Юба стукался лбом о поручни и испуганно озирался по сторонам, не в силах постичь безудержный восторг при виде него алчной и жестокосердной римской толпы.

Его не казнили после триумфа, по великодушному слову диктатора, но отвели в храм Юноны и посвятили богине. Спустя немного его взяла в свой дом добродетельная Октавия, сестра Октавиана, дала царевичу прекрасное воспитание и вырастила брату верного помощника. Юба получил римское гражданство и стал именоваться Гай Юлий Юба. В разгар войны с Антонием и Клеопатрой Октавиан назначил его царем Нумидии, поручив набрать там конницу для последнего удара по Египту. Юба прекрасно выполнил задание и привел в Александрию три тысячи всадников.

Прибыв в лагерь, молодой царь позвал своих рабов и велел принести ларец с драгоценностями. Он вынул оттуда забавную игрушку: серебряного соловья поразительно тонкой работы, с позолоченным оперением и глазами из синего сердолика. Соловей сидел на латунной ветке, и стоило дернуть за перышко его хвоста, как он оживал, поворачивал головку, открывал клюв и испускал звонкую трель.

Юба спрятал игрушку в футляр и велел рабам отнести ее в Южный дворец, в подарок царевне Селене. Присутствовавший при этом оруженосец Букар, повсюду сопровождавший царя и слывший ясновидцем, отгадывающим чужие мысли, состроил слащавую мину и загадочно пробормотал:

— Первый взнос будущего жениха?

Юба густо покраснел, но попытался отшутиться:

— Не слишком ли ты резв, Букар? Услышал имя царевны и вообразил невесть что. Царские дети принадлежат отныне Риму. Мне же просто стало жаль эту девочку, и я решил скрасить ее дни.

— С некоторых пор,— заметил оруженосец,— мы все принадлежим Риму... Смотри же, царь, не повтори ошибки своего великого предка. Вспомни, как Масинисса пленился захваченной красавицей Софонибой и даже поспешил сделать ее своей женой, но суровый Сципион присудил отправить пленную пунийку в Рим для триумфа, и обоих влюбленных постигло несчастье... А ведь наш Цезарь так любит подражать Сципиону.

— Ты забрел уже далеко, Букар,— нахмурился Юба,— и твои речи становятся рискованными.

— Не более, чем твои поступки, о царь, делающий подарки заключенным.

* * *

Когда пирушка, затеянная императором в честь прибытия иудейского царя, уже близилась к концу и слуги разносили последние блюда — сладости и фрукты,— взгляд Октавиана упал на молодого эфеба[1] поразительной красоты, который прислуживал ему за столом. Римлянин невольно залюбовался тонкими чертами лица придворного юноши, его нежной, ослепительно белой кожей и первым робким пушком над верхней губой.

Стоило прислужнику отлучиться на минуту, как император потихоньку осведомился у Диомеда, кто сей прелестный отрок.

— Мальчика зовут Гелланик,— сладчайшим голосом поведал бывший секретарь царицы,— родом он из Лаодикеи Сирийской и недавно считался любимцем Антония. Последнему мальчика преподнесла в дар сама Клеопатра; а она знает толк в красивых и статных невольниках.

— Давно он при дворе?

— Второй год, повелитель. И поистине он лучшее его украшение. Не желаешь ли, чтобы отрок возлег с тобою за трапезой?

— Скажи, мой друг,— повернулся Октавиан к Ироду, оставив секретаря без ответа.— Как ты думаешь, по какой дороге убежал сынок Клеопатры, куда он держит путь и кто может предоставить ему убежище? Я выслал отряды и приказал объявить большую награду за его поимку, но пока нет никаких известий.

— О Цезарь! — молвил идумеянин.— Я думаю, наследник египтянки может найти пристанище в Верх-

[1] Эфеб (*греч.*) — юноша, проходящий обучение.

нем Египте. Или даже в Эфиопии. Ведь тамошние номархи[1] еще не подчинились тебе. Во всяком случае, искать беглеца следует по мемфисской дороге.

— Ты прав, царь, и я того же мнения,— кивнул Октавиан.— Другого пути у него нет. Я отправлю туда дополнительный отряд.

— Смотри внимательней под ноги, император,— добавил Ирод.— Если караван Цезариона, как говорят, нагружен золотом, то не может такого быть, чтобы часть его не просыпалась по дороге. Золото укажет верный след.

— Ты так уверен в этом, мой друг?

— Конечно, Цезарь. И у меня есть тому доказательства. Когда люди слишком спешат, многое вываливается из карманов.

— Какие доказательства? Что ты имеешь в виду?

— А вот что, пресветлый автократор.

Ирод протянул ладонь, на которой блистал незабвенный карбункул.

— Что это у тебя? — заинтересовался Октавиан.

— Сей камень, да будет тебе ведомо, принадлежал бесследно исчезнувшему Антиллу, наследнику Антония.

Глаза императора поблекли; он нахмурился и отстранился от собеседника.

— Впрочем,— продолжал идумеянин загадочно,— это не потеря; здесь замешано воровство. Ведь камень этот был похищен у Антилла в секстильские календы. Теперь, с твоего дозволения, я возвращаю его казне.

— Кто же его похитил? — недоверчиво усмехнулся Октавиан, оглядывая настороженные лица сотрапезников.

— Воспитатель Антилла, Феодор,— поклонился Ирод.— Не беспокойся, Цезарь, похититель уже схвачен мною и в данную минуту стоит связанный перед дворцом. Прикажешь привести его и допросить, как было дело?

Усмешка мигом слетела с уст правителя римлян. Он подозвал Гая Прокулея и взял его за руку:

— Что все это значит?

— Трибун Секстий,— напомнил советник вполголоса.— Он с испанцами выполнял поручение...

— При чем здесь Секстий?! — побагровел император, переходя на свистящий шепот.— Вечно ты со сво-

---

[1] Номархи — главы номов, административно-территориальных единиц, на которые делился Египет.

им Секстием... Я говорю об этом мошеннике, дерзнувшем обокрасть несчастного отрока, присвоить то, что принадлежит римскому народу.

— Мы обязательно разберемся в этом, мой друг,— обратился Октавиан к иудейскому царю.— Передай нам улику и самого злоумышленника. Завтра же Прокулей нарядит строжайшее следствие, и, если все подтвердится, преступнику не снести головы.

Пиршественный зал огласился громким одобрением. Несколько минут не переставая собравшиеся славили суровую справедливость своего предводителя и негодовали на вероломство александрийского воспитателя.

Октавиан поднял чашу, наполненную расторопным Геллаником, и подал ее иудейскому царю в знак особой признательности.

— Уже не впервые, Ирод, ты являешь нам доказательства неизменной дружбы и преданности. На сей раз я знаю, как по достоинству вознаградить тебя. Видел ли ты собранных близ храма Селены галатов, бывших телохранителей египтянки? Они потеряли службу и не знают, как теперь с ними поступят. Пошли успокоить солдат: отныне все они, до последнего,— твои телохранители. Я дарю тебе их.

— О Цезарь! — воскликнул обрадованный идумеянин.— Если бы я предполагал, какая великая награда ожидает меня за столь ничтожную услугу, я бы привел тысячи Феодоров и принес тысячу драгоценных камней!

Октавиан прищурил правый глаз:

— Будь верен, как ты есть, и не болтлив; более ничего не нужно.

Сказав это, император простился с сотрапезниками и, сославшись на утомление, покинул пиршественный зал. Сметливый Диомед немедленно велел Гелланику сопровождать господина в опочивальню, сделать там все, что нужно, и остаться с ним на ночь.

Юный эфеб оказался словоохотливым малым и по пути успел посвятить нового хозяина в многочисленные сплетни и хитрости двора. Обитель Птолемеев — это такое место, где никто никому не доверяет, и все, от мала до велика, шпионят друг за другом; соглядатайство здесь столь же привычно, как игра в кости. Особая роль при этом отводилась пажам — «глазам и ушам» монарха. Клеопатра специально содержала при себе целый гарем обольстительных, обученных всему отроков, давая им самые ответственные поручения.

— Ты был наложником Антония? — спросил Октавиан провожатого в лоб.

— О да, господин,— прошептал лощеный невольник, томно, по-женски опуская лукавые глазки.— И, клянусь небом, хозяин был весьма доволен мною. Редко какую ночь он обходился без меня...

— Ты был его наложником и соглядатаем Клеопатры.

— Мой господин прозорлив как оракул Аммония...

В опочивальне мальчик услужливо снял с повелителя пиршественное платье и нательную тунику. Тонкие проворные пальчики задержались на груди римлянина и мягко пробежали по ребрам до живота. Октавиан почувствовал на шее прикосновение влажных, липких губ юного кинеда.

— Господин желает прилечь?

— Нет, отчего же? Мне что-то расхотелось спать.

Ловкие пальцы невольника спустились пониже живота (право, мальчик был всему обучен, даже чересчур!) и осторожно надавили на крайнюю плоть. Октавиан почти инстинктивно повернул лицо, но не успел ничего сказать, остановленный затяжным сладострастным поцелуем. Изнеженный паж, пахнущий миррой и бальзамом, буквально прилип к римлянину.

— Скажи мне, Гелланик,— молвил император, когда они разомкнули уста.— Каким образом ты отдавался Антонию и как он овладевал тобой?

— Он любил брать меня как бы силой,— сообщил юнец с полнейшей готовностью,— и чтобы я кричал и сопротивлялся при этом. Он скручивал мне руки и привязывал к столбу либо к статуе. Так советовала царица, а он всегда следовал ее советам.

Октавиан удивленно вскинул брови:

— Клеопатра присутствовала при этом?

— Госпожа всегда наблюдала за нами.

— Даже так?! — иронично усмехнулся римлянин, еще раз пристально оглядывая юного наложника.— Что же... Вот веревка. Где твои руки?

— О, господин...— простонал податливый отрок, млея от сладостного предчувствия.— Ты хочешь так, как было при них?

— Да-да, все как при них.

Через минуту он был уже накрепко привязан к мраморной колонне, соблазнительно извивался и блистал под красными светильниками вызывающей наготой.

Притворная стыдливость едва прикрывала распаленное желание.

— Подожди немного,— сказал Октавиан.— Я сейчас приду.

Римлянин вышел из опочивальни и направился прямиком в пиршественный зал, откуда еще не успели разойтись хмельные гости.

Возвращения императора никто не ожидал. Гай Прокулей тревожно привстал на подушках, а секретарь Диомед, напротив, пригнулся вниз, не зная, что подумать.

— Не беспокойтесь, друзья мои,— улыбнулся Октавиан в ответ на недоуменные взоры.— Оставайтесь на своих местах и не прерывайте пиршества.

Его взгляд упал на огромного эфиопа, застывшего позади иудейского царя. Чернотелого гиганта трудно было не заметить: он возвышался над сотрапезниками подобно гранитной скале.

Император обратился к Ироду:

— Этот верзила южных кровей — твой раб?

— Мой оруженосец Ахенот, о Цезарь. Необыкновенный силач. Но нем как рыба; у него вырван язык.

— Отлично, царь! Он то, что мне нужно. Я одолжу его у тебя на время.

Ирод не посмел возразить:

— О Цезарь, ты можешь считать его совершенно своим.

Октавиан привел эфиопа в опочивальню и показал на привязанного к колонне эфеба:

— Этот юноша ожидает казни. Понимаешь? Займись им.

Бессловесный великан непонимающе расширил глаза, но после того, как Октавиан выразительно похлопал по ягодицам приговоренного, тотчас же все понял.

При виде черного гиганта в очах Гелланика появился неподдельный испуг. Он рванулся, пытаясь убежать, но освободиться уже не мог; колонна не отпускала его. Суровый оруженосец не заставил себя ждать: судорожные рывки обнаженного невольника распалили его похоть.

— Пронзи его насквозь! — подсказал господин.

Услышав это, перепуганный кинед издал жалобный крик, дернулся из сторону в сторону, в отчаянии полез на колонну; но тут его и настигло мощное эфиопское орудие.

Октавиан опустился в креслице, покусывая смочен-

ное в вине яблоко и наблюдая за агонией дворцового пажа. Лицо его хранило равнодушное выражение.

— Продолжай рассказывать, мой юный друг. Итак, говоришь ты, Клеопатра находилась поблизости, любуясь вашими телодвижениями. Чем она при этом занималась?

— Только наблюдала...— еле вымолвил несчастный, терзаемый беспощадным эфиопом.

— Может, она присоединялась к вам?

— Нет, не при- соединялась...— последовал ответ.

— Странно,— пожал плечами Октавиан.— Я слыхал о ней самые невероятные, самые невообразимые вещи. Правда ли, о чем толкуют во всех тавернах, что она взяла себе в норму священный разврат и отдавалась в храмах чужестранцам под видом гиеродулы[1], так что любой входящий мог получить ее на ночь?

— Сам я... не видел...— пробормотал кинед, пыхтя и отдуваясь.— В городе... многие про- мышляют этим... О Цезарь, помилуй меня! При- кажи е- му отойти...

— Рассказывай, рассказывай.

— Я слышал, дав- но, во времена смут... Селедочник[2] при- нуждал ее к сожи- тельству, чтобы о- на наряжалась Еленой, а он... Мемноном... И она возненавидела храмовые со- ития. Вот все, что я знаю. Не могу... не могу больше... О, мой бог!..

Пронзив жертву в последний раз, Ахенот вытер со лба катящийся пот, оставил отрока и отошел. Изможденный паж беспомощно рухнул к подножию колонны, неловко раскинув ноги, щедро окропленные пятнами свежей крови.

— А правда ли то,— продолжал Октавиан, неспешно отвязывая кинеда от колонны,— будто царица приходила в такое неистовство, что со своими рабынями учиняла настоящую охоту на красивых и статных мужчин, и тот, кто попадался им в лапы, бывал буквально изнасилован и, не в силах вынести изощренные пытки, редко оставался живым? А иные добровольно шли на смерть, чтобы только вкусить страшные ласки фаросской колдуньи.

— Вот уж небылицы,— молвил Гелланик, выползая за дверь.— Россказни толпы... Я скажу правду, Цезарь: она вовсе не такое чудовище, как тебе описали... Конечно, царица имела много наложников, но подобного

[1] Гиеродула (*греч.*) — храмовая жрица.

[2] Прозвище александрийского узурпатора в 56 г. до н. э., мужа сестры Клеопатры, Береники.

изуверства за ней не водилось. Другие твердят, она зла и жестока, но я помню лишь хорошее... Она могла внушать что угодно, только не ужас.

Октавиан лениво потянулся на суфе, но тут же странное чувство некоей тревоги, стремительное, как луч, на миг коснулось его чела. Он сам поймал себя на этом чувстве, смутном и безотчетном, которое забывается в следующую минуту, но как человек скрупулезный и дотошный, привыкший всему давать объяснение, он тут же сосредоточился и попытался найти причину, что в данном случае могло его взволновать.

В отличие от Клеопатры, запамятовавшей облик случайно встреченного в Риме юноши, Октавиан, конечно, прекрасно помнил царицу в те годы, когда она наведывалась в Вечный город. Яркие видения юности обычно редко забываются и преследуют человека всю жизнь. Разве похоронить в памяти те невиданные торжества и неслыханный по роскоши въезд в столицу египетской гостьи?

Люди сбегались со всех концов города, чтобы взглянуть хотя бы одним глазком на возлюбленную великого Цезаря. Сначала нескончаемой вереницей гарцевали александрийские всадники в золоченых доспехах, затем шли гиганты-слоны, нагруженные драгоценностями, луноликие девицы с зажженными кумирнями и блестящие эфебы с пальмовыми ветвями, и только после этого в окружении чернокожих невольников показался горделивый профиль владычицы Востока, восседающей в пурпурном паланкине. Весь вид ее говорил, что она приехала завоевывать Рим.

«Давай бросим ей твой венок! — толкнул Октавия под локоть друг его детства Купиенний Либон.— Тогда она непременно заметит нас».

«Очень нужно»,— буркнул внучатый племянник диктатора.

«О, да я забыл, что ты у нас примерный жрец! — рассмеялся Купиенний.— Не робей, Гай, доберемся мы до этой красотки».

Друзья следовали за Клеопатрой от Капенских ворот до Велии; дальше они не смогли протиснуться из-за невероятной тесноты и давки. Купиенний успел вскочить на чью-то высокую повозку, и сколько ни протягивал руку Октавию, сколько ни кричал ему, многолюдное столпотворение разлучило друзей.

Когда на другой день Юлий Цезарь отправился к египтянке на виллу в сопровождении всех магистратов

и не взял племянника, Октавий был вне себя от досады. В течение трех следующих недель он никуда не отходил от диктатора и дождался-таки счастливого случая. При освящении храма Венеры Прародительницы его представили Клеопатре и, будто бы в награду за усердие, он получил личное приглашение царицы.

С мальчишеским задором он хвастался матери и сестре, как запросто явится к ней в дом, будет сидеть за одним столом и даже прочтет свою первую драму о Федре и Ипполите. Он поспешно заказал в Эсквилине новую пенулу[1] и дорогую обувь, дабы не ударить перед египтянкой лицом в грязь.

Исполнить намеченное новоявленному Ипполиту[2] помешал его отчим Марций Филипп, узревший в царской вилле постыдный вертеп. Строгий сенатор запретил пасынку даже близко подходить к египетскому содому. Следом за этим, будто нарочно, Октавия сразила внезапная лихорадка; он провалялся в постели целых три месяца и, когда уже выздоровел, получил срочный вызов к Цезарю в Испанию. Отчим дал на сборы всего одну ночь...

С вечера в небе густились мохнатые тучи, мутный Тибр возбужденно пенился у Мульвиева моста, и лихорадка вновь овладевала неокрепшим юношеским организмом. В третью ночную стражу Октавий подкрался к царской вилле со стороны садов Цезаря, где его меньше всего могла заметить охрана. Он бывал раньше на этой усадьбе, которую диктатор отдал теперь египетской гостье, и хорошо изучил дворовые лазейки. Он не мог заблудиться здесь даже в полной темноте.

От реки дул прохладный ветерок, срывающий листву. Осенние листья летели в лицо, падали на плечи, устилали мощеные дорожки мягким шуршащим ковром. Только этот шелест шагов мог выдать ночного лазутчика, дерзнувшего прокрасться в обитель иноземной царицы. Пара копьеносцев, карауливших парадные двери, с виду сирийцы или арабы, разговаривали между собой на непонятном наречии. В другое время их можно было принять за мамертинских тюремщиков; именно таких дикарей нанимали, чтобы стеречь приговоренных к смерти.

Октавий обогнул их по садовой аллее и через несколько шагов выбрался к тыльной стороне дома, где

---

[1] Пенула (*лат.*) — модный плащ щеголей.

[2] См. прим. к с. 365.

крылась небольшая дверца в стене. У него был ключ; ведь он предусмотрел все заранее. Как и то, что ему потребуется лестница, чтобы забраться в верхнее окошко, выходящее во внутренний дворик. Лестница хранилась в старом амбаре; он знал, где ее взять.

Но тут, пробегая украдкой мимо открытого атрия[1], он заметил белеющую человеческую плоть, прикованную к стене. Хрупкая женская фигура безжизненно свисала вниз, подогнув колени и уронив голову на грудь. Так и есть, эти ублюдки скрутили ее цепями!

Он подбежал к царице и попытался освободить ее от пут. Бледные гладкие руки египтянки были холодны как лед. Благие боги, да ведь это мрамор!.. Как он мог попасться на эту пустую приманку и позабыть про статую Андромеды, стоящую в атрии с незапамятных времен?! Проклятая лихорадка выделывает с ним скверные штуки.

Нет же, теперь он будет во сто крат осмотрительнее. Никаких оплошностей! Лестница в амбаре. Второе окошко справа. Ставни закрыты, но поддаются со второго толчка. Прохладный ветерок врывается в сонную опочивальню и безжалостно треплет дымчатые сидонские занавеси, окружающие златотканое ложе.

Она спит, подпирая одной рукой подбородок, другую свободно закинув за голову, чуть погрузив пальцы в густую тину черных волос. Грудь ее мерно вздымается под тончайшим газовым покрывалом; не слишком ли легко укрылась южанка в столь ветреную погоду? Затаив дыхание, он впивается жадным взором в плавные изгибы ее тела, не находя в нем ни одного изъяна, о которых так много судачат римские куртизанки. Она — само совершенство, далекое от суетной мирской толпы. Воплощенная богиня, сошедшая с холодного недоступного Олимпа. Нет, это точно не статуя... От белеющей плоти исходит мягкий запах шафрана и еще каких-то редкостных южных цветов.

Он поднимает царицу на руки, так осторожно, что она даже не просыпается; газовая накидка скользит по телу и падает на мозаичный пол; ночной лазутчик держит на руках удивительно легкую и совершенно беззащитную в своей наготе нереиду.

Плутон похищает Прозерпину, Парис увлекает Елену, а юный римский аристократ крадет с ночного ложа

---

[1] Атрий — центральное помещение римского дома, куда выходили все комнаты.

свою без пяти минут мачеху. Вполне достойный сюжет для Еврипида. Впрочем, что за путаница? Ведь он еще не знает, что будет усыновлен Юлием Цезарем! До смерти диктатора и оглашения завещания остается год с лишним...

Не выпуская из рук бесценную ношу, Октавий осторожно спустился по лестнице в перистиль[1] и через потайную дверь прошмыгнул на тенистую аллею. Казалось, сад замер, завороженный необъяснимым зрелищем; только неведомые птицы, разбуженные звуком шагов, пугливо взмахнули крыльями и издали тревожный отрывистый клекот.

Сирийские тюремщики еще переговаривались у главного входа; египтянка сладко поеживалась во сне, прижимаясь щекой к плечу своего похитителя; свисающие ступни ее цеплялись за ветки деревьев, и тонкие прутья хлестали по согнутым коленям и лодыжкам ног, оставляя на коже красные полосы, будто бы от ударов бича.

Октавий знал, что за оградой усадьбы его ожидают верные спутники Купиенний и Агриппа. Без их помощи он не смог бы преодолеть стену с царицей на руках. Он прислонился к каменной кладке и просвистел два раза, как было условлено. Друзья не отзывались. Он свистнул погромче, что-то хрустнуло за спиной, и тут же чья-то тяжелая ладонь легла на его плечо. Несчастный похититель рванулся в сторону, пытаясь скрыться за деревьями, но вокруг уже повсюду вспыхнул яркий огонь, блеснуло оружие, и ночной сад заполнился разбуженными обитателями виллы. «Смотрите, смотрите, мы застигли его на месте преступления! Поглядите, до чего он дошел, а еще притворялся благочестивым авгуром! Теперь он не отвертится, жалкий Фуриец[2]!»

Бежать было некуда. Куда бы ни обращался взгляд, везде маячили, кривлялись и прыгали перекошенные лица, несметное множество лиц, великое сонмище лицедеев... И вконец затравленный юноша отчаянно прорычал: «Назад, мерзкое отребье! Не сметь приближаться ко мне! Я — Цезарь! Дорогу императору!»

Тут Октавиан вздрогнул и пробудился. Размышляя, он задремал на мягкой суфе и не заметил, как оказался в сонных тенетах Онейра[3]. Вокруг густилась благоговейная тишина; ночные светильники осторожно выщупы-

[1] Перистиль — внутренний дворик.
[2] Фуриец — детская кличка Октавиана.
[3] Онейр (*лат.*) — персонификация сновидения.

вали убранство дворцовой опочивальни, слизывали запекшиеся пятна крови на полу — следы уползшего за двери Гелланика.

Римлянин вздохнул и отер ладонью вспотевший лоб. Детские грезы. Почему ему приснилась тибрская вилла? И эта невероятно глупая сцена? Как будто у императора мало других забот. Да-да, он засыпал с чувством некоего беспокойства... Что его могло обеспокоить? Что-то в путаных объяснениях осквернённого кинеда? Да-да, было в его словах что-то такое...

Впрочем, для поисков и отгадок не оставалось сил. Октавиан зевнул, повернулся на другой бок и укрыл себя серебристым тирским покрывалом.

Утром он вновь вернулся к ночной загадке. Ему следовало бы не придавать ей значения, но врожденное упрямство брало свое, побуждая не отступать, пока не обнаружится причина постигшего его среди ночи смутного беспокойства. Еще в юности он дал себе зарок не пренебрегать никакими мелочами и во всяком деле докапываться до самой сути. Ведь все значительное выходит по большей части из ничтожного, а естественное — из невероятного.

Октавиан никогда не позволял себе расслабляться. Даже со своей женой он не начинал ни одного серьезного разговора, не набросав предварительно на бумаге, какие употреблять выражения, каких вещей лучше не касаться, на что следует обратить особое внимание.

Умная, волевая, расчетливая, Ливия была незаменимой соратницей в его долгой, полной превратностей борьбе за верховную власть. И все же, как ни изучила она вдоль и поперек своего Гая, перед самым выступлением его в Египет и в ней проросло зерно сомнения.

«Дело совершенно верное,— говорил он ей ободряюще.— У меня три армии, наступающие с разных сторон,— добавь сюда же и флот,— Азия признала мое главенство, почти все союзники Антония перешли ко мне. Правда, у египетской четы еще одиннадцать легионов, но это войско не решится сражаться со мной. Так что опасаться почти что нечего».

«Во́йска-то да, а вот Клеопатры...»

«Что, Клеопатры?»

«Ее ты не боишься?»

«В каком смысле?»

«А то, что околдует и обворожит тебя, как старшего Цезаря. Или как Антония. И ты забудешь свое отечество, вскормившее тебя, и верных друзей, и жену...»

Поначалу Октавиан даже растерялся от столь неожиданного поворота. Несколько минут он непонимающе взирал на супругу, затем громко рассмеялся: «Что я слышу, Ливия?! Впервые за восемь лет ты усомнилась в своем супруге?»

«Все вы, мужчины, падки до запретного и порочного. А египтянка способна на все. Сразила же она Цезаря тем, что явилась к нему спрятанной в мешок. Потом подчинила Антония в Тарсе безудержной азиатской роскошью. Ты уверен, что не станешь третьим «великим римлянином»?»

Октавиан сделал кислую мину: «Плохо же ты знаешь своего мужа! Давно ли ты уподобила его Цезарю и Антонию?»

Тут на память ему пришла одна из черновых записей, которые он делал для своего будущего жизнеописания; он вспомнил ее слово в слово:

«Прошу, однако, заметить: ни у Цезаря, ни у Антония не было такой жены, как Ливия, которую бы они вырвали из среды враждебной партии под улюлюканье всего Рима, насильно отняли у любящего мужа, когда она носила второго ребенка, и послали бы к Харону свою первую супругу, обеспечивающую им союз с помпеянцами! Разве не поступил я тогда против всех ожиданий? И даже твоих! Помнишь, уже после рождения Друза ты сказала: „Антоний зрел, но он мальчик, а ты юн, но ты муж"».

Ливия сверкнула умными очами, провела рукой по его коротко стриженным волосам и с улыбкой произнесла:

«Мы будем любить друг друга, Гай, долго-долго, до смерти, если сумеем переступить через этот порог».

«Какой порог?»

«Восемь лет супружества, мой милый, это как раз та межа, когда крепость семьи подвергается сильнейшему испытанию. Я надеюсь, у нас хватит ума и твердости сохранить между нами то, что мы накопили за это время».

«Что мне сказать? — протянул он.— Я отвечу тебе почти как Александр: никто не скажет обо мне, что я благоговел перед этой женщиной, был снисходителен к ней или хотя бы уступил ей в какой-нибудь мелочи. Прошу записать эти слова сейчас же, а не потом, когда они подтвердятся».

...До самого полудня, чем бы ни занимался победитель Египта, его настойчиво донимала ночная загадка,

словно муха, ожившая на свету. Только лишь после урочного совещания с легатами, диктуя письма консулам в Рим, он наконец нашел ответ на ночной вопрос.

Конечно, дело тут вовсе не в болтливом наложнике и никчемных пересудах рыночной толпы, завидующей славе царицы. Император вдруг ощутил, что его воля и его власть наталкиваются на что-то такое, чем он не может управлять, как бы ни употреблял свою мощь и крепость оружия. Ведь слух об убиенных наложниках Клеопатры — это не просто слух. Это **вопрос** на испытание человека: согласился бы он на такие условия ради обладания прославленной женщиной? Какой же должна представляться смертным ее постель, требующая столь высокой ставки?!

И если в бытность египтянки на троне этим слухом охотно пользовались ее враги, изобличавшие развратность царицы, то теперь она может воспользоваться им сама. Из обличителя он превратился в ее оружие. В таком случае нельзя положиться даже на темничную стражу, состоящую из обыкновенных мужчин.

Октавиан прервал диктовку писем, прошелся по анфиладе и подозвал одного из своих контуберналов[1], молодого Публия Долабеллу:

— Кто у нас караулит египтянку? Испанцы? Вот что, Корнелий. Возьми сколько нужно преторцев и выставь посты вокруг всего дворца. А также устрой впредь так, чтобы стража сменялась каждые три часа.

Гай Прокулей, слышавший распоряжение, отданное Долабелле, задержал императора на анфиладе и многозначительно изрек:

— О Цезарь, думается мне, нам следует позаботиться о смягчении духа нашей пленницы. Она раскаивается, и мы должны принять это во внимание. Полезно послать к ней жрецов-исповедальников, а также подвести ее к алтарям богов, дабы она помолилась и принесла положенные жертвы.

— Пусть молится,— сказал Октавиан.— Все остальное она получит в Риме.

* * *

Тем временем, пока дальновидный римлянин ужесточал режим царственной пленницы, последняя уже при-

---

[1] Контуберналы (*лат.*) — «спутники», адъютанты римского полководца, выполнявшие особые поручения. Как правило, состояли из молодых представителей знатных родов.

нимала в своих покоях недозволенных посетителей. Все эти дни рабыня Хармион по ее поручению вела переговоры с Эпафродитом, ссылаясь на неутихающую болезнь царицы и упрашивая пропустить к госпоже ее любимого врача Олимпа. Отпущенник наотрез отказывался, ссылаясь на приказ Цезаря не допускать к царице никого из александрийцев, в особенности врачей. Хармион продолжала обхаживать и уламывать соглядатая и даже пожертвовала своим телом, чтобы исполнилось желание госпожи.

Всего комнат, предоставленных пленницам в Северном дворце, было семь: к опочивальне примыкали трапезная, молитвенный зал, носящий имя Афродиты, довольно вместительная кладовая, уборная, небольшое помещение с летним бассейном и прихожая, где жил октавиановский соглядатай. В этой последней и совершилось постыдное прелюбодеяние продажного римского слуги с красивейшей из эфиопок, перед которой еще недавно трепетали стратеги и филархи[1].

Насытившись телом Хармион, Эпафродит подобрел и признался:

— А я ведь видел твою статую в Афинах. На Агоре. Подумал вначале, какая-то богиня... Если б я мог представить тогда... Но у судьбы, хе-хе, свои капризы.

Неказистый, плешивый, с короткими жилистыми руками и ногами, изрядно потрепанный жизнью вольноотпущенник являл разительный контраст стройной и цветущей южанке; тем злораднее вкушал он неожиданную власть.

— Послушай,— добавил соглядатай, больно сдавив пальцами ее смуглую грудь.— Зачем ты держишься за эту ведьму? Она падает в пропасть и тебя влечет за собой. Брось ее. Я сумею спасти тебя. Обещай быть моей, и я добьюсь у Цезаря твоего освобождения.

— Посмотрим пока, как ты держишь свое обещание,— молвила в ответ Хармион, преодолевая чувство брезгливости.

— Ах да, этот врач... Так и быть, доставлю его. Но всего на полчаса и под строжайшим секретом. Если вдруг что, я ничего не ведал.

Отпущенник нашел Олимпа в старом дворце Эпифана, тщательно обыскал с головы до ног и на другой день скрытно провел в царскую опочивальню.

---

[1] Стратеги (*греч.*) —военачальники; филархи — правители местностей.

Для преданного служителя было настоящим чудом увидеть свою повелительницу живой и невредимой после стольких потрясений. Он припал к ее ногам, осыпая поцелуями исцарапанные руки, одежду, пропитанную дымом, плача и повторяя:

— О, моя госпожа! О, моя госпожа! — не в силах прибавить что-то к этим восторженным и горестным словам.

— Тише! Ради всех богов, тише! — отчаянно шептали рабыни, сами мокрые от слез.

Наконец, когда все достаточно выплакались и отвели душу, Клеопатра жестом усадила врача на тот же стульчик, где недавно сидел Октавиан. Олимп хотел было исследовать здоровье царицы, но она попросила его оставить это напрасное занятие и потратить время свидания с большей пользой. Ее интересовали все городские новости и вести из римского стана. Много ли у Цезаря сил? Какие суда вошли в бухту? Где выставлены заставы? Нет ли вестей от Птолемея Цезаря и ливийских наемников, ушедших в оазис Аммоний?

Олимп рассказал обо всем понемногу: о прибытии Ирода, о поджоге синагоги, о казни уличенного в воровстве воспитателя Феодора, наконец, в заключение, он поведал о голодовке царевичей и старательных розысках бежавшего Птолемея; его ищут повсюду, за голову его назначена огромная сумма.

Клеопатра слушала гостя с закрытыми глазами; казалось, она вновь впала в забытье. Только пальцы царицы, нервно комкающие покрывало, выдавали ее подлинное состояние.

— О госпожа, зачем я все это говорю?! — спохватился врач.— Зачем добавляю тебе огорчений?

— Ах, Олимп,— едва разомкнулись ее сухие обветренные губы.— «Боги такую уж долю назначили смертным несчастным — в горестях жизнь проводить»[1]. Когда их так много, перестаешь отличать одну от другой. Скажи лучше, видел ли ты Цезаря?

— Только дважды,— отвечал Олимп.— И оба раза он выходил из покоев в сопровождении сонмища жрецов, сам в покрывале авгура и с посохом в руке. Сдается мне, человек он неразговорчивый, мрачный и очень набожный, совсем не похожий на прежних римлян. Вспомни, как старший Цезарь и Антоний хвалили Эпикура и потешались над обрядами. Молодой Цезарь не таков. Да и

[1] *Гомер.* Илиада, XXIV, 525—6.

войско ему под стать: это не те беззаботные легионеры, к которым мы привыкли. Эти, почти все,— молодежь, на лицах у них сумрак, ни улыбки, ни проблеска света, точно не победили они, но готовятся к какой-то новой ужасной войне. Ежедневно творятся жертвоприношения, кругом гаруспики[1] и авгуры, гадателей больше, чем воинов. Говорят даже, что не Рим одолел Египет, а боги Запада одержали верх над богами Востока.

— Боги везде одни,— молвила Клеопатра как-то отрешенно.— Только люди чтут их по-разному или не чтут совсем.

Олимп хлопнул себя по колену:

— Забыл сказать тебе о самом последнем, госпожа! Вчера сообщили из Мемфиса: скончался Петубаст. Он умер в тот же день, когда к нам вошли римляне, и говорят, его смерть не случайна.

— Блюститель храма Птаха? Кто же теперь выбран верховным жрецом?

— Ты не поверишь, госпожа... Цезарь! Мемфисцы даже прислали к нему послов по этому случаю. Они устроили торжественный молебен, провозгласили его сыном Ра, владыкой Обеих Земель, блюстителем храмов Верхней и Нижней страны.

Врач увидел, как внезапно скривилось лицо Клеопатры. Она дернулась на ложе будто от удара бича:

— Кто именно? Жрецы Птаха? А гелиопольцы?

— Они все, госпожа... Вчера Псеносирис и Горион побывали у Цезаря.

Кипящая ярость, обнаруживающая прежнюю царицу, вырвалась из ее груди:

— Да поглотит Аид гнусных изменников! Я всегда не доверяла мемфисцам. Даже тогда, когда они величали меня воплощенной Исидой и супругой Птаха, я знала, что они продадут меня при первом удобном случае. Конечно, эти гиены сожрали Петубаста, чтобы отдаться Октавию. Подлые лжецы!

Клеопатра осеклась, поняв, что по нечаянности забылась и обрушилась на жрецов так, словно она еще сидела на троне страны и мемфисцы изменили именно ей. В самом деле, уместно ли теперь обижаться, когда она первая подала всем пример, капитулировав перед Октавианом?

— Все равно,— глухо повторила царица, отвечая самой себе,— пусть сдаются,— их дело,— но разве можно так низко пресмыкаться перед ним?! Жалкие люди...

[1] Гаруспики — гадатели по внутренностям животных.

— Не беспокойся, царица,— слабо попытался утешить Олимп.— Римлянин не принял у них ни царского, ни жреческого титула. Он ответил послам, что самая дорогая для него почесть — звание императора, которое дали ему его воины. Царский же титул непереносим для свободолюбивых римлян...

— Глупый подражатель! — выдохнула Клеопатра со злостью.— Это слова Сципиона Африканского, сказанные два века тому назад. Тебе не помешало бы знать историю, Олимп.

Рабыня Ирада, не забывающая о своих обязанностях, подсела к госпоже и подала чашу с розовой водой. Клеопатра отпихнула напиток, так что чаша вылетела из рук Ирады и пролилась на ковер. Тогда за дело взялась Хармион, более настойчивая и хладнокровная; она уговаривала царицу и ласкалась к ней, пока та не сдалась и не приняла успокоительного. В продолжение всей этой сцены Олимп, потупив взор, рассеянно мялся на стульчике, укоряя себя за излишнюю болтливость.

Наконец Клеопатра справилась с нервами, усевшись на ложе в позе индусского брахмана, попросила врача придвинуться к ней вплотную и прошептала ему на ухо несколько слов.

Он отшатнулся и замахал руками:

— О нет, моя госпожа! Я не сделаю этого, даже если мне пригрозят смертью. Боги проклянут меня на этом и на том свете!

Клеопатра сняла с пальца перстень, тот самый, на котором она была изображена вместе с Цезарем, и протянула Олимпу.

— Нет! — вскричал испуганный врач.— Не мучай меня, госпожа! Это выше моих сил...

Очи царицы увлажнились. Она поклонилась александрийцу в пояс и приложила руку к груди:

— Скажи, Олимп, как есть по правде: любишь ли ты свою госпожу? Желаешь ли ты ей блага в величии и падении? Не держишь ли ты на сердце обиды за то, что она часто бывала несправедлива к тебе? Не тяготят ли тебя какие-нибудь дурные воспоминания или ты мучаешься отчего-то, чего-то не можешь простить ей?

Врач снова упал на колени, сложил ладони как на молитве и сбивчиво простонал:

— Видят Осирис и великие боги, я твой ничтожный раб, госпожа... Если бы у меня было десять жизней, я бы положил их все, не раздумывая, за один твой счастливый вздох!

— Это правда? — сверкнула очами египтянка.— Ты верен даже сейчас, когда все отреклись от меня?

— Какую клятву мне еще принести?! — воскликнул преданный служитель, с трудом сдерживая голос.— Как доказать тебе, моя повелительница, истину моих слов?

Клеопатра удовлетворенно откинулась на подушки:

— Ты можешь доказать это, Олимп. Клянусь всеми предками, можешь!.. Доставь мне то, о чем я тебя попросила.

Все это время дежурившая у окна Ирада случайно выглянула во двор и неожиданно ахнула:

— Римляне! Они вооружены и направляются сюда!

Опочивальню охватил переполох. Олимп бросился к дверям уборной в полной уверенности, что солдаты вызваны по его душу. Ирада уцепилась за него, убеждая укрыться в молитвенном зале, а Хармион тянула гостя в другую сторону, за плотные завеси.

Царица первая пришла в себя и прекратила никчемную возню:

— Угомонитесь! Если кто-то донес на врача и его разыскивают, мы отопремся. Эпафродит же, я думаю, не посмеет обмолвиться о нем, потому что дорожит собственной шкурой. Спрячьте скорее Олимпа, а ты, Ирада, выйди к солдатам и расспроси их, в чем дело.

Гулкие шаги и лязг оружия слышались за несколько комнат. Вслед за этим донеслись хриплые голоса, и кто-то выкрикнул имя Цезаря. В опочивальню тихо прокралась Ирада и радостно прошептала:

— Это не к нам. Солдаты явились сменить охрану, и только, а про Олимпа ничего не знают.

— Отлично, — произнесла Клеопатра, удобнее усаживаясь на ложе и скрещивая тонкие пальцы рук (знак того, что она приняла какое-то решение). — Найди, Ирада, кто у них старший, и попроси его зайти ко мне. Я намерена ему кое-что передать.

Ирада недоуменно пожала плечами, дивясь смелости госпожи, но перечить не осмелилась и снова скрылась за дверью. Отсутствовала она на сей раз гораздо дольше и, когда вернулась, выглядела отнюдь не весело:

— О госпожа, командует там один из гетайров Цезаря. Он ответил, что не может вести с нами никаких переговоров, а если мы хотим что-либо заявить, то для этого есть приставленный к нам человек.

Хармион гневно всплеснула руками:

— Какова спесь у этих неотесанных солдафонов! Каждый из них мнит себя чуть ли не Агамемноном!

Правду говорил Мардион, — да почтит его время! — для этих бродяг все равно, что обитель Птолемеев, что галльский хлев.

Тот, кого запальчивая эфиопка окрестила неотесанным солдафоном, был молодой Публий Долабелла, приведший смену караула. Он добросовестно выполнил поручение императора и уже спускался во двор, как услышал над ухом приветливый женский голос:

— О храбрый воин, не найдешь ли минуту, чтобы переговорить со мной?

Публий запрокинул голову и едва не споткнулся на ступеньках. Сквозь решетчатое окно из внутренних покоев на него смотрело лицо той, которую он безошибочно признал по много раз виденным картинам и статуям. Он и не знал, что у нее такой мягкий приятный голос. Ему казалось, оригинал горделивых изваяний должен изрекать отрывисто и жестко, как пренестинский оракул. А этот голос, настроенный на тонкую доверительную струну, сразу же располагал к себе.

Царица повторила приглашение, и Долабелле ничего не оставалось, как согласиться зайти в ее покои, хотя он тут же себя остерег: «Берегись, Публий, не поддавайся египетскому колдовству».

Он постарался держаться как можно хладнокровнее, как если бы всю свою службу только и делал, что общался с царями и правителями и встреча такая ему не впервой.

Клеопатра встретила контубернала в передней комнате, озаряя его светом чистых внимательных очей, отчего ему стало даже как-то неловко перед ней за свои мысли.

— О юноша, ты ведь друг Цезаря? Я попросила тебя зайти, потому что хочу передать Цезарю небольшую записку.

— Я друг Цезаря, но не письмоносец,— сказал Долабелла.— Почему бы тебе не отправить записку через Эпафродита или других слуг?

Брови Клеопатры поднялись вверх:

— Я обращаюсь к римлянам с делом, которое касается римлянина. Я прошу Цезаря дозволить мне совершить возлияние на могиле Антония и оплакать его прах. Если бы речь шла о ком-нибудь из египтян или обо мне, поверь, я бы не выбирала посыльных.

Долабелла снова был вынужден уступить пленнице и принять ее табличку. Уж слишком необычно повела себя Клеопатра, обезоруживая собеседника прямотой и

обходительностью. К тому же у нее был верный расчет: все римляне весьма чувствительны, когда говорят об их высоком гражданстве и пробуждают их природную гордость. Как Цезарь огорчался, что тело Помпея, пусть даже его врага, досталось на поругание не римлянам, так и Октавиан должен был оценить внимание чужеземцев к памяти своего соотечественника.

Но что, что хотела сказать этим поступком непокорная царица? Человеческая душа — потемки, а египетская — глубокий мрак. И сколько бы ни спорили об этом впоследствии, не могли найти правильного ответа. Возможно, не достигнув успеха в переговорах с Октавианом, Клеопатра укорила себя за слабость и поторопилась продемонстрировать преданность усопшему супругу, от которого чуть было не отреклась в минуту отчаяния. Теперь же, овладев собой, она спешила бросить вызов победителю.

Как бы то ни было, Октавиан в тот же день получил царскую записку из рук Долабеллы. Хотя предводитель римлян торопился на верфи, он два раза перечитал табличку и остался в некотором недоумении:

— Что-то я не слышал, чтобы она слишком убивалась по Антонию. Откуда такая внезапная верность?

Публий пожал плечами.

— Уж не надумала ли она взять пример и последовать по стопам возлюбленного в царство теней? — усмехнулся победитель Антония.— Она желает выплакаться? Тут только что Прокулей твердил мне об этом...

Императору уже подвели коня, времени совсем не оставалось.

— Если угодно богам,— бросил он, опускаясь в седло,— мы позволим ей совершить возлияния. Вот ты, Корнелий, и возьмись проследить за всей церемонией. Но только после того, как пройдут здешние празднества в честь Исиды и схлынет поток людей.

ФАЕТОН

Сын — тайна своего отца.

Восточная пословица

МАРК ЦЕЛИЙ РУФ — ЦИЦЕРОНУ. Рим, июнь 50 г.

Поздравляю тебя с тем, что ты в родстве с человеком, клянусь богом верности, прекрасным; ибо такого я мнения о нем. Но прочее, чем он до сего времени был

себе мало полезен, уже отпало с возрастом, а если что-нибудь и останется, то, будь уверен, быстро будет устранено благодаря общению с тобой, твоему авторитету и скромности Туллии. Ведь он не упорен в пороках и не туп к пониманию того, что лучше...

ЦИЦЕРОН — АТТИКУ. Путеолы, 1 мая 44 г.

...О мой удивительный Долабелла! Ведь теперь я называю его своим; ранее, верь мне, я несколько колебался. Великое зрелище! Со скалы, на крест, повергнуть колонну [Юлия Цезаря]!.. Что еще нужно? Героические дела!..

* * *

...Мы ждали его; мы звали его; мы просили его участвовать. Он долго не выходил, оставаясь в тени. Но вот, когда миновала добрая половина, он наконец появился...

Публий Долабелла возвращался к себе, в одну из пристроек Южного дворца, как его окликнул Квинт Деллий, седовласый неуклюжий толстяк, подвизавшийся в походе на должности хрониста и второстепенного императорского советника.

— Я услышал, Корнелий, что ты разговаривал с Клеопатрой? — Глаза советника лукаво блестели.— Какой она тебе показалась? Свидетельствует Юпитер, она, верно, изливала горечь, жалобно завывала и сокрушалась, изображая раскаявшуюся грешницу. Когда нужно, она умеет делать это превосходно.

— Напротив,— отвечал Долабелла.— Она держалась с достоинством и была довольно приветлива.

— Правда? — огорчился Деллий.— Это хуже, чем я думал. Коли мстительная горгона уподобляется ласковой нимфе, и впрямь не жди ничего хорошего. Поверь, мой юный друг, за те годы, что довелось провести мне у Антония, я ее достаточно изучил. Это сущий оборотень; она ненавидит всех вокруг, и эта ненависть беспредельна. Думаю, даже у отъявленного Тимона [1] нашлось бы больше чуткости к людям. Если твои слова, Корнелий, истина и она, будучи в клетке, начала обхаживать окружающих, это значит, она уже наточила жало и надо ждать внезапного укуса.

Публий пожал плечами:

— Что она может сделать, сидя под стражей?

---

[1] См. прим. к с. 381.

— Не зарекайся, мой друг. В природе случается так, что пойманная кобра жалит охотника через мешок.

Квинт Деллий имел все основания подозревать египтянку в коварстве. Не кто иной, как он сам, два года назад, будучи советником при Антонии, испытал всю остроту ее цепких когтей и едва остался цел. Навлек он на себя гнев царицы, когда на каком-то пиру в Афинах неудачно сострил, что, пока они выпивают море мареотийского вина, Цезарь тем временем преспокойно поглощает воды Брундизия[1]. Клеопатра устроила за Деллием слежку и объявила, что он тайный лазутчик Октавиана. Старому советнику среди ночи пришлось бежать из города в исподнем белье, прятаться в заброшенной гавани и напрашиваться на каждое судно, плывущее в Италию.

За свою жизнь Деллий сменил много патронов и покровителей. Дольше всех он пробыл у Антония и, надо отдать должное, даже перебежав в противоположный лагерь, отзывался о нем сдержанно, без ненависти и обиды. Долабелла тут же выделил Деллия из числа прочих беглецов партии Антония, слишком часто и угодливо поливавших грязью прежнего благодетеля.

Солдаты частенько встречали их вдвоем и не переставали дивиться странной дружбе первоцветного молодца и прожженного политикана. Общность эта объяснялась между тем просто: оба они поселились в Южном дворце, в соседних комнатах, и в силу привычки засиживаться допоздна коротали время за чашей вина. К тому же Деллий был старым приятелем семейства Долабелл и хорошо знавал покойного отца Публия.

Вот и теперь советник пригласил контубернала разделить его скромную трапезу. Помещение, которое занимал седовласый хронист, напоминало походную канцелярию: все столы и креслица были завалены грудой свитков, табличек и цер[2], из-под которых торчали концы костяных стилей. Можно было подумать, здесь только что заседала коллегия центумвиров.

— Не смущайся этим Фарсалом[3],— махнул Деллий рукой, с трудом протискиваясь между кипами бумаг.— В прежние времена ты встретил бы у меня не такое. Всю неделю я собирался с духом и, наконец, снова схватился

---

[1] Т. е. пока Антоний погряз в кутежах с египтянкой, его противники активно действуют на море.

[2] Цера (*лат.*) — вощеная дощечка для письма.

[3] Фарсал — город, где Цезарь разбил войска Помпея в 48 г. до н. э.

за перо, чтобы закончить описание этой ужасной войны. Надо спешить, пока какой-нибудь досужий грамотей, никогда не нюхавший солдатского пота и во сне не видевший, как падают великие легионы, не переиначит по-своему события и не засорит историю пошлыми выдумками.

Пока слуга Филипп очищал столы от свитков, Деллий неуклюже топтался на месте. Лицо его, словно выточенное, или, лучше сказать, выдолбленное из красного дерева, понемногу размягчилось.

— Конечно, мне никогда не затмить сладкозвучного Асиния Поллиона и не сравняться плодовитостью с Арием Дидимом, который, говорят, кропает по целой книге в день. Но кое-что полезное для ума я могу запечатлеть на пергаменте, доколе рука держит стиль и привередливая Мнемосина[1] посещает усталого старика. Ты пишешь что-нибудь, Корнелий?

— Нет.

— Напрасно. Писать должен каждый человек. Это ему необходимо так же, как есть хлеб. Писать надо дома, в походе, в таверне, в бане и даже на скачках. Если в душе пусто — пусто на бумаге, если тебя посещают мысли, их узнает первым свиток, если в тебе муть — мутны будут и строки. Бумага — единственное, кому можно довериться, и единственное, что тебе не изменит. Я готов поклясться под присягой: кто не пишет — тот не живет.

Публий знал за Деллием несколько сочинений, ни одно из которых не было доведено до конца: «О взимании податей», «Армения», «Парфянские походы Антония», «Сирийские диковинки» и прочее в этом духе. Тяжеловесный слог их быстро утомлял читателя и доставлял самому автору неисчислимые муки: самую простую мысль он был вынужден облекать в сложную риторическую формулу. Того требовала принятая им однажды манера.

— Писать сию нелегкую повесть я начал еще в Эфесе, будучи в стане Антония,— добавил Деллий, следя, как слуга прячет записи в дубовом ларце; чело хрониста поблекло.— Но продолжаю здесь, в поверженном ниц городе, который мечтал вознестись над Римом. Вот как обернулась Фортуна, и поистине непредсказуемы пути ее: сегодня не знаешь, кем будешь завтра...

Филипп уже накрыл на стол и подал римлянам приборы. Советник начал трапезу явно в испорченном на-

---

[1] Мнемосина (*греч.*) — богиня памяти.

строении. Он жевал без всякого аппетита, поглощенный мыслями о превратностях судьбы, сделал несколько глотков шафрановой настойки, наконец, не выдержал и хлопнул себя по колену:

— О всевидящее небо! Какую войну проиграли из-за человеческой глупости и женских происков! У Цезаря ничего не было, почти ничего. У Антония было все: богатейшие провинции, огромный флот, откормленные легионы, свои люди в Риме и во всех областях. И все это по капризу безумной египтянки обратилось в прах. Как там у Гомера? «За ногу крепко схватив, низринул с небесного прага...»[1] Нет, Корнелий, это не женщина, а ходячее проклятье! Все великие мужи, которые связывались с ней, после этого терпели расстройство дел и оказывались убитыми.

Беглый советник перевел дух и постарался расслабиться. Он пожалел о своей неуместной вспышке, изобличившей в нем скрытого антонианца, и начал быстро поглощать жареную рыбу, одновременно наблюдая за сотрапезником, каково его впечатление.

Публий уже привык к роли слушателя на подобных симпосиях. Ему нравилось, когда Деллий впадал в воспоминания о временах, проведенных у Антония. Он тут же напрягался, желая, видимо, услышать что-то новое и необычное. Молодой спутник Октавиана сам толком не понимал, что именно его занимает, только чувствовал внутренний жгучий интерес. Про себя довольный тем, что Деллий затронул скользкую тему, он немного помедлил и спросил очевидца:

— Неужели Антоний в самом деле во всем слушался своевольную египтянку и она вертела им как хотела? В Риме его знали другим.

— В Риме? — повторил Деллий с нарочито постной миной.— Что ты знаешь, молодец, что было с Антонием в Риме? За мой век я хорошо присмотрелся к человеческим слабостям и много раз зрил их последствия. Антоний ведь только с виду казался Ахиллесом, но в душе был слаб и податлив, как ребенок. Он был рабом страстей,— всю жизнь им командовали женщины, причем самого низкого сорта. Сначала злополучная Фульвия, бич Рима, погрязшая в интригах и кончившая позорным мятежом. Потом, в Каппадокии, им без труда овладела царица Глафира; за плясками и попойками он забыл о парфянской войне. Наконец, в Тарсе его нашла эта фа-

[1] Илиада, I, 591.

росская фурия и так околдовала, что он готов был всюду ходить за ней по пятам и омывать ей ноги.

Тут есть и мой грех: ведь это я — порази меня гром! — ускорял и устраивал их встречу. Мыслил ли я тогда, провожая ее в Тарс, что эта наша последняя напасть, от которой уже не будет спасения?! Увы, прозрение наступило слишком поздно. Дело дошло до того, что Клеопатра от имени Антония принялась смещать и ставить наших военачальников. Кто не заискивал перед ней (таких, как я), она выживала из лагеря. Тех же, которые усердно прогибали спину, она проталкивала в префекты и трибуны, а особо выслужившимся льстецам добывала высшие посты. Антоний видел, что его покидают лучшие друзья, но молчал как рыба, в угоду косматой Пандоре[1]. В итоге все способные люди убежали в Италию, на должностях остались лишь бездарности и трусы. Они проиграли войну еще до того, как протрубил боевой рог.

Вот Цезарь, хотя слаб телом, сердцем — сущий кремень. Высечь из него искру — все равно что расковать Прометея. Он никогда не отдавался страстям, но всегда повелевал ими и использовал их. Он и сейчас для меня во многом загадка. Когда та же Фульвия, раздосадованная, что Антоний изменил ей с Глафирой, стала затаскивать Цезаря в свою постель, он ответил ей злой эпиграммой, высмеял безродную матрону, а заодно и всех мужей, живущих женским умом. Читал ли ты эту эпиграмму, Корнелий? Если нет, я обязательно разыщу для тебя в моей библиотечке. Составлено зрело и едко; не подумаешь, что автору было тогда двадцать лет и кое-кто именовал его еще мальчиком.

Деллия прервал хладнокровный Филипп, убирающий посуду. За разговором Публий не заметил, как кончилась трапеза. Жареный ромб, похлебка из бобов и наполовину разбавленное цекубское — вот и все, что составляло хозяйский рацион. Как всякий муниципал, Деллий следовал римским обычаям ревностнее, чем сами римляне, и не допускал в пище никаких излишеств. Характерная черта эта особенно бросалась в глаза: «новые люди» всегда стремятся компенсировать недостатки родословной старозаветным пуританством.

— Хвала Юпитеру! — воскликнул советник, вытирая руки.— Теперь все закончилось, боги войны удовлетворе-

---

[1] Пандора (*греч.*) — мифическая красавица, посланная богами на землю, чтобы произвести всевозможные несчастья и беды.

ны, и настало время обратиться к насущным заботам. Цезарю предстоит заняться новым государственным устройством. Думается, моя книга послужит этому доброму делу. Поэтому я начал ее не с описания враждующих сторон, как это принято у историков, и не с перечисления удивительных знамений, но отдался подробному разбору обычаев и порядков в здешних странах и царстве Лагидов. Те двенадцать лет, которые я провел на Востоке, помогли мне лучше взглянуть на нашу несчастную Италию и найти то, что ей пойдет на пользу, и то, от чего ей надо бежать, как Одиссей от киклопов.

— Конечно,— кивнул Публий с хитрой улыбкой,— ты скажешь, эллинская распущенность как ржа проела здоровые народы и дурные нравы, заимствованные у варварских царей, погубили великие царства.

— Сказать так значит ничего не сказать,— заметил Деллий вполне серьезно.— Вовсе не в распущенности беда наследников Александра. Послушай старика, о юноша, впервые побривший бороду. Дурные нравы не берутся сами по себе, как вши у бродяги. Их кто-то создает. Ведь и эллины были когда-то могучим народом, и варвары славились своими государствами; вспомни хотя бы Навуходоносора и Кира. Клянусь Геркулесом, у них есть чему поучиться. Ведь и Платон ездил к варварам за званием, и Аристотель советовал постигать мудрость Древнего Египта. Посмотри, как прекрасно устроено у них жречество. Царства рушились и стирались в прах, а культ древних богов нисколько не страдал, но даже усиливался. Служители веры хранили божественный логос в неприкосновенности, утешали отчаявшихся, наставляли царей и не раз полагали начало новым державам. Кто опирался на жречество, был крепок и ладил с народом.

Но вот чего нам надо решительно остерегаться и никак не брать пример ни с египтян, ни с кого-либо другого, так это обожествления земных владык и обоготворения государственной власти. Низкое это дело и ненавистное духу свободного человека. Там, где люди почитают законы и высшее знание, где во главе всего ремесла и искусства, там нет места для хищничества и тиранов. А там, где поклоняются властителям как богам, уповают на их меч, заменяющий законы и знание,— все держится на насилии, ремесла презираются, народ полнится раздорами и страна приходит в запустение. Царство Лагидов одряхлело и рухнуло именно по этой причине.

Беда не столько в тиранической власти, сколько в том, что она развращает людей, убивает в них веру в себя и приучает к раболепию. Если ты оглянешься вокруг, то легко найдешь множество рабов без видимого клейма, называющих себя свободными гражданами, но рабов в делах и поступках, которые ничего не могут сами, но ищут себе хозяина в расчете, что он бросит им очередную подачку. И каждая подачка еще больше делает их рабами. Это, пожалуй, и есть подлинное рабство, а не то, о котором мы думаем. Кто, как не мутный сброд, сонмище римского плебса, любящего именоваться государством, величало старшего Цезаря блистательным богом и толкало его через кровь и разорение на царство?!

— Для римлян,— возразил Долабелла,— слова «царь» и «тиран» в числе самых ненавистных. Добавь сюда же и «диктатор».

— Какому же рабу нравится именовать себя рабом? — усмехнулся советник.— Ему требуется только приятная форма. Подлинную свободу ценили наши отцы во времена Сципионов, пока все были равны в имуществе, умеренны и трудолюбивы и правители наши не были вынуждены содержать за государственный счет сотни тысяч бездельников, ничего не умеющих и не желающих делать, но во всем подражающих богачам Лукуллам и Крассам. Пойди теперь, ограничь на них траты, умерь безумную алчность, попробуй заставить их добывать хлеб своими трудами — и они немедленно перережут тебе глотку. Напротив, увеличь бесплатные раздачи — и они сделают тебя богом.

— Старший Цезарь сократил раздачи народу,— заметил Публий.

— И где теперь он? — отмахнулся Деллий.— То же самое грозит и молодому наследнику. Никакая египетская добыча не насытит эту Харибду! Толпа проглотит сокровища в один миг и вновь обратится против знатных людей и умелых хозяев. За последние полвека чернь вконец распущена нашими сладкозвучными демагогами, добывавшими себе таким путем славу и власть, растравлена и развращена с упорством и последовательностью, каких не бывало и на войне с Ганнибалом!.. Я много раз повторял твоему отцу, Корнелий, еще в ту пору, когда он был трибуном, добивался передела земли и подстрекал плебс, я говорил: всевластие толпы ничем не лучше всевластия тирана — в обоих случаях попран закон и гибнут первые люди.

— При чем тут мой отец? — насторожился Долабелла, задержав у рта чашу с розовой водой.

— Увы, твой отец не внял моим призывам... Хвала богам, тогда обошлось без большой крови. Но пролитые капли ее повлекли за собой новые раздоры и столкновения, досыта насытившие всех.

Сказав это, Деллий опомнился и прикусил губу. Он видел, как ярко сверкнули глаза молодого собеседника, как встрепенулся он, уязвленный в самое сердце, туда, где свято хранилась память о погибшем родителе. Публий поставил чашу на край стола и медленно проговорил:

— Мой отец всегда выступал на стороне униженных и обделенных. Пусть он заблуждался в чем-то и не раз ругался с сенатом, но разве он жаждал раздоров и хотел пошатнуть Республику? Что тебе дало говорить так, будучи его соратником?

Деллий давно убедился, что всякую науку люди благосклонно воспринимают до поры до времени, пока она не коснется их лично.

— Видишь ли, мой Корнелий, то время, о котором мы говорим, изобиловало самыми дурными предзнаменованиями. Я мог бы перечислить тебе роковые знамения, сопровождавшие всякое доброе начинание. Удача много раз посещала твоего отца, но в конце концов он вытянул несчастливый жребий...

— Нет,— хмуро процедил Публий, поднимаясь с кресла.— Не надо ничего замазывать, Деллий. Я знаю, отец пренебрегал дедовскими обычаями, не верил богам-пенатам и поклонялся Исиде, и то, что он делал, вызывало гнев многих. За это его и отлучили отцы-сенаторы. Но о нем помнят в народе; он призывал квиритов к единству и всегда противостоял беззаконию.

Долабелла решительно направился к выходу, но у самого порога его остановил упавший голос старого советника:

— Мы находились в Лаодикее, когда узнали о постановлении сената. Тогда врагами отечества объявляли многих, целыми семействами,— никого не удивляло. Кошмарные дни... Но чтобы предложение внес Цицерон, — это было страшным ударом! Твой отец сокрушенно разводил руками; ведь они, казалось, так сдружились в Риме, столькое объединяло их, особенно после смерти Туллии... Может быть, старик таким образом решил отомстить ему за дочь?

Публий вздрогнул у двери, точно уколотый; по спине его пробежал холодок, и он болезненно передернулся, словно бы мучимый каким-то давним, почти врожденным недугом:

— Скажи мне правду, Деллий: мой отец развелся с Туллией из-за Клеопатры?

Советник помолчал, размышляя о чем-то, затем тяжко вздохнул и поднял поблекшие очи:

— Туллия узнала, что они тайно встречаются в Лабиканском поместье. Это случилось уже после того, как Цезарь отбыл в Испанию. Туллия была на седьмом месяце беременности... Мы тогда еле уговорили ее сохранить плод, который она хотела вытравить. Благие боги, как она была горда!.. Когда дело дошло до ее отца, Цицерона, он потребовал немедленного развода. Разразился большой скандал... Долабелла уехал в Испанию, Клеопатра — в Байи. Не знаю, как несчастная перенесла оставшиеся два месяца. И скончалась на руках у отца в Тускульской усадьбе. Там же погребли и младенца. Тебя, семилетнего, тогда взяли в дом Лентулы, ты ничего не помнишь...

— Я помню многое,— мрачно произнес Публий у дверей.— И тогда, и позже, когда отец уехал на Восток, воевать с Кассием. После его гибели слуги привезли из Лаодикеи часть его имущества. Это ведь ты отправил его?

Деллий молча кивнул головой.

— Там была одна картина... Портрет Клеопатры, написанный в Риме. Отец хранил его до самой смерти.

— Ее портрет? — удивился советник.— Не помню.., Не было там такой картины.

— Была.

— Ты ошибаешься, Корнелий. В Лаодикее твой отец стал совершенно другим. Да, он возлагал на египтянку много надежд, но пал, жестоко ею обманутый. Она не прислала обещанного флота, но, напротив, поспешила сговориться с Кассием. Перед самой смертью твой отец послал ей в письме проклятие.

— Неправда, Деллий. Ты придумал это сейчас.

— Правда, мой мальчик. Я сам запечатывал свиток...

— Неправда. Как ты можешь говорить правду, Деллий, когда сам предал моего отца и перебежал к Кассию?

— Я никого никогда не предавал! — поспешно выкрикнул обиженный хронист, но Долабеллы уже не было в комнате.

— Наоборот,— добавил советник в пустоту, переходя на неразборчивое бурчание,— это они предавали друг другу меня...

Через минуту Деллий заметил, что сидит в полной темноте. Поерзав на стуле, он кликнул слугу, чтобы тот развел огонь. Понемногу сумрак рассеялся, возвращая потерянные вещи на свои места. Во дворце трубили отбой.

— Видел ли ты, Филипп, в какой запальчивости выбежал отсюда этот юнец? Если бы не моя старость и проклятая лысина, я бы подумал, что передо мной его отец, каким я знавал его в молодости. Право, смотрю на него — и исчезают года... Кажется, вот закроешь глаза, откроешь — и мы вновь сидим в Тускульской усадьбе у Цицерона, потягиваем цекубское и ведем жаркий диспут на философские темы. И все еще впереди, нет тебе ни сирийских степей, ни напрасных скитаний, ни меднолобого Цезаря, ни Антония, ни этой египетской кошки...

Малообщительный Филипп никак не поддержал ностальгии хозяина, но только смерил его косым взглядом и тщательно вытер засоренный стол. Римлянин вздохнул и стал укладываться на ночь.

* * *

ЦИЦЕРОН — ПУБЛИЮ КОРНЕЛИЮ ДОЛАБЕЛЛЕ, в Испанию (Фикулейская усадьба, апрель 45 г.): «Цицерон Долабелле привет.

Я предпочел бы, чтобы ты не получал моих писем вследствие моей собственной гибели, а не того несчастья, которым я очень тяжко удручен [1]; во всяком случае, я бы переносил его спокойнее, если бы ты был со мной... Ты пишешь, что выдерживаешь из-за меня сражения [2]; я не столько стараюсь о том, чтобы ты опровергал тех, кто меня хулит, сколько желаю, чтобы было понятно,— это, во всяком случае, понимают,— что я любим тобой».

ЦИЦЕРОН — МАРКУ БРУТУ, в Грецию (Рим, 5 мая 43 г.): «За четыре дня до майских календ высказывались мнения о военных действиях против тех, кто признан врагами, я голосовал, чтобы ты преследовал Долабеллу военными действиями... Ты, конечно, понима-

[1] Смерть Туллии.

[2] Защищая Цицерона от обвинений перед Цезарем.

ешь, насколько важно уничтожить Долабеллу как для того, чтобы он понес кару за преступление, так и для того, чтобы главарям разбойников[1] некуда было направиться после бегства из-под Мутины...»

Аппиан, «Гражданские войны»:

После того как Кассий взял город, Долабелла подставил голову под меч своего телохранителя и приказал ее, отрубив, отнести Кассию, чтобы телохранитель тем самым спасся. Но тот, отрубив голову, умертвил и самого себя.

* * *

Детство младшего Долабеллы было окрашено кровью и заревом пожарищ. Когда ему миновало два года, отец развелся с матерью, чтобы жениться на дочери Цицерона. Туллия не сразу согласилась связать судьбу с заносчивым патрицием, прославившимся в Риме дерзкими выходками и бесконечными любовными похождениями. Но свадьба состоялась, и до семи лет маленький Публий воспитывался под присмотром одной из образованнейших и добродетельных римских матрон. Впрочем, он плохо помнил заботливую Туллию: она скончалась от родов столь внезапно и непостижимо, что весь Рим оплакивал ее вместе с Цицероном.

А еще через два года прилетела страшная весть о гибели отца, поднявшего мятеж против сената. Девятилетнему Публию довелось видеть его голову, выставленную на форуме для всеобщего обозрения. Обозленная толпа подожгла его дом, и мальчик едва избежал пламени, спасенный своим воспитателем Антиохом. Целый год после этого они скрывались на юге Италии, пока дела в Риме не выправились и у власти оказался молодой Октавиан.

Новоявленный император обласкал подростка и зачислил его в свою свиту. Публий, правда, до совершеннолетия не покидал Рим, находясь под присмотром старика Антиоха и дяди Гнея Лентула, так что сицилийская война прошла без него. Когда ему исполнилось семнадцать, Октавиан взял его в далматийский поход. В морской баталии у мыса Акций Долабелла стоял на императорском флагмане и удивлял даже бывалых вояк своей неюношеской выдержкой. После победы он вернулся вместе с Марком Агриппой в Брундизий и тут чуть не был растерзан взбунтовавшимися легионерами. Ему сломали два ребра и уже хотели утопить, как какой-то

[1] Марку Антонию и его людям.

центурион вырвал его у толпы и привез, еле живого, в Рим.

Лечением Публия занялось семейство Скавров, в доме которых он поселился. Особую нежность проявляла к нему хозяйская дочь, воспитанная и скромная Эмилия. Раненый контубернал представлялся мечтательной девушке настоящим героем, а по весне они сыграли благословенную свадьбу.

Когда же Октавиан снова засобирался на Восток, намереваясь нанести последний удар Антонию и Клеопатре, Публий, забыв о ранах, напросился в преторскую когорту. Он уверял императора, что в поход его зовет память об отце и он обязан участвовать в завершении многотрудной войны с Клеопатрой. «Добро, Корнелий. Твоя верность памяти родителя и стремление покарать виновников его гибели приятны мне. Наши чувства здесь совпадают», — сказал Октавиан и проникся к юноше большим доверием.

Публий оставил жену на втором месяце беременности. Вести из дома до него доходили редко. В последнем письме Антиоха, полученном в Пелусии, сообщалось, что Эмилия тяжело занемогла, роды становятся опасными, она почти ничего не ест и не пьет. Но ничто другое так не удручает ее, как долгое отсутствие мужа.

ΦΟΣΦΟΡΟΣ

Ради того и зимой через лед нырнет она в реку,
Трижды поутру в Тибр окунется, на самых стремнинах
Голову вымоет в страхе — и голая, с дрожью в коленях,
В кровь исцарапанных, переползет все Марсово поле...
Вплоть до Египта дойдет и воду от знойной Мерои,
Взяв, принесет, чтобы ей окропить богини Исиды
Храм...

Ювенал. Сатиры

— О Исида великая, матерь Бога и владычица неба, госпожа всей земли! Ты дала людям законы и правила, которые никто не изменит. Ты дочь божественного Времени, сестра и супруга Осириса. Ты отделила

сушу от моря, ты указала путь звездам, солнцу и луне. Ты показала людям мистерии и научила их чтить богов. О Исида, Матерь Бога, великая волшебством! Вместе с братом своим Осирисом ты привнесла людям крепкую веру. Ты свергла тиранов, ты установила божьи храмы. Ты соединила мужчину с женщиной. Ты сделала так, что женщины носят плод девять месяцев. Ты создала супружеские узы. Благодаря тебе муж любит жену, жена любит мужа. Благодаря тебе дети любят родителей. Ты караешь того, кто не чтит отца и мать.

Бритоголовый жрец в ритуальной шкуре леопарда воздевал к высоким сводам жилистые руки и запевал гимн. Его поддерживал небольшой хор храмовых мальчиков, наряженных под крылатых эротов. Зажженные сосуды и кумирни по углам зала источали острый запах. Обходящие тесные ряды молящихся храмовники уже устали взмахивать кадильницами и окроплять головы верующих живительной нильской водой, без конца повторять пожелание: «Будьте благословенны!»

Но не только за благословением явились горожане на богослужение Исиде. Почти каждый принес свою личную просьбу, которую сейчас робко нашептывал или произносил про себя, уповая на мощь небесной владычицы. Кто-то бил поклоны о хорошем наследстве, кто-то молился за здоровье больного родственника. Другие просили охранить от напастей предстоящей дороги или морского путешествия. Молодые женщины взывали к помощи богини в ожидаемых родах, старики ниспрашивали даровать им безболезненную смерть.

Великая богиня вездесуща и может все. Для нее нет границ ни во времени, ни в пространстве. Она наградит, исцелит и воздаст по заслугам. Она еще скрыта от глаз непосвященных за многими залами храма, но все усиливающийся жреческий хор и растущее возбуждение в зале свидетельствовали, что заветная минута, когда верующим блеснет ее небесный лик, приближается.

— О Исида, богиня-благодетельница, высшая из божеств, первая среди небожителей, единый образ богов и богинь! Ты объемлешь всех, кому поклоняются на Востоке и на Западе. Ты владычица душ живых и усопших, не перестанем прославлять твое могущество, Госпожа, великая именем! Когда постигнет нас бедствие, все молят тебя, чтобы ты пришла на помощь, и только поклоняющиеся тебе обретут спасение. Внемли

нашим молитвам, Дарительница благ, окажи свое милосердие, избавь от печалей!

Люди пригнулись, будто невидимая волна прокатилась по залу, подкашивая ноги, многие упали на колени, повторяя за хором слова чудесной молитвы. Кто-то толкнул меня сзади, увлекая вместе с другими на храмовые плиты, колени больно ударились о гранит, и, если бы не спина переднего человека, я бы не избежал жестокого падения. Руки машинально ухватились за его длинную одежду, и только тут внезапно бросился в глаза аккуратно вышитый на плаще жук-скарабей, точно такой же, какой красовался на моей графитовой печатке. Его нельзя было спутать ни с чем: великий Хепри, «возникший в своем имени», восходящее утреннее светило, священный символ всех исекеев [1]...

«Посмотрим, что ты скажешь, когда сам очутишься там...»

Два ряда мощных колонн в виде стеблей лотоса поддерживали каменную кровлю, расписанную под цвет ночного неба. Средь звезд и блуждающих светил простирали крылья священные орлы, ибисы и соколы и еще какие-то неведомые птицы с человеческими лицами. Вершины колонн соединялись с крышей посредством узких блоков, не видимых глазу стоящего внизу, так что массивная кровля казалась оторванной от колонн и парящей в воздухе. Гранитные стены испещрены столбцами замысловатых иероглифов, чередовавшихся с высоченными, в шесть-семь локтей, рельефами, повествующими о жизни великой богини и ее чудесных свершениях.

Исида, дочь правителя земли Геба и владычицы неба Нут, прекрасная женщина в солнечной короне, обрамленной коровьими рогами, восседала, поджав под себя ноги, на суфе, расчерченной животворящими крестами «анх». Справа навстречу ей шли боги Нижнего Египта: великий Птах, Сокар, быкоподобный Апис. Слева — владыки Верхнего Египта: Тот, Мин, бог умерших Анубис с туловищем человека и головою шакала. Сцена символизировала объединение Обеих Земель.

Не нужно было углубляться в чудные письмена, чтобы изведать судьбу благословенной богини: сменяющиеся одна за другой картины вели свое повествование.

Вот Исида в паре со своим возлюбленным — братом

---

[1] Исекеи — жрецы Исиды.

Осирисом, сочетающаяся с ним супружеским браком под десницами владык Геба и Ра.

Вот Исида с младенцем Гором, которого она посадила на колени и нежно прижимает к груди. Глаза ее устремлены вдаль, будто она предчувствует надвигающуюся беду.

Вот ужасный Сет, младший брат Осириса, снедаемый черной завистью, обманом завлекает Осириса в западню, нападает на брата, рассекает его тело на четырнадцать частей и рассеивает их по всей земле. Сет и его приспешники ликуют, захватив верховную власть.

Вот Исида с распущенными волосами склонилась перед троном узурпатора и молит пощадить ее сына. Сет безобразен: помесь жирафа, свиньи и осла; на языке его дыхание пустыни, взор не сулит ничего, кроме смерти.

А вот богиня правды Маат указывает Исиде, где коварный Сет зарыл останки ее супруга, и скорбящая богиня отправляется на их поиски.

Подросший Гор, небесный сокол с короной Обеих Земель, вступает в схватку со злобным тираном. Сет поражает его булавой и вырывает глаз Гора — Чудесное Око сына Исиды. Многоумная богиня приходит на помощь любимому сыну, снабжает его священным оружием и научает, как одолеть ненавистного деспота.

Боги Верхнего и Нижнего Египта переходят на сторону Гора. И вот долгожданная победа: могучий Гор повергает Сета, оскопляет пустынного злодея и освобождает мир от его тирании. Исида с воскресшим Осирисом пируют в окружении прославляющих их богов.

В вечернем сумраке, сменившем жаркий летний день, стены быстро темнели, освещаемые факелами, окрашивались в таинственный багровый свет. В дрожащих бликах рисунки на колоннах, казалось, шевелились, оживали, обретали плоть. Огромные изображения царей и богов начинали передвигаться, грозно поблескивая булавами и жезлами, парящие орлы взмахивали крыльями, бородатые быки мерно ступали по расчерченным этажам. Собравшаяся в зале толпа, несмотря на свою многочисленность, казалась мелкой и жалкой рядом с этим царствием небесных сил, придавленной гигантскими стопами звероголовых владык.

Лишь один рельеф оставался для меня необъяснимым. Прекрасная Исида поднимает руки над питомцем своим, венценосным Гором, благословляя его на царст-

вие, а по другую сторону бога-сокола стоит какой-то странный человек, не то герой, не то божество, без короны и жезла, с короткой стрижкой, в длинном жреческом одеянии. На груди у него ожерелье из драгоценных каменьев, на боку меч, похожий на римский гладиус. Одна рука его выдвинута вперед и держит царскую диадему.

В зале стало совсем душно от наполнивших воздух воскурений, смешанных с дыханием тысяч верующих. Бритоголовый жрец, тряся концами леопардовой шкуры, постепенно приходил в неистовство. Обведенные жирной тушью глаза его дико вращались, со лба падали капли пота, тонкие губы кривились в упоительном экстазе:

— О Исида всеблагая! Мы взываем к тебе, яви нам свой светоносный лик! Ты здесь, ты рядом. Тернии объемлют твой божественный стан, прекрасные руки твои в цепях. Тебя стерегут заморские грифоны, укрывая тебя от людей. Где твой единокровный супруг Осирис, где твой защитник Гор? Призови их могучим призывом, брось свой вещий клич!

Храмовники распахнули парадные двери в следующий зал, обнажая внутренние секретные помещения. Люди отхлынули от стен и сгрудились на узком просвете анфилады, торопливо падая ниц. Самые удачливые могли разглядеть за чредой покоев ровный красный свет, заливающий святая святых храма и огромный трон, на котором восседала, сияя золотом, всемилостивая богиня.

Сердце мое сжалось, внезапно пришла догадка. Изображенная на последнем рельефе небожительница — это Клеопатра, благословляющая своего сына Птолемея Цезариона. А странный человек справа с римским мечом на боку не кто иной, как сам Юлий Цезарь, отец Птолемея и третейский судья египетской династии,— дарует своему питомцу диадему и власть над Обеими Землями.

Анфилада снова задернулась занавесями, литания закончилась, и александрийцы подались к выходу. В храме оставались только те, кто был посвящен в таинства. Я подобрался к проходу в следующий зал и стал осторожно наблюдать за тем, как собирается туда священная братия. По одному и по нескольку человек мисты приближались к тому самому бритоголовому жрецу, кланялись, прикладывали амулеты к губам, произносили несколько слов и скрывались за пурпурными

занавесями. С удовлетворением я отметил про себя, что знаю пароль.

12 месоре — день Исиды, отмечаемый повсюду в Египте, от знойной Элефантины до соленого Мареотиса. «Да будет она перевозима всегда на Святое Место в двенадцатый день третьего летнего месяца, с ее сыном Гором... Да приносит она заупокойную жертву своему брату» [1].

Улучив момент, я устроился за спинами троих входящих мистов, с виду похожих на сирийцев. С первого дня пребывания в Александрии я искал путь в заповедный храм, но не думал, что это как-то возможно. Не сказать, чтобы я испытывал вдохновение лазутчика, проникающего в недоступный чертог, или хотя бы отдавал себе ясный отчет в том, что делаю. Перед глазами маячило изображение Исиды с ребенком Гором на руках, удивительно напоминающее Богоматерь с младенцем, в памяти крутились обрывки каких-то древних нильских заклинаний и еще строчка из Апулея: «Совлеки с меня образ дикий и верни меня взорам моих близких...» [2]

Храмовник не мог разглядеть мое низко склоненное лицо, когда я приблизился к нему и протянул на раскрытой ладони заветную печатку; она ничем не отличалась от тессер настоящих исекеев.

— Верный, да пребудет вечно в лоне Исиды...

— Воистину, сын мой,— кивнул жрец в ответ на пароль и освободил проход в следующий зал.

Второй гипостиль уступал первому в размерах, но по богатству и изысканности отделки мог посоревноваться с легендарными святилищами Вавилона и Персеполя. Здесь был заключен союз староегипетской гордыни с эллинскими утонченностью и изяществом.

Все уже было готово для священной трапезы мистов. Мягкие ложа на манер аттических гексаклинов окружали длинные дубовые столы. На почетных местах возлежали мистагоги и служители большого посвящения, вокруг которых мостились младшие оргеоны [3]. Хотя поношенный сирийский кандий на моих плечах не вызывал особых подозрений,— в Александрии много азиатских паломников,— наметанному глазу обнаружить в своей среде чужака ничего не стоило. Посему,

---

[1] Древнеегипетская надпись на острове Филе.

[2] Метаморфозы. XI, 2.

[3] Мистагоги — руководители мистерий; мисты, оргеоны — участники таинств.

во избежание неприятностей, я укрылся в дальнем углу зала в тени одной массивной статуи, решив оттуда наблюдать за происходящим.

Понемногу трапезная оживлялась. Огромная черепаховая чаша обошла круг сотрапезников, и каждый, пригублявший ее, произносил: «Ты — священный напиток Исиды, напои меня, как ты напоил Осириса». Это было не вино, вообще отвергаемое исекеями, но особое ритуальное снадобье. Жрецы-иерофанты прочли какую-то молитву, смысл которой понимали лишь избранные, отвечающие ритмичными взмахами рук и таинственным восклицанием: «Уннефер перр-оо!»

Вслед за этим по всему залу зазвенели систры и погремушки, меж столов возникли ряженые в масках, целиком покрывающих голову. Выход их напоминал чем-то римские лектистернии[1], только вместо неподвижных изваяний за трапезу садились живые божества. Торчащие уши и морда шакала — это Анубис, сопроводитель душ умерших; с изогнутым клювом ибиса — бог мудрости Тот, даровавший людям письмо и научивший счету; с пышной львиной гривой — богиня Сехмет, супруга загадочного и недоступного Птаха. Помимо масок, ряженые не имели никаких одежд, и в этой полуживотной, получеловеческой наготе чувствовалось что-то вековое, первобытное. Во всяком случае, мисты с величайшим почтением встречали каждого из воплощенных богов, считая за честь прикоснуться к их телам или поцеловать протянутые руки.

В убыстряющемся ритме погремушек сотрапезники пришли в движение; уже нельзя было отличить богов от людей — все смешалось в священном танце, полном иносказательных жестов, условных знаков и волнующих телодвижений.

Мне хотелось разглядеть Осириса и Исиду; они должны были заправлять разгоревшейся оргией, но из-за угла открывалась лишь четвертая часть пиршества. Я бесшумно перебежал к ближней колонне, надеясь остаться незамеченным, и уже похвалил себя за ловкость и сноровку, как вдруг кто-то сзади положил руку на мое плечо:

— Что ты делаешь здесь, пришелец?

Я вздрогнул: передо мной стоял тот самый бритоголовый жрец, который пропускал мистов на трапезу. Он

---

[1] Лектистернии (*лат.*) — ритуальные трапезы с участием изображений богов.

проходил мимо и тотчас приметил притаившегося в стороне от людей незнакомца. Наверное, гримаса, исказившая мое лицо, была настолько выразительна, что никаких объяснений жрецу не потребовалось.

— Ты совершил большую дерзость, пришелец, преступив запретную черту. Гнев Исиды страшен. Никто из непосвященных не должен взирать на тайную трапезу ее верного воинства.

В ответ прозвучал мой жалкий лепет:

— Я спустился из Верхнего города... Я не ожидал, что смогу проникнуть сюда... Как мне умилостивить великую богиню?

Египтянин смерил меня рассерженным взглядом, но, видя мое страшное замешательство, сощурил веки и презрительно проговорил:

— Благодари небо, что ты обнаружен мною. Попадись ты «глазам и ушам» богини, сама смерть показалась бы тебе легким избавлением. Но ты не выйдешь отсюда, пока мы не узнаем, что решит насчет тебя великая госпожа. Следуй за мной и не оборачивайся.

Я повиновался и смиренно поплелся за храмовником. В правой стене под барельефом открылся узкий проход, похожий на потайной лаз; как было велено, я прошел в него, не оглядываясь назад. Пустынный холодный коридор вывел в маленькую плохо освещенную крипту[1], стены которой покрывал толстый слой копоти. Но особенно настораживала железная цепь, свисающая с крюка: такие помещения обычно предназначались для истязаний.

Жрец открыл еле заметную дверцу в нише и показал в зияющую черноту:

— Ты останешься здесь, пока за тобой не придут.

И, после того как ноги мои переступили порог, дверь за спиной мгновенно захлопнулась, и воцарился мрак.

Я не стал ни кричать, ни стучать в дверь. Сей закономерный итог ожидал всякого, кто отваживался проникнуть в запретное собрание исекеев; разве я не читал об этом в стародавних текстах? Мертвые тела без единого признака насилия находили далеко от храма, часто даже в недоступных местах, на вершинах гор и в глубоких расщелинах, их вылавливали со дна рек и озер, и у всех одно и то же характерное выражение застывших глаз: в них отображалось раскаяние.

---

[1] Крипта — келья, маленькое помещение в храме.

Продвигаясь вдоль каменных стен, я определил, что помещение замкнутое и глухое, наподобие капуанских мегарумов[1], где радеют неофиты. Я не решался пересечь комнату поперек, опасаясь упасть в колодец, который иногда устраивают в подобных камерах, и почел за лучшее примоститься на корточках у стены. Вскоре мне пришлось убедиться, что холодные камни — не самое большое испытание. Откуда-то снизу исходили густые пары, насыщавшие комнату сладковатым дурманящим запахом, так что через час или два попавший сюда человек был уже не в силах устоять или усидеть, но, точно опьяненный, вытягивался на полу плашмя.

Счет времени пропал для меня. Перед глазами поплыли радужные круги, что-то больно застучало в голове, в стесненном мозгу со скоростью вихря понеслись одно за другим непонятные и тревожные видения. Я гнал от себя галлюцинации, но они наваливались вновь. То чудилось, что в комнате горит яркий свет и она полна народу, доносились чьи-то голоса, звучали погремушки, то вдруг казалось, что я мчусь в непроглядном нескончаемом тоннеле от одной пустынной станции до другой, двери не раскрываются, и поезд все убыстряет ход, несясь навстречу обещанному концу света.

Не случайно же ведь они забрались под землю?

«...Она дает вам, людям, последний шанс на спасение, кто не примет Ее своим сердцем и не покается в своих грехах, кто поклонился Сатане, который уже вошел в полную силу и ходит по земле под именем Эммануил...»

В беспредельной мгле зажигались и гасли два огромных змеиных глаза хмурого Нехебкау, стоящего у входа в подземное царство; они манили, притягивали к себе, и тогда я начинал стонать, путая латинские молитвы с греческими, сбивался и начинал вновь:

— О Исида, Матерь Сущего, я пришел к тебе вкусить твоей милости, чтобы ты открыла мне свет своей веры. Я пришел узнать твое настоящее имя, спасительное для смертного, и претерпеваю все это ради тебя...

«Разговор богов», III в. (Приписывается Апулею.) О Египет, Египет! О твоем служении богам сохра-

[1] Мегарум — подвальное помещение для самоистязаний.

нится лишь молва, да и та будет казаться твоим грядущим поколениям невероятной. Сохранятся лишь слова на камнях, которые будут рассказывать о твоих благочестивых подвигах, а в Египте будут жить скифы, или индусы, или какой-нибудь иной народ из соседней страны варваров. Будут введены новые правила, новый закон; и не будет слышно, даже в помыслах ни у кого не будет ничего святого, ничего богобоязненного, ничего, достойного неба и небесной жизни. Наступает прискорбное удаление богов от людей, и только злые ангелы останутся и смешаются с человечеством.

ΦΟΣΦΟΡΟΣ

Может быть, ты страстно захочешь узнать, усердный читатель, что там говорилось, что делалось? Я бы сказал, если бы позволено было говорить, ты бы узнал, если бы слышать было позволено. Но одинаковой опасности подвергаются в случае такого дерзкого любопытства и рассказчик, и слушатель.

Апулей. «Метаморфозы»

— О Исида, Матерь сущего, я пришел к тебе вкусить твоей милости, чтобы ты открыла мне свет своей веры. Я пришел узнать твое настоящее имя, спасительное для смертного, и претерпеваю все это ради тебя...

— Что ты тут бормочешь себе под нос? Поднимайся и выходи! Пророчица Инана желает поговорить с тобой.

На пороге комнаты высился знакомый уже бритоголовый жрец, из-за спины которого выглядывало еще одно лицо, не то стражника, не то каннефора [1].

Публий поднялся, откашливаясь и отдуваясь, с трудом преодолевая сильнейшее головокружение.

— Сейчас день или ночь? Долго я сижу в этом узилище?

— Без разговоров! Мы отведем тебя куда следует.

Пророчица храма сидела в теплой келье, скрытая от глаз за пурпурной занавесью, оставлявшей небольшую темную щель. Она видела всех, ее не видел никто. Публия поставили на колени и пригнули голову почти

[1] Каннефор — «корзиноносец»; храмовая должность.

до пола, так что он едва не стукнулся лбом о каменные плиты.

— Так вот ты каков, спутник Цезаря,— раздался где-то наверху глуховатый тягучий голос, в котором снисходительность соперничала с любопытством.— Что же ты искал в обители великой богини? Для чего ты подглядывал за трапезой наших братьев? Ужели ты думал, что владычица не ведает, какие гости навещают ее?

— Он проник в собрание обманом и хитростью,— проворчал за спиной бритоголовый жрец.— Мы не сразу распознали чужака. При входе он предъявил священную печатку. Взгляни, госпожа: вне сомнений, она изготовлена в нашем храме. В Риме была только одна такая тессера — у Сосигена. Он мог передать ее лишь своему преемнику. Отвечай, осквернитель мистерий, где ты раздобыл печатку?

После холодного узилища натопленная келья показалась Публию совершенно непригодной для дыхания. Он уперся руками в пол, чтобы не повалиться на бок, и, смешно мотнув головой, проговорил:

— Амулет достался мне от отца. Я сын Корнелия Долабеллы...

— Ну и что? Это дает тебе право вторгаться в наш храм?

— Я сын Корнелия Долабеллы,— повторил Публий увереннее.— В Риме имя это известно среди исекеев. По настоянию моего отца старший Цезарь повелел восстановить храм Исиды на Марсовом поле. Спросите у сведущих людей... Отец погиб, когда я был подростком, но то, что он успел передать мне из своей веры, навсегда осталось со мной. Смерть помешала ему приехать в Александрию, чтобы принять здесь большое посвящение. Теперь я прибыл вместо него...

Публий сбился и замолчал. Щелка между занавесями немного увеличилась, сидящая там женщина повнимательней разглядела римлянина.

— Не хочешь ли ты сказать, чужеземец, что ради памяти отца ты воспользовался близостью к Цезарю и притащился в Египет, пряча под шлемом колпак смиренного паломника?

— Выслушайте меня,— с усилием вымолвил Публий, качаясь, будто на палубе несущейся триеры.— Многие годы, с самого детства, меня учили повиноваться жестоким и грозным богам, подобным пучку фасций; они требовали жертву за жертвой, и я платил им сполна...

Но сердце мое тянулось к той, которая шептала слова любви и надежды. Единственная цель моего прихода сюда — приобщиться к служению великой богине и снискать ее доверие. Это завещание мне от отца...

Пророчица надменно хмыкнула на возвышении:

— А ты не боишься, что не вернешься к своему Цезарю? Что тебя поглотят эти толстые стены и даже праха не найдут твоего?

Публий вновь оперся на руки, вздрагивая, словно кто-то колотил его палкой по бокам, и сделал глубокий вздох:

— Мне жарко... Нечем дышать...

— Скоро тебе будет еще жарче, римлянин! Совсем горячо! Ты пришел посвятить себя великой богине, так готовься пройти испытательный круг. Или ты не ведал в Риме, что перед посвящением неофит выдерживает дни поста?

Публий промолчал. Он и в самом деле последние недели не питался как следует. Еще в Синае его схватила изжога, отвратившая от мяса и вина.

— Мне снизошло повеление Госпожи,— сказала женщина стоящим жрецам.— Этот человек да будет поведен с того места, куда он дошел по воле судьбы. Совершите над ним все, что полагается для первого посвящения.

Эти слова вернули Долабеллу в чувство. Он услышал, как сильно забилось его сердце. Ничто так не пугает и не испытывает воображение, как сбывшаяся надежда.

Его отвели в затененную купальню, где в каменном углублении плескалась мутная нильская вода, еще не отстоявшаяся от глины и ила, принесенных с верховьев Гермополя и Абидоса. Два храмовых мальчика в голубых хитонах со священными уреями на лбу помогли ему раздеться и спуститься по скользким ступеням в прохладный бассейн. Публий исполнял все приказания с покорством добровольного пленника, вверив разум и волю начертанной стезе.

И с искренностью, неожиданной для самого себя, повторял он за жрецами строки первой посвятительной молитвы:

О светлая богиня, великая мудростью и волшебством!
Я открываю тебе свою душу, страждущую света,—
Прими ее и сделай недоступной для тьмы!
Я очищаюсь пред тобой от всего, что пристало ко мне
в прошлой жизни;

Она отсечена и отброшена ради приближения к твоему лику.
Омой мои члены, что устремились к тебе в великой страсти,
Возьми их в залог моего преданного служения тебе
И повелевай ими, как требует вера твоя.

Выходя из бассейна, Публий на мгновение увидел себя в начищенном до блеска медном светильнике: по дрожащему телу его стекали холодные капли; болезненной бледностью и худобой оно резко выделялось на фоне твердокаменных изваяний, тесно обступивших проход в следующее помещение.

Это был тусклый, мрачный и пустынный зал, пол которого устилала грубая мозаика. Нельзя было определить, как он высок и каковы его пределы. В самой середине высился какой-то монумент, испещренный магическими знаками. Вначале он казался бесформенной глыбой, и только привыкшие к полутьме глаза начинали различать очертания огромной коровы из цельного амазонита, меж рогов которой застыл круглый шар, точь-в-точь как солнечный диск на венце Исиды.

Мальчики подвели Публия к монументу и велели обежать его слева направо семь раз. Этот неловкий бег по невидимому кругу в гулком зале, в бликах неземного свечения отнял у него ту решимость, с которой он начал посвящение, и поверг душу в смятение перед зоркой полутьмой и неизвестностью, окружившими со всех сторон. Он устыдился своей наготы, открытой неизвестно каким взорам, хотя ничего подобного никогда не испытывал на Луперкалиях[1], когда не раз бежал обнаженным в толпе молодых патрициев, стегая встречных ремнями из сыромятной кожи.

Храмовники сами остановили его, уже шатающегося и готового упасть. Ему велено было лечь животом вниз на жесткую циновку, расстеленную перед величавым монументом, сомкнуть пятки и сложить ладони лодочкой у подбородка. Они окропили его пахучей коровьей мочой, взятой, как ему показалось, прямо из-под амазонитовой скульптуры, и быстрым речитативом произнесли волшебные заклинания. Затем перевязали ему шелковыми ленточками руки повыше локтей и икры ног, сильно, чуть ли не до боли, стянув жилы.

— Лучезарная Сотис, душа величества Исиды, священная корова богини, дающая жизнь всему сущему,

[1] Луперкалии — римский праздник, в ритуал которого входил и бег обнаженных молодых людей из знатных фамилий, стегающих прохожих ремнями. Тот, кого коснулся ремень, по поверью, становился счастливым.

вскормившая людей, супруга могучего Гора, сына Осириса, окропляет тебя живительной влагой своей плоти, повязывает на тебе знаки своего благоволения и нарекает тебя именем Осириса, возлюбленного великой богини, чтобы ты вкусил его испытания и одолел три священные стадии, как подобает посвященному.

Не в силах совладать с головокружением, Публий воспринимал все происходящее как в тумане, будто находился под наркозом или был загипнотизирован храмовой полутьмой. Она подчинила его себе без остатка.

Его провели в другое помещение, обставленное более богато, чем это можно было ожидать в египетском святилище. Среди обелисков и изваяний теснились жрецы, будто бы только что сошедшие с настенных рельефов: длинные льняные юбки, обтягивающие бедра и ноги до пят, бритые головы, блестящие от мазей, брови и уголки глаз, продолженные тушью до висков. В их отточенных, подчеркнуто размеренных движениях почти осязаемо проступал дух древней магии, полной презрения ко времени и пространству.

Публия придвинули к низкому жертвеннику, который с четырех сторон обнимали крыльями каменные орлы, и подали чашу с буро-зеленым напитком, один глоток которого всколыхнул всю его кровь. Ему почудилось, что пламя светильников вспыхнуло ярче, в зале открылось то, чего он раньше не заметил, все предметы вокруг, казалось, обрели живую плоть и уже вместе с ним в один голос изрекают священный стих:

О **светоносная** богиня, великая мудростью и волшебством!
Ты царишь в сердце моем и повелеваешь моими членами.
Я, поднявшийся по зову твоему и вставший за тебя,
Принявший лик Осириса и разделивший его имя,
Я, верный воин твой, борющийся с владыками Тьмы,
Во славу благого имени твоего, о богиня!
Я вступаю в смертельную схватку с Сетом,
Дабы воссияла вера твоя от края до края.

Один из жрецов, отделившись от группы (на его старшинство указывал посох, который он держал в руке), приблизился к Публию и громко спросил:

— Ты, вступающий в воинство великой богини, поднимешь меч свой на противника веры, владыку Тьмы Сета?

Публий испугался его зычного возгласа, передернулся от резкого, режущего слух вопроса и отвечал хрипло, нечленораздельно, плохо владея своим языком:

— Я поднимаю меч за веру Исиды...

Жрец взял его за руку, подвел к своим собратьям и, поставив его перед лицом всех, повторил:

— Я, Хелидон, предводитель жрецов Исиды, спрашиваю тебя: поднимешь меч свой на столпов Тьмы?

— Да,— отвечал Публий как можно яснее, хотя его била дрожь и зуб не попадал на зуб.

Жрец в третий раз повторил вопрос (видимо, так входило в ритуал посвящения), и Публий снова ответил «да», уже в каком-то животном исступлении, которое сообщил ему напиток Исиды.

Храмовники только этого и ждали. Двое из них вдруг расступились в стороны, открывая в нише невысокую, подвязанную к столбу статую какого-то божества, и стоящий за спиной жрец выкрикнул, точно ткнул в спину:

— Вот ненавистная плоть Сета! Порази ее!

Публий сжал в руке поданный кем-то нож и тут же, не помня себя, кинулся на обнаруженного врага. Он почувствовал, как лезвие вонзается во что-то мягкое, совсем как человеческое мясо, спешно выдернул кинжал и увидел, как тонкие кровавые струйки побежали по бьющемуся в агонии животу. Он еще не успел сообразить, что это было, не успел прийти в себя от совершенного, как собравшиеся оглушили его восторженным, даже каким-то злорадным воем:

— Он убил его! Он убил его!

Публий выронил оружие, втянул голову в плечи и отступил на несколько шагов, прерывисто отдуваясь и водя по залу красными опухшими глазами. Что-то оборвалось внутри, под сердцем, распалась некая невидимая цепь, и шестое чувство подсказало ему, что он переступил через грань, после которой возвращение назад невозможно. Отныне он уже никогда не станет таким, как прежде, до того, как пришел в этот храм и подверг себя испытаниям.

Он забыл почти все, что было в прошлой жизни; она представлялась не жизнью даже, а долгим беспробудным сном, который вот сейчас развеялся как дым. Оставалась лишь тень отца и его голос, тихий и вкрадчивый, когда он приводил его, шестилетнего отрока, в египетскую кумирню на Эсквилине и ставил на колени перед каменным алтарем: «Не поклоняйся богам блаженно-счастливым: их много, но они — дым. Поклоняйся той, которая испытала несчастья и любовь, страдания и боль, которая претерпела и вознеслась над миром. Это Исида, супруга Осириса, матерь Гора».

О небо, неужели и отец прошел через это?!

— Владычица жизни принимает тебя в свое воинство,— сказал Хелидон.— Боги и люди были свидетелями твоего деяния. Воистину, ты поднял меч и доказал свою веру! Закончился круг Осириса Сияющего. Ты вступаешь на круг Осириса Мертвого.

Публий догадывался, что это значит. Он уже видел нечто подобное на стенных росписях, встречающихся повсюду. И он ничуть не удивился, когда ему показали маленький низкий лаз, почти что печную трубу, выдолбленную в храмовой стене, и повелели ползти по ней туда, куда она выведет.

Ему не о чем было жалеть: ведь прошлого уже не существовало для него. Ему нечего было бояться: ведь он следовал по стопам Владыки Вечности. Он хотел поскорее покинуть ту яркую комнату, полную людей, где он преступил заповедную грань и пролил кровь. Его манил узкий и тесный лаз, должный вывести в преисподнюю. Его узость и теснота дразнили и возбуждали каждую частицу плоти, каждую искру воображения.

Лаз вскоре сузился так, что Публию едва удавалось протискиваться меж шершавых и отчего-то нагретых стенок, обжигающих ему плечи и бока. Дыхание спирали клубы горячего пара, глаза туманились и слезились от едкой влаги, будто в самом деле это была печь и его хотели изжарить живьем для стола грозной богини. Публий слышал как-то, что жрецы фригийской Кибелы истязают себя на мистериях тем, что ложатся в печи и котлы и жарятся там до тех пор, пока не обуглится кожа. До сих пор он не видел в этом смысла, тогда как разгадка очень проста: это умерщвление плоти — начальная ступень схода в загробный мир.

Он уже не помнил, как кончился мучительный лаз и колени заскользили по влажному горячему полу некой комнаты, чем-то напоминающей разогретую парильню. Тут перед ним предстала пара ног, обутых в кожаные сандалии, и он узнал голос Хелидона:

— И сказал коварный Сет владыке Осирису: «Брат, я позвал тебя в этот дворец, чтобы мы возлегли и попировали во славу твоего имени». И он возлег на ложе рассекновения. Так совершилось задуманное владыкой Тьмы, и принял Осирис смерть от руки Сета.

Чьи-то сильные руки подняли посвящаемого, будто приготовленного к закланию, растянули лицом вверх на высокой каменной плите, такой же влажной и горячей, как и стенки лаза. Публий увидел над собой двух не-

обыкновенно рослых атлетов, могучее телосложение которых могло привести в трепет любого олимпийца. Но это были не мужчины, а женщины — чернокожие жрицы-эфиопки, служившие храмовыми массажистками.

Сначала они легонько, словно играючи, подергали его за ступни и кисти рук, как бы пробуя на прочность обожженные конечности, затем натерли с головы до ног жирной пахучей мазью. Под их сильными мнущими пальцами его тело размякло как тесто, кровь свернулась в жилах, так что он уже не чувствовал ни рук, ни ног, ни биения сердца, и если бы в эту минуту его насквозь пронзили иглой, он даже бы не вскрикнул.

Необыкновенная легкость и невесомость, та, что приходит в детских радужных снах, сообщилась его до того блуждавшему и стесненному духу; он, казалось, испаряется сквозь поры безжизненной плоти и медленно поднимается вверх вместе с парами. Это потустороннее таинство отделения души от тела, испытываемое смертными только раз, уже за порогом жизни, вменялось неофиту в начале пути, чтобы он заранее узнал секрет смерти и стал от этого стоек и мудр.

И уже совсем как в преисподней, глухо прозвучал голос ведущего жреца:

— Ты, который вступил на путь владычицы жизни, узнай, что есть жизнь и есть смерть, вкуси терзания Осириса, владыки мертвых, как он прошел этот круг. Будь рассечен на много частей, которые умрут, чтобы отрешиться от греха, обратиться к свету, собраться и ожить, омытые слезами великой богини и спасенные ее заклинаниями. Тем ты познаешь ее любовь, выше которой нет,— любовь матери и жены,— и, осененный ее благоволением, ты возродишься к новой жизни, уже без трепета перед смертью и страха перед Тьмой.

Массажистки ребром ладони прошлись по окаменевшему телу (наш герой воспринимал это как далекую, почти не касающуюся его вибрацию), затем резким движением потянули его к себе,— он легко скользнул по мокрой плите и оказался на поставленных рядом носилках. Публий с удивлением обнаружил, что видит свою плоть со стороны, словно бы посторонний зритель. Это было в высшей степени необъяснимо, тем более что покинутое тело выглядело мертвым, а сознание продолжало жить как-то отдельно, само по себе, лишенное вместе с телом всего, что обременяло его в жизни: боли, страдания и страха.

Между тем носилки с мертвым телом медленно удалялись в глубину комнаты. Публий испытывал странное состояние, чувствуя себя **и тем, что осталось, и тем, что исчезало.** Только краем глаза он заметил, как носилки поставили возле темной прорези в стене, похожей на крепостную бойницу, и как оттуда вдруг вытянулась чья-то мохнатая когтистая лапа, проворно сграбастала хрупкое тело и утащила за собою в щель.

Нашему герою доводилось слышать разные мнения: одни говорили, Сет рассек Осириса на четырнадцать частей, другие — на сорок. То и другое было для него малосущественно, особенно теперь, когда он с равнодушной обреченностью следил за исчезновением своей плоти, в десятой доле не представляя, что произойдет с нею дальше. Разум уже был готов последовать за носилками в ту таинственную и жуткую щель, как властная ладонь жреца, коснувшаяся воспаленного лба, пресекла бездумный порыв.

— Сейчас ты предстанешь перед ликом великой богини. В глаза тебе ударит яркий свет,— не пугайся: то выход из Тьмы в чертог Света и начало твоего возрождения. Тебе откроется подлинный образ владычицы жизни. Знай, она зовется Исидой лишь для непосвященных,— настоящее имя ее тебе подскажет твое сердце. А пока соберись с духом и повторяй за мной слова третьей посвятительной молитвы:

Вот я, Осирис рассеченный, взываю к тебе из Мрака;
Тело мое мертво и погребено в пучинах...
Собери и оживи его своей великой любовью!

Пока Публий, как ему казалось, изрекал членораздельные звуки, его самого — во всяком случае, то, что осталось,— возложили на металлическую пластину и под звуки систра, исходящие неизвестно откуда, сдвинули с прежнего места. Наверху поплыли, сменяясь, темные высокие своды, все быстрее и быстрее, пока вдруг не расступились, открывая взору необъятное небо, и вокруг стало совсем светло, как солнечным днем.

Слепящее сияние напугало его, привыкшего к сумеркам, и трепет охватил его дух, возносящийся к небесам. Кто бы мог подумать, что долгожданный выход из Тьмы посеет в чувствах такое смятение? Нечто подобное, верно, испытывают умершие после погребальных обрядов, попадая на суд богов.

Публий увидел перед собой высокий, сверкающий золотом трон, подножие которого охраняли белоголовые

грифоны. Поверх их распростертых крыльев на мраморной подставке покоились две маленькие розовые ступни, обутые в изящные царские сандалии. Ноги повыше плотно укутывал серебристо-голубой калазирис, перетянутый на поясе красным шарфом. Публий поднял глаза и едва не вскрикнул от изумления. На троне сидела Клеопатра.

Сквозь нестерпимые лучи явственно, будто рифы под волнами, проступал знакомый овал царственной головы, увенчанной короной Исиды, длинная надменная шея, остро закругленные плечи и оголенные, по древнему обычаю, груди. Было совершенно непонятно, как очутилась она здесь, в то время как должна сидеть под надзором бдительных преторцев, и что за необъяснимая хитрость вынесла ее из закупоренных покоев Северного дворца.

Все смешалось в мыслях римлянина, перепутались пути и помещения, имена и лица, и то стройное, что еще держалось в голове, потекло и растаяло под лучами пылающего солнца.

— Чем же ты удивлен, Корнелий? — донеслось с высоты.— Разве, изучая сотни раз мой портрет, ты не находил сходства с тем, что отец показывал тебе в египетских кумирнях? Разве, направляясь сюда, ты ждал встретить кого-то другого? Отчего же теперь ты оробел?

Клеопатра звонко рассмеялась. Публий отчетливо слышал ее смех, но не мог понять, откуда он исходит: губы царицы оставались неподвижны.

— Да, я Матерь всего сущего, но я и женщина, живущая на земле. Я давно слежу за тобою. Я сделала так, что ты покинул отеческий кров и пустился через великое море в мою южную страну, чтобы предстать предо мною. Я привела тебя сюда. Все, что ты делал, происходило по моей воле, и что скажешь сейчас, внушено мною.

— Я в твоей власти, великая госпожа,— пролепетал покорный неофит.— Чем я могу служить тебе?

— Ты станешь на место своего отца,— сказала она,— и будешь, как он, распространять мою веру среди сородичей. Это дело, которому ты посвятишь свою жизнь, пренебрегши утехами тварного мира. Сейчас ты закончил первый круг, узнал мое настоящее имя, и в сердце твоем больше нет сомнений. По возвращении в Италию ты пройдешь второе посвящение и тогда станешь обладателем полного знания обо мне и Предвечном Логосе. Это знание сделает тебя неодолимым. А те-

перь отправляйся на землю, где ты был, и ничего не бойся: отныне ты под моим покровительством.

Сказав это, она сверкнула очами и растаяла в сиянии света.

* * *

РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЙ ГЛАВ

Греч. назв. планеты	Перевод	Совр. назв. планеты	Персонаж
ΗΛΙΟΣ	Гелиос	Солнце	Октавиан-победитель
ΣΕΛΗΝΗ	Селена	Луна	Клеопатра пленная
ΠΥΡΟΕΙΣ	Огненно-красный	Марс	Ирод
ΣΤΙΛΒΟΝ	Мерцающий	Меркурий	Октавиан-юноша
ΦΑΕΤΟΝ	Блистающий	Юпитер	Долабелла
ΦΟΣΦΟΡΟΣ	Светоносная	Венера	Клеопатра-Исида
ΦΑΙΝΟΝ	Сияющий	Сатурн	Октавин-правитель
ΟΥΡΑΝΟΣ	Уран	Уран	Антоний мертвый
ΠΟΣΕΙΔΩΝ	Посейдон	Нептун	Клеопатра-Филида
ΠΛΟΥΤΩΝ	Плутон	Плутон	Арий Дидим
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ	Персефона	Прозерпина	Клеопатра мертвая
ΧΕΙΡΩΝ	Хирон	Хирон	Октавиан-актер

ΦΑΙΝΟΝ

...Августу, единоначальствующу на земли... многобожие идолов упразднися...

Православная стихира

Сухое подземелье, где очнулся Публий, ничем бы не отличалось от римских подвалов, каких полно в старой части Авентина, если бы не гранитная кладка стен и узкие прорези в потолке, через которые просвечивало пыльное африканское небо. Он проснулся оттого, что солнечный луч скользнул по его лицу; его разбудил уходящий за горизонт багровый Ра-Атум.

Первая мысль, пришедшая в голову: его хватились и ищут сослуживцы. Они обшарили его комнату, и любезный Квинт Деллий заверил, что не видел своего молодого друга со вчерашнего утра. Но со вчерашнего ли? Сколько времени он вообще находился в храме? Какое сегодня число?

Публий вскочил на ноги. Во всех суставах ломило, тело испытывало такое состояние, будто его мяли под прессом, а на запястьях были заметны синяки и отпечатки чьих-то пальцев.

Удивительное дело: при всем этом в голове римля-

нина царили полная ясность и какое-то необычайное просветление, словно грешную его плоть членили и терзали только затем, чтобы высвободить скованный в ней дух. Публий не помнил, что делали с ним жрецы в душных храмовых казематах, зато мог повторить слово в слово любую из молитв, посвященных Исиде, или, при желании, даже прочесть наизусть «Илиаду», которую он слушал целиком только один раз, будучи еще несмышленым отроком.

Впрочем, даже если его и хватились, то искать особо не будут. Кто без него не может обойтись? Все контуберналы — только временные попутчики, с которыми его свела воля случая; приятелей он так и не завел. У него никогда не было настоящих друзей, в кругу сверстников его считали замкнутым и нелюдимым. Даже на его свадьбе гуляли лишь соседи да родственники Эмилии. Гости дивились, насколько сын отличен от своего прославленного родителя, бывшего на короткой ноге почти с половиной Рима. Долабелла-младший предпочитал общество стариков и старух: среди пылких молодцев молчаливый и вечно задумчивый юноша чувствовал себя неуютно.

«Не бойся быка норовистого, а бойся смирного,— говорили в Риме.— Норовистый быстро приручается, а от смирного не знаешь чего ждать».

Отцовский амулет с печаткой Исиды вновь висел на шее неофита. Путь от сухого подвала до Южного дворца он проделал в мгновение ока: ему стоило лишь перемахнуть через невысокую изгородь, отделяющую священный двор от царского.

Прямо перед дверьми Октавиана он увидел почти всех императорских контуберналов: столпясь на пороге, они о чем-то громко спорили и размахивали руками. Публий спрятался за кустами и долго прислушивался к пересудам, пока не убедился, что говорят не о нем. Только после этого он покинул убежище и решился показаться на глаза сослуживцам.

Мощный баритон Луция Писона перебивал нестройный хор голосов:

— Друзья, это неслыханно! Он еще смеет дуться и изображать из себя невинную овцу,— он, который потерял голову от первой юбки и бросил нас всех на алтарь Фурийцу. Его выгнали из войска... Радуйся, что не получил в зад ерша! [1]

---

[1] Расправа с блудодеем.

Слова эти адресовались долговязому юноше, понуро застывшему посреди круга. Это был Гай Геренний, сын консула 20 года, ветреный молодец с женскими чертами лица, чем-то напоминающими праксителевского Эрота. Не в меру отпущенные и причудливо завитые волосы свидетельствовали, что он более озабочен своей внешностью, нежели тяготами службы. Война была для него очередным светским развлечением — вроде цирковых скачек или Троянских игр на Марсовом поле.

— Умереть мне без отмщения, никого я не закладывал... Вы все из того же теста, только хитрее. Мне просто не повезло: вам выпала «Венера», а мне «собака»[1].

— Я устал с тобою спорить,— отмахнулся Писон, оглядываясь вокруг.— Вот идет Долабелла, он растолкует тебе, несчастный, какая «Венера» тебя укусила.

— Корнелий! Корнелий! — закричали контуберналы.— Скорее к нам! Мы в опасности!

Шумная ватага метнулась навстречу Публию и оглушила его пронзительными голосами. То были отпрыски самых древних фамилий, какие только помнил Рим, одно имя которых внушало простонародью благоговейное почтение. Впрочем, скоро обнаружилось, что это всего лишь безбородые юнцы, только вчера вылезшие из пеленок, с чисто мальчишеским честолюбием и замашками популярных эсквилинских актеров. Публий среди них был едва ли не самым старшим.

Из всего сказанного наш герой понял лишь, что прошлой ночью никто из друзей не ночевал во дворце. Надо же было случиться, что именно в эту ночь Цезарю потребовались зачем-то его контуберналы. Посланный им отпущенник Тирс обошел все комнаты и, никого не найдя, доложил об их исчезновении. К счастью, большая часть пропавшей гетерии резалась в кости в ближней таверне, так что контуберналы в короткий срок смогли очутиться перед императорскими дверьми. Вместо выговора их встретило молчание, что уже считалось дурным признаком. Друзья мигом отрезвели и сникли как трава перед грозой.

— Хуже всех досталось Гереннию,— сочувственно улыбался Вибий Виск.— Еще третьего дня он умчался встречать прибывшую из Эфеса актрису Ликениду и

---

[1] Термины игры в кости: «Венера» — хороший бросок, «собака» — плохой.

так заприветствовался, что его не отыскал бы и сам Аргус[1]. Может, Геренний большой знаток в венериных поясах[2], но на службе сущий профан. По возвращении ему хватило везения попасться на глаза Фурийцу, и на вопрос, где он был, ничего другого не придумал, кроме как описывать прелести эфесской пляски. Гром грянул незамедлительно. Геренний отчислен от войска, и боюсь, то же самое ожидает всех нас. Так рушатся великие царства!

Виновник столпотворения сокрушенно мотнул головой и развел дрожащими руками:

— За что?.. Я виновен столько же, сколько Персей, Адонис, Менелай и все те, кто не устоял перед женскими чарами. Неужели он никогда не увлекался актрисами? По-моему, наш патрон ужасный женофоб и притом скряга. Оглянуться на прелестное создание иного пола для него равносильно преступлению.

— Если бы он оглядывался на каждую юбку, то никогда не стал бы императором,— продолжал Вибий Виск.— Неужели ты не понял, Геренний, что долголетнему мотовству и распутству римлян наступает конец и Цезарь вовсе не шутил, заявляя в Риме, что отберет кубки и похотливые ложа и даст взамен соху и меч.

— Это уже становится невыносимым. Если так пойдет и дальше, то скоро, клянусь Диоскурами, он будет, словно Катон, отчислять из сената за один поцелуй. Он хочет жить, как его предки: надевать тогу на голое тело, ходить в домотканом рубище и стричься под Сципиона[3]. Для чего тогда мы завоевали Египет?

— Да уж не для того, чтобы ты отращивал пышные локоны и вел непрерывные баталии в постелях актрис. Вспомни, слуга Бахуса, как отец напутствовал тебя в дорогу: когда-то Греция одолела своих победителей соблазнами, смотри, сынок, чтобы это не повторилось в Александрии.

Геренний мрачно усмехнулся:

— Вольно́ же рассуждать старикам, когда повылезали волосы и выкрошились зубы. Отцы застали еще то время, когда можно было полжизни болтаться себе в удовольствие где-нибудь на Родосе или в Афинах. А мы с малолетства ведем гражданские войны одну за другой и видим мир сквозь прорези шлемов. Их мама-

---

[1] Аргус (*греч.*) — стоглазый великан, сын Геи (Земли) (*миф.*).
[2] Т. е. в искусстве любви.
[3] Известно, что Сципион Африканский стриг голову наголо.

ши приводили им рабынь в постельку, а наши не ведают, бодрствуем ли мы или уже спим в объятиях Аида.

— Довольно вам! — вмешался снова Луций Писон.— Не время сейчас читать нравоучения. Геренний пострадал за всех нас. Если мы не вступимся за него, цена нам — медный асс. Мы опозоримся перед всем Римом: потерять должность на войне, да еще после победы!..

— Надо идти к Цезарю! — подхватили контуберналы.— И сейчас же, пока Геренний не вычеркнут из списков.

— Правильно! Только вперед пустим Долабеллу. Он в чести у Цезаря. Если кого-то из нас он и станет слушать, так это его.

— Верно, порази его гром! Корнелий, вперед! Ты единственный, кого не в чем уличить.

И, вытолкнув перед собой Публия, еще не успевшего свыкнуться с возложенной на него ролью, шумная гетерия устремилась в покои Октавиана.

Уже в коридоре, в двух шагах от императора, перед носом контуберналов скрестились копья испанских стражников. Два рослых силача совершенно заслонили собою проход.

— Что это значит?! — вспылил Луций Писон.— Вы что, безродные наглецы, не узнаёте нас? О Марс-Мститель, явись и погляди, как какие-то иноземцы не пропускают друзей императора!

— Никого не велено пускать,— ответствовала хмурая стража.— У Цезаря совещание.

— С кем он там совещается? Сколько можно заседать? Никогда не бывало, чтобы контуберналов Цезаря держали за дверьми! Может быть, бандитское отребье, вы взяли его в плен и прячете от людей, как Клеопатру? Клянемся Минервой, если вы не расступитесь, мы проложим себе путь оружием!

— Уходите по-хорошему...

— Они еще смеют угрожать, мятежные туземцы! Недобитки Вириата[1]! Хорошо, пусть пройдет один Долабелла. Дайте ему дорогу!

Испанцы остались невозмутимы:

— Пока не будет разрешения, сюда не пролетит даже муха.

— Это кто мухи?! — взревел Писон.

---

[1] Вириат — вождь испанцев II в. до н. э., оказавший римским завоевателям ожесточеннейшее сопротивление.

— Мечи в руки! — подхватили контуберналы.— Слава императору! Смерть или спасение!

— Отчего шум? — раздалось вдруг за спинами испанцев, когда схватка казалась уже неминуемой.—

О старца Кадма юные потомки,
Зачем толпитесь здесь, у алтарей,
Держа в руках не ветви, но оружье?..[1]

Слегка раздвинув стражей, из покоев Октавиана выступил военный трибун Секстий Квиринал. Он сразу понял, в чем дело, но притворялся удивленным, чтобы не угодить меж двух огней.

— Секстий! — воскликнули обиженные контуберналы.— Это предательство или мятеж? Нас не пускают к императору!

— Тс-с!..— приложил трибун палец к губам и поманил молодцев за собою во двор.

Страусиная походка трибуна сообщала такое значение и важность, что друзья тотчас прониклись серьезностью обстоятельств. Секстий был немногим старше их, но более высокий пост позволял ему кривляться и важничать перед молодыми сослуживцами. Публий давно не выносил его.

— Ну? — молвил Секстий во дворе, щегольски поигрывая цепочкой плаща.— Зачем вы ломились как критские быки в столовую Цезаря?

Контуберналы окружили его, наперебой рассказывая о несчастье своего товарища и прося принять участие.

— Наивные юноши,— обронил трибун свысока,— вы думаете, Цезаря занимают ваши потешные выходки и мальчишеские проказы? Орел не ловит мух[2]. Ему теперь не до вас. Вы нечаянно угадали, сказав о мятеже. Открою под великим секретом: дурные вести из Рима. Я сам не знаю еще толком, что там случилось, только ходит слух, что раскрыт какой-то заговор, в котором замешаны видные сенаторы. В городе большое волнение, и не исключено, что весь он «наполнен фимиамом, и моленьями, и стоном»[3].

— Ты шутишь, Секстий?! — усомнился встревоженный Вибий Виск.

— Если бы это было шуткой, вам не пришлось бы

[1] *Софокл.* Царь Эдип. 1—3 (стихи слегка изменены сообразно случаю).

[2] Римская поговорка.

[3] *Софокл.* Царь Эдип. 4—5,

атаковать испанцев, а Цезарь не собрал бы в такой спешке легатов и не оцепился усиленной стражей. Я слышал из разговоров, во главе заговора стоит Лепид Младший, сын великого понтифика. Тут уж не до смеха. Так что утрите слезы и забудьте о ваших глупых похождениях. Не сегодня завтра поход.

Контуберналы бросили Геренния и окружили трибуна плотным кольцом:

— Что же происходит в Риме? Расскажи подробнее.

— Я сообщил все, что знаю,— отрезал Секстий.— Пожалуй, что и лишнее. Советую вам помалкивать об услышанном и вести себя как ни в чем не бывало.

Секстий не врал: в александрийском лагере действительно еще не знали подробностей выступления Лепида. Ночью на быстроходной триере прибыл нарочный от сената, нагнавший, правда, больше страха, нежели прояснивший суть дела. Цезарь, за версту чуявший опасность, тут же распорядился каждого нового гонца вести прямо к нему.

Весь день после этого он ждал свежих вестей из Италии. И с каждым новым сообщением рисовалась все более сочная картина, местами напоминающая огненные полотнища недавнего прошлого.

В первом письме Асиния Поллиона сообщалось, что сумятица в Риме возникла на консульских выборах на следующий год. Ни для кого не секрет: в списке значились всего двое соискателей — Октавиан и Секст Апулей. Голосовал уже второй разряд, как вдруг прокатился слух, что ауспиции, проведенные накануне, дали неблагоприятные знамения. Пока претор Бальбин пресекал возникший ропот, несколько авгуров, явно подговоренных кем-то, наперебой закричали: «В другой день! В другой день!» Толпа граждан услыхала сигнал отбоя и с готовностью разбежалась по домам. Пренебрегая насмешками недоброжелателей (иные, изощряясь в остроумии, советовали даже вчинить иск священным курам за скверный аппетит[1]), преторы вновь устроили сходку и внимательно проследили за подачей голосов.

Тут-то и начались беспорядки. Вначале популярный в низах ритор Антистий Лабеон взбудоражил горожан громкой речью на форуме, требуя кассации выборов,

---

[1] Авгуры гадали по клёву священных кур; плохой клев предвещал неприятности.

поскольку-де народу предлагалось лишь два кандидата на две должности.

Следом за этим на заседании сената слово неожиданно взял Лепид Младший и огорошил собрание пламенной филиппикой против Цезаря. Он обвинил сына Божественного в беззаконном единовластии, которое все больше становится похожим на тиранию его отца, а также припомнил все его прошлые грехи, начиная с кровавых проскрипций и кончая разгоном консулов позапрошлого года. Для вящего эффекта Лепид вынул записку из Сивиллиных книг[1] и размеренным голосом зачитал жуткое пророчество: «И когда один из вас, лицом молодой, роду неведомого, повергнет мужа зрелого, достославного, тогда оборвется связь времен, и настанет пора темная, злая».

Лепид возгласил, что вне сомнений, речь идет о Цезаре и Антонии. При этом несколько человек в верхних рядах, дружки Лабеона и Лепида, подняли неистовый шум, галдеж и гиканье, призывая сейчас же идти и спасать Республику.

Во втором письме, приспевшем через сутки, Поллион уже ничего не писал о дерзкой выходке в сенате воспрявших республиканцев, но пустился в рассуждения о кознях жены Лепида Младшего, надменной Сервилии. Дерзости и напористости ее мог бы позавидовать и сам Катилина. Слабовольным супругом она вертела по своему усмотрению. Всякий день в ее салоне толклись обиженные Октавианом магистраты, и оттуда же во все стороны рассылались подметные листки и прокламации. В Риме поговаривали, что Сервилия преследовала личную цель: она мечтала столкнуть с пьедестала жену Октавиана, Ливию Друзиллу, и занять место первой дамы государства.

Когда-то, еще при жизни старшего Цезаря, она была невестой юного Октавия; диктатор хотел видеть их мужем и женой. Смерть старика расстроила помолвку. Видимо, воспоминания об этом не давали Сервилии покоя: ее ненависть к Октавиану и Ливии испепеляла горы. Рассказывали, когда Лепид входил к ней в опочивальню, то, прежде чем лечь в постель, должен был отчитаться, что он сделал для восстановления Республики.

В отличие от Поллиона, Гай Цильний Меценат не выбирал в письме изысканных выражений, но рисовал

---

[1] Сивиллины книги — сборник древних пророчеств.

события мрачными красками. По его словам, смутьяны орудовали уже по всему городу, подстрекая чернь к мятежу. На глазах у народа клиенты Лепида повалили статую Октавиана, оставив на цоколе надпись: «Цезарю цезарево», намекая этим на памятное убийство отца-диктатора. Ночью пьяная ватага устроила шабаш перед домом Ливии, понося ее супруга и обещая покончить с ним, едва его нога ступит на землю Италии.

Ко всему этому, утверждал Меценат, прокатился слух, что за спинами наглецов маячит сам верховный понтифик Лепид-отец и что будто бы у него в Цирцеях уже разбирают оружие призванные в строй ветераны.

В заключение Меценат, оставленный Октавианом охранять в Риме порядок, горько сетовал на отсутствие надежных солдат и военачальников. Марк Агриппа и Мессала Корвин, на которых можно было рассчитывать, несли службу далеко от Италии, а оба сменных консула, только что вступившие в должность, Цицерон Младший и Антистий Вет, замарали себя в прошлом дружбой с республиканцами. На свои собственные средства Меценат вооружил две когорты, оцепил Капитолий и организовал круглосуточное патрулирование улиц. Обстановка в Риме продолжала ухудшаться.

Октавиану и без того было отчего злиться. Его власть не признали в Верхнем Египте. Фиванские жрецы не последовали примеру сговорчивых мемфисцев и подтвердили верность Птолемею Цезарю. Укус мелкий, но чувствительный. А теперь еще эта катавасия в глубоком тылу, в родном городе.

Сличая письма Поллиона и Мецената, наследник Цезаря вновь натолкнулся на описание крамольной речи Лепида, презрительно хмыкнул и поднял на Прокулея тяжелые свинцовые глаза:

— Как это понимать? Что там творится? Они хотят привлечь меня к суду?

Советник не сразу нашелся что ответить.

— По всей видимости, Цезарь, вылазка в сенате Лепида-сына и его зубоскальство — только подходящая уловка. Думаю, здесь тот же случай, что и с Луцием Антонием. Смутьяны меньше всего желают твоего возвращения. Их как раз устраивает твое отсутствие.

— Какое отсутствие?! — огрызнулся Октавиан; лицо его сильно побагровело.— Порази гром, если эта шайка уже не готовит мне мартовские иды! Их терзает изжога при одном упоминании имени Цезарей. Но, Юпитер Статор, кто взялся рассуждать о благе римлян? Это

ничтожество, грязный пропойца, педераст, ничем не блеснувший в Риме, кроме как своей голой задницей?! Или его субурские собутыльники? Или валяющаяся с ними поочередно жена? Недобитое юнианское отродье[1]! Их сбрасываешь с рук, так они норовят цапнуть за ногу!

Брань Октавиана прозвучала настолько резко и злобно, что все присутствующие невольно вздрогнули. Давно уже они не видели своего императора в таком сильном раздражении. Прокулею пришлось даже подать ему успокоительного.

— Цезарь, мой совет: не принимай скоропалительных решений. Сейчас ты в гневе, а он — плохой советчик. Дай улечься страстям, и дело станет ясным как день.

Левая щека Октавиана нервно задергалась:

— Хорош совет! По-твоему, Прокулей, я должен ждать, пока кучка заговорщиков раздуется настолько, что возмутит всю Италию? Да если бы не ловкость твоего зятя[2], наглецы уже осаждали бы Капитолий! Ты этого хочешь дождаться?

— Письма Мецената и Поллиона достаточно противоречивы,— ответил советник.— Вопли в сенате — еще не заговор, а поваленные статуи — еще не мятеж. Что мы знаем об умысле смутьянов, их силе, велико ли их число? В союзе ли с ними Лепид-отец? Какой закон тут следует применить?

— Довольно! — рявкнул Октавиан.— Проваливай со своими советами к Харону! Достаточно одной когорты, чтобы вся эта пьяная орава сполна налакалась вторых Филипп!..

Он осекся, почесал за ухом и широко улыбнулся Прокулею, как бы извиняясь за свой недостойный срыв.

— Впрочем, ты, как всегда, прав, мой друг. Слова — ветер, нам нужны прямые улики. Завтра мы созовем легатов и все хорошенько обсудим. Надеюсь, это тебя устроит?

Советник удовлетворенно поклонился:

— Вполне.

— А пока займемся Египтом,— добавил Октавиан безо всякого перехода.— Передайте Секстию: пусть повсеместно усилит розыск беглого царёныша. Нужно поймать его во что бы то ни стало! Сделайте приманкой

[1] Мать Лепида Младшего, Юния, была сестрой павшего при Филиппах Марка Юния Брута.

[2] Т. е. Мецената, женатого на сестре Прокулея.

египтянку. Распустите слух, что со дня на день ее ожидает казнь. Словом, действуйте как-нибудь.

— Ты опять нервничаешь, Цезарь,— укоризненно покачал головой Прокулей.

— Неужели? Может быть... Когда ты всего ближе к вершине и получаешь в руки целый мир, всякие задержки и проволочки особенно неприятны.

Наследник Божественного Юлия редко срывался и не любил, когда при нем горячились другие. В ранней молодости, еще только вступая на тропу борьбы, он, бывало, бесился, выходил из себя и обнаруживал крайне мстительную и свирепую натуру. Со временем путем упорных упражнений он научился подавлять дурные страсти. Голос его приобрел необходимую ровность, порою даже вкрадчивость, что создавало впечатление уверенности и ясного строя мыслей. Людей подкупали его всегдашняя непритязательность, простое обхождение. Многие, не знавшие его достаточно близко, готовы были поклясться, что видят перед собой второго Катона. Друзьям же казалось, годы совершенствуют его, как резец опытного ваятеля, отсекая все мелкое, некрасивое и оттачивая достойное, значимое.

Он запрещал свободнорожденным гражданам величать его господином, избегал воспоминаний о кошмарах проскрипций, так что у римлян постепенно сложилось мнение, что творцом погромов и дикой резни был вовсе не он, но его неуравновешенные коллеги Лепид и Антоний. При каждом удобном случае император подчеркивал, что главная его цель — восстановить Республику в первозданной чистоте, и добавлял, что тут же сложит с себя чрезвычайную власть, как только государство будет считаться спасенным.

Он не отличался личной отвагой и военными талантами; Антоний всегда высмеивал его как бездарного полководца. Преемник воинственного Юлия никогда не высовывался на полях сражений, полагаясь во всем на своих легатов, а во время сицилийской войны его за глаза прозвали Либитиной флота[1]. Но при всем этом свидетели рассказывали, что в нужные минуты он мог быть предельно собран и решителен. Там же, на Сицилии, когда от него отложился старший Лепид и двадцать его легионов грозно потрясали оружием, он внезапно пришел в их лагерь один, безо всякого сопровождения, с непокрытой головой. Успев увернуться от брошенного

[1] Либитина (*лат.*) — богиня смерти.

кем-то дротика, он сохранил на лице безмятежность и дружелюбно обратился к солдатам, чем сразу же снискал их расположение. Кончилось тем, что мятежники собственными руками связали Лепида и, еще брыкающегося, повели за победителем, точно строптивого мула.

Пожалуй, единственное, чем сполна наделили его боги,— это невиданное упорство и расчетливость, позволяющие ему шаг за шагом двигаться к намеченной цели. Он умел собирать вокруг себя способных и даровитых людей; он был их связующим звеном, неугасимым огнем в ядре круговерти. Он устраивал так, чтобы каждый из них в отдельности не мог существовать без него, и вся сложная машина рассыпалась бы, не будь центрального узла. Именно в этом была его сила: пучок водителей государства, переламывающихся по отдельности, мог стать крепкой фасцией только при помощи него,— он нужен был им как необходимая связь.

Октавиан отлично представлял, сколько грязи вылили на его голову в Риме заговорщики, никогда не понимавшие ни его призвания, ни своей обреченности. Уж они не преминули окрестить его тираном и деспотом, погубившим лучших граждан, и перекопали весь род Юлиев до корней, до ветхих Анхиза и Энея, якобы посеявших в Лации семена восточных деспотий. Если бы хоть толика из той отравы, какую изрыгают эти пустоголовые провидцы, оказалась лекарством, он первый бы осыпал их дарами и учредил бы им статуи из чистого золота. Но кому нужна их жалкая болтовня? Людям смешны глупые причитания о целомудрии былого сената и чистоте римского гражданства, и давно уже живут по другим законам те, кого они собрались осчастливить.

Следует отправить послание в Рим, решил Октавиан, отпустив Прокулея. Надо обратиться к сенату. Хотя глупее, кажется, ничего не придумать. Сенат давно уже превратился в трусливую продажную гиеродулу, стелящуюся под любого хозяина. С равным успехом можно писать и старику Лепиду. А почему бы и нет? Именно Лепиду! Надо поступить так, как никто не ожидает. В этом деле необходима неожиданность. Она выбьет почву у них из-под ног.

Идея настолько понравилась Октавиану, что он немедленно вызвал своего писца Талла, славившегося скорописью и красивым, каллиграфическим почерком.

— Записывай за мной слово в слово: «Император Цезарь шлет привет верховному понтифику Марку Ле-

пиду. Если ты здравствуешь, хорошо, я и мое войско пребываем в здравии.

Божественный Юлий — да почтит его небо! — оставил нам обширную державу и заповедал хранить ее в целостности, благополучии и процветании. Волею судеб мы оказались бок о бок в жесточайшей схватке с мятежниками и поджигателями войн и крепко держались друг друга, дабы исполнить клятвы и водворить в отчизне долгожданный мир. Провинции, страдающие нечестием, мы распределили меж собой, неусыпно печась о порядке. За это и другое люди признали нас соратниками, а отцы-сенаторы облекли высокой властью. Мы продолжали служить отечеству, каждый на своем месте, невзирая на наветы, досадные размолвки и глупые ссоры.

Напрасно сорят злые языки, будто Лепид отстранен от дел государства и ему запрещено являться в Рим. Нет нужды опровергать подобный вздор, лишенный не только почвы, но и смысла. Напротив, я всегда протягивал руку дружбы и теперь преисполнен надежды на поддержку старого товарища. К тому же незрячему видно: после упразднения диктатуры по Антониевому закону должность верховного понтифика оказалась, по сути, высшей в государстве. Тем более что она принята тобою в наследство от Божественного Юлия. Не случайно поэтому к тебе обращены взоры всех честных граждан, к твоим словам прислушивается народ. Я вполне уверен, что в эти дни твои уста обращены к богам-пенатам и возносят благодарственную молитву по случаю победного завершения самой ожесточенной из всех войн, какие видел наш несчастный народ». Записал?

Талл деловито кивнул и застыл с грифелем в руке.

— Убери-ка последние строки. Насчет первой должности в государстве. Старик этого не заслужил.

— До какого места убрать, господин? До «руки дружбы»?

— «Руку дружбы» оставь. Звучит хорошо. И главное, ни к чему не обязывает.

— Готово, господин.

— Далее. «Войско мое преисполнено бодрым духом и ожидает благоприятных знамений, чтобы отчалить от нильских берегов и переправиться в Азию. Покорность племен и обильная добыча сполна покрывают все издержки на подавление восточных тиранов.

Если тебе известно, Антоний предпочел плену смерть и был погребен в городе, который он сам себе выбрал.

По этому поводу наши ужасно спорили, а Статилий Тавр и Корнелий Галл советовали даже вздернуть тело на крест, как поступают с варварами. Но ты знаешь, не в моих обычаях глумиться над останками павших врагов, сколь ни велика была бы их вина перед отечеством. Посему, памятуя о нашем прежнем свойстве и славных делах, совершенных на благо римлян, я удержался, от того чтобы, обречь тело Антония на позор. Я настоял только не отдавать его в руки египетских бальзамировщиков, но похоронить по отеческому обряду.

Клеопатру я нашел совершенно сломленной, разбитой и опустившейся. Впрочем, достаточно пригодной для моего будущего триумфа. Не надеясь на снисхождение к ней самой, она два часа кряду заклинала меня пощадить ее потомство; при этом содрогалась в раскаяниях и вела себя очень назойливо. Все наследные отпрыски ее у меня под стражей, за исключением Цезариона, который бежал из города, но я уже открыл повсеместный розыск и отнюдь не собираюсь оставлять египтянам столь ценную мумию. Таковы здешние дела».

Октавиан остановился за спиной писца и заглянул в свиток:

— Разве я сказал «Цезарион»? Зачеркни имя. Напиши: «ее старший сын». Что-то слишком много Цезарей развелось на этом свете. И каждый метит в правители. Кругом только и слышу о его якобы необыкновенном сходстве с Юлием. Довольно набивать цену глупому юнцу и дразнить верных римлян. Зачеркнул? Пиши далее:

«Известия о последних событиях в Риме немало удручили меня. В те самые дни, когда лучшие и доблестнейшие граждане — в который раз! — сменили венки на шлемы и отправились походом на общего врага, непотребные и вредоносные тыловики, души которых растлил Либер[1], снова наполнились зломыслием, решились потрясти здание мира, возводимое нами долгими и мучительными усилиями, и ввергнуть усталых квиритов в пекло нового раздора. Не остановили их дурные приметы недавнего прошлого, не образумили гневные знаки богов.

Твоему сыну, очевидно, не дают спать сомнительные лавры Брута и Кассия, которым он неумно следует, забывая, однако, что ни одно честное дело не достигается с помощью коварства и лжи и те, кто на-

[1] Либер (*лат.*) — бог вина и виноделия.

чинает с заговоров, неизбежно кончает убийствами и гнусными преступлениями. Так было всегда, ни один заговорщик не миновал подобного. А за что ратует твой сын, растравленный мстительной матерью и завистливой супругой, того давно уже нет и никому это не нужно, кроме таких же, как он, промотавшихся кутил. Надеюсь, мой друг, ты сумеешь остановить уже поднятую руку и одернешь заносчивого повесу. Тогда мне не будет нужно прибегать к верным средствам и напоминать глупцам, что они глупцы.

Что же касается остальной компании, в особенности Марка Лабеона, на каждом углу твердящего, что Рим проживет без Цезаря, то ведь гораздо проще доказать, что он еще лучше обойдется без Лабеона. Его или женатого на нем критянина Даймона[1] римляне примут своими вождями? Я никогда не цеплялся за фасцы и курульное кресло, которые получил от сената и народа для устройства его дел. Если кто-то поведет государство лучше меня, я последую за ним. Но вышло напротив: когда, после гибели Юлия, эти мнимые ревнители свободы попрятались в кусты и пугались каждого шороха, я принял чрезвычайные полномочия и наследовал власть, которая не так сладка и беззаботна, как воображают себе иные. С тех пор я снискал немало похвал и получил столько же упреков, но не прекращал идти дорогой, указанной провидением. Впрочем, к чему эти объяснения? Свой долг перед отечеством всяк понимает по-своему, но только просвещенные потомки рассудят по справедливости, кто действовал в конечном счете на благо отечества, а кто нанес ему вред.

За пять дней до секстильских ид[2], из Александрии».

Сделай три копии,— распорядился Октавиан Таллу.— Одну отошли Асинию Поллиону для его архива, другую — Акторию Назону, третью оставь у себя.

— А само письмо? — спросил каллиграф.

— Отправь адресату. Почему ты спрашиваешь? Ты думаешь, я пишу только для истории или же просто упражняюсь в красноречии? Разве не похоже, что я говорю с человеком?

— Прости, господин, я стал несообразителен.

Октавиан отчаянно всплеснул руками:

— Да что с вами со всеми происходит?!

---

[1] Обычное обвинение в гомосексуализме.

[2] 8 августа.

* * *

Плутарх: «...Внезапно открылись двери, и мальчики, вставая поодиночке, торжественно проходили вокруг божества. Озирая каждого, божество отсылало их назад, и они уходили, огорченные. Но когда приблизился молодой Цезарь, бог простер руку и изрек: «Римляне, наступит конец вашим междоусобиям, когда этот станет властителем». Таково, говорят, было сновидение Цицерона, причем наружность мальчика ясно запечатлелась и сохранилась в его памяти...»

МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН — ТИТУ ПОМПОНИЮ АТТИКУ (Путеолы, 22 апреля 44 г.):

«...Октавий здесь относится ко мне очень почтительно и очень по-дружески. Свои приветствовали его как Цезаря. Филипп — нет; и я не приветствовал; им, считаю я, не может быть честный гражданин...»

ЦИЦЕРОН — АТТИКУ (Анций, 10 июня 44 г.):

«...У Октавиана, как я понял, достаточно ума, достаточно присутствия духа. Но насколько следует верить возрасту, насколько имени, насколько наследству, насколько воспитанию,— требует большого обсуждения. Но все же его следует вскармливать и, самое главное, отвлекать от Антония».

ЦИЦЕРОН — АТТИКУ (Путеолы, 2 ноября 44 г.):

«...Октавиан объявляет себя вождем и считает, что мы не должны отказывать ему в поддержке. Я, со своей стороны, посоветовал ему направиться в Рим... Но у этого молодого человека, хотя и достаточно присутствия духа, мало авторитета».

ЦИЦЕРОН — МАРКУ ЮНИЮ БРУТУ, в Грецию (Рим, 21 апреля 43 г.):

«...Врожденная доблесть молодого Цезаря удивительна: о, если бы мы могли его, в блеске почестей и влияния, так легко направлять и сдерживать, как легко сдерживали мы его до сего времени! Вообще, это труднее, но мы все-таки не теряем надежды: ведь юноша убежден — и главным образом мною,— что благодаря его стараниям мы невредимы и что, во всяком случае, если бы он не отвратил Антония от Рима, то все погибло бы».

МАРК БРУТ — ЦИЦЕРОНУ, в Рим (Греция, май 43 г.):

«Я прочел присланный мне Аттиком отрывок твоего письма, которое ты послал Октавию... ведь ты так благодаришь его за государство, столь смиренно и униженно,— что мне написать? Ты ясно доказываешь, что не господство устранено, а переменили господина. Припомни мои слова и посмей отрицать, что это просьба раба к царю. Ваше слабоволие и отчаяние внушили Цезарю жажду царской власти, и, после его смерти, побудили Антония попытаться занять место убитого, и теперь так вознесли этого мальчика... Боюсь, погибель отсрочена тобою на короткое время.

Меня же впредь не поручай своему Цезарю и даже себя самого, если послушаешься меня...»

ЦИЦЕРОН — БРУТУ, в Грецию (Рим, июль 43 г.):

«...Я воздал Октавиану почести, в самом деле, только должные, Брут, только необходимые. Ведь как только мы начали восстанавливать свободу, весь оплот был в мальчике, который мог бы отвести удар Антония от нашей шеи. Я предложил предоставить ему военную власть; в самом деле, что такое войско без военной власти? Государство приняло мое поручительство за юношу. Впрочем, его я, как надеюсь, удержу; ведь в нем, мне кажется, есть хорошие задатки...»

МАРК БРУТ — АТТИКУ, в Рим (Греция, май 43 г.):

«...Алчность и своеволие мальчика Цицерон скорее подстрекнул, чем подавил. Мы слишком боимся смерти, изгнания и бедности; это, мне кажется, для Цицерона крайнее несчастье, и, пока у него есть у кого испросить то, чего он хочет, и есть, кем быть чтимым, он не отвергнет рабства, лишь бы оно было почетным. Итак, пусть Октавий зовет Цицерона отцом...»

ЦИЦЕРОН — ОКТАВИАНУ (Рим, декабрь 44 г.):

«...Я, конечно, не предпочел бы тебе решительно никого и даже не сравнил бы с тобой. Помни же о своих обещаниях...»

ОКТАВИАН — ЦИЦЕРОНУ (Мутина, июнь 43 г.):

«...Я вполне уверен, отец, что роспуск доблестного войска сыграет только на руку спасшимся врагам. В самом деле, лишь только наше совместное консульство — что же еще, как не это? — способно утвердить ослабленное государство...»

ЦИЦЕРОН — ОКТАВИАНУ (Рим, июль 43 г.):

«Напиши мне, каких моих действий ты впоследствии захочешь; я превзойду твои ожидания...»

ОКТАВИАН — ЦИЦЕРОНУ (Мутина, 5 августа 43 г.):

«Но если сенат окажется менее благодарным, чем следовало бы от него ожидать, и вознамерится, вопреки твоим обещаниям, лишить меня титула и военной власти, я вернусь в Рим в сопровождении войска, преданного мне. Тогда даже наша дружба не остановит меня...»

ЦИЦЕРОН — ОКТАВИАНУ (Рим, 11 августа 43 г.):

«...Ведь я скажу правду: лучше бы нам было не изгонять Антония, чем принять тебя. Он вымаливал то, что хотел забрать, ты вымогаешь...»

ЦИЦЕРОН — БРУТУ, в Грецию (Рим, сентябрь 43 г.):

«...Наглый, заносчивый, хвастливый, нет предела его бесчестию, алчность его неизмерима. Теперь, помимо консульства и триумфа, он домогается полномочий отца и грозится, в противном случае, вступить в соглашение с Антонием».

ЦИЦЕРОН — АТТИКУ (Формийская усадьба, 2 декабря 43 г.):

«Прощай, мой друг! Тираны жаждут моей крови, и голова старика представляет для них желанную добычу. В то время как я пишу эти строки, Октавий с Антонием уже вступают в Рим. О, если б я был так мудр, каким меня напрасно считали, то не дал бы обмануть себя порочному и преступному юноше. Еще раз прощай...»

* * *

До позднего вечера Октавиан простоял у открытого окна, взирая на темнеющий портик храма Селены, не оборачиваясь и не откликаясь. Затухающая на полу лампа бросала на него косые лучи; при этом освещении были особенно заметны природные недостатки, портившие его внешность: горбинка на носу, не в меру выпуклый лоб, преждевременные мешки под глазами и вытянутая тощая шея, из-за которой римские комики называли его иногда «гусаком».

Римские заговорщики были не глупы: они понимали, что найдут сторонников. Претерпевшие неслыханные поборы на ведение войны с Антонием, несчастные италики уже третий год еле сводили концы с концами, а обещанная императором египетская добыча задерживалась.

Отправляясь на Восток, наследник Цезаря прекрасно знал, что оставил за спиной отнюдь не цветущий благостный край, не крепкий и сплоченный народ, присягнувший ему на верность, но пропитанную враждой, голодную, загнанную и одичалую страну, многократно ободранных селян, почти полностью истребленное всадничество, развращенный подачками и ни на что не годный плебс и еще живущих иллюзиями столетней давности отцов-сенаторов.

И тогда, на последнем люстре[1], средь скопища одержимых бесом сограждан, перекошенных лиц и ревущих глоток, он дрожал, как последний кавдинец, словно не дифирамбы возносили ему, но предавали какой-то дикой и жестокой анафеме. Он уже смыл с рук жертвенную кровь и сошел с форума, ускоряя шаг, подальше, в тихий дом Мецената, а вослед все неслось тысячеустым рокотом, закладывая уши: «Цезарь! Цезарь! Цезарь!»

Чего они хотят от него? Они истерзаны бесконечными распрями — он даст им мир и спокойствие. Они почернели от холода и недоедания — он насытит их утробы отборным хлебом и напоит до отвала вином,— теперь у него хватит средств для этого. Он устроит для них величайшие игры, превратит их тусклые будни в непрерывную череду празднеств и увеселений, так что все ужасы гражданских войн забудутся словно мимолетный сон. Они присмиреют, как тучные овцы на пастбище, и будут славить небожителей за его правление.

Если они хотят называть государство Республикой,— он будет называть его так денно и нощно. Если они мечтают об олигархии,— он посадит им знатных и родовитых мужей. Если же они жаждут второго Ромула,— он облачится в пурпур и обуется в красные сапоги[2]. Аристотель прав: не важно, как будет именоваться государство — монархией, аристократией или

[1] Люстр (*лат.*) — очистительные жертвоприношения, совершаемые раз в пять лет.

[2] Пурпурные одежды и красные сапоги — атрибуты древних римских царей.

демократией. Каждая из этих форм может быть в высшей степени полезной и каждая может обратиться в гнусную противоположность[1]. Важна внутренняя суть. Его государство обретет сокровенный смысл, в котором каждый увидит то, что ему по душе. Но это будет ни то, ни другое, ни третье. Это будет совершенно новая эра, освященная его Именем, которого пока никто не знает, но он найдет его с помощью оракулов и Сивиллиных книг.

ΟΥΡΑΝΟΣ

Очнись от своего обморочного состояния, в котором ты находишься, и один взгляд твоих глаз восторжествует над любыми кознями против тебя.

Надпись на древнеегипетской мумии, перевозимой на борту «Титаника» в роковом рейсе 1912 года

Усыпальница, в которую Клеопатра устремила свои стопы, чтобы почтить память супруга, примыкала к задней стене храма Исиды. Первый этаж с глухими гранитными стенами и вогнутым карнизом напоминал древние мемфисские мастабы[2]. Прямо над массивной дверью — изображение человеческого глаза — священного Ока Гора, из-за чего в народе усыпальницу прозвали Офтальмеумом — Домом Глаза. Второй этаж — смешение дорических колонн и фиванской лоджии — венчал изящный аттик из черного мрамора.

Клеопатра не жалела средств на свой последний шедевр, словно боялась, что до прихода римлян царская казна не успеет опустеть до конца и восхищенные потомки не узнают, насколько она была богата. Недаром по городу ползли слухи, будто в гробнице этой упрятаны невиданные сокровища. Ходили, впрочем, другие разговоры, что в усыпальнице почти ничего нет, поскольку большую часть своих богатств Клеопатра погрузила на корабли, намереваясь бежать в Индию. Суда эти еще зимой сожгли налетевшие набатейцы, и все сокровища покоятся где-то на дне Аравийского залива.

---

[1] Т. е. монархия — в тиранию, аристократия — в олигархию, демократия — в охлократию (*Аристотель.* Политика).

[2] Мастабы — гробницы.

Как бы там ни было, к самой усыпальнице никого не подпускали, и это глухое строение все время тщательно охранялось: сначала египетскими стражами, а затем преторцами Октавиана.

Именно здесь царица скрывалась последние часы перед падением Александрии. Антоний в это время выстраивал остатки своих легионов близ Ипподрома, готовясь достойно встретить идущее из Пелусия войско Октавиана и со славой сложить свою голову. В душе старого вояки еще теплилась надежда на переменчивого Марса: в первый день его конница опрокинула авангард противника, а финикийские суда успешно отразили нападение вражеского флота. Вечером на праздничном пиру во дворце Антоний вручил награды отличившимся в бою, приказав назавтра готовиться к большому сражению. Клеопатра подарила от себя храбрецам золотые и серебряные доспехи и со слезами на глазах заклинала бойцов всеми силами оборонять Александрию.

За столом Антоний велел царским слугам наливать побольше вина и накладывать мясо получше. «Потому что неизвестно,— сказал он, оглядываясь на супругу,— станете ли вы потчевать меня завтра или уже будете прислуживать новым господам».

За два дня до этого, прибыв из Паретония, Антоний предал казни многих египетских стратегов, уличив их в готовящейся измене. Большое подозрение пало на саму Клеопатру. Посланный супругом Гай Луцилий пытливо выспрашивал у нее о тайном отъезде Цезариона, о причинах сдачи врагу Пелусия, о кознях в египетском флоте, и гордая царица царей, еще недавно стиравшая подобных Луцилиев в порошок, вынуждена была смиренно оправдываться перед мужниным оруженосцем.

В роковой день, едва войско Антония вышло из города на битву, Клеопатра поспешила удалиться из дворца и укрылась в гробнице с одним евнухом и двумя верными рабынями. Эконом Селевк, последний из фаворитов, страстно целовал ей руки и клялся, что будет счастлив умереть за любимую. «Госпожа позволяет тебе жить,— сказала ему Хармион.— Возвращайся во дворец и славь богов за спасение». Женщины заперли наглухо двери за спиной эконома и стали ждать решения судьбы.

Тем временем вся равнина перед Александрией, насколько охватывал глаз, заполнилась сверкающими до-

спехами приближающегося войска Цезаря. Мерная поступь его привела в трепет сердца египтян. Антоний послал Октавиану вызов на личный поединок, но Сын Божественного только усмехнулся в ответ: «Передайте этому смертнику: в Аид проложено много дорог, и гораздо короче».

Антоний так и не смог начать настоящего сражения. Выставленная впереди конница внезапно переметнулась под знамена Октавиана, следом финикийские корабли подняли весла и открыли путь римской эскадре. «Призываю в свидетели богов! — вскричал, увидев это, Антоний.— Не доблесть решила исход войны, но измена!» Остатки его войска были прижаты к воротам Гелиоса и рассечены на несколько частей. Горожане попрятались по домам, не помышляя ни о каком сопротивлении, а стражники царицы даже напали на караулы Антония.

Бывший триумвир прискакал ко дворцу на взмыленном коне в сопровождении одного раба-телохранителя. В руках его блистал окровавленный меч, глаза метали молнии. Он уже не сомневался, что предан царицей, и спешил только успеть рассчитаться с ней. Придворные окаменели, не в силах пошевелиться от его свирепого вида. Только личный секретарь Клеопатры, хитроумный Диомед, собрался с духом и скорбно поведал об исчезновении госпожи. Он даже заплакал, сетуя на судьбу царицы, которую вряд ли теперь увидит в живых. Антоний опустил голову и глухо вымолвил своему рабу: «Сюда мы опоздали, Эрот. Эта бестия уже далеко. Поспешим же к Харону, старик отплывает».

С этими словами оба удалились в соседнюю комнату, и через несколько минут слуги услышали предсмертные вопли. Осмелившись заглянуть за дверь, они увидели два окровавленных трупа, скрюченных на полу: Эрот сначала поразил мечом господина, а затем последовал за ним в царство теней.

Диомед, который, конечно, прекрасно знал о местонахождении Клеопатры, поспешил оповестить ее о случившемся. Царица, в свою очередь, немедленно отправила евнуха Мардиона к Октавиану сообщить о кончине Антония и прекращении сопротивления, а также наказала передать победителю свою диадему в знак полной капитуляции.

К полудню перед усыпальницей появились преторцы во главе с Гаем Прокулеем и Эпафродитом, отряженные Октавианом захватить царицу. Однако женщины

не сразу впустили солдат, затеяв с ними долгие переговоры. Лишь после того, как Прокулей троекратно повторил обещание оградить их от всяческих насилий, Ирада и Хармион сняли засовы и растворили усыпальницу. Все женщины тут же попали в цепкие лапы преторцев, причем Клеопатра пыталась даже воспользоваться спрятанным под одежду кинжалом (неизвестно, чтобы защищаться или покончить с собой), но была благополучно обезоружена.

Прокулей взял ее под руку и отвел в Северный дворец, не переставая утешать и ободрять египтянку, расписывая отличные душевные качества Цезаря, желающего ей многих благ. Следом шли вызванные из дворца рабы, переносящие многочисленный гардероб и личные вещи царицы. Что касается Эпафродита, то он не был так учтив, как Прокулей, и, провожая шествие, угрожающе шипел: «Цезарь велел передать: пусть царица не вздумает сотворить что-либо с собою, если жалеет своих детей. Дети будут залогом ее покорности». Так состоялось обратное переселение Клеопатры...

* * *

Тот день, в который пленнице дозволили омыть прах Антония, выдался тихим и пасмурным. Долабелла заблаговременно выставил преторцев на всем пути от дворца до усыпальницы. Он никогда не видел, как египтяне оплакивают умерших, не знал, что ожидать от погребальной процессии, поэтому на всякий случай оцепил и саму гробницу.

В последний момент на площадке объявился Гай Прокулей, пришедший проследить за ходом церемонии. Когда-то он дружил с Антонием, его приход не казался предосудительным. Публий не пытался заговорить с советником, хотя его разбирало любопытство, послан ли он императором или действует сам по себе. Накануне Октавиан отправился на прогулку в Каноп, и, возможно, поступил так специально, чтобы избежать ритуала над могилой павшего врага.

В урочный час из дворцовых ворот открылось скорбное шествие. Несколько жрецов ритмично взмахивали медными сосудами с узкими горлышками. Вереница рабынь-плакальщиц с распущенными волосами напоминала извивающуюся змейку. Черные точки, нанесенные тушью на веки, означали горькие слезы. Шестеро

рабов поддерживали носилки, где возлежала Клеопатра, с головы до пят закутанная в темные траурные одежды.

Когда носилки поравнялись с императорским советником, Прокулей бодро приветствовал царицу:

— Пресветел день, о дочь Птолемеев!

Клеопатра даже не повела глазом в его сторону, погруженная в великую скорбь. При этом лицо ее хранило то выражение, какое часто встречалось на александрийских тетрадрахмах: выпяченный надменный подбородок, немного нахмуренные брови и глубоко посаженные глаза, бросающие взор поверх простых смертных.

Прокулея это больно задело. Несколько минут он насупленно молчал, ни на кого не глядя, потом повернулся к Долабелле:

— Что это: плата за мое заступничество перед Цезарем или обида за то, что я не дал ей зарезать себя?

Публий не разомкнул уст.

— Я еще спешил с добрым известием, хотел успокоить ее насчет детей,— мрачно усмехнулся советник.— Впрочем, если она в этом не нуждается, то нам же легче. Следи за ней в оба, Корнелий,— добавил он, повернулся и ушел прочь.

В глубине души Публий остался доволен таким поведением египтянки. С самого начала он тяготился ролью тюремщика, вынужденного сторожить слабых, сломленных судьбою женщин. Он втайне желал, чтобы пленницы чем-нибудь проявили себя и поднялись в его глазах.

Все же Клеопатра поступала весьма неосторожно, рискуя лишиться важного посредника, каким был Прокулей. До сего дня он, как никто другой, защищал царицу перед Октавианом. Ей следовало превозмочь врожденную надменность и ответить ему хотя бы кивком головы. И все-таки Публий не уставал дивиться, как ведет себя эта женщина, попавшая в железный капкан, и как на дне пропасти не умирает в ней царственный дух.

Контубернал не знал еще о небольшой заминке, случившейся при выходе пленниц из царских покоев, где сторожил неусыпный Эпафродит. Пропустив царицу, осмелевший за последние дни соглядатай перегородил дорогу идущей следом Хармион и наклонился к ней, смачно облизывая губы:

— Ты стала избегать меня, красотка? Вот уже третья ночь, как я напрасно ожидаю тебя на ложе: ты не спешишь ко мне. Страх ли сдерживает тебя или запрет госпожи?

— Презрение,— отрезала эфиопка, отстраняясь от него.

В маленьких глазках отпущенника сверкнул желтый огонь:

— На твоем месте я бы преодолел гордыню, невольница. В противном случае не то что какой-то врач, даже мышь не сможет к вам прошмыгнуть. Так и передай своей хозяйке. Хотел бы я посмотреть, как она выпорет тебя за строптивость.

Хармион потупила взор:

— Не сердись, служитель, за мои слова. Я сказала лишнее.

— Так-то вот лучше,— осклабился Эпафродит, победно похлопывая рабыню по щеке.— Я не взыскателен и дам тебе возможность исправиться. Сегодня после полуночи... Поняла меня? И только посмей не явиться!

Последней из опочивальни выходила Ирада; соглядатай толкнул ее плечом, уцепился за край хитона и слащаво пробормотал:

— Ты у меня осталась еще не при деле? Гляжу я, эта горгона тебя особенно бережет. Учти, глазастая, одно мое слово Цезарю — и твое белое тело мигом изжарят на костре.

Ирада испуганно отшатнулась от отпущенника.

— Если, конечно, ты не перестанешь его прятать от меня...— добавил Эпафродит, преследуя пленницу и пытаясь ущипнуть ее за грудь.

Защищаясь, рабыня со всей силы ударила соглядатая кадильницей в пах; он страшно захрипел и зашатался, судорожно глотая ртом воздух и хватаясь руками за занавеси, чтобы не свалиться на пол. Процессия уже приближалась к усыпальнице, а отпущенник все еще корчился в проходе, изрыгая брань и проклятия.

Базальтовый сфинкс с лицом Клеопатры охранял вход в гробницу. Когда шествие скрылось в дверях, Публий счел нужным не отставать от него: мало ли что может случиться в могильной полутьме. В узком помещении нижнего этажа чадили два ряда факелов, чередующихся с черными изваяниями египетских божеств. При плохом освещении статуи почти нельзя

было отличить от людей, так что комната казалась переполненной народом.

Убранство гробницы показалось Публию очень знакомым, и, оглядевшись получше, он вдруг понял, что уже находился здесь, и совсем недавно. Ощущение это усилилось, когда он разглядел небольшой лаз в левом углу; он готов был поклясться, что проникал через него в позапрошлую ночь, когда принимал посвящение Исиде. Да-да, он мог даже описать следующую комнату, в которую вел этот лаз! Публий невольно попятился к двери, не зная, что подумать. Хорошо, если все это ему мерещится от слабости света. А вдруг усыпальница каким-то образом соединена с храмом?

Тем временем, пока контубернал терялся в догадках, гробница наполнилась запахами сжигаемых смирны и стиракса. Мозаичный пол устлался лепестками фиалок, дыхание которых так приятно богам Манам[1]. Чернокожие рабы вынули из склепа урну с прахом Антония и установили ее в неглубокой нише, где белело изображение мумии Осириса. Жрицы выстроились в два ряда и, вскидывая руки, затянули плач на древнем языке, на котором оплакивали владык еще во времена фараонов.

Публий ничего не мог разобрать, кроме частого рефрена «Уннефер пер-оо» и поминаемой Аменти — таинственной страны, лежащей где-то на западе от Египта. Там находили себе приют души усопших.

Клеопатра упала на колени и вытянула руки, касаясь пальцами неровной надписи на ободе урны. Если не брать в расчет трепещущее пламя светильников, Публий подумал бы, что ее бьет сильная дрожь. Сначала она бормотала что-то неразборчивое, затем, когда плакальщицы на минуту смолкли, неожиданно прочла по-гречески срывающимся, полным безысходности голосом:

О Бог мой, любезный супруг мой!
Я возлюбленная сестра твоя, навеки ты неотделим от меня.
Сердце мое томится по тебе, и глаза мои желают тебя.
Вернись к сестре своей, жене своей, мой прекрасный Осирис!
Восстань из мрака, приди ко мне, я желаю тебя.
Боги и люди обратили лица к тебе и не перестают оплакивать тебя.

Я жена твоя, зову тебя, и плач мой слышен на небесах.
О, вернись в свой дом, возлюбленный мой!
Я, сестра твоя, жена твоя, зову тебя, но ты не слышишь меня...

[1] Маны (*лат.*) — души или тени умерших.

И эта ритуальная песня, где страсть смешалась с тоской, и мертвенно-бледный лик погребаемого Осириса, и черные зрачки богинь, взирающие прямо на зрителя, производили сильное впечатление. Публий не мог отвести глаз от павшей ниц царицы, его притягивала и привлекала эта униженная поза. В ней скрывалась некая невыразимая прелесть, в тысячу раз прекрасней горделивого божества, восседающего на троне.

Жалкой и одинокой выглядела теперь эта прославленная женщина, привязавшая к себе смертельными путами первого полководца Рима, сочетавшаяся с ним царским браком и обрекшая его на гибель. Она могла остаться римским вассалом и исправно платить дань, но покусилась на недосягаемое, желая въехать в Вечный город за победной колесницей Антония. Она думала, что через него взойдет на Палатин госпожою мира, но на самом деле оторвала Антония от Рима, и Рим растоптал их обоих.

Клеопатра подала знак, что хочет остаться одна. Темная толпа зашевелилась и бесшумно вытекла из помещения. С царицей остались лишь Ирада и Хармион. Публий колебался, не уйти ли вместе со всеми, но нашел для себя предлог, чтобы задержаться: по долгу службы ему полагалось присматривать за пленницами до конца.

— О мой Антоний! — прошептала Клеопатра для одной себя, совершенно не заботясь, кто слышит ее.— Пощади, Антоний, я осталась без тебя... Ты отсылал меня далеко за моря, за большие реки и великие пустыни, но мое место с тобой. Ты всегда упрекал меня Цезарем, но по-настоящему я была только твоей... Он был мне отцом, а ты мужем... Подожди, умоли **Урана**, сбавь бег своей колесницы, не торопись хоть сейчас!

Публий замер, как перед гласом оракула. Неужели наступила минута откровения и он услышит нечто такое, что прольет свет на загадочный «Союз Неподражаемых», как они себя называли вначале, и непостижимый «Союз смертников», как нареклись они в конце?! Что они создали на земле и какая чудовищная сила двигала ими?

Но Клеопатра ничего больше не изрекла. Мучительная молитва отняла у нее последние силы. Она беспомощно распростерлась на гранитных плитах погребальной залы, подобная брошенной наземь птице или свернувшейся от холода змее. Только глухой плач верных рабынь нарушал загробную тишь...

* * *

МИТРИДАТ КОММАГЕНСКИЙ — ИМПЕРАТОРУ МАРКУ АНТОНИЮ. (Нач. 30 г.)

...Тиридату[1] не верь; ведь он потому и обещает тебе многое, потому что во многом нуждается. Положение его в Месопотамии таково, что ему впору самому бежать из страны и искать убежища у тебя. Ведь, по слухам, Фраат собрал большое войско и возвращается в Селевкию. Но даже если Тиридат удержится у власти, останется ли верен дружественным узам тот, кто изменил даже братским[2]? Вероломство парфян хорошо известно. Зависи от Рима во всем, при первом же требовании Тиридат выдаст тебя Цезарю...

ПОСЛАНИЕ ЭФИОПСКОЙ КАНДАКИ (ЦАРИЦЫ-МАТЕРИ) КЛЕОПАТРЕ. (Начало 30 г.)

«В год 6-й, первый месяц [времени] Всходов, день 10-й, при величестве Горе прекрасном, сыне Ра, владыки диадем Натакамани...

...Относительно просьбы брата своего, царя Верхнего и Нижнего Египта, Птолемея[3] [о предоставлении убежища], его величество постановил оказать ему необходимую помощь и защиту и дать жительство в пределах своего царства. Брат наш, царь Верхнего и Нижнего Египта, Птолемей, равно как и царица-мать и вся семья, жалуется [в наследственное владение] городом Премисом с округой; 1500 арур [плодоносной земли], не обложенных налогом; 800 голов [вьючного] скота, 10 000 голов [мелкого скота]...

Царице-матери, помимо того, [предоставляются] в пользование доходы с ловли рыбы и охотничьих угодий на озере Псебос, а также [ежегодно] 1600 артаб пшеницы, вино и фрукты по усмотрению. [Переселенцам] дозволяется содержать не более 1000 вооруженных [людей охраны] и не более 300 всадников. Эти пожалования да будут в наследственном владении; запрещается кому-либо изменить повеление его величества».

---

[1] Тиридат II — младший брат парфянского царя Фраата IV. В 31 г. до н. э. при поддержке Антония овладел царским престолом и изгнал Фраата IV на Восток. Потерпев поражение в войне с Октавианом, Антоний среди других планов рассматривал возможность укрыться в Парфии. Летом 30 г. Фраат IV вернулся к власти.

[2] Т. е. Фраату IV.

[3] Клеопатра отправила письмо от имени своего сына. Эфиопская кандака также отвечает от имени правящего царя.

Приписка в конце письма рукою Клеопатры: «Пусть утопится в своем Псебосе со всеми арурами и артабами».

* * *

Перед тем как вернуться в прежнюю обитель, царица передала через Ираду, что совершит омовение во дворцовой купальне. Со дня пленения она еще не приняла ни одной ванны, тогда как в добрые времена, по слухам, почти не вылезала из терм и целебных источников. Публий немедленно завернул преторцев в глубину сада, где поверх пахучей листвы белел купол царской бани, и позаботился о том, чтобы караулы перекрыли главную аллею. Он был рад возможности подольше растянуть сегодняшнюю службу и понаблюдать за той, которая притягивала его как солнце Икара.

Только для вида он проворчал с недовольством Туссилию:

— Как будто у нее нет воды во дворце. Хорошо еще, тиранке не вздумалось купаться в море. Она просто испытывает нас, но мы, клянусь небом, достаточно воспитаны и терпеливы.

Учтивый контубернал не решился появляться в купальне, но, пройдясь вокруг бани, обнаружил приземистую комнату с большими медными котлами. Отсюда по трубам подавалась в баню подогретая вода, но сейчас топить было некому, и комната пустовала. Заглянув в котельную из любопытства, Публий отчетливо услышал плескание воды за стеной и женские голоса. Сквозь небольшое оконце пробивался свет. Он осторожно прокрался меж котлов и заглянул вовнутрь.

Рабыни уже раздели госпожу и опустили ее в наполненный розовой влагой бассейн. Черный шлейф ее густых волос всплыл над водой и свился причудливыми петлями, еще сильнее оттеняя ослепительно белую кожу. Холеное тело египтянки, спасаемое от полноты руками искусных массажистов, еще сохраняло сок былой молодости, и по нему нельзя было определить, каков его возраст. Даже синяки и царапины на плечах — следы недавней схватки с преторцами — казалось, только подчеркивали его хрупкость.

Публий вдруг обнаружил, что царица на голову ниже даже своих невысоких рабынь. Он удивился про себя: отчего это римские мимы, пародируя на сцене губительницу Антония, не догадались высмеять ее маленький рост? Они постоянно надевали маски с орлиным

носом и густыми бровями, а такого явного недостатка не подметили. Очевидно, образцом для пародистов служили лишь статуи египтянки, поставленные Юлием Цезарем, а саму ее они видели мельком или знали о ней понаслышке. Чего тогда стоят все их обличительные репризы?

— Госпожа,— слышался голос Ирады,— позволь, мы оденем тебя в тот наряд, который подарила тебе царица Аба. Он будет поверх калазириса. Голубой цвет — цвет Исиды в день Сокара.

— У меня сохранилось немного миррового масла и индийского нарда,— говорила Хармион.— Они придадут твоему телу тончайший аромат, Клео. Я думаю, нет ничего лучше сочетания мирры и нарда. Только втирать нужно губкой, чтобы мазь равномерно впиталась в кожу.

Рабыни подняли царицу из бассейна и убирали ее волосы возле медного зеркала, вправленного в нишу. Розовая вода еще струилась по ее телу тонкими струйками, обтекая острые, даже слишком острые, груди — явный признак капризных и взбалмошных женщин — с крохотными коричневыми сосками, к которым никогда не прикасались уста младенца и которые ласкали лишь взрослые мужи. После купания кожа царицы казалась блестящей, как отшлифованное серебро, и этот блеск придавал ей какую-то холодную свежесть. Пожалуй, лишь чрезмерно пухлые ягодицы и размякший живот напоминали, что лучшие годы египтянки уже позади и настала пора увядания.

Клеопатра смотрела на себя с грустной улыбкой; Публий видел по ее отражению, как она мерно шевелит губами, словно бы продолжая погребальную молитву.

В этот миг со двора донесся возрастающий шум. По отрывистым выкрикам Долабелла признал Эпафродита, прибежавшего из дворца. Императорский соглядатай громко бранился с преторцами:

— Какая баня?! Кто позволил? Тысяча молний, Цезарь оторвет мне голову! Речь шла только об усыпальнице. Почему меня не предупредили? Баню мы не обследовали...

Запыхавшийся отпущенник буквально влетел в купальный зал и чуть было не сшиб царицу с ног.

— Прочь с дороги, невежа! — прикрикнула на него Хармион.— Если бы ты попался нам в прежнее время, мы быстро бы научили тебя чтить царский траур!

Эпафродит попятился и сконфуженно развел руками:

— Я разделяю твою скорбь, почтенная. Но прошу скорее пройти в свои комнаты: долгие отлучки чреваты опасностями. Цезарь доверил мне ваш покой, и мой долг оградить вас от любых неожиданностей.

Клеопатра смерила соглядатая презрительным взором:

— Можешь доложить Цезарю, что ты никудышный охранник. За сегодняшний день я много раз могла посмеяться над вашим глупым пленом и принять легкую смерть. Видишь наполненный до краев бассейн и трубы с парами? Достаточно разжечь печь и закупорить отдушины, как человек навсегда потеряет сознание.

Оба сторожа — Эпафродит в зале и Публий за стеной — невольно вздрогнули. Египтянка недвусмысленно угрожала самоубийством. Отпущенник больше всего боялся бегства пленницы, что ее выкрадут или освободят александрийцы, а прочее не принимал в расчет. Ведь, пропуская к царице врача Олимпа, он полагал, что она печется о своем здоровье и отмеривает себе еще десяток лет. Краем уха он слышал, как Клеопатра выторговывала у императора почетные условия сдачи, и почти уверился в ее жизнелюбии.

Публий же все время ждал от царицы чего-то внезапного, разрывающего цепь привычных событий. Он не знал, на что она способна, но чувствовал, что ее мятущийся дух отнюдь не усмирен. Теперь он понял, что ждал от нее именно этого признания.

Он поспешно выбрался из котельной и нашел соглядатая, рыскающего у дверей купальни то ли в поисках злополучных труб, то ли припрятанных сообщников.

— Не волнуйся, Эпафродит. Здесь нет посторонних, а с них я ни на минуту не спускаю глаз.

Отпущенник задрал голову вверх и сощурил веки; на губах его появилась та елейная ухмылка, какая возникает у завистливого безродья перед статью и благородством.

— Если это так, то я спокоен. У такого зоркого воителя, как ты, Корнелий, птичка не выпорхнет из силков. Будь она даже восьмикрылой химерой. Признаться честно, веселую работку задал мне Цезарь: трястись день и ночь, гадая, что еще могут умыслить эти злобные демоны. Клянусь Диоскурами, легче сторожить стадо диких быков, нежели трех хитрющих женщин!

— Они безопасны, пока одни,— вставил Долабелла.— Но смотри, как бы вслед за тобой сюда не слетелась вся дворцовая челядь.

— И то верно! — кивнул Эпафродит.— Побегу назад, проверю, чтоб на дороге торчало поменьше чужих глаз.

Провожая взглядом отпущенника, Публий не заметил, как за его спиной неслышно возникли Ирада и Хармион. Он обернулся только, когда эфиопка задела его плечом, и поспешно отступил, освобождая рабыням путь.

— Мы благодарим тебя, господин,— поклонилась ему слегка смущенная Ирада,— за то, что ты отослал отсюда этого грубияна. Ужасно противный человек...

— Цезарь выбрал его,— развел Публий руками.

— Все равно мы благодарны и признательны тебе...

— Ну довольно, довольно благодарностей! — хмыкнула недоверчивая Хармион.— Сдается мне, Ира, тебе приглянулся этот римлянин, коли ты так таешь перед ним? Пойди лучше помоги госпоже.

На царице уже не было черного покрывала, в котором она ходила в гробницу. Голубой калазирис из тончайшего газа плотно облегал ее грудь и всю фигуру, совсем как там, в храме Исиды. Да, пожалуй, это было то самое одеяние. Эта замысловатая восточная вязь по краям,— ее невозможно спутать с чем-то иным! Лишь собранным в пучок волосам на голове недоставало венца с солнечным диском и коровьими рогами.

— О спутник Цезаря, тебе незачем было забираться в котельную. Лучшее место наблюдения за мной — это завеси у входной двери. Советую впредь быть осмотрительнее.

Лицо Публия залила пурпурная краска: невероятная колдунья,— она видит сквозь стены!

— Не смущайся, юноша.— Взор египтянки потеплел, голосу вернулась обычная мягкость. (В самом деле, за что корить ей скромного контубернала, который только и делал, что передавал ее записки Цезарю?) — Я вижу, ты не из числа тех скудоумных невеж, что окружили нас тесным конвоем. Они воображают, будто поймали невиданного зверя, и держат его ради своего тщеславия. Им и невдомек, что можно удержать мою плоть, но саму царицу — никогда. Они только слепцы в руках пустынного Сета; покажется им, сели они на золотую россыпь, опомнятся, а это только песок...

«Почему она заговорила о Сете? — подумал Публий, вспоминая храмовые росписи.— Исида притворялась покорной захватчику, чтобы выиграть время. И как слав-

ная богиня спасала своего Гора, так же ее воплощенная последовательница укрывает Птолемея Цезариона?»

— Дядя лишает наследства племянника,— продолжала египтянка, словно бы читая чужие мысли,— и заставляет людей забыть, кто подлинный сын Всеблагого[1]. Но мать приходит на его суд, скрыв свой настоящий облик, и рассказывает сказку о мальчике, изгнанном из дома после смерти отца. Похититель начинает судить и своими устами выносит себе приговор. Ты знаешь? Это Исида и Сет.

Публий определенно терялся перед этой женщиной. Что-то гипнотическое было в ее голосе, заставляющем цепенеть на месте. Публий чувствовал, что не может взглянуть на нее без содрогания. И раньше при упоминании достославной египтянки он терял покой, а после всего увиденного в храме испытывал перед ней какой-то священный трепет. Перед мысленным взором его вставало залитое багровым светом подножие трона Исиды; он все время пытался заглянуть наверх, туда, где в беспредельном пространстве сиял лик бессмертной богини, которой он вручил свою душу.

Неужели она — **та самая?** Та самая, которую тщательно скрывали от него и которую он так хорошо знал. Та самая, которая сверкала над его изголовьем с раннего детства, и он смотрел на ее вытянутый нос, властно искривленные губы и пытался прочесть в немигающих глазах тайну ее судьбы. Ту картину привезли из дымящейся Лаодикеи, будто бы прощальное слово и завещание отца. С тех пор память о погибшем родителе нераздельно слилась с образом неотразимой, пылающей и изменчивой египтянки, ведь она была последней надеждой отца и его предсмертным проклятием.

— Что же ты оцепенел, славный контубернал, и моришь своих воинов? — обронила Клеопатра насмешливо-добродушно.— Веди нас в наш царственный склеп. Мы очистились от горечи и обид и готовы с сократовским спокойствием ожидать решения богов. Ибо судить будут они, остальные — лишь исполнители.

— Конечно, я провожу вас,— очнулся Долабелла.— Но постойте... Как же так? Ведь если был суд небожителей, зачем Исида, рискуя собой, прибегала к суду Сета?

---

[1] Уннефер — «Всеблагий» — эпитет Осириса. Клеопатра проводит параллель своей судьбы с древним преданием: она — Исида, Цезарь (Антоний) — Осирис, Октавиан — враждебный Сет, а молодой Цезарион — мститель за отца Гора.

Что зависело от него, а что от них? — пробормотал Публий, сам не понимая, что он несет.

Царица и рабыни переглянулись между собой.

— На то время,— ответила Хармион,— Сет захватил верховную власть и притеснял всех небожителей. Исида приходила к нему, чтобы изобличить злодея перед богами.

— Значит, было два суда,— кивнул Публий задумчиво.— И один не зависел от другого...

Клеопатра хмыкнула и смерила контубернала долгим пристальным взглядом:

— Ты странный юноша. Впервые вижу такого римлянина. Как твое имя?

— Корнелий Долабелла.

В наступившей паузе было слышно, как звякают за поворотом аллеи поножи нетерпеливых преторцев, а в темно-зеленой гуще прибрежного кустарника отрывисто и тревожно клекочет какая-то африканская птица.

— Сын?..— тихо осведомилась Клеопатра.

Публий молча кивнул головой. В первый раз за все дни он набрался храбрости посмотреть ей прямо в глаза. Он узнал огромные расширенные зрачки, точь-в-точь как на отцовской картине, такие же неистовые, неутоленные. Только теперь в них не было царственного высокомерия, но светились внутреннее достоинство и какое-то неподдельное любопытство.

Она первой опустила взор:

— Долабелла, Долабелла, Боевая Пика[1]... Теперь я вижу: ты очень похож на отца. Точно таким же вот молодым примчался он ко мне в сады Цезаря верхом на рыжем скакуне, потрясая табличкой «Вестник богов». Так потом и случилось. Ведь это он первым известил меня о гибели несчастного Юлия! В тот день, когда весь Рим был объят ужасом и жизнь человеческая не стоила двух ассов, он обещал мне свою защиту и помощь. Разве можно это забыть?..

Чело египтянки поблекло:

— Потом он начал войну, оборвавшуюся внезапно, как лопается перетянутая струна, и упал, как падает подбитый камнем орел. Я знаю, он собирался в Египет...

— Я просился тогда поехать к нему,— промолвил печально Публий.— Меня не выпустили из Рима...

Клеопатра покачала головой:

---

[1] Буквальный перевод латинского dola bello — «военная пика».

— Он до конца верил в свою звезду, твой отец. Ему всегда улыбалась Фортуна. Но, клянусь небом, я никогда не видела его таким угрюмым. Наверное, это передалось тебе от матери?

— Не знаю,— сухо ответил Публий.— Мне трудно сравнивать. Я рос без матери. Отец развелся с ней, когда мне исполнилось два года.

— Что же, ты никогда больше не виделся с ней?

— Нет. Слышал, она вышла замуж за торговца и уехала на Сицилию. Я писал туда, но не получил ответа.

Косые лучи солнца серебрили открытое лицо царицы, с удивлением натыкаясь на внезапно возникшие морщины. Быть может, в эту секунду она подумала о своих детях, отлученных от нее, и сердце пронзила острая боль. Рука ее вздрогнула и потянулась вперед, словно хотела дотронуться до застывшего перед ней воина, вчерашнего мальчика, с детства обделенного материнской теплотой.

Публий сделал шаг навстречу и, подчиняясь неясному порыву, быстро склонился к ее руке и запечатлел на ней горячий сыновний поцелуй.

ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ИМПЕРАТОР АНТОНИЙ — ИМПЕРАТОРУ ЦЕЗАРЮ (32 г. до н. э.):

«...С чего ты озлобился? Оттого, что я живу с царицей? Но она моя жена, и не со вчерашнего дня, а уже девять лет. А ты как будто живешь с одной Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или Сальвией Титизенией, или со всеми сразу,— да и не все ли равно в конце концов, где и с кем ты путаешься?..»

Юный Цезарь вел трезвый образ жизни и был во всем воздержан. Друзья знали о нем еще кое-что удивительное: ведь в течение целого года в том возрасте, когда молодежь бывает очень пылкой, он воздерживался от любви, больше заботясь о своем голосе и здоровье.

Николай Дамасский.

Из Канопа Октавиан вернулся темнее тучи. При посещении храма Геракла случилось необъяснимое происшествие, повергшее римлян в суеверный страх.

Дело в том, что названный храм располагался на островке, окруженном водой; к нему вел длинный деревянный мост. По мосту благополучно прошли ликторы, но как только на нем очутился император со своей конной свитой, доски неожиданно треснули, мост обрушился, и всадники кубарем полетели в воду. Лошадь под Октавианом также получила увечье, самому ему удалось чудом уцепиться за треснутую балку и удержаться на поверхности моста.

Не желая омрачать загородную прогулку дознанием и следствием, Октавиан не дал делу огласки. Ходили, впрочем, слухи, будто в Канопе какие-то молодые люди заключили тайный союз против римлян и намерены избрать своим вождем Птолемея Цезариона. Скорее всего, в обвале моста была повинна его ветхость, но после известий о заговоре в Риме император мог ожидать чего угодно.

По возвращении в Александрию Октавиан распорядился принести обильные жертвы Юпитеру, Юноне и Минерве, справить лектистернии Венере, опекающей его род, а также позвал гадателей растолковать смысл зловещего знамения. Сам он засел во дворце и больше суток не показывался войскам, так что среди преторцев возникли опасения, не занемог ли император в дороге и не напала ли на него черная меланхолия, как это случалось раньше. Вольноотпущенник Тирс вышел к солдатам и подробно разъяснил, что Цезарь вполне здоров и занят обрядами в коллегии авгуров.

Впрочем, канопское потрясение, так некстати выбившее императора из колеи, было успешно преодолено к исходу второго дня, когда пришли первые отрадные вести из Рима. Меценат писал, что мятежный Лепид-сын наконец схвачен и под конвоем отправлен в Александрию, чтобы предстать перед судом Цезаря. Его слабовольные сторонники поспешили попрятаться по углам, а напуганная Сервилия бросила Рим и укрылась на загородной вилле.

Октавиан воспрял духом и в тот же вечер провел оживленное совещание с легатами, на котором присутствовали и два союзных царя: Ирод иудейский и Юба нумидийский. Тут решилось разом все: и как поступить с арестованным бунтовщиком, и когда войску выступать из Александрии, и кто останется управлять Египтом.

В том же письме, между прочим, Меценат спрашивал, не арестовать ли заодно с сыном и Лепида-отца, на

что Октавиан философски заметил: «Потеря сына — лучшее наказание для родителя».

...Для полного торжества недоставало лишь головы бесследно исчезнувшего царя Птолемея Цезариона, следы которого никто не мог обнаружить. Ни дополнительные отряды, ни обещанная награда не приносили успеха. Военный трибун Секстий по-прежнему разводил перед императором руками.

* * *

В тот вечер погода сильно испортилась. С моря налетел шквальный ветер, несущий огромные пенящиеся волны; они с шумом перекатывались через фаросские рифы, распугивали зазевавшиеся в бухте лодочки, ожесточенно набрасывались на берег, разлетались брызгами у подножия гранитных статуй и обелисков. Из-за мохнатых туч спускалась на город египетская ночь, которую Гомер окрестил божественно-темной. Неизвестно, что было в ней божественного, но тьмы-тьмущей хоть отбавляй.

Около полуночи, распустив совет, Октавиан прошелся по длинной террасе, проверяя посты и караулы. Он не спешил, любезно переговариваясь с солдатами, и те почтительно расступались перед ним, довольные, что император не забывает о них в такую ненастную погоду. За одним из поворотов Октавиан ускорил шаг, стараясь не привлекать к себе лишние взоры, внезапно юркнул в боковую дверь и по темному коридору поспешил в укромную комнату в сопровождении одного раба-письмоводителя. Так он поступал всякий раз, когда принимал своих тайных соглядатаев и выслушивал их донесения.

Числилась среди его осведомителей и миловидная изящная танцовщица, носящая распространенное у гречанок имя — Клеопатра. Она родилась в Александрии, десятилетней девчонкой была привезена в Рим и отдана в обучение мимическому искусству. В четырнадцать лет юная актриса уже слыла завсегдатаем изысканных аристократических салонов; сам Виллий Анналис благоволил к миловидной гречанке. Во время проскрипций, выдав благодетеля на расправу триумвирам, изворотливая танцовщица освободилась от всякой опеки и открыла собственный промысел, с успехом торгуя своими прелестями. В отличие от венценосной тезки Клеопатра-гетера не снискала громкой славы, хотя хитрости и про-

нырливости ей было не занимать. Вряд ли кому из делящих с нею кубок и ложе приходило в голову, что эта беззаботная красотка, на уме у которой только вино и пляски, может плести тайные сети и иметь связь с самим императором.

Когда Октавиан вошел в комнату, Клеопатра уже восседала на сигме[1], отряхивая пыльный химатион. Резвый конь примчал ее из палящих песков Героонполя: в комнате чувствовался запах сыромятной кожи и пустынной акации.

— Хайре, мой повелитель! — широко распахнула она синие лукавые глаза.— Вот где довелось встретиться нам на сей раз. Но ты, конечно, меня вовсе не ждал? Я читаю на твоем челе. Ты надеялся, что несчастная Клео уже зарезана бандитами в темном переулке Александрии либо растерзана шакалами в зарослях нильского тростника. Но, помнится, на Самосе я предупреждала тебя: так легко ты от меня не отделаешься. И вот, я сдержала свое слово, нравится ли тебе или нет.

— Я так и понял, что это ты,— процедил Октавиан сквозь зубы, присаживаясь напротив,— хоть ты и назвалась не своим именем. Вижу, у тебя есть новости?

Он нанял ее еще во время Перузинской войны присматривать за Луцием Антонием, любовницей которого она считалась, а после падения того приставил к Асинию Поллиону. Легко входящая в доверие, гетера проникала в любые триклинии и конклавы, как вьюн, окручивала доверчивых простачков и выуживала у них ценные сведения. Вскоре, впрочем, она громко оскандалилась, уличенная в попытке отравления народного трибуна Веттия, и по настоянию эрарных судей была выдворена из Италии. Несколько лет после этого она провела в Афинах, отираясь в обществе философов, но на этом поприще успеха не имела. Когда войска Октавиана заняли Грецию, куртизанка поначалу пустилась в бегство с одним эпикурейцем, но вскоре бросила мудреца и вновь установила связь с императором, предлагая свои услуги. Недолго думая, Октавиан послал ее в Александрию, в лагерь своего главного противника.

Прибыв в забытое отечество, гетера не показывалась на глаза Антонию, но, благодаря короткому знакомству с его окружением, была посвящена во все планы последнего, о чем регулярно оповещала Октавиана.

---

[1] Сигма (*лат.*) — полукруглый диван.

— О Цезарь, можешь считать, беглец Птолемей в твоих руках!

Гетера светилась плохо скрытым злорадством. Октавиан вытянулся в кресле и устремил на шпионку нетерпеливый взгляд. Она нарочно не спешила с рассказом, устраиваясь поудобнее на сигме и наслаждаясь волнением патрона.

— Говори же скорее, треклятая гарпия! Как ты медлительна, когда речь идет о срочных вещах.

— Терпение, мой бог,— произнесла она вяло, откидывая голову и закрывая один глаз.— Сейчас соберусь с духом. Пыльные ветра иссушили мои жилы, синайские смерчи подорвали здоровье. Силы оставляют меня... Вообрази: семь лет бесконечных скитаний по неведомым землям, свист бичей, вопли грубых мужланов, топот погонщиков, крики верблюдов — или наоборот, или всё вместе... Словом, какая женщина способна вынести это?

— Что-то не похоже, чтобы все эти похождения слишком надломили тебя,— сухо заметил Октавиан.— Однако скажи: какую награду ты хочешь получить за службу?

— Сердце мое просится на запад, на солнечную Сицилию,— протянула гетера нараспев.— Я уже не так молода, мне двадцать семь, и остаток жизни я хочу провести на берегу теплого моря, на уютной вилле, в окружении услужливых девиц и светловолосых мальчиков...

— Зачем тебе Сицилия? — перебил Октавиан.— Ты египтянка до мозга костей.

— Сам ты египтянин! Ты, верно, спутал меня с другой Клеопатрой, с той, которая упала из цариц в рабыни. Я Клеопатра-Филида, вознесшаяся из глухой трясины к вершине света, и знамя мое — суровый Запад. Там я вкусила истинное блаженство и там же хочу окончить свои дни... Что на свете может быть прекраснее Сицилии?

— Хорошо,— сказал Октавиан.— Ты получишь усадьбу близ Лилибея и приписку к городской общине.

— С правами гражданства для моих сыновей? — сладко зажмурилась куртизанка.

— А у тебя они есть?

— Будут. Ведь у меня еще все впереди.

— Вот тогда и поведем об этом речь. Рассказывай, что знаешь, о Цезарионе.

Гетера наконец выпала из забытья и с возрастающим удовольствием живописала свои последние приключения. Как оказалось, «пустынные мытарства» она испытала только последнюю неделю, а все время до этого предавалась пышным оргиям в обществе приближенных юного царя Египта. Им шпионка представилась арфисткой Филидой из Коринфа. Путем несложных махинаций ей удалось втереться в доверие к самому Родону, воспитателю Птолемея Цезариона.

— Записывай слово в слово,— кивнул император своему писцу.

Когда стало ясно, что дни Антония и Клеопатры сочтены и римляне вот-вот нагрянут в город, Родон с Цезарионом спешно засобирались в путь, намереваясь бежать к Аравийскому морю и отплыть в южные страны. Беглецы нагрузили десяток вьючных животных семейными драгоценностями, незаметно улизнули из Александрии и погнали караван по старой мемфисской дороге. В путь с собой Родон прихватил и мнимую Филиду.

Окольными путями путники добрались до Героонполя; тут их застигла пыльная буря, длившаяся несколько дней. Часть караванщиков разбежалась, а среди оставшихся вспыхнул спор: что делать дальше? Несчастная Филида, по ее словам, не могла ступить дальше ни шагу, не рискуя подцепить либо чесотку, либо вшей, либо пустынную лихорадку. Мучимая сомнениями, она явилась к Родону и завела речь об опасностях морского плавания, прозрачно намекая на возможность выслужиться перед предводителем римлян и купить себе безбедное существование.

К тому времени стало известно, что беглецов разыскивают, Октавиан разослал повсюду глашатаев, объявив за поимку Цезариона большую награду. Хитрая куртизанка угодила в цель: Родон признался, что сам подумывает о возвращении и не собирается жертвовать жизнью ради тщедушного юнца. Уговор их был таков: на ближайшей стоянке попытаться склонить Цезариона к возвращению в Александрию; ежели тот заупрямится, напасть и зарезать его, а голову отослать Октавиану.

Разговор с Цезарионом был поставлен по всем правилам аттической трагедии. Гетеру прямо трясло от восторга, пока она расписывала классическую сцену увлечения Амфиарая в заведомо гибельный поход против

Фив[1]. Сменяя друг друга, Родон и Филида вставали в трагическую позу и произносили длиннейшие монологи, уснащенные посулами и клятвами. Юный царь не сразу понял, что в этом представлении ему досталась роль обреченного аргосца и позволил себе усомниться в дружелюбии римлян. Заговорщики принялись горячо доказывать, что Цезарь не причинит ему никакого зла, и если он милостиво обходится с его матерью, то тем более почтит его, сына великого Цезаря, своего родственника, и непременно пожалует ему египетский престол. Наконец юноша сдался и согласился ехать назад, выговорив лишь условие, что они остановятся в Мемфисе и оттуда вступят в переговоры с Октавианом.

Заговорщики торжествовали.

Однако на обратном пути гетеру одолели новые страхи: она испугалась, что Родон ее обманет, выдав юного царя, заберет себе все лавры, а главную вдохновительницу сего блистательного замысла отпихнет в тень. Поэтому, не доезжая Мемфиса, она вырвалась вперед каравана и что было мочи погнала коня в римскую ставку. В бешеной скачке, уверяла шпионка, она раза два вылетела из седла, едва не разбилась о камни, и потеряла ожерелье из латуни ценою в три тысячи драхм. Тем не менее, несмотря на столь тяжкие потери, уже на вторые сутки обессиленную всадницу вынесло к фаросским берегам.

Здесь, ничуть не передохнув, куртизанка пробралась к мысу Лохий и попросила преторскую стражу доложить императору, что с ним желает говорить женщина по имени Фрина[2]. На лице ее при этом была написана такая значительность, что преторцы, смекнув кое-что, поспешили выполнить ее просьбу. Они удивились еще больше, когда получили от Октавиана приказ немедленно проводить гостью в укромные покои. Самомнение гетеры распалилось сверх всякой меры; она укрепилась в надежде, что кроме жалкой спонсии ей удастся выбить из патрона что-нибудь повесомее. В ее обуянной страстями головке уже роились мысли и об иных благодарностях.

В продолжение рассказа речистой сикофантки раб,

---

[1] Герой древнегреческого мифа аргосский царь — прорицатель Амфиарай олицетворяет собой обреченность судьбы. Предвидя гибельный конец «похода семерых против Фив», он отказывался в нем участвовать, но уступил настоянию коварной супруги и пал в бою.

[2] Фрина — знаменитая гетера классических Афин.

пришедший с Октавианом, старательно скреб стилем по дощечке, записывая ее показания, так что под конец куртизанка обращалась непосредственно к нему, как если бы диктовала докладную сенату. Она специально вставляла паузы в тех местах, в которых, по ее мнению, слушатель должен был охать и выказывать изумление, но римлянин этого не делал, что ее сильно раздражало.

Под конец Октавиан отпустил раба и вышел сам, чтобы отдать необходимые распоряжения. Пока он отсутствовал, гетера наметанным оком озирала комнату, безошибочно определяя цену дворцовой утвари. Цепкий взгляд ее задержался на коробочке из цитра, в которой обычно хранятся драгоценности. Минутой позже коробочка исчезла в потайном кармане безразмерного химатиона куртизанки; она непременно стянула бы еще что-нибудь, если бы в комнату не вошел евнух, несущий на подносе еду и напитки.

Затем вернулся Октавиан. Он вышел откуда-то сзади и остановился напротив столика, озабоченно похрустывая суставами пальцев (дурная привычка с детства).

— Ты возникаешь ниоткуда, как Дионис в «Вакханках»,— молвила гетера, набрасывая на себя прежнюю маску умиления.— Какое постное выражение у тебя на лице! Надеюсь, ты уже набросал конспект беседы со мной? Или ты выходил, чтобы выслать людей на дорогу?

— Выслать,— кивнул он как-то рассеянно.— Сегодня ты останешься здесь.

Шпионка издала смех, похожий на блеяние горной козы:

— Это вроде как в качестве заложницы, пока не объявятся Родон с Цезарионом и не подтвердят мои слова? Сколько помню, ты все тот же: пик холода и бездна недоверия. Потому-то ты никогда не пользовался успехом у женщин. Ты навеваешь тоску... Только одна дурнушка Терентилла еще как-то разогревала тебя. Ты по-прежнему ходишь к ней?..

Октавиан показал на столик с яствами:

— Надеюсь, эта скромная трапеза восполнит твои силы.

— Да восславит небо твою чуткость, сияющий Цезарь! Впереди долгая ночь, и нам действительно не мешало бы подкрепиться. Ты ведь разделишь со мною стол? Я не выношу есть одна.

Император пожал плечами и присел за край стола, почти не дотрагиваясь до блюд. Пока гетера усиленно налегала на жареного каплуна и сушеные фрукты, он не обмолвился ни словом. У него снова разболелся зуб, а это была дурная примета. Только после того, как евнух очистил стол и подал разбавленное вино, он вскинул на куртизанку внимательные глаза:

— Правду ли говорят, что он похож на покойного Цезаря?

— Кто похож? — переспросила гетера с набитым ртом, тут же, впрочем, уразумев, о ком идет речь.— Что мне сказать на это? Я плохо помню твоего отца, Божественного Юлия, хоть он и привез меня в Рим. В ту пору я была несмышленой девчонкой. Если же судить по гермам и статуям, то ты ведь знаешь наших льстивых ваятелей, падких до золота и лавров. Из уродливого хромца они слепят дорифора[1] и придадут такую важность осанке и благообразие лицу, что впрямь неси на Олимп. Из всего сонмища изваяний, посвященных тебе, не наберется и десятка, по которым можно признать тебя в жизни. К тому же ныне пошла такая мода, чтобы в каждом городке воздвигать статую очередного римского правителя. Искусство стало сродни присяге на верность. Как всегда, остроумнее всех оказались афиняне. Они просто взяли старые, никому не нужные статуи Аттала и Эвмена и подписали их: «Гай Цезарь», «Марк Антоний». Вот и посуди: как можно определить, кто на кого похож? Хотя Родон, сказать прямо, не раз повторял, что находит в Цезарионе много такого, что напоминает ему великого Цезаря. При этом его клакеры[2] хором поддакивали. Не пойму, с чего они это брали: ведь тот был старик, а этот безусый юнец.

Октавиан сдержанно улыбнулся, стараясь не потревожить больную десну. Теперь он окончательно признал в собеседнице прежнюю Клео, развязную и бесшабашную танцовщицу Греческого театра в Риме, который он курировал в юности по поручению Цезаря. Это была выдающаяся болтушка, рот которой не закрывался ни на минуту.

— Если желаешь его казнить,— добавила она с простодушной миной,— советую непременно расчленить тело на части. Иначе египтяне его забальзамируют, а

---

[1] Дорифор (*греч.*) — копьеносец. Имеется в виду знаменитая статуя Поликлета V в. до н. э.

[2] Клакеры (*лат.*) — наемные рукоплескатели в театре.

по здешним поверьям, всякая мумия должна когда-нибудь вернуться к жизни. Скажи-ка на милость: зачем тебе фамильные призраки?

Император собрался было сострить что-нибудь в ответ, но тут вдруг понял, что не испытывает к этому ни малейшего желания. Им овладели бесконечные тоска и разочарование. Он не мог сообразить, отчего это так, и поэтому еще глубже погружался в скуку.

Гетера между тем решительно отстранила чашу, поднесенную евнухом, и извлекла из своего химатиона какую-то странную бутыль с густой бурой жидкостью.

— Посмотри сюда, мой несравненный Парис. Клянусь Дианой, разящей насмерть, ты никогда не пробовал ничего подобного! Это священный напиток Исиды, который потребляют храмовники на тайных мистериях. Нет другого такого снадобья, что так бы горячило кровь и распаляло плоть. Я уверена, что Гомер воспел его в «Одиссее»:

> Гореусладный, миротворящий, сердцу забвенье
> Бедствий дающий...[1]

Говорят, Исида приворожила Осириса именно этим напитком. Секрет его приготовления известен лишь посвященным; посторонний, узнавший его, подлежит смерти,— обыкновенно его находят мертвым безо всяких признаков насилия. Испробуй, и если ты не завизжишь от удовольствия, пусть я увижу тебя в объятиях злостной Сервилии. Слышала я, бывшая невеста восстала против тебя?

Римлянин искоса наблюдал, как гетера разливает жидкость, выждал, пока она начнет пить первой, и только тогда взялся за кубок. От зоркой куртизанки не ускользнула эта деталь, но она сделала вид, что ничего не заметила.

У Октавиана ожгло нутро. С трудом превозмогая жжение, он набрал ртом побольше воздуха и выказал легкую усмешку:

— Какая гадость! Теперь я не удивляюсь, почему Осирис предпочел чертогу небожителей загробную тьму.

— О нет! — подмигнула лукавая сикофантка.— По мне, так приятен здешний свет. В нем есть обильный стол и мягкое ложе, и еще неизвестно, что взамен нам подсунут в Аиде. Но что с тобой, мой незабвенный Эн-

---

[1] Одиссея. IV, 221—2.

димион? Как ты побледнел и сжался! Ах, порази меня гром, я совсем забыла, что у тебя язва кишечника и потому ты не выносишь вина. Скорее ложись на спину, я разотру тебя... Надеюсь, ты еще не совсем отравлен и мой спасительный массаж вернет тебя к жизни.

Гетера потянулась к груди сотрапезника, но он остановил ее резким движением руки:

— Нет-нет, ничего! Не стоит беспокойства. Сейчас пройдет.

— Во всяком случае, пока ты еще жив, я хочу сказать тебе следующее.— Куртизанка расслабленно потянулась на сигме, отстегнула плащ, стянутый на шее, и сбросила с головы покрывало, обнажив причудливо завитую копну рыжих волос. Лицо ее стало красным и потным, словно она только что выбралась из судатория[1].

Вот что: я передумала ехать на Сицилию. Возиться в хлеву и поливать кусты — все это не по мне. Я вернусь с тобою в Рим, вернусь вторично, уже не в рабской повозке Цезаря, как это было когда-то, а восседая на колеснице! Пусть теперь в цепях идет эта гордячка, носящая со мной одно имя. Она уже отпраздновала свой триумф, пора уступить место новой Клеопатре. Мое призвание — повергать наземь могучих мужей. Если б ты знал, какое наслаждение водить за нос надутых спесивцев и что за счастье видеть, как вчерашний герой оказывается рабом! Ты думаешь, я старалась для твоего величия? Отпиши виллу своей толстозадой Терентилле. Это моя страсть. Дайте мне пощупать, как слаб и ничтожен человек, сколь наивна и глупа его природа. Дайте сорвать с него благообразную личину и посмотреть, какое пресмыкающееся полезет из него. За это я готова снести розги и плети, окунуться в клоаку и отдаться первому бродяге.

Пол под римлянином закачался. Он наклонился над столиком и закрыл глаза, пытаясь унять тошноту. Когда он приподнял отяжелевшие веки, то увидел прямо перед носом пылающее лицо чувственной гречанки и ощутил на висках ее змеиное дыхание. Она овила его шею длинными, как стебли, руками и прошептала в самое ухо:

— Гетеры погубят мир, но без них никто не оценит, насколько он был прекрасен. Так говорил Апеллес, рисуя бессмертную «Анадиомену». Ему позировала сама

---

[1] Судаторий — парильня в римской бане.

Фрина. Ты, вероятно, будешь удивлен, если узнаешь, что среди гетер также существуют тайные союзы и партии, и принесение клятв, и присягание знаменам. И они ведут между собой гражданские войны, почище твоей Актийской, за обладание мужчинами. Они имеют свои школы и учение, передаваемое по наследству. И, как во всякой общине, у них есть знаки различия, определяемые цветом и покроем одежды, пароли, условные сигналы, ранги, подразделения, и еще много такого, чего тебе и не снилось.

— Да,— буркнул Октавиан, отстраняясь от собеседницы,— государству давно пора ввести налог на гетер. И поскорее, пока не сбылось пророчество Апеллеса.

Клеопатра со смехом откинулась на сигме, рыжие кудри ее выбились из-под тонкой сетки и рассыпались по плечам. Прическу она носила высокую, на аттический манер; хотя волосы порядком истрепались в дороге и с них сошла краска, ветра не смогли распрямить накрученные колечки и сгладить зачес на лбу. Все это было уже отменено в Риме.

— Иногда мне кажется,— молвила гетера, погрустнев,— я родилась давным-давно, в цветущей Аттике, и пришла с Элевсинских лугов, где водят хороводы светловолосые девы, искусительницы древних героев. Здесь много толкуют о метемпсихозе[1]. Один из ученых мудрецов, последователей Пифагора, уверял меня не на шутку, что во мне живут эйдолы[2] великой Фрины. Ты веришь в переселение душ? Ты, конечно, был бы не против, если бы в тебя запали эоны души Александра? Мне думается, македонец втайне обожал непревзойденную Фрину.

— Мне вполне достаточно духа Юлия Цезаря,— мрачно процедил Октавиан, поглядывая на стоящую в углу клепсидру[3].— Однако мне пора идти. Меня ждут срочные дела.

— Выпей еще! — дыхнула ему в подбородок гетера.— И ты забудешь о своих хлопотах, не стоящих ржавого обола. Ты предашься сладкой неге, а я спою тебе прекрасную песню, которую поют канопские гиеродулы в ночь вызывания душ усопших.

Римлянин с трудом оторвался от цепких пальцев куртизанки:

— Удивляюсь, как быстро ты всосала в себя всю

[1] Метемпсихоз (*греч.*)—учение о переселении душ.
[2] Эйдолы (*греч.*) — «образы», эпикурейский термин.
[3] Клепсидра (*греч.*) — водяные часы.

эту египетскую муть. Стоит ли тебе с подобным багажом появляться в Риме?

Гречанка была задета за живое. Она насупилась и обиженно надула губы, как Медея, получившая приказ о высылке из Коринфа. Затем, вспомнив о чем-то, кивнула на недопитый патроном кубок и язвительно изрекла:

— Клянусь небом, как, должно быть, тебе, о Цезарь, тяжко и неуютно живется на этом свете, если в каждом слове ты слышишь угрозу, в напитке ищешь зерна отравы, а в каждом человеке видишь недруга, только и ждущего, как бы сократить тебе жизнь.

Октавиан сделал серьезное лицо и вкрадчиво проговорил:

— Послушай, Филида, Фрина, Клеопатра или как тебя еще. Я меньше всего нуждаюсь в твоих софизмах, почерпнутых из недоеденных блюд вчерашних любовников. Тебе платят за работу, которую ты делаешь дурно, а об остальном и говорить нечего.

— Послушай, мой милый Фуриец,— в тон ему протянула куртизанка, напуская на себя такую же важность.— Мы слишком хорошо знаем друг друга, чтобы ты разыгрывал передо мной мудрого учителя. Оба мы выбрались на форум из пыльных задников Бычьего рынка[1], и если теперь ты залетел так высоко, что забыл свое прошлое, то я легко оживлю его. Вспомни тот год, на Луперкалиях, когда кончился подвоз хлеба, ты пришел в комиций, и тебя забросали камнями. Тогда ты едва унес ноги и прибежал ко мне, дрожа от страха, с перешибленным носом и красными оттопыренными ушами. Ты упал мне на грудь и долго слюнявил мою шею, всхлипывая, как побитый зеленщик. Что ты лепетал тогда? Ты жаловался на злой народ и неблагодарных родственников, клялся, что сложишь с себя власть и навсегда удалишься в провинцию. Ты звал меня с собой, уверяя, что мои ласки заменят тебе полудаментум[2] и все фасцы в придачу. Кто вернул тебя Риму? Кто напоил твои иссушенные жилы живительной влагой?

— Как ты многословна! — покачал головой император.— Ты пошла бы далеко, если бы иногда придерживала язык за зубами.

---

[1] Бычий рынок в Риме, недалеко от дома, в котором родился Гай Октавий. Близ Бычьего рынка находился и Греческий театр, где выступала юная танцовщица.

[2] Полудаментум — красный плащ римского военачальника.

— Не злись, мой бог,— добродушно рассмеялась гетера.— Злиться по пустякам — самый большой недостаток правителя, тут же обнаруживающий его слабость. А ведь ты слаб и от этого мнителен, замкнут и очень одинок. Ты боишься людей, опасаясь, что они догадаются, что ты не тот, за кого себя выдаешь. И ты, конечно, правильно поступаешь, кутаясь от глаз в жреческие покрывала; ведь лучше печень обнажать чужую, чем свою собственную[1]. Поражаюсь только, как при всем этом тебе удалось выбиться в вожди народа! Видит Аполлон, будь я Теренцием Афром или Асинием Поллионом, непременно написала бы поучительную претексту[2] под названием «Великий притворщик».

Куртизанка еще не выговорилась, как Октавиан встал и направился к выходу. Последние слова она прокричала ему вдогонку, точно метала камень в стремительно уносящуюся колесницу.

В укромной комнате воцарился покой. Несколько минут гетера сидела в полном одиночестве, слушая, как гудит за окном ветер. Она испытывала последствия аффекта, наподобие кузнеца, который старательно выковывал фигурную виньетку, а у него получился боевой трезубец. Наконец, она сорвалась с места и через узкий коридор выскочила на экседру, где в ночной тишине прохаживался испанский стражник.

— Куда он ушел? В какую сторону?

Испанец смерил ее хмурым взором и ничего не ответил. Он совсем продрог на ветру и не был расположен к пустым разговорам.

— Ах, доблестный воин! — мигом сориентировалась шпионка, и голос ее стал тонким до невозможности.— Я вижу на твоем лице черты отваги и благородства. Верно, ты родом из лузитанов, самого храброго племени из всех, обитающих за Пиренеями? О том говорит и серьга в твоем ухе — знак родового достоинства.

Стражник немного попятился, кося на незнакомку встревоженное око. Она не отступала:

— Мне доводилось встречать одного храброго лузитана по имени Корбий. Знакомо ли тебе это имя? Это был изумительный богатырь, телосложением не уступавший Геркулесу. Он пал во время Далматийской

---

[1] Изучение печени животного — обязанность гаруспика. Смысл: прятаться под личиной жреца.

[2] Претекста — пьеса с сюжетом из римской жизни.

войны. Ты очень похож на него. Готова поклясться, вы единоутробные братья!

— Я происхожу из лузитанов, то верно,— молвил растерянный страж.— Мандоний мне имя. Но у меня нет брата по имени Корбий, и все мои родственники, хвала богам, живы...

— Очень жаль,— проворковала куртизанка, беря его под руку.— Тем не менее сходство поразительное. Особенно это высокое, открытое чело, ясные голубые глаза. Мне кажется, в этом наследственный признак славных потомков Вириата. Мы только что говорили с Цезарем о том, как дальновидно поступил он, вверившись испанской когорте. Я даже заметила, что в награду за службу следовало бы почтить лучших воинов правами гражданства. К сожалению, мы не окончили разговор. Проводи меня к его покоям, я забыла ему кое-что передать.

Лукавая Филида во всех случаях знала, как себя вести: ее ужимки могли пронять даже каменного идола. Когда она томно опускала веки и стыдливо прикрывала глаза, облик ее казался очень даже привлекательным и вся она олицетворяла невинность.

Испанец нерешительно помялся, но, побуждаемый ласковыми пожатиями куртизанки, повел ее по дворцу, пока не уперся в низкие дубовые двери. Тут дежурил декурион[1] с двумя копейщиками, которые жестко скрестили копья.

— Цезарь лег спать и приказал не беспокоить его.

— Как лег?! — вспыхнула гетера, вне себя от мысли, что добыча, бывшая почти в ее руках, подло ускользнула.— Я могу хотя бы передать ему записку?

Потребовалось немало словесных изысков и чисто женского обаяния, прежде чем декурион согласился нарушить хозяйский покой:

— Добро, пиши свою записку. Я передам.

Гречанка развернулась и поспешила в прежнюю комнату, на ходу сочиняя примирительный текст и тут же отбрасывая слово за словом. Ей претило каяться; она не сделала этого даже на суде эрарных трибунов, когда речь шла о ее жизни и ее обвиняли чуть ли не в колдовстве. «Порождение лисы и ехидны! — громыхал главный судья.— Что ты творишь под небом? Что останется после тебя?!» — «Я хотела бы, чтобы после

---

[1] Декурион (*лат.*) — командир воинского десятка.

меня осталась серебряная статуя»,— не моргнув, отвечала гетера.

Достигнув старого места, куртизанка нашла свою бутыль и в ярости едва не откусила ей горлышко, напиваясь дико, по-черному, как напиваются контуженные моряки в кабаках Брундизия. Она упала на пуховики, судорожно взбрыкивая ногами, хрипя и стеная, доколе бутыль не опорожнилась до дна. Тогда она отшвырнула ее и перевалилась на бок, чтобы было удобней излить переполняющую нутро желчь.

— Неблагодарный! Ему приводят чуть ли не на поводке сына великого Цезаря, а он еще смеет стучать копытом и воротить нос. Но это ему даром не пройдет. Фрина умеет мстить.

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал [1].

Он скоро пожалеет о сегодняшней ночи. Я отомщу покруче, чем глупая Сервилия! Хвала Градину, на свете есть еще немало владык, кому нужны мои услуги. Я поеду к Фраату, и пусть тогда он лопнет от гнева! Клянусь эриниями, я сделаю это, даже если мне отсекут все дороги в Рим.

Идея показалась шпионке настолько ужасной, что она тотчас приняла ее безо всяких колебаний. Бурное воображение уже нарисовало жуткую картину вторжения парфянских войск, залитые кровью города и груды поваленных тел под скакунами железных катафрактариев. И все это с ее ведома и по ее наущению. А почему бы и нет? Приводил же царские полчища Квинт Лабиен, убежавший к парфянам после Филипп; все помнят то грозное нашествие!

Гетера даже присвистнула от удовольствия:

— Представляю, как перекосится его надменная физиономия, когда он узнает, что я служу при дворе Фраата. Как он будет рвать на себе волосы, что оттолкнул меня! «Пусть гибнет все!» [2] Он думает, что Клеопатра исчерпала свое и ее можно списать в утиль. Но он жестоко ошибся. Фрина воссияет, как Афродита, поднявшаяся из пены!

Синие и белые круги поплыли перед глазами гречанки. Комната показалась душной и тесной, точно могильный склеп. Ее мутило, и, чтобы избавиться от хме-

---

[1] Первые строки «Илиады».
[2] *Еврипид.* Медея.

ля, она поднялась на ноги, отчаянно цепляясь за занавеси и дверные косяки.

Светильник уже давно погас, комната озарялась лунным светом через узкое окошко. Как раз напротив окна маячила фреска, изображавшая совокупление Мелеагра и Аталанты. В отличие от суровых римлян изнеженные восточные властители позволяли художникам украшать свои покои интимными сценами. Любовники сливались друг с другом, сидя на высокой суфе, причем Аталанта несколько откидывалась назад, заламывая белые, не в меру полные руки и касаясь распущенными волосами цветочной вазы. С полураскрытых губ ее срывался страстный шепот.

Куртизанка исподлобья разглядывала фреску, начиная понемногу трястись от возмущения.

— О жалкий Фуриец! — взвыла она утробным голосом.— Я знала, порази меня гром, я давно подозревала... От меня ничего не утаить! Ты любишь ее, эту египетскую тварь! Ты давно уже сохнешь по ней. Она в твоих глазах, на лбу, снаружи, внутри, и чем глубже ты прячешь свою гнусную страсть, тем сильнее она выпирает! Ты и со мною делил ложе только потому, что я называлась ее именем. Теперь, когда в твоих руках подлинная Клеопатра, ты презираешь меня! Ты и начал эту войну, чтобы отбить ее у Антония. Ты ликуешь теперь, но, видят бессмертные боги, не ты овладел ею, а она тобою! Тебе стыдно перед римлянами, не то ты давно бы упал ей в ноги. Скажи, скажи, что это неправда! Уверь, что это ложь... Иначе, клянусь Аидом, ты погибнешь!

Гетера хотела было расцарапать ненавистную фреску, как вдруг услышала за спиной осторожные шаги. Кто-то вошел в комнату. Она прижалась к стене, затаив дыхание, пытаясь собраться с мыслями.

— Это ты?

Из темноты на лунный свет выплыли коротко стриженная голова, знакомые золотистые волосы, зачесанные на лоб, и выпуклые дуги бровей. Куртизанка почувствовала, как кровь отливает от лица, хмель испаряется без остатка, и в разгоряченной голове образуется какая-то ясность.

— Хвала богам, ты вернулся. Ты хотел меня немного помучить, но я не в обиде. Ты всегда испытывал меня, я к этому привыкла. Теперь ты вошел, и все клятвы, которые я сейчас произнесла, утратили смысл. Я играючи побеждала многих мужей, но пред тобою

я слаба. Я поняла это еще тогда, на вилле Мация, когда мы сошлись впервые: ты сильнее меня. Твоя планета — Сатурн, холодная, далекая, недосягаемая. Вот уже двенадцать лет я иду за тобой, точно одержимая, ищу твоего ласкового взгляда, прикосновения... Но не могу получить. Почему ты молчишь?

Он кивнул головой и протянул к ней ладони. Она издала тихий стон обреченной на заклание жертвы, сладко зажмурилась и почти рухнула на его руки.

Можно вообразить горечь разочарования и тяжесть отчаяния, когда вместо желанного нектара вкушаешь яд, когда вместо сладостной неги натыкаешься на острые шипы. Так и попавшая в капкан гречанка, извиваясь под тяжестью грузного тела, чувствуя, как царапает шею металлическая серьга, как бьет в нос запах кожаных солдатских ремней, то сжимала, то отталкивала ночного пришельца, исступленно и бессильно повторяя: «Ты кто? Ты кто? Ты не Цезарь...»

* * *

Рассвет застиг куртизанку раскинувшейся на полу в самой безобразной позе. Голова гудела, на языке ощущался привкус крови, смешанной с терпкой настойкой. Гетера пошарила руками вокруг себя и подобрала полы измятого химатиона. Она стыдилась фрески на стене и стыдилась комнаты, в которой провела ночь. Чувство такое посещало ее иногда, после бурной оргии, но не от раскаяния, а от неудовлетворения.

В очередной раз несчастная Филида дала себе обет умерить чревоугодие и не напиваться до крайности. Не дожидаясь, пока в комнату войдут слуги, она собрала свои пожитки и скорбно тронулась в путь.

Стражник-испанец по-прежнему прогуливался по террасе; вполоборота встретив выходящую из покоев гетеру, он криво ухмыльнулся и потер в ухе тяжелую серьгу. Она не заговорила с ним и ни о чем не спросила, прекрасно ориентируясь при дневном свете.

Через полчаса, миновав внешнюю охрану, она уже спешила по улице, ведущей в Ракотис. Перейдя несколько кварталов, гетера свернула на рыночную площадь близ ворот Селены и постучала в двери высокого особняка.

— Кто это? — послышался сонный голос привратника.

Она испустила сочную брань, обзывая раба остолопом, а его хозяина — нильским крокодилом, шкуру ко-

торого давно пора пустить на ремни и перевязи. После этого дверь приоткрылась, и куртизанка проворно шмыгнула вовнутрь.

— Что ты так остолбенел, Соем? Я плохо выгляжу? Или ты не чаял увидеть меня вовсе? Ты думал, я уже на полпути в Индию? Увы, ты обманулся... Все это время я никуда не отлучалась и сидела за городом, в гостях у Леонтиды. Представляю, как расстроится твой хозяин, узнав о моем возвращении.

— Он уехал, госпожа. Два дня назад.

— Что? Уехал? Тоже в Индию? Благие боги! Все мы периодически устремляемся в Индию, когда не остается сил переносить родное отечество. Мы бежим туда без дороги, плывем через моря, ползем, если нужно ползти, и клянемся, что никогда не повернем назад. Но, увы, Индии нет. Это сказка, придуманная для простаков.

— Он уехал в Гермополь за товаром,— пояснил привратник.

— Харон с ним,— махнула рукой куртизанка, поднимаясь в дом.— Я вернулась, и дело с концом. Разогрей-ка мне воду в купальне. С этими цезарями некогда даже помыться,— порази их гром! — ежедневно в скачках... Ха-ха, Соем, не удивляйся: Леонтида кличет так своих скакунов. Забавно, не правда ли? Один годовалый, смирный, местных кровей, другой привозной, из Италии... ох уж этот другой! Норовист, как Буцефал. Видишь, я совсем износилась с ним.

Она плюхнулась в воду, сбросив химатион на мраморном парапете небольшой ванны, похожей больше на храмовый хауз. Привратник поставил на огонь добавочный котел. Теплые волны согрели «износившуюся» гетеру, руки и ноги покрылись мельчайшими пузырьками, будто бы ее облекли под водой в воздушную ткань. Она вытянула шею и, манерно запрокинув голову, как это делала когда-то на сцене, отчеканила на весь дом с какой-то нервной, пугающей торжественностью:

Нет, заклинаю этою дубравной
Вершиной Громовержца,— мне не лги!
Ведь речь ведешь ты с женщиной не слабой,
Но знающей мужей. Я понимаю:
Не может быть любовь их постоянной.
Кто Эросу в борьбе противостанет,
Как на бою кулачном,— тот погиб! [1]

[1] *Софокл.* Трахинянка. 449—455 (слова Дияниры, супруги Геракла).

Убей меня, дальше не помню... В этом месте я выносила Лихасу[1] дорожную шляпу, и он прощально махал ею царице. О, как я мечтала хоть раз сыграть ее роль!.. Но все исполняли только мужчины.

Пыльный химатион куртизанки напоминал ей о безотрадной ночи; она отпихнула его ногой и заметила, как по полу покатилась цитровая коробочка, украденная во дворце.

— Чтоб я провалилась,— прошептала гетера.— Как я могла забыть о ней?! Эта вещица лежала в той комнате... Соем, где ты?— повысила она голос.— Скорее принеси еще кипятка! Что ты там болтал про хозяина? К чему ему ехать в Гермополь? Скажи правду: он бежал, скрылся от Буцефала. То бишь от Цезаря. Он бежал позорно, поспешно, бросив дом на произвол судьбы. Тому, кто усердно поставлял провиант антонианцам, нечего ждать пощады. Не так ли, Соем?

Дворецкий не отвечал. Куртизанка прислушалась к тишине, затем бесшумно вылезла из воды и на цыпочках подбежала к заветной коробочке. Казалось, она открылась сама собой.

Необыкновенной красоты индийский карбункул предстал перед взором неуемной гетеры и поразил своим красноватым таинственным сиянием. Она повертела добычу в пальцах, цокая языком и прищуривая глаз:

— Будь мне неладно, если это не тот самый камешек, который царица подарила младшему Антонию! Да-да, тот самый, заговоренный, приносящий вечную молодость...

Оживший на свету карбункул обдал куртизанку нежданной прохладой, неприятный холодок пробежал по телу с головы до пят; она поежилась, увидев стоящего на пороге Соема с котелком в руках, вздрогнула и, не зная, куда спрятать камень, быстро сунула его себе в рот.

— Прошу прощения,— смутился слуга, не ожидая застать купальщицу на поверхности.— Я только подолью горячей воды...

Гетера не могла ничего произнести с полным ртом, но лишь размашисто жестикулировала и вертела головой, строя выразительные гримасы. Привратник смутился еще больше, видя, что развязная гостья не собирается даже прикрыть свою наготу. Замешательство старого слуги позабавило гречанку, а его поспешное

[1] Лихас — глашатай, посланец Дияниры к мужу.

бегство из ванной комнаты ее окончательно рассмешило. Она постучала себя по груди, давясь от смеха; коварный карбункул скользнул по языку и угодил в горло, перекрыв дыхательный путь.

Наигранная веселость на лице гетеры мгновенно сменилась отчаянным страхом; жилы вздулись на шее; она зашаталась, хватаясь за выступы и поручни, хотела кричать, звать на помощь, но из горла прорвался лишь глухой судорожный хрип. Привратник успел удалиться в другую половину дома и не мог расслышать подозрительный шум в купальне.

Вечную молодость способна даровать только смерть. Потрясенная этой догадкой, куртизанка потеряла равновесие, лишилась чувств и опрокинулась в переполненный водою бассейн.

ΠΛΟΥΤΩΝ

Клеопатра заботилась не о сохранении жизни, которую он ей обещал, а о части царства. Напрасно! Целомудрие для Цезаря было выше красоты.

Флор. «Эпитомы»

Похоже, Долабелла был прав в своих опасениях насчет Прокулея. Оскорбленный Клеопатрой советник представил императору ее паломничество в усыпальницу в недобром свете. Семена Прокулея упали на вспаханную почву. Октавиан вообще остался недоволен чересчур пышной процессией, и в другой раз, когда ему потребовалось передать что-то пленнице, он послал в Северный дворец военного трибуна Секстия Квиринала.

Само по себе это еще ничего не значило; у Цезаря много посыльных, и лишь Фортуна решает, кто подвернется ему под руку. Но Публий воспринял все иначе. Он почувствовал, что его отлучают от того дела, которое он уже почитал своей вотчиной. Подозрения окрепли, когда на другой день после завтрака император вручил ему записку, адресованную Арию Дидиму, и велел проводить философа во дворец.

Публий робко напомнил, что на нем смена стражи Северного дворца.

— Не беспокойся, Корнелий,— улыбнулся Октавиан.— Там прекрасно управятся Секстий и Эпафродит.

— Я еще не доложил тебе, Цезарь, как прошла церемония в усыпальнице...

— Меня это не интересует,— отрезал император.— К тому же нам теперь вовсе не до женских причитаний и притворных слез. Грядут важные дела. Посему не мешкай, мой друг, и поезжай в Мусейон.

Увы, контуберналу оставалось только смолчать и подчиниться, хотя он был вне себя от досады и никак не хотел менять недостойное место женского сторожа на почетную должность провожатого именитых мужей.

Публий уже не сомневался, что на него кто-то донес. Наверняка здесь поработал стоглазый Эпафродит, все время отирающийся подле царицы и видевший, как Долабелла водил пленниц в купальню. Неспроста рьяный соглядатай лебезил перед Публием: обычная уловка лисы, которая затем бежит жаловаться льву.

К тому же контубернал отлично знал, что за субъект этот Секстий Квиринал. Самодовольный красавчик, он успел прославиться в войске многочисленными любовными похождениями. Удалой повеса ухитрялся заводить шашни во время похода, причем не брезговал ни пленницами, ни черными рабынями. Все это сходило ему с рук благодаря странному попустительству императора. Сведущие знали, что Октавиан держит Секстия для особых тайных поручений: военный трибун не брезговал самой грязной работой. Большинство спутников Цезаря сторонилось его рук, щедро обагренных кровью казненных. Зато Секстий позволял себе в лагере все, отбросив всякую стыдливость. Публий был уверен: если кого-то и следовало выслать из войска за кутежи и пьянство, то вовсе не несчастного юнца Геренния, а как раз этого напыщенного щеголя с трибунским плащом.

«Бессмертные боги! — подумал Публий, садясь на коня.— Неужели я ревную?! Кого? К кому? Александрийский воздух действует на меня не лучшим образом. Сначала призрачные видения в храме, затем несуразный бред в усыпальнице, путаные бормотания в купальне, и вот уже дух расшатан донельзя. Ведь предупреждал я самого себя остерегаться египетских кумирен... Хвала небесам, скоро все кончится, и мы покинем этот темный, непонятный, загадочный край».

Раздосадованный контубернал выехал через западные ворота примерно через час после того, как здесь проследовала безутешная Клеопатра Филида, так что скромный проезд в стене у храма Селены по праву мож-

но было именовать Воротами Отвергнутых. Дальше не стояло уже никаких постов вплоть до самого Мусейона.

В обитель наук Публия пустили беспрепятственно. Да он ни у кого и не просил разрешения: доверенным лицам Цезаря открыты все двери. Неистребимое раболепие мусейонских слуг только раздразнило его, и он презрительно бросил:

— Где мне найти Ария Дидима?

— Они все наверху, господин. Мы проводим тебя.

Слуги имели в виду здешний ученый совет. Больше половины мусейонцев разбежалось еще до вступления в город римлян, а оставшиеся вынуждены были делать вид, что ничего не случилось и они занимаются делом, как прежде. В первое посещение Мусейона, будучи в свите Октавиана, Публий слышал от Ария самодовольные слова: «Войны разгораются и гаснут, огонь науки пылает вечно, несмотря ни на что».

Римлянина ввели на многолюдную экседру, щедро освещенную восходящим солнцем. Почтенные философы теснились на лавках вдоль стены, точно ученики в афинской начальной школе. Один лишь Арий чинно прохаживался по мозаичному полу, заложив руки за спину, так что край зажатого плаща топорщился, как павлиний хвост. Впрочем, наряд самого скромного из александрийцев намного превосходил богатством рубище главного грамматика. Арий намеренно облачился в замшелые крестьянские одежды, и в этом был особый шик, доступный лишь величинам первого ранга. Публий ни минуты не сомневался, что между жалким облачением честолюбивого философа и домотканными туниками молодого Цезаря существует самая тесная связь. Неизвестно только, кто у кого перенял эту моду на бедность.

Когда он вошел, Арий в очередной раз отмерил экседру и развернулся на дорожке.

— Величайший порок среди людей — леность мысли. Отсюда их тьма и невежество. Возьмите тысячу человек, и вы едва ли найдете среди них одного-двоих, которые способны думать без посторонней помощи. Большинство обречено влачиться по стопам других, чаще всего ловких проходимцев. В этом смысле я бы сравнил их со скотом, бредущим и мычащим. Ну разве не в их природе идти тогда, когда свистнет бич, и туда, куда укажет погонщик? И, как всякий скот, они грубы, трусливы и жестоки.

Люди не воспитаны думать и не обучены трудиться.

Ведь думать — чрезвычайно трудная работа, пожалуй, самая трудная из всех трудов, какие известны. По-настоящему работает только тот, кто по-настоящему думает. Иначе это попрошайка, а еще хуже — вор. Когда я вижу стадо онагров, слепо несущихся за своим вожаком, мне тотчас представляется наше общество. Упадет вожак, и животные будут бесцельно топтаться на месте, пока не появится кто-нибудь, обладающий проблеском разума.

Арий замедлил шаг, словно вспомнив о чем-то, и скороговоркой заключил:

— Однако стадо может ошибиться в своем выборе, опять же от лености и невежества принять за водителя вовсе не того, кто способен думать и вести, но того, скажем, кто покажется более красивым, упитанным, высоким и дородным. Такие вожаки-проходимцы обрекут стадо на гибель.

Никанор давно делал отцу выразительные знаки, кивая на вошедшего контубернала. Наконец, сам принял у Публия пергамент и поспешно сунул его в руку оратора, едва тот поравнялся с ним. Арий на ходу пробежал глазами несколько строк, бросил взгляд на императорского посланца, застывшего у дверей, и вновь развернулся к слушателям.

— Вернемся теперь к эпикурейцам. Недалекие люди вызывают жалость. Их обделила природа. А что должны вызывать бычки Эпикурова «Сада», нарочно, сознательно отрицающие науки, всякую образованность и при этом притязающие на роль вожаков? Презрение? Гнев? Стыд? Не от воинственного ли невежества, умственной лености и всегдашней праздности вся их пошлая галиматья об эвдемонизме, атараксии и человекоподобии божественного? Я сомневаюсь, чтобы Эпикур когда-нибудь всерьез занимался философией; иначе он не стал бы подкреплять свои пустые измышления бытующими в простонародье поверьями. Ему хватило домашних ларов и двух-трех идолов Керамика, чтобы понять, что боги телесны, носятся в междумириях, едят и пьют, ходят в отхожие места и даже говорят по-гречески (еще бы, ведь на этом языке изъяснялся сам Эпикур!).

Все это преподносится с таким серьезным видом, что впору пожалеть наивных мечтателей, если бы от подобного вздора не веяло чем-то зловещим. Спрашивается, не созданы ли эти боги по образу и подобию питомцев разгульного «Сада»? Затем, чтобы освящать

их мотовство и распущенность? Ведь, следуя такой логике, в конце концов можно заявить: «Боги есть, потому что есть мы». Чем это лучше полного безбожия? Суть ведь не в том, чтобы очеловечить богов и найти им спокойное местечко, но чтобы, низведя божественную природу, отрицая ее всеохватность, силу и власть, разрушить саму религию до основания. Вот куда заводит воинствующее невежество, и вот каковы водители у необразованной черни. При этом они не устают бахвалиться, что будто бы избавляют людей от страха. Но не страх они отнимают, а веру. А где вера, там и благочестие.

— Мне кажется,— язвительно вставил сидящий в тени Ксенарх,— Эпикур только затем и загнал богов в междумирия, чтобы самому взгромоздиться на их место. Недаром последователи называют его «Божественным».

— Вне сомнения! — отозвался Арий.— Устами этих еретиков движет вовсе не любовь к истине, но утробная корысть. Посидоний называл эпикурейское учение о богах порождением отвратительной зависти. Я добавлю: и невежества. Правда, в последнее время эпикурейцы поспешили нацепить маску учености и принялись расшаркиваться перед науками, изображая хоть какую-то образованность. Многие засели за труды, а Филодем даже решил посостязаться с Каллимахом, хотя весь свой поэтический пыл потратил не столько на поиски философии, сколько на заигрывание с уличными девками. Его дружок Сирон, вы знаете, родил четырехкнижный опус «О душе», в котором с неряшливостью, свойственной всем эпикурейцам, спутал душу с разумом, что лучше всего доказало отсутствие у него этого последнего. Даже выбросив свое сакраментальное «Бог есть совокупное „Я"», он остался так же далек от небес, как курица от орла.

Гораздо опаснее их афинская братия, окопавшаяся в «Саду». Вот эти-то Федры и Патроны, добившиеся должностей гнусным пресмыканием перед египетской потаскухой и ее любимчиками, вот они-то с невиданным упорством продолжают сеять семена ереси и отравлять умы благоверных. Эти, еще пуще, чем прежде, твердят о страхе смерти, что избавиться от него — первейшее дело каждого. Но кто сказал, что благочестивый человек должен бояться будущего? Боятся как раз они, гневители богов, и чем больше разрушают веру в бессмертие духа, тем сильнейший страх ими самими ов-

ладевает. Вы видели только что, как Антоний и Клеопатра тщились бросить вызов провидению и, через слово поминая Эпикура, наводнили город постыдным развратом, точно заветы старого мота могли спасти их от возмездия. Или они достигли пресловутой атараксии? Нет, ими владел безотчетный ужас и страх близкой расплаты. Впрочем,— Арий сделал широкий жест в сторону соседней лавки,— тут я ем хлеб нашего мудрейшего Филострата и его друзей; ведь они все это время находились в Александрии и лучше других наблюдали агонию нильских супостатов.

Отмеченный Филострат слегка привстал с места и смущенно заулыбался, словно извиняясь, что всю войну просидел подле Клеопатры, в то время как другие благоразумно переметнулись к Цезарю.

— Хвала небесам, эпикурейство не нашло в святой долине Нила той пищи, какую получило в Греции и даже в Италии...

Если бы не робкая реплика Филострата, Публий ни за что бы не догадался, что это не лекция главного грамматика, а диспут между равносильными философами. Глаголил преимущественно один Арий; остальные пребывали в роли слушателей, лишь изредка резюмируя его монологи короткими вставками. По уверенному тону наставника чувствовалось: он не впервой упражняется в своем могуществе и угодничество окружающих для него в порядке вещей. И хотя слово вроде было предоставлено александрийским платоникам и те уже открыли рот, чтобы внести свою лепту в дело борьбы с последователями Эпикура, заговорил опять Арий Дидим:

— Та великая победа, друзья, которую одержал счастливый Цезарь над безбожным Антонием,— пролог полного торжества ревнителей священного логоса над богомерзкими стадами эпикурейства. Мы нанесем им сокрушительный удар, в сравнении с которым самый Акций покажется легкой разминкой. Так же, как пылали корабли Антония, будет гореть земля под ногами хулителей веры! И в Греции, и в Италии, и везде, где утвердится знамя Света и Истины! Я уже вижу, как распаханный Эпикуров «Сад» служит отхожим местом у праведной Академии.

Хотя Арий изъяснялся с нарочитым пафосом и даже пытался шутить, пухлое мясистое лицо его при этом нисколько не менялось, оставаясь холодным и неподвижным, как маска мима. Публию пришло на ум, что

такой вид должны, наверное, иметь додонские силлы[1], когда они удаляются в священную рощу и изрекают оттуда божественные откровения. Во всяком случае, иногда казалось, не человек разгуливает по Мусейону, а впрямь проплывает какой-то воплощенный оракул.

«О Фортуна Перворожденная! — с тоской и болью подумал Публий.— Кто, кто явил нам этого провидца, увенчал его лаврами и назвал духовным пастырем Цезаря? Вчерашний льстец черни, хулитель Цицерона сегодня поучает всех и вся. И кто сделал так, что все молчат, глядя ему в рот? Неужто это прообраз завтрашнего римского форума?!»

Мусейонцы, услышав анафему Ария, ответили дружным, отработанным гулом. Грамматик утихомирил их движением руки и многозначительно помахал куском пергамента, который доставил ему Долабелла:

— Друзья, я должен откланяться и покинуть досточтимое собрание ввиду неотложных дел. Цезарь зовет меня на срочное совещание.

Благоговейная тишина провожала главу симпосия, пока он спускался на улицу. Арий прихватил с собой только старшего сына Никанора; позади шествовал Публий, держа коня под уздцы. Оба александрийца почти не оглядывались на него, да и он не особо этим печалился.

— Славно, отец! — вполголоса рёк Никанор.— Сегодня ты всыпал хорошего перца всем этим остолопам. Они не смели пошевелиться.

— Иногда полезно встряхивать сосуды, чтобы не застоялось и не протухло их содержимое,— отвечал польщенный грамматик.— Думаю, сегодняшний разговор принесет благие плоды.— Он вздохнул, как человек, завершивший долгую и тягостную работу.

— Одного не пойму я, отец,— пожал плечами Никанор.— Почему ты привечаешь этого оборотня Филострата, когда как его место в тюрьме? Неужели ты забыл прошлое? Когда тебя изгнали из Мусейона,— вспомни, сколь бесчестно и нагло! — этот лжефилософ тут же взгромоздился на твое кресло. Все эти годы он усердно лизал сапоги Антонию и Клеопатре. Неужели ты простил ему все?

— Ты молод, Никанор,— заметил Арий,— и многого

---

[1] Силлы (*греч.*) — жрецы оракула Зевса Додонского в Эпире.

не понимаешь. Побитый враг лучше сильного друга. Зачем нам молодые напористые спесивцы? Мы оставим кающегося старика. По крайней мере, знаешь, что от него ожидать...

— Смотри, как бы он снова не сотворил какую-нибудь пакость.

— Нетрудно косить головы направо и налево,— проговорил грамматик с расстановкой.— Гораздо труднее заставить эти головы кланяться. Поучись, сын мой, у тех, кто повелевает людьми, и перейми у них опыт.

— Вот я и перенимаю,— язвительно вставил Никанор.— И голова юнца Антилла, снесенная в первый же день,— лучше всяких поучений. Скажешь, неправда, отец? А Ирод, который настойчиво советует Цезарю казнить Клеопатру? Или, по-твоему, он тоже излишне несдержан?

— Старые вести,— усмехнулся грамматик.— Ироду сейчас не до Клеопатры. Он слишком занят дочерью этнарха Симона и позабыл обо всем остальном. Влюбленный мужчина не способен на жестокость. Идумеянин всерьез надумал увезти прекрасную иудеянку в Иерусалим в качестве трофея и даже обещает ей, чтобы она не скучала по Александрии, воздвигнуть в Иерусалиме точную копию фаросской башни. Отцу же счастливицы обещана должность архиерея[1].

Никанор сбавил шаг:

— Значит, Цезарь действительно решил пощадить ее?

— Кого?

— Клеопатру.

— При чем здесь Клеопатра? Ты снова о ней? О царице разговор отдельный.

— То есть как отдельный? Ведь от того, как поступят с ней, зависит и все остальное. И похоже на то, что посещение Цезарем безутешной пленницы и доверительный разговор принесли свои плоды: они нашли общий язык и пришли к какому-то согласию.

— К согласию волка и овцы, отсрочивших обедню на следующий день,— поморщился Арий.— Ужасно не люблю, когда речь заходит об этой женщине. Она тут же ставит всех с ног на голову. Это как раз тот случай,

---

[1] Т. е. первосвященника. Собеседники разговаривают на греческом языке.

когда сострадание совершенно неуместно. Ибо речь тут вовсе не о философии,— речь о царстве и власти.

— До сего дня, отец, я полагал, царицу и ее потомство ожидает не очень суровое наказание.

— С Птолемеями покончено навсегда,— отрезал грамматик.— Ты вдвойне наивен, сын мой, если воображаешь, что после всего, что случилось, Цезарь оставит египтянке хоть толику царства. Нет, Никанор, не для того мы несли неслыханные тяготы и вели жестокую войну, чтобы, победив, продлевать жизнь преступной династии. Больше никаких царей! Египту на лбу написано быть провинцией. И довольно об этом.

— Я вовсе не так наивен, как ты полагаешь,— обиделся начинающий поэт.— Я сужу по Нумидии. Она тоже была обращена в провинцию, но как только возмужал молодой Юба, Цезарь посадил его на место отца. Император чтит древние династии. И если солнце больше не светит Клеопатре, то ведь есть наследник престола, юный Птолемей, связанный с Римом не только силою оружия, но и кровью родства.

У Ария вырвался долгий, пронзительный, почти зловещий смех:

— Птолемей Цезарион?.. Ты уморишь меня, Никанор! Разве можно быть таким слепцом? То, что ты перечислил как достоинства венценосного отпрыска, являются первыми статьями его приговора. Мало того, ему уже пришел конец!

С этими словами грамматик поднял локоть и тряхнул рукавом, куда он вложил записку Цезаря.

— Это он тебе написал?! — вспыхнул Никанор.— Цезарион схвачен? Зачем он тебя зовет?

Отец оглянулся по сторонам и приложил палец к губам. Никто из прохожих не услышал неуместного восклицания, кроме Долабеллы. Публий с первых слов прислушивался к разговору философов и теперь пожалел, что не прочел записку Октавиана. Стало ясно: император вызвал грамматика не из праздного любопытства, но по какому-то исключительному случаю.

Никанор никак не мог прийти в себя; похоже, такой поворот был для него совершенно неожиданен.

— Ты знаешь, отец, я ведь решился дополнить свой панегирик и уже сделал это. Я закончил тем, что Цезарь пощадил царицу и ее потомство, и восславил его великодушие... Я не думал, что он примет другое решение.

— Прости его,— развел руками родитель,— он не догадался свериться с твоей поэмой. Оттого-то и вышла досадная накладка. Я пожурю его, и в следующий раз он будет знать, что делать.

— Ты все шутишь, отец. А ведь дело серьезное. Что же теперь ждет египтянку? Ее уничтожат?

— Вряд ли,— молвил Арий.— Цезарю не нужна ни ее жизнь, ни ее смерть. Ты до сих пор не понял, что ему нужно?

— Ее позор?

— Вот именно! Разве ты не видишь, как он жаждет блеснуть перед миром своей победой, насладиться унижением той, которой поклонялись Запад и Восток? Он сгорает от нетерпения превзойти старшего Цезаря и затмить его славу. Госпожа отца — ныне его рабыня,— что может быть упоительнее?! Ты думаешь, зачем он сейчас так обхаживает ее? Он бережет ее для показа в Риме. Он давно страдает и мучается жалкой ролью тени Божественного Юлия, принужденный следовать по родительским стопам. Благодаря имени Цезаря он получил власть и стал тем, кто есть, но его страшно тяготит мысль о том, что его воспринимают только как преемника великого отца. Ему самому впору одежды Юпитера, и он сделает все, чтобы их надеть. Вот для чего ему нужна Клеопатра в цепях, влачащаяся перед его победной колесницей. А потом... Потом он сошлет ее в какой-нибудь храм, как старший Цезарь Арсиною, либо сделает своей наложницей, либо царицей в какой-нибудь Вифинии,— это уже не суть важно. Главное, он утвердится в мире и в собственных глазах.

Как осторожный Одиссей нутром чуял присутствие страшной Скиллы, так же и увлекшийся пророчеством Арий не мог не ощутить на спине колкий прожигающий взгляд. Он почувствовал ожог и обернулся на молодого контубернала, неотступно бредущего по его следу. Публий быстро опустил глаза.

Грамматик передернул плечами, словно бы его хлестнули плетью по лопаткам, пригнул голову и удвоил торопливые шаги:

— Однако, Никанор, мы слишком разболтались, а солнце уже в зените. Поторопимся; Цезарь не любит ждать.

* * *

Загнанные исхлестанные лошади и истощавшие двугорбые верблюды, еще не освобожденные от поклажи,— остатки некогда большого каравана,— понуро топтались на площадке перед Южным дворцом. Десяток изодранных погонщиков устало растянулся на земле под бдительным присмотром испанских стражников. Ветер разносил по двору гусиный пух и обрывки полосатых материй.

Проводив Ария до дверей императорских покоев, Публий застыл на пороге, недоуменно озирая разношерстную толпу, и несколько минут не мог вымолвить ни слова, пока рядом случайно не оказался Луций Писон.

— Откуда здесь эти животные? К Цезарю прибыли иноземные послы?

— Ты еще ничего не знаешь?! — весело присвистнул Писон.— Уже половина города обсуждает эту новость. Цезарь ведь и послал тебя к Арию, чтобы тот принял участие в совете, как поступить с пленным царенышем.

— С царенышем? — переспросил Публий, и в висках его застучало.— Ты говоришь о Птолемее Цезарионе?

— Ну да, провалиться мне, о ком же еще?! Сынка Клеопатры взяли ночью на мемфисской дороге. И вместе с ним его охранников и целую груду драгоценностей. Цареныш ехал в столицу, побуждаемый к возвращению, как говорят, своим воспитателем-греком.— Писон громко расхохотался.— Пока наш дурачина Секстий ощупывал каждый кустик по берегу реки, беглец объявился сам. Представлял ли ты, Корнелий, что-либо подобное?

— Который же из них сын Клеопатры? — осведомился Долабелла упавшим голосом.

— Не ищи его здесь, Корнелий. Цареныша сразу же отвели к императору. Еще бы, такая добыча! Думаю, прежде чем сунуть юнца в петлю, наш патрон на радостях угостит его хиосским. Ведь у Цезаря теперь не осталось ни одного соперника...

Не успел контубернал переварить новость, еще одно неожиданное зрелище предстало его очам. Со стороны Северного дворца на площадку высыпала толпа возбужденных преторцев, напоминающих в эту минуту древних строителей пирамид, какими они изображены на скальных рельефах. Публию показалось вначале,

что они тянут на веревках какую-то гранитную статую. Только когда процессия подкатила ближе, он разглядел высоченного эфиопа, накрепко скрученного корабельным тросом. Впереди шествия, размахивая руками, семенил всклокоченный Эпафродит, пронзительный голос которого слышался за сотню шагов:

— Скорее к Цезарю! Позовите Гая Прокулея! Невероятное происшествие! Я буду говорить...

Связанный эфиоп на голову превосходил самого рослого из преторцев; его каменное лицо, возвышающееся над толпой, казалось бесчувственным.

Публий сделал два шага навстречу процессии:

— Что случилось, Эпафродит? Почему ты схватил этого человека?

— Я буду говорить только перед Цезарем, Прокулеем или трибуном Секстием,— надменно отозвался отпущенник.

— Кровавая стычка,— пояснил один из преторцев, давнишний знакомый Долабеллы.— Только что этот верзила прорывался в покои царицы. Видел бы ты, Корнелий, его меч: под стать самому Ахиллесу! Трое наших получили тяжелые раны, прежде чем мы связали силача. Верно, он хотел убить египтянку... Если б не зоркость и проворство Эпафродита, первым заметившего его, царица была бы мертва.

— Ты мелешь чепуху, Рулл,— покривился соглядатай.— Ты ничего не понял... Эфиоп крался к Клеопатре вовсе не с мечом, но с тайным посланием. Я все видел.

— Сюда, о наперсник Цезаря! — завопил Эпафродит, встречая вызванного из дворца военного трибуна.— Я расскажу тебе о преступном умысле. Посмотри на этого бессловесного негодяя: только что он пытался передать Клеопатре секретную записку. Сначала я услышал голос из окна: пленница разговаривала, обращаясь к нему, а он мычал и делал ей какие-то знаки. Так продолжалось несколько минут, и, клянусь Юпитером, она называла его по имени Ахенот. Затем я вижу, как это чудовище достает свернутый свиток и метит прямо в окошко. О боги, еще бы немного, и записка угодила бы в руки Клеопатре!..

— Погоди, не торопись,— проворчал Секстий, пожимая плечами.— Ты говоришь, злоумышленник явился к египтянке с письмом. Где же оно?

Эпафродит выпучил глаза:

— Чтоб меня треснуло... Разве не ясно? Он проглотил бумагу прежде, чем его схватили. Вспори его чер-

ное брюхо, и ты найдешь там еще целенький пергамент. Настоящее послание!..

Военный трибун хмуро оглядел собравшихся, не зная, как отнестись к бессвязной речи отпущенника. Тем временем тот подскочил к скрученному великану и, брызгая слюной, ткнул палкой в его тугой живот:

— Подлая тварь, отвечай, чей ты раб?! Кем послан? Откуда появился? Кто вручил тебе записку для царицы? Что в ней написано?

Плененный Ахенот даже не повел на него глазом.

— Похоже, это чудище лишено языка,— догадался Секстий, сам, бывало, предававший своих невольников подобному наказанию.— Признаться честно, облик его мне уже знаком... Клянусь небом, я где-то видел сего чернокожего гиганта. Порази меня гром, если совсем недавно он не приходил во дворец, сопровождая своего господина.

— Какого господина? — обернулся Эпафродит.

— Не помню, кого именно...

— Теперь ты понимаешь, Секстий? — проскрипел зубами соглядатай.— Это заговор. Эфиоп — тайный лазутчик, посланный к царице; без языка, чтобы не проговориться, и с приказом съесть письмо в случае неудачи. Его господин — влиятельный человек, поскольку, по твоим словам, вхож к самому Цезарю; и этот-то знатный злодей готовит побег преступной египтянке.

— Ты пугаешь меня, отпущенник,— побледнел военный трибун.— Либо у тебя слишком необузданное воображение и ты нуждаешься в лечении у физиогномиста, либо дело настолько важно, что разрешить его может лишь сам император.

Секстий вторично обвел мутным взором столпившихся вокруг преторцев и контуберналов и указал пальцем на связанного гиганта:

— Кто-нибудь знает его?

Не дождавшись ответа, он безнадежно махнул рукой:

— К Цезарю!

Преторцы дружно потянули за веревки и поволокли бессловесного эфиопа в императорские покои.

ПЕРΣЕФОNН

Нет, умереть желая царицею,
На павший дом взглянула с улыбкою
И злобных змей к груди прижала,
Чтобы всем телом впитать отраву:

Она решилась твердо на смерть идти
Из страха, что царицей развенчанной
Ее позорно для триумфа
Гордого вражья умчит либурна.

Окончание оды Горация. 30 г. до н. э.

ИЗ КНИГИ ОЛИМПА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО «ВОСПОМИНАНИЯ О КЛЕОПАТРЕ»

Самым несуразным планом, который Антоний рассматривал в эти дни [перед падением Александрии] и вполне серьезно изучал все стороны и малейшие подробности очередного безумства, была затея с гигантскими зеркалами и стеклами. С предложением изготовить их к Антонию явился некий арабский торговец, до этого совершенно никому не известный, и ушел, смею уверить, щедро осыпанный подарками.

Торговец этот только что вернулся из Индии и видел где-то там, как жрецы зажигают солому с помощью толстого прозрачного стекла. Солнечный свет, проходя через стекло, усиливается, собирается в пучок и воспламеняет горючие предметы, на человеческом же теле оставляет сильные ожоги. Почему бы, предложил торговец, не увеличить размеры подобных стекол, дабы свет бил на большее расстояние? Он-де вычислил, если изготовить стекло поперечником в двадцать локтей и толщиною в четыре, то пучок солнечных лучей вызовет огонь и причинит ожоги на расстоянии двухсот шагов. Поскольку такого количества стекла выплавить практически невозможно, торговец предложил отливать огромные выгнутые стеклянные пластины, соединять их друг с другом, а пространство между стеклами заполнять водой с достижением того же успеха.

Предложение это весьма воодушевило Антония, а ввиду приближения неприятельских войск показалось даже спасительным. Он тут же велел изготовить под руководством торговца-араба десяток или даже больше вышеописанных орудий и установить их на городской стене, снабдив обученной командой. Этими-то фантастическими стеклами он надеялся вызвать панику во

вражеском войске. И, чтобы лучи падали на стекла с нужной стороны, он, по совету того же туземного Архимеда, приказал изготовить вдобавок равное количество зеркал, установленных позади орудий так, чтобы улавливать и передавать им солнечный свет.

Целую неделю вооруженные стражники Антония перетряхивали город, изымая повсюду необходимый материал и людей для нового предприятия, и целую неделю раздавались стоны и жалобы населения. Нелепость этой затеи, впрочем, была настолько очевидна, что царица сама обратилась к Антонию, умоляя его оставить жителей в покое и не опустошать понапрасну государственную казну. Ведь, убеждала она, если такие орудия и будут изготовлены и окажутся вполне пригодными, кто поручится, что противник пойдет в наступление солнечным днем, а не ночью или в пасмурную погоду, когда зеркала и стекла совершенно бесполезны? На это одержимый римлянин,— в ту пору он уже не доверял царице,— запальчиво отвечал, что подожжет ее дворец и даже всю Александрию, но добудет нужное количество света.

Об этом Клеопатра сама рассказывала мне, будучи уже пленницей, когда я тайно навещал ее во дворце и приносил требуемые ею снадобья. Более я не мог узнать за краткостью встреч и нехваткой отведенного времени...

* * *

За нехваткой времени не оставалось ничего иного, как избегать по возможности утомительных объяснений и разговоров. Я убедил привратника Али ничего пока не говорить хозяину ни о моем приходе, ни о поспешных сборах. Али осведомился, не подать ли мне ужин, но я попросил только крепкого кофе. Недолго же паковаться тому, кто пускается в путь нагруженным на одну руку! Последним в дорожную сумку лег портовый амулет с изображением жука-скарабея. Я задержал на нем взгляд, не решаясь застегнуть «молнию» и этим самым как бы перелистнуть последнюю страницу и захлопнуть прочитанную книгу.

Вдруг кто-то распахнул дверь в комнату: вместо привратника с обещанным кофе на пороге возник Луис Антеф.

— Возвращение заплутавшего странника? — кивнул он с улыбкой, лукаво поигрывая бровями.— Где же, где наш досточтимый гость изволил пропадать трое суток подряд? Поведает ли, что случилось с ним, почему его

некогда просветленное лицо приняло столь озабоченный вид?

Я быстро дернул за «молнию»:

— Ничего особенного.

— Ты так считаешь? — усмехнулся Луис.— До сего дня я полагал, ты приехал ко мне и у тебя нет решительно никаких других дел в городе... Конечно, ты волен поступать, как тебе заблагорассудится; но не думаешь ли ты, что я, твой гостеприимец, некоторым образом ответствен за тебя и твое благополучие? С того часа, как ты бесследно исчез, не подавая никаких признаков жизни, я не нахожу себе места, гадая, чем я обидел тебя или поступил не так, как следовало. Теперь, на третьи сутки, ты прокрадываешься в дом, прячась от глаз, точно ночной воришка, весь в пыли и копоти, будто бы тебя держали в глухом подземелье. Скажешь ли, наконец, что происходит?

— Не гневайся, Луис. Я уезжаю. Мой самолет улетает завтра утром. Билет уже на руках.

— Ты улетаешь? — растерянно заморгал он глазами.— Но ведь мы еще ничего не успели... Съездить в Каир, прокатиться по Нилу, побывать у пирамид...

— Как-нибудь в следующий раз. Я и так слишком загостился у тебя.

— Наконец, мы еще не закончили работы в бухте. Тебя перестала интересовать статуя Клеопатры?

— Пожалуй, с меня достаточно амулета из ее гробницы.

Луис пожал плечами и удалился.

В наступающем сумраке верхушки египетских пальм становились похожими на огромных темных павлинов, распустивших веером хвосты. Они чинно шествовали, один за другим, по обочинам автострад, по вечерним улицам, мимо отелей и офисов, направляясь в одну сторону, к великолепному дворцу Рас-эт-Тин — «Глиняной голове». Даже комнатные пальмочки, казалось, стремились выпрыгнуть из кадушек и поскакать вслед за своими могучими собратьями. Всеобщее шествие захватывало их.

В половине одиннадцатого я спустился вниз и увидел Луиса, сидящего напротив пылающего камина.

— Знаешь, о чем я думаю? — молвил он, не оборачиваясь.— Та гранитная статуя, которую мы отлавливали в бухте, могла быть вовсе не Клеопатра. Даже скорее всего не она. Почему бы должны сохраниться статуи последней царицы? Если их не разбили сразу, то ведь

много желающих стереть память о ней находилось впоследствии... И почему мы решили, что это Клеопатра?

— А корона Исиды? — спросил я в недоумении.

— Разве мало египетских цариц отождествляло себя с Исидой? Почти каждая. Равно как все Птолемеи были земным воплощением Диониса. Вероятно, мы имеем дело с изображением одной из ранних цариц, предположительно третьего века до новой эры. Наконец, статуя могла представлять саму Исиду.

— Возможно,— молвил я.— С другой стороны, изо всех египетских цариц именно наша Клеопатра оставила наибольшее количество изваяний. Процент вероятности, что мы поднимали ее статую, по-прежнему велик... Впрочем, о чем мы спорим? Если это не Клеопатра, ты намерен остановить работу?

Луис откинул голову и потер бока своей лоснящейся бородки:

— Мне приятнее иметь дело со знаменитостью. Еще одна такая вылазка, и я либо разорюсь, либо попаду под суд. Как там у вас говорится? Воровать, так королеву... Древностью сейчас никого не удивить: нужны эффекты, нужны сенсации.

— Что я слышу, Луис?! Ты заговорил почти как Октавиан. С той лишь разницей, что он держал добычу в руках, а твоя статуя продолжает покоиться в море.

Луис приподнял одно веко:

— Зато моя Клеопатра, в отличие от той, не может исчезнуть и оставить меня с носом.

— До сих пор она делала это с успехом.

— Что-то я не пойму тебя,— нахмурился собеседник.— Ты как будто радуешься, что она оборвала лебедку и ушла на дно. Можно подумать, ты хочешь уберечь ее от меня и принял на себя роль того изменника-римлянина, который сторожил ее в темнице... Как, бишь, его у Плутарха?

— Корнелий Долабелла.

— Вот-вот. Я читал, он там что-то расчувствовался и клюнул на ее уловки, а она хитро использовала это. Все ищут только выгоду. Но этот стражник, верно, получил от нее хорошую плату. А тебе какая радость, что она останется в море?

Я повернулся к окну и посмотрел в сторону Рас-эт-Тина; только в том месте виднелась еще серебристая полоска моря, совсем крохотный отрезок, светлеющий

между стеклобетонными глыбинами новейших строений.

— Останется ее тайна.

* * *

И снова пала на город египетская ночь.

Как-то странно прекращается в Александрии уличный шум. Будто по сигналу пустеют дороги, стихают шаги, и в шестом часу уже никого не встретить, кроме разве что запоздалых гуляк да нищих, крадущихся в поисках ночлежки. Красные факелы в глубоких нишах, то затухая, то разгораясь, будто глаза огромной гидры, выползшей из ночного моря, мрачно взирали на пустынное безлюдье, точно именно от них разбежался и попрятался беззащитный народ.

Впрочем, то был обман зрения. Жизнь вовсе не затихала с темнотой, и редко какой горожанин ложился раньше полуночи. Кто побывал в Александрии, знал по опыту: самое важное в этом краю начинается как раз с заходом солнца.

Египет любит сумерки.

Царский сад на мысе Лохий, куда Долабелла прокрался на исходе первой ночной стражи, не освещали даже факелы. Здесь было сыро и холодно, как в могиле. Ряды каменных статуй, замеревших в напряженных позах, напоминали ночных призраков. Публий пугливо озирался по сторонам, пока не нашел гранитный обелиск, как раз напротив крыльца, ведущего в покои Клеопатры.

Он хотел приблизиться ко дворцу и уже сделал несколько шагов, как поспешно отпрянул назад, расслышав человеческие голоса.

Смену караула вел военный трибун Секстий Квиринал. Поднятый с похмелья, он качался из стороны в сторону и раздраженно бормотал, кутаясь в теплый плащ:

— Никак не могу привыкнуть к этим сфинксам и грифонам. Все кажется, там что-то шевелится. Зачем Птолемеи понаставили здесь столько чудищ?

— А ты представь, будто идешь по кладбищу,— хихикнул кто-то в ответ.— Это всё могильные надгробия, и под каждым зарезанный царь.

— Отсохни твой язык, Тусцилий! — выругался трибун и тут же протяжно зевнул.— Вернемся в Италию — обязательно поеду на воды в Байи. Нервы никуда не годные...

— Да и тут, в Канопе, говорят, отдыхают не хуже,— весело обронил крайний из преторцев.— Ты, Секстий, расспроси царицу, она тебе посоветует.

— Она сама как загробная мумия...

Публий вгляделся в шестерку солдат и остался доволен: он знал каждого из них и сам был им хорошо знаком. Теперь его замысел намного упрощался. Самое главное — не торопиться и выждать подходящий момент. Пусть преторцы простоят на посту часа два — достаточный срок, чтобы затуманились очи и притупилась бдительность. Он еще не знал точно, как обратится и что скажет им, но полагался на божественное наитие.

Ведь благоволила ему судьба тогда, в храме, куда он пришел под чужим обличьем и так же скрывался в темном углу, думая, как проникнуть в святая святых. Разве он не достиг желаемого? Разве он не был посвящен в воинство великой богини и не получил ее покровительство? Отныне он ходит под ее знаком, и, как знать, не она ли привела его в этот опустевший сад и поставила под окнами дворца, чтобы он встретился с ее земным воплощением, с той, которая ждет от него самого важного известия.

Секстий сменил стражу у дверей опочивальни и отправился проверять другие посты. Публий по-прежнему не шевелился в своем укрытии. Он почти уверился, что им управляет вышняя сила, и совсем не случайно он повесил в эту ночь на шею заветный амулет — печатку Исиды,— что более способствует задуманному?

Прежнее безмолвие вновь поглотило царский сад, не нарушаемое даже шорохами морских волн, играющих за храмом Исиды. Публий пристально оглядел обелиск, изучая каждую черточку на гранитной облицовке. С вершины плиты столбцами спускались замысловатые иероглифы, ниже красовался греческий перевод. Несмотря на ночь, золоченые буквы выделялись на темно-сером, почти черном фоне; если подойти поближе, надпись читалась отчетливо:

«В год тридцатый, в седьмой день месяца пахон царь Верхнего и Нижнего Египта, повелитель Обеих Земель, Птолемей Теос Филопатор Филадельф, сын Ра, владыка диадем, да живет он вечно, возлюбленный Птахом и Исидой, и царица, владычица Обеих Земель, Клеопатра Филопатора, да живет она вечно, возлюбленная Птахом и Исидой, во славу бессмертных богов, владык небес, и в ознаменование своего священного брака посвятили».

Все ниже было обожжено костром и забрызгано грязью. Публий не мог понять, о каком супруге царицы идет речь. Кто из ее полоумных братьев правил так долго? Ясно, что это не тот, который утонул в Ниле, и не второй, которого тайно задушили во дворце. Неужели это ее родитель, старый царь Птолемей Авлет, и она, совсем еще юной девчонкой, была женой родного отца?

Но что это?! Какой жуткий овал описывает черная копоть, насмерть пронзившая нильский гранит! Какие-то латинские буквы пересекают и перечеркивают прежний греческий текст. Публий охватил глазом всю плиту, и сердце его упало: CDF — «Цезарь, Сын Божественного»!

Чтоб тебя... Не избавиться от него даже здесь! Везде и повсюду на имени Клеопатры это зловещее клеймо. Наложено на него как огненная печать.

Публий зажмурился и с силой разомкнул веки: CDF! Вне сомнений, они выжгли вензель Октавиана.

«Разве ты не видишь, как он сгорает от нетерпения превзойти старшего Цезаря и затмить его славу? Он страдает и мучается жалкой ролью тени Божественного Юлия, принужденный следовать по родительским стопам. Ты думаешь, зачем он сейчас так обхаживает ее? Он бережет ее для показа в Риме. Госпожа отца — ныне его рабыня; что может быть упоительнее?»

И начало, и конец Клеопатры окрашены именем Цезаря. Один Цезарь дал ей царство, а другой отнял. Первый приплыл в Александрию с одним легионом и девять месяцев поражал всех отвагой и удалью, второй приволокся сюда с целой армией, хотя ему никто не сопротивлялся. Тот подарил царице сына, престолу — наследника, а этот учинил на него охоту и изловил отрока с помощью грязных доносчиков. Тот плыл с Клеопатрой по Нилу безо всякой охраны, а этот приставил к царице римлян, а сам окружился испанцами. От кого он хоронит пленницу и от кого прячется сам?

Сейчас Публий думал о нем с неприязнью. Неизвестно отчего, он чувствовал, что все милости, оказанные ему этим человеком, все, что он сделал для неприметного юноши, лишенного родных, ныне разом повернулось против благодетеля, и чем весомее, значительнее были эти милости, тем больше горечи и желчи они теперь вызывали. Словно бы он был во сне, в опьянении, а теперь протрезвел и увидел, что жестоко обманут.

Ему твердили о мире и свободе, но разжигали в сердце ненависть. Его призывали к свету, но толкали во мрак, заставляя отрекаться от отцов и убивать братьев ради преуспеяния хитрого и злобного властителя. Октавиана называли спасителем отечества, первым гражданином, но кем он начал, предав лучшего учителя[1], и кем стал, когда истек срок триумвирата, и он, самый честный и миролюбивый, изгнал магистратов, совершил переворот, захватил власть, натравил римлян на Антония, чтобы повалить последнего, кто мог бы ему противостоять. Ведь бросились на Восток оба консула и двести сенаторов с мольбами о помощи: «О Антоний! Цезарь обманул тебя и нас. Ты, по сроку, сложил свои полномочия, а он домогается пожизненной власти. Поднимись, пойди войной на него, покарай тирана, и народ римский прославит тебя в веках!..»

Публий очнулся от какого-то толчка. Где-то за поворотом звякнуло железо. Кончалась вторая ночная стража. Уже по всей земле была разлита великая дрема, глубочайший мрак,— загадочное и несокрушимое творение **Персефоны.** Даже ночные совы спят в этот час, не в силах разлепить отяжелевшие веки и хоть на немного, на полвзмаха приподнять усталое крыло.

«Пора!» — шепнул Публию чей-то повелительный глас. Он отделился от мрака и через несколько шагов оказался напротив того самого решетчатого окошка, из которого в первый день окликнула его царица Египта. И — о небожители! — из-за плотных штор пробивался слабый комнатный свет. Подобно маяку в черном безбрежном море, он бросал одинокому кораблю спасительную нить и указывал путь в тихую гавань. Контубернал почти не удивился этому свету: он чувствовал, что его ждут.

Публий подобрал с земли осколок кирпича и с силой швырнул его в решетчатое окно. Занавеси трепыхнулись, и где-то внутри опочивальни зазвенел от удара медный светильник. Публий попятился в кусты, не сводя глаз с растревоженного маяка, и еще град ударов отозвался в висках: то страшно колотилось его сердце.

Казалось, прошла вечность, прежде чем штора раздвинулась и в светлом проеме появился женский силуэт. Контубернал не был виден в темноте, а потому, набравшись храбрости, он выступил к самому окну, по-

[1] Имеется в виду Цицерон, казненный во время проскрипций.

казывая свое открытое лицо. Пленница несколько минут всматривалась в тайного гостя, прикидывая что-то в уме, а он стоял неподвижно, как истукан, рискуя каждую секунду быть застигнутым охраной. Наконец обитательница дворца подняла руку и молча повела ею в комнату, приглашая войти. Теперь они отлично понимали друг друга.

Понций и Рулл, отставив копья, от скуки играли в «пальцы», а пересмешник Тусцилий безбожно дремал, прислонившись к дверному косяку. Услышав шаги, он тут же вскочил на ноги, виновато протирая глаза. Солдаты никак не чаяли увидеть в такой час императорского контубернала. Они растерялись настолько, что забыли даже спросить пароль.

— Что случилось, Корнелий?!

— Тише! Ничего особенного.— Публий использовал внезапность, стараясь незаметно подменить Секстия Квиринала и присвоить его роль.— Как наши пленницы?

— Все тихо,— развел руками Рулл.— Спят...

«Как бы не так,— усмехнулся контубернал про себя.— Спят только такие олухи, как вы. Совсем распустил вас Секстий, даром что пропойца».

— У меня срочное послание Эпафродиту.

— Сейчас мы его вызовем...

— Вам не следует покидать пост,— дружелюбно отмахнулся Долабелла.— Он в своей комнате? Я сам занесу ему записку.

Преторцы, не задумываясь, расступились. Это была победа, чреватая, впрочем, скорым разоблачением. Но сейчас Публию был важен лишь этот миг. Пусть завтрашний день ищет виновного, а нынешняя ночь останется за ним.

Наш герой прикрыл за собою дверь и оказался в кромешной тьме, весьма напоминающей мрак храмового узилища, куда его отводил бритоголовый жрец перед тем, как подвергнуть испытаниям. Публий ощутил даже терпкий запах, точь-в-точь такой, какой опьянил его в том жутком мегаруме. Только на сей раз он не колебался ничуть и не стал красться вдоль каменных стен, а смело шагнул в темноту, доверившись судьбе.

Не успел он сделать и пяти шагов, как чья-то хрупкая ладонь горячо сжала его руку и тихий голос прошелестел в самое ухо:

— Идем.

Немного погодя Публий различил впереди себя очертания тонкой воздушной фигуры, овитой газовым по-

крывалом, сквозь длинные разрезы которого блестела смуглая кожа.

Она влекла его за собой, не давая ни опомниться, ни собраться с мыслями. Концы ее накидки развевались по воздуху, точно крылья летучей мыши. Римлянин, затаив дыхание, едва поспевал за пленницей.

Только на повороте, в глубине анфилады, она на миг задержала бег, показала пальцем в чернеющую дверь и тут же приложила палец к губам:

— Здесь дрыхнет наш стоглазый Аргус. Днем он схватил Ахенота, пришедшего к окну. Смотри же, не разбуди его!

Они достигли просторного зала, освещенного одинокой лампой, перевели дух и улыбнулись друг другу.

— Слушай, куда ты пропал? — спросила эфиопка.— Почему вместо тебя стражников водит другой человек?

Публий вздохнул:

— Счастливая случайность, что я пробрался сюда. Меня перевели на другую службу. Теперь я здесь не командую.

— Порази их Сет! — притопнула ногой Хармион.— То-то я смотрю, Эпафродит совсем обнаглел: домогается, чтобы я ложилась с ним каждую ночь. Он накляузничал на тебя Цезарю за то купание в бане... Ну да ничего; собака воет, а луна светит. Сегодня вечером я подсыпала ему сонной травки, так что он не скоро очухается. Подожди немного, сейчас я ее позову.

С этими словами рабыня скрылась за одной из дверей, оставив Публия посреди комнаты недоуменного и немного ошарашенного подобной доверительностью. Не успел он как следует осмотреться, как занавеси снова зашевелились и в зал стремительно ворвалась, лучше сказать — впорхнула, молодая женщина в огненно-красном платье, которую он сразу даже не признал, подумал, это какая-то новая служанка. Только сверкающие в полутьме глаза выдали царицу царей.

Она положила руку ему на плечо, вытянулась, блестя у виска черно-фиолетовыми зрачками, так что он увидел в них, как в зеркале, свое отражение.

— Что Цезарь?

— Он в Мусейоне. Наносит ответный визит Арию Дидиму. С ним Прокулей, Галл и Статилий Тавр. Остальные грузят на корабли египетскую добычу.

— Как долго он пробудет у Ария?

— Поскольку туда стянута вся испанская когорта, надо полагать, симпосий и пирушка затянутся до утра.

— Он носится с этим платоником, как Персей с головою Горгоны. Великолепное чучело для устрашения неугодных вольнодумцев! Неудивительно, что они стали так неразлучны. Подавить александрийцев руками александрийца — вот почерк истинного римлянина.

Клеопатру разбирала злость, но она изо всех сил старалась сохранить на лице спокойствие и ясность.

— Это Арий настоял, чтобы моего сына заточили в подземелье?

Публий вздрогнул:

— Откуда ты знаешь о сыне, царица?

— Мне сообщил сегодня верный слуга. Впрочем, достаточно нашего чуткого слуха. Даже сквозь эти толстые стены пробивается восторженный рев Октавиевой стаи. Кажется, такого ликования не знали ни Филиппы, ни Акций. Как же, схвачен подлинный сын Цезаря!

— То правда, царица,— пробормотал Публий.— Птолемей пойман вчера ночью на дороге и брошен в темницу. Только Арий тут вовсе ни при чем. Цезарь давно решил участь твоего сына; ему требуется лишь благословение мудрецов.

— Знаю...— махнула Клеопатра, отворачиваясь от контубернала и пряча навернувшиеся слезы.— Его бросили туда же, где месяц назад сидел Артавазд[1]. Именно в ту камеру, ни в какую иную! Нарочно для меня, чтобы я припомнила судьбу армянина.

Царица прикусила губу и с силой сожмурила веки:

— И вот воздаяние небес мне за все, что я совершила! Знаю, тяжки мои прегрешения, черны как ночь и глубоки как море... Не счесть моих вин: брат, кровь от крови отцовой, оба дяди, несчастная сестра Арсиноя... Боги не прощают такое. А Береника,— ты помнишь, Хармион?! — моя бедная малютка, зачатая от Хелидона; ее увезли, спрятали от Антония, и что с ней сталось?! Горе мне, это их тени вопиют из мрака! Вот же расплата Артемиды-Мстительницы! Теперь я лишаюсь самого кровного...

— Не терзай себя, госпожа! — взмолилась Хармион.— Нет силы видеть тебя такой. Ты ни в чем не виновна, ни в чем, вернейшая жена и лучшая матерь! А худое все — от врагов и завистников. Мы же боролись за себя как могли...

---

[1] Артавазд II — царь Армении, плененный Антонием. За месяц до вступления в Александрию римлян был тайно задушен по приказу Клеопатры.

— Всю неделю мне снится один и тот же сон,— продолжала Клеопатра низким глухим голосом.— К моему ложу подкрадывается незнакомец с длинными, как щупальца, руками, хватает меня за горло и начинает душить. Я хочу вырваться, но члены мои пригвождены к постели. Вещий сон. Когда-то, в тот день, когда я появилась на свет, во дворец влетела птица; она опустилась на плечо статуи Афродиты, а затем перелетела на спинку царского трона. Взмахивая крыльями, она задела большой подсвечник, он упал, птица испугалась и улетела. Так вот: подсвечник тот венчала человеческая рука из цельного амазонита, держащая чашу. Отец расспросил об этом случае гадателей, и они предсказали: родившаяся в этот день превзойдет всех царей блеском и славой и достигнет невиданного могущества, коли не встретит человека с Синей Рукой. Если же эта встреча произойдет, ей несдобровать. Надев царскую диадему, я все время смотрела на руки людям. Вначале мне казалось, что это евнух Потин: он сживал меня со свету, и руки у него были тощие, синюшные, как у старухи. Но Потин пал жертвой собственных козней. Потом я подозревала опасного встречного в Квинте Деллии. Когда он вошел ко мне, рука его была запачкана в синих чернилах. Но и тогда судьба благоволила мне, и я почти забыла о старом пророчестве. И только в прошлом году, у мыса Акций, когда мы вывели флот, начав сражение, я оглядела строй противника и увидела быстроходное судно, на парусе которого была изображена огромная пятерня синего цвета. Сердце мое дрогнуло от страшного предчувствия. Я послала узнать, чей это корабль. Мне донесли: на нем находится молодой Цезарь. Предсказание сбылось. Не помня себя, я велела ставить паруса, повернула свой корабль к Пелопоннесу и помчалась в страшном смятении, чтобы только быть подальше от злого рока. Но он неумолим и преследует меня по пятам...

— Остановись, ради всех богов! — простонала заплаканная Хармион, охватив царицу за плечи.— Еще немного, и мы сойдем с ума! Умоляю, возьми себя в руки. Я позову Ираду, мы уложим тебя в постель и дадим успокоительного.

— Не надо, не буди ее. Все эти ночи она не сомкнула глаз надо мной, так пусть хоть теперь вкусит покой. Недолго уже нам осталось...

— Не говори так, госпожа! Мы живем твоим дыханием, твоим божественным словом, одним светом твоих

очей. Лишения связали наши судьбы в одну, ничто не разлучит нас под этим небом. Пусть будешь ты бодра и здорова, другого счастья не надо для нас.

Рабыня цеплялась за госпожу, как тонущий моряк хватается за брошенный в воду камень. Сейчас она была очень похожа на Клеопатру, несмотря на разницу в возрасте и цвете кожи,— даже голос и интонация удивительно совпадали. Наверное, все узники, томящиеся вместе, становятся похожими друг на друга.

Это Публий отметил про себя. Только сейчас он поборол в себе робость при виде египтянки и почувствовал, что перед ним обыкновенные женщины, попавшие в руки жестокого врага, растерянные, мучимые сомнениями и в чем-то глубоко несчастные. Обыкновенные женщины, только с необыкновенной судьбой.

— Я пришел предупредить тебя, царица,— глухо вымолвил он, делая шаг навстречу.— Принято решение: Цезарь выступает в обратный путь через Сирию, а тебя со всей семьей на третий день отправят морем в Рим. Цезарь намерен устроить блестящий триумф, в котором тебе и твоим детям уготована роль знатнейших пленников.

— Этого не может быть! — вскричала Хармион, заслоняя от римлянина госпожу.— Ты лжешь, скверный чужеземец! Ты пришел оскорбить мою царицу, но боги испепелят тебя за дерзость.

Публий нащупал на груди амулет и крепко сжал его в кулаке:

— Увы, это правда. Сегодня военный трибун Секстий Квиринал, хвалясь, показывал ручные и ножные цепи, выкованные по заказу Цезаря. Их наденут на вас, едва вы взойдете на корабль.

Обе женщины подавленно молчали. Все, на что они надеялись, обрушилось в единый миг.

Клеопатра обернулась с кривой усмешкой на вздрагивающих губах. Слезы высохли, вместо них по лицу бегали неуловимые искорки; оно приняло какое-то сардоническое выражение.

— О, как я ждала этого! Клянусь Исидой, наконец-то... Сколь благородна цель, славный Октавий, и как прекрасен твой замысел! Воистину, ты превзойдешь всех триумфаторов роскошью и выдумкой. Провести впереди себя в цепях саму Клеопатру,— представляю, как это будет великолепно! Тебе будут рукоплескать все римские бродяги, а льстецы-стихотворцы прославят твое

имя в веках. А уж как будет довольна эта гордячка Октавия!..

Ее бил озноб, и кожа на плечах, как у гуся, покрылась мелкими пупырышками.

— Жаль только, мне ничем не удастся тебе помочь. Такая досада... Пиршество без вина, стрела без наконечника, перстень без сапфира... Меня отведет в свое лоно Великий Змей и сохранит от глумления.

— Какой змей? — недоумевал Публий, совершенно сбитый с толку исступленной вспышкой египтянки.

Клеопатра, вспомнив о присутствии римлянина, мгновенно успокоилась и деловито пояснила:

— Змей — это священный урей, символ власти царей Египта. Он охраняет корону властителя от покушения темных сил, поэтому изображение его украшает царские диадемы. У него есть свое тайное имя,— знает его только обладатель венца. Стоит произнести это имя либо написать его на листке папируса, как Великий Змей тотчас дает о себе знать, вступает в силу и защищает своего подопечного. Я пользовалась его помощью только в самых крайних случаях, когда мои близкие искали моей смерти или изгоняли меня в пустыню. О, с тех пор я трижды уверовала в него!

Публию показалось, что египтянка продолжает гримасничать, высмеивая нависшую над ней угрозу (рефлекс уязвленной гордыни), а то, возможно, и бредит, защищаясь какой-то смутной магией. Но он слишком хорошо помнил тяжесть цепей, показанных Секстием, которые перетянут сотню всяких уреев.

— Мне надо идти, царица,— обронил контубернал, не решаясь, однако, двинуться с места.— Моя задержка здесь может вызвать подозрение у стражников. Они видели, как я вошел.

— Нет уж, погоди! — вмешалась Хармион.— Выкладывай все до конца. По твоему лицу видно, что ты не окончил.

Римлянин потянулся вперед, словно собираясь прошептать что-то на ухо царице, но тут же остановился и потупил взор:

— Я сообщил все, что узнал. Завтра откроются трехдневные лагерные игры. Это прощание войска с Египтом. Здесь останутся только два легиона под командой Корнелия Галла. Через три дня выступление. Вас могут перевести на корабль и раньше. Цезарь наверняка сделает это завтра-послезавтра, пока горожане будут отвлечены играми.

— Он все еще боится александрийцев? — насмешливо бросила Клеопатра, силясь рассеять на своем лице тьму.

— Не знаю. Он очень осторожен. Не сомневайтесь: все его решения продуманы заранее.

Они снова (и в последний раз) встретились взглядами. Что-то явно переменилось в цвете глаз египтянки: из зеленоватых они сделались вдруг серыми, бесцветными, как мох,— не было уже в них прежней силы и яркости, и куда-то сквозь него взирали поблекшие опустошенные зрачки. Публий едва не отшатнулся: так обычно глядят мертвецы.

Ему захотелось подбежать к ней, схватить за плечи, растормошить скованную печалью и гордыней царицу, выкрикнуть что-то дерзкое, зажигательное, а может быть, прямо сейчас попытаться прорваться с ней сквозь преторский заслон. Он понимал: это было бы безумием, обреченным на полный провал. К тому же он не мог отделаться до конца от храмовых видений; покушение на божественное — худший проступок неофита.

Только у самой двери, выходя из зала Афродиты, он на секунду задержался и торопливо проговорил то, что хотел сказать с самого начала:

— Я напрошусь на корабль, на котором вас повезут. Думаю, что охрана будет состоять из испанцев, а они не очень резвы на море. Я надеюсь найти надежных сообщников, и в пути мы устроим вам побег.

Хармион не пошла провожать контубернала, но осталась подле царицы. Когда шаги римлянина затихли, Клеопатра наконец вернулась из полузабытья и сосредоточенно, будто в поисках чего-то, прошлась по ночному помещению.

Несомненно, она выиграла схватку с Цезарем за этого юношу, но это последняя ее победа. Она пришла вместе с ее концом. Как в старом предании, где к путнику, скитавшемуся во тьме, явился, наконец, огонь, но только затем, чтобы его убить.

Эфиопка следила за госпожой прищуренным оком, не упуская ни одного движения. Царица остановилась у низкого аркового столика, накрытого узорчатой тканью, и хотела уже присесть на коврик, как вспомнила о своей рабыне.

— Оставь меня, Хармион. Я помолюсь здесь Матери Исиде, потом приду к вам в опочивальню. Если хочешь, ложись на мою постель: там все-таки помягче, чем на суфе.

Рабыня отрицательно покачала головой:

— Ни на шаг не отойду от тебя, пока ты в таком состоянии. Что ты задумала, госпожа? Как легко берешь ты на веру слова первого встречного! А что, если он нарочно подослан Цезарем и во всем, что он здесь наболтал, кроется какая-то хитрость?

— Ты сама знаешь, Хармион, что это не так. Помнишь, что говорил вчера Олимп? Я уже тогда все поняла и догадалась, что они готовят для нас.

— Ну и что?! — воскликнула рабыня.— Боги грозят, боги и милуют. Еще не все потеряно. Почему бы нам действительно не попробовать бежать с корабля?

— Бежать? — скривилась Клеопатра.— Куда? Зачем?

— Мы же говорили... К мидийскому царю; ведь он почти твой родственник! Или в мою Эфиопию, за нильские пороги. Есть много путей, чтобы покинуть Египет...

— Беги,— кивнула царица отрешенно.— Ты еще можешь спастись. Кажется, Эпафродит предлагал тебе скрыться с ним?

— К Харону Эпафродита и всех остальных! — прошипела эфиопка.— Пусть провалится весь мир! Горе мне, горе... Это я во всем виновата. Зачем, зачем я отговаривала тебя раньше, когда корабли стояли наготове и Антоний просил нас уплыть? Несчастная, на что я надеялась? Теперь уже поздно...

Хармион сбилась и сникла. Настал черед госпожи выводить рабыню из оцепенения.

— Займемся лучше наступающим днем, Хармион,— сказала она с натянутой, готовой порваться улыбкой.— Уже светает, а у нас теперь, полагаю, каждый час на счету. Для начала распорядись о завтраке. Ужасно хочется есть. Где-то я читала, что приговоренные к смерти испытывают зверский голод. Осужденный Сократ, говорят, набросился на куриный бульон с такой яростью, что поглотил целый котел, и того оказалось мало. Не смотри на меня, Харми, такими глазами! Ты можешь смело отправляться к поварам. Обещаю тебе, что ничего не сотворю с собой, пока не отведаю моей любимой мурены с горчичным соусом и не выпью чашу холодного мульса. О боги, кто бы знал, сколь долго я отказывала себе в подобном удовольствии! Теперь можно все.

Напускная веселость царицы нисколько не развеяла эфиопку. И если можно найти что-либо чернее угля, то и этот цвет показался бы недостаточным, чтобы сравнить, как почернела ее смуглая кожа.

— Надо будет под каким-нибудь предлогом отослать Эпафродита, госпожа. Не нужно, чтобы он оставался здесь и помешал нам исполнить посмертный обряд. Пусть уйдет часа на два; этого времени хватит и для меня с Ирадой.

Клеопатра не устояла на ногах и упала на плечо своей верной рабыни, не в силах долее сдерживать рвущийся из горла стон. Они больше не прятались от судьбы, отдавшись воле неумолимого рока, судорожно тиская и целуя друг друга, будто их уже возводили на эшафот и дали последнюю минуту для прощания. Даже пламя светильника вздрогнуло и затрепетало от горького плача и громких стенаний.

— Что случилось, госпожа?!

На пороге стояла разбуженная недоумевающая Ирада. Расширенные глаза ее выражали испуг.

Женщины мигом смолкли и поспешно вытерли слезы.

— Ничего страшного! — через силу улыбнулась царица.— Просто я разбила свой флакон с бегеновым бальзамом. А он сейчас такая редкость!

— И только-то? — подозрительно сощурилась рабыня.— Мне подумалось, не иначе, как кто-то умер. Даже дух перехватило... Кто здесь был? Я чувствую запах сыромятной кожи и мужского пота.

Хармион рванулась ей навстречу:

— Ты еще не проснулась, Ира! Идем скорее в трапезную накрывать стол. Госпожа желает завтракать.

После того как обе рабыни скрылись за плотными занавесями, Клеопатра дождалась полной тишины, затем вновь приблизилась к арековому столику и долго стояла над ним, сдвинув крутые дуги бровей, не отрывая глаз от чернильницы и пергамента, ждущего ее письма. Уста ее беззвучно шевелились, точно она ворожила или читала какую-то молитву. Она сбивалась и начинала вновь, и так много раз подряд, пока не нашла начальное, самое первое слово.

Тогда горячая волна пробежала по телу; она лихорадочно схватилась за стиль, врезая в пергамент прощальные строки:

«О Цезарь! Когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет среди живых. Цари должны оставаться царями. Никто из Птолемеев не терпел оков, даже если они золотые. Не к лицу и мне, наследнице их славы, покупать себе жизнь в обмен на вечный позор. Тебе не удалось заставить меня верить пустым обещаниям. Я боролась с тобой до конца; никто не упрекнет, что я сда-

лась преждевременно. Я предприняла все возможное, прежде чем решиться на этот шаг...»

Стиль переломился в руке надвое, Клеопатра оторвала верхнюю часть свитка и закинула ее в угол. Ее по-прежнему колотил озноб. Она постаралась взять себя в руки, вынула из ящика другое перо и заново склонилась над пергаментом:

«О Цезарь! Это последнее письмо свое я адресую тебе. Твоя пленница уходит туда, куда указует ей Матерь Исида. Жизнь свою я посвятила служению ей и великим богам, хранителям Вечности. Им было угодно испытать меня вершинами взлетов и пропастями падений, и, оглядываясь на путь свой, я вижу себя кораблем в море нескончаемых бурь. Я боролась до конца и теперь должна умереть...»

Она вздрогнула от своих слов, выронила стиль и, не поднимаясь с колен, приблизилась к статуе прекрасной богини, уже озаренной слабым утренним светом. Этому изваянию она молилась еще в детстве, когда ее стригли под мальчика, и потом, когда позволили носить повязку царевны, и тогда, когда она отправлялась в Италию в дом великого Цезаря,— царица и супруга царя, она кланялась этой древней статуе, призывая не оставлять ее ни на миг. Даже там, в далеких Байях, среди осаждающих ее латинских кумиров, она чувствовала, что Исида с ней, и каждый ее шаг освящен этим отпечатанным в памяти ликом.

Вот и сейчас гранитная богиня, в высокой солнечной короне, усыпанная нежными розовыми бликами наступающего утра, милостиво склоняла к ней голову и обещала свою защиту.

У нее отлегло от сердца:

— Нет, я не умру... И в стране Аменти, где сыплется невидимый песок и метут неслышные бури, среди земли и неба, бодрствования и сна, я сохранюсь такая, как есть, не в теле, не в душе, но на устах памяти, запечатанной бесконечным Временем. И когда дороги мира сойдутся в конце пути, закончив этот космический век, и вступят на новый круг, тогда все возродится, как будто это было вчера, и оживут те, кого давно сочли несуществующими, их тела обретут плоть, и один за другим, как было при рождении, они вернутся из Аменти на обновленную землю. Все это было прежде и повторится вновь. И имена, и лица, и сердца...

* * *

...В ту июньскую ночь все побережье от города Байи до самых Путеол и Дикеархской гавани было усыпано мерцающими огнями. Они то вспыхивали ярче Сириуса и Тритона, то угасали, растворяясь в шуршащих волнах, то вдруг двигались туда-сюда, будто у самой воды кружились с факелами хмельные менады. И сама эта бессонная ночь, пахнущая миртом и скалистым платаном, не давала покоя сердцам, тянула за пояса и призывала к безумствам.

Клеопатра бежала к морю наугад, без дороги, перескакивая через заросли осоки и кусты цветущего олеандра; разогнавшуюся под уклон, ее уже не могли сдержать ни земляные насыпи, ни каменные ограды. Гибкое двадцатилетнее тело отчаянно сжималось в прыжке, вытягивалось во всю длину, блистая в темноте вызывающей наготой, и стремительно неслось по откосу.

Навстречу то и дело попадались толпы подвыпивших гуляк, праздно шатающихся у прибрежных вилл, мизенские рыбаки, вернувшиеся с вечернего лова, каботажные матросы, тянущие на плечах свернутые в трубу паруса. Она проносилась меж ними, как ветер, как дикая серна, соскочившая с гор; никто ничего не успевал сообразить и только беспомощно вертел головой вослед мелькнувшей красавице. Разве только дальнозоркий страж с наметанным глазом мог признать в этой юной Харите ту надменную, вечно закутанную в шелка египтянку, которая явилась на воды два месяца назад и заняла виллу Цезаря.

Она достигла моря в том месте, где начинался бавлийский пляж, и с узкой песчаной косы бросилась прямо в ночные волны. Мальчишки на лодках, застрявшие на мели, разинули рты от удивления, потом как по команде вскочили на ноги и прильнули к бортам, высматривая в темной пене барахтающуюся незнакомку.

Почти следом прибежал Пифолай. Он уже десять раз пожалел, что подбил царицу на столь рискованное купание, и теперь тяжко охал и отдувался. Когда вскипевшая от его хлестких виршей египтянка внезапно сбросила с себя платье и, покинув триклиний, стрелой вылетела в ночную мглу, хитрый подстрекатель слегка онемел и в замешательстве выронил свой кубок. Затем он все же бросился за ней вдогонку, соображая на ходу, что подобное представление обернется громким скандалом. Пифолай кричал в темноту, что пошутил, что и не

думал равнять ее с Фриной, а стихи об элевсинском купании вовсе не относятся к ней[1]. Он окликал ее все время, пока спускался с виллы Цезаря, хотя сразу же отстал в дороге, не в силах перенести бульканье в животе фалернского, к тому же не разбавленного, как полагалось, местным нарзаном.

Выбравшись на отмель, он тотчас увяз в мокром песке и закачался, как старый акробат, дергая плечами и раскидывая руки, чтобы не упасть.

— Я здесь, о царица! Где ты? Скорее возвращайся назад! Это была только шутка, не принимай всерьез!

Она громко хохотала, плескаясь в черных волнах, и в ее смехе звучало столько же гордыни, сколько презрения. Ему самому пришлось лезть в воду и долго нырять с головой, прежде чем он сумел выловить вконец расплескавшуюся нереиду. Он вынес ее на берег, держа на руках, словно Персей Андромеду; впрочем, на сей раз поблизости не было ни Апеллеса, ни кого другого, кто запечатлел бы столь обворожительное зрелище. Только местные мальчишки, спрыгнув с лодок на сушу, азартно гоготали и швырялись в них мелкой галькой.

Мокрое тело египтянки продолжало судорожно вздрагивать на груди эпиграммиста, пока теплый ветерок, дующий с Мизенского мыса, не отогрел ее озябшую плоть, и она затихла, не спуская со своего носильщика сверкающих бесовских глаз.

Где-то за виллой Помпея на крутом подъеме Пифолай споткнулся и шлепнулся на обочину, выронив из рук бесценную ношу.

— Растяпа! — вспыхнула Клеопатра.— Из тебя такой же ухажер, как из мула племенной самец. Дай мне свой паллиум[2], я укроюсь им; недоставало лишь, чтобы здешняя челядь глазела на мои голые ягодицы.

Пифолай стянул с себя плащ, с которого еще струилась ручьями вода, хотел накрыть царицу, но в спешке промахнулся и запачкал паллиум в придорожной пыли.

— Трижды растяпа! — вскричала она, яростно выбивая из его рук смятую материю; при этом сама покачнулась на откосе и едва не опрокинулась вниз.

---

[1] Афинская гетера Фрина, как уверяли современники, никогда не обнажалась прилюдно. Лишь однажды, во время Элевсинского празднества, она разделась на глазах у всех и совершила ритуальное омовение. Вдохновленный увиденным художник Апеллес написал знаменитую картину «Афродита Анадиомена» («Афродита, выходящая из волн»).

[2] Паллиум (*лат.*) — верхний мужской плащ.

Пифолай успел подставить руку, так что его ладонь нечаянно оказалась у нее под мышкой, и большой палец надавил на круглую мякоть левой груди и на острый, маленький, еще влажный сосок.

Шальная кровь ударила ей в голову, она откинулась, в нетерпении кусая нижнюю губу и мучительно морщась, будто ее ожгли каленым железом. Локоть египтянки конвульсивно прижался к бедру, поймав мужскую ладонь в ловушку; падая на спину, она потянула растерянного эпиграммиста за собой, и тот, окончательно потеряв равновесие, уткнулся носом в ее упругий живот.

Уже ничто не могло расцепить эти два воспаленных алчущих тела.

О Байи, Байи, дивные Байи, азартные Байи, смешанные с вином и негой! Где ваша буйная кровь, где ваш дерзкий задор, где ваши вакхические ночи, где студеная влага источников, обещавших вечную молодость? Испарились без остатка, истекли капля за каплей, растаяли как дым. Было все впереди и вот промчалось как вихрь. Было — и нет. Достигло пределов желаемого, и обернулось, и покатилось вспять.

...Беглецы возвратились на виллу поутру. Первый, кого они встретили у ворот, был Гай Прокулей, прибывший из Испании с письмом Цезаря. Клеопатра испуганно накрылась паллиумом и хотела незаметно шмыгнуть в дом; Прокулей ее не останавливал, а только задел плечом неловко согнувшегося эпиграммиста и смерил его долгим пристальным взором, от которого тот затрясся как в лихорадке.

Римлянин прошел в атрий, снял доспехи, обсушился немного у очага и через час получил приглашение к царице. Он ничего не стал говорить, а только подал ей запечатанный свиток.

Пальцы царицы дрожали, ломая толстую печать, взгляд сиротливо метался между строками пергамента и хмурым бесцветным лицом Прокулея.

«Гай Цезарь царице Египта. Е.Т.З.Я.З.[1] В июне не жди, не вернусь,— много дел в Кордубе. Потом поеду отдохну в Валенцию. Это, конечно, не твои роскошные Байи, но, по крайней мере, тамошний воздух избавлен от винных паров. С некоторых пор я бросил пить. Ты знаешь, я и раньше не был поклонником Либера, а теперь и вовсе отрекся от него. Оппий корит меня за

[1] «Если ты здорова, я здоров» — обычная формула приветствия в письмах; часто писалась сокращенно.

это, находя в том признак дряхлости, но я всегда отвечаю ему дистихом Лаберия:

Не тот стар, кто на дню трижды не хлещет вино,
Но тот, кто тотчас же извергает его...

Ты хочешь знать, не ревную ли я? В самом вопросе слишком много прихоти и ребячества, не свойственного нам обоим. Если ты еще способна пускаться в бег наугад, то я давно уже нет. Наша связь для меня — ясный и точный смысл, а не дерганье беспорядочных чувств. Я не гожусь в страдальцы,— это удел Антониев и Пифолаев. Но поскольку в последнее время ты все больше и больше тешишься ребяческой игрой (подтверждением тому пропасть каприза в последнем письме), я полагаю, нам следует на время прервать нашу переписку. Прости, я впервые заговорил с тобою в подобном тоне, но пойми и меня. Живущий надеждой приобретает Цезаря, требующий неразумно теряет его. Салют!»

ΧΕΙΡΩΝ

Вся Александрия совершенно сходила с ума во время музыкальных представлений и конских ристалищ. Когда александрийцы занимались своим обычным делом, они были явно в своем уме, но стоило им оказаться в театре или на ипподроме, как они, казалось, становились невменяемыми.

Дион Хрисостом. I в.

Еще с утра 18 месоре, то есть в секстильские иды[1], задолго до начала представления, городской театр стал заполняться народом. Никакое другое зрелище так не привлекает александрийцев, как сценическая феерия; и если в триумфальном Риме все сборы побивали скачки и гладиаторские бои, в столице Птолемеев хранилось давнишнее пристрастие к театру. Пожалуй, только в этом скандальные по природе александрийцы проявляли какое-то единство; во всем другом договориться им было столь же трудно, как стаду диких слонов пробраться по горной тропинке.

Поэтому, когда римское войско, перед тем как оставить египетскую столицу, объявило лагерные игры, горожане воодушевленно высыпали на улицы, не столько

[1] 13 августа.

от радости освобождения, сколько в предчувствии даровых раздач и угощений. От завоевателей требовалась не меньшая щедрость, чем от прежних господ. Тем более что она должна была окупить все недавние потрясения александрийцев, низложение старой династии и заточение молодого царя. Но всё прочь, когда речь заходит о зрелищах! Лозунг этот — можно подумать, римской толпы — гремел и здесь, на вратах Азии, вспыхивая в глазах каждого, рвущегося на театрон.

Пополудни на представление прибыл сам император, сопровождаемый царем Иродом и вольноотпущенником Тирсом. В этот день победитель Египта оделся еще проще, чем от него ожидали, добродушно улыбался по сторонам и охотно пожимал руки встречным.

— Слава Цезарю! — улюлюкала горластая толпа.— Тысячу лет сыну богов! Живи вечно, Новый Александр!

— Странный народ все-таки эти александрийцы,— обронил Октавиан на ходу.— Никогда не знаешь, как тебя встретят. Вчера еще готовы были проломить мне голову камнем, а сегодня лебезят, как перед фараоном.

— Похоже, господин,— молвил довольный Тирс,— сбылось пророчество Ария: за эти двенадцать дней ты покорил александрийцев своим великодушием.

— Быть может,— заметил Ирод,— они просто узнали, что мы скоро уедем?

— Нет-нет,— поспешно повторил отпущенник,— это все благородство Цезаря и его справедливость...

— И правдивость,— добавил Октавиан, косясь на иудейского царя.— Хотя некоторые из моих друзей и призывали не верить моим обещаниям.

— Неужели находятся такие друзья?! — изумился Тирс.

— Да, они уверяют, что я сохраняю жизнь матерям только до поры до времени, пока не вернутся их сыновья, и как только последние будут казнены, дойдет очередь и до родителей. Таковы письмена, извлеченные из темных недр, если угодно, из эфиопского чрева.

И, увидев, как поблекло лицо идумеянина, Октавиан с удовольствием продолжал:

— Но они ошибаются, эти друзья. По крайней мере, во втором случае. Я не покушаюсь на матерей; их жизнь для меня слишком дорога. Так что вовсе не стоит огорчать безутешных родителей и подталкивать их к необдуманным поступкам.

Царский театр, один из лучших на Востоке, считал-

ся семейной гордостью Птолемеев. Овладев собственностью египетской династии, римляне тут же ввели в театре в силу закон Росция, по которому первые четырнадцать рядов отводились для всаднического сословия. Правда, потомственных всадников в римском войске оказалось так мало, что они едва заполнили три ряда. Все выше заняли проворные александрийцы, раздобывшие пригласительные жетоны. Октавиану настойчиво предлагали царскую ложу, но он галантно отказался от подобной чести и уселся со спутниками во втором ряду.

Сегодня местная труппа ставила знаменитую трагедию Эсхила «Хоэфоры» («Оплакивающие усопшего»). Со времен первых Лагидов при дворе завелся обычай на всяких празднествах извлекать на свет какого-нибудь древнего классика — чем древнее, тем лучше. Этим себялюбивые правители хотели подчеркнуть, что они свято чтут законы великих предков. Династия уже сошла со сцены, а обычай остался.

Впрочем, постановка сразу же пошла как-то необычно. Сначала зрителей привел в недоумение Орест. Непонятно почему в этой роли оказался престарелый актер весьма маленького роста, с сипловатым голоском и полными нелепостей телодвижениями. Едва он выглянул на орхестру, зрители не удержались от смеха: слишком уж не вязался этот щуплый артист с традиционным образом могучего сына Агамемнона.

Однако через несколько минут все чудесным образом переменилось. То ли музыканты задали новый тон, то ли загадочное освещение сцены повлияло на глаз, только беззаботный смех вскоре сменился всеобщим вниманием. На пятой строфе от щуплого трагеда не осталось и следа: голос его набрал силу и звонкость, — то безмерно скорбный, то неожиданно яростный, он переливался всевозможными оттенками, притягивал слух и будоражил воображение людей, узнавших легендарного скитальца, пришедшего на могилу неотмщенного отца. Все убедились, что смешки были преждевременны и старый актер — мастер своего ремесла, убивший жизнь на сцене. Никого больше не забавляла маска молодого человека на его лице, и никто уже не сомневался, что это и есть главный герой.

И здесь, над холмом гробовым, отца молю
Меня услышать. Возмужав, я отдал прядь
Кудрей моих Инаху, а вторую прядь,
Печальный дар, я отдаю родителю.
В день похорон твоих, отец, я не был здесь,
Не лил я слез и рук не простирал к тебе...

Роняя на могильное надгробие клок рыжих волос, Орест не отрываясь смотрел во второй ряд, туда, где сидел Октавиан. Зрители догадались, что трагед проводит явную параллель между аргосской драмой и похоронами Юлия Цезаря. От этого игра на сцене тотчас же приобрела какой-то новый привкус.

И когда дело дошло до заклинания Электры, обращенного к памяти единоутробного брата:

...А к врагам пускай,
О мой отец, суровый мститель явится
И, правый суд творя, твоих убийц убьет! —

тут же все театралы торжественно вскочили с мест и, рукоплеща, обернулись к Октавиану, давая понять, что это сказано о нем. Император привстал и сдержанно раскланялся с публикой, благодаря ее за дружную овацию. Садясь, он все же заметил Ироду, что у Софокла эта тема звучит лучше:

О, жилище Аида, приют Прозерпины!
О, подземный Гермес и могучая Кора!
Честные Эринии, дщери богов:
Явитесь! На помощь! Отомстите за гибель
Отца моего!
Приведите любимого брата ко мне! [1]

Актер не любит актера — это столь же верно, как то, что Евфрат не соединяется с Нилом. Хорошему артисту нужен партнер, плохому — надежный суфлер, но вы нигде не услышите, чтобы артисту требовался артист. Двум кормчим не устоять у руля, двум царям не ужиться в царстве. Поэтому, следя за захватывающей игрой александрийца, Октавиан невольно приревновал к нему зрителей, хотя сам никогда бы не признался себе в этом. Прирожденный актер, озабоченный постоянным поиском, как лучше расположить к себе толпу, он не мог не проникнуться тайной завистью к тому, кому это удавалось быстрее и легче.

Единственное стремление ревнивца — помешать счастливому сопернику. Чутко уловив настроение патрона, эту миссию взял на себя отпущенник Тирс, после первого стасима начавший при всех громко чихать и сморкаться, словно простуженный корабельщик. В другое время это сочли бы верхом неприличия, но в этот раз никто не решался ничего сказать, и отпущенник сме-

[1] *Софокл.* Электра. 110—113, 116—118 (пер. *С. Шервинского*).

ло продолжал свое дело, чувствуя одобрительный взгляд императора.

На орхестре между тем вовсю разворачивались заговорщицкие приготовления. Одержимая Электра металась по кругу, попеременно причитая и рассыпаясь проклятиями: было непонятно, чего она хочет больше — отдаться воле милого брата или самой руководить переворотом. Орест всем своим видом показывал, что над ним довлеет рок и он слепое орудие бога Аполлона, посланный отомстить за гибель отца. Его собственного желания никто не спрашивал, а за ослушание он может поплатиться головой.

Бог не обманет. Твердо слово Локсия [1].
Он приказал мне, не страшась опасности,
Идти на все. Чудовищными муками,
Такими, от которых стынет в жилах кровь,
Грозил он мне, коль я убийц родителя
Не накажу и смертью не взыщу за смерть.

Подобная трактовка Эсхила не имела ничего общего с аттической традицией, воспевавшей самостоятельных и волевых людей. От александрийской постановки веяло чем-то мистическим, восточным. Зрители должны были восчувствовать потустороннюю власть и проникнуться неотвратимостью предначертания небес.

В разгар коммоса вся труппа сгрудилась вокруг фимелы [2], обозначавшей царскую гробницу, завывая, приседая и покачиваясь, будто исполняла ритуальный танец. Блики чадящих факелов придавали маскам какое-то халдейское выражение.

Орест
Тебя зову я, с нами будь, отец!

Электра
И я, отец, в слезах тебя зову.

Хор
Мы вторим, царь, мольбе детей твоих:
Явись на свет;
И выйдем вместе на врагов заклятых!

В театре наступила мертвая тишина. Казалось, могила сейчас разверзнется и на орхестру выступит залитый кровью Агамемнон. И хотя все прекрасно знали, что в трагедии Эсхила ничего подобного не происходит, в

[1] Локсий («Темный») — эпитет Аполлона.
[2] Фимела — возвышение на орхестре.

эту минуту можно было ожидать чего угодно, настолько внушительной была вся обстановка. Даже враждующий со сценой Тирс волей-неволей прервал чихание и почел за благо отмолчаться.

Так бывает на море, когда первая волна с шумом разбивается о камни, разлетается в тысячах брызг, и на какое-то время взмыленный берег погружается в оцепенение. Но уже слышно, как ползет, накатывается второй вал, еще более сильный и сокрушительный. Актер обязан точно просчитывать время и наносить удары, как в кулачном бою — мерно, но с возрастающей мощью, чтобы не дать зрителям опомниться. Гармония боя сродни гармонии пьесы.

Снова музыканты в орхестре затянули мелодию на фригийский лад, ускоряя ее с каждым тактом. Снова растрепались языками пламени роковые тени Ореста и его сестры. И когда, наконец, из уст хоревтов прозвучало сакраментальное «царица-мать», круг окончательно замкнулся. Сначала хор, а затем Электра указали царевичу на его жертву. Он остановился на секунду, чем-то удивленный и потрясенный, будто только теперь впервые всерьез задумался, кому он все-таки собирается мстить и на кого поднимает руку.

Хор

Но прежде чем отца зарыть, убийца-мать
Четвертовала трун.
Затем, наверно, чтоб тебя, Орест,
Невыносимой мукой истерзать.
Теперь ты знаешь про позор отца.

Острые как стрелы слова жалили в самое сердце. Уже все гистрионы[1], не стесняясь, называли по имени Клитемнестру, а предводительница хора даже несколько раз выбрасывала руку куда-то поверх голов, в сторону дворца Клеопатры. Было ли тут случайное совпадение, намек или предчувствие,— известно лишь небесам. Говорят, настоящий актер всегда прорицатель.

Тем временем игра переместилась с орхестры на высокий логейон[2], где задвигались массивные ворота и заурчали спрятанные от глаз механизмы, являя взорам очертания царского жилища. Выступив из ворот проскения[3], Орест воззвал к хору с таинственной высоты:

---

[1] Гистрионы (*греч.*) — артисты.

[2] Логейон (*греч.*) — первый этаж сцены, на котором играли актеры.

[3] Проскений (*греч.*) — пристройка к фасаду сцены.

...Но прежде б я узнать хотел,
И пусть вопрос мой праздным не покажется,—
С чего бы вдруг трусливый запоздалый дар
Послала мать? Ужель непоправимое
Поправить хочет?

Предводительница хора

Ночные страхи, злые сновидения
Послать дары заставили преступницу.

Орест

Какие сны? Не знаешь ли подробнее?

Предводительница хора

Сказала: снилось ей, что родила змею
И будто спеленала, как дитя свое.
Она во сне давала грудь детенышу,—
Кровавый сгусток вышел с молоком грудным.
Она проснулась, закричав от ужаса,
И в тот же миг, полуночный рассеяв мрак,
В покоях царских вспыхнули светильники.

В этот момент Октавиану подали запечатанный свиток. В пылу представления никто не обратил внимания на Эпафродита, с трудом пробравшегося по второму ряду к сиденью императора. Вообще-то Октавиан запрещал отвлекать его письмами и посланиями во внеурочное время. Исключением пользовались лишь письма близких родственников, консулов и союзных царей. В последнюю категорию странным образом попала и Клеопатра.

Орест уже придвинулся на самый край логейона, готовый воспарить над орхестрой крылатым грифоном. Он сделал вращательное движение и внезапно переменил маску с желтой на ярко-красную, расчерченную темными полосами вдоль щек, как у тельмесского ведуна.

Нет, это не пустое сновидение.
Я разгадал его. В нем все точь-в-точь сошлось.
Змея из лона вышла, породившего
Меня. Она в моих пеленках ползала.
Недаром, нет, кричала мать от ужаса:
Судьба ей, видно, страшную змею вскормив,
Кровавой смертью пасть. Ведь это я — змея!

Плащ упал с головы царевича, и все увидели, как в его руке блеснул отточенный клинок. Музыканты неистово ударили в бубны и тимпаны, и низкий звук, глухой и страшный, пронесся над городом.

«О Цезарь! Дни мои сочтены, и боги загробного царства призывают меня в свое лоно. Твоя раба уходит из жизни со словами благодарности на устах и припадает к твоим стопам в знак благоговения перед твоей мило-

стью. Внемли последней просьбе грешной женщины, погреби ее подле любезного супруга, отца ее детей, с которым она связала свою жизнь и смерть, за которым следует в долину Ахеронта верной служанкой. Да почтут тебя небожители, да вознесут, как великого отца твоего, Божественного Юлия!

Все, что осталось после меня из моего имущества, я поверяю твоей воле, с тем чтобы ты распорядился им по своему усмотрению. Не оставь, господин мой, несчастных сирот без попечительства, защити их невинность, охрани от насилий,— в том заклинаю тебя, уповая на твое благородство и величие души. И в мире теней сердце мое тоскует по детям, печалится об их судьбе, и не к кому им прибегнуть, кроме тебя. Я обнимаю твои колени с мольбой и надеждой, омываю их слезами, исповедуюсь, как Поликсена перед Агамемноном[1], прежде чем принести себя в жертву великим богам. К тебе обращено мое предсмертное слово: будь великодушен и, будучи в царстве Аида, я не перестану славить тебя!»

Прочтя только первые строки, Октавиан издал сдавленный хрип и швырнул пергамент в лицо Эпафродиту. Тот жалобно вскрикнул, закрываясь руками, в десятой доле не представляя, что он принес.

Люди в театре вздрогнули, тысячи глаз обратились на императора и встретили его неузнаваемый лик. Октавиан быстро взял себя в руки и ответил на недоуменные взоры какой-то неестественной, покусанной улыбкой. Дав знак актерам не прерывать представления, он рывком поднялся с сиденья и направился к выходу из театра. Следом, сорвавшись с места, поспешил верный Тирс, а немного погодя, поджав хвост, выбежал побитый Эпафродит.

По рядам зрителей прокатился тревожный шумок, люди стали переглядываться друг с другом, пожимая плечами. Через минуту весь театр увидел, как римский предводитель возвращается на свое место. Октавиан шел уже один, без Тирса и Эпафродита, но держал себя как ни в чем не бывало и по пути приветливо кивал друзьям.

— Что-нибудь с царицей? — спросил Ирод, когда император опустился на скамью.

---

[1] Поликсена — дочь Приама, троянского царя. Попав в плен после падения Трои, была принесена в жертву памяти Ахилла. По другой версии, она сама подставила грудь под жертвенный меч, предпочтя смерть позорному рабству на чужбине.

— Ничего такого, о чем стоит волноваться, мой друг,— широко улыбнулся римлянин.— Расскажи лучше, что происходит на сцене. Это уже какой эпизодий? Я много пропустил?

Октавиан хотел было немедленно броситься во дворец Клеопатры, но вовремя остановился, погасил неуместную вспышку и решил досмотреть постановку до конца, дабы все посвященные и те, которые будут посвящены впоследствии, смогли оценить его выдержку и самообладание.

Однако вернуть прежнее спокойствие оказалось нелегко. Октавиан смотрел куда-то сквозь сцену. Жилы вздулись на его худой шее, пальцы рук судорожно теребили пряжку, скреплявшую концы плаща, на лбу проступила испарина. Окружающие поняли, что император нервничает и не может скрыть своего волнения. Самые опытные сообразили, что подлинная драма разыгрывается сейчас вовсе не на сцене, а совсем в другом месте.

Уже никому не требовалось чихать, чтобы сбить артистов с толку. Неприятная задержка расстроила актерскую игру, пьеса смялась и разбилась на несколько бессвязных сцен. Хоревты никак не могли взять нужный тон, неуклюже взмахивали руками и безбожно перевирали строфы, приводя публику в недовольное урчание. Появление долгожданной Клитемнестры не произвело никакого эффекта; ее жалкие реплики и неуемные восклицания перед лицом заговорщиков звучали не более как комичным дивертисментом. Реплики вывезенного на эккиклеме Эгиста казались еще более невнятными; так что убийство их обоих стало закономерным финалом провалившейся постановки. Еще до завершения эксода публика разочарованно потянулась к выходу.

Октавиан едва дождался конца представления. Он сухо простился с Иродом и поспешил в тот парод[2], в который устремилось меньше народа. Римляне благоразумно расступились, пропуская вперед своего предводителя. На площадке перед театром его уже ожидал отпущенник Тирс с лектикой[3] и отрядом испанских всадников.

Но тут, по выходе из театра, на Октавиана сразу же нахлынули просители. Со всех сторон к нему потянулись свитки и таблички, люди пихали и отталкивали друг

---

[1] Эккиклема — деревянная платформа на колесах.

[2] Парод (*греч.*) — в данном случае проход наружу из театра.

[3] Лектика — крытые носилки.

друга, надеясь пробиться к императору и снискать его внимание. Видя это, испанцы кинулись расчищать проход. Октавиан еще некоторое время принимал из рук прошения и обменивался пожеланиями, пока, наконец, не очутился перед Тирсом. Тут терпение все же изменило ему; он рывком схватил отпущенника за ворот и стянул ему шею:

— Ты был там? Говори!

— В Северном дворце неразбериха, мой господин. Мы застали страшный переполох. Говорят, царица приняла яд.

Глаза римлянина сверкнули как родосские фонари:

— Какой яд?! Откуда она его взяла? Кто пронес его ей? Куда смотрела стража и что делал этот негодяй Эпафродит?

Тирс испуганно отшатнулся:

— Не знаю, мой господин. У нее в покоях Прокулей. Я только вызвал Антония Музу с врачами и поспешил тебе навстречу.

Октавиан махнул рукой и молча взобрался в лектику. На полпути во дворец он снова подозвал Тирса и торопливо распорядился:

— Вот что: срочно разыщи здешних псиллов[1]. Говорят, они большие мастера по части обеззараживания и могут высосать яд.

Носильщики снова тронулись вперед.

— Идиотка! — скривился Октавиан, кусая губы.— Ах, какая идиотка! Я бы ей ничего не сделал, ничего...

Уже на подходе к Северному дворцу были видны густые ряды служителей-египтян, напиравших во внутренние покои. Во всех комнатах теснились плакальщицы с распущенными волосами, воздевая к небесам оголенные руки, и дворцовые жрецы горестно взывали к владыкам Осирису и Исиде. Сомнений больше не оставалось: так отпевают умерших царей.

У дверей опочивальни Октавиана встретил его главный лекарь Антоний Муза и коротко доложил:

— Царица скончалась несколько часов назад; судя по температуре тела, еще утром. Зато обе рабыни ее покончили с собой совсем недавно. Прокулей уверяет, что застал одну из них в живых и даже разговаривал с ней. Не пойму, каким снадобьем они воспользовались. Ни на аконит, ни на цикуту это не похоже. Какой-то сильнодействующий яд, нам неизвестный.

---

[1] Псиллы — африканское племя, славившееся врачеванием.

Чернокожий раб поднес императору кувшин с водой для очищения, но он решительно отстранил воду и вошел в опочивальню как был.

Клеопатра покоилась на ложе в том же самом льняном хитоне, а по обеим сторонам лежали скорченные агонией смерти Ирада и Хармион. Обескровленные губы египтянки застыли в блаженном спокойствии,— странное дело, смерть нисколько не исказила ее лица,— будто и на том свете она стремилась сохранить царственное достоинство. Тело ее, умащенное, по обычаю, благовонным елеем, мягко лоснилось в полутьме, убранные волосы овивала золотистая лента с красными и синими полосами, а на лбу сверкал божественный урей — голова кобры с глазами из зеленоватого сердолика. Пальцы царицы сжимали цепочку с крестом «анх»; они едва загибались,— рабыни вложили крест уже в мертвую руку.

Октавиан долго разглядывал что-то, склонившись над телом, затем тяжело выпрямился и отошел к Гаю Прокулею, потупленно застывшему у стены.

— Зачем она сделала это?

Советник поднял глаза, поморщил лоб и состроил грустную гримасу:

— Уход каждого человека в иной мир — тайна тайная для оставшихся на земле.

Шелестящие голоса за дверью, сначала испуганные и бестолковые, набирая силу, пришли в порядок и постепенно слились в единый хор. Кто-то низким басом затягивал заупокойную песнь, а все остальные вторили мерным рефреном. Октавиану показалось, что он уже слышал эти голоса немногим раньше, в театре.

Ты восходишь, прекрасная, утомленная сердцем своим,
Ты шествуешь вместе с народами в Арк-хех,
Воспаряет душа твоя — феникс, а сердце — ибис.
О прекрасная! Ты представилась во благо, достигшая врат горизонта;
Так, пронесясь через кольца огненных сфер,
Да взойдешь ты на небо и соединишься с Вечностью!

Откуда-то из темноты вынырнул Эпафродит. Виновато пригибаясь, он осторожно подкрался к императору и поцеловал край его плаща:

— О египетское коварство; как они могли меня провести?! Клянусь небом, господин, еще вчера все трое сидели вот тут и затягивали песни. Я поражен словно бы молнией! Подлая рабыня-эфиопка вынесла мне утром свиток уже запечатанным, сказав, что Клеопатра просит срочной встречи с тобой. И я, обманутый, по-

мчался в театр, не подумав проверить, что с царицей. Теперь я догадываюсь, кто здесь еще замешан...

Октавиан даже не удостоил соглядатая взглядом:

— Твои объяснения излишни, Эпафродит. Я вижу итог. На твоем месте я бы выпил цикуту.

Отпущенник побледнел и отступил на один шаг:

— Я не сделаю этого, господин.

— Как хочешь,— последовал ответ.— Во всяком случае, более ты не служишь мне. И ты не должен оставаться в пределах Римского государства.

Октавиан переступил через лежащие тела и подошел к тому месту, у статуи Юлия Цезаря, где, он запомнил, хранились шкатулки с письмами царицы. Все они оказались пусты; только в углу виднелся ворох сожженных бумаг. Октавиан попытался поднять какой-то клочок, но он рассыпался у него в руках.

Дион Кассий: «Когда Цезарю не удалось никакими средствами вернуть Клеопатру к жизни, он не мог не почувствовать изумления и сострадания: особенно же он сокрушался о самом себе, как будто ее смерть лишила его всей славы от его победы».

POST SCRIPTUM

Ранят все, последний — приканчивает.

Латинская надпись на старинных часах

Минуло ровно тридцать лет.

В один из солнечных августовских дней, еще поутру, Публий Долабелла вышел из-за портика заднего двора своей кампанской усадьбы, стоявшей на взморье по дороге из Путеол в Байи. Он только что совершил заутреню в небольшой часовне, посвященной богине Исиде, седеющие волосы его еще блестели от капелек священной нильской воды, которой он окроплял алтарь, одежда пахла дымом воскурений; несмотря на свои пятьдесят два года, в этот день он выглядел бодрее обычного и казался даже помолодевшим.

Справа от него семенил коротконогий приземистый спутник, даже отдаленным образом не напоминающий жреца-исекея; по старомодному аттическому хитону, крашеной бородке и театральным сапожкам, какие носят на сцене, его можно было принять, в лучшем случае, за странствующего актера.

— Я дивлюсь твоей смелости, Корнелий. Ты преспокойно отправляешь культ даже сейчас, когда главный запретитель его сидит в твоем доме и, может быть, в эту минуту следит за нами из-за занавесок.

— Не думаю, — отвечал Долабелла. — Вчера вечером он столь беспомощно рухнул на циновки и разразился таким недужным храпом, что вряд ли сегодня он сможет прийти в себя до обеда. В последнее время старик сильно сдал... Особенно после ссылки дочери. Кроме того, я поручил Хармион не отходить от него ни на шаг.

— И все-таки ты весьма рискуешь, — прошептал невеселый спутник. — Ты уверен, что он заехал к тебе случайно? А вдруг он что-то подозревает? Известно ведь, чем старее, тем мнительнее...

— Не беспокойся, Пифолай. Тут хозяин я, а он, хоть и владелец половины мира, на моей вилле всего лишь гость.

Едва спутники вышли на передний двор, навстречу им из дома выскочила озабоченная служанка с опорожненной ойнохоей[1]; Долабелла поднял на нее встревоженные глаза:

— Проснулся?

— Да, господин. Он уже встал и принимает омовение.

— Благая Матерь! — взмолился перепуганный Пифолай. — Сохрани нас от напасти и отврати беду...

Минутой позже на узенькой дорожке появились двое служителей, ведущих под руки престарелого постояльца в ужасно запыленном крестьянском плаще и еще более потрепанной тунике; почти ничего в нем не указывало на могущественного правителя Рима, принцепса сената и Отца отечества. Август недужно кряхтел, еле передвигая ногами, осунувшееся бесцветное лицо его взывало к жалости и состраданию, в поблекших глазах, окруженных старческими морщинами, отражалась безмерная усталость.

Поразительным было, однако, то, что император при всем этом упорно не отступал от заданной роли и даже пытался улыбаться.

Долабелла встретил его легким поклоном:

— Хорошо ли провел ночь, Цезарь?

— Представь, Корнелий, неплохо, — удовлетворенно кивнул римский властитель. — Особенно если учесть, что

---

[1] Ойнохоя — вид греческой амфоры.

я рисковал коротать ее в каком-нибудь сельском хлеву вместе с волами и погонщиками, твоя вилла явилась просто спасением. Кто эта красотка?— кивнул он на стоящую поодаль служанку.

— Моя домашняя рабыня.

— Я подумал вчера — дочь. Потом, правда, вспомнил, что ты ведь давнишний вдовец и с тех пор, как твоя Эмилия — мир ее праху!— скончалась от родов, так и не обзавелся семьей. Право, это не по-государственному. Рим любит благоустроенность. Впрочем, я и в сенате тебя давно уже не вижу. Неужели после претуры ты решил навсегда забросить службу? Напрасно; тебе определенно светило консульство...

— Уступаю дорогу тем, кому ожидание магистратур невтерпеж,— поклонился Долабелла.

— Зря, Корнелий. Не так уж много у меня осталось верных друзей, подобных тебе. Ты спишь с этой рабыней? Клянусь Юпитером, она весьма недурна собою. И имя у нее такое замечательное — Хармион. Всю ночь вспоминал, где я мог слышать его раньше... Она фракийка или сириянка? Представляю, какова в постели... Для стариковских костей все равно что лечебный пластырь, хе-хе.— Смех императора перебил судорожный кашель.— Эти скоты вчера меня изрядно-таки помяли...

Весь вечер Август сидел на развилке дорог в рубище бродяги и выпрашивал у прохожих милостыню (последнее императорское развлечение), но ветер с моря продул его, он подхватил простуду и теперь не расставался с носовым платком. Все бы ничего, если бы его не опознал центурион Децимий, возвращавшийся с дружками из таверны. Вышел конфуз, не спасла даже накладная борода. Сначала пьянчуги оглушили его салютом, затем на виду у всех тащили на сколоченных досках в свою казарму, страшно раскачиваясь и рискуя вывалить принцепса на землю. Со стороны можно было подумать, группа верующих фанатиков совершает какой-то ритуальный обряд, а скрюченный старик на носилках — очередная жертва суровой богине Атаргатис.

— Как славно, что ты, Корнелий, попался на пути и осадил не в меру услужливых подлецов. За это я готов устроить перед твоей виллой военный парад, как это когда-то сделал мой отец для твоего родителя. Более того, я и дальше пойду по отцовским стопам и на следующий же год запишу тебя консулом-суффектом. Отвечай же: продашь красотку?

Долабелла слегка смущенно пожал плечами:

— Какая в ней польза тебе, Цезарь?

— Благие боги! — скрипуче рассмеялся держатель полумира, падая в плетеное креслице и начиная усиленно расчесывать больную поясницу.— Ты ужасный женофоб, мой друг, и притом скряга. Многолетнее отшельничество превратило тебя в совершенного скопца. Ты, верно, поклоняешься Исиде или еще какому азиатскому богу, требующему неукоснительного воздержания. Бери десять тысяч сестерциев!

— Помилуй, Цезарь, неужто иссяк уже поток юных прелестниц, которых исправно поставляет тебе благоверная супруга?

Август прекратил расчесывание, взгляд его тотчас сделался пасмурным и отчужденным.

— Дурные шутки, сенатор,— проговорил он сухо и, после некоторого размышления, деланно рассмеялся.— Впрочем, я тоже люблю пошутить. Мы повеселимся вместе, и к нам даже может присоединиться твой укромный жилец, который прячется сейчас в тенистой беседке. Кажется, если мне не изменяют глаза, это наш знаменитый эпиграммист, пересмешник Пифолай, которого я еще третьего года особым эдиктом выслал пожизненно из Италии. Ты произвел его в служители Исиды?

Долабелла побледнел и попятился, не зная, что ответить. Его выручила служанка Хармион, доложившая о готовом завтраке. Умиленный гость тут же увязался за нею в триклиний, но основательно подкрепиться так и не смог. В разгар трапезы внезапно прискакал вестовой с запиской от супруги-императрицы.

— От Ливии?! — изумился принцепс.— Как она нашла меня здесь? Верно, тот безмозглый центурион уже раструбил обо мне по всей округе. Не удивлюсь, если завтра каждый нищий в Байях будет изображать из себя императора.— Август окинул посыльного сердитым взглядом:— Что она там пишет? Говори, как есть.

— Госпожа беспокоится твоим долгим отсутствием и напоминает о подрядчиках из Путеол и мастеровых, собранных для постройки канала и новой пристани. Если лес не закупить сейчас же, осенью он может вздорожать...

— О, всевидящее небо!— горестно закатил Август глаза и повернулся к Долабелле с видом измученной, вконец загнанной лошади.— Вот видишь, Корнелий, чем я теперь занимаюсь и во что на седьмом десятке превратилась моя жизнь... Скажи: сколь громкое было начало — и сколь жалок финал! Подрядчики, мастеровые,

древесина, модии ячменя и меры овса... И это после того, как я завоевал весь мир! О, где моя молодость? Где мои боевые друзья? Где славные доспехи? Как прекрасно собирать богатство, будучи бедным; как гнусно трястись над ним, будучи богатым!

— Госпожа напоминает также,— продолжал посыльный,— что сегодня ожидаются корабли царя Юбы. От него уже получена весть о скором прибытии.

— Юба — это славно,— заметил, оживляясь, император.— Он тот, кто сумеет развеять тоску. Надо возвращаться. Ты, Корнелий, конечно, сопроводишь меня и поможешь отбиться от упреков сварливых женщин? К тому же мы еще не столковались о твоей прелестной рабыне. Давным-давно я знавал одну Хармион, но та, помнится, была чернокожей...

У ворот усадьбы принцепса встретил спешно прискакавший вслед за вестовым отпущенник Масгаба, за спиной которого гремела оружием целая турма императорских телохранителей. Вилла Долабеллы огласилась беспорядочными криками.

Август забрался в приготовленную лектику, Долабелла возлег в свою, но через десять шагов они были вынуждены остановиться. Услыхав о появлении императора, из окрестных селений сбежались простолюдины, напрочь запрудившие дорогу.

— Салют Отцу отечества! — скандировала толпа, вне себя от восторга.— Привет Цезарю Августу! Скажи слово, великий герой!

Свирепый Масгаба нещадно хлестал всех направо и налево, пытаясь расчистить путь, но кампанцы, напротив, еще сильнее напирали на императорскую лектику, надеясь подкинуть туда жалобы и прошения.

Вначале Август приветливо кивал из-за занавесок и даже пытался ловить летящие свитки, но как только толпа осталась позади, оглянулся на нее с усталым раздражением:

— Иногда мне кажется, Корнелий, что рабам рабство нужнее, нежели их господам. Взять того же Масгабу. Когда я выписывал ему вольную, поверишь ли, он рыдал и рвал на себе волосы, словно бы его отправляли в изгнание. Пока он в рабстве — он при деле, сыт и пьян, но совершенно не представляет, что будет делать на свободе. И таких, как он,— весь Рим.

— Я слышал,— сказал Долабелла,— в сенате голосовалось предложение перенести начало нового года на день твоего рождения; Публий Виниций предлагал вести

времяисчисление со дня твоего первого консульства либо со дня Актийской победы, и сенаторы разошлись во мнении относительно исходной даты...

— О, как они все мне надоели! — отозвался в сердцах император.— Соревнуясь в раболепии, они готовы забальзамировать меня еще при жизни. Спроси, Корнелий, для чего я вытащил их из кипящего котла междоусобиц, и я не отвечу...

Престарелый властитель перевернулся в лектике на другой бок и как-то неловко, из-под локтя согнутой руки пробубнил:

— Только теперь постигаешь мудрость старика Варрона:

Нам облегченья нет ни в деньгах, ни в грудах сокровищ;
Не отгоняют от сердца забот и всего, что нас вяжет,
Ни персидские горы, ни атрии пышного Красса...

Клянусь Юпитером, еще немного, я брошу все и умчусь далеко-далеко... В Селевкию, к моей милой Музе[1]. Она сейчас царствует над Парфией. Неужели верная рабыня не приютит своего бывшего господина, открывшего ей столь блестящую карьеру? Пусть даст мне какую-нибудь должность при селевкийском дворе,— я согласен даже на виночерпия; в шуме блистательных азиатских пиров буду наполнять ее хрустальный кубок, и пусть эти неисправимые квириты провалятся в преисподнюю!

Со склона холма глазам открылся широкий Неаполитанский залив; носильщики побежали проворнее, мощеная дорожка запетляла меж уютных вилл, среди густых виноградников и плодоносных фундий, усаженных оливами, инжиром и миндалем. И чем пышнее, обильнее расцветали окружающие сады, тем тягостнее и протяжнее становились вздохи, доносившиеся из императорской лектики, будто всеобщее изобилие угнетало дряхлеющего повелителя, лишний раз подчеркивая его внутреннее опустошение.

Август оживился лишь перед Путеолами, когда лектика спустилась к самому берегу.

— Взгляни-ка, Корнелий, на пристань,— протянул он руку.— Видишь только что причалившую триеру и корабельщиков африканской наружности? Порази меня гром, если это не мавретанцы, а тот, кто ими командует,— мой несравненный Юба! Ну-ка, Масгаба, вели

[1] Муза Тейя — рабыня Августа, подаренная им парфянскому царю Фраату IV, родившая последнему сына-наследника, вместе с которым организовала дворцовый переворот и убийство старого царя.

повернуть к морю. Мне не терпится взглянуть на ливийские диковинки.

— Цезарю не пристало выходить навстречу иностранцам,— укоризненно заметил отпущенник.

— Что я слышу, Масгаба? Ты учишь меня римским обычаям? Благие боги! Корнелий! Кто-нибудь... Спасите меня от этого несносного фракийца! Небо видит, что я терплю от него...

Август не переставал поносить любимого отпущенника, даже когда носильщики поставили лектику на пристани и Долабелла подал императору руку, помогая выбраться на белый свет.

— Поверишь ли, Корнелий, вчера на развилке дорог, без единого асса в кармане я чувствовал себя гораздно свободнее... Я зависел только от самого себя и знать не знал обо всех этих немыслимых церемониях. О, если бы тогда, на египетском триумфе, усыпанному лаврами, мне предрекли бы, что я успешно сооружаю себе прижизненную гробницу, я бы сейчас же поменялся местами с Антонием или даже с Клеопатрой! Право, я все чаще и чаще завидую им. Но что это? Оглянись, мой друг, и посмотри, кто сходит к нам с корабля!..

Долабелла обернулся и оторопел. Наверное, вездесущая Исида поймала принцепса на слове. Навстречу по деревянному настилу в окружении рабов и служанок шла... египетская царица.

Все так же горделиво сияло ее открытое чело, залитое полуденным светом (солнце в Байях почти как в Александрии), и этот характерный властный изгиб плотно сжатых уст, свойственный лишь царям из рода Птолемеев; Публий точно запомнил ее походку, когда, в последний день, она выбегала к нему в ярко-красном платье, подобная пламенеющему огню, плакала украдкой, а потом гримасничала, потешаясь над тщеславием Цезаря. О Матерь Сущего! Будто бы и не было тридцати долгих лет, будто бы не возвращался он из Египта, влачась по унылой дороге безвестия, или благая Исида неотступно следовала за ним, чтобы в один прекрасный день снова явить свою мощь и славу.

— Приветствую тебя в Италии, дочь моя! — воскликнул просветлевший император.

Нет, это не Клеопатра... Совершенно чуждая нильской царице отбеленная стола, низкая, с пробором, римская прическа, схваченная узкой шелковой лентой, бесконечно далекой от настоящей царской диадемы. Не-

ужели?.. Ну конечно! Так и есть. Как он мог забыться? Супруга Юбы Мавретанского! Славная воспитанница Августа.

Но все-же, как она похожа на мать!

— Отец! — воскликнула радостная гостья, проносясь мимо Долабеллы в раскрытые объятия принцепса.— Вот уж не чаяла встретить тебя здесь... Ты спустился нам навстречу?

— О Селена, дочь моя...— растрогался Август, целуя красавицу в лоб.— Скажи, сколько лет мы не виделись? Восемь или десять? Как ты возмужала в своей Мавретании! Какова осанка, какова стать! Настоящая царица, клянусь Аполлоном! Почему ты одна? Где твой мудрейший супруг, мой несравненный Юба?

— Он уже поехал в усадьбу, а я замешкалась тут с поклажей.— Она несколько отстранилась от императора и изумленно оглядела его с головы до пят.— Прости, отец, какой странный на тебе наряд... Что за напасть? Уж не случилось ли чего худого?

Август на мгновение сконфузился, но тут же беззаботно отмахнулся:

— Нет-нет, дочь моя. Это так, ничего... Мы тут немного развлекались с моим другом Долабеллой. Нечто вроде летних Сатурналий. Проезжали мимо и узрели знакомый штандарт на корме корабля — лев с трезубцем. Ведь этот знак я самолично вручил Юбе, отправляя его в Мавретанию.

Селена бросила косой взгляд на Публия и вновь склонилась к принцепсу. Они являли собой довольно забавное зрелище: благородная дама в роскошных одеяниях, усыпанных драгоценностями, поддерживала под локоть сутулого залатанного старца. Непосвященные могли подумать, вконец разорившийся селянин выпрашивает спонсию у богатой дочери, когда-то удачно выданной замуж.

— Мы с Юбой стали беспокоиться о твоем здоровье, отец. Ты все не пишешь, а другие не сообщают ничего толкового. Слышали стороной, в доме у тебя большие перемены...

— Что писать? — выпрямился Август, освобождая локоть. — Веселого мало. От врачей никакого проку, в Риме сплошная рутина, от домашних одно расстройство. Ты ведь знаешь... Только мои мальчики Гай и Луций — да хранят их боги! — еще питают сердце надеждой. Но теперь они далеко в провинциях, и все мои дни окутаны тоской и печалью. О, как я ждал вашего

приезда! Ведь ты, достойная дочь моя, любимейшая царица, поистине утешение и отрада для очей!

В ответ она поцеловала принцепса в висок и мягко погладила его седые волосы.

Публий, охваченный воспоминаниями, не в силах был переносить эту сцену. Он вздрагивал всякий раз, когда встречал зеленые глаза мавретанки, точь-в-точь как те, которые озаряли его в темных покоях Северного дворца. Блеск их не потушили ни хитрость, ни коварство того, кто теперь стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу, купаясь в их преданном свете. Невыносимо видеть эти глаза укрощенными, как невыносимо сознавать, что пример великой матери отвергнут и забыт смиренной дочерью.

Впрочем, на что ей жаловаться? Она царица большой страны и супруга царя, уважаемая в Риме, обласканная Отцом отечества. Сама мать не пожелала бы для нее лучшей доли. Публий все это понимал и оправдывал не в меру приветливую мавретанку, но все же что-то больно кололо под сердцем и горечь проступала на языке. Ведь он был участником той александрийской мистерии.

— Надеюсь, Юба доставил то, что я просил?

— Конечно, отец! Это и еще многое другое. Ты несомненно будешь доволен.

Селена подвела императора к лектике, но он упрямо отказывался возлечь первым, горя желанием усадить сначала свою гостью. Они долго бы еще возились и упрашивали друг друга, если бы своевременно не вмешался Долабелла. Он предложил царице руку, и той ничего не оставалось, как принять его помощь.

Едва носилки с мавретанской гостьей тронулись в путь, Август с неожиданным проворством подскочил к Публию и дернул его за рукав:

— Ты видел, мой друг? Какое сходство с матерью! Вылитая Клеопатра Филопатора! Порази меня гром, если она сейчас не в том же самом возрасте, как и та... Мне начинает мерещиться, будто мы в Александрии и только что разговаривали с царицей царей.

Долабелла нахмурился:

— Ничего общего с египтянкой. И при чем тут ее мать?

— Эх, Корнелий, ничего ты не понимаешь... Не думай, если мне шестьдесят три и голова побелела, как вершина Парнаса, то я уже все пережил и ничего не хочу изменить в прошлом. При чем тут ее мать... Ты

еще спрашиваешь? Она похитила мою славу! Она жестоко обокрала меня! Что толку от триумфа, когда в нем отсутствовало самое главное?! Ради чего он и затевался?! Все после этого пошло наперекос...

Император залился мелким колючим смешком:

— А что? Клянусь Юпитером, еще не поздно наверстать упущенное. Что нам мешает? Устроим египетский триумф заново. Она сумела ускользнуть из моих рук в Александрии, так пусть теперь хоть в образе дочери шествует впереди колесницы!

Долабелла отшатнулся. Сердце его учащенно забилось, ноги подкосились, по телу пробежала лихорадка, еще сильнее, чем у собеседника.

— Ты знаешь, Цезарь, ведь это я ускорил ее смерть. Я предупредил царицу о готовящемся триумфе в ту самую ночь, когда она покончила с собой.

Август осекся и озабоченно потер лоб:

— О чем это ты?

— Рано или поздно ты должен был об этом узнать. Я проник во дворец, когда Клеопатра уже обладала ядом. Не знаю, кто пронес его ей; Эпафродит смог бы рассказать, но ты его выслал. Тебе вообще не стоило пороть горячку и учинять громкое дознание. Россказни о ядовитых змеях, проникших в опочивальню,— выдумки перепуганной стражи. Преторцы убоялись наказания и не решились назвать мое имя...

— Что ты плетешь, Корнелий? — отмахнулся принцепс.— Охота сочинять. Посмотри на свои морщины, патриций. Или ты перегрелся на солнце?

Август развернулся к своей лектике, но Долабелла не отступал:

— Клянусь, я и сам не предполагал, что последует за моим визитом. Впрочем, нет, совсем наоборот. Я надеялся, после моего предупреждения царица не останется жить. И я не ошибся.

Носилки с Селеной еще виднелись на склоне холма, сопровождаемые толпою рабов, царица оглядывалась назад и приветливо махала императору рукой. Впрочем, он уже не смотрел в ее сторону, помертвевший и черный как ночь.

— Сплошная чушь! Немыслимый бред! Ты сходишь с ума, сенатор.

Вечером того же дня все пятеро возлежали за столом в просторном триклинии, который Август называл странным образом — «Сиракузами» и здесь же устроил свой кабинет, разбирал дела и прошения: сам импера-

тор во главе трапезы, по правую руку — Ливия, по левую — Клеопатра Селена, а на другой стороне — Юба с Долабеллой. После четвертой перемены блюд, когда подали ретийское вино и свежие фрукты и хозяин, казалось, пребывал в наилучшем настроении, Юба поспешил воспользоваться наступившей паузой:

— Могущество и величие правителя украшаются снисходительностью и милосердием. И коль скоро люди единодушно признают его Отцом отечества, значит, они уверены, что вкусят подлинно отеческую заботу, как если бы его собственные дети. Ибо как он ведет себя в родной семье, так поведет и в обществе. Я говорю о твоей дочери, Цезарь. Не приспело ли время смягчить ее тяжелую участь? Этим ты успокоишь народ и подашь прекрасный образец родительской любви.

Говоря так, Юба не заметил недоброго огонька, зажегшегося в глазах императрицы Ливии; благородная матрона вся как-то съежилась и передернулась на ложе.

— Это дело решенное,— холодно ответил Август,— нечего к нему возвращаться.

— Конечно,— продолжал Юба,— проступок Юлии заслуживает самого сурового наказания; и ты как родитель, по древнему праву, волен над ее жизнью и смертью. Но подумай: уже второй год дочь твоя несет на себе тяжкое бремя отцовского проклятия, она мучается и страдает в ссылке, и раскаяние переполняет ее душу. Вспомни, наконец, ведь она единственная твоя дочь.

Лицо принцепса совсем побелело:

— Довольно, Юба. Что я могу ответить? Я желаю тебе иметь такое же чуткое и благодарное дитя. А мне довольно того, что у меня еще осталось. Вот моя истинная дочь! — кивнул он на молчаливо застывшую Селену.— И пусть она произошла не от моего семени и не поднимал я ее с земли при рождении, она доказала свои дочерние чувства несравненно крепче и основательнее, нежели любой из моих единокровных родственников!

— Золотые слова, Гай! — воскликнула Ливия, весьма надеющаяся на усыновление императором своего первенца Тиберия и почти ежедневно внушавшая супругу подобные мысли.— Ведь истинная близость возникает не от родственной связи, но от движения душ. О том свидетельствует и твоя собственная судьба, сделавшая тебя подлинным наследником Божественного Юлия, хотя вас и не связывало прямое родство.

— Одно другое не отменяет, — молвил Юба.— Но, вижу, ты расстроен, Цезарь? Поэтому я умолкаю.

Долабелла, в свою очередь, косясь на мавретанскую царицу, слишком преданно и подобострастно взиравшую на нареченного родителя, выказал плохо скрытую усмешку:

— Вот признак нынешних времен: приемные дети оказываются куда более послушными, чем кровная родня. Если так пойдет и дальше, не только близкие родственники, но и сами римляне выйдут из доверия и сенат нужно будет набирать из египтян и мавретанцев.

Август опрокинул кубок на стол и болезненно скривил уста:

— Делайте, что хотите. Оставьте только меня в покое.

— Тебе плохо, отец? — обеспокоенно наклонилась к нему Селена.

— Ох, Эскулап, это уже ни на что не похоже... Ливия, кликни мне врача.

Императрица хлопнула в ладоши, призывая слуг, но ей никто не отозвался.

— Эй, где вы?! Треклятье, куда все подевались? Когда господин здоров и весел, они беспрестанно снуют под ногами. Когда же ему дурно, никого не разыщешь за целую милю.

— Тебе не следует оставаться здесь, отец,— шепнула Селена после ухода императрицы.— Пойдем, я доведу тебя до опочивальни.

— Да-да, помоги мне, Селена,— простонал скорченный от рези в желудке властелин.— Проклятый кишечник... Дай я обопрусь на тебя...

— Кто бы мог подумать? — развел руками Юба, едва жена его вывела принцепса за дверь.— Ведь только что он шутил и веселился. Неужто упоминание о Юлии так расстроило его? Не пойти ли нам, Корнелий, следом?

— Боюсь, разгневается императрица,— ответил Долабелла.— И так весь вечер она дулась и косилась на нас...

— Вижу, Ливия окончательно прибрала его к рукам,— кивнул царь.— Несомненно, высылка Юлии — ее заслуга. Эта женщина знает, чего хочет, и уже близка к цели.

— Как бы не так,— возразил Долабелла, понижая голос.— Старик сопротивляется ей всеми силами. Он

почти на грани отчаяния. Беспрестанно ищет, куда убежать...

— Я его понимаю.

В темном коридоре между триклинием и опочивальней императору сделалось совсем плохо; у него подкосились ноги, плечо провожатой отодвинулось и отъехало куда-то в сторону; он беспомощно вертел руками, пытаясь поймать теряемую опору, цеплялся за холодные шуршащие одежды, но материя легко выскользала из пальцев.

— О боги, мне дурно... Кто-нибудь... Поддержите меня!

Август упал на одно колено, под сердцем что-то оборвалось, перед глазами полыхнула жгучая молния, но это была женская рука, перетянутая у запястья золотым браслетом; он даже заметил сверкающий перстень на пальце, спутать который нельзя было ни с каким другим: на нефритовом камне гордые профили римского диктатора и египетской царицы, обращенные к восходящему солнцу, над головами — парящая Ника, позади — треножник, и та самая надпись: «Consortium omnis vitae» — «Содружество на всю жизнь».

— Ну что, Цезарь,— прозвучал в тишине спокойный властный голос,— ты еще помнишь меня?

Принцепс вздрогнул и отшатнулся. Он узнал белый льняной хитон нильской владычицы, ниспадающий до самых пят, распущенные волосы, струившиеся по плечам, как и тогда, в глухой опочивальне Северного дворца, только лицо ее уже не было потухшим и изможденным; широко раскрытые глаза светились внутренней силой и достоинством.

— Это ты?! — прохрипел несчастный старик, хватаясь за полы египетского платья.— Зачем ты здесь? Что тебе нужно?

Мягкий хитон распоролся от рывка, сполз с ее плеч, обнажая белую грудь, блестящую в темноте подобно паросскому мрамору, но это была не статуя, а живая царица.

— Ты вернулась ко мне оттуда?.. Или ты вовсе не уходила туда? Кто вернул тебя? Юлий? Чудовище, скажи мне правду... Ты думаешь, я бы унизил и опозорил тебя? Зачем это было мне нужно? Ты поверила этому лжецу Долабелле? Я колебался... Они растравляли меня... Поверь, Клео.— Август проглотил комок в горле и сокрушенно покачал головой: — Зачем ты исчезла столь внезапно и необъяснимо? Ты обманула

меня! Ты до сих пор терзаешь и мучаешь меня, хотя прошло столько лет... Скажи, чего ты хочешь? Чего добиваешься? Чтобы я признал твою победу? Чтобы пал перед тобою ниц? Смотри, я уже стою на коленях. Ты победила! Торжествуй, наслаждайся моим падением, ну же!..

Он уткнулся носом в ее крепкий, упругий живот, лихорадочно кусая редкими зубами шелковую повязку на поясе, крепко зажмурился, но тут же вскинул вверх потерянный, потусторонний взгляд:

— Скажи, я очень постарел? Теперь я жалок и смешон, не правда ли? Ветхий, немощный старец. А ты все такая же, как и тогда, в Александрии... О небо, как я снова хочу в Александрию! Я все бы отдал, чтобы вернуться туда, к тебе,— все! Мне шестьдесят три, я уже старше Цезаря и Антония. Старше даже Цицерона. Я вижу, как смерть подкрадывается ко мне все ближе и ближе... Передо мною пропасть, зима. Верни мне то лето, колдунья; я знаю, ты можешь,— верни! Клянусь, тогда и я верну тебе все. Что ты говоришь, я не слышу...

Из соседних помещений в коридор выскочили слуги, услышавшие стоны господина, прибежал всполошенный Масгаба, наконец, объявилась и сама Ливия. Отпущенник принял принцепса из рук мавретанской царицы, императрица набросила на его плечи плащ и обратилась к бледной, казалось бы, перепуганной Селене:

— Что он говорит?

— По-моему, бредит. У него сильный жар. Только что он бормотал мне что-то о смерти. Больше я ничего не смогла разобрать.

— Так и есть: он застудился, когда сидел вчера на ветру. Эти дурацкие похождения отнимают у него все силы. Ведет себя, как неразумный ребенок.

Женщины вошли в опочивальню следом за слугами, уложившими хозяина в постель и суетящимися вокруг него со снадобьями и настойками. Госпожа потрогала императорский лоб и выразительно цокнула языком:

— Думаю, следует послать в Путеолы за хорошими врачами. Похоже, у него не просто простуда.

Август пошевелился и приподнял одно веко:

— Ливия, где гости?

— Не беспокойся, милый. Юба и Долабелла сидят в триклинии, а Селена здесь, рядом с тобой. Тебе уже лучше?

— Странный случай,— слабо улыбнулся принцепс.— Кажется, мне что-то подмешали в питье...

— Ты думаешь?! — ужаснулась Ливия, озабоченно оглядываясь по сторонам.

— Только не надо, прошу тебя, поднимать никакого шума. Гости должны развлекаться. Ретийское... Прикажи проверить его.

— Конечно, конечно,— заторопилась императрица, кивая по пути Селене.— Милочка моя, ты побудешь пока с ним? Я сделаю, что он велит, а также пошлю в Путеолы за лекарем.

— Хорошо, мама, иди; я постерегу его, сколько нужно.

Селена присела в изголовье больного властителя ойкумены; в этот момент он вновь очнулся и схватил царицу за руку, судорожно ощупывая запястье и длинные тонкие пальцы:

— А где перстень?

— Какой перстень, отец? О чем ты говоришь?

Август откинулся на подушки в холодном поту.

— О небеса... Знать, что-то помутилось в рассудке. Знаешь, Селена, мне вдруг почудилось... Впрочем, ничего особенного. Пустяки. Ты иди, дочь моя: Юба, верно, заждался тебя. Молодые должны быть с молодыми. Что вам до стариков?

— Как ты можешь говорить так, отец?! — прильнула к нему дочь Клеопатры.— Разве я оставлю тебя в такую минуту?

От ее прикосновения по телу престарелого правителя пробежала дрожь, будто бы его окатили студеной водой; он мучительно скрючился на ложе и охватил голову руками:

— Слабительного мне...

— Вы слышите?! — крикнула Селена слугам.— Принесите слабительного!

И после того, как растерянные служители выбежали за дверь, оставив истерзанного господина один на один с мавретанской царицей, последняя заботливо укрыла его, уже впавшего в ледяное оцепенение, толстым сидонским покрывалом, сама направилась к выходу из опочивальни и лишь на самом пороге обернулась и бросила на распростертого императора победный взгляд.

Едва уловимая улыбка, подобно искре, быстро скользнула по ее устам.

1989—1993

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ[1]

Это была эпоха агонии эллинистического мира и одновременно становления Римской средиземноморской державы, эпоха кризиса Римской республики и возникновения империи, эпоха непрерывных войн и острейшей социальной борьбы, освободительных движений и восстаний рабов. В бурный поток событий вовлекались все народы Средиземноморья, исчезали древние династии, опустошались целые области, перекраивались границы, ломались старые порядки, менялись представления и идеалы. На политической арене появлялись такие выдающиеся личности, как Спартак, Помпей, Митридат Эвпатор, Цицерон, Цезарь, Август и другие, чья деятельность так или иначе влияла на ход исторического процесса.

Эллинистическими в научной литературе принято называть государства, возникшие в Восточном Средиземноморье и Передней Азии в результате распада державы Александра Македонского, включавшей в себя все земли от Южного побережья Черного и Каспийского морей и современного Ленинабада на севере до Ассуана, Персидского залива и устья Инда на юге, от Адриатического моря на западе до отрогов Гималаев на востоке. После жесточайшей полувековой борьбы между преемниками (диадохами) Александра из обломков его державы образовались несколько мелких и три крупных государства: на Балканском полуострове — государство Македония, где утвердилась династия Антигонидов, потомков Антигона Одноглазого; на территории Передней Азии — царство Селевкидов, получившее свое название от основателя династии Селевка Никатора (Победителя); и в Северо-Восточной Африке, в долине Нила — царство Птолемеев, основанное Птолемеем, сыном Лага (поэтому иногда его потомков называют Лагидами). И во время походов Александра Македонского, и в ходе войн между диадохами шло непрерыв-

[1] Из послесловия к книге А. Кравчука «Закат Птолемеев». М., 1973.

ное перемещение людских масс. На восток хлынули македоняне и греки с Балканского полуострова, островов Эгейского и Средиземного морей, из городов Малой Азии. На завоеванных территориях они приобретали привилегированное положение. С востока на запад также шел поток людей, перемещавшихся или добровольно — в качестве воинов и торговцев, или по принуждению — в качестве пленных и рабов.

Греки и македоняне, принесшие с собой в Переднюю Азию и Египет привычные для них формы развитых рабовладельческих отношений, использовали в своих интересах местные традиционные уклады, в основе которых лежала эксплуатация зависимого сельского населения. Во вновь образовавшихся государствах появлялись города с греческим полисным устройством, жители которых составляли коллектив граждан, владеющих землей и рабами, имеющих право избирать органы самоуправления и решать все вопросы внутренней жизни города (вопросы внешних сношений оставались в ведении главы государства). Многие старые восточные города также преобразовывались на полисный лад, получая, как правило, новые названия. Принесенные завоевателями обычаи и греческая (эллинская) культура (наука, право, литература, искусство и особенно религия) подвергались сильному воздействию культуры народов Востока, оказывая, в свою очередь, не меньшее влияние на местные обычаи и культуру. В результате взаимодействия и взаимовлияния во всех областях общественной жизни греческих и местных элементов постепенно выкристаллизовались новые черты социально-экономических отношений и политического устройства, новые формы культуры, одним словом, сформировалось новое, эллинистическое общество.

Как уже говорилось, основателем царства Птолемеев был один из ближайших друзей и соратников Александра, македонянин Птолемей, сын Лага, получивший позднее тронное имя Сотер (Спаситель), осторожный и дальновидный политик. Он раньше других диадохов понял неизбежность распада громадной державы и сумел не только утвердиться в Египте, но и присоединить к нему Киренаику (северо-восточная часть современной Ливии), Кипр и Келесирию (юго-восточное побережье Средиземного моря). Его сын Птолемей II Филадельф и внук Птолемей III Эвергет, продолжая ту же политику, распространили свою власть на ряд городов Малой Азии и островов Эгейского моря. В середине III в. до н. э. Египет располагал сильнейшим флотом и играл ведущую роль в системе эллинистических государств.

Вместе с ростом и укреплением царства Птолемеев росла и богатела столица государства Александрия. К середи-

не III в. до н. э. она превратилась в крупнейший торговый и культурный центр Средиземноморья. Александрия не только имела постоянные торговые связи с портами эллинистического мира, но и вела торговлю с Южной Аравией и Индией (через Красное море и канал, связывающий его с Нилом), с городами-государствами Северного Причерноморья, с Римом и Карфагеном. В созданные Птолемеями Мусейон (храм Муз) и Александрийскую библиотеку съезжались работать известнейшие греческие ученые и поэты со всего Средиземноморья, что также поднимало престиж Александрии и Птолемеев в эллинистическом мире.

Рост политического влияния царства Птолемеев был обусловлен прежде всего увеличением экономического потенциала страны. Необходимым условием благосостояния Египта всегда было хорошее состояние оросительной системы. Уже при Птолемее Сотере начинаются продолжавшиеся несколько десятилетий широкие ирригационные работы в Фаюмском оазисе, целью которых было увеличение площади орошаемых земель и регулирование стока воды в нижнем течении Нила. Наряду с улучшением орошения греки вводят новые сельскохозяйственные культуры (виноград, оливки), завозят новые породы скота, осваивают новые виды ремесел. Соединение технических достижений и трудовых навыков местного и пришлого населения, греческой предприимчивости и египетского трудолюбия привело к повышению производительности всех отраслей сельского хозяйства и ремесла. Но выгоду от этого получала преимущественно царская казна.

Первые Птолемеи, Сотер и Филадельф, оба талантливые администраторы, создали, используя традиционные египетские формы организации хозяйства и опыт финансовой деятельности в греческом мире, стройную систему государственного хозяйства, позволявшую извлекать огромные доходы с помощью чиновничьего аппарата, откупов и монополий, находившихся под строгим контролем центральной власти.

С подъемом экономики росли доходы казны, но увеличивались также налоги и повинности «царских земледельцев», обрабатывавших царские и «уступленные» земли, т. е. земли, отданные царем храмам, знати, клерухам (воинам, получавшим вместо жалованья земельный участок — клер). По мере увеличения расходов на военные предприятия и содержание царского двора нарушилась разумная пропорция между производительностью земли и размером налогов, трудящееся население Египта начало беднеть и разоряться. Это стало отчетливо заметно уже к концу III в. до н. э. Внешние политические трудности (четвертая война с царством Селевкидов из-за Келесирии) осложнили обстановку и привели к перво-

му крупному социальному движению внутри Египта, длившемуся в Дельте несколько лет, а на юге, в Фиваиде,— два-три десятилетия. Насколько позволяют судить источники, движение было направлено не только против династии Птолемеев (в Фиваиде появились местные династы), но и против «эллинов» вообще, т. е. против зажиточных и обладающих теми или иными привилегиями слоев греческого или смешанного греко-египетского населения и эллинизировавшихся египтян, а местами даже против египетского жречества, поддерживавшего правящую династию.

Взрыв социальной борьбы в стране обострил противоречия в придворных кругах. Среди знати существовали по крайней мере две влиятельные группировки. Одна из них была связана с богатыми торгово-ремесленными кругами Александрии и искала поддержки среди населения столицы. Другая же представляла интересы верхов царской администрации в хоре (внутри страны) и блокировалась с египетским жречеством. Слабовольный Птолемей IV Филопатор, а затем малолетний Птолемей V Эпифан становились пешками в руках той или иной придворной клики.

Внутренние осложнения повлекли за собой потерю Египтом внешнеполитического влияния. Македония и Селевкиды постепенно присвоили все владения Птолемеев в Малой Азии и в Эгейском море.

В конце III — начале II в. до н. э. произошли важные изменения на международной арене. В Западном Средиземноморье Римская республика, разгромив Карфаген, соперничавший с ней в борьбе за подчинение Сицилии и Испании, выросла в крупную державу. В начале II в. до н. э. Рим делает первые шаги в распространении своей гегемонии в Восточном Средиземноморье. Используя противоречия между греческими полисами и Македонией, широко применяя политическую демагогию, в частности лозунг «свободы», популярный среди демократических слоев Греции, Рим нанес серьезное поражение Македонии и превратил «освобожденные» им греческие полисы в базу для дальнейшей экспансии (в некоторые полисы, наиболее важные в стратегическом отношении, Рим ввел свои гарнизоны).

Главным противником Рима в Восточном Средиземноморье становится царство Селевкидов, где в это время правил энергичный и умный политик Антиох III, сумевший упрочить свою власть на всей обширной территории царства вплоть до восточных сатрапий. Антиох понял опасность проникновения римлян на Балканский полуостров и в конце 90-х годов II в. сделал попытку вытеснить их оттуда, но не рассчитал своих сил и не нашел поддержки ни в Греции, ни в Египте. Птоле-

мей V Эпифан, незадолго до этого вступивший в брак с дочерью Антиоха Клеопатрой, придерживался тем не менее проримской ориентации. Во время так называемой Сирийской войны (192—188 гг.) римляне нанесли решительное поражение Антиоху, он был вынужден уплатить огромную контрибуцию и отказаться от активной внешней политики.

Разгромив царство Селевкидов, Рим предпринял новую войну с Македонией, в результате которой окончательно подчинил и Македонию и Грецию (168 г. до н. э.). Таким образом, к середине II в. до н. э. Рим приобрел в Восточном Средиземноморье решающее политическое влияние, с ним должны были считаться все эллинистические государства.

Вместе с политическим влиянием усилилось проникновение на Восток римских торговцев и ростовщиков, что не могло не отразиться на александрийской торговле. И очевидно, вопросы внешнеполитической ориентации играли не последнюю роль в ожесточенной династической борьбе, потрясавшей Египет на протяжении всего II в. до н. э.

Социально-экономическая обстановка в Египте в начале II в. резко ухудшилась. В результате длительной войны с повстанцами внутри Египта (в Фиваиде движение было подавлено лишь в 186 г. до н. э.), нередко сопровождавшейся разрушениями оросительной системы, бегством или уводом населения, всюду появилось большое количество заброшенной земли, доходы казны упали. Правительство предписывало чиновникам принудительно привлекать оставшихся жителей к обработке пустующих земель и взыскивать с них налоги со всей площади, приписанной к их коме (деревне), но эти меры лишь увеличивали бегство земледельцев и ремесленников из сельских поселений. В отдельных районах вновь вспыхнули восстания.

Внутренние и внешние трудности привели к открытым столкновениям между разными группировками правящего класса. Они вылились в серию династических войн, сначала между сыновьями Птолемея Эпифана — Птолемеем VI и Птолемеем VIII[1], прозванным александрийцами Фисконом (Пузаном, Толстопузым), а затем между Фисконом и его сестрой и женой Клеопатрой II. Время от времени воюющие стороны заключали перемирие и издавали так называемые декреты человеколюбия (в которых провозглашали амнистии и освобождение от недоимок для простого люда, льготы и гарантии привилегированным слоям), а затем война вспыхивала с новой силой. Некоторые из этих декретов сохранились и достаточно ярко рисуют беззаконие и произвол, царившие в стра-

[1] Все цари из династии Лагидов, независимо от их личного имени, при вступлении на трон получали имя Птолемей.

не. После смерти Фискона, завещавшего Египет своей второй жене — Клеопатре III, а Киренаику — побочному сыну Апиону, борьба продолжалась между Клеопатрой III и ее сыновьями Птолемеем IX и Птолемеем X Александром.

Дошедшие до нас источники не всегда позволяют проследить, какие именно слои поддерживали того или иного царя (или царицу), но достаточно определенно можно установить, что население Александрии играло очень важную роль в политической борьбе и не раз противопоставляло своих ставленников царям, опиравшимся на армию и чиновников внутри страны.

Находясь в состоянии непрерывных смут и внутренних междоусобиц, Египет тем не менее продолжал сохранять свою самостоятельность и даже оказался в начале I в. до н. э. единственным сравнительно богатым и сильным эллинистическим государством. Объяснение этому нужно искать в международных событиях конца II — начала I в. до н. э.

После разгрома Македонии Рим не мог сразу приступить к дальнейшим завоеваниям на Востоке. В тылу у него продолжал существовать Карфаген хотя и ослабленный, но сохранивший самостоятельность. Лишь в 146 г. в результате Третьей Пунической войны он был наконец уничтожен. Не было устойчивого положения и в недавно завоеванных районах. Восстания в Испании (154 г.), Македонии (149—146 гг.), Греции (146 г.) и снова в Испании (138—133 гг.) следовали одно за другим. Ухудшилась обстановка и внутри самой Римской Республики.

Превращение Рима из небольшого италийского государства, каким он был в начале III в. до н. э., в крупнейшую средиземноморскую державу привело к существенным изменениям в его социальной структуре. Усилилась имущественная дифференциация: знать (нобили) богатела, скупала земли и рабов, занималась откупными и ростовщическими операциями во вновь завоеванных провинциях, а среди рядовых граждан все больше появлялось бедняков и малоземельных или даже безземельных крестьян. Еще более тяжелым было положение италиков, не имевших гражданских прав. В результате возникли острейшие социальные конфликты: восстания рабов на Сицилии (138—132, 104—101 гг.) и в Италии (восстание Спартака 74—71 гг.), длительная борьба за аграрные реформы (реформы Гракхов 133—122 гг. и другие законопроекты), войны за политические права италиков (90—88 гг.).

Напряженная социальная борьба обнаружила неспособность старых, республиканских органов власти обеспечить в новых условиях устойчивое политическое господство нобили-

тета. Разорение крестьян уже в конце II в. заставило Рим перейти от гражданского ополчения к наемной армии. Эта армия в руках политических деятелей превратилась в орудие, с помощью которого они пытались установить новый государственный строй, ограничивающий или целиком исключающий традиционные демократические порядки. Первой такой попыткой была диктатура Суллы, положившая начало полувековой эпохе гражданских войн, закончившихся установлением империи.

В конце II в. римляне, опутав дипломатическими и ростовщическими операциями пергамского царя Аттала III, вынудили его завещать свое царство Риму. Вспыхнувшее после смерти Аттала восстание (132—130 гг.) они подавили и превратили Пергам в провинцию — Азию. Такие же методы они применили затем в Киренаике и Вифинии. Деятельность римских дельцов, разорявших и порабощавших местное население Малой Азии, вызвала волну освободительного движения, которое вылилось в войны с Римом понтийского царя Митридата VI Эвпатора (89—64 гг. до н. э.), стоившие Риму большого напряжения сил. Только справившись с Митридатом, Рим смог продолжить завоевание Малой Азии и царства Селевкидов, которое к тому времени почти полностью распалось: бóльшая часть его территории перешла под власть Парфии и Армении. В 64 г. до н. э. римляне подчинили Сирию и почти вплотную подошли к границам Египта.

Однако вторгнуться в Египет они еще не решились: Египет и Александрия обладали достаточно большими экономическими и людскими ресурсами, чтобы оказать упорное сопротивление и тем самым возродить антиримские настроения в только что завоеванных районах. Последующие события Александрийской войны подтвердили эти опасения: лишь с большим трудом Цезарю удалось уйти из Египта без поражения. Сохранение за Клеопатрой политической самостоятельности — отнюдь не галантный жест Цезаря, а признание того факта, что раздираемый гражданской войной Рим еще не располагал силами, чтобы подчинить Египет, и в первую очередь Александрию. Лишь последовавшее за тем включение на союзных началах Египта и Александрии в систему контролируемых Антонием римских провинций, оказавшееся, по-видимому, для александрийцев достаточно выгодным, примирило их с необходимостью подчиниться Риму, и потому вступление войск Августа в Египет не вызвало никакого сопротивления со стороны населения Александрии.

А. Павловская

ХРОНИКА КЛЕОПАТРЫ VII ФИЛОПАТОРЫ

(Все даты до новой эры)

80—51 гг. Правление в Египте Птолемея XII Авлета (с перерывом в 58—55 гг.).

Ок. 75 г. Рождение старшей дочери Птолемея XII — Клеопатры Трифены (ум. 56 г.).

Ок. 73 г. Рождение второй дочери — Береники.

69 г. Декабрь. Рождение третьей дочери — Клеопатры Филопаторы.

Ок. 65 г. Рождение четвертой дочери — Арсинои.

Ок. 61 г. Рождение старшего сына, будущего Птолемея XIII.

Ок. 58 г. Рождение младшего сына, будущего Птолемея XIV.

58 г. Лето. Бегство Птолемея XII Авлета из Александрии. Он посещает остров Кипр, затем направляется в Рим, получает поддержку от Помпея.

56 г. Восстание александрийцев и провозглашение Береники царицей Египта. Ее брак с Селевком-«Селедочником», затем с сирийским царевичем Архелаем.

55 г. Март. Птолемей XII возвращается в Александрию с войском римского наместника Сирии Авла Габиния. Казнь Береники и Архелая. Марк Антоний — начальник конницы у Габиния.

51 г. Март. Смерть Птолемея XII. Начало совместного правления Клеопатры VII Филопаторы и ее брата Птолемея XIII.

49 г. Январь. Начало гражданской войны в Риме между сторонниками Помпея Великого и Юлия Цезаря.

Лето. Старший сын Помпея Великого, Гней, прибывает в Александрию за воинскими пополнениями. Его роман с Клеопатрой.

48 г. Лето. Клеопатра изгнана из Александрии Потином, Теодотом и Ахиллой, временщиками при Птолемее XIII. Она собирает в Палестине войска и вступает в войну с братом.

9 августа. Сражение при Фарсале в Македонии. Разгром Цезарем Помпея. Бегство Помпея в Египет.

28 сентября. Убийство Помпея в Пелусии по приказу Потина.

1 октября. Цезарь прибывает в Александрию. Клеопатра тайно проникает к нему во дворец. Цезарь выступает третейским судьей между Клеопатрой и Птолемеем XIII. Александрийцы восстают против Цезаря.

Ноябрь. Александрийцы провозглашают младшую сестру Клеопатры, Арсиною IV, царицей Египта совместно с Птолемеем XIII.

47 г. 27 марта. Сражение при Ниле, гибель Птолемея XIII. Пленение Арсинои римлянами. Цезарь провозглашает царями Египта Клеопатру VII и ее младшего брата Птолемея XIV.

Апрель — июнь. Путешествие Цезаря и Клеопатры по Нилу. Цезарь покидает Египет.

23 июня. Рождение первенца Клеопатры, Птолемея XV Цезаря (Цезариона).

Лето. Марк Антоний вступает в третий брак — с Фульвией.

46 г. **Июль.** Арсиноя IV проведена в триумфе Цезаря в Риме.
Август. Клеопатра вместе с братом, Птолемеем XIV, и сыном, Птолемеем Цезарем, прибывает в Рим.
Сентябрь. При освящении храма Венеры Прародительницы в Риме Цезарь выставляет золотую статую Клеопатры наряду с изваниями богов.
Декабрь. Цезарь отправляется в Испанию на войну с сыновьями Помпея Великого. Развод Публия Корнелия Долабеллы с Туллией, дочерью Цицерона. Клеопатра проживает в садах Цезаря за Тибром.

45 г. **Январь.** Смерть Туллии при родах.
17 марта. Победа Цезаря над сыновьями Помпея в Испании.
Октябрь. Цезарь возвращается в Рим, пишет завещание в Лабиканском поместье.

44 г. **15 марта.** Убийство Цезаря заговорщиками во главе с Брутом и Кассием.
Апрель. Клеопатра покидает Италию и возвращается в Египет.
29 июля. Последний документ в Египте с именем Птолемея XIV, после чего рядом с Клеопатрой упоминается в качестве царя ее сын Птолемей XV Цезарь.

43 г. **Июль.** Гибель Публия Долабеллы в Лаодикее (Сирия).
28 ноября. Учреждение в Риме второго триумвирата сроком на пять лет в составе Антония, Лепида и Октавиана.
7 декабря. Убийство Цицерона по приказу триумвиров.

42 г. **Осень.** Неурожай и голод в Египте.
Октябрь — ноябрь. Разгром республиканцев Брута и Кассия при Филиппах (Македония) цезарианцами Антонием и Октавианом.

41 г. **Октябрь.** Встреча Клеопатры с Антонием в Тарсе (Киликия).

41—40 гг. **Зима.** Антоний в качестве частного лица гостит у Клеопатры в Александрии; «Союз неподражаемых». Нашествие парфян. Бегство Ирода из Иудеи в Рим. Жена Антония, Фульвия, и его брат, Луций Антоний, восстают против Октавиана; Перузинская война.

40 г. **Февраль.** Антоний покидает Александрию.
Июнь. Рождение Клеопатрой близнецов Александра Гелиоса и Клеопатры Селены.
Сентябрь. Смерть Фульвии, жены Антония.
Октябрь. Соглашение Антония и Октавиана в Брундизии (Италия). Брак Антония с Октавией, сестрой Октавиана.
Ноябрь. Ирод в Риме провозглашен царем Иудеи.

39—38 гг. Антоний и Октавия зимуют в Афинах.

38 г. **Январь.** Брак Октавиана с Ливией Друзиллой.
9 июня. Битва при Гиндаре (Сирия); римляне разбивают парфянскую армию.

37 г. **Март.** Последняя встреча Антония с Октавианом в Таренте. Продление срока триумвирата. Антоний отбывает на Восток, Октавия остается в Риме.
Июль. Ирод с помощью римлян занимает Иерусалим.
Октябрь. Свидание Антония с Клеопатрой в Антиохии Сирийской. Заключение между ними «священного брака».

36 г. **Май — октябрь.** Неудачный поход Антония в Парфию.

Лето. Рождение Клеопатрой сына, Птолемея Филадельфа. Посещение Клеопатрой Ирода в Иерусалиме.

Сентябрь. Победа Октавиана над Секстом Помпеем на Сицилии. Отстранение от власти Лепида.

35 г. Захват Антонием Армении и пленение ее царя Артавазда II.

34 г. Триумф Антония в Александрии над Артаваздом II. Клеопатра провозглашена царицей царей, их дети получают обширные земельные пожалования.

33—32 гг. Антоний и Клеопатра зимуют в Эфесе (Малая Азия).

32 г. **Апрель.** Антоний и Клеопатра переезжают на остров Самос.

Май. Октавиан в Риме вскрывает и оглашает завещание Антония, в котором тот просит похоронить его в Александрии.

Июнь. Антоний под давлением Клеопатры посылает официальный развод Октавии.

Осень. Италия присягает на верность Октавиану. Начало войны между Антонием и Октавианом.

32—31 гг. Антоний и Клеопатра зимуют в Патрах (Пелопоннес).

31 г. **2 сентября.** Морское сражение у мыса Акций. Бегство Антония и Клеопатры. Октавиан занимает Грецию.

Декабрь. Антоний и Клеопатра учреждают в Александрии «Союз смертников».

30 г. **Январь.** Мятеж в Брундизии, Октавиан возвращается в Италию.

Июнь — июль. Октавиан из Сирии наступает на Египет.

1 августа. Октавиан вступает в Александрию. Самоубийство Антония. Пленение Клеопатры.

12 августа. Самоубийство Клеопатры.

30 августа. Казнь Октавианом Птолемея XV Цезаря.

Б. Деревенский

АНТИЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КЛЕОПАТРЫ

Несмотря на то что изображения последней царицы Египта в свое время, несомненно, изобиловали в Александрии, на Востоке и даже в Риме, до наших дней, за исключением стилизованного египетского рельефа в Дендере, не сохранилось **ни одного** (!) достоверного скульптурного портрета Клеопатры[1]. Обстоятельство это на первый взгляд кажется невероятным, особенно на фоне бесчисленных статуй и бюстов Цезаря, Августа и других известных политических деятелей того времени.

Впрочем, исчезновение портретов Клеопатры становится вполне объяснимым, если учесть планомерное истребление партией Октавиана любых изображений прославленной противницы Рима. Специальное упоминание Плутархом (Ant., 86) особой милости, проявленной Октавианом в Александрии к памятникам поверженной царицы, показывает как раз то, что подобный случай был исключением из правил.

Борьба с памятью о Клеопатре, по счастью, не коснулась настенного рельефа в храме Хатор в Дендере (Верхний Египет), где в годы Клеопатры производилось обширное монументальное строительство. Египетская царица изображена на рельефе в образе богини Исиды, с каковою и отождествляла себя, — в солнечной короне, обрамленной коровьими рогами. Иероглифы в картуше передают ее имя на египетский манер: «Клиупадра». Традиционное изображение царицы в древнем фараоновском стиле совершенно лишено индивидуальных черт. В точно таком же обличье предстают с рельефов египетские правительницы, жившие за две тысячи лет до Клеопатры. У всех одинаковое, стилизованное лицо, фигуры повернуты боком, в вытянутой руке посох, тело плотно облегает калазирис (египетское платье), оставляющий открытыми плечи и груди. Судить по такому рельефу о подлинном облике Клеопатры совершенно невозможно.

Гораздо больше могут рассказать монетные изображения, которые, что особенно важно, выполнены при жизни последней египетской царицы. Эллинистических и римских монет, где фигурирует профиль Клеопатры с соответствующей легендой, сохранилось немало.

На медной монете, выпущенной в Александрии около 35 г. до н. э. в традиционном стиле птолемеевской чеканки, на

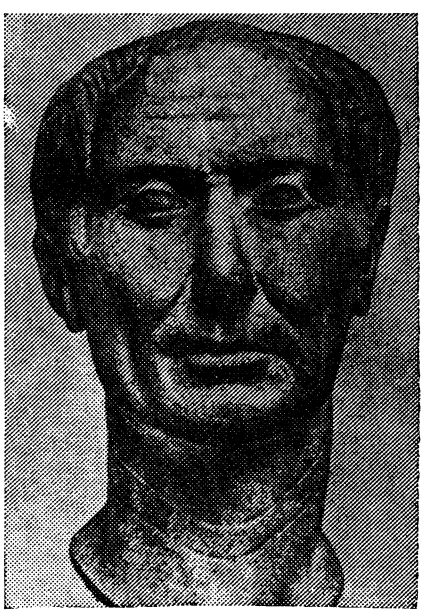
[1] Достоверность в данном случае может определять надпись на скульптуре, исключающая разночтение.

Клеопатра Филопатора. Рельеф в храме Хатхор в Дендере (Египет). Середина I в. до н. э.

Клеопатра Филопатора. Мраморная статуя I в. до н. э. Рим, Ватиканский музей.

Клеопатра, царица царей. Изображение на римском денарии 34 г. до н. э.

Клеопатра Филопатора. Известняк. Ок. I в. до н. э. Лондон, Британский музей.



Юлий Цезарь. Мраморная голова, найденная в Тускуле; по-видимому, прижизненный портрет. Турин.

Марк Антоний. Мрамор. I в. до н. э. Рим, Ватиканский музей.

Император Цезарь, сын Божественного (Октавиан). Мраморная статуя. Начало I в. н. э. Рим, Национальный музей.

Император Цезарь Август (Октавиан). Мраморная статуя из Прима-Порта. Начало I в. н. э. Рим, Ватиканский музей.

Октавия, сестра императора Цезаря Августа. Базальтовый бюст конца I в. н. э. Париж. Лувр.

Ливия Друзилла, жена императора Цезаря Августа. Мрамор. Конец I в. до н. э. Копенгаген, Глиптотека.

Юба Мавретанский. Мрамор. Париж. Лувр.

аверсе представлена женская голова в царской диадеме; реверс под изображением орла — герба Птолемеев — представляет легенду: ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ — «Царица Клеопатра» (3. Табл. III, № 6).

Денарий Марка Антония, выпущенный годом позже по случаю завоевания Армении и провозглашения Клеопатры «царицей царей», содержит на аверсе профиль самого триумвира, на реверсе — профиль Клеопатры с круговой латинской надписью: CLEOPATRAE REGINAE REGVM FILIORVM REGVM — «Клеопатра, царица царей, дочь царя» (3. Табл. III, № 7; 4. С. 151; 6. С. 140).

Известны многочисленные вариации данных чеканов, как греческого, так и латинского. В целом все монетные изображения Клеопатры сводятся к одному из указанных типов.

Античные монетарии I в. до н. э. достигли высокого качества чеканки портретов. Тщательная прорисовка мельчайших деталей внешнего облика изображаемых, особенностей лица позволяет безошибочно узнавать профили известных деятелей, царей и правителей. Монетные изображения Клеопатры, бесспорно, также весьма близки к оригиналу.

Но то, что мы видим на монетах, отличается резким несоответствием историческому образу прославленной египтянки, тому, какой складывался в обществе на протяжении двух тысячелетий под воздействием вдохновенных поэтов и живописцев. Вместо обольстительной красавицы нам предстает полная женщина с волевым, мужественным лицом, глубоко посаженными глазами, заостренным изогнутым носом и выпяченным подбородком. Основываясь на монетных изображениях, современный немецкий биограф Клеопатры Г. Бенгтсон находит ее лицо «скорее характерным, чем красивым, свидетельствующим о силе и решимости» (2. С. 388). Становится объяснимым поначалу несколько шокирующий эпитет, которым Гораций наградил в свое время поверженную супругу Антония: fatale monstrum — «чудовище судьбы» (Hor., Carm., 1,37).

«Красота этой женщины не была тою, что зовется несравненною и поражает с первого взгляда,— писал Плутарх,— зато обращение ее отличалось неотразимой прелестью, и потому ее облик, сочетавшийся с редкою убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу (по-гречески буквально: оставлял свое жало.— *Авт.*)» (Plut., Ant., 27).

Нумизматический материал служит основой для идентификации сохранившихся скульптурных портретов. Весьма схожа с профилем на денариях известняковая женская голова (вероятно, часть несохранившейся статуи), находящаяся в Британском музее. Тот же нос с горбинкой, волевой подбо-

родок, характерный очерк губ, убранные на затылок волосы с несколькими спадающими на шею винтообразными локонами. Отсутствует лишь диадема — непременный атрибут эллинистических царей. Последнее обстоятельство способно посеять некоторые сомнения относительно личности изображенной женщины. К тому же изваяния царей чаще всего выполняли в мраморе или в бронзе. Принятая идентификация сохраняет силу при условии, что известняковая статуя царицы украшала не дворец или какое-либо общественное здание, но находилась в ведении отдельного семейства со средним достатком. Подобные копии известных изображений, выполненные из более дешевого материала, имелись в частных домах в изобилии. Очевидно, и здесь мы имеем дело с копией более ранней мраморной или бронзовой статуи.

Мраморная статуя, обнаруженная в 1933 г. в Ватикане Л. Курциусом, представляет женщину в греческом пеплосе, длинной, до пят, юбке и накидке сверху, с поднятой левой рукой, в которой зажат свиток. Собранные на затылок в пучок волосы стягивает диадема, указывающая на царское достоинство. Перед нами не просто женщина, но политический деятель, обращающийся с речью к внимающей аудитории. Крупные мужские черты лица изваяния ассоциируются с монетными профилями Клеопатры. Герман Хафнер определяет статую как изображение прославленной египетской царицы, выставленное в Риме по приказу Юлия Цезаря (4. С. 151). Ганс Опперманн же, публикуя этот портрет в своей книге, ставит знак вопроса (6. С. 140).

Кажется маловероятным, чтобы статуи Клеопатры, столь ожесточенно истребляемые в Египте, могли бы сохраниться в самом Риме. В то же время, несмотря на печальную участь, постигшую портреты Помпея, Брута и Антония, мы имеем немалое количество их уцелевших изваяний. Нельзя отрицать, что подобное могло произойти и с памятниками Клеопатре.

Стиль и техника изготовления ватиканской статуи определенно указывают на позднереспубликанский период римской истории, характерной особенностью которого был сугубый реализм в изображении конкретного человека. Скульптуры этого времени не скрывают одутловатостей лица Помпея Великого, впалые щеки и преждевременные залысины Юлия Цезаря, тучность Марка Антония. С наступлением принципата реализм сменяется подчеркнутым официозом, заметным особенно на портретах императора Августа, который до конца своей долгой жизни и много позже изображался в образе молодого человека и могучего воителя. То, что ватиканская статуя по духу ближе к прижизненным скульптурам Помпея и

Цезаря, свидетельствует в пользу указанной датировки. С большой долей вероятности можно говорить, что мы видим портрет царственной подруги Цезаря, гостившей у него в Риме в 46—44 гг. до н. э.

Среднее положение между монетными профилями и скульптурными портретами занимают изображения на геммах и камеях. Черты Клеопатры находят в профиле женщины на александрийской камее конца I в. до н. э. (1. С. 43, № 16). Голову царицы украшает лавровый венок; винтообразные локоны, обрамляющие лицо начиная со лба, напоминают портреты предыдущих египетских цариц из династии Птолемеев. Здесь же прослеживается та же стилизация под образ богини Исиды. В подобной же технике, которую, вероятно, занесли в Рим александрийские камнерезы, немногим позже изготавливались камеи с профилями римских императриц, в частности Агриппины Младшей (1. С. 69, № 88).

На этом разговор об античных изображениях Клеопатры можно было бы закончить, если бы в отдельных изданиях, посвященных прославленной царице, не фигурировали иные античные изваяния, выдаваемые за портрет египтянки.

Фронтиспис известной монографии Дж. Линдсея (5) украшает иллюстрация мраморной женской головы в покрывале, найденной при раскопках на месте древней Мавретании. Однако даже при очень большом желании указанную скульптуру нельзя идентифицировать как изображение Клеопатры. Правильные пропорции лица, прямой нос мавретанской головы находятся в резком противоречии с достоверными монетными профилями египетской царицы. Ни на одной монете у Клеопатры нет и такой прически — волосы, накрученные мелкими колечками. Скульптуру из Мавретании нельзя идентифицировать даже как изображение дочери Клеопатры, Селены, правившей в этой стране на рубеже нашей эры. Монетные профили Селены также лишены столь отличительной прически.

Цитируемая и справочная литература (за исключением источников)

1. Античные камеи в собрании Эрмитажа. Каталог. Л., 1988.

2. *Бенгтсон Г.* Правители эпохи эллинизма. Клеопатра. М., 1982.

3. *Машкин Н. А.* Принципат Августа. М.— Л., 1949. Таблицы.

4. *Хафнер Г.* Выдающиеся портреты античности. М., 1984.

5. *Lindsey J.* Cleopatra. N-Y., 1971.

6. *Oppermann H.* Julius Caesar. Hamburg, 1968.

Б. Деревенский

ЖЕНЩИНЫ В СУДЬБЕ МАРКА АНТОНИЯ

1. Первые жены и любовницы

С именем Марка Антония в античной истории связано окончательное падение республики в Риме. В I веке до н. э. она переживала острейший политический кризис. Коррупция олигархии, военные заговоры, гражданские войны потрясли все римское общество до основания. Непрекращающаяся борьба различных партий привела сначала к установлению военной диктатуры Цезаря, а затем к власти троих: Антония, Октавиана и Лепида. Борьба внутри триумвирата закончилась установлением господства одного — Октавиана Августа.

Это была эпоха авторитарных правителей, когда государство и общество зависели от произвола отдельных лиц, стяжавших непомерную власть. Причем сама личность властителя, его образ жизни, привычки, пристрастия приобрели исключительное значение. Этим объясняется пристальное внимание античных авторов к частной жизни политических деятелей конца республики и особенно к их семейным и любовным связям.

Марк Антоний в этом отношении побил многие рекорды выдающихся правителей-сластолюбцев, хотя его многочисленные любовные похождения не были криминалом для нравов тогдашнего римского общества. Социальные катаклизмы подорвали былую крепость римской семьи. Обилие любовниц, постоянная смена жен и мужей давно стали нормой светской жизни. В обычную практику вошли неравные браки, браки по политическим или финансовым расчетам. Даже стоический Катон сменил трех жен, а благоразумный и осторожный Цицерон под занавес развелся со своей супругой, с которой прожил тридцать лет, и женился на молоденькой девушке, чем вызвал в Риме настоящую сенсацию. И Катон, и Цицерон олицетворяли старый, добропорядочный Рим. Что же говорить о новой, молодой знати, воспитанной в духе самого беззастенчивого разврата?

С ранней молодости Антоний снискал в Риме славу разбитного повесы и непревзойденного мота. Блестящие внешние данные способствовали его огромному успеху у женщин. Античные авторы хором расписывают его красоту и статность. «Он обладал красивой и представительной внешностью. Отличной формы борода, широкий лоб, нос с горбинкой сообща-

ли Антонию мужественный вид и некоторое сходство с Гераклом, каким его изображают художники и ваятели. Существовало даже древнее предание, будто Антонии ведут свой род от сына Геракла — Антона. Это предание... он старался подкрепить и своею одеждой: всякий раз, когда ему предстояло появиться перед большим скоплением народа, он опоясывал тунику у самых бедер, к поясу пристегивал длинный меч и закутывался в тяжелый военный плащ. ...Щедрость Антония, широта, с которой он одаривал воинов и друзей, сперва открыли ему блестящий путь к власти, а затем, когда он уже возвысился, неизменно увеличивали его могущество, несмотря на бесчисленные промахи и заблуждения, которые подрывали его могущество и даже грозили опрокинуть».

Восторженное эссе Плутарха, написанное задним числом, с лихвой покрывают нелестные отзывы и даже брань политических соперников Антония. Цицерон щедро награждает его женскими эпитетами: «Как Елена для троянцев, так Марк Антоний для нашего государства стал причиной войны, мора, гибели». Постоянно указывается на неумеренное пьянство, хвастовство, сумасбродство, пошлые шутки и грубоватые привычки «римской Елены». Даже Юлий Цезарь, благодаря которому Антоний совершил головокружительную карьеру, часто подтрунивал над его роскошеством и изнеженностью. Как-то, получив донос, что Антоний замышляет мятеж, он презрительно отмахнулся: «Я не особенно боюсь изнеженных толстяков, а боюсь бледных и тощих».

Изучив прижизненные изображения Антония на геммах, хранящихся ныне в Эрмитаже, О. Неверов нашел подтверждение историческим характеристикам: «Марк Антоний портретирован, видимо, италийским резчиком: смелыми, лаконичными врезами передает мастер глаза, словно вылезающие из орбит, уверенно и нагловато ухмыляющиеся губы, мясистый подбородок триумвира. Безудержное своеволие, беззастенчивость и цинизм, пугавшие Рим, подчеркнуты в этом портрете». Подобный образ являют и сохранившиеся до наших дней скульптурные изображения Антония. Мраморный бюст, находящийся во Флоренции, в галерее Уффици, передает все те же крупные, мясистые черты лица, прорезанного глубокими, несколько ироничными складками у рта. Зато мюнхенская мраморная голова Антония со скошенным носом поражает своим холодным, решительным выражением. В первом случае доминирует салонный аристократ, во втором — суровый военачальник. Глядя на мюнхенскую голову, трудно заподозрить, что ее мужественный оригинал в жизни часто оказывался послушной игрушкой в опытных женских руках.

Личная жизнь Антония с самого начала привлекала все-

общее внимание своей вызывающей скандальностью. С ростом политического веса Антония в государстве его любовные связи все более влияли на ход событий. Окружавшие его женщины, используя патрона, активно вмешивались в государственные дела. Брак Антония с Клеопатрой и преступная, с точки зрения римлян, страсть италийского вождя к египетской царице, мечтавшей подчинить Рим, — только заключительный акт в длинной череде амурных историй.

Источники пестрят интригующими деталями любовных приключений Антония. Благодушное замечание Плутарха, что в амурах Антония «не было ничего отталкивающего... он охотно помогал другим в подобных делах и нисколько не сердился, когда посмеивались над его собственными похождениями», тонет в море язвительных уколов и горьких попреков, сопровождавших каждый шаг прожженного ловеласа. Дело даже не в том, что Антоний был падок до женщин — мораль не видела в этом ничего предосудительного,— а в том, что низменная похоть властвовала над ним, зачастую парализуя разум и волю.

По общему мнению, Антонием всегда управляли женщины, причем нередко низкого сорта. Многие склонны искать причину такой необыкновенной податливости слабому полу в различных психических отклонениях. Современники часто обвиняли Антония в гомосексуализме. Нынешние сексопатологи считают, что Антоний был сильно выраженным мазохистом. В подтверждение этому приводится тот факт, что гордый римлянин дал Клеопатре заковать себя в кандалы. Тем же мазохизмом объясняются и другие известные примеры «немужского» поведения Антония: на каком-то пиру он растирал царице ноги, когда греческий обычай требовал того от жены и служанки. Гораций прямо называет триумвира евнухом нильской владычицы.

Ниже мы попытаемся объективно взглянуть на эти, на первый взгляд патологические, рецидивы, отделяя зерна от плевел, а пока вернемся к началу интимной биографии Антония.

Обычно отпрыски аристократических фамилий приобщались к половой жизни в юном возрасте; к их услугам были домашние рабыни и служанки, а также уличные гетеры, которыми был нашпигован позднереспубликанский Рим. Дурной пример подавал сыну Антоний-отец, с успехом проматывавший состояние на бесконечных пирушках. Отчим Марка, катилинарий Лентул Сура, даже исключался из сената за распутное поведение.

Юный Антоний постигал любовную науку в компании своего старшего, более опытного дружка Гая Скрибония Куриона. Последний, несмотря на принадлежность к старинной

сенаторской семье, прославился как плебейский вожак, экзальтированный оратор и выдающийся демагог. Вначале яростный противник партии Цезаря, Курион в конце концов сделался самым горячим сторонником рвущегося к власти наместника Галлии.

«Антоний в юности был необычайно красив,— сообщает Плутарх,— и поэтому с ним не замедлил сблизиться Курион, чья дружба оказалась для молодого человека настоящей язвой, чумой. Курион и сам не знал удержу в наслаждениях и Антония, чтобы покрепче прибрать его к рукам, приучил к попойкам, распутству и чудовищному мотовству, так что вскорости на нем повис огромный, не по летам, долг — двести пятьдесят талантов. На всю эту сумму за друга поручился Курион, и когда о поступке сына узнал Курион-отец, он запретил Антонию переступать порог его дома».

Обращаясь к Антонию во второй филиппике, Цицерон втискивает его отношения с Курионом в более уничижительную схему: «...ты надел мужскую тогу, которую ты тотчас же сменил на женскую. Сначала ты был шлюхой, доступной всем; плата за позор была определенно не малой, но вскоре вмешался Курион, который отвлек тебя от ремесла шлюхи и — словно надел на тебя столу — вступил с тобой в постоянный и прочный брак... Сколько раз его отец выгонял тебя из своего дома! Сколько раз ставил он сторожей...»

Обвинение в сексуальной испорченности — избитое орудие в политической борьбе той эпохи. В свое время кинедом изображали даже Юлия Цезаря. Не избежали подобных обвинений ни Сулла, ни Цицерон, ни Октавиан Август. Поэтому, несмотря на чрезвычайное распространение в римском быту гомосексуализма, разного рода половых извращений, к столь характерным нападкам на государственных мужей следует относиться с известной долей осторожности.

Хотя Курион щедро ручался за друга, на Антонии попрежнему висели огромные долги. Спасаясь от кредиторов, он уехал в Грецию изучать красноречие, но это была лишь временная оттяжка. Следовало найти выход из финансового тупика. Может быть, не без помощи и советов Куриона он решается на брак по расчету. Взгляд молодого повесы падает на состояние богатого вольноотпущенника Квинта Фадия Галла (иногда его называют Гаем). Антоний просит руки его дочери. К всеобщему удивлению, потомственный аристократ не брезгует породниться с домом бывшего раба. Правда, никто не сомневался, что Антонием движут финансовые интересы. Квинт Фадий отвечает согласием и дает за дочерью большое приданое.

Взяв в жены дочь вольноотпущенника, Антоний сильно

уронил себя в глазах аристократии, но смог хотя бы частично рассчитаться с кредиторами. Впрочем, это оказалось нелегко. Живя на широкую ногу, Антоний быстро влез в еще более обременительные долги. Очень скоро непопулярный брак с Фадией стал тяготить молодого повесу, мечтавшего о политической карьере. К этому времени, насколько можно судить по некоторым данным, дела его тестя расстроились. Квинт Фадий вынужден был даже пускать на торги свои имения. Словом, Антоний убедился, что он сделал ошибку. К тому же родственники нашли для него более выгодную партию — дочь его дяди Гая Антония Гибриды, коллеги Цицерона по знаменитому консулату 63 года.

Неизвестно, как долго продолжался брак Антония с Фадией. Беглое упоминание Цицерона о дочерях, рожденных дочерью отпущенника, наводит на цифру в несколько лет. По-видимому, это было то время, когда Антоний ездил в Грецию и делал первые шаги на военном поприще. К тому моменту, когда Антоний был избран квестором (52 г.), его женой уже значилась двоюродная сестра Антония.

Браки между близкими родственниками, типичные для Востока, еще отнюдь не были распространены в Риме. Тут Антоний явился большим оригиналом, предварившим на целое столетие чудовищное кровосмесительство своего потомка, императора Калигулы. Все же по сравнению с ягодками императорского Рима эндогамные поползновения поздней Республики выглядят розовыми цветочками.

Брак с двоюродной сестрой окончился скандалом. Подробности его неизвестны, но внешняя канва такова: весной 47 года Антоний, к всеобщему удивлению, развелся с женой и выгнал ее из дому. Причины столь сурового поступка долго не были ясны. Ходили слухи, что Антоний заподозрил жену в супружеской неверности. Античные авторы, приняв распространенную версию, дружно называют совратителем Антонии молодого Публия Долабеллу, народного трибуна 47 года. Долабелла считался приятелем Антония и, возглавляя движение городских низов, убеждал друга стать на его сторону. И тут вдруг, в разгаре бурной деятельности народного трибуна, Антоний решительно выступает на стороне сената и со всей жестокостью подавляет движение Долабеллы. Тот едва спасается от смерти. Разрыв недавних друзей совпал с разводом Антония со своей двоюродной сестрой, отчего многие увидели тут непосредственную связь.

Как бы то ни было, внезапный развод оставался покрытым тайной, пока спустя три года Антоний и Долабелла вновь не столкнулись на политической арене. В январские календы 44 года Антоний в сенате публично заявил, что причина его

ненависти к Долабелле в том, что тот пытался вступить в связь с его двоюродной сестрой и женой. Долгое время эта новость не сходила с уст римской толпы. Обычно государственные мужи предпочитали не афишировать свои семейные неурядицы. Юлий Цезарь в подобной ситуации подал классический пример, отказавшись давать показания против своего обидчика Клодия. Ему принадлежит блистательная фраза: «Жена Цезаря должна быть вне подозрений». Антоний не только озадачил сенат своим заявлением, прежде всего он ясно показал, насколько его политическая ориентация зависит от событий на женской половине дома.

Цицерон не верил в виновность Антонии и много позже повторял, что Антоний ложно обвинил в бесчестном поступке самую нравственную женщину. Обвинения Антония ложились позором на семейство его дяди, Антония Гибриды. Защищая своего коллегу по консулату, Цицерон напоминал, что Антоний выгнал жену, «заранее найдя для себя другую женщину». Не в этом ли кроется истинная причина развода?

Став семейным человеком, Антоний не изменил юношеским привычкам и продолжал вести разгульную жизнь. То его видели в обществе актрис и танцовщиц, то он забавлялся с красивыми мальчиками, то слонялся ночами в компании гуляк и сводников.

Антоний далеко не ограничивался свободными женщинами, но, войдя во вкус, совращал и замужних матрон. Так, например, его любовницей была некая Септимия, супруга Сикки, многолетнего друга и сподвижника Цицерона. О том, что это так, мы можем судить по письму Цицерона Аттику, написанному в 44 году, в разгар конфронтации Антония с сенатом: «Что касается Сикки, это так, как ты пишешь: я насилу удержался от упоминания о той страсти. Поэтому коснусь этого без какого-либо осуждения Сикки или Септимии, чтобы только дети детей знали, что он (Антоний.— *Б. Д.*) и без Луцилиева фалла имел дочерей от дочери Гая Фадия. О, если бы я дождался дня, когда эта речь (вторая филиппика.— *Б. Д.*) распространится так свободно, что проникнет даже в дом Сикки! Но нужно время, которое было при тех тресвирах. Пусть умру я, если не остроумно!»

Луцилий — римский комедиограф II века до н. э. Фалл — по-гречески — мужской половой член. Что хотел сказать этим Цицерон, неизвестно. Толкователи расходятся и во мнениях относительно «тресвиров». По одной версии, имеются в виду три любовника Септимии. Полагают даже, что ими были три брата Антонии: Марк, Гай и Луций. В 44 году, в момент написания письма, все трое занимали в государстве ключевые посты.

Но все это лежит в области догадок. Ясно только одно: обманутый муж, пожалуй, лишь один не знал об измене жены с цезарианским повесой, а Цицерон, щадя чувства друга, не стал извлекать этот факт в полемике против Антония.

Насколько можно судить, и Септимия, и подобные ей женщины играли в жизни Антония эпизодические роли, не влиявшие существенно на его судьбу. Кто же та опытная искусительница, которая встала между Антонием и его двоюродной сестрой? Из-за кого, возможно, и разгорелся скандал в благородном семействе, закончившийся изгнанием законной жены... Как раз во время развода с Антонией ее разгульный супруг был всецело поглощен знаменитой актрисой Киферидой.

2. Актриса Киферида

Источники сообщают о ней скупо и мимоходом. Но даже то, чем мы располагаем, рисует образ женщины смелой и незаурядной. Известно, что Киферида была вольноотпущенницей римского всадника Публия Волумния Евтрапела, отчего иногда именовалась Волумнией.

Сам Евтрапел, весьма образованный человек, «причастный к философии», считался одним из ближайших друзей Цицерона и Брута. В сражении при Филиппах (42 г.) мы находим его в республиканском войске. Впоследствии он даже написал историческое сочинение о гражданской войне, не дошедшее до нас.

Дом Евтрапела в Риме служил аристократическим салоном. Его завсегдатаями, кроме Цицерона и Брута, бывали известные поэты, писатели и актеры. В этом-то кружке и вращалась одаренная рабыня, за свои успехи на сценическом поприще отпущенная хозяином на волю. Как водится в таких случаях, господин и был ее первым любовником.

Гетеры, актрисы, кифаристки, танцовщицы со времен Сципиона Младшего играли все бóльшую роль в общественной жизни Рима. Это было прямым следствием эллинизации высшего римского общества, возросшей тяги к греческой культуре, облагораживающей и услаждающей потомков суровых и аскетичных отцов Республики. Рим покорил Грецию, а Греция покорила своих победителей изнеженностью,— часто говаривали в Вечном городе. Диктатор Сулла распахнул двери для многих образованных греков и многим из них предоставил отличные места. В Рим вереницами устремляются греческие ученые, писатели, поэты, за которыми немедленно последовали неразлучные с ними женщины свободных профессий.

Увлечение греческим искусством вскорости сделалось повальным среди римской аристократии. Знатные римляне отправлялись в Грецию обучаться престижным наукам. Эллинское влияние проникло в римский быт и резко эмансипировало женщин. С конца II века до н. э. римские матроны вели достаточно раскованную жизнь. Как правило, они хорошо ориентировались в литературе, сочиняли стихи, пели и играли на кифаре. Знатные дамы нередко мало чем отличались от профессиональных актрис; причем гранью перехода от образованности к распущенности современники считали пляску. Осуждая поведение жены консуляра Семпронии, Саллюстий, например, замечал, что «она плясала изящнее, чем подобает приличной женщине».

Как бы то ни было, римлянки-любительницы не могли угнаться за искушенными гречанками. Редко какой симпосий, дружеская пирушка, а тем более праздничное представление обходились без участия пестрой когорты гетер. Дошедшие до нас источники не называют Кифереду впрямую гетерой, однако она, без сомнения, таковою являлась.

Гетеры — понятие собирательное, лучше всего определяемое как женщины свободных профессий. В их число включались и актрисы, и танцовщицы, и мастера игры на кифаре и флейте. Институт гетер, как доказывают исследователи, вовсе не тождествен проституции в современном понимании. Телесные удовольствия не стояли на первом месте, а играли подчиненную, сопутствующую роль. Гетера (в точном переводе с греческого — «подруга») — не объект низменной похоти, но приятная собеседница, источник вдохновения поэтов, скульпторов, художников. Истинная гетера никогда не была просто проституткой, а всегда представляла собой нечто большее.

Гетеры принимали деятельное участие в общественной жизни Рима, а иные из них, как, например, гетера Флора, бывшая одно время любовницей Помпея, удостаивались государственных почестей. Портреты Флоры консул Метелл Пий выставил в храме Диоскуров.

Разумеется, гетеры подразделялись на разные категории, в зависимости от общественного строя, в который они были допущены. Элитные гетеры, обслуживавшие высшее общество, в полной мере соответствовали приведенной выше характеристике. Чем ниже был статус гетеры, тем меньшую роль играли ее духовные качества, тем большее значение приобретало тело. К тому же с течением времени, по мере разложения нравов и падения морали, и в элитных слоях телесные функции неумолимо одолевали духовные. Описываемая эпоха представляла собой начало этого процесса.

Мы не знаем истинного имени Кифериды, под которым она

появилась на свет. О том, что Киферида — ее сценическое имя, сообщает Цицерон. Следуя греческим обычаям, римляне не допускали к участию в драмах женщин. Все роли в комедиях и трагедиях исполняли мужчины. Киферида могла быть только мимической актрисой. Мимы и пантомимы получили широкое распространение к концу республики. Короткие импровизированные сценки, часто хлесткого сатирического содержания, пользовались большим успехом у простонародья. Обычно они заполняли перерывы в серьезных представлениях. Нередко мимам удавалось в сжатом виде передать сюжет известной драмы или сделать пародию на нее. Мимические актеры должны были владеть различными жанрами: читать прозу, стихи, петь под свой же аккомпанемент, нередко пускаться в танец. В отличие от драмы, где все актеры играли в масках, мимы выступали с открытым лицом, что делало их искусство более живым и зрелищным. Рим обожал прославленных мимов. Децима Лаберия и Публия Сира знали лучше, нежели старейших драматических актеров. Многие реплики, оброненные мимами со сцены, становились пословицами и поговорками.

В те годы в Риме блистала актриса Арбускула. Ее выступления на праздничных играх собирали массу народа. Цицерон признавался в письме к Аттику, что Арбускула ему очень нравится. Гораций передавал ее слова, брошенные с подмостков, когда ее игру освистывала низкая чернь: «Нет, мне довольно того, что всадники мне рукоплещут».

Имя Кифериды было меньше известно широкой публике. Однако ей вовсе не обязательно было выступать на массовых зрелищах. Скорее всего, Киферида играла в салонных, частных театрах, которые устраивали на дому богатые аристократы. Обычных актеров не приглашали к столу, между тем как Киферида пользовалась исключительными правами и на пирушках возлежала рядом со своим патроном. На равных с гостями она участвовала в разговоре. Судя по всему, Волумний Евтрапел весьма ценил свою отпущенницу и откровенно баловал ее. Вероятно, он покорялся уму и чарам редкой красавицы.

Киферидой были серьезно увлечены Марк Брут и молодой поэт Корнелий Галл, будущий префект Египта. Последний был настолько восхищен актрисой, что написал несколько элегий, в которых воспевал ее под именем Ликориды,— сообщает Овидий в «Тристиях».

Трудно точно определить, когда Антоний сошелся с Киферидой. Скорее всего, это произошло в 51—52 годах, когда он приехал из Галлии в Рим добиваться трибуната. Про галльские успехи Цезаря тогда шумел весь город. А тут явился

недавний квестор, участник замечательных походов, возмужавший в северных краях богатырь. Антоний тут же стал объектом пристального внимания римских женщин. Его тихая жена не представлялась им серьезным препятствием.

В эти годы Антоний был еще вхож в дом Цицерона и его друзей. Вероятно, там он и встретил изящную актрису и вскорости буквально увел ее за собой, отбив у вылощенных ученых сотрапезников Волумния Евтрапела. Молодость и стать победили сухую философию. Киферида бросила дом своего патрона и последовала за уличным сумасбродом, умевшим тем не менее блеснуть красотой и щедростью.

Уже в 50 году, когда Антоний был избран народным трибуном, политическая обстановка в Риме резко обострилась. Бурлящий форум раскалывался на сторонников сената — помпеянцев и сторонников Цезаря, возвращавшегося с войсками из Галлии. Назревала гражданская война. Уход Киферидыы к Антонию в этих условиях превратился в политический акт, в перебежку из сенатского лагеря во враждебный лагерь цезарианцев. Прежние покровители актрисы Цицерон, Брут и сам Евтрапел поддерживали Помпея, между тем как Антоний становился правой рукой Цезаря.

Американец Торнтон Уайлдер, автор знаменитых «Мартовских ид», один из немногих современных писателей, пытавшихся воссоздать образ Киферидыы, представляет ее чуть ли не добрым демоном Антония, долгое время удерживавшим его от нравственного падения. Это совершенно противоречит источникам. Подлинная Киферида не только не отвлекала Антония от разгульных куражей, но во всем сопутствовала и потакала ему. Довольно пренебрежительно представляет Киферидыу Плутарх. Описывая окружавших Антония шутов и мимов, он добавляет: «Среди самых влиятельных его приближенных были и мим Сергий, и возлюбленная Антония — бабенка из той же труппы, по имени Киферида».

И все же Антоний был чрезвычайно увлечен Киферидой. Может быть, это было его первое стойкое чувство. Своих жен он не любил, живя с ними в силу необходимости или внешнего приличия. Красивая, талантливая актриса, внимания которой искали многие мужи, представлялась ему большой победой. Поэтому-то он так обхаживал ее и дорожил ее присутствием. Она стала полновластной хозяйкой его дома, если не столичного, где жила законная жена, то, во всяком случае, загородных имений. Думается, реплика Цицерона о ключах, которыми владела Киферида, не столь уж саркастична.

Тем временем началась гражданская война. Цезарь занял Рим и, отправляясь в Испанию весной 49 года, доверил Антонию надзор за порядком в Италии. Это было первое крупное

дело молодого трибуна, и он сразу же принялся обставлять его с наибольшим блеском. Антонию поручалась инспекционная поездка по муниципиям с наказанием тех, кто поддерживал Помпея, и ободрением сторонников цезарианской партии. Народный трибун быстро превратил инспекцию в развлекательное путешествие. Для этой цели он составил целый эскорт веселых спутников и взял с собой в путь Киферию. Чтобы италики не сомневались, насколько велики его полномочия, Антоний окружил себя ликторами, которые по статусу полагались лишь консулам и преторам.

Во время италийского вояжа Киферида удостоилась неслыханной дотоле чести: ее несли в открытых носилках посреди ликторов, украшенных лаврами. Рядом в двуколке ехал Антоний, следом — семь лектик подруг или «друзей». Помпезное шествие это сделалось притчей во языцех.

Жители муниципий, куда заезжал Антоний, выходили навстречу эскорту и приветствовали Киферию, уважительно именуя ее Волумнией. Даже гордой матери Антония — Юлии, сестре диктатора, также сопровождавшей сына в поездке, приходилось относиться к Кифериде как будто к своей невестке.

Почести, воздаваемые красавице, не случайны. Антоний, без сомнения, совещался с Киферидой в важных вопросах, прибегая к ее проницательному уму и знанию людей. Ведь еще Цицерон советовал Антонию «перенять хотя бы немного остроумия у своей жены-актрисы». Ирония старого оратора по поводу «супружества» трибуна с куртизанкой понятна. Простой люд принимал горделивую пассию Антония за настоящую госпожу. Многие гадали, кто при ком: актриса при трибуне или трибун при актрисе? Самого Антония еще долгое время за глаза язвительно называли Киферидским.

В пути любовники не столько занимались делами, сколько закатывали оглушительные пиры, от которых Антоний потом тяжело отходил, страдая поносом. Неуемное пьянство трибуна многим бросалось в глаза, но одни предпочитали молчать, а другие открыто заискивали перед приближенным диктатора.

«Взор римлян оскорбляли и золотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в священном шествии,— вслед за Цицероном негодует Плутарх,— и раскинутые при дороге шатры, и роскошные завтраки у реки или на опушке леса, и запряженные в колесницу львы, и дома достойных людей, отведенные под квартиры потаскухам и арфисткам. И все возмущались и негодовали, что тем временем, как сам Цезарь за пределами Италии ночует под открытым небом и ценою огромных трудов и опасностей гасит последние искры

войны, в это самое время другие, пользуясь властью, которою облек их Цезарь, утопают в роскоши и глумятся над согражданами».

В начале мая Антоний остановился в Кумах. Здесь же на своей вилле находился Цицерон, который тайно готовился бежать к Помпею. Трибун не нашел времени лично встретиться с прославленным оратором, но через посыльных уверял того в дружелюбии Цезаря и убеждал не покидать Италию. Тогда Цицерон с удовлетворением записал: «Нет ничего приятнее этого человека». Тут же упомянуты и лектика с актрисой, и даже львы Антония, которых Цицерон советует не пугаться. Позже, однако, оратор отказался от всех этих впечатлений и заявил в сенате, что в это время его вообще не было в Италии.

Следующий год стал решающим в борьбе с Помпеем. Пока кипели сражения в Эпире и Фессалии и Антоний спешил с легионами на помощь Цезарю, Киферида дожидалась известий в Риме. Здесь же ждала своего супруга тихая, безропотная Антония; в это время они еще не были разведены.

Осенью 48 года Антоний возвратился в Италию в ореоле славы: при Фарсале он командовал правым флангом Цезаря и одержал блестящую викторию. Киферида выехала навстречу победителю в Брундизий, спеша первой поздравить героя Фарсала. Едва сойдя с корабля, Антоний «попал на грудь и в объятия своей милой актрисы». Весь лагерь наблюдал за бурной встречей любовников, не считавших нужным маскировать свои отношения.

В сопровождении прекрасной актрисы Антоний двинулся в Рим, где его уже ожидала должность начальника конницы — заместителя диктатора. «И снова поездки по Италии с той же спутницей, в городах жестокое и безжалостное размещение солдат на постой, в Риме омерзительное расхищение золота и серебра, особенно запасов вина». Цицерон не жалеет красок, чтобы осмеять личную жизнь противника, очернить его моральный облик. Делает он это не всегда аккуратно и достоверно. Хотя подчас заметки и характеристики опытного полемиста бьют, что говорится, не в бровь, а в глаз. Недаром Антоний приходил от них в настоящее бешенство.

Пикантность же данной ситуации заключается в том, что к предмету сердечной привязанности Антония Цицерон и сам питает немалое расположение. Даже после ухода актрисы в цезарианский лагерь старый оратор не забыл о ее дарованиях, поражавших ученых сотрапезников Волумния Евтрапела. Поэтому, когда полемика касается актрисы, речь Цицерона приобретает некую двусмысленность. Чувствуется, что оратор отнюдь не испытывает к ней той злости, какую вну-

шает ему Антоний. Цицерон неизменно возвышает Киферию над ее легковесным любовником.

Впрочем, как видно из его переписки, пощаженный в Брундизии сенатор и ее не обходит упреками. Киферида оказала какую-то услугу жене Цицерона в Риме, о чем та оповестила супруга. «Волумния должна быть более обязательной по отношению к тебе, чем была,— брюзжит в ответ Цицерон,— и то, что она сделала, могла делать внимательнее и осмотрительнее». Видимо, оратор не мог простить Кифериде ее уход к Антонию, и сколько бы та ни старалась наладить связь с ним и с его семейством, затаенная обида на куртизанку давала о себе знать. Кроме того, блюститель отеческих заветов и старорежимных нравов не мог вынести роскошество и беспредельное мотовство, сопровождавшее новых любовников.

Антоний осыпал дарами не только «милую актрису», но и многих ее собратьев по ремеслу, всегда окружавших его плотным кольцом. Своим постоянным сотрапезникам мимическим актерам Гиппию и Сергию он подарил лошадей, принадлежавших государственной казне. Ритор Секст Клодий, с которым Антоний сдружился впоследствии, получил две тысячи югеров в Леонтинской области, причем свободных от обложения. Так высоко оплачивалась эта своеобразная тяга соратника Цезаря к грекам и греческой культуре.

Справедливости ради следует добавить, что Антоний вовсе не держал в подобных делах пальму первенства. Откровенный пример подавал ему патрон-диктатор. В эти самые годы, в перерывах между походными романами с заморскими царицами, Цезарь щедро одарял своих любовниц конфискованным у помпеянцев имуществом. Матери Брута, Сервилии, с которой у него была давняя связь, Цезарь продал за бесценок с аукциона богатейшие поместья. Так же вели себя и другие видные цезарианцы.

Но вернемся к Кифериде. Ее нашумевший роман с Антонием уже близился к печальному финалу. Разведясь в начале 47 года с двоюродной сестрой, Антоний стал подумывать о новом браке, надеясь таким путем поправить свои финансовые дела. Герой Фарсала, щедро оделявший других, сам гулял в долгах, как в шелках. Цезарь грозил ему судебным разбирательством. Киферида, которую величали чуть ли не женой Антония, оказывалась в его планах немалой помехой. Она могла отпугнуть богатую невесту. Чувства отступили в тень, когда речь зашла о деньгах и репутации в обществе. Жениться на простой актрисе тщеславный аристократ не мог, а оставаться холостым не подобало его положению видного государственного мужа. Антоний еще мог позволить себе свадьбу с дочерью вольноотпущенника, но сочетаться с самой

отпущенницей, бывшей рабыней — никогда! Очевидно, необходимость нового брака стала первопричиной разлада между Антонием и Киферидой. Гордая актриса не желала переносить появления новой женщины, тем более той, на которую нацелился Антоний. Ей, испытавшей славу и почет, претила роль загородной наложницы.

Как бы то ни было, осенью 47 года любовники расстались. Цицерон саркастически описывает, как Антоний избавился от Киферы: «...он велел забрать ее вещи, на основании законов Двенадцати таблиц отобрал у нее ключи, выпроводил ее. Какой он выдающийся гражданин отныне, сколь уважаемый! Ведь за всю его жизнь изо всех поступков наибольшего уважения заслуживает его «развод» с актрисой».

Разрыв, впрочем, не был настолько решителен, а воспоминания о недавней страсти оказались не настолько мертвы, чтобы поставить окончательную точку в этой истории. Из-за семейных перипетий Антоний даже не участвовал в Африканской кампании Цезаря. Во всяком случае, ему пришлось еще долго уверять новую жену Фульвию, что у него впредь ничего не будет с актрисой, он отказался от нее навсегда.

После «развода» с Антонием Киферида вернулась к прежнему патрону — Публию Волумнию Евтрапелу. Последний, по-видимому сердечно привязанный к своей отпущеннице, быстро простил ей любовные похождения в цезарианском стане. Киферида вновь заняла в доме Евтрапела почетное место. Хотя иных республиканцев возвращение блудной актрисы явно смутило. У Евтрапела на одной из пирушек осенью 46 года ее застал Цицерон. «Ниже Евтрапела легла Киферида... Клянусь, я не предполагал, что она будет присутствовать,— оправдывался оратор в письме к Пинарию Пету.— Однако даже сократик Аристипп не покраснел, когда ему заметили, что он обладает Лаидой. „Обладаю я,— сказал он,— не Лаида мной"».

3. Фульвия — бич Рима

Жизнь этой женщины столь насыщена событиями, а ее влияние в Риме поднялось столь высоко, что она вполне могла бы претендовать у античных авторов на отдельную биографию наряду с царицей Клеопатрой.

Предки Фульвии были знаменитыми личностями, не раз обладавшими консульской властью. К I веку до н. э. род Фульвиев утратил былое значение, хотя по-прежнему причислялся к сенаторским фамилиям. Отец нашей героини Марк Фульвий Бамбалион достиг, вероятно, лишь должности претора.

Впервые имя Фульвии всплывает в связи с заговором Катилины. У одного из знатных заговорщиков Квинта Курия была любовница по имени Фульвия. Промотав имущество, легкомысленный повеса перестал делать своей подруге дорогие подарки, к каким она привыкла. Рассчитывая, впрочем, в случае успеха заговора обогатиться, Курий вел себя довольно заносчиво, то хвастая, то угрожая любовнице, и, наконец, выболтал ей секреты катилинариев. Реакция Фульвии оказалась совсем не такой, на какую он рассчитывал. Она «не стала скрывать опасность, угрожавшую государству», и донесла властям о тайных приготовлениях Катилины.

Доносом Фульвии заинтересовался сам Цицерон, консул того года, не замедлив сделать юную римлянку своей секретной осведомительницей. Последняя, действуя по заданию консула, заставила Квинта Курия регулярно выдавать ей замыслы Катилины. Таким образом, Цицерон, а через него и весь сенат были вполне осведомлены о планах заговорщиков и сумели предотвратить военный переворот.

И Саллюстий, и Плутарх, и Аппиан описывают любовницу Курия как знатную женщину, что позволяет с большой долей вероятности отождествить ее с дочерью Бамбалиона. Впрочем, одно обстоятельство заставляет усомниться в этом. Фульвия, осведомительница Цицерона в 63 году, служит интересам сенаторской партии и буквально спасает консула от готовящегося на него покушения катилинариев. Будущая же супруга Антония, напротив, слыла злейшей противницей того же Цицерона и сената. Возможна ли такая метаморфоза с одним и тем же человеком?

Дальнейшая биография прожженной авантюристки, постоянно лавировавшей между разными силами в своих личных интересах, дает вполне утвердительный ответ. Для Фульвии подобное начало политической деятельности достаточно характерно. Точно как для всего круга катилинариев, отличавшихся беспринципностью. Знатной осведомительницей Цицерона двигали не столько заботы о благе государства, сколько личные счеты, пристрастия и капризы. Уже первые штрихи к портрету подружки Курия рисуют натуру крайне честолюбивую и эгоистичную. Фульвия не удовольствовалась ролью простой шпионки, быстро взяла инициативу в свои руки и, завербовав болтливого любовника, превратила его в своего сообщника и осводомителя. Те же побуждения двигали ею и в дальнейшем: стремление доминировать в любовных связях и добиваться лидирующей роли. Эта женщина обладала совершенно мужским складом ума, невиданной энергией и упорством. «В ней не было ничего женского, кроме тела», — отмечал Веллей Патеркул.

В эпизоде с Квинтом Курием мы встречаем еще юную, неопытную Фульвию. Окончательно сформировал ее характер первый брак с Клодием Пульхром.

Это был тот самый Публий Клодий, «наглейший из вожаков народа», «приведший в смятение все государство», незадолго до того прославившийся в Риме крайним распутством. Будучи тайным любовником жены Цезаря, он был разоблачен во время праздника Доброй Богини, когда проник в дом Цезаря в женском платье. Скандал был настолько силен (своим поступком Клодий осквернил чисто женскую сакральную церемонию), что в дело вмешался сенат. Клодий попал под суд и едва избежал наказания. Не лучшей репутацией пользовалась и сестра Клодия, про которую ходил слух, что она отравила мужа, ведет образ жизни профессиональной проститутки и кровосмесительствует даже с родным братом.

Вот в такую-то семейку и угодила юная Фульвия. Впрочем, можно не сомневаться, что любящая роскошь и склонная к авантюрам доносчица и амбициозный вожак смутного плебса взаимно дополняли друг друга. Свадьба состоялась примерно в 60 году до н. э., когда Фульвия достигла брачного возраста — 18 лет. В браке с Клодием она родила дочь Клодию (Клавдию) и сына — младшего Публия Клодия Пульхра.

Неизвестно, какую помощь Фульвия оказывала мужу в его неистовой, а временами изнурительной борьбе против Цицерона, в которой Клодий сначала добился изгнания великого оратора, а затем, после его возвращения, сам подвергался смертельной опасности и держался на плаву только благодаря покровительству первых триумвиров — Помпея, Красса и Цезаря. В эти годы Фульвия большей частью оставалась в тени бурных событий. Вновь ее имя мелькает лишь в памятном 52 году, когда ее неуемный супруг наконец нашел смерть в дорожной стычке с отрядом Милона.

На громком процессе Милона в апреле 52 года Фульвия и ее мать Сервилия выступали свидетелями и, защищая память убитого, «своим плачем потрясли людей, стоявших вокруг». Видимо, не без влияния их слез присяжные вынесли Милону обвинительный приговор. Среди обвинителей Милона на суде выступал также и Марк Антоний, хотя, по свидетельству Цицерона, незадолго до этого он сам чуть было не убил Клодия.

Вскоре после похорон мужа безутешная вдова вышла замуж за Гая Куриона, того самого, который приобщал Марка Антония к разгульной жизни и оплачивал его громадные счета. Если кто и мог заменить Клодия во главе римского плебса, равно как и в качестве спутника авантюристки, так это

Курион. Памятуя известную поговорку, что муж и жена — одна сатана, процитируем источник, характеризующий Куриона: «Никто не был более деятельным в разжигании войны и бедствий... чем народный трибун Курион, человек знатный, красноречивый, наглый, расточитель как собственного, так и чужого состояния и целомудрия, щедро одаренный распутник, наделенный даром речи назло государству. Никакое богатство не могло удовлетворить его страсти, его жажду наслаждений и прихоти» (Веллей Патеркул).

Очевидно, брак Куриона с Фульвией был заключен в 50 году, во время его трибуната. Это видно из того, что вплоть до перехода на сторону Цезаря Курион поддерживал с Цицероном дружеские отношения.

Не выяснено, было ли у Фульвии потомство от Куриона. Второе замужество ее продолжалось недолго, от силы — годполтора. После своего трибуната Курион отплыл в Африку в качестве цезарианского легата и там, разбитый войсками помпеянцев, принял ужасную смерть: ему отрубили голову и отослали ее нумидийскому царю.

Фульвия снова стала вдовой. Поразительно, но факт: эта непостоянная, взбалмошная матрона не знала привычных женщинам ее круга бракоразводных процессов. Оба первых ее мужа погибли насильственной смертью, что дало римлянам повод изощряться в рассказах о «злом роке» Фульвии: тот, кто брал ее в жены, рисковал, по выражению Цицерона, стать ее очередным «взносом» римскому народу.

Возможно, поэтому после гибели Куриона (49 г.) Фульвия три года оставалась свободной, хотя считалась состоятельной и выгодной невестой. О ее личной жизни в этот период источники умалчивают.

Зато они охотно и щедро расписывают ее роковой брак с Антонием. Несомненно, знакомы они были уже давно, с тех пор когда Антоний примыкал к партии ее первого мужа. В одном месте Цицерон прозрачно намекает, что Антоний домогался Фульвии, когда она еще жила с Клодием. Виделись они и потом, в доме Куриона, давнишнего закадычного друга Антония. Брак близких по духу людей подготавливала сама логика событий.

Вместе с тем есть подозрения, что партнеры руководствовались меркантильными интересами. Антоний — восходящая звезда на римском политическом небосклоне — вполне удовлетворял честолюбивым устремлениям Фульвии. Его сомнительная семейная жизнь в прошлом мало беспокоила новую жену, немногим уступающую ему в любовных похождениях. Антония прельщало огромное состояние Фульвии, доставшееся в наследство от первых мужей. Он только что купил с

торгов дом Помпея Великого и не мог рассчитаться с кредиторами. Денежки Фульвии оказались весьма кстати.

Новобрачная давно уже утратила первую свежесть. Ее возраст приближался к тридцати пяти годам. Антонию в 46 году исполнилось 37 лет. У обоих это был третий по счету брак.

Впрочем, и в новом браке разгульный цезарианец не избавился от долгов. Даже состоятельная Фульвия не могла покрыть его безудержные траты. Все приобретенное Антоний пускал по ветру с поразительной быстротой. В считанные месяцы он растранжирил трофейное имущество помпеянцев. На момент смерти Цезаря, сообщает Цицерон, долги Антония составляли астрономическую сумму — 40 миллионов сестерциев.

Первые месяцы брака счастливые супруги провели в Риме, а в конце 46 года Антоний отправился в Нарбонскую Галлию собирать пополнения для армии Цезаря. Еще продолжалась ожесточенная война с помпеянцами. Римляне напряженно ожидали вестей из Испании, где решался исход военной кампании. Результат далеко не определился, когда в марте 45 года Антоний скрытно вернулся в Рим, переполошив на другой день весь город своим неожиданным появлением на форуме. На тревожные вопросы знакомых он простодушно отвечал, что приехал, не выдержав разлуки с женой.

Дойдя до этого места во второй филиппике, Цицерон делает многозначительную паузу и торжественно обещает изобличить низость своего противника. Однако дальше он рисует картину, открывающую нечто совершенно иное:

«Приехав приблизительно в десятом часу в Красные Скалы, он укрылся в какой-то корчме и, прячась там, пьянствовал до вечера. Быстро подъехав к Риму на тележке, он явился к себе домой, закутав себе голову. Привратник ему: «Ты кто?» — «Письмоносец от Марка». Его тут же провели к той, ради которой он приехал, и он передал ей письмо. Когда она, плача, читала письмо (ибо содержание этого послания было таково: у него-де впредь ничего не будет с актрисой, он-де отказался от любви к той и перенес всю свою любовь на эту женщину), когда она разрыдалась, этот сострадательный человек не выдержал, открыл лицо и бросился к ней на шею.

О ничтожный человек! — резюмирует Цицерон.— Ибо что еще можно сказать? Ничего больше сказать не могу. Итак, именно для того, чтобы она неожиданно увидела тебя, Катамита, когда ты вдруг откроешь себе лицо, ты и перепугал ночью Рим и на много дней навел страх на Италию».

Случай этот если и заслуживает усмешки, то вовсе не презрения, как того желает Цицерон. Трудно сказать, как воспринимался подобный пассаж римской аудиторией, современный же читатель увидит здесь не более чем милую интрижку. Отношения между простецки-чудаковатым мужем и его чувствительной женой приобретают даже некоторую трогательность. Похоже, их объединяла в это время настоящая любовь.

За время супружества Фульвия родила Антонию двух сыновей — Марка Антилла и Гая Юлла. В момент описанного Цицероном случая она как раз была беременна Антиллом. Юлл появился на свет в 43 году, когда Антоний был уже объявлен врагом отечества и спасался в Альпах от сенатских легионов.

К войне с сенатом Антоний пришел в несколько этапов, на каждом из которых Фульвия играла не последнюю роль.

Неожиданная гибель Цезаря под кинжалами республиканцев выдвинула Антония на одно из первых мест в государстве. Справившись с первым страхом, что такая же участь ожидает и его, Антоний воспользовался полномочиями консула и сосредоточил управление страной в своих руках. До ноября 44 года он оставался хозяином положения в Риме.

Ответственный пост тем не менее не отвратил его от разгульной жизни. Напротив, казалось, он для того и овладел деньгами покойного диктатора, чтобы еще сильнее подивить сограждан своим изощренным распутством. Май 44 года Антоний провел на захваченной им вилле Марка Варрона близ Касина. Цицерон пытается описать чудовищную вакханалию, затеянную в усадьбе консульской кликой: «Начиная с третьего часа пили, играли и извергали из себя... все оглашалось криками пьяных, полы были залиты вином, стены забрызганы; свободнорожденные мальчики толклись среди продажных, распутницы — среди матерей семейств». Потерявший голову консул щедро раздавал поместья участникам своих пирушек и любовных игр. Мертвецки пьяного, его несли на носилках в Рим; он даже не мог приподняться, чтобы приветствовать встречных.

Расчетливая Фульвия сквозь пальцы взирала на многочисленные измены мужа, пока он прибирал к рукам наследство Цезаря. Эта женщина уже взлетала на вершину римского политического Олимпа. Статус жены консула открыл ей путь к власти. Фульвия вовсе не собиралась прозябать в тени мужниной славы, как это делала супруга Цезаря Кальпурния. Она рвалась к государственной деятельности. Все меньше и меньше оставалось в ней от прежней молоденькой

вдовы, которая стенала на глазах у народа, оплакивая погибшего Клодия.

Прибывшие в Рим послы свергнутого в свое время Цезарем галатского царя Дейотара нашли прием у Фульвии. Получив от них взятку в 10 миллионов сестерциев, она добилась, чтобы Антоний выставил закон о восстановлении Дейотара на престоле и, вдобавок, вернул галату отнятые земли. Закон этот, представленный как предсмертное распоряжение покойного диктатора, вызвал недоумение в Риме. Цицерон писал Аттику, что Дейотар «достоин всякого царства, но не через Фульвию». Сенаторов возмущала не сама по себе реабилитация галатского тетрарха, а вмешательство в дела консульской жены, побуждаемой корыстными интересами. Мнение сената даже не спрашивалось. Никто не сомневался, что всемогущий Антоний находится под сильным влиянием супруги и действует по ее подсказке. Важнейшие вопросы внутренней и внешней политики решались на женской половине дома консула, где, как замечал Цицерон, «многое поступало и поступает в продажу».

Уже в это время, когда Цицерон еще поддерживал отношения с Антонием, старый оратор чувствовал опасность, исходящую от своевольной Фульвии. «Твой ум для меня более открыт, нежели дом»,— писал он Антонию в апреле 44 года. «Домочадцы оказывают [на тебя] дурное влияние»,— предупреждал он его в сентябре, накануне полного разрыва. Цицерон, конечно, не мог забыть, что Фульвия была раньше женой его заклятого врага Клодия Пульхра, принесшего ему столько бед. Попреки лидера сената и его уколы, нанесенные публично, еще больше ожесточали мстительную матрону. Фульвии не терпелось расправиться с Цицероном, она искала удобного случая.

«После смерти Цезаря снова начались большие междоусобные распри. Они все возрастали и возрастали и достигли чрезвычайных размеров» (Аппиан). Республиканская партия не желала терпеть всевластие цезарианцев. Убедившись, что Антоний на словах уничтожает диктатуру, а на деле мнит себя преемником Цезаря, на него ополчился сенат во главе с Цицероном. Решив набрать политические очки, к сенату временно примкнул и молодой наследник диктатора Гай Октавиан, до этого не имевший никакого влияния в Риме. Антоний пытался опереться на ветеранов Цезаря, но первое столкновение с республиканцами проиграл. Разбитый у Мутины в Северной Италии сенатскими войсками в апреле 43 года, он укрылся в Альпах и был объявлен врагом отечества.

Казалось, звезда Антония закатилась навсегда. Цицерон

торжествовал победу. А что же Фульвия? По-видимому, она не очень растерялась в столь критической ситуации и не сочла нужным даже бежать из Рима. Корнелий Непот упоминает в одном месте, что как раз в это время Фульвия покупала очередное имение и за нехваткой средств заняла деньги у Помпония Аттика — между прочим, ближайшего друга Цицерона. Давать в долг жене врага отечества в тех условиях решился бы далеко не всякий. Антоний оценил поступок Аттика. Впоследствии, во время массовых репрессий, он вычеркнул его имя из проскрипционных списков и тем самым спас ему жизнь.

Неожиданное для многих и роковое для республики соглашение в Бононии (ноябрь 43 г.) поставило все с ног на голову. Антоний, Лепид и Октавиан заключили союз против сенатской партии. Рим оказался беззащитным перед соединенным войском триумвиров. Немедленно последовавшие проскрипции навели ужас на всю страну. Хлынувшие потоки крови, казалось, захлестнули Вечный город. В обществе ожидали конца света. Пережившая недавнее гонение Фульвия больше других настаивала на жестоких казнях.

Когда отрубленные голову и правую руку Цицерона доставили в Рим, Антоний в злорадном упоении установил их на своем обеденном столе, а Фульвия с садистским наслаждением колола язык оратора булавками. От подобной дикости содрогнулись даже видавшие виды римляне.

Ощутив в своих руках власть, супруга первого триумвира обнаружила чрезвычайную алчность. Аппиан рассказывает о гибели некоего Руфа, владельца богатого особняка, расположенного по соседству с домом Антония. Фульвия давно уже положила глаз на прекрасное здание, но хозяин отказался его продать. Теперь же, в круговерти разнузданного террора, Руф сам поспешил преподнести особняк в дар Фульвии, надеясь тем самым купить себе жизнь. Но это его не спасло. Отрубленную голову его доставили Антонию, триумвир отослал ее жене, и та велела выставить ее на всеобщее обозрение перед тем самым особняком, из-за которого шла тяжба.

Готовясь к войне с республиканцами, триумвиры выколачивали деньги где могли. Они составили список 1400 состоятельных римских матрон (большей частью вдов репрессированных граждан), которым надлежало внести значительные суммы на военные расходы. Некоторые вдовы бросились искать защиты у женщин, близких триумвирам. Их сочувственно приняли Октавия, сестра Октавиана, и мать Антония — Юлия. Зато Фульвия приказала гнать их от своих дверей.

Так вела себя эта женщина, притязавшая на положение первой дамы государства.

Фульвия, пожалуй, была первой из римских матрон, портрет которой появился на официальных монетах наряду с изображением триумвиров. Сохранилось несколько квинариев, где Фульвия фигурирует в образе богини Виктории (открыто писать в легендах имя жены правителя Рима монетарии все же не решились). Эти квинарии лишний раз подчеркивают, какое огромное влияние в государстве возымела эта честолюбивая женщина.

Чекан, понятно, сильно идеализировал облик первой дамы государства. Профиль Фульвии на монетах отличается правильностью черт, благородством и моложавостью. Волосы по обычаю тех лет зачесаны на затылок и перевязаны лентой. Это единственные изображения Фульвии, дошедшие до наших дней, хотя, вероятно, существовали и ее статуи. В жизни, правда, супруга первого триумвира не выделялась особой красотой. В одном месте Светоний замечает, что одна щека у нее была припухлой и не раз искушала острослова Секста Клодия испытать на ней «остроту своего стиля». Верные Антонию монетарии скрывали подобные изъяны.

Квинарии с профилем Фульвии были отчеканены в 42—41 годах, когда она находилась в фокусе политической жизни Рима. Один из триумвиров был ее мужем, второго она также стремилась привязать к себе и подчинить родственным узам. Уже при соглашении в Болонии легионеры потребовали, чтобы Антоний и Октавиан породнились между собой, скрепив тем самым новый союз. По прибытии в Рим Октавиан женился на юной Клодии, дочери Фульвии от первого брака, падчерице Антония. Невесте на момент свадьбы никак не могло быть больше пятнадцати лет. Сама Фульвия всячески устраивала и ускоряла бракосочетание, полагая, что звание тещи наследника Цезаря еще больше упрочит ее положение.

Светоний сообщает, что брак Октавиана с Клодией оказался столь короток, что он не успел даже к ней притронуться. Последнее все же сомнительно, ибо со времени свадьбы до развода прошло свыше полутора лет: декабрь 43 — сентябрь 41 года. Правда, бóльшую часть этого времени Октавиан отсутствовал в Риме, ведя вместе с Антонием войну против республиканцев, а по возвращении в Италию долгое время болел. Во всяком случае, потомства от этого брака не было.

Поскольку после победы над Брутом и Кассием Антоний отправился приводить к покорности Азию и надолго задержался там, функции его представителей в Риме целиком до-

стались Фульвии и ее приближенным. Властолюбивая матрона ревностно оберегала интересы своего семейства, зорко следя за ростом могущества Октавиана.

Получив известие из Азии о том, что муж изменил ей с каппадокийской царицей, Фульвия, до этого снисходительно взиравшая на любовные утехи супруга, на сей раз не стерпела обиды. Она почувствовала, что искусные и своевольные азиатки могут увести Антония из-под ее контроля. Видимо, к этому времени относятся ее настойчивые попытки завлечь в свою постель молодого наследника Цезаря. Оскорбленная матрона хотела отомстить неверному супругу собственной изменой с его коллегой по триумвирату.

В отношении Октавиана Фульвия вела двойную игру. Делая реверансы двадцатидвухлетнему зятю, она всячески интриговала против наследника Цезаря и настраивала против него италийское население и войска. Все это происходило на фоне вспыхнувших разногласий между Октавианом и консулом 41 года Луцием Антонием, младшим братом триумвира. Вначале Фульвия, как могла, удерживала Луция от новой распри, но затем внезапно изменила тактику и стала самым ярым образом подстрекать его к войне. Причина столь крутого поворота проста: юный предводитель Рима не поддался чарам честолюбивой матроны и отверг недостойные домогательства.

В передаче Марциала сохранилась «резвая» эпиграмма Октавиана:

> То, что с Глафирой спал Антоний, то ставит в вину мне
> Фульвия, мне говоря, чтобы я с ней переспал.
> С Фульвией мне переспать? Ну а ежели Маний попросит,
> Чтобы поспал я и с ним? Нет, не такой я дурак!
> «Спи или бейся со мной!» — говорит она. Да неужели
> Жизнь мне дороже всего? Ну-ка, трубите поход!

Октавиан не только не уступил постельным поползновениям первой дамы государства, но даже расторг брак с ее дочерью Клодией. Склонная к крайностям Фульвия немедленно порвала всякие отношения с Октавианом и из отвергнутой любовницы превратилась в упорного и злейшего врага молодого наследника Цезаря. Отныне все помыслы ее были подчинены неукротимому стремлению низвергнуть Октавиана и добиться его смерти. Оскорбленное женское самолюбие при этом сопрягалось с опасением утратить свое привилегированное положение, потерять власть.

Мероприятия Октавиана угрожали могуществу партии Антония. Щедро наделяя солдатских ветеранов землей и выводя новые колонии, наследник Цезаря отбивал у Антония славу в легионах. Между тем армия оставалась главной опо-

рой власти триумвиров. Некоторое время Фульвия рассылала по новым колониям своих подручных, чтобы те делали вид, что все милости даруются от имени Антония, а когда это не возымело успеха, принялась сколачивать антиоктавиановскую группировку. Очевидно, не без ее вмешательства сорвалось временное перемирие Октавиана с Луцием в Тиане; Фульвия подталкивала свояка к военному выступлению.

Античные авторы прямо называют жену Антония поборницей и душой мятежа. Аппиан замечает, что для развязывания войны у Фульвии появилась еще одна личная причина. До Рима дошли известия о новом заграничном романе Антония, на этот раз с прославленной царицей Клеопатрой. Безумно ревнуя мужа к египтянке, Фульвия надеялась с помощью беспорядков в Италии ускорить его возвращение. Ее дворецкий Маний коварно нашептывал госпоже, что «при спокойном состоянии Италии Антоний останется у Клеопатры, если же начнется война — поспешно возвратится» (Аппиан). Неисповедимо сердце женщины.

Практическое руководство операцией осуществлял Луций Антоний, притязавший на лавры убежденного демократа и защитника обиженных италиков, у которых отнимали землю. Впрочем, римляне упорно твердили, что за его спиной путчем дирижирует непримиримая супруга первого триумвира.

Мятежники знали, что им есть на кого опереться. Согнанные с наделов италики, за счет которых расселялись ветераны, люто ненавидели триумвиров. Большое недовольство Октавианом зрело в Риме, страдающем от перебоев в подвозе хлеба. Все больше граждан поддерживало идею отмены чрезвычайного положения, продолжающего ненавистную диктатуру, и возврата к демократическим выборам первых руководителей.

Осенью 41 года Луций Антоний удалился из столицы в Пренесте, говоря, что боится вооруженной охраны Октавиана. Фульвия со своими детьми последовала за Луцием, распустив слух, будто третий триумвир Марк Лепид угрожает ее потомству. Об Октавиане она хитро умолчала. Подобным образом она охарактеризовала ситуацию в письме мужу в Египет, призывая его поскорее вернуться в Италию. Октавиан также пытался апеллировать к Антонию, чтобы коллега урезонил не в меру расходившихся родственников. Он послал к нему послов, но Антоний не отозвался.

И триумвир, и мятежники набирали по Италии войска. Пока Октавиан преследовал одного из отколовшихся легатов, Луций Антоний с конницей и гладиаторами глубокой ночью вступил в Рим. Пользуясь правами консула, наутро он созвал Народное собрание и заявил, что восстанавливает рес-

публиканский строй, старинное право, оговорив, что «Цезарь (то есть Октавиан.— *Б. Д.*) и Лепид тотчас же потерпят наказание за захват власти, брат же его Антоний добровольно сложит с себя власть триумвира, заменив противозаконную тиранию консульской властью».

Народное собрание провозгласило Луция императором, и он выступил в поход против Октавиана. Последний, сумев сосредоточить у себя достаточно сил, несколькими удачными операциями загнал мятежников в город Перузию, осада которого началась в ноябре 41 года. Фульвия, пребывавшая все время в Пренесте, немедленно забила тревогу, надеясь поправить положение. «Вооружившись мечом мужской доблести» (Флор), она забросала письмами легатов, требуя от них ввязаться в войну на стороне мятежников. Из Пренесте она отправила на выручку Луцию отряд консуляра Мунация Планка.

Перузинская война, продолжавшаяся до весны 40 года, закончилась разгромом мятежников. Легаты, совращенные Фульвией, действовавшие вразнобой, были рассеяны. Луций Антоний сдался в Перузии, не выдержав осады, а поддерживавшие его италики подверглись жестокой расправе. Пленный Луций жаловался победителю, указывая на монархические взгляды Фульвии, и тут же запальчиво утверждал, что «пользовался войсками брата, чтобы устранить одинаково всех». От казни его спасло лишь приближение могущественного Антония, столкновения с которым Октавиан пока избегал.

Наследник Цезаря не мог торжествовать полную победу, доколе в Италии оставалась главная зачинщица смуты. Узнав о крахе кампании, Фульвия вместе с малолетними сыновьями поспешно бежала из Пренесте навстречу супругу. До Брундизия ее сопровождал эскорт из трех тысяч всадников. В пути к обанкротившейся матроне примкнул Мунаций Планк, бросивший свои легионы на произвол судьбы. Это был ее последний любовник. В порту Брундизия Фульвия и Планк вызвали из Македонии военные корабли, погрузились на них и покинули Италию. Так бесславно закончила свою бурную деятельность эта выдающаяся авантюристка, еще недавно понукавшая весь сенат, с легкостью распоряжавшаяся как собственностью римских граждан, так и соседними царствами. Она проиграла схватку с новым хозяином Рима, молодым, но чрезвычайно хватким и расчетливым наследником Цезаря.

4. Восточные увлечения Антония

«Союз неподражаемых»

Пока вся Италия пылала мятежом, Антоний «собирал деньги среди чужеземцев» и вкушал плоды недавней победы над республиканцами. Его имя сверкало в ореоле славы и могущества, повсюду его принимали как хозяина Востока.

«Антоний переправился в Азию и впервые ощутил вкус тамошних богатств,— повествует Плутарх,— когда двери его стали осаждать цари, а царицы наперебой старались снискать его благосклонность богатыми дарами и собственной красотою, он отдался во власть прежних страстей и вернулся к привычному образу жизни, наслаждаясь миром и безмятежным покоем... Всякие там кифареды Анаксеноры, флейтисты Ксуты, плясуны Метродоры и целая свора разных азиатских музыкантов, наглостью и гнусным шутовством далеко превосходивших чумной сброд, привезенный из Италии, наводнили и заполонили весь двор Антония и все настроили на свой лад, всех увлекли за собою — это было совершенно непереносимо! Вся Азия, точно город в знаменитых стихах Софокла, была полна

Курений сладких, песнопений, стонов, слез...

Когда Антоний въезжал в Эфес, впереди выступали женщины, одетые вакханками, мужчины и мальчики в обличье панов и сатиров, весь город был в плюще, в тирсах, повсюду звучали псалтерии, свирели, флейты, и граждане величали Антония Дионисом — Подателем радостей, Источником милосердия...»

Римскому триумвиру, таким образом, воздавались божеские почести. Всеобщее восхищение и угодничество быстро вскружили ему голову. Антоний лихо распоряжался судьбой подвластных провинций и зависимых царств, нередко творя чудовищные беззакония. Многие приказы его основывались на чисто личных симпатиях и антипатиях. Умевшие подольститься к нему добивались всего, чего желали, и триумвир охотно пользовался их радушием.

Особую тягу обнаружил Антоний к азиатским женщинам, в первую очередь к венценосным супругам царей. Примером в этом служил ему Цезарь, походные романы которого с зависимыми царицами сделались его стойким хобби. Преемник диктатора действовал еще откровеннее.

«В Каппадокии,— пишет Аппиан,— он творил суд над Ариарафом и Сисинной, причем содействовал воцарению Сисинны, прельстившись красотой матери его, Глафиры».

Последняя была, очевидно, супругой каппадокийского

царя Ариобарзана III, казненного Кассием перед Филиппами. С санкции республиканцев на престол Каппадокии взошел брат казненного Ариараф, но его права стала оспаривать враждебная придворная группировка, выдвинувшая царем малолетнего сына Ариобарзана Сисинну. Прибыв в Каппадокию, Антоний вмешался в династический спор и разрешил его в пользу прямого наследника Ариобарзана. Главную роль сыграла здесь мать Сисинны царица Глафира, вступившая с Антонием в любовную связь.

Слух о романе триумвира с каппадокийской царицей быстро распространился по Востоку и, как мы уже видели, отозвался даже в Риме. Любовная история происходила летом 41 года. Только военные осложнения на границе с парфянами заставили Антония покинуть гостеприимную царицу.

Можно считать, что Глафира — это несостоявшаяся Клеопатра. Неизвестно, как развивались бы их отношения, не приведи Антония судьба в киликийский город Тарс, где он надумал послать послов в Египет с требованием к Клеопатре явиться к нему для отчета. Мало кто в это время подозревал, чем обернется встреча могущественного триумвира с одной из зависимых цариц, пусть даже такого крупного государства, как Египет.

Клеопатра Филопатора, дочь Птолемея XII Авлета, демоническая женщина, одержимая необъятным властолюбием, к этому времени вошла в ту пору, «когда и красота женщины в полном расцвете, и разум ее всего сильнее и острее» (Плутарх). В 41 году ей исполнилось 28 лет.

Египтянка «не знала пределов ни в любовной страсти, ни в стяжательстве» (Дион). На ее счету было два мужа, немало любовников, в том числе римских полководцев, самый значительный из которых — Юлий Цезарь. Будучи изгнанной придворными из Александрии, она вернула трон при помощи любовных чар, обольстив римского диктатора. В Риме серьезно опасались, что старый Цезарь вступит в брак с царицей Египта и провозгласит сына Клеопатры, рожденного от него, своим полномочным наследником.

После гибели диктатора Клеопатра искусно лавировала между враждующими римскими партиями, желая лишь одного: удержаться на троне Египта. Только встреча с Антонием возродила в ней прежние далеко идущие замыслы и подвигла к непомерным притязаниям. Она была уверена, что все мужчины вокруг обожают ее и что таким путем, вступая в любовную связь с могущественными правителями, она достигнет того, чего другие должны добиваться силою оружия.

О сладострастии египтянки ходили легенды, обраставшие потрясающими подробностями. «Она была так развратна,—

сообщает Аврелий Виктор,— что часто проституировала, и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи».

Неотразимая красота Клеопатры — позднейший миф. Сохранившиеся прижизненные скульптурные и монетные изображения являют нам решительное, несколько мужиковатое лицо, глубоко посаженные глаза, длинный изогнутый нос и вытянутый волевой подбородок. Очарование нильской правительницы заключалось в умелом обхождении. «Ее облик, сочетавшийся с редкой убедительностью речей,— отмечает Плутарх,— с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был точно многострунный инструмент, легко настраивающийся на любой лад, на любое наречие»[1]. «У нее был прелестный голос,— вторит Дион,— она умела быть обаятельной со всеми. Наслаждением было смотреть на нее и слушать ее речи. Она могла легко покорить любого человека,— даже мужчину уже не молодого и пресытившегося любовью». Именно обхождением египтянка вскружила голову искушенному в любви Цезарю, а следом и другим великим римлянам.

Остается только гадать, чем эта непревзойденная чаровница так насолила Цицерону, что навсегда настроила его против себя. «Царицу я ненавижу»,— откровенно писал старый оратор в 44 году. Насколько можно судить, гнев Цицерона вспыхнул на почве его научных занятий. Клеопатра, будучи в Риме, осыпала его льстивыми обещаниями, но когда Цицерон, поверив в ее искренность, явился к ней в дом за какими-то книгами, египтянка обошлась с ним неучтиво и оскорбительно. Во время диктатуры Цезаря Цицерон был оттеснен на задворки общественной жизни и не представлял особого значения. Разборчивая высокомерная царица хорошо понимала, где требуется ее знаменитая изысканность, а где можно не особо церемониться.

Эта-то честолюбивая особа и появилась внезапно на пути овеянного славой Антония, разом перевернув его жизнь. Получив строгое предписание триумвира отчитаться за свои действия во время Филиппинской войны, Клеопатра поначалу колебалась, ехать ли ей к Антонию в Тарс. На выручку пришел посол триумвира Квинт Деллий, который «сразу же

---

[1] Клеопатра владела восемью языками, в том числе такими редкими по тому времени, как арабский и эфиопский. Современники отмечали, что она первой из Птолемеев стала общаться со своими подданными на их родном языке. До нее цари говорили только на языке завоевателей — на греческом.— *Прим. автора.*

сообразил, что такой женщине Антоний ничего дурного не сделает, напротив, сам полностью попадет под ее влияние, а потому принялся всячески обхаживать египтянку, убеждая ее ехать в Киликию, как сказано у Гомера, «убранством себя изукрасив», и совершенно не бояться Антония, среди всех военачальников самого любезного и снисходительного. Клеопатра последовала совету Деллия и, помня о впечатлениях, которые произвела ее красота на Цезаря и Гнея, сына Помпея, рассчитывала легко покорить Антония» (Плутарх).

Клеопатра, несомненно, уже хорошо изучила нрав и привычки Антония, когда в 46—44 годах гостила в Риме у Цезаря. Впрочем, Аппиан утверждает, что познакомились они много раньше, еще до того, как Клеопатра встретилась с Цезарем. Антоний, пишет Аппиан, «был увлечен красотою Клеопатры, когда она была еще ребенком, а он юношей в звании начальника конницы сопровождал в Александрию Габиния». Это случилось в 55 году. Авл Габиний восстанавливал в Египте изгнанного царя Птолемея Авлета, отца Клеопатры. Ей было тогда всего тринадцать лет. Если учесть, что южные женщины созревают очень рано, царевна предстала перед Антонием в первоцвете незамутненной юности. Теоретически такая встреча вполне могла иметь место, хотя, кроме Аппиана, никто о ней не упоминает.

В роду Птолемеев женщины вообще отличались умом и крепким здоровьем, почему часто подминали под себя слабоумных и хилых мужчин. Старшая сестра Клеопатры Береника, владея троном в отсутствие отца, сменила нескольких мужей, которых уничтожала по прошествии короткого времени. Юной Клеопатре было с кого брать пример.

Итак, египетская царица вняла совету хитрого Деллия и уже в октябре 41 года с флотилией приблизилась к берегам Киликии. Плутарх довольно красочно описывает прибытие Клеопатры в Тарс. Царица плыла на корабле «с вызолоченной кормой, пурпурными парусами и посеребренными веслами, которые двигались под напев флейты, стройно сочетавшийся со свистом свирели и бряцанием кифар. Царица покоилась под расшитою золотом сенью в уборе Афродиты, какою изображают ее живописцы, а по обе стороны ложа стояли мальчики с опахалами — будто эроты на картинах. Подобным же образом и самые красивые рабыни были переодеты нереидами и харитами и стояли, кто у кормовых весел, кто у канатов. Дивные благовония восходили от бесчисленных курильниц и растекались по берегам. Толпы людей провожали ладью по обеим сторонам реки, от самого устья, другие толпы двинулись навстречу ей из города, мало-помалу начала пустеть и площадь, и в конце концов Ан-

тоний остался на своем возвышении один. И повсюду разнеслась молва, что Афродита шествует к Дионису на благо Азии».

Соревнуясь с триумвиром в роскоши, Клеопатра хотела затмить всех азиатских династов, с кем Антоний встречался до сих пор, и вполне достигла желаемого. Не только Антоний, все его окружение было заворожено блеском и пышностью египетской гостьи. Одержав победу, Клеопатра смело развивала успех. На приглашение Антония отобедать у него она ответила встречным приглашением, на что гордый воитель с готовностью согласился.

Дворец, в котором Клеопатра принимала Антония, потряс воображение триумвира: «Пышность убранства... не поддается описанию, но более всего его поразило обилие огней. Они сверкали и лили свой блеск отовсюду и так затейливо соединялись и сплетались в прямоугольники и круги, что трудно было оторвать взгляд или представить себе зрелище прекраснее» (Плутарх). На другой день Антоний принимал царицу у себя и предпринял все меры, чтобы превзойти ее в роскоши и изысканности, но, видя себя побежденным в том и в другом, первым стал насмехаться над убожеством своей пиршественной залы. В отличие от Юлия Цезаря, блиставшего образованностью, его преемник в остроумии не мог подняться выше уровня лагерного центуриона. Разгадав в нем по его шуткам грубого и пошлого солдафона, Клеопатра сама заговорила в подобном тоне, чем лишний раз доказала врожденную способность мимикрировать и приспосабливаться к любым обстоятельствам.

Антоний, памятуя о политике, пытался было учинить ей допрос, но обольстительная египтянка с легкостью парировала подобные поползновения, «скорее объясняя, чем оправдываясь». Свое неучастие в войне с республиканцами она списала на неблагополучные погодные условия и личное недомогание. Антоний, угождая гостье, быстро замял эту тему. Постель египетской царицы окончательно покорила триумвира. По словам Аппиана, он «тотчас влюбился в нее, как юноша, хотя ему в это время исполнилось уже сорок лет».

Если до встречи с Клеопатрой в Тарсе Антоний еще както откликался на происходящие вокруг события и вел самостоятельную линию, то страсть к египтянке совершенно выбила его из седла. Отныне почти все он творил по подсказке новой фаворитки и в ее интересах. Вся предыдущая интимная жизнь римлянина указывала, что ему не хватало лишь настоящей госпожи, которая крепко приберет его к рукам. Политика Антония на Востоке сделалась явно проегипет-

ской. Перемена была настолько разительной, что близкие к триумвиру люди сокрушенно разводили руками. «Так быстро изменился Антоний,— сетовал даже через много лет Аппиан,— и охватившая его страсть сделалась для него и началом и концом всех дальнейших бедствий». «Последней напастью» называл любовь Антония к Клеопатре Плутарх.

В угоду любовнице триумвир распорядился казнить ее соперницу в борьбе за власть, сестру Арсиною, а также выдал на расправу царице отколовшихся от нее наместников. В довершение Антоний вообще оставил свои легионы, покинул Азию накануне парфянского нашествия и поспешил вслед за царицей в Египет. Не имея официального поручения сената, он явился в Александрию частным гостем Клеопатры.

Александрийская зима 41/40 года, без сомнения, была самым счастливым временем в личной жизни первого триумвира и одновременно нанесла немалый урон его престижу. «В Александрии,— по выражению Плутарха,— он вел жизнь мальчишки-бездельника и проматывал самое драгоценное достояние — время». Роман с египтянкой на полгода выключил Антония из общественной жизни, дав окрепнуть его политическим и военным противникам. Парфянская армия, почти не встречая сопротивления, оккупировала Сирию, Палестину и большую часть Малой Азии, а в самой Италии разразилась новая гражданская война. Все это мало заботило триумвира, целиком отдавшегося утехам в обществе Клеопатры.

В Александрии любовники учредили так называемый «Союз неподражаемых», единственной целью которого стали дорогостоящие пиры и развлечения. Где бы Антоний ни появлялся, что бы он ни делал: трапезничал или играл в кости, охотился или занимался гимнастическими упражнениями— Клеопатра была рядом с ним, открыто демонстрируя интимную близость с могущественным полководцем. Страна, еще не оправившаяся от засухи и мора 43—42 годов, вынуждена была оплачивать изощренные оргии Новых Диониса и Афродиты, проматывавших баснословные деньги. Плутарх передает со слов одного очевидца описание подачи к столу Антония в течение дня множества обильных блюд. Создавалось впечатление, что любовная чета вообще не покидала пиршество. Упоенные счастьем, римлянин и египтянка тут же раздаривали гостям имущество и драгоценности.

Плутарх же передает анекдот о том, как Антоний удил в Александрии рыбу. Фабула слабо касается настоящей темы, хотя содержит весьма характерные штрихи: раздражение римлянина из-за плохого клева (триумвир даже в мелочах не желал выглядеть неудачником) и насмешливо-добродушное отношение к нему египетской хозяйки. «Клеопатра... ис-

хитрялась разделять лесть не на четыре, как сказано у Платона, а на много частей, и, всякий раз сообщая все новую сладость и прелесть любому делу или развлечению, за какое ни брался Антоний, ни на шаг не отпускала его ни днем ни ночью, крепче и крепче приковывая к себе римлянина».

Иногда по ночам неистощимые на выдумку любовники переодевались в одежды раба и рабыни, тайно покидали дворец, бродили по спящему городу, стучали в двери домов и осыпали шутками всполошенных хозяев. Их встречали кулаками, но это только подзадоривало разгулявшуюся чету. Антоний и Клеопатра не раз терпели в ночных стычках крепкие побои, пока большинство александрийцев не догадалось, с кем они имеют дело.

Египтяне не без сарказма говорили, что для римлян Антоний надевает маску трагическую, а для них комическую.

Впрочем, скандальные вылазки любовников в город выглядят сумасбродством только на первый взгляд. Они вполне могли носить ритуальный характер, известный посвященным. Тот же Плутарх в «Греческих вопросах» упоминает празднество в честь Гермеса Подателя Радости на Самосе, во время которого участники торжеств переодевались в чужую одежду и им дозволялось воровство. В Пелории и Фессалии хозяева даже прислуживали рабам. Поскольку Антоний, отождествленный с Дионисом, принял тот же эпитет — Χαριδωτης — Податель Радости,— все его проделки под личиной раба кажутся частью какого-то ритуального карнавала. Смысл, вероятно, тот же, что и в римских Сатурналиях (возможно, даже совмещение двух обрядов): отвратить зависть небес и создать иллюзию социального равенства. Вероятно, анекдотическая окраска была придана этому ритуалу впоследствии.

В этой связи стоит вспомнить нашумевшее сообщение о том, что гордый триумвир дал Клеопатре заковать себя в цепи и добровольно подвергся бичеванию. Не поторопимся и сей казус приписать сексуальной извращенности. В Спарте издавна существовал обычай бичевания (диамастигосис) юношей перед алтарем богини Артемиды. Тот, кто дольше всех переносил побои, обретал славу и становился знаменитым. В практике восточных культов нередко применялось ритуальное самоистязание — «умерщвление плоти» — с эффектом, совершенно обратным тому, который производит «мазохизм» Антония.

Пресловутые «женственность» триумвира и «мужеподобие» египтянки всячески раздувались октавианской пропагандой накануне Актийской войны. Даже позднейшие хронисты следовали в русле официальной концепции победившей

стороны, оперируя одними и теми же образами и сравнениями (Геракл и Омфала у Плутарха и пр.). На самом же деле многие «уличающие» факты, подобные сказанным, преподносимые широкой публике (особенно современникам-римлянам) как признаки несомненной деградации Антония, являются, вполне вероятно, элементами неких сакральных обрядов, сохранившихся на эллинской, тем более на египетской почве. Если триумвир и заслуживал в глазах соотечественников осуждения, то не за мягкотелость и женственность, но, скорее, за податливость чужеземным обычаям. Но это та статья, под которую с тем же успехом попадали и Сулла, и Цезарь, и даже Цицерон.

Еще античные авторы сходились во мнении, что Клеопатра просто искусно разыгрывала роль влюбленной, чтобы крепче привязать к себе популярного в Риме полководца. Сделав ставку на Антония в своих расчетах, египтянка не скупилась на клятвы и обещания, пустила в ход все чары, которыми ее щедро наделила природа. Полагают, что по-настоящему она любила и почитала лишь одного Цезаря, а богатырь-триумвир выступал лишь в качестве тени покойного диктатора, притом лишенной многих свойств и дарований своего великого предшественника.

Какие выгоды, кроме территориальных приобретений, преследовала нильская чаровница, можно только догадываться. Конечно, всякие рассуждения о ее стремлении диктовать законы на Капитолии — позднейшее преувеличение. Не могло быть никакой речи об установлении власти Клеопатры в Риме, поскольку даже в Египте ее положение оставалось непрочным; тайное убийство давно свергнутой сестры — лучшее тому доказательство. Царица опасалась волнений мятежных александрийцев и страшилась повторного изгнания. Рим, обладавший мощной армией, выступал гарантом стабильности царской власти. Некоторые исследователи полагают, что основной целью поездки Клеопатры к Цезарю в 46 году было обеспечить твердое престолонаследие в своей стране: она желала, чтобы римский сенат утвердил ее сына царем Египта. При Цезаре она этого не добилась (был еще жив ее брат-соправитель Птолемей XIV, а диктатор, несмотря на всю любовь к египтянке, не очень-то пестовал родного сыночка) и теперь возложила надежды на Антония, оказавшегося более податливым.

Клеопатра, несомненно, пользовалась огромным влиянием на влюбленного в нее триумвира, однако ошибочно считать, что сорокалетний император, стяжавший власть в трудной и изнурительной борьбе, сделался вдруг безропотным рабом египетской колдуньи, предав ради нее личные и государст-

венные интересы. Попытки изобразить дело подобным образом происходят из стана противников Антония. Союз с богатым ресурсами Египтом был выгоден Риму по политическим и материальным соображениям, особенно в преддверии Парфянской кампании. Подтверждением тому служит факт, что сенат утвердил все, что Антоний сделал на Востоке в 41—40 годах.

Антоний уехал из Александрии, когда Клеопатра была на шестом месяце беременности. В июне 40 года царица родила близнецов — мальчика и девочку. Поскольку любовная связь римлянина и египтянки представлялась как союз божественных владык эллинистического типа, то и их дети получили соответствующие имена: Александр Гелиос («Солнце») и Клеопатра Селена («Луна»).

5. Октавия или Клеопатра: роковой выбор

Плутарх сильно преувеличивал, сокрушаясь по поводу «последней напасти», свалившейся на Антония в образе искушенной владычицы Нила. Стоило только Антонию покинуть Египет и вернуться в Италию, как он тут же вступил в новый брак, причем римская жена на целых три года вытеснила из жизни триумвира неотразимую египтянку.

Новому браку Антония предшествовали бурные события. Потерпевшая поражение в войне с Октавианом Фульвия бежала из Италии навстречу супругу. Хотя военные неудачи и морская качка подорвали здоровье сорокалетней матроны и по прибытии в Грецию она сильно занемогла, прежняя ненависть к наследнику Цезаря испепеляла ее. Фульвия мечтала о реванше и подогревала Антония, дабы он возобновил италийскую распрю.

Встреча супругов произошла в Афинах. Антоний, раздосадованный не столько самим мятежом, сколько поражением своих родственников, осыпал Фульвию жестокими упреками. Она же, вместо того чтобы смиренно докладывать о провале кампании, сама обрушилась на Антония с градом претензий. Она обвиняла его в супружеской неверности. В конце концов благородная чета окончательно разругалась. Тяжелобольная Фульвия осталась на лечение в Сикионе, а Антоний с флотом отчалил в Италию. Он даже не зашел попрощаться с женой, чем только усилил ее недуг.

Столкновение триумвиров казалось неминуемым. Передовые отряды Антония уже напали на легионы Октавиана, как в ход событий своевременно вмешалась судьба. В сентябре 40 года Фульвия умерла в Сикионе, устранив своей смертью одну из главных причин продолжающейся усобицы. Полага-

ли, что она добровольно способствовала развитию своей болезни из-за гнева Антония. Аппиан добавляет, что «Антоний принял смерть Фульвии близко к сердцу, так как считал себя несколько виноватым в ней».

Уставшие от гражданских распрей ветераны требовали примирения триумвиров. И Антоний и Октавиан сбавили воинственный пыл, вспыхнувшая вражда угасла благодаря усилиям посредников. «В смерти Фульвии обе стороны увидели благоприятное обстоятельство, так как эта смерть освобождала их от беспокойной женщины, из одной только ревности к Клеопатре вызвавшей такую войну». Предсказание Цицерона о злом роке Фульвии в супружеской жизни не сбылось; похоронив двух мужей, уплатив два «взноса» государству, она не пережила Антония. Третьим «взносом» стала она сама.

Соглашение Антония и Октавиана в Брундизии (октябрь 40 года) восстановило пошатнувшийся триумвират и принесло народу мирную передышку. Стороны подтвердили прежний союз, а недавние стычки сочли недоразумением, возникшим вследствие происков неуравновешенной женщины и ее преступного окружения. Козлом отпущения выбрали управляющего делами Антония в Риме, Мания. Антоний приказал его убить «за то, что он возбуждал Фульвию, наклеветав на Клеопатру, и таким образом оказался виновником стольких зол» (Аппиан).

Тогда-то и выступила на авансцену прекрасная сестра Октавиана. Овдовевший Антоний самой свободой своей напрашивался на новый брак. У ретивых посредников в переговорах с Октавианом тотчас же явился план заново породнить триумвиров, скрепив таким образом возобновленный союз. Кокцей, Асиний Поллион и Меценат — инициаторы свадьбы закаленного полководца с молодой и цветущей Октавией — не жалели сил в устройстве этого брака. Оба триумвира немедленно выразили свое согласие.

Октавия обладала редкостной красотой, сочетавшейся с мягким, покладистым характером и завидной добродетелью. На фоне разнузданных Фульвий и Сервилий она выглядела замечательным исключением. Современники не уставали превозносить достоинства сестры Октавиана. По выражению Плутарха, она была «настоящим чудом среди женщин».

Прижизненный базальтовый бюст, хранящийся ныне в Лувре, представляет нам Октавию в расцвете красоты и молодости: чертами лица она весьма напоминает своего великого брата. Волнистый зачес на лбу — дань позднереспубликанской моде, вскоре отмененной Октавианом, — свидетельствует о тщательном уходе за своей внешностью. Вместе с тем

в облике Октавии нет ничего крикливого, напыщенного, как в изображениях ее высокородных современниц, лицо Октавии отличается ясностью и простотой. Для человека благородного, приверженного семье лучшей жены нельзя было и желать.

Историки запутались в датах ее рождения. Одни называют 61 год, другие — 65-й, третьи — 69-й. Плутарх указывает, что Октавия была старшей сестрой Октавиана, причем не родной, а единокровной, рожденной в первом браке отца с Анхарией. В семье ее, впрочем, называли Октавией Младшей, в отличие от самой первой дочери с тем же именем. По всей видимости, Октавия была намного старше брата: об этом свидетельствует время ее первого брака — 54 год. Даже если учесть, что римские девушки выходили замуж в самом юном возрасте, в 54 году Октавии могло быть никак не меньше четырнадцати лет. Следовательно, наиболее вероятная дата ее рождения — 69 год, и это значит, что она приходилась ровесницей царице Клеопатре.

Скромная красавица должна была разделить участь римлянок высшего света. Родня бесцеремонно распоряжалась их судьбами в своих политических и финансовых расчетах. Когда в 54 году умерла во время родов Юлия, дочь Цезаря и жена Гнея Помпея, Цезарь, стремясь сохранить союз с могущественным полководцем, стал сватать за него Октавию, несмотря на то что она уже была замужем и имела детей.

Первый муж Октавии, Гай Клавдий Марцелл, консул 50 года, один из выдающихся помпеянцев, был помилован Цезарем после Фарсала, но от активной политической жизни отстранен. Он умер в начале 40 года, оставив Октавии двух дочерей и сына. Брат Октавии, целиком воспринявший методы Цезаря в семейных отношениях, распорядился, чтобы сестра в высших интересах государства сочеталась супружескими узами с Антонием.

Но, прежде чем состоялась свадьба, Антоний был вынужден объяснить Октавиану сущность своих взаимоотношений с Клеопатрой. Антонию был задан прямой вопрос: нужно ли считать его связь с египетской царицей браком или нет? Плутарх пишет, что Антоний не отрицал сожительства с Клеопатрой, но признать свою связь с ней браком отказывался. Такой ответ удовлетворил Октавиана. В самом деле, мало ли что случается с римскими полководцами за границей. Походные флирты еще ни к чему не обязывают. А что касается закона, то он вообще не признавал браком любовные связи римских граждан с неримлянами. Прагматизм возобладал, и по возвращении в Италию Антоний предпочел политическую трезвость египетскому увлечению.

Оставалось последнее препятствие: по закону вдове запрещалось вступать в новый брак раньше, чем через девять месяцев со дня смерти прежнего мужа. Именно так определялся отец детей, которые могут появиться у вдовы. С момента смерти Гая Марцелла минуло лишь шесть месяцев. Но и это препятствие было удачно преодолено: подконтрольный триумвирам сенат особым постановлением сократил для Октавии установленный срок. После этого союзники съехались в Рим и отпраздновали свадьбу.

Жених едва ли видел невесту до бракосочетания: Октавия редко появлялась в обществе, предпочитая домашний круг. Тем удивительнее была сильная страсть, вспыхнувшая между ними. Прекрасно образованная, воспитанная Октавия сумела затмить в глазах Антония надменную и невоздержанную Клеопатру. Впрочем, отмечает Аппиан, Антоний вообще быстро увлекался женщинами.

По логике вещей, Октавия не должна была любить навязанного ей мужа, пользовавшегося к тому же дурной репутацией. Однако случилось невероятное: разборчивая и взыскательная матрона быстро привязалась к этому грубоватому, сумасбродному, честолюбивому, но вместе с тем привлекательному, несмотря на возраст, мужчине, умевшему нет-нет да и блеснуть широтой натуры. Октавия с радостью отдалась узам брака и одарила супруга всей нежностью, на какую только была способна. Пожалуй, это была самая удачная партия славного триумвира.

Вступив в брак, Антоний и Октавия объединили свое потомство: малолетние сыновья триумвира от Фульвии — Антилл и Юлл — поступили на воспитание Октавии, и она, надо отдать ей должное, заботилась о них как настоящая мать.

Ближайшие годы сулили новобрачным семейное счастье. В 39 году они выехали на Восток, где Антоний готовил военную кампанию против парфян, и остановились на зиму в роскошных Афинах. Несомненно, под влиянием жены, предпочитавшей во всем умеренность и чистоту, Антоний «сменил жизнь вождя на скромную жизнь частного человека, носил четырехугольную греческую одежду и аттическую обувь, не имел привратников, ходил без несения перед ним знаков его достоинства, а лишь с двумя друзьями и двумя рабами, беседовал с учителями, слушал лекции. И обед у Антония был греческий... празднества и развлечения он делил с Октавией» (Аппиан). Казалось, что от прежнего кутилы и сумасброда не осталось и следа, настолько разительно отличалась зимовка Антония в Афинах от недавней разгульной зимы в Александрии в гостях у Клеопатры.

Согласно Плутарху, Антоний принял в Афинах должность гимнасиарха — устроителя общественных игр, причем лично участвовал в атлетических состязаниях и, «схватываясь с молодыми борцами, ловкими приемами валил их наземь». В этом, очевидно, он не изменил прежним привычкам и с удовольствием демонстрировал перед Октавией свою силу и удаль, как раньше перед Клеопатрой.

Зимой 39 года Октавия родила Антонию дочь, названную его родовым именем. Это была Антония Старшая, в отличие от Антонии Младшей, будущей матери Германика и Клавдия, появившейся на свет два года спустя.

Пребывание Октавии на Востоке, благоразумие, внушенное ею Антонию, сказывались и на ходе военных действий на парфянском фронте. За два года легаты Антония вытеснили парфян за реку Евфрат, разгромив основные силы противника. Впрочем, античные авторы находили причину успеха в том, что Антоний не участвовал лично в крупных операциях, отвлеченный любовью к жене. Впоследствии, когда он возглавлял большой поход, на него тут же посыпались неудачи.

Изображения Октавии стали фигурировать на монетах Антония, отчеканенных в восточных провинциях. Реверс одной из тетрадрахм 35 года представляет бюст Октавии в окружении извивающихся змей. Хотя монета перечисляет должности и титулы Антония, никак не называя Октавии, профиль супруги триумвира не вызывает сомнений у идентификаторов. Змеи у греков считались атрибутами богини Деметры (римской Цереры), с каковою, видимо, Октавия отождествлялась в данном случае.

Часто монеты представляли обоих супругов — обычай, воспринятый у эллинистических царей. Легенда на афинской тетрадрахме 39/38 года называет супружескую чету Теонами-Евергетами — Богами-благодетелями, одним из титулов, преподнесенных им восторженными подданными. Октавиан на Западе еще не позволял себе подобную роскошь и воздерживался от чеканки профиля своей жены Ливии Друзиллы.

Зиму 38/37 года высоковластные супруги провели вновь в Афинах. На сей раз, похоже, Антоний не устоял перед соблазном потешить свое тщеславие и вознестись над простыми смертными, преподнеся населению ряд пропагандистских акций. Ему еще было отчего заноситься: дела на парфянском фронте шли пока успешно, могущество восточного триумвира казалось незыблемым. К тому же Антонию кружила голову сопутствующая ему в Афинах всеобщая лесть.

Это были уже не те горделивые афиняне, свысока взиравшие на иноземцев. Многолетнее господство македонских

династов, а затем римлян обратило их в заштатных провинциалов, готовых пресмыкаться перед любым правителем. Но те почести, которыми они осыпали Антония, настолько превысили разумные пределы, что надолго уронили их в глазах последующих властей.

По сообщению Сенеки, триумвир был обожествлен в Афинах под именем Нового Диониса (под этим именем он фигурировал уже в Тарсе в 41 году) и ему в супруги предназначалась покровительница города богиня Афина (у Сенеки — Минерва). Депутация горожан угодливо преподнесла Антонию тысячу талантов серебра в качестве приданого невесты. По обычаю, статуя Нового Диониса заняла почетное место в афинском Пантеоне.

Обожествление царей, их приближенных, да и просто частных лиц было обычной практикой в эллинистическом мире. Вольность религиозных взглядов позволяла вообще любому смертному провозгласить себя богом. Трудность, как замечает Э. Бикерман, состояла лишь в том, чтобы найти верующих. Однако примеры бракосочетания эллинистических правителей с каким-либо божеством (именно божеством, а не с обожествленной женщиной) в исторических анналах не отмечены. Лишь Вторая книга Маккавеев бегло упоминает о намерении Антиоха IV вступить в брак с богиней Нанайей, с тем чтобы забрать ее богатства в качестве приданого. В этом случае аналогия с действиями Антония напрашивается сама собой.

То, что бракосочетание Нового Диониса с Афиной происходило в присутствии здравствующей Октавии, надо думать, сообщало представлению немалую пикантность. Римская матрона могла утешать себя лишь сознанием, что свадьба эта является чисто символической. Возможно, супруг оправдывал перед ней свой поступок нуждою в деньгах. Как бы то ни было, римский брачный закон закрыл глаза на очередную выходку триумвира. Таким образом, Афина стала пятой по счету женой Антония, не считая Клеопатры. От дочери вольноотпущенника и двоюродной сестры он добрался до эллинских божеств.

В фиктивном браке Антония с Афиной, равно как и в увлечении восточной пышностью, проявилась растущая тяга триумвира к классическим формам эллинистической монархии. С каждым годом своего пребывания на Востоке он все больше терял римское лицо и превращался в самодержца селевкидского и птолемеевского образца. Не случайно, считает Г. Хафнер, голова бронзовой статуи Антония, найденная в Киликии, обнаруживает характерное сходство с изваяниями Деметрия I Селевкида.

В декабре 38 года истекал срок триумвирата, но оба властителя — и Антоний, и Октавиан — не думали складывать власть. Они договорились встретиться в Таренте, на южном побережье Италии, обсудить текущие дела, обменяться необходимой помощью и продлить свои чрезвычайные полномочия. К этому времени между триумвирами накопилось немало противоречий и взаимных претензий, для устранения которых снова потребовались посредники.

Эту роль взяла на себя Октавия, одинаково близкая обоим императорам. Молодая матрона показала себя искусным дипломатом. В марте 37 года с ведома Антония она приехала к брату. Аппиан передает содержание предварительных переговоров в семейном кругу: «Цезарь [Октавиан] жаловался, что его покинули в опасном положении, в какое он попал в проливе [воюя с пиратским флотом Секста Помпея], Октавия же указывала, что этот вопрос уже выяснен при посредстве Мецената. Цезарь указывал далее на то, что Антоний послал своего вольноотпущенника Каллия к Лепиду с тем, чтобы заключить союз с Лепидом против него. Октавия утверждала, что, как ей известно, Каллий был послан для заключения брака: Антоний перед парфянским походом хотел выдать свою дочь за сына Лепида, на что имелось уже согласие». Октавия последовательно оправдывала супруга перед подозрительным братом и сумела рассеять его сомнения. Она подготовила личную встречу триумвиров и неизменно присутствовала на дальнейших переговорах.

В Таренте сначала Октавиан без охраны провел ночь в доме Антония и Октавии, затем Антоний выказал такое же доверие к своему коллеге. Таким образом, наведываясь друг к другу в гости, триумвиры решили все проблемы. Антоний предоставил Октавиану для войны с пиратами 120 кораблей; последний, в свою очередь, передал Антонию 20 тысяч новобранцев, должных участвовать в Парфянском походе. Октавия и здесь не осталась в стороне. Сверх оговоренного она выпросила у мужа 10 быстроходных триер, которые передала брату. Взамен Октавиан подарил сестре тысячу отборных телохранителей, которые, разумеется, поступили в распоряжение Антония.

Казалось, надежды римлян в 40 году, при заключении брака Антония с сестрой Октавиана, теперь полностью оправдались. Октавия стала связующим звеном между двумя властителями римской державы, отношения которых «постоянно менялись, склоняясь то к подозрительности вследствие стремления к власти, то к взаимному доверию в силу необходимости» (Аппиан). Немногие осмеливались предсказать, что это была последняя встреча триумвиров и их последнее соглаше-

ние и что пропасть между ними отныне будет неуклонно расширяться, пока не достигнет критических размеров.

Антоний отбыл на Восток, оставив жену на попечение ее брата. Тому была объективная причина: Октавия только что родила вторую дочь и еще не оправилась от родов. Между тем Антоний готовился к широкой военной кампании, требующей постоянных разъездов, а они могли повредить ослабленному здоровью супруги. На руках Октавии осталось все потомство триумвира, в том числе сыновья, рожденные Фульвией. Только старший сын, Антоний Антилл, впоследствии примкнул к отцу на Востоке.

Плутарх рассказывает, что в свите Антония находился искусный египетский прорицатель, составлявший гороскопы. В свое время он был приставлен к триумвиру Клеопатрой в качестве ее агента. Выполняя, очевидно, задание своей госпожи, прорицатель всюду сопровождал Антония и старался внушить ему мысль о бесплодности пребывания в Италии, где его гений впадает в смирение и уныние вблизи гения молодого Октавиана, так что Антонию следует держаться подальше от этого юноши. В конце концов Антоний внял совету хитрого прорицателя и покинул отчизну.

События, последовавшие за высадкой Антония в Сирии, неприятно поразили оставленную в Риме супругу и многих римлян повергли в недоумение и растерянность. Осенью того же года Антоний вновь встретился с Клеопатрой и справил с ней в Антиохии пышную свадьбу. Прежняя страсть к египтянке, заглушенная было присутствием благоразумной жены, неожиданно дала знать о себе с новой необыкновенной силой. Отступив на три года в тень, коварная владычица Египта взяла стремительный реванш.

Плутарх сообщает, что Антоний сам вызвал египетскую царицу; в Антиохию ее привез его легат Гай Фонтей Капитон, впоследствии прославившийся низким угодничеством перед Клеопатрой.

Несомненно, антиохийское бракосочетание носило сакральный характер и в глазах эллинов уподоблялось справленному ранее символическому браку Антония — Нового Диониса с богиней Афиной. Только теперь римлянин выступал в роли Осириса и заключал брачный союз с нильской богиней, ибо Клеопатра почиталась в Египте как воплощенная Исида. Мы уже видели, как римский триумвир в политических целях охотно принимал образы эллинистических божеств. То, что в Антиохии Сирийской находился один из крупнейших храмов Исиды, воздвигнутый еще Селевком II, делал город лучшим местом для подобного представления.

«Священный брак» известен на Востоке с древнейших времен. В Вавилонии ежегодное ритуальное соитие Мардука и Царпанитум по религиозным представлениям символизировало оплодотворение Матери-Природы и обеспечивало плодородие земли. Во время праздничной церемонии «священного брака» роли богов исполняли их «заместители» — обычно правитель страны и храмовая жрица. Нельзя ли предположить, что в Антиохии случилось нечто подобное? Или бракосочетание Антония и Клеопатры воспроизводило некие формы знаменитых египетских мистерий Осириса и Исиды?

Как бы то ни было, свадьба триумвира с египетской царицей не повлекла тех необходимых последствий, которых требовало как греческое, так и римское брачное право. Законная жена Антония оставалась в Риме, а для египтян бракосочетание их правительницы представлялось скорее моганатическим.

В практике Птолемеев был известен случай, когда царица Египта, единоличная правительница в данное время, получала мужа из-за рубежа. Старшая сестра Клеопатры Береника IV сочеталась с каппадокийским царевичем Архелаем, причем последний не воссел на престол Египта и не был включен в состав царской династии, но, по-видимому, занял лишь должность главнокомандующего армии. В случае с Антонием речь, конечно, не могла идти о каких-либо видах на египетский престол (триумвира вполне устраивало положение сюзерена переднеазиатских царств), хотя подобная ситуация выглядела бы отнюдь не так комично, как может показаться на первый взгляд. Объявил же Октавиан Египет своим личным владением и принял там по всем правилам имя фараона, оставаясь в то же время правителем Рима!

Но вернемся к антиохийской свадьбе. Если в браке с Афиной Антоний взял немалое приданое, то теперь сам сделался щедрым дарителем. Триумвир пожаловал своей новой супруге часть Киликии, обильную строевым лесом, Келесирию, отнятую у набатейского царя, финикийские города Тир и Сидон, а также город Иерихон со всей областью, производящей бальзам. Помимо того, Антоний подтвердил прежний эдикт Цезаря о возвращении острова Кипр под власть Птолемеев.

Г. Бенгтсон склонен видеть в щедрых дарениях Антония «своего рода Morgengabe — дар молодого мужа новобрачной наутро после свадьбы». Впрочем, среди исследователей существует мнение, что у Антония в его тогдашнем политическом и военном положении просто не было иного выхода, кроме как искать спонсора в лице богатой людскими и материальными ресурсами страны. Предстоящий парфянский поход

требовал огромных средств, выколотить которые из разоренных восточных провинций триумвиру было уже не под силу. В таком случае территориальные уступки Клеопатре можно рассматривать как своеобразную компенсацию за крупные денежные суммы, переданные ею своему союзнику на военные нужды.

Египет давно уже был включен в орбиту римской восточной политики. Со времен Габиния и Юлия Цезаря государство Птолемеев находилось на положении римской полуколонии. Угождая Клеопатре, Антоний почти восстановил его былое могущество. Очевидно, он рассматривал Египет как свою опорную базу в борьбе против Парфии и, что еще важнее, в грядущем противостоянии Западу.

Характерно, что антиохийская свадьба расценивалась Клеопатрой как событие исключительной важности не только в ее жизни, но и во всей истории Птолемеев. С 36 года она начала в Египте отсчет новой эры, причем этот год — 16-й год ее правления — стал обозначаться как 1-й. «Союз неподражаемых» возобновил свою бурную деятельность, но немногие тогда еще могли предположить, что это прообраз будущего отчаянного «Союза смертников».

В отличие от Афины Новая Исида была вполне земной женщиной, и брак с ней оказался отнюдь не символическим. В 36 году Клеопатра родила младенца Птолемея Филадельфа; у нее это был третий сын после Цезариона и Александра Гелиоса.

Кстати сказать, ни один из египетских отпрысков Антония ни тогда, ни впоследствии не был признан в Риме юридически в качестве потомка триумвира. Весьма показательна надпись, найденная в Афинах, где упоминается внук Антония, сын его дочери Клеопатры Селены, мавретанский царь Птолемей, причем в надписи он называется «внуком Птолемея» (?!). Казус этот вызвал оживленную дискуссию в среде историков; предлагалось видеть в последнем Птолемее прадеда по матери — Птолемея XII Авлета. В таком случае получалось, что в перечне предков Птолемея Мавретанского пропущен дед — Марк Антоний, а мать, Клеопатра Селена, юридически не имела отца. По мнению же Т. Моммзена, имя этого странного деда по матери придумали в Риме, чтобы можно было официально не называть подлинного деда. Следовательно, и Клеопатра Селена в свое время именовалась дочерью мифического Птолемея, а не Марка Антония.

Готовясь к генеральному походу на парфян, Антоний устроил основательную чистку в зависимых царствах, весьма напоминавшую охоту на ведьм. Он сверг неблагонадежных царей Галатии, Каппадокии и Понта, заменив их своими став-

ленниками. Зимой 37 года был казнен престарелый царь Коммагены Антиох Теос. Есть основания полагать, что во всех этих пертурбациях не обошлось без Клеопатры. Египтянка вела себя в Азии как верховная царица, воле которой обязаны следовать местные династы.

«Клеопатра не переставала возбуждать Антония против всех,— пишет Иосиф Флавий.— Она уговаривала его отнимать у всех престолы и предоставлять ей». Пользуясь властью Антония, Новая Исида значительно расширила собственные владения. Правитель Авилинеи Лисаний был обвинен ею в изменнических связях с парфянами; после его казни Авилинея, естественно, отошла к Египту. В неукротимом стяжательстве Клеопатра намеревалась поглотить и Иудею, и только чрезвычайная изворотливость царя Ирода, сумевшего убедить Антония в своей преданности, спасла Иудею от египетских когтей.

Не удовольствуясь земельными пожалованиями, египтянка бесцеремонно обирала чужие города, храмы и святилища, далеко превзойдя в корыстолюбии даже прославленного стяжателя Красса. Захваченные ценности переправлялись в Александрию. Географ Страбон, живший немногим позже описываемых событий, при желании мог бы составить длинный список похищенного египетской четой имущества. В своем труде он упоминает о священных предметах культа, о статуе Аякса Теламонида, увезенной из окрестностей Иллиона, о превосходных скульптурах Мирона на Самосе, также приглянувшихся Клеопатре.

Сирийские и иудейские источники (Николай Дамасский, Иосиф Флавий) сохранили стойкое чувство неприязни к нильской владычице и ее высокому покровителю. Однако всеобщее осуждение постигло царственную чету лишь после Акция; при жизни они были окружены немыслимым почетом и лестью. Тот, кто раньше пресмыкался перед Антонием, теперь с не меньшим усердием домогался внимания могущественной египтянки. Любые причуды и капризы сходили ей с рук.

В Риме же союз Антония с Клеопатрой с самого начала встретили настороженно. Сенат не счел их брак правомочным и не утвердил земельных пожалований царице. Октавия продолжала считаться законной супругой Антония, оставалась в его доме и по-прежнему занималась хозяйством. Сам триумвир, не присылая жене официального развода, оказался практически в положении двоеженца. Неопределенность продолжалась несколько лет, пока Антоний воевал с парфянами и наводил порядок в восточных провинциях. Лишь в 35 году, после неудачного похода в Мидию, когда Антонию потребовались воинские подкрепления, Октавия с санкции брата на-

вербовала две тысячи преторцев и сама отплыла из Италии навстречу мужу.

Сообщения античных авторов о том, что Октавиан согласился на поездку сестры специально, чтобы спровоцировать семейный скандал и этим получить повод к войне с Антонием, не выдерживают критики. Современные исследователи справедливо полагают, что в 35 году Октавиан, напротив, был заинтересован в успехе миссии Октавии. Наследник Цезаря вел тяжелую войну в Иллирии и нуждался в сохранении союза с Антонием. В том году Антоний вторично был объявлен в Риме консулом, и Октавиан взирал на это вполне благосклонно.

Осенью 35 года флот Октавии с войском, обмундированием и продовольствием остановился близ Афин. Отсюда жена отправила к мужу в Киликию посла, спрашивая, куда ей направиться дальше.

Известие о приближении законной римской супруги вызвало в стане Клеопатры страшный переполох. «Чувствуя, что Октавия вступает с ней в борьбу,— повествует Плутарх,— Клеопатра испугалась, как бы эта женщина, с достойной скромностью собственного нрава и могуществом Цезаря (Октавиана) соединившая теперь твердое намерение во всем угождать мужу, не сделалась совершенно неодолимою и окончательно не подчинила Антония своей воле. Поэтому она прикидывается без памяти в него влюбленной и, чтобы истощить себя, почти ничего не ест. Когда Антоний входит, глаза ее загораются, он выходит — и взор царицы темнеет и затуманивается. Она прилагает все усилия к тому, чтобы он почаще видел ее плачущей, но тут же утирает лицо, пряча свои слезы, словно бы желая скрыть их от Антония. Все это она проделывала в то время, когда Антоний готовился двинуться из Сирии к мидийской границе. Окружавшие его льстецы горячо сочувствовали египтянке и бранили Антония, твердя ему, что он жестокий и бесчувственный, что он губит женщину, которая лишь одним им и живет. Октавия, говорили они, сочеталась с ним браком из государственных надобностей, подчиняясь воле брата,— и наслаждается своим званием законной супруги. Клеопатра же, владычица огромного царства, зовется любовницей Антония и не стыдится, не отвергает этого имени — лишь бы только видеть Антония и быть рядом с ним, но если отнять у нее и это, последнее, она умрет. В конце концов Антоний до такой степени разжалобился и по-бабьи растрогался, что уехал в Александрию, всерьез опасаясь, как бы Клеопатра не лишила себя жизни».

Римской жене Антоний велел вернуться из Афин в Италию. Таким образом, усилиями Клеопатры миротворческая

миссия Октавии была провалена. Честолюбивая египтянка одержала верх над скромной и послушной сестрой Октавиана, нанеся жестокий удар по единству триумвирата. Октавия вернулась в Рим, и ее высоковластный брат посчитал себя лично оскорбленным. Однако тотчас порвать с Антонием он не мог. К тому же Октавия, еще раз показав необыкновенную терпимость, настойчиво упрашивала брата быть снисходительным к коллеге и, «если только он не решил начать войну с Антонием из-за чего-либо иного, не принимать в расчет нанесенную ей обиду, ибо даже слышать ужасно, что два величайших императора ввергают римлян в бедствия междоусобной войны, один — из-за любви к женщине, другой — из оскорбленного самолюбия». Можно понять чувства несчастной матроны, вынужденной метаться между своей рассерженной родней и отцом ее дочерей — изменником-супругом. Октавия отказалась от предложения брата покинуть дом Антония в Риме и оставалась в прежнем жилище, занимаясь воспитанием как своих детей, так и потомков Фульвии. Все это неизмеримо подняло ее в глазах соотечественников, в то время как престиж Антония резко упал. Все жалели Октавию и осуждали стареющего развратника. За египетские удовольствия триумвир вынужден был расплачиваться самой высокой платой: популярностью у римлян и доверием войска.

По мнению большинства античных авторов, причина гражданской войны заключалась в том, что Антоний малодушно предался египтянке и этим обратил против себя римлян. Однако его вызывающее поведение по отношению к Октавии в 35 году говорит о том, что Антоний первым взял курс на конфронтацию с Римом. Многое проясняет замечание Орозия, указавшего, что благодаря своему успеху в Армении (35 г.) и взятой там обильной добыче Антоний затеял войну против Октавиана. Подобная мотивировка нигде более не встречается, хотя именно она наиболее близка к истине. Не столько слезы Клеопатры, сколько надежда на свою силу подвигала Антония к расколу с Западом. Зачем ему нужно было возвращаться в Рим пристыженным зятем Октавиана, когда он надеялся вступить в Вечный город полновластным хозяином!

Отвергнув протянутую руку римской жены, Антоний окончательно угодил в объятия Клеопатры. Нильская владычица поспешила закрепить победу. Немедленно после Армянской кампании были отчеканены серебряные денарии, где на лицевой стороне красовался профиль Антония, а на оборотной — египетской царицы. Таким образом, весь мир был официально поставлен в известность об их союзе.

В 34 году Антоний провозгласил Клеопатру царицей царей (титул, которым обладали только персидские и парфян-

ские монархи, а одно время Тигран II Армянский), отдав под ее верховенство почти всю Переднюю Азию. Дети Антония и Клеопатры получили обширные земельные уделы (так называемые «Александрийские дарения»), причем в дар попали части собственно римских владений. Вечный город тотчас усмотрел в этом посягательство на собственность римского народа.

Италия и Египет вошли в полосу «холодной войны». Сторонники Октавиана изображали Клеопатру злейшим врагом Рима, средоточием враждебных сил темного Востока. Пропаганда уверяла, что она намеревалась разрушить Капитолий. Секст Проперций отзывался о ней не иначе, как о проститутке, ремесло которой не уступало ее властолюбию, поскольку платой был Рим. Антонию отводилось позорное место сообщника и наймита царицы. «Египтянка,— пишет Флор,— запросила у опьяненного любовью императора Римскую империю, как награду за ее ласки. И Антоний обещал, словно римляне были доступнее, чем парфяне... Он открыто готовил тиранию, забыв свое отечество, имя, тогу и фасцы, он стал похож на то чудовище [Клеопатру] как умом, так и сердцем и даже одеждой». Гораций также подбирает царице страшные эпитеты, а в одном месте называет ее «чудовищем судьбы» (fatale monstrum).

Антоний отвечал контрпропагандой, обвиняя Октавиана в насильственной узурпации власти, в попрании республиканских законов. Отражая упреки последнего в податливости египтянке, Антоний колол своего коллегу: «С чего ты озлобился? Оттого, что я живу с царицей? Но она моя жена, не со вчерашнего дня, а уже девять лет. А ты как будто живешь с одной Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или Сальвией Титизенией, или со всеми сразу, да не все ли равно в конце концов, где и с кем ты путаешься?»

Термин uxor — «законная супруга», употребленный Антонием в этом письме, свидетельствует, что он де-факто уже не считал Октавию своей женой, хотя де-юре они еще не были разведены. Примечательно, что годы супружества с Клеопатрой Антоний отсчитывает не с момента антиохийской свадьбы, но со времени их первой встречи в Тарсе (32 г.+ +9 лет=41 г.), то есть до брака с Октавией, перечеркивая, таким образом, всю совместную жизнь с сестрой Октавиана.

Развязка неумолимо приближалась. В 33 году Антоний отозвал свои легионы из Армении и стал сосредоточивать все силы в Греции, уже недвусмысленно нацеливаясь на Италию. Клеопатра неотлучно сопровождала Антония, «опасаясь, как

бы Октавия снова не примирила враждующих» (Плутарх). Вмешиваясь в военные дела, учиняя в лагере Антония дикий произвол, царица побудила многих римских военачальников переметнуться на сторону Октавиана. Не выдержав преследований мстительной египтянки, в Италию бежали верные в прошлом соратники Антония: Марк Юний Цезарь, Квинт Деллий, Марк Тиций и даже консул 32 года Гней Домиций Агенобарб.

В числе других перебежчиков объявился в Риме небезызвестный консуляр Луций Мунаций Планк. Десять лет назад он отирался подле Фульвии, помогая ей в мятеже, а затем все годы прислуживал Клеопатре «ниже ее рабов», не гнушаясь даже ролью шута. Уличенный Антонием в лихоимстве, Планк убежал к Октавиану и, выслуживаясь перед новым хозяином, рассказал о завещании Антония, сданном на хранение в храм Весты в Риме. Планк был в числе свидетелей, подписавших это завещание, знал о его содержании и обещал, что оглашение его вызовет настоящую сенсацию. Октавиан немедленно изъял бумаги из храма и прочел их во всеуслышание на народном собрании.

Если только содержание завещания Антония не искажено октавиановской пропагандой, подобный акт являлся, без сомнения, беспрецедентным случаем в римской истории. Антоний распорядился после смерти похоронить его в Александрии рядом с Клеопатрой (даже в случае, если он умрет в Риме,— уточняет Плутарх), объявлял своими наследниками детей, рожденных ею, признавал Цезариона истинным сыном Цезаря (отказывая в таком звании Октавиану), а также закреплял за египетскими чадами все подаренные ранее владения. Буря негодования охватила римлян. Если свадьба с Клеопатрой сильно пошатнула славное имя Антония, то оглашение завещания нанесло его репутации непоправимый удар. Отныне в глазах римского общества он выглядел не иначе, как изменником отечества, прислужником нильской колдуньи.

Ряд обстоятельств заставляет все же сомневаться в объективности источников. Немецкая исследовательница Ильзе Бехер подмечает, что на Антония были перенесены те же обвинения, которые до него возводились на Цезаря, вплоть до погребения на Востоке. Агитация против Антония и Клеопатры являлась, по существу, продолжением антицезарианской пропаганды.

В мае 32 года Антоний, очевидно по настоянию Клеопатры, послал Октавии официальный развод и приказал друзьям выдворить ее из своего дома. Это был уже открытый разрыв с Октавианом. Октавия «ушла, говорят, ведя за собой всех

детей Антония (кроме старшего сына от Фульвии, который был с отцом), плача и кляня судьбу за то, что ее будут числить среди виновников грядущей войны. Но римляне сожалели не столько о ней, сколько об Антонии, и в особенности те из них, которые видели Клеопатру и знали, что она не красивее и не моложе Октавии» (Плутарх).

Октавиан объявил, что «Антоний отравлен ядовитыми зельями и уже не владеет ни чувствами, ни рассудком и что войну поведут евнух Мардион, Потин, рабыня Клеопатры Ирада, убирающая волосы своей госпоже, и Хармион — вот кто вершит важнейшими делами правления». Не случайно война была объявлена не Антонию, а именно египетской царице. Октавиан рассчитывал, что первый не замедлит поддержать свою фаворитку и тем самым окажется в роли предателя, воюющего на стороне врагов отечества. В сущности же, именем Клеопатры было прикрыто вооруженное столкновение двух римских партий, борющихся за власть.

Весь 32 год ушел на подготовку к войне. Октавиану присягнули Италия и все западные провинции. Антоний заручился поддержкой четырнадцати зависимых царей. Клеопатра выставила двести судов, ссудила супруга двумя тысячами талантов и обязалась обеспечивать его войска продовольствием. Впрочем, военные приготовления проходили в тени роскошных пиров и непрерывных празднеств, сначала в Эфесе, потом на Самосе, в Афинах и, наконец, в Патрах.

«Чуть ли не вся вселенная гудела от стонов и рыданий,— удивляется Плутарх,— а в это самое время один-единственный остров (Самос) много дней подряд оглашался звуками флейт и кифар, театры были полны зрителей, и хоры усердно боролись за первенство. Каждый город посылал быка, чтобы принять участие в торжественных жертвоприношениях, а цари старались превзойти друг друга пышностью приемов и даров». Антоний и Клеопатра словно бы спешили насладиться богатством и властью, предчувствуя, что скоро лишатся всего.

И сухопутные силы, и флот, ослабленные, помимо прочего, массовыми гонениями Клеопатры, по всем статьям проигрывали победоносной армии сурового Запада. Даже отказавшись от полевых сражений и решив дать битву на море (источники указывают, что Антоний сделал это в угоду египтянке), супруги были обречены на поражение. «Клеопатра,— отмечает Плутарх,— уже высматривала себе дорогу для бегства». «Кто усомнится,— спрашивает Веллей Патеркул,— по своей ли воле Антоний стремился к победе или под влиянием Клеопатры, если он обратился в бегство по ее примеру?» В кругах, близких Октавиану, не сомневались, что войну ве-

ла сама Клеопатра, а Антоний был при ней чем-то вроде штабного работника.

Актийский разгром (2 сентября 31 года) положил конец могуществу Антония. Еще целый год египетский император пытался спастись от гибели, то собирая новые легионы, то выторговывая у Октавиана почетные условия сдачи, но смерть надвигалась неумолимо. Мы не знаем, продолжала ли Октавия в это время хлопотать за своего бывшего супруга и отца ее детей. С другой стороны, известно, что Клеопатра, уже находясь в руках Октавиана, собиралась апеллировать к его сестре, своей сопернице, и даже намеревалась послать ей подарки, чтобы благородная матрона замолвила за нее слово перед братом.

Источники подчеркивают, что в самый последний момент Клеопатра предала Антония, тайно сдала Октавиану пограничную крепость Пелусий, впустила его в Египет и в завершающем сражении под стенами Александрии подговорила начальников флота перейти на сторону Октавиана. Разгневанный изменой, Антоний будто бы даже хотел расправиться с царицей, но, обманутый известием о ее мнимой смерти, покончил с собой. Картинное изображение умирающего Антония на руках Клеопатры кажется данью устоявшимся канонам аттической трагедии.

Внутренне замкнутый и осторожный наследник Цезаря не поддался чарам прославленной обольстительницы, хотя Клеопатра устроила при встрече с ним настоящий спектакль, но попытался внушить ей надежду на прощение. Победитель хотел сохранить пленнице жизнь, чтобы провести гордую царицу в своем триумфе; проведав об этом, египтянка поспешила последовать примеру любовника и предпочла добровольную смерть позорному плену.

Октавиан казнил старшего сына Клеопатры от Цезаря, которого в Египте почитали царем, а также расправился с Антиллом, старшим сыном Антония и Фульвии. На этом победитель ограничил свой суд. Дети Клеопатры и Антония — близнецы Александр Гелиос, Клеопатра Селена и шестилетний Птолемей Филадельф — после того, как украсили триумф Октавиана, были пощажены и оставлены при его дворе. Всепрощающая Октавия, образец супружеской верности и материнства, взяла их на воспитание, подобно тому, как раньше приняла под свое крыло потомство от Фульвии. Так отвергнутая Антонием супруга еще раз, уже по его смерти, простила неверного мужа, поразив не только современников, но и следующие поколения неисчерпаемыми любовью и милосердием.

Октавия больше не выходила замуж, до конца жизни оставаясь вдовой. В Риме она пользовалась огромным почетом

как в силу личных качеств, так и в силу неограниченной власти брата. Она подняла на ноги и дала прекрасное воспитание обширному потомству. Ее сын от первого брака Марцелл за неимением у Октавиана своих сыновей в 25 году получил руку его дочери Юлии и был провозглашен официальным преемником императора.

При сыне-императоре Октавия могла бы рассчитывать на исключительное положение в государстве, но этому не суждено было сбыться. Марцелл внезапно заболел и умер еще молодым.

Скорбь матери не прервала ее неустанные хлопоты по устройству своих питомцев. Октавия стояла у истоков многих супружеских уз внутри императорского клана. При ее посредничестве Гай Антоний Юлл женился на ее дочери Марцелле Младшей и был принят в число близких родственников императора, что обеспечило стремительную карьеру сыну поверженного врага Рима. Не забыла Октавия и о прекрасной дочери египетской царицы Клеопатре Селене. Она была выдана замуж за молодого мавретанского царя Юбу, также воспитанного в ее доме.

Источники ничего не говорят о соперничестве Октавии с молодой, красивой и расчетливой женой Августа Ливией Друзиллой, но надо думать, таковое имело место. Ливия была противницей возвышения сына Октавии Марцелла, а кроме того, сама притязала на лавры добродетельнейшей и милосерднейшей из римлянок. Однако народ обмануть оказалось не так-то легко. Римляне продолжали чтить Октавию, а Ливию постоянно подозревали (и не без основания) в лицемерии и коварстве.

Октавия скончалась в 11 году до н. э., в возрасте 58 лет. Август похоронил ее рядом с безвременно умершим Марцеллом. В нынешнее время при раскопках мавзолея Августа обнаружили надгробную плиту с именами Октавии и Марцелла. Она названа сестрой, а ее сын — зятем императора.

Зато от великолепной усыпальницы Антония и Клеопатры в Александрии не сохранилось ничего. Она исчезла, погребенная под пластами новых эпох; на том месте, где она когда-то стояла, вызывая удивление и зависть современников, ныне плещется море.

Июль 1991 г.— март 1993 г.
Санкт-Петербург — Кентау

Цитируемые источники

Аврелий Виктор. История Рима. ВДИ, 1963, № 4; 1964, № 2.

Аппиан. Гражданские войны./ Пер. С. А. Жебелева и О. О. Крюгера. Л., 1935.

Веллей Патеркул. Римская история. ВДИ, 1984, № 3—4.

Гораций Флакк. Полное собрание сочинений: Оды./ Пер. Ф. Петровского. М.— Л., 1936.

Дион Кассий. Римская история.— В кн.: Памятники поздней античной научно-художественной литературы II—V веков. М., 1964.

Иосиф Флавий. Иудейские древности./ Пер. Г. Г. Генкеля. Т. 2, СПб., 1900.

Корнелий Непот. О знаменитых полководцах./ Пер. Н. Н. Трухиной. М., 1992.

Марциал. Эпиграммы./ Пер. Ф. Петровского. М., 1968.

Николай Дамасский. О жизни Цезаря Августа. ВДИ, 1960, № 4.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Антоний, Брут, Катон Младший, Ликург, Помпей, Цезарь, Цицерон. Т. 2—3. Изд. М. Е. Грабарь-Пассек и С. П. Маркиша. М., 1962—1964.

Плутарх. Застольные беседы: Греческие вопросы. Изд. Я. М. Боровского и др. Л., 1990.

Проперций. Элегии.— В кн.: *Валерий Катулл. Альбий Тибулл. Секст Проперций.*/ Под ред. Ф. Петровского. М., 1963.

Саллюстий Крисп. Сочинения: Заговор Катилины./ Пер. В. О. Горенштейна. М., 1981.

Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей: Божественный Юлий, Божественный Август./ Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1966.

Сенека — Seneca. Suasoriae.

Страбон. География./ Пер. Г. А. Стратоновского. Л., 1964.

Флор. История Рима.— В кн.: *А. И. Немировский, М. Ф. Дашкова.* Луций Анней Флор — историк Древнего Рима. Воронеж, 1977.

Цицерон. Письма.../Пер. В. О. Горенштейна. Т. 1—3, М.—Л, 1949—1951.

Цицерон. Речи. Первая и вторая филиппики. Изд. В. О. Горенштейна и М. Е. Грабарь-Пассек. Т. 2, М., 1962.

Ссылки на научно-популярную литературу

Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма: Клеопатра VII. М., 1982.

Бехер И.— Becher I. Das Bild der Kleopatra in der Grechischen und Lateinischen Literatur. Berlin, 1966.

Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985.

Моммзен Т. История Рима. Т. 5, М.— Л., 1949.

Неверов О. Портретные геммы республиканского Рима в собрании Эрмитажа.— В кн.: История и культура античного мира. М., 1977.

Хафнер Г. Выдающийся портрет античности. М., 1984.

Б. Деревенский

Содержание

Александр Кравчук
Клеопатра и Цезарь 5
Антоний и Клеопатра 83
Борис Деревенский
Ирод и Клеопатра 137
Фатале монструм 323
Приложения
Послесловие (*А. Павловская*) 568
Хроника Клеопатры VII Филопаторы (*Б. Деревенский*) 575
Античные изображения Клеопатры (*Б. Деревенский*) 578
Женщины в судьбе Марка Антония (*Б. Деревенский*) 588

Литературно-художественное издание

Чудовище судьбы:
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ КЛЕОПАТРЫ

Художник *Б. Н. Осенчаков.* Художественный редактор *И. В. Зарубина,* Технический редактор *И. В. Буздалева.* Корректор *В. В. Безымянская.*

ИБ № 6260

Лицензия ЛР № 010246 от 28.05.92.

Сдано в набор 28.02.95. Подписано к печати 26.12.95. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Гарн. литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 33,60. Усл. кр.-отт. 34,23. Уч.-изд. л. 37,93. Тираж 5000 экз. Заказ № 848. С 424.

ГИПК «Лениздат», 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 57.
OCR - Давид Титиевский, январь 2017 г., Хайфа

Лениздат